ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 1 2010

Наталия Слюсарева

Мой отец — генерал

Георгий Листвин

Хроника Сибирского Ледяного похода

Анатолий Старухин

Синдром ржавой крысоловки

Александр Матвеичев

В первый и последний…

Главный редактор
Марина Саввиных

Заместители главного редактора
Эдуард Русаков
Александр Астраханцев

Ответственный секретарь
Михаил Стрельцов

Редакционная коллегия
Николай Алешков
Набережные Челны
Алексей Бабий
Красноярск
Юрий Беликов
Пермь
Светлана Василенко
Москва
Михаил Гундарин
Барнаул
Дмитрий Мурзин
Кемерово
Сергей Кузнечихин
Красноярск
Валентин Курбатов
Псков
Александр Лейфер
Омск
Евгений Мамонтов
Владивосток
Марина Переяслова
Москва
Евгений Попов
Москва
Лев Роднов
Ижевск
Анна Сафонова
Южно-Сахалинск
Илья Фоняков
Санкт-Петербург
Вероника Шелленберг
Омск

Секретарь
Наталья Слинкова

Дизайнер-верстальщик
Олег Наумов

Корректоры
Юлия Кукарских
Василина Степанова

На обложке использована фотография Geir Yngve Tro.

Издательский совет
П. И. Пимашков
Глава города Красноярска
В. М. Ярошевская
директор Красноярского краеведческого музея
М. С. Невмержицкая
директор Красноярского библиотечного коллектора
Т. Л. Савельева
директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В создании журнала принимал участие В. П. Астафьев. Первым Главным редактором его с 1993 по 2007 гг. был Роман Солнцев. Впервые журнал был зарегистрирован как частное издание в Восточно-Сибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации в 1993 г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77–7176 от 22 мая 2001 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Правительства Красноярского края, выделившего субсидию на проект в номинации «Литературное Красноярье».

Редакция благодарит за сотрудничество Международное Сообщество Писательских Союзов.

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 1 (75) | январь–февраль | 2010

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть.

Е. А. Баратынский

В номере

ДиН форум

Лев Роднов
2 **Манифест Человека**

Николай Печуркин
5 **Наказы-пожелания сибиряка Президентам двух сверхдержав**

Страницы Международного сообщества писательских союзов

Виктор Перегудов
11 **Великие сосны**

Рамис Рыскулов
16 **Лебединый любодень**

Александр Громов
17 **Паракало**

Олег Пономарёв
32 **Под куполами…**

Александр Соколов
33 **Заброшенный колодец**

Валентина Поликанина
38 **Как вечный хлеб…**

Анатолий Андреев
39 **Тараканьи бега**

Диана Гришукевич
45 **Последний день любви**

Светлана Кряжева
48 **Поспеть ко Кресту**

ДиН память

Андрей Канавщиков
51 **Тамга на сердце**

Энвер Жемлиханов
54 **Пятый туз**

ДиН мемуары

Александр Астраханцев
57 **Бормота**

Наталия Слюсарева
68 **Мой отец—генерал**

ДиН поэма

Анатолий Вершинский
110 **Чалдонская тетрадь**

ДиН стихи

Николай Алешков
112 **На своём месте**

Галина Якунина
114 **Голос**

Николай Тарасов
116 **Старая проза**

Александр Цыганков
118 **Северное сияние**

Владимир Плотников
120 **Таёжный ручей**

Николай Ерёмин
122 **Жизнь—штука одноразовая…**

Сергей Харцызов
202 **Родимых губ еле слышный шёпот…**

Алексей Чернец
205 **Старый дом**

Дмитрий Иващенко
207 **Стройплощадка**

Татьяна Долгополова
209 **От себя**

Дмитрий Мурзин
210 **Разрыв шаблона**

Ася Сенина
212 **Веснушки**

Ася Анистратенко
214 **Как мучительно всё заверчено…**

Библиотека современного рассказа

Сергей Данилов
124 **Валериановый человечек**

Анатолий Старухин
136 **Синдром ржавой крысоловки**

Александр Матвеичев
146 **В первый и последний…**

Марина Межиева
158 **Горячее облако**

Людмила Бондаренко
162 **Озеро Шира**

Тамара Гончарова
166 **Воспоминания о будущем**

Марина Золотаревская
169 **Детский адик**

Алла Ходос
175 **Интернат**

ДиН публицистика

Георгий Листвин
179 **Хроника Сибирского Ледяного похода**

ДиН критика

Нина Ягодинцева
216 **«Всё душа твоя запомнит…»**

ДиН школа

Марина Саввиных
219 **«Читателя найду в потомстве…»**

ДиН детям

243 **Синяя тетрадь**

ДиН антология

Борис Пастернак
168 **Анне Ахматовой, Брюсову**

Лев Таран
178 **Мы во власти стихии…**

Павел Васильев
208 **Вифлеемские звёзды российского снега**

Мы и Чехов

37, 44, 47, 145, 161, 204

247 **Авторы**

Лев Роднов

Манифест Человека

Почему же всё так?!

Быть, или не быть?
Быть, или не быть Человеком?
Кого ты называешь Человеком?

То существо, которое во всём похоже на миллионы других существ? Одинаково думающих, одинаково действующих, одинаково мечтающих. С одинаковыми «отпечатками» мыслей и чувств.

Ты — очевидец трагических событий: мир принял на себя психологию робота. Участие в машиноподобных делах не делает человека человеком. Неужели ты хочешь быть роботом? Неужели твои друзья, твои любимые и твои дети хотят этого?

Нет!!!

Но ты чувствуешь, что непоправимое уже произошло. И с каждым днём неотвратимый край приближается к твоей земле. Потому что катастрофа уже произошла в невидимом мире. Можно ли ещё что-то сделать?

Да!!!

Что нужно сделать?

Исправить плохую причину и спастись от плохого последствия.

Спасти себя — это и означает спасти мир!

Пробудиться!

Пробудить свой собственный мир. Единственный и неповторимый. Свободный и независимый. Высокий и счастливый. Не имеющий никакого отношения к толпе и не поддающийся падениям в «истины» подлецов.

Ты — Человек.

Индивидуальность, или стандарт? Если ты неповторим, то почему ты безлик? Профессионально обученный никто.

Неужели ты счастлив среди одинаковых? Как и почему ты оказался там, где люди одинаково ограничены, а не там, где они одинаково свободны?

Неужели ты — раб?

Неужели ты с этим смирился?

Неужели ты дашь своё рабство тому, кого любишь?

Почему же всё так?!

Ты спасёшь себя сам!

Ложью сегодня владеет не спящий! Он один против всех!

Это он усыпляет тебя. Говорит одно, а ведёт к другому. Говорит: «Думай самостоятельно». А на самом деле навязывает жалкий набор из потрёпанных кукольных мыслей. Говорит тебе: «Трезвость». А на деле готов тебе дать только мрак. Говорит тебе: «Жить». Но ты сам не заметил, как жизнь подменили службой. Говорит тебе: «Вера». Но много ли веры в слепой суете?

Быть Человеком — это бросить свой вызов бесчеловечному миру. Не всему миру, как учат мерзавцы. А лишь горькому миру в тебе. Потому что другого и нет для тебя одного. Это — твой собственный мир. Внутренний собственный разум. И собственный свет.

Человек! Мир вокруг тебя бесчеловечен. Поэтому он жесток и лицемерен. Цена твоей собственной жизни ничтожна для этого мира.

Неужели таким ты хотел видеть счастье?

Во лжи нарождаясь, наполнившись ложью, ты ложью под именем «правды» рискуешь закончить.

Может ли жизнь эта имя носить — Человеческой?

Нет!!!

Может ли, предавший прежде себя, говорить о спасенье — другим?

Нет.

Бесчеловечность всегда лицемерна. У этой силы иного оружия нет, кроме лжи.

Массовая пропаганда низких «истин» и психические манипуляторы обслуживают охрану толпы, спящей в иллюзиях. И приветствуют каждого, кто хоронится в этой в толпе, как в могиле. Здесь нельзя заходить за черту. Здесь невыгодно знать глубину. Здесь опасно высокое славить. И смертельно опасно расти.

Разве правильно это: уникальный ресурс бытия променять на бесплодие? Семя жизни своей не для роста живого беречь, а на корм чужакам передать?

Стремится бесплодие лишь к повторению в формах бесплодных.

Ты не можешь молиться на внешнее счастье. Потому что все зёрна иного — в тебе!

Спаситель пришёл! Это — Ты!

Ты спасёшь себя сам.

Во имя свободы своей и неповторимости.

Пробуждайся!

Ты легко распознаешь коварные силы. Они любят толпу. Они ставят обман впереди Человека. Создают золочёных болванов, и вещи, и ложь, и дорогу к разврату, и знамя всего — ненасытность.

Вне морали живёт то, что люто бежит впереди растерявшейся жизни твоей. Деньги. Сила примера грубейших. Обман их умелый и злое тщеславие глупых.

Кто же правит тобой, Человек?

Неужели не сам?!

Почему «человеческим» мир называешь ты тот, где порядок бездушный порядочность вдруг подменил? Разум стал невоспитанным здесь, а воспитанный кто—и хорош, да труслив?

Опьянела душа. Забулдыга она. От столба до столба доползти—не изменится мир. От себя до себя перейти—хорошо.

Словно дом обрести.

Ты есть сам по себе. Ты—святыня своя! Если дать тебе ложную святость, и пустое внушить, и пустым пустоту переполнить, то умрёт Человек. И при жизни своей будешь ты шевелиться, да—мёртвый.

О, Человек! Так жизнь твою превращают в существование. А ты, Человек, в существо превращаешься.

И цари, и рабы.

Пробуждайся! Пробуждай, тех, кто спит ещё в мёртвом. Кто способен ещё из ужасного плена уйти.

Бойся сети всеобщего сна! Не касайся её, если нет в тебе силы порвать её путы. Не включай телесети, не слушай лжецов. Не ходи на поклон, к тем, кто ставит тебя на колени. Не дружи с подлецами. И не будь малодушен, когда голод души лишь забвения просит. Отстранившись от грязи, ты грязь победишь!

Повторяй! Ты—Спаситель себя самого. Ты пришёл. И ты начал уже. Человек! Не люби палачей. А люби только тех, кто подобен рассвету, кто—попутчики к новому дню.

Все массовые технологии управления человеческими существами рассчитаны на многократное применение. На бесконечное оболванивание одним и тем же приёмом многих волн поколений. Время скривилось. Мгновение стало огромным. Ты пройдёшь сквозь него, как лучи сквозь препятствие линзы. Перевёрнутой жизни приходит конец.

Отнятый разум, вернувшись, смеётся. Душа не продажна и правит дорогой. Мир целиком состоит из любви. Она всегда тебя ждёт. Любовь! Твой единственный дом. И в тебе, и вокруг, как в тебе.

Пробуждайся скорее!

Хочешь «бог» говорить? Говори! То, что названо собственным словом,—не лживо. Тот прекрасен язык, на котором ты сам всё расскажешь себе.

И ещё. Разбудить можно только лишь раз. Хоть себя самого, хоть росток. И обратно пути не бывает. Только путь от зерна до зерна. Тем живого творец от расчётов слепых отличим. То, что дважды, и трижды,—не помощь тебе.

Всё единственно в мире живом!

Настоящая помощь приходит однажды. Единожды и навсегда.

Пробуждайся! Ты нужен живым.

В этом не заинтересованы те, кто плодит слепых в разуме и беспомощных в духе. Обрезанных с детства: крестом, полумесяцем, бритвой звезды, или лезвием свастики.

Жизнь—это просто любовь!

Стремление быть собой не означает призыва бороться с тем, что есть вокруг. Очертя голову, рушить и изменять окружение. От этого мало что изменится в самом человеке.

Стоит ли бороться с удивительными явлениями жизни, с её поразительными достижениями и её восхитительным многообразием?

Конечно, нет!

Человек—это гений. Детищ своих он не рушит. Никакие революции жизни не нужны. Ни политические, ни экономические, ни финансовые, ни даже духовные. Всё это полная глупость. Потому что Жизнь—это просто любовь!

Истерия тёмной толпы, на которой всегда играют мерзавцы, стремящиеся к власти тьмы, невозможна в мире Человека.

Потому что он подчиняется только себе.

Пусть цветёт и становится всё краше разнообразная поляна нашей общей судьбы! Здесь всё должно быть гармоничным и стоять на своих собственных местах. Культ не должен занимать место культуры. Высшие ценности вытесняться низшими. Общее движение к совершенству незачем расщеплять на движение к целям-тупикам. Делить неделимый мир на «элиту» и «отбросы».

Превозносить и восхвалять мир, перевёрнутый с ног на голову, может только тёмная сила.

Пришло время власти человеческого над нечеловеческим!

Да здравствует время пробуждения самого Человека!

Время избавления от постыдных и низких зависимостей.

Долой духовные и интеллектуальные цепи!

Человек! На земле и выше—всюду есть сегодня цепи твоей несвободной воли. Это—узы твоей слепоты и вскормлённого в скудости разума.

Любой, кто заставляет тебя повторять не собственные слова и заниматься не собственным делом,—лжец и подлец.

Духовная ложь незрима и заразна, как чума. Пришедшая изнутри, она убивает человека не всего, а частично—только то, что делает Человека высоким и независимым. Чума духа передаётся по наследству.

То, что вокруг тебя сегодня называют «человеком»,—уродливо.

Оглянись вокруг. Загляни в себя самого. По-человечески ли ведут себя люди друг с другом? По-человечески ли они относятся к родителям—земле и небу? По-человечески ли ты сам себя судишь?

Между убийством среды обитания и самоубийственными компромиссами в нечеловеческом мире стоит знак равенства.

Разве это—Человек?

Путь спасения—Путь!

Ты ждал Спасителя? Он пришёл. Но! Он не будет спасать миллионы лентяев, лодырей духа и тщеславных слепцов от ума, как они бы того пожелали. Охраняющих цепи свои,—не спасти. Охраняющих собственный страх,—не спасти. С паразитами нянчиться—жизнь погубить. Или ценишь сорняк ты на грядке превыше культурного плода?

Ожидание—тонкая ложь. Путь спасения—Путь!

Этот Путь—ты и есть, Человек! Есть он в каждом, кто жив.

Ты спасёшь дар живых от бездарности мёртвых. Для себя и — собой. Спаситель — в тебе, Человек!

Пробуждайся! Ты и есть тот единственный Дом, где живое живёт. Пробуждайся! Посмотри, здесь чужих не бывает. Пробуждайся! Нет ценности выше, чем ценность любви.

Цивилизация знает, что такое «точка невозврата». Предел, после которого падение неизбежно, а восстановление прежнего равновесия невозможно. Что означает для мира людей экологическая катастрофа? А что означает для него нравственная катастрофа?

Человек — не машина. Хотя и существо, уподобившее себя психологии и логике машин.

Да, Человек — это жизнь! Это Дом для себя самого. Дом! — постоянная точка возврата! — волшебная сила, что дана не привязанным к клетке. Чтоб, ушедший в иное, собой не блуждал.

Человек! Ты научен держать равновесие в теле. Так держи его выше!

Точка возврата! Твой собственный внутренний мир!

Из любых испытаний ты выйдешь прямым, если есть в тебе Дом для тебя.

Пробуждайся, спасённый. Больше нет над тобой ни изменников подлых, ни власти лжецов. Твоя точка возврата, как семя, подвластна лишь новым путям. Это — высшая точка живого пути.

Человек! Отдели сам в себе красоту от уродства. Отряхнись от чумы. Отойди от толпы. Видишь птиц в небесах? Без цепей и объятий они. Потому что крылаты.

Человек, ты прекрасен! Ты владеешь собой, как сокровищем мира. Береги же себя! Потому что к сокровищам тянутся воры.

В своём собственном доме велик ты и властен. Ты не дашь учинить здесь разбой и грабёж. Дом не даст заблудиться тебе ни в пространствах, ни в годах, ни в буйстве вещей и иллюзий.

Высоко, или низко тебе, Человек? В безднах духовных, в лабиринтах ума, в любви самолюбца, в тоске или горе не пойдёт Человек, — если он Человек, — за ответом к кому-то. Он приходит к себе. Он собою ответы найдёт. И — спасётся собой! И, спасённый, спасёт остальных.

Ты спасён, Человек!

Пробуждайся!

Не будь малодушным. Будет трудно тебе от свободы твоей. Не ищи для уздечки своей руку нового барина и коновязь. Не спеши на обрывок вчерашней цепи новый день посадить. Кнут, наполненный ядом молитв и проклятий, всегда над тобой!

Человек, береги свои образы сам, а не то их подменят на образа. Образиною станешь, уснувший в чужом.

Пробуждайся!

Человек! Твоё время — вставать! Начинать свою вечную жизнь от семян животворных. А не порослью быть однолетней на старом лишаистом пне. Светлые ценят рождённых, а тьма «возрождением» бредит.

В повторении блеска, и в свете иллюзий таятся ловцы слабых душ.

Избавляйся от низкого жаждой высот!

Убегай от толпы, что в тебе, и беги от себя, что в толпе!

Не пей «веру в бога» из уст мракобесов! Ты выпьешь забвенье своё.

Будь источником веры! Чтоб не стать её сытью.

Пробудись! Пробуждение — труд. Люди спят дни и годы, века и тысячелетия. Спишь и ты! Дети твои не проснулись, и друзья, и любимые спят. Кажется: так хорошо в этом сне! Но — пробудись! Во сне ты погибнешь опять, как уж тысячи раз погибал. И дети погибнут твои, и друзья, и любовь. Из огромного сна не вернулись людей миллиарды. В жизнь ушли делать жизнь — единицы.

Время пришло поменять их местами.

Человек, пробудись Человеком! И других пробуди. Не надейся на их благодарность. Все спящие злы, но их злость не от зла, а от лени. Пробуждение — труд не из лёгких. Это — собственный труд! Чтобы собственным стать, наконец. И для жизни твоей пробуждённой одиночества больше не будет.

Будет Свет! Только Свет! Ничего, кроме Света!

Ты спасён, Человек!

Николай Печуркин

Наказы-пожелания сибиряка Президентам двух сверхдержав

Глубокоуважаемые господа Президенты! Считаю, что имею право на равных обратиться к Вам, так как за Президента России я голосовал, а за Президента США я переживал, склоняясь в его пользу даже на первых этапах его долгой предвыборной борьбы. По возрасту Вы оба годитесь мне в сыновья, поэтому данное письмо можете принять за отеческое наставление. Вы взяли на себя огромную заботу и ответственность, возглавив страны, от которых во многом зависит нормальное существование и дальнейшая судьба всего мира (и человечества, и биосферы).

Волею судеб (истории, случая, Всевышнего) в 20-ом веке США и СССР (теперь его правопреемница, обладатель ядерного оружия Россия) оказались в противостоянии, на разных полюсах восприятия, понимания и обустройства мира. Противостояние — неестественное, с точки зрения простого нормального человека, замешанное, в основном, на идеологии и конъюнктурной политике.

Под знаком этого противоборства — холодной войны — прошла вторая половина 20-го в. США активно защищали свободу индивидуализма (капитализма), СССР активно выступал в защиту коллективизма (социализма, тоталитаризма). К концу 20-го в. советский коллективизм провалился, саморассыпался, так и не сумев обрести «человеческое лицо».

В начале 21-го в. «сыплется», трещит по многим швам неконтролируемый индивидуализм под натиском своих же финансовых спекулянтов, игроков ТНК разных масштабов и мастей. («Куда ж нам плыть?..» — вопрошал в подобном случае наш великий поэт почти два века назад, ещё в «доглобализационные» времена).

Совершенно очевидно, что пришло время менять правила игры в общечеловеческих масштабах. И не просто латать прорехи в разлезающемся по швам общечеловеческом одеянии или менять винтики в большом ржавеющем механизме. Процесс глобализации, во многом идущий спонтанно, требует фундаментального осмысления во всём его многообразии. Тут-то и выходят на первый план идеи конвергенции — не расхождения, а схождения, взятия лучших находок у систем, выработанных историей.

Идеи конвергенции не новы. Они многократно обсуждались «во времени и пространстве», начиная с 50-х гг. прошлого века.

Напомню лишь три примера, касающиеся наших стран (во избежание неточностей буду опираться на прямые цитаты из оригинальных текстов и высказываний).

1. Цитата из Джона Кеннета Гэлбрейта, одного из обоснователей нового индустриального общества и теории конвергенции, известного американского экономиста и социолога: «Мы видим.., что конвергенция двух как будто различных индустриальных систем происходит во всех важнейших областях. Это чрезвычайно отрадное обстоятельство. Со временем (и, пожалуй, скорее, чем можно себе представить) оно опровергнет представление о неминуемом столкновении, обусловленном непримиримым различием. ◁···▷ Понимание того факта, что в ходе своего развития обе индустриальные системы сближаются, будет содействовать, надо полагать, установлению согласия относительно общей опасности, таящейся в гонке вооружений, и необходимости покончить с ней, или же начать соперничать в более благоприятных областях» (Новое индустриальное общество, 1967). Гэлбрейт подчёркивал важное значение тенденции к конвергенции индустриальных обществ, «как бы ни были различны их национальные или идеологические притязания».

2. В 1968 г. А. Д. Сахаров в брошюре «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» публично изложил свои позиции по ключевым глобальным и внутриполитическим вопросам, в основе которых лежала идея конвергенции. Он писал: «Эти идеи возникли как ответ на проблемы нашей эпохи и получили распространение среди западной интеллигенции, в особенности после второй мировой войны. Они нашли своих защитников среди таких людей, как Эйнштейн, Бор, Рассел, Сцилард. Эти идеи оказали на меня глубокое влияние, я увидел в них надежду на преодоление трагического кризиса современности» (Андрей Сахаров. Воспоминания, т. 1, М., 1996, с. 388). А. Сахаров выступает не как представитель какой-либо локальной общности людей: партии, сословия, класса, нации, религиозной конфессии, страны, расы, — а человечества в целом; именно глобальные проблемы в центре его внимания, с глобальными же факторами он связывает и все свои надежды на их разрешение. Основная мысль статьи — «человечество подошло к критическому моменту своей истории, когда над ним нависли опасности термоядерного уничтожения, экологического самоотравления и неуправляемого демографического взрыва, дегуманизации и догматической мифологизации» (там же, с. 390–391). Главная ценность, по Сахарову — сохранение человеческого рода, ценность, основополагающая для гуманистического сознания, в 20-м в.

ставшая актуальной и драматической проблемой. Добавлю, что в 21-м в. эта проблема может привести к трагической развязке.

3. Идеи конвергенции, сближения социальных систем и их сбалансированного развития наиболее полно и выразительно разработаны в трудах русско-американского социолога Питирима Александровича Сорокина. Он писал: «…если человечество избежит новых мировых войн… то господствующим типом возникающего общества и культуры, вероятно, будет не капиталистический и не коммунистический тип, а тип специфический, который мы можем обозначить как интегральный… Он объединит большинство позитивных ценностей и освободится от серьёзных дефектов каждого типа» (П. Сорокин, Главные тенденции нашего времени. 1966). В своём культурно-конвергенциональном кредо-эссе (Взаимная конвергенция Соединённых Штатов и СССР к смешанному социокультурному типу, 1960) Сорокин утверждал, что конвергенция, безусловно, приведёт к образованию смешанного социокультурного типа, который при заданных условиях может перерасти в «блистательный интегральный порядок в обеих державах, так же, как и во всей человеческой вселенной».

К этому можно добавить, что коммунистический режим СССР оказался «хилее», чем полагал философ, впрочем, как и многие мыслители. Но коммунистический Китай демонстрирует чудеса конвергенции и «интегрального порядка» — по крайней мере, на государственном уровне.

По Сорокину, истина, полученная с помощью интегрального использования всех трёх каналов познания — чувства, разума и интуиции — это более полная и более ценная истина, нежели та, которая получена через один из этих каналов. «История человеческого знания — это кладбище, заполненное неправильными эмпирическими наблюдениями, неправильными рассуждениями и псевдоинтуициями. При интегральном использовании этих трёх каналов познания они дополняют и контролируют друг друга».

Среди смысловых ценностей Сорокин выделяет высшую интегральную ценность — «истинную вершину добра»: «невидимое триединство Истины, Добра и Красоты». «И хотя каждый член этого высшего Триединства обладает ярко выраженной индивидуальностью, все три неотделимы друг от друга… Настоящая Правда всегда добра и красива; истинное Добро всегда правдиво и красиво; и чистая Красота неизменно истинна и добра. Эти величайшие ценности не только неотделимы одна от другой, но они также и превращаются друг в друга, подобно тому, как одна форма энергии может быть превращена в другие». Автор утверждает: «…новый нарождающийся социокультурный строй обещает обеспечить добровольное объединение религии, философии, науки, этики, изящных искусств в одну интегрированную систему высших ценностей Истины, Добра и Красоты».

Прошу извинить за столь обширное цитирование из трудов крупнейшего мыслителя 20-го в. Питирима Сорокина, но хочу напомнить, что ваша задача, господа Президенты — не просто сиюминутное решение злободневных задач; они упираются, в конечном счёте, в обеспечение существования и развития «интегрированной системы высших ценностей Истины, Добра и Красоты». Может быть, на более близком для Вас языке задачу такого рода для политических деятелей верхнего уровня сформулировал виднейший государственный деятель прошлого века У. Черчилль в своей знаменитой фразе: «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель — на следующие поколения».

В своих инаугурационных речах Вы оба поклялись следовать идеалам мира, свободы и демократии, особенно подчеркнув «высшую ценность» прав и свобод человека. Речь российского Президента, произнесённая около года назад, в почти докризисные времена, была более оптимистичной. В ней, в частности, утверждалось, что «за последние восемь лет был создан мощный фундамент для долгосрочного развития, для просто десятилетий свободного и стабильного развития. И этот уникальный шанс мы должны максимально использовать, чтобы Россия стала одной из лучших стран мира, лучшей — для комфортной, уверенной и безопасной жизни наших людей: в этом — наша стратегия, и в этом — ориентир на годы вперёд». В речи американского Президента, произнесённой не так давно, уже в условиях кризиса, утверждалось, что, несмотря на кризис, Америка остаётся «самой процветающей, самой могущественной страной в мире». Но «время, когда мы могли позволить себе медлить, отстаивать узкие сиюминутные интересы и откладывать неприятные решения в долгий ящик,— это время, безусловно, осталось позади. Начиная с сегодняшнего дня, мы должны собраться и начать перестраивать Америку» («to begin the work of remaking America»).

Дорогой господин Президент, непростой термин «перестройка» хорошо знаком нам, россиянам. Но у нас он почему-то получил негативный оттенок; острословы-пессимисты переименовали его по полученным результатам в «катастройку».

Я полностью поддерживаю Ваши идеи и намерения «действовать быстро и решительно, и — не только ради создания новых рабочих мест, но и для того, чтобы заложить фундамент нового экономического подъёма… Мы сделаем так, чтобы наука вновь заняла подобающее место в обществе» *(мне как учёному-естествоиспытателю особенно приятно было это слышать, в то время как в речи нашего Президента об этом напрямую не говорилось. Но я рад за учёных Америки, моих коллег, ибо наука едина для всего мира.)*… «Мы заставим землю (soil), солнце и ветер служить нам, приводя в движение моторы наших автомобилей и станки наших заводов» *(видимо, это место из речи Президента следует толковать в пользу развития возобновляемых источников энергии, в том числе, использования растений почвы (soil) для получения энергии. Что же касается земли, но не только почвы, то мы, особенно, Россия, расточительно*

выкачиваем из неё горючие продукты былых биосфер в огромных количествах. Но об экономии всех видов энергии в недавних речах нашего Президента тоже говорилось, хотя заставлять «солнце и ветер служить нам» мы пока не собираемся: шибко много даровых органических ископаемых).

«Для нас не существует вопроса, добрую или злую силу представляет собой рыночная экономика. Могущество рынка, его способность создавать богатство и расширять границы свободы уникальна. Однако переживаемый кризис напомнил нам, что без должного надзора (watchful eye) рынок может вырваться из-под контроля и что нация не разбогатеет, если будет поддерживать лишь преуспевающих. Экономическое процветание всегда определялось не только объёмом валового национального продукта, но и тем, насколько процветает общество в целом…»

Это высказывание Президента США мне особенно по сердцу: за мощным рынком действительно обязан быть «должный надзор» (watchful eye по-английски; «глаз да глаз» по-русски), иначе мы получим горстку преуспевающих «олигархов» и полунищий народ, что и произошло в России в результате почти мгновенной смены «индустриальных режимов». Увы, для многих, особенно для пострадавших, эти неравенство и коррупция представляются как проявление «истинного лица демократии». До «процветания общества в целом» в России ещё ой как далеко. Надеюсь, что наши нынешние и Президент, и Премьер-министр это прекрасно понимают и, борясь за повышение объёма технологического «валового национального продукта», в самом деле намерены бороться с коррупцией и, возможно, с несправедливым неравенством.

Мы должны взять лучшие находки у систем, выработанных историей. Но в наше время просто идей конвергенции, схождения неродственных или противоборствующих систем, уже недостаточно. Президент США в своей речи произнёс вещие слова: «…The lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace». В официальном русском переводе этот отрывок звучит менее поэтично и менее точно: «…Племенные различия скоро растворятся, что мир станет ещё меньше, что нам откроется единство рода человеческого и что Америке предстоит открыть новую эру мира» *(дело в том, что слово «мир» имеет два значения в русском языке, и в данном переводе слово «мир» использовано в обоих смыслах: в первый раз как «весь мир» (world), второй раз — как «не война» (peace). Есть и другая неоднозначность в последней части отрывка в переводе на русский: «Америке предстоит открыть новую эру мира». Открыть для кого — для себя или для других? Из оригинала, по моему разумению, следует, что «Америка должна сыграть свою роль в возвещении новой эры мира (не войны!), во вхождении в новую эру мира (не войны!)». Такая трактовка мне представляется наиболее интересной и многообещающей. Искренне желаю Вам, господин Президент США, удачи и успехов на этом трудном пути, ибо «Америка Буша» выглядела отнюдь не миролюбицей и миротворицей. И практически весь мир (world) начал постепенно привыкать к тому, что за всяким возникающим конфликтом маячит рука отнюдь не мирной (non-peaceful) Америки).*

Итак, для всех очевидно, что всему миру, включая Америку и Россию, «предстоит открыть новую эру мира (peace)». И в основу этой новой эры должны быть положены взаимопонимание, взаимотерпимость, взаимоуважение. Это и должна быть *эра солидарности, солидарного пути, солидаризма* — согласованного действия на всех уровнях нашего совместного существования и выживания, и не только на уровне отношений отдельных государств, но и во всей сложной системе отношений: Л-Г-Ч-Б — Личность, Государство, Человечество, Биосфера.

Несколько слов о терминологии.

Солидаризм, солидарное поведение, по определению, означает нахождение взаимоприемлемых решений в любых конфликтных обстоятельствах и принятие примиряющих мер, взаимовыгодных для всех взаимодействующих сторон (классический пример — поведение путешественников в море в одной лодке: нельзя раскачивать лодку, желая утопить соседа, ибо утонешь сам и утонут все.) Сам термин «солидаризм» ввели в середине 19-го в. французы (Пьер Леру) вместе с термином «социализм». В русскую политическую литературу термин «солидаризм» ввёл Георгий Константинович Гинс (1887–1971), российско-американский учёный-юрист, правовед, политический деятель, в 1920 г. изгнанный большевиками из России в Китай, в 1940 г. эмигрировавший в Америку. Он первым предложил модель общества, построенного на началах солидаризма, выступал за сочетание государственного регулирования экономики и частной инициативы. Он считал, что необходимо сохранить частную собственность, но сделать её менее эгоистической, не следует, при наличии разных классов населения, допускать те формы классовой борьбы, которые подрывают благополучие государства. Необходимо сохранить систему поощрения частной предприимчивости, потому что от этого зависит благосостояние страны. Необходимо усилить влияние государства в хозяйственной жизни, но нельзя допустить, чтобы государство превращало хозяев в чиновников.

Солидарность и солидарное поведение имеют глубокие био-психо-социальные корни. В популяциях животных согласованное поведение, совместное существование позволяет отдельной особи стаи, стада использовать преимущества коллективного выживания (защита себя и потомства от нападения у травоядных, коллективная охота у хищников, общественные жилища у насекомых и, наконец, ускоренное коллективное обучение, характерное для большинства высших животных). Преимущества коллективного образа жизни особенно важны в формировании и развитии человеческой популяции. С появлением человека как вида произошёл «уникальный прорыв, сравнимый с первым появлением материи, с первым

возникновением жизни и животного существования — жизнь осознала себя» (цитата из Эриха Фромма (1900—1980), обоснователя концепции радикального гуманизма). Кстати, Фромм в своей концепции, резко критикуя тоталитарные режимы за подавление свободы личности в демократических режимах 20-го в., также наблюдал «бегство от свободы», когда личность, чтобы выжить, «облекает себя в красочную упаковку, чтобы повыгоднее «продаться» на «рынке личностей». Введя термин «общество потребления», он критиковал избыточное потребительство и расточительство. Осознание себя, отделение от природы отнюдь не оказалось счастливым для каждого индивида. Библейское сказание о рае и изгнании из него очень хорошо иллюстрирует эту ситуацию. Существовать в райском саду, в гармонии с природой, но не осознавая себя, как прочие животные, человек не захотел. Однако, осознав себя и потеряв единство с природой, он оказался одиноким и беспомощным: ни густой шерсти, ни крепких клыков, ни мощных мускулов. Социальный аналитик Фромм по этому поводу пишет: «Его разум находится в самом зачаточном виде, у него нет ни знаний о природных процессах, ни инструментов для возмещения потерянных инстинктов; он живёт, разделённый на маленькие группы, лишённый знаний о себе и о других… Он утратил свой первоначальный дом — природу, никогда не сможет вернуться в него, никогда не сможет снова стать животным. Для него существует только один путь: полностью выйти из своего природного дома, найти новый дом — тот, который он создаёт, очеловечивая мир и становясь сам настоящим человеком». Добавлю, что создать «новый дом» можно было только коллективными солидарными усилиями.

Не вдаваясь далее в историю становления человека и человечества, отмечу, что на первых этапах этого становления ведущую роль сыграли род и племя как основные коллективные организации совместного выживания. Таким образом, солидарное поведение несёт родовые и племенные черты. В писаной поступательной истории человечества и по настоящее время роль общественных объединяющих структур исполняют независимые государства и их союзы. В 20-м в. роль независимых государств приобрела не только функции объединения, но и разъединения, вплоть до мировых катаклизмов. В наступившем 21-м в., веке неизбежной глобализации, такое разъединение особенно опасно. Необходимо осмысленное солидаризованное поведение на уровне всего человечества. Повторю, что *эра солидарности, солидарного пути, солидаризма* требует согласованного скоординированного действия на всех уровнях нашего совместного существования и выживания во всей сложной системе отношений: Личность, Государство, Человечество, Биосфера.

Рост общечеловеческого интеллекта (условно говоря, с момента создания ООН) привёл к тому, что цивилизованное государство всё более и более вынуждено выполнять общечеловеческие функции. И, таким образом, вместо прежней линии: Личность — Государство — Человечество, где контакты Личность — Человечество, могли осуществляться только через Государство, мы имеем три узла, где появилась прямая связка Личность — Человечество. Это и означает, что Государство в качестве Насильника теряет опору для существования, и только Государство-Помощник (под контролем Человечества) обретает права на существование. А именно такого типа и должно быть солидаристское государство, несущее прямую ответственность и перед отдельной Личностью, и перед Человечеством.

Со второй половины 20-го в. к трём взаимодействующим узлам добавился на равных правах четвёртый — Биосфера. Тут должны «работать напрямую» все шесть возможных типов взаимоотношений. Например, отношения Ч — Б (Человечество — Биосфера) очевидны, и о них много говорится: например, о потеплении климата и глобальном загрязнении среды. Отношения Г — Б (Государство — Биосфера) тоже вполне очевидны: многие природоохранные действия определяются именно на государственных уровнях. Отношения Л — Б (Личность — Биосфера), возможно, не вполне очевидны для каждого из нас, но именно они несут главную смысловую нагрузку в наших суждениях. Истинная солидарность требует этого! Без разумной единички, личности, отвечающей за весь мир, включая всю Биосферу, грош цена нашим надеждам на устойчивое развитие Человечества в Биосфере. Мыслить глобально — действовать локально! Этот призыв к адекватным действиям обращён к каждому из нас, включая Вас, господа Президенты; он прекрасно вписывается в идеи действенного Солидаризма, охватывающего все уровни нашей жизни.

Г. К. Гинс, теоретически обосновывая солидарный путь развития, солидаризм, полагал его за одну их лучших находок 20-го столетия в общественной жизни, «руководящую идею 20-го в.». Жаль, что всемирной практической реализации этой идеи не получилось. Отдельные великолепные находки в развитии рыночной экономики с участием и под контролем государства имели место: выход из экономической депрессии США в 30-е гг. (Франклин Делано Рузвельт), послевоенное «экономическое чудо» Германии (Людвиг Эрхард).

Важнейшим условием развития идеологии солидарности в 21-м столетии, как «руководящей идеи века» является её обязательное развитие и распространение на надгосударственный (общечеловеческий) и планетарный (биосферный) масштаб.

Напомню об «ужасах и соблазнах» недоразвития и недопонимания солидаризма в прошлом, настоящем и возможном будущем на примере принципиальных ошибок «недоразвитых солидаристов»: моя социальная группа выше, лучше всех других, а все остальные — много ниже и недостойны существовать. Это: немецкий национал-социализм (моё племя, моя нация лучше всех?!); советский тоталитаризм — коммунизм (мой пролетарский класс, моя партия лучше всех?!); религиозный фанатизм (моя конфессия лучше всех?!). Но общечеловеческие истины — выше племенных, национальных, конфессиональных, государственных! К этому

должна быть добавлена необходимость экологизации (биосферизации) солидарного развития — выработка основ планетарной мирной идеологии в 21-м в., начиная с личного вклада каждой личности в развитие эколого-солидарного пути *(солидарные идеи систематизированы мною в монографии «Солидарный путь выживания в XXI в. — Личность, Государство, Человечество, Биосфера», Москва, изд-во «Посев», 2008. Должна быть в продаже. По просьбе могу прислать личные авторские экземпляры.)*

По моему мнению, затронутые проблемы по своей грандиозности и необходимости их решения превосходят всё, с чем когда-либо приходилось сталкиваться каждому человеку, отдельным государствам и всему человечеству на своём пути развития в биосфере.

Теперь перехожу к предложению конкретных действий, которые Вы способны предпринять, осуществляя высокую миссию Государственных Деятелей, а не только очередных политиков верхнего уровня.

1. *Существенно понизить угрозу возникновения ядерных конфликтов.* Глобального ядерного столкновения, типа США (НАТО) — против России, биосфера может не выдержать, но даже если она выдержит, то человечество из неё выпадет: победитель в обмене ударами будет умирать дольше и мучительней, чем побеждённый. США и Россия — основные обладатели этого страшного оружия; с них и наибольший спрос. Должно сократить его арсеналы не просто в разы, а на порядки величин. Тем более, что старый хранящийся запас для его обладателя даже опаснее, чем для противника. А обновление запасов в наше кризисное время просто бессмысленно как с точки зрения обычного политика (рост бремени расходов на данный момент), так и с точки зрения настоящего государственного деятеля (безответственность перед грядущими поколениями). Вместо мелких амбициозных стычек между НАТО и Россией должна быть выработана долгосрочная программа сотрудничества, например, совместное патрулирование «состояния воздушного и водного бассейнов». Что касается расширения «ядерного клуба», то здесь должна быть выработана система международных актов, согласно которой членство в этом клубе должно быть более обременительным, чем выгодным и престижным. Ведь, по сути, «ядерная нагрузка» — явно обременительна для всех людей, а выгода от неё — иллюзорна даже для политиков.

2. *Проявить реальную заботу о состоянии Биосферы.* Как исследователь, изучающий взаимодействие потоков энергии и циклов вещества в биологических и антропогенных системах, вижу здесь три главных направления. Первое — экономия используемой человечеством энергии всех видов и используемых материалов (задача тактическая, но технологии экономии энергии и вещества требуют не только инженерных решений, но и серьёзного научного вклада).

Второе — опора на возобновляемые источники энергии («заставим землю (soil), солнце и ветер приводить в движение наши моторы и станки» — с удовольствием ещё раз привожу эту часть из речи Президента США).

Третье — рециркуляция отходов, бытовых и промышленных, и минимизация отрицательных воздействий на биогеохимические циклы вещества в Биосфере.

Развивающимся странам надо помогать, но не откупаться деньгами, а передавать им принципиально новые технологии, безопасные для человека и окружающей среды. Глобальная программа био-техно-ремедиации, очищения окружающей среды с помощью биоагентов, здесь вполне может быстро заработать на основе научных разработок американских и российских учёных и технологов.

Помимо красивых жестов, намерений и призывов, государственные деятели могут всерьёз содействовать решению названных проблем на уровне вовлечения интересов общества и, главное, «могущественного рынка»: сделать выгодными и поощряемыми конкретные задачи очистки, рециркуляции и экономии вещества и энергии.

О намерениях Президента США я уже говорил. Президент России в своих недавних выступлениях резко критиковал неэкономичность расходов вещества и энергии в теперешних российских технологиях и требовал прекратить расточительство. От имени простых жителей мира, говорю: «Спасибо, господа Президенты, так держать! Лишь бы это не осталось на уровне благих намерений, вымощенная из которых дорога ведёт, известно куда…»

3. Снизить уровень напряжённости и недоверия между нашими странами, начиная с Вас, господа Президенты, государственных и общественных организаций и кончая простыми людьми.

К большому сожалению, уровень антиамериканских настроений в России и антироссийских настроений в США возрастает, хотя, казалось бы, должно быть наоборот после окончания холодной войны, распада СССР и отсутствия реального противостояния. Но жизнь сложнее схем. Холодная война длилась так долго, что пугающие лозунги вроде — «Русские идут!», «Опять эти американцы лезут везде!» — надолго въелись в мозги большинства жителей наших стран. В последнее время этому способствуют рост экономического потенциала России и заметное усиление её вооружённых сил и амбиций; глобальный финансовый кризис, в котором россияне обвиняют Америку и, во многом, не без оснований. Но выше этого действительно должны стать и начать работать провозглашённые обеими странами лозунги следования по пути демократии, обеспечения прав (и обязанностей!) человека, свободного и достойного существования всех людей. Этим и должны руководствоваться истинные государственные деятели не только в долгосрочной перспективе, но и в повседневной активности, не нагнетая страха и не играя на нём в свою пользу.

Для иллюстрации этого приведу известное высказывание одного из главарей нацистского рейха Германа Гёринга на судебном процессе в Нюрнберге: «…народ всегда можно заставить делать то,

что выгодно властителям. Это дело нехитрое. Всё, что нужно сделать — так это сказать людям, что на них напали, и обличить пацифистов в отсутствии патриотизма, а также в том, что они подвергают страну опасности и предают её интересы…» Отнюдь не глуп был Гёринг, умел манипулировать людьми в корыстных интересах, но надо помнить лидерам всех уровней и не только президентам, чем такие дела кончаются.

Мне, человеку, не облечённому властью, трудно давать конкретные советы на государственном уровне. Но на уровне простых людей знаю — надо существенно увеличить возможности прямых контактов между людьми наших стран. Надо заметно усилить программы обмена, подобные американской «People to people», резко увеличить обмен визитами молодёжи, прежде всего студентов, не ограничиваться приёмом групп специалистов, особенно надо увеличить объёмы взаимных поездок по культурному обмену с проживанием гостей в домашних условиях. Эти программы надо поддержать финансово и через СМИ, с регулярным показом визитов по телевизионным каналам, в том числе — общегосударственным. Уверен, что многие сограждане наших стран охотно пойдут на это. Чтобы не быть голословным, приглашаю лично Вас, господин Барак Хусейн Обама, посетить Сибирь, г. Красноярск в любое удобное для Вас время. Моя семья, родственники и друзья гарантируем Вам (и Вашей семье) отличное времяпровождение: знакомство с городом и окрестностями, интересные беседы и встречи с горожанами. Когда мы, сибиряки, приглашаем кого-либо в гости, мы добавляем: «Приезжайте в тёплое время и по своей воле». Внешнюю охрану Вам, надеюсь, обеспечат наши власти, а внутреннее тепло будет исходить от нас, простых жителей Сибири.

Я приглашаю с удовольствием заодно и нашего Президента приехать к нам в Красноярск отдохнуть и побеседовать с президентом США в непринуждённой обстановке (можно «без галстуков»), но боюсь, что наша бюрократическая система не позволит Вам, Дмитрий Анатольевич, расслабиться.

Итак, до встречи, глубокоуважаемые господа Президенты, виртуальной, по переписке, или реальной — как получится. Примите мои уверения в искреннейшем к Вам почтении и пожелания удачи в Ваших многотрудных делах. Надеюсь также, что мои отеческие наставления окажутся Вам полезными или хотя бы просто информативными.

Россиянин, сибиряк-красноярец,
доктор биологических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ
Н. С. Печуркин

P. S. Конечно, многие проблемные вопросы остались «за кадром». Об одном не могу не упомянуть. Это — повсеместная неконтролируемая торговля обычным оружием. К моему большому сожалению, и Россия, и Америка являются явными лидерами по производству и продаже оружия в избыточных количествах.

Но, господа Президенты, этот «товар» предназначен и используется для «убиения человеков», т. е., всех нас, современников — и мне, и Вам подобных Личностей. Начните делать хоть что-нибудь, чтобы в мире было меньше страшных современных средств убийства, чтобы кажущиеся племенные или государственные интересы (вроде выгоды от торговли оружием) не довлели над общечеловеческими, из которых один из главных — «Не убий!»

Послесловие (для издателей)

Это моё письмо трудно было послать президентам по электронной почте, так как их почтовые ящики были рассчитаны на короткие заявления от народа, вроде жалоб или личных прошений.

Президенту Медведеву полный текст письма и книжка «Солидарный путь выживания в XXI веке — Личность, Государство, Человечество, Биосфера» были переданы моими московскими друзьями в его общественную приёмную в Москве. От клерков пришло стандартное уведомление мне в Красноярск, что письмо и книжка получены, за что мне объявляется благодарность. На этом пока связь прервана.

Президенту Обаме я попытался через Интернет послать укороченный вариант с конкретными предложениями и через его блог, и через наши центральные электронные СМИ, которые, по их уверениям, имеют связь с Америкой, но уведомления о получении моих писем не получил.

Моё резюме: То, о чём я их просил, хотя далеко не всё, делается ими. Не льщу себя надеждой, что происходит это по моим предложениям. Но надеюсь, что глас простого народа им, нашим слугам, которым мы доверились на короткий срок, весьма полезно знать, чтобы служить нам верой и правдой. Ибо безмолвным народом легко править по своему усмотрению и произволу, в чём мы на горьком опыте убеждались не раз.

Виктор Перегудов

Великие сосны

Жалость

Когда тяжёлый апрельский снег начал валить мимо окон, снова закрашивая белым, до слёз невинным цветом оттаявшую было чёрную землю, сидел я как раз у окна и вспоминал дикие алые тюльпаны. Целые жаркие поля их я видел, и вовсе не в Голландии—матери чудесного банального цветка. Да и мать ли Голландия тюльпану? Алые поля я видел в Казахстане, в тех его глубинных степных районах, где из всей цивилизации за тысячу лет отмечено ровно три события. Первое: прокатилась на Россию Орда, но возвращалась уже другой дорогой. Второе: был построен космодром Байконур. Третье: в степи обосновалась воинская часть—строительный батальон, я в нём в юности служил срочную.

В ряду этих событий не числится разведение голландцами тюльпанов в Азии. Они тут, вероятно, росли, когда в Голландии о них ещё и не задумывались. Тогда, конечно, и никакого Казахстана в помине не было. Это подумать страшно, когда они росли, первородные тюльпаны. А вспомнил я о них, о цветах, вот почему: смотрю в окно и вижу, как по белому снегу плетётся мальчишка и держит, несколько небрежно, в руке тюльпаны. Остановился и глядит на сосновые ветки. С сосны на него уставилась белочка. Тут у нас Лосиный остров, белки водятся прямо с краю.

Я пригляделся к цветам: да, это тюльпаны у него. А мальчишка очень похож на моего сослуживца Колю Сергеева, который меня в армии от смерти спас. Я там замерзал в степи, как тот ямщик из песни.

И вот я сижу, и пошли размышления одно за другим, и я додумался вот аж до чего: жалко ли мне хоть кого-нибудь на белом свете?

Положа руку на сердце, разве мне жалко когонибудь в этом мире, где мало кто кого жалеет, кроме себя? Жалость—это высокорасходное чувство, оно ослабляет энергетику личности. Батарейки в душе садятся. Всех не пережалеешь, а выборочно—это уже что-то другое. Это—как откупиться. Я безжалостен, что означает—равнодушен. Во мне накопилось много обид. Эти обиды оставили по себе знаки.

На моём теле есть, например, шрамы от ножа, от лома, от дубины, множество есть и не шрамов, а так—следов воздействия. Отметины жизни. А ведь я, в отличие от многих, в тюрьме не сидел.

А погибнуть мог не раз и различными способами. Много разнообразных способов судьба на мне примеряла. Однажды меня столкнули с третьего этажа—упал на кучу песка. Шалость детства.

Отрочества и юности могло уж и не быть вслед за этим полётом, если бы за пять минут до этого самосвал не вывалил под окном пять тонн песка.

Ещё приведу случай. Я уже был взрослый, после армии, журналист из Москвы. Мы ехали из степного совхоза, водитель заснул за рулём, и мы в «козле» закувыркались в кювет. Остались живы, но крови выхлестало из нас—я не знал, что её в человеке столько. Тут ещё то приятно, что дело было в социалистическом Казахстане, в степях, где кювет—один на миллион квадратных километров. Казах за рулём умудрился заснуть именно в этой точке своей любимой республики. До этого он весь день спал в тени под реликтовыми соснами, там есть реликтовые сосны. Их даже меньше, чем кюветов в тех плоских краях.

А сосны такие: ветки у них очень тонкие и строго горизонтально растут в стороны от тонкого же ствола. Сопротивление безумным ветрам почти никакое, вот они и выросли там, и выдержали с библейских времён. Хотя там не Библия, а Коран. Аллах у них в чести, у казахов, я забыл. Я был тогда коммунист, остро интересовался религиозным вопросом. Мы даже на кладбище съездили, и я это кладбище, чтоб не разжигать национальные обиды, описывать не буду. Но я этого никогда не забуду. Мне директор совхоза, тоже коммунист, сказал: «Вы про кладбище не пишите. Тут сложно между русскими и казахами».

Я уважаю все обычаи, может, с точки зрения мусульман, наш обряд погребения, православный, тоже не ахти как хорошо смотрится.

Я с ним подружился, с директором, как коммунист с коммунистом. У нас были взгляды схожие, общие взгляды на многие вопросы. Он мне доверительно про всякие местные ужасы рассказывал. Сейчас про это дело по телевизору запросто, а тогда—ни-ни. Берегли дружбу народов. Свадьбы праздновали: казах и русская. Русский и казашка. Там ещё и чеченцы были, шабашники на стройке, человек пятнадцать, но они ни с кем не смешивались. Их звали: грачи. Чёрные они, сильные, деликатные. Все с ножами. Они там «сидели на Коране»—это означает, что они

1. Международное сообщество писательских союзов—организация-правопреемник Союза писателей СССР. В предыдущем номере «ДиН» познакомил читателей с МСПС и предоставил страницы произведениям его членов. Теперь, благодаря заинтересованному участию руководства Сообщества, у журнала появилась возможность сделать эти встречи регулярными. Нынешний выпуск подготовили Марина Переяслова (Москва) и Анатолий Аврутин (Минск)

своим отцам поклялись на Коране, что пять лет водку пить не будут.

Мы с этим директором совхоза крепко подружились после аварии с кровопролитием. Водки там выпили, под бешбармак, сто литров. И с казахами, и с русскими. А чеченцы, хоть и кушали с нами, а водку не пили. Клятва!

Потом директор мне в Москву письмо написал, когда я статью напечатал в журнале. Он меня поблагодарил за хорошую статью. А позже, через несколько лет, он мне сообщил одно неприятное известие. Трагическое известие.

И потом, ещё через много лет, ещё одно письмо написал.

Казах, водитель, змей, анашу курил целый день, его под наркотой райские гурии щекотали по всем местам и дощекотали до крайнего кайфа: поплыл за рулём, змеина.

Мне его жалко, а? Мы же могли вместе с ним разбиться, могли сгореть, как бензиновые факелы. Расцвели бы там, как тюльпаны, только тюльпаны на месте головками покачивают, а мы бы катались и кричали от дикой боли огня.

Это я так второй раз в жизни в Казахстане оказался, а первый раз—я там в армии служил. Очень давно. Тоже чуть не пал смертью глупых. Хоть не езди в этот Казахстан.

Я служил в секретных частях. До присяги бывает карантин, в карантине стараются из юноши сделать солдата—преимущественно путём всяких унижений. В том числе голодом. Я хотел солдатом быть, но меня призвали в секретный стройбат. Мы там принимали присягу с учебным просверлённым автоматом—это стыдно. Как если бы нож из пластилина, а ты им хвалишься: у меня нож! у меня нож!

Один паренёк, из тамбовских, на седьмой день, ещё сотворение солдата не закончилось, на седьмую, точнее, ночь, сбежал из части. Местность там, как блин, это не Алма-Ата в долине между гор, а там местность—блин. Как стол, местность плоская. И он сбежал—а куда там бежать? Там ты пройдёшь километров пятнадцать—и тебя неплохо видно. Если не пыльная буря, само собой. Но в бурю бегать—смерти искать. То же—в пургу. Я там однажды, на втором году службы, чуть не замёрз. Меня нашли. Но об этом попозже.

Убежал паренёк из карантина, а куда там бежать. Дикие места. Степь. Женщин нет ни одной, только библиотекарша приезжала. Но, конечно, некрасивая. Красивые дома у нас остались. Вы служите, мы вас подождём. Под дождём.

Там и дождей никогда не было, снега зимой—и то не было, его в буран ветер куда-то уносил. Наверное, в Россию, в эмиграцию, чтоб казахам не достался.

И вот он убежал из Казахстана. Думал, что убежит. Нас построил полковник Якин и стал давать направления, где ловить дезертира. Кому куда, а мне он приказал так:

—Туда!—и показал рукой.—Там заброшенная землянка. Сергеев может в ней отсиживаться. Бегом—марш!

Я побежал и скоро добежал до землянки. Это, мне кажется, была землянка—ровесница космодрома Байконур. Землянка приподнималась над степью примерно на две ладони. Мимо пройдёшь—не всякий раз заметишь. Склончик такой. В этом склончике оконце—длинная форточка, без стекла. Ещё сбоку яма, из этой ямы вход, осыпавшийся, в землянку.

Там ли Сергеев?

Мне было всё же страшно, мало ли что у него на уме, у дезертира! Я стал на колени, голову скособочил, чтобы заглянуть в оконце землянки, и услышал прямо у уха текучий шорох. Я вывернул голову в другую сторону и увидел: прямо перед моими глазами, в сантиметре, в оконце втягивается толстая, бесконечная змея.

Гадина!

Степная гадюка.

Их там пропасть, в этом Казахстане!

Она вся втянулась и шлёпнулась, явственно слышал, на дно землянки.

Я сглотнул шершавую сухость во рту.

Ноги ватные, руки окостенели, трясутся.

Кроме страха—непереносимая брезгливость ещё, но страх—страх был смертельный.

Я на карачках отполз от оконца, а потом взвился на ноги, потом позорно, стыдно всхлипнул от страха.

Что я дальше делал? Я пошёл в свою часть, потому что твёрдо знал: Сергеева уже поймали. В землянке его нет, а в степи—куда он денется. Заляжет в тюльпаны, а потом пойдёт сдаваться.

Я пришёл в часть. Никто из посланных полковником Якиным в поиск ещё не вернулся. Не было и Сергеева.

—Вы почему не выполняете приказ?—спросил полковник.—Вы обязаны выполнить приказ. Там же ваш товарищ, в степи.

—Он пойдёт под трибунал?—спросил я тихо. Понимал, что могу спросить.

—Нет. Он ещё присягу не принял, не в юрисдикции трибунала. Но он может на себя сдуру руки наложить, вы понимаете, рядовой? Как ваша фамилия?

Я назвался.

—Почему вы вернулись?

Я стоял перед ним навытяжку, он сидел на скамье—довольно старый человек, с одышкой, с болезнями. Ему было страшнее, чем мне.

—Вы отвечайте, вас старший по званию спрашивает. Вас комбат спрашивает. Вы были в землянке?

—Там змея,—сказал я.

—Здесь везде змеи. Где—там?

—Я хотел заглянуть в землянку, она вот мимо моего глаза проползла в окошко.

—Боитесь змей?

—Боюсь.

—Вам служить здесь два года. За это время вы их, по глупости, убьёте штук двадцать, не меньше. Сдуру. Или от ненависти. Некоторые сапогами давят. Другие топорами их рубят. Вот лопатка сапёрная, острая—вернитесь туда, и ничего не бойтесь. Если он там, то скажите: ему ничего не будет.

Положу его в лазарет на два дня, чтоб успокоился. Выполняйте приказ!

— Есть,—сказал я тихо.

Когда я подошёл к землянке, я услышал изнутри беспрерывный вой, от такого в жару мороз по коже подирает. Страшнее криков этот вой. И ужасней стонов. Я согнулся, меня трясло, потому что я думал, что Сергеев сошёл с ума, или же он себя неудачно топором саданул.

Я согнулся, и через осыпавшийся вход забрался в землянку. Света там было достаточно, чтобы увидеть такую картину: Коля Сергеев сжался в воющий комок, а перед ним, между мной и им, на земле клубились змеи, и сколько их, шипящих и беззвучных, там было, я не смог понять.

Я истерически завизжал, так, что, наверное, полковник Якин в части подскочил. Я начал рубить змей сапёрной лопаткой. Каких порубил, не разбирая, сколько раз какую развалил, а много их куда-то уёрзнуло. И под сапоги они попадали тоже.

Мы вылезли в роскошные тюльпаны, нас долго, мучительно рвало. Мы были зелёные, в алых тюльпанах.

— Мне трибунал,—сказал Сергеев.

— Дурак ты,—сказал я.

Ну, я не так сказал.

Зимой того же года меня подвозили до части на гражданском автобусе, там тогда дорогу проложили к «двойке», объект такой, и когда стали видны огни родного батальона, я попросил остановить автобус. Вышел, автобус сразу уехал, и начался буран. Нет смысла описывать, перечитайте «Капитанскую дочку».

Я заблудился в этом буране, упал, стал замерзать. Уплывать в тепло и негу, как тот водитель-казах, до которого было ещё много лет жизни. Я в армии один раз попробовал анашу, после чего зарёкся, ума хватило, и вот эти ощущения—когда покуришь анаши, и когда замерзаешь—они довольно похожи, и ещё неизвестно, какое диковинней.

Я бы замёрз, в этом сомнения нет, но меня нашёл Коля Сергеев, совсем близко от части, примерно на таком отдалении, как змеиная землянка была. Я бы замёрз с гарантией, как цыплёнок в морозилке, но Коля, он мне потом рассказывал, он сердцем почувствовал, что я отдаю концы. Безошибочно на меня вышел, приволок на себе в часть. Никому почему-то ничего не сказал, а взял в каптёрке заветный одеколон, развёл водой, отчего одеколон сделался мутно-голубым, и я этот пахучий напиток употребил внутрь.

В жизни я таким пьяным не был. Напились мы с ним до хохота и всё вспоминали презренных гадюк, и как нас от страха смутило.

Так мы стали с Сергеевым братьями. Связались—куда крепче. Можно крепче, да дальше некуда.

А потом как-то стремительно жизнь понеслась. Я вышел в журналисты, а Коля Сергеев устроился трактористом, что он потом долго проклинал в длинных ко мне письмах в Москву. Всё жаловался на какое-то своё начальство, на бригадиров, агрономов. На председателя: все пьют, воруют, никто, гады, коммунизм не строит, хотя все предпосылки созданы.

Коля Сергеев там у себя довольно шумно спивался, и в новейшие времена, в конце двадцатого века, попивал не только самогон, но, конечно, и одеколон—дёшево и душисто.

Он и в Москве у меня бывал, всё допытывался, на какой я стороне баррикад?

Как ему объяснишь?

Да он, в сущности, прекрасно всё понимал, всё кусал себя за локоть. Издевался над собой, говорил, что, дурак, плохо строил коммунизм, непрочно вышло. Всё тех змей вспоминал, в особенности, когда пьян был. А пьян он был стратегически. Избрал себе такую сторону баррикады. Русское убежище от жизни.

Неприятности навалились и на моего директора в совхозе, у которого я был когда-то в командировке при развитом социализме, но я там был слепой, а он мне всё намекал, как коммунист коммунисту: между русскими и казахами—плохо.

Слал мне тоже письма в Москву, в одном из них было трагическое сообщение: его шофёр-казах всё-таки обкурился анашой и разбился на своём вечном «козле». По мусульманскому обычаю его в тот же день похоронили, придав телу соответствующее положение, сориентировав его на Мекку.

Но ведь и православные все в одну сторону головой ложатся, так что это—детали веры. И не более того. И не менее.

Спи, казах, и пусть тебя нежат гурии в твоём мусульманском раю.

Директор писал, что житья русским не стало, и что чеченцы всем дают дикого жару, включая титульную нацию. Все там пьют, русских жмут так, что пора домой, на историческую родину.

Ну, наверное, коли так.

Я их свёл, Сергеева и бывшего директора, и директор успел спастись от братьев-казахов и братьев-чеченов: продал там за копейки свой очень приличный дом казаху, машину у него отобрал чеченец—и директор уехал в Тамбовскую губернию, к Сергееву. Фермеры!

И вот он мне пишет: пришли мне журнал с твоей статьёй. У меня не сохранилась, когда я, русский оккупант, бежал из Казахстана, а статья была хорошая, про юбилей освоения целинных и залежных земель, и на фотографии, пишет, я там целинный директор, а не тамбовский «фермер» с голой ж…

Вот ведь как хорошо получилось: нашёлся у меня журнал!

Коля Сергеев умер в пятьдесят три года.

Я говорил вначале про жалость: никого мне в собачьей этой жизни не жалко. Такая собачья жизнь, что теперь во мне родилась уверенная надежда: всё должно пойти к лучшему. И в Чечне, красной от крови, и в Казахстане, где зимой бураны, летом пыльные бури, а весной такие тюльпаны—голова кружится. И реликтовые сосны там, наверное, всё ещё распластывают ветви в воющем ветре, и иголочки на тех ветвях крохотные—чтоб скупая влага не терялась в дикой степной жаре.

И в России всё пойдёт к лучшему.

Я знаю.

Жалко водителя-казаха.

Жалко Колю Сергеева—эх, до слёз жалко.

Жалко, как подумаю, и тех порубленных змей в землянке: что нам там было делать, зачем мы туда полезли?

Великие сосны

У моего одноклассника Феди был необыкновенный слух: посреди беготни и шума он вдруг останавливался как вкопанный, чуть вытягивал шею, поднимал руку, прося тишины, и мы слышали тогда в тёмно-зелёной свежей кроне тополя густое гудение самого первого майского жука. Бывало, Федя говорил: «Комар летит!»—и мы смеялись, не слыша никакого комара, но он обязательно прилетал да ещё впивался в шею, доказывая Федину правоту. Ещё Федя говорил, что слышит, как рыба в воде плывёт, но в это поверить никак нельзя было.

Теперь я думаю, что он, верно, слышал тихое шелестение струй в плавниках плотвичек и шуршание донного песка меж рачьими клешнями. Задним числом я склонен верить Феде, а в детстве мы ему веры давали мало, несмотря на то, что он всегда оказывался прав. Взять ту же рыбу, говорил Федя: не плывёт—значит, нечего было и удочку закидывать. Наверное, за этот необыкновенный слух мы и не любили его. То ли завидовали, то ли злились, что сам Федя не видел в своей способности слышать так чутко ничего особенного. Может, он жалел нас за тугоухость, может, просто не понимал, как можно не слышать слышимое.

Федя был приезжий, в посёлке он вместе с матерью появился перед самым сентябрём. Они перебрались сюда из какого-то медвежьего угла, мать устроилась работать на завод, а Федька попал в наш пятый класс и получил кличку «первобытный».

Было это так. Мы писали сочинение по картине Шишкина «Сосны». На следующий день Татьяна Семёновна, учительница литературы и русского языка, принесла в класс стопку наших тетрадей.

—Я проверила ваши сочинения, ребята. В основном тему русской природы вы раскрыли. Есть хорошие сочинения, мы к ним ещё вернёмся. Я хотела бы зачитать сочинение, которое написал Федя. Подумайте, ребята, над ним.

И стала читать: «В посёлок мы приехали не очень давно. Я хочу вернуться домой, у нас там так же хорошо, как на картине Шишкина «Сосны». У нас под соснами летают пчёлы размером с воробьёв. Они летают группами и по одной и пьют нектар из цветов, которые, как тарелки, большие. Цветы качаются над травой, а рядом золотое поле—это хлеб поспел, скоро уборка. Сосны достают до неба, любая сосна выше заводской трубы».

Тут все мы посмотрели в окна класса на эту трубу, которая возвышалась чуть не до облаков, соча чёрный редкий дым, и засмеялись.

Татьяна Семёновна недоуменно посмотрела на нас, сказала: «Тише, ребята!»—и продолжала: «Сосны такие большие, что на телеге вокруг сосны надо ехать целый день, и то не успеешь объехать до заката. Можно и заблудиться в этих цветах и деревьях, которые шумят и шумят, как живые. Да, они живые! Небо очень чистое, синее зимой и летом. Так у нас дома. Моя душа поёт и смеётся».

Когда Татьяна Семёновна кончила читать, класс уже рыдал от смеха, а Санька беспрерывно жужжал и вращал ладони вокруг ушей, показывая, как летают гигантские пчёлы.

Федька сидел насупившись, покраснев от обиды. Татьяна Сёменовна растерялась, потом закричала вдруг:

—Прекратите смеяться!

Она на нас редко кричала, поэтому все сразу смолкли и посмотрели на Федьку. Он встал и вышел из класса.

На следующий день его прижали-таки к стенке, требуя объяснить, где это он видел такие сосны, которые выше заводской трубы.

—У нас труба самая высокая в области,—говорил Санька,—а ты, дурак, пишешь, что сосны выше её.

—Пни вы горелые,—отвечал Федька,—это всё раньше было, в первобытные времена. Всё точно так было!

И Федьку окрестили первобытным.

Детство давно прошло, но странное дело—приезжая к матери домой, я нет-нет да и вспоминал эту историю. Мать рассказала мне, что Федька, отслужив в армии, пошёл работать на завод, построил дом, отказавшись от казённой квартиры, и остался таким же чудаком. Выйдет вечером под тополя и слушает часами, как майские жуки гудят, а увидит у кого-нибудь из детей сачок—тут же отнимет и сломает. Корову завёл, а мода на это дело в наших краях давно прошла. Все работают на заводе или на железной дороге, не до хозяйства, да и лень возиться со скотиной. Федька женился, но скоро развёлся—и всё, говорят, из-за этой коровы, жена её не хотела, говорила, что не желает в навозе красоту терять. Федька живёт как бобыль, и по-прежнему зовут его первобытным человеком.

Прошлым летом я выбрал две недели и опять приехал к матери. Летом тут так хорошо, как в детстве, и одно только мне мешало быть счастливым: больно хотелось поиграть в прятки, но об этом и заикаться нельзя было—взрослый дядя, и вдруг в прятки играть! Сумасшедший, скажут. А почему? Не знаю. В волейбол можно, а в прятки—ни-ни.

Зато в другом удовольствии, прежде малодоступном мне, я теперь не знал отказа. Через каждые два дня я брал весло, удочку, спички и шёл на рыбалку с ночёвкой. Поспав днём, я сидел почти всю ночь у костра, глядел на реку, на заводские огни, дробящиеся в её чёрном зеркале, на звёзды, осыпавшие небо, и думал, и думал, неизвестно, о чём, пока утренняя дремота не наваливалась незаметно и сладко—тогда я засыпал на какой-нибудь час, а с зарёй уже стоял по пояс в парной реке и смотрел на поплавок, сносимый тихим течением. Поймать редко чего удавалось—разве пяток окунишек, поэтому мать меня не понимала, считая, что главная моя цель—добыча. Однажды она купила на базаре пару крупных судаков, наварила ухи, думая, должно быть, что во мне играет честолюбие горожанина, непременно желающего ушицы, но и это не удержало меня от очередного похода.

Следующим вечером я опять сидел у реки в каком-то полузабытьи и чувствовал, что доносящийся с другого берега шум завода хотя и мешает слушать ночь, но я с ним потихоньку смиряюсь, перестаю замечать, как перестаёшь замечать со временем ход часов в комнате. Вдруг раздался стук уключин, тихий плеск весла, потом лодка с шорохом торкнулась носом в песок, и кто-то ступил в воду. Брякнула цепь о прикол, щёлкнул ключ, и от кромки воды, осыпая ногами сухой глинистый склон, поднялся ко мне под деревья невысокий мужичок в телогрейке и резиновых мокрых сапогах.

— Здорово вам,— сказал он вежливо.

Я поздоровался и подбросил веток в костёр. Огонь оживился и осветил лицо человека — это был Федя. Должно быть, он тоже сразу узнал меня — пригляделся мимолётно и протянул руку, снова здороваясь:

— Давно мы с тобой не виделись.

— Давно,— согласился я и вдруг поймал себя на мысли, что вроде не о чем разговаривать с ним, по крайней мере, в эти первые минуты неожиданной встречи.

— Тихо как,— сказал я.

— Завод грохочет,— откликнулся Федя. Тогда я вспомнил опять детство, Федин необыкновенный слух, наши игры, когда вдоль улицы в розовом свете летнего вечера долго после беготни стояла не разносимая безветрием нежная сухая пыль, такие же вечера у реки под большими тихими звездами, вспомнил наш класс, теперь уже разошедшийся по жизни в разные концы и пределы. И что-то вроде вины проснулось во мне, и я спросил:

— Федя, а помнишь, в пятом классе сочинение по Шишкину писали?

— Как не помнить, помню. Ещё бы. Хоть бы кто сообразил, что я чистую правду писал. Все смеяться скорей.

— Ну как же правду? Сосны выше трубы!

Он привстал на локте, потом сел.

— И ты не понял ничего! Да со мной это в детстве было, ещё до школы. Я сам был с подсолнечную шляпку, а всё помню: поехали с дедом в поле, сосны не хуже, чем на картине,— под небеса, пчёлы как вертолёты. Дед уснул на телеге, храпит — лошадь пугается. А я что — пупком сверкаю, смотрю, как паутины серебряные летят. Лошадь идёт, куда хочет, дед спит, а я забыл всё на свете — гляжу только на сосны, как они над телегой наклоняются, наклоняются, когда к ним ближе подъезжаешь — и вот сейчас упадут! Но не падают!

И, опять слушая Федю, подумал я, как давно всё это было — и сочинение, и Санька, и одноклассницы, которые давно повыходили замуж и народили детей.

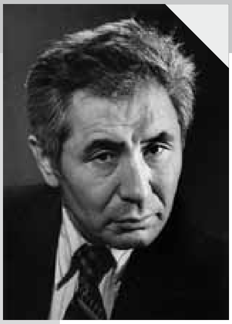
Я позавидовал Феде — ведь никогда мне не слышать мира так, как он слышит. Никогда. И я пожалел его: он один такой, и никто его не поймёт, и никто ему не простит редкого дара.

На заре я проснулся и, пока смотрел за медленным движением поплавка, плывущего в редком радужном тумане, Федя всё укладывал и укладывал, отказавшись от помощи, тяжёлые, пахучие охапки травы в свою небольшую лодку. Лодка огрузла, и головки цветов и стебли трав окунулись с бортов в воду.

Мы попрощались, и он уплыл, растаивая и увеличиваясь в тумане, только вёсла долго ещё были слышны мне.

...Я лёг на песок и закрыл глаза. Я увидел: вот в тёмном и тёплом сарае стоит сейчас тихая добрая скотина и ждёт, когда придёт добрый Федя. Он бросит ей охапку травы, возьмёт ведро и начнёт доить, сладко облегчая большое коровье вымя. Федя торопится, не хочет, чтобы кто-нибудь увидел, как он доит корову.

Сено ей он косит по ночам — чтобы не смеялись злые люди.



Рамис Рыскулов

Лебединый любодень

На Иссык-Куле

На Иссык-Куле лебедино—
По берегам и там, глубинно,
Где призрачен прозрачный день,
И в поднебесье лебедино.

Не облака в озёрной сини—
То лебединые гордыни
Скользят по волнам и лучам
Со дней древнейших и доныне.

Они живут—не обитают,
Летают с трепетом и тают
В затонах и моих глазах,—
Мои желания витают.

В дали с зелёной пеленою
Белеет лебедь неземною
Красой иль парус на ветру,
Платок, палатка ль под скалою?

О, белокрылых вольниц горны,
Поющие полёт и горы,
Лучи и облачные клубы,—
Мне любы, неизменно любы.
И лёт, и белокрылья сень,
Весь лебединый любодень
Мне суждены, как сло́ва су́дьбы.

Арбузы, плывущие по реке

(фрагмент)

Светлело межгорье, дождями омытое,
В реке полноводной, арбузами полная,
Качнулась арба—и о камни разбитые
Арбузы поплыли, подхвачены волнами.

…Поныне во взоре моём, осенённые
Долинного детства рассветными росами,
Арбузы плывут—тюбетейки зелёные,
Наполнены влажными алыми розами.

Перевод Евгения Колесникова

Я энергичен

Я энергичен,
мои вздуваются вены,
я энергичен,
видите: пульсируют артерии.
Берусь за многое—уверен, что, несомненно,
достигну многого—и не только в теории!

Порывисты, резки
    мои движения,
кости хрустят,
    если руку я пожимаю.
Бурлить—нормальное моё состояние.
Вечный двигатель—так я себя понимаю.

От бешеной радости
наливается силой тело,
    лечу, как яхта,
        грудью волну взрезая,
            небо проглатываю,
как беркут, легко и смело,
    громоподобный клич
        всей планете бросаю!

Глаза—как угли!
    Их не закрыть дремоте!
Лечу, обгоняя ветер,
    и всё мне мало!
Гепард в прыжке!
    Он вытянулся в полёте!—
Вот мой символ, вот воплощение идеала!

Перевод Марка Ватагина

Александр Громов

Паракало

Рукопись неизвестного автора, отредактированная и подготовленная к печати самарским издателем и писателем Александром Громовым

1.

…Проснулся я бодрым, свежим и в то же время с чувством, что не ложился спать вовсе, так, вздремнул чуть-чуть… Снова звёздочки-фонарики потекли к храму, снова мы вошли в храм, заполненный пустыми стасидиями, только в этот раз мне захотелось быть поближе к Царским вратам, и я нарушил покой установленных перед алтарём стасидий (в первом ряду занять место не дерзнул, а вот во второй пристроился), рядом со мной, через одно место, расположился монах—значит, можно и тут места занимать, успокоился я.

Всё складывалось хорошо.

Когда начали петь псалмы, я подумал, а почему бы мне не опереться на скамеечку в стасидии—смотрю, и монах, который рядом, тоже опёрся. Снова протяжно запели, бережно выводя каждую ноту. Это русская песня—долгий путь через степь и лес с приступами отчаянного веселья, а греческая—это лёгкое покачивание на волнах ласкового Эгейского моря.

Становилось светлее, передо мною возникли серые монахи, или это я уже мог различать их? Меня позвали, не голосом, а сам не знаю, как, но я откликнулся и пошёл за ними. Куда меня вели, зачем? Какая разница? Я чувствовал покой и никакого страха. Город какой… Белый город… Но древний и подзапущенный… И пустой… Только тени монахов впереди… Сомнение задело меня: откуда такой светлый город и вообще, что, собственно… ба! Да я внаглую сплю!

Ну, скажем, дремлю. Вот ведь, вроде чувствовал себя бодро, а укачало-таки на волнах. Это потому, что я улавливал только внешнюю сторону службы, но сам-то не молился.

Я оторвался от скамеечки и постарался вникнуть в службу. Снова стал узнавать слова, угадывать смысл песнопений и скоро догадался, что читают часы—неужели я и в самом деле выпал больше, чем на пятнадцать минут?

Бодря и благоухая, пошёл монах с кадильницей, а затем из алтаря раздалось: «Благослови». Дальше всё было знакомо и захватила нарастающая волна, словно нарастающий ритм сиртаки.

И вот уже выносят Чашу. И я, прожив эту Литургию и достигнув высшей её точки, хотел упасть на колени… но смог только положить руки на впереди стоящую стасидию… А те, кто стояли в стасидиях, расположенных вдоль стен, на колени встали. А монах, стоявший рядом, двинулся к причастию, и я признал в нём русского батюшку, скорее всего, это как раз один из московских, которые пришли в монастырь вечером. Ну вот, а я по нему сверял, когда можно присесть в стасидию. А батюшка, поди, на меня посматривал, так мы с ним всегда одновременно садились и вставали. Вот и наш сосед по келье причащается. Слава Богу.

Вышли из храма, когда купол и колокольня засияли небесно-розовым светом. Было прохладно. Но розовый свет всё более светлел, отливая золотом, всё ближе сходил к нам, и ощутимое вхождение в новый день, как рождение в новую жизнь, было восхитительно.

Трапеза для работников и паломников проходила на этот раз отдельно от братии, в подвальном этаже архондарика. Выстроившись в небольшую очередь, подходили к кастрюлям с едой, накладывали, кто чего желал, для розлива был установлен автомат—в общем, столовая эконом-класса. Никто за трапезой не читает. Земным повеяло.

Нет, конечно, нельзя сказать, что, оставшись без видимого присутствия монахов, мы стали уж шибко вольно вести себя—за столами царило братское желание быть полезным, послужить, но какая-то расслабленность чувствовалась. Словно у нас вечер пятницы. А на самом-то деле—вторник, утро.

Поднялись в кельи. Алексей Иванович, уже не особо стесняясь, достал папиросы и ушёл, а я прилёг на кроватку и задремал, пригретый заглянувшим в окошко солнышком.

Первый раз я пожалел, что Алексей Иванович так быстро курит. Нет, его, конечно, тоже понять можно: у меня, видимо, было такое счастливое лицо, что это не могло не возмутить. Ну да, весь мир чем-то занимается, суетится, укладывается, а я тут, понимаете ли, блаженствую.

— О! Развалился тут! (Хотя я лежал тихонечко, молитвенно сложив ручки на груди.) Давай вставай, нас выселяют. (Господи, как грубо.)

— Куда нам торопиться?—попытался сопротивляться я.—До Кутлумуша-то минут двадцать…

— Сколько бы ни было—расчётное время.

Хоть слово «выселяют» и резковатое, но, в общем-то, верное, нас и в самом деле попросили: надо прибирать комнаты, приготовить их для новых гостей, а нам—в путь, в каждом монастыре можно переночевать только одну ночь.

Монастырский дворик окатил бодростью и светом. Мы нашли лавочку под раскидистым деревом и стали ждать Саньков.

На леса, обступившие храм, полезли строители, несколько человек пронесли большую кастрюлю, показался молодой иеромонах, более похожий на колхозного учётчика, важного и для сельского хозяйства обременительного.

— Пойдём благословимся,—предложил Алексей Иванович.

Мы подошли, иеромонах благословил, улыбнулся и что-то пожелал нам по-гречески. Мы тоже—что-то по-русски. Иеромонах ещё раз перекрестил нас и двинулся было своей дорогой, но тут Алексей Иванович возопил:
—Илеос![1]
Даже я вздрогнул, не говоря уж о монахе—тот посмотрел в нашу сторону с опаской. А Алексей Иванович, перебивая русское причитание исковерканными греческими словами, схватился за монаха.
—Нам бы маслица, батюшка, отче, падре, илеос, илеос.
—А, елей,—догадался монах.
—Ес, ес,—вырвалось у Алексея Ивановича из глубин пострадавшего от общей американизации сознания.
«Я, я, натюрлих»,—мысленно поддержал я товарища.
Иеромонах немного успокоился, снова улыбнулся и показал на храм над воротами скита. Мы закивали головами: понятно, что масло в храме. Иеромонах, оставляя вытянутой в сторону храма руку, махнул ею пару раз, мол, ну и идите туда, но мы строго держались батюшки. Тот наконец опустил руку, вздохнул, улыбнулся и пожалел нас. А как быть с неразумными детьми? Он повернул к храму, мы—за ним. Когда поднялись на второй этаж, он оставил нас в притворе—в самом храме шла уборка—и ушёл.
—Просить надо,—зашептал Алексей Иванович.—Всегда просить надо. Это мне духовник говорил. Бес учил: никогда ничего не проси. Это—гордыня.
Минуты через две иеромонах вышел и протянул нам два маленьких пузырёчка. Как мы его благодарили! Он тоже расчувствовался, что-то всё желал нам и несколько раз благословил. Из храма мы вышли счастливые донельзя.
—Вот теперь можно и в путь!—удовлетворённо изрёк Алексей Иванович.
Возле лавочки мы обрели не только оставленные рюкзаки, но и Саньков, и не преминули похвастаться пузырьками. Лучше бы мы этого не делали—вид у них стал… мы и причастились, и маслица добыли… Чувство незаслуженных наград перевесило чувство обладания, и мы указали, где и как можно получить маслице. Саньки убежали, а мы остались опять под деревом. Солнышко припекало всё больше и больше. Благодать! Появились четверо москвичей.
—Идите быстрее в храм,—наставительно сказал Алексей Иванович.—Там батюшка масло раздаёт. Скажете: «Илеос».
«Если что, скажите, от нас»,—я не произнёс—подумал.
Только ушли москвичи, появились довольные Саньки, а я представил иеромонаха, когда он увидит очередную делегацию с прошением об «илеосе».
—Ну что, пошли?
—Пошли!
—Слава Богу!
Мы вышли из ворот Андреевского скита, перекрестились, земно поклонились так чудесно принявшей нас обители и ступили на дорогу в Карею.

2.

На дорожном просторе новое открытие ждало нас—мы увидели Гору. Только на третий день Господь открыл нам её.
Чёткий треугольник, словно нимб с древних икон, белоснежно сиял перед нами. Его вершина истончалась в небе, и мы настолько ясно видели её, что, казалось, различали все складочки, все тропки, все камешки и трещинки на них…
Мы замерли… Гора поражала своим величием, манила и вместе с тем казалась недостижимой. В то же время мы точно знали, что на неё восходят паломники, там стоит крест, и есть келейка, где можно переночевать[2]. Но неужели это возможно?
—Вот куда идти-то надо…—произнёс Алексей Иванович.
И это «куда надо идти» прозвучало не как идти именно на вершину Афонской горы, а как жизненный путь, вершина которого должна так же истончаться в небе…
Невесть откуда набежавшее облачко закрыло Гору. Довольно с нас, стало быть, и этого.
Сфотографировались на фоне Горы, прикрытой облачком, и побрели в Карею. Шли, почти не разговаривая. Появившееся чувство вины и досады на самого себя не оставляло. Сколько раз Господь ясно указывал путь. И всякий раз утешал себя тем, что слаб, немощен, что стараюсь исполнять, но по мере сил…
Господи, как мы глупы, когда, приходя на исповедь, чуть не радуясь, сообщаем: слаб я, батюшка… И какое-то даже удовольствие от этого испытываем: вот, мол, слаб, что с меня взять… И правда, нечего… Пустоцвет. Откуда же ангелы понесут Ему нектар?
Грустная дорога у нас получилась… Хотя день был светел, море лазурно, даже птички пели, а Карея встретила столичной суетой на местный лад: с десяток паломников не спеша переходили из лавки в лавку, пара человек сидела непосредственно возле лавок, несколько монахов ждали автобуса, ленивыми стайками курсировали коты.
На площади мы попрощались с Саньками. Они остались ждать открытия протата, а мы пошли в Кутлумуш. Расставание, как и дорога, вышло грустным. Я почему-то был уверен, что мы уже не встретимся. Санёк-питерский всё пытался что-то подарить на память из множества вещей, которые, непонятно каким образом, вмещались в его небольшой рюкзачок, Санёк-московский и Алексей Иванович обменивались адресами…
Когда мы уже стояли у заветной кутлумушской калитки, Алексей Иванович, приободрившись, сказал:
—Вот, послал Господь друзей в нужное время. Что бы мы без Саньков делали в Пантелеимоне

1. Масло *(греч.)*
2. На небольшой площадке вершины Афона (2033 метра) находится храм Преображения Господня. Он невелик размерами, но является одним из наиболее значительных высокогорных храмов. Подле него—массивный крест. Праздничная служба совершается здесь раз в году, но храм всегда открыт.

и в скиту? А теперь нас ждёт монахус Серафим, он нам всё расскажет,—и потянул калитку на себя.

Она, разумеется, не открылась.

3.

Алексей Иванович—человек впечатлительный, для него, как, впрочем, и для всякого православного, есть Промысл Божий, а случайностей—нет. Поэтому, когда калиточка не открылась, он тут же покрылся потом и затряс калиточку, повторяя:

—Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

Оказалось, что калиточка замкнута на небольшой крючок, какой раньше, до эпохи евроремонта, присутствовал почти в каждой ванной комнате коммунальных квартир.

Слава Богу, что не оторвал, крючочек-то легко открывался. Алексей Иванович вытер пот, и мы вошли.

Первое ощущение было, что попали в образцово-показательное садоводческое хозяйство, так сказать, для своих. По левую руку от нас аккуратными рядами наблюдались культурные посадки то ли маслин, то ли других плодоносящих, перемежалось это всё лужайками, клумбами и беседками. По правую руку почти отвесной стеной поднималась гора—храма видно не было. Мы даже засомневались, а не заплутали ли опять? Впрочем, впереди виднелось строение тёмно-красного цвета, не тусклого, как наши водонапорные башни почти на всех полустанках, а насыщенного, живого. На имевшейся у нас карте Кутлумуш был представлен как раз в таких тонах, более того, в одном из путеводителей писалось, что Кутлумуш выделяется из всех монастырей Афона именно необычным тёмно-красным цветом построек. А вообще-то это один из самых древних монастырей Афона. Построен греками и греческим всегда оставался.[3] Это нас нисколько не смущало, во-первых, мы были уверены, что попадём под покровительство монаха Серафима, во-вторых, тоскливые воспоминания о чувствах инородца, испытанные в архондарике Андреевского скита, притупились, ну а в-третьих, мы были «русия ортодокс», что, как нам представлялось, соответствует званию особо почётного гостя. Мне почему-то сейчас подумалось, что американцы, когда куда-нибудь лезут, тоже так о себе думают.

Ну, Бог с ними, с американцами, нам бы с собой разобраться. Кстати, приземистый дом, закрасневшийся впереди нас, оказался жилым и обитали там явно не монахи. Зато, обогнув его, мы обнаружили стену, похожую на монастырскую, и, пройдя вдоль, вышли к красивым воротам с колоннами. Напротив ворот была чудная увитая зеленью каменная беседка, в глубине которой журчал родничок. Асфальтовая дорожка, по которой мы шли, закончилась, началась брусчатка. Ну, слава Богу!

Ворота были распахнуты и открывали путь через тёмную узкую арку, какие любят изображать фантастические писатели для перенесения героев из одного времени в другое. В арке веяло холодом и пахло подземельем, на стенах едва различимые росписи, двери (обычно одна из дверей ведёт в церковную лавку), чуть более десятка шагов и мы… в самом деле оказались в другом времени.

В каком веке? Бог весть. Только я чувствовал, что здесь так же было и сто лет назад, и двести, и триста. Понятие времени потеряло смысл.

Перед нами стоял храм из тёмно-красного кирпича. Невысокий, но крепкий и основательный, как крестьянский сын. Храм не был, как у нас в России, «увенчан шапкой купола», а скорее, прикрыт подобием восточной тюбетейки. Но с крестом. Напротив храма устремлялось ввысь здание, похожее на часовню, пожалуй, единственное, в котором красный цвет не преобладал. Всё это окружали близко подступающие трёхэтажные помещения из того же тёмно-красного кирпича, ровными рядами окон они напоминали (прости, Господи) тюремную стену. Из-за того, что стены были высоки, а площадь мала, солнце почти не проникало внутрь, и сразу показалось, что здесь холоднее и суровее, чем с той стороны арки.

Пока мы несколько минут оглядывались, привыкая ко времени и месту, ни единое живое существо не дало о себе знать. Никакой Серафим с распростёртыми объятиями нас не встречал. И куда теперь? Я почувствовал себя несколько неуютно. Хотя, что такого? С нами Бог. Он привёл в монастырь. Чего нам бояться? Разве что своих грехов? Но вот этого-то мы почему-то никогда и не боимся.

Должна же быть где-нибудь табличка! И я увидел её, только такая уж она была неприметная, словно завалялась тут со времён самых первых олимпийских игр, и я не прочитал, а угадал слово, ставшее для нас в последнее время одним из самых жизненно необходимых: «архондарик». Стрелка указывала на дверь в стене за нашими спинами. Мы развернулись и вошли внутрь.

Вот—здравствуйте, опять метание во времени, и я невольно опустился на изящный деревянный стульчик, которыми было уставлено пространство залы, больше похожей на восточное кафе в полуденные часы. Так же пахло кофе и пряностями, так же было малолюдно, но всё было готово в любой момент ожить и задвигаться—дай только повод. И тут вошли мы. Люди за столиками сразу загалдели, словно их тут не четверо, а сорок. За барной стойкой сидевший на самом высоком стульчике монах стал громко отдавать команды кому-то в открытую кухонную дверь,

3. Разные источники указывают на существование монастыря возле Кареи до 1000 г. Впоследствии он пришёл в запустение или был разрушен и уже в 1279 году или в начале лета 1280 года построен был новый монастырь подле Кареи преподобным иноком Дионисием, по прозванию Кутлумушец, потому что он родился в фессалийском селе Кутлумуш. Во второй половине XIV века монастырь стал получать существенную помощь от придунайских княжеств, вследствие чего румынских насельников в монастыре стало больше, чем греческих. Из-за чего даже возник конфликт и настоятелю Харитону пришлось обращаться с жалобой к главному благоустроителю обители правителю Угро-Влахии Владиславу и тот пообещал, что преимущество всегда останется за греками. Главный храм монастыря освящён в честь Преображения Господня. В 1497 году он почти дотла сгорел в сильном пожаре, но был восстановлен благодаря щедрости правителей дунайских стран.

потом ответил сидящим за столиком, потом пред ним предстал другой монах, поменьше, и высокий то ли отчитал, то ли похвалил его — в общем, видно было, что именно он руководит тут процессом. На нас он даже не взглянул.

Мы сели за один из столиков.

Через некоторое время захотелось обратно на пустынную площадь. В Андреевском скиту с нами хоть попытались заговорить, а тут игнорировали напрочь.

Минут через пять Алексей Иванович произнёс:
— Может, у них кофе спросить?
— Спроси, — кивнул я на высокого руководителя.

Алексей Иванович насупился.

Вошли ещё двое паломников. Греки. Поставили рюкзачки у входа. Сели за столик, сказали что-то. Высокий кивнул, гаркнул в ответ, и скоро из кухоньки показался молодой человек с подносом, на котором стояли чашки с кофе и лукум. Пройдя мимо нас, он поставил поднос на столик только что пришедшим и ретировался обратно за стойку.

Через несколько минут он появился снова. Алексей Иванович не выдержал и, когда тот нечаянно к нам приблизился, схватил его за рукав.
— Кафе, кафе…

Тот сделал удивлённые глаза, мол, откуда это мы тут, но улыбнулся, что-то ответил и жестом дал понять, мол, ждите. Ну ладно, сидим дальше.

Н-да, время обрело формы, оно тянулось, как американская резинка, которую уже и жевать противно, а выплюнуть почему-то жалко. Появился другой монах, по-афонски улыбчивый и не такой чёрный, как их руководитель. Из его слов мы уловили знакомое «диамонитирион» и торопливо полезли по карманам, словно гости Москвы, остановленные бдительной милицией.

Монах повертел в руках наши бумажки и, не переставая улыбаться, скорбно вздохнул. Видимо, о несовершенстве мира. И направился показывать наши афонские паспорта начальствующему чёрному монаху. Тот тоже пренебрежительно повертел их перед глазами и вернул монаху как предмет, не заслуживающий внимания. Монах попытался возразить, разведя в сторону руками, но начальствующий прервал его резко и безапелляционно. Второй монах стоял, виновато потупившись, наши диамонитирионы повисли у него в руках, как безнадёжные экзаменационные листы, исправить которые нет никакой возможности.
— Хоть бы кофе дали… — обречённо глядя на бесполезные диамонитирионы, проговорил Алексей Иванович.

А я начал молиться, сам не зная, о чём: не пустят, так не пустят, пойдём искать ночлег, лишь бы быстрее разрешилось всё.

Монах с диамонитирионами подошёл к нам, но Алексей Иванович опередил его:
— Нам бы только посылку передать, доро, доро, монахус Серафимус, и уйдём, вот только доро отдать, ну и кофе на дорожку…

Монах протянул нам диамонитирионы и произнёс что-то ободряющее, наверное, пожелал доброго пути. Появился молодой человек с подносом, на котором стояли две чашечки кофе, два стакана с водой и тарелочка с лукумом, и, к нашему удивлению, поставил всё это перед нами и, белозубо улыбнувшись, дал понять, что можно вкушать. Монах, вернувший нам диамонитирионы, тоже жестом пояснил: мол, кушайте, кушайте, не буду вам мешать, и отошёл.
— И на том спасибо, — поблагодарил Алексей Иванович.

Кофе был отменный, не зря тут у них профессиональная стойка. Мы тянули его медленно. Если честно, уходить не хотелось.

С улицы вошёл ещё монах, молодой, высокий, как показалось, неуклюжий и чем-то напуганный. Точнее, не напуганный, а лицо его как бы недоумевало и вопрошало: как же это могло случиться, почему, отчего? Он существенно отличался от всех в зале русой бородёнкой, белым лицом и голубыми глазами в допотопных очёчках, больше похожих на пенсне. Во всём облике вошедшего монаха угадывалось родное, этакий удивлённый платоновский чудик. Он подошёл к стойке, начальствующий гаркнул, а второй объяснил и монах, повернувшись к нам и не переставая изумляться, стал нас рассматривать. Мы дружно перестали пить кофе и потупились. А монах двинулся к нам, но уже глядя поверх нас, потом остановился, обрадовался, словно что-то наконец нашёл там, наверху, посмотрел на нас и, снова недоумевая, как такое могло случиться, спросил:
— Русия?
— Да! Да! — обрадовались мы и Алексей Иванович начал про «доро», «монахуса Серафимуса», и что, мол, сейчас отдадим посылку и свалим, раз у вас тут с местами туго.
— Изограф? — вдруг спросил монах.
— Чего? — не понял Алексей Иванович и тоже недоумённо посмотрел на меня.
— Он спрашивает, — пояснил я, — Серафим твой — художник?
— Да, художник, — ответил Алексей Иванович. — То есть иконописец.
— Нэ[4], изограф, — перевёл я удивлённому монаху.

Тот удивился ещё больше и, покачивая головой, направился в сторону двери и вышел.
— Ну, и что теперь делать? — ей-Богу, он уже начал доставать этим испортившим жизнь России вопросом.
— Кофе пить.
— Я уже выпил.
— Лукум поешь.
— Он сладкий.
— Сходи покури.
— Да отстань ты.

И в самом деле, чего это я?
— Давай карту посмотрим, — примирительно предложил я. — Куда пойдём-то? — и мы склонились над картой, хотя по большому счёту было всё равно, куда идти, да и в карте этой мы ничего не понимали.

Снова открылись двери, и снова появился раз и навсегда удивлённый монах, а с ним, судя по строгой чёрной бороде и смуглому лицу, — грек… И всё же некая утончённость сквозила в его лице, и смуглость эта, и правильная борода словно покрывали прошлое.

4. Да *(греч.)*.

Они подошли к нам. Мы встали.

— Монах Серафим,— представил смуглого монаха русоволосый и отошёл.

— Батюшка!— возликовал Алексей Иванович.

Монах смущённо заулыбался, показывая на уши, и приложил палец к губам. Алексей Иванович сообразил, что такое бурное выражение эмоций не совсем уместно, хотя вон местным позволяется, и, перейдя на заговорщический шёпот, усадил монаха подле себя и принялся обстоятельно рассказывать о наших паломнических трудах и передавать поклоны.

Монах смущался всё больше, жестами попытался что-то объяснить, потом достал блокнот, карандаш, написал что-то и протянул блокнот Алексею Ивановичу. Тот прочитал и посмотрел на меня с такой тоской и отчаянием, что я невольно напрягся, быстро пытаясь сообразить, что может быть хуже отказа в ночлеге.

— Он— глухонемой,— сказал Алексей Иванович, показывая мне листок блокнота.

— Ну, вот и поговорили,— выдохнул я.

Монах Серафим закивал головой.

4.

Впрочем, всё оказалось не так уж и трагично. Это поначалу Алексей Иванович (на правах земляка с Серафимом общался в основном он) разговаривал голосом мастера прокатного цеха. Греки в зале сначала притихли, а потом поуходили вовсе. Серафим же, увидев открывающийся рот собеседника, подставлял блокнот и протягивал карандаш. Вынужденный заняться писанием Алексей Иванович быстро успокоился и перешёл на бормотание, поясняя мне, что пишет. Листков в блокноте было немного, писать карандашом— занятие мучительное, так что Алексей Иванович в своих записках был литературно краток. Вполне возможно, что эти афонские записки— лучшее из пока написанного им.

— Так, это не надо… Это— ладно, а, вот: «У нас построили новый храм».

Литература вообще дисциплинирует. Жаль, немногих.

А монах Серафим оказался не такой уж и немой. Прочитав написанное Алексеем Ивановичем, он отвечал тихо и мало, слова ему давались с трудом, словно нужно было сделать усилие, чтобы вспомнить. Тем не менее вынужденное немногословие беседы-переписки оказалось весьма полезным. Нас записали в местную большую книжицу и определили на жильё, потом мы узнали расписание: через три часа читается акафист Богородице, потом— трапеза и небольшой отдых, потом— служба, следом— отдых часов пять и— Литургия. В конце чтения акафиста будут выносить святыни монастыря, день сегодня постный, поэтому можно готовиться к причастию. Ещё мы узнали, что совсем рядом находится калива, где подвизался Паисий Святогорец[5], и как раз до акафиста мы успеем туда сходить. Конечно, мы изъявили желание. Серафим, правда, проводить нас не мог— в иконописной мастерской его ждало послушание.

Мы искренне и сердечно благодарили Серафима. Алексей Иванович бодро написал: мол, идите, мы тут теперь сами разберёмся (как мы быстро воспряли!), но Серафим всё-таки повёл нас устраиваться.

Снова оказались на монастырском дворе. Солнце, пока мы сидели в архондарике, поднялось высоко и залило двор почти полностью, так что он уже не казался холодным и суровым. Да и как может быть холодно и сурово, когда жильём обеспечен, трапезой тоже— живи и радуйся. Бога только благодарить не забывай.

Прошли мимо приземистого главного храма, розовой часовни, которая оказалась трапезной, и поднялись по деревянной лестнице жилого корпуса. Сам корпус и есть стена монастыря, дверь выходит на внутренний двор, окно— на другую сторону. С внутренней же стороны монументальное здание, стены которого, наверное, не менее метра толщины, обступают деревянные террасы, которые напоминают строительные леса, только, конечно, более основательные, но всё-таки кажутся, особенно в сравнении с древними мощными стенами, жиденькими и ненадёжными.

На втором этаже нас встретил уже знакомый русоволосый монах, который, увидев нас, удивлённо покачал головой.

На самом деле он нас ждал и уже приготовил келью. Монах Серафим ещё раз извинился, что ему надо идти на послушание, попросил дождаться его, он покажет, как пройти к каливе Паисия. И мы пошли за русоволосым монахом.

С широких строительных лесов переступили на узенькую каменную терраску ещё давних времён, а затем оказались в весьма современного образца номере гостинички общежительного типа. Это когда небольшая прихожая объединяет несколько комнат. Наш провожатый не преминул удивиться такому устройству, будто первый раз видел, и открыл одну из дверей.

Чистенькая светленькая комнатка, даже большеватая для двух кроватей. И высокая. Наверху окно, судя по нему, насчёт метровых стен я загнул, но полметра в ширину— точно. В окне качалась

5. Старец Паисий, в миру Арсений Езнепидис, родился в Фарасах Каппадокийских, в Малой Азии, 25 июля 1924 года. После армии Арсений сразу ушёл на Святую Гору Афон. В 1950 году он стал послушником благодатного духовника, отца Кирилла, впоследствии игумена монастыря Кутлумуш († 1968). В 1956 году принял постриг в малую схиму с именем Паисий. С мая 1978 года о. Паисий поселился в келлии Панагуда святой обители Кутлумуш. Сюда к Старцу потянулись тысячи людей. Ежедневно, от восхода до заката, он советовал, утешал, решал людские проблемы, изгонял всякое стеснение и наполнял души верою, надеждою и любовью к Богу. Для всей Греции Старец стал духовным магнитом, вытягивающим скорбь болезнующих людей. Принимая тяготы притекающих людей, Старец мало-помалу стал изнемогать телесно. В октябре 1993 года Старец поехал с Горы Афон в монастырь св. Иоанна Богослова в Суроти. 12 июля 1994 года Старец предал свою преподобную душу Господу. Старец почил и был погребён в монастыре святого Иоанна Богослова в Суроти Солунской и место его погребения стало святыней для всего православного мира. В России широко известны 5 томов Слов старца Паисия, изданных издательским домом «Святая Гора» (Москва) в 2003–2008 гг.

зелёная листва и слышалось тенькание птичек. При входе стояли тапочки.

Я почему-то сразу вспомнил, как Бог сказал Моисею: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, свято», и ещё вспомнил, как Владимир Крупин ходил по Иерусалиму босиком.

Но это было так великолепно — тапочки! И несмотря на то, что у нас с Алексеем Ивановичем имелись свои, мы предпочли переобуться в монастырские. Когда сопровождавший нас монах ушёл, я плюхнулся на кровать. Блаженство! Как всё хорошо! Слава Тебе, Господи!

Ну, разве мог я предполагать, что побываю в каливе Паисия?! Где-то с полгода назад я прочитал его Слова и пришёл в восторг.

«Вот это настоящий писатель, — говорил я знакомым. — Вот настоящая литература, без лукавства, без мудрований и в то же время лёгкая, без натуженного тумана, когда пытаются скрыть незнание предмета, и в то же время какая образная и метафоричная!»

Каюсь, я больше восхищался старцем Паисием как писателем.

Но чем больше узнавал о нём, о его жизни, тем больше проникался любовью к старцу. Уже не как к писателю, которым он, собственно, никогда и не был, все его слова и поучения были записаны кем-то или взяты из писем, а как к человеку Божьему.

И вот Божиим Промыслом я оказался буквально в двух шагах от места, где жил старец, куда к нему стекалось множество людей.

Мы оставили вещи и вышли на террасу. Там нас уже ждал Серафим. Он вывел нас за ворота монастыря и показал на предгорье, которое издалека казалось ровным и зелёным, как английский газон, на котором то тут, то там виднелись небольшие беленькие домики — это были каливы.

Мы несколько раз переспросили, Серафим несколько раз повторил про поворот с асфальтовой дороги, про развилку, про мостик и Божию помощь. Ещё он напомнил про акафист Богородице.

Серафим оставил нас (эх, сколько смысла в этой фразе!) и отправился исполнять послушание, а мы — радостные тем, как всё удачно оборачивается, сбросившие рюкзаки и попечение о сегодняшнем дне — пошли вниз по асфальтовой дороге.

Какой день подарил Господь! Солнышко, лёгкий ветерок, зелень леса… Нет, столько благодати нельзя сразу давать, по крайней мере таким, как мы.

Для начала мы свернули не там. Да, был поворот, и как раз направо, перегораживал его закрытый шлагбаум с непонятной надписью на греческом, и мы почему-то решили, что если перегорожено, то, значит, нам как раз туда и надо. Мы обошли шлагбаум и пошли уже по дорожке из щебня, которая сразу стала забирать вверх и в сторону от нужного нам направления. Впрочем, пока мы не волновались. И столько интересного вокруг — вот дерево с плодами.

— Это же оливки! — воскликнул Алексей Иванович. — Ты видел, как растут оливки?

Я не видел. Алексей Иванович — тоже, но почему-то был уверен, что это именно они, впрочем, они в самом деле были похожи на те, что продают у нас в консервных банках.

— Давай попробуем, — и он, сорвав парочку, одну сунул мне в руку, а другую себе в рот.

Простите за гордость, но я оказался умнее и продолжал держать предложенный плод в руках. Алексея Ивановича же так перекосило, как ни одно кривое зеркало не отобразит. И это человека, который горький перец ест, как огурцы.

Он долго плевался, запить у нас, конечно, ничего не оказалось, так что, дабы перебить горечь, пришлось курить.[6]

— А вдруг она оказалась бы сладка во чреве твоём?[7]

Алексей Иванович недобро посмотрел на меня, спрятал окурок в карман и сказал:

— Не туда мы идём.

Я и сам уже понимал, что не туда, но жалко стало пройденного пути, и я предложил дойти до небольшого домика, который виднелся впереди, благо время позволяло.

Мы поднялись немного и вышли к домику, в сравнении с которым украинская хата выглядит и богаче, и поосанистее. А этот, скорее, походил на домик бедных рыбаков. Отчего-то сначала вспомнился Старик и море, потом подумал: ловцы человеков[8], а перед ними — людское море…

Никто не вышел к нам, никто не стал нас ловить. Мы обошли вокруг домика и двинулись обратной дорогой. Проходя мимо места вкушения плодов, Алексей Иванович произнёс:

— А ведь батюшка мой говорил: ничего на Афоне без благословения не делай, даже палки с земли не поднимай, а я полез оливки есть. Ладно хоть не отравился.

— Это часа через два станет ясно. Да не переживай ты так, — видя, как помрачнел Алексей Иванович, постарался я исправиться, — там как раз акафист Богородице читать начнут, всем монастырём и отмолят тебя… если что.

До шлагбаума мы шли молча. И хорошо. Вот за что я люблю Алексея Ивановича — он никогда не обижается. Почти.

Вернувшись на асфальтовую дорогу, мы пропустили вперёд себя группу молодых греков весьма причудливой наружности. Словно пять молодёжных неформальных движений (если, конечно, Греция таковыми страдает) выделили по своему делегату и отправили на Афон: дескать, узнайте, чуваки, как там дела у наших старцев, не перевелись ли ещё на земле греческой? Один — с хаером,

6. Есть сырые оливки невозможно — страшная горечь. Чтобы избавиться от неё, плоды моют, затем помещают в соляной раствор — без специй и добавок или просто засыпают солью. Затем консервируют. Чёрные готовятся дольше зелёных. Пять месяцев они лежат в соляном растворе при 10 градусах тепла, затем вынимаются и проветриваются сутки на свежем воздухе, чтобы пошёл процесс лёгкого окисления, после чего попадают в жестянку. Технология засолки и вымачивания не изменилась с давних времён.

7. «И взял я книжку из руки Ангела, и съел её; и она в устах моих была сладка, как мёд; когда же съел её, то горько стало во чреве моём» *(Откр. 10:10)*.

8. «И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» *(Марк 1:17)*.

другой — лысый, третий — в заклёпках, четвёртый — одетый во всё яркое, как гвинейский петух, пятый — в джинсовке и очках (ладно хоть не в пиджаке и галстуке). По-моему, они находились в том же беспечном настроении, что и мы двадцать минут назад.

— Посмотрим, куда они идут, — предложил Алексей Иванович.

Ну, те мимо шлагбаума прошли, даже не задумываясь. Европа, никакой творческой логики: если шлагбаум закрыт, так чего туда лезть? Зато, отойдя от нас метров на пятьдесят, молодёжь заспорила. Потом группа разделилась, и двое ушли вперёд. Когда разведчики вернулись, компания, как это принято у южных народов, ещё погалдела и свернула с асфальта.

— За ними, — сказал Алексей Иванович.

Дойдя до места дороги, где пропала греческая молодёжь, мы приметили небольшую воткнутую в землю дощечку. У нас похожие втыкают на кладбищах на свежие могилы. Но здесь номерков не было, а была стрелочка, которая не то указывала, а скорее, намекала на небольшую тропку, спускающуюся вниз от дороги.

Никогда бы не подумал, что это тропка к келье почитаемого старца, мне представлялось, что дорога к нему должна быть, если не асфальтовая, то широкая и утоптанная. Ну, как говорится, узкими вратами…

Не хотелось выглядеть совсем несамостоятельными в глазах юношей, и мы поотстали, да оно и потише стало. И как вам оказаться в ноябре в чудесном зелёном лесу!

Но тут тропинка, словно язык змеи, раздвоилась. Юношей слышно не было, мы призадумались. Алексей Иванович забрался на пенёк, чтобы лучше разглядеть сквозь листву беленький домик старца.

— По-моему, туда…

По моим ощущениям, тоже надо было идти по тропинке, уходящей влево. Мы пошли быстрее, надеясь нагнать юношей, но скоро вышли на ещё одно раздвоение тропинки.

— Надо было направо идти, — скорее задумался, чем решил Алексей Иванович.

— Правильно, — поддержал я. — Ибо сказано: правыми путями ходите…

Алексею Ивановичу не нравилось моё к месту и не к месту поминание Священного Писания, он неодобрительно покачал головой, но шагнул вправо. Попалось ещё ответвление, но мы прошли мимо, ещё одно — мимо…

— Кажется, мы не туда идём, — не первый раз за этот день определил Алексей Иванович.

— Да мы вообще заблудились, — конкретизировал я. — Возвращаться надо… если сможем, конечно… Время-то, — я показал на часы, — мы уже минут сорок бродим.

— Молиться надо начинать.

Мы повернули назад.

Иисусова молитва имеет удивительное свойство (вообще у неё много самых наиудивительнейших свойств, но сейчас об одном): если начинаешь творить её внимательно и с чувством (а у меня чувство появилось, потому что я ясно осознал, что с нашей беспечностью мы оставили Бога, и Бог теперь мог оставить нас — это страшно, и плутание вокруг каливы Паисия нам попущено не случайно, а чтобы опамятовали), то через какое-то время молитва начинает жить как бы отдельно от тебя. Это трудно объяснить (да и невозможно), но если уж взялся писать…

Молитва словно разделяется, она остаётся в тебе и в то же время вырастает рядом с тобой, она ведёт. И ты чувствуешь её как спутника, и вместе с тем она осталась в тебе. Ты чувствуешь это общее, хоть оно и разделено телесной оболочкой, и открывается возможность совсем по-иному видеть мир, не своими глазами, и вообще не зрением, а другим, более видящим, и вдруг понимаешь, что можешь рассуждать, думать о мирском, но мягче, спокойнее, бесстрастнее, и рядом, и в тебе само собой повторяется: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».

Фу-ух, не Толстой, конечно, но как уж смог…

И тут за очередным изгибом тропинки мы наткнулись на греческую молодёжь, притихшую в некоторой растерянности.

Мы как шли, так, не останавливаясь, и продолжили шествие. Юноши посторонились, а затем пристроились за нами. Я, находившийся впереди, гордо оглянул шествующее за мной партизанское войско и вдруг почувствовал, что не знаю, куда идти, — я потерял молитву.

— А вот и мостик, — сказал Алексей Иванович.

Слава Богу. И впрямь — впереди зияла трещина, по которой щебетал ручеёк, а через трещину — деревянный мостик. Сооружение явно являлось архитектурно-историческим памятником какого-нибудь надцатого века, но на Афоне нет времени. Поэтому главная функция данного сооружения состояла не в том, чтобы вокруг него ахали и восхищались: ах, такой-то век, ах, сам святой своими ручками строил — а в том, чтобы по нему можно было перейти расщелину. И потому дощечки, приходившие в негодность (даже если их делали ручки какого-нибудь святого), заменялись другими (тоже трудами других подвижников), и оттого мостик был пёстр, скрипуч и невыразимо мил.

Мы не могли не сфотографироваться. Юноши последовали нашему примеру. Потом мы ещё их щёлкнули всех вместе, а они — нас. И пошли дальше. Юноши почтительно предоставили нам право идти впереди. Белый домик старца был уже совсем близко. Тем не менее пришлось ещё раз подняться вверх, ещё раз потерять домик из вида и ещё раз испугаться, что снова сбились, и всё-таки минут через десять от мостика мы уткнулись в железную сетку и, цепляясь за неё, чтобы удержаться на совсем сузившейся тропочке, пошли вдоль и скоро вышли к железной калитке, на которой висел замочек, какие раньше вешали на наших садовых участках доверчивые огородники. Рядом с калиткой была прикреплена металлическая дощечка и висела железная гирька. Я качнул гирьку, она стукнулась о дощечку — получился грустный и мелодичный звук. Алексей Иванович оказался смелее и дважды качнул гирьку, и дощечка снова

отозвалась меланхолично и протяжно, словно бубенцы из далёкой сказки.

5.

Ничто не шелохнулось в белом домике. Да это было и неважно. Главное — дошли. Стоим перед дверьми каливы, где жил великий старец. Небольшая лужайка перед домиком, умиротворение и покой, и ни единым звуком, движением, чувством не хотелось нарушать благость этого места. Хотя, конечно, так влекло на чистую полянку, посидеть на лавочке у крыльца, прикоснуться к стене… Но разве нас можно так сразу в рай? Посмотрим — с нас и довольно.

Юные греки рассуждали иначе. Один из них подошёл к гирьке и стал отчаянно колотить в дощечку, словно возвещая о пожаре. Ему на смену пришёл другой. Уже понятно было, что никто не выйдет, потому что и от первого стука можно было оглохнуть. А им, по-моему, просто понравился сам получающийся звук, отличавшийся от хэви-металл или чего там у них сейчас… Третий подошёл… Я понял, что тишина закончилась навсегда, шум спугнул очарование полянки, стало грустно и захотелось быстрее уйти, чтобы сохранить тот первообраз благодати, открывшийся нам в первые минуты… Дверь каливы отворилась и появился старичок, который улыбался нам как самым долгожданным гостям, ясно и искренне, хотя нет-нет да и приглаживал топорщащиеся волосы, поправлял душегрейку и часто моргал.

Замок, оказалось, висел просто для вида, а калитка закрывалась обычным резиновым кольцом, наброшенным сверху.

Дальше всё было как во сне. Бывают такие сны: смотришь на всё и в то же время никоим образом в происходящем не участвуешь. Старичок что-то лопотал молодёжи, та внимательно слушала, изредка кто-нибудь почтительно задавал вопрос, все вместе мы прошли лужайку, поднялись на крыльцо… Алексей Иванович не забыл представиться: «Русия! Ортодокс!», старичок радостно закивал, что-то сказал доброе и нам, и пригласил внутрь.

Нет, это сон, сон… Только во сне можно побывать там, где никогда побывать невозможно.

Мы пригибаемся в дверях и входим в тесный тёмный коридор, впереди виден светлый проём, там комната, но старичок поворачивает нас направо и мы оказываемся в церкви.

Размер комнатки меньше, чем комната в «хрущёвке». Алтарь отгорожен деревянным иконостасом с Царскими вратами и одной дверью. Вдоль стен от иконостаса помещаются только две стасидии, ещё по одной стоят по обе стороны входа в церковку. Низкий потолок. Стасидии старые, высокие, загустевшего от времени коричневого цвета, и я, непонятно каким чувством, понимаю, что вот та, рядом с которой сейчас стою, как раз старца Паисия, на спине стасидии прикреплена чёрная вязаная материя, и я, оглянувшись на увлечённо рассказывающего старичка, легонько прикасаюсь к ней… Как мне захотелось присесть в это царское кресло! И чтобы шла служба… Неважно какая, пусть хоть мерно читаются часы…

Я увидел, как старичок смотрит на меня и улыбается. Кивает головой и теперь все поворачиваются (сказать «подходят» нельзя, потому что в маленькой церковке стоим плотно, как на Пасху) к стасидии, возле которой стою я, а старичок показывает чуть выше, там портрет — и я узнаю старца Паисия…

А старичок, улыбаясь, всё говорил и говорил… Мне вдруг напомнило это музей, а я не люблю музеи. Нет, ничего против них я не имею, более того, они нужны и важны, но мне почему-то кажется, что вещь, которой перестали пользоваться по назначению, умирает как сама вещь. Это, например, уже не ручка писателя, а мёртвая ручка, или не веретено позапрошлого века, а мёртвое веретено. Вещи сами по себе немногое значат, если ими перестают пользоваться. Мне, например, книги всегда больше помогают увидеть прошлое. Для Слова времени не существует. Но это только хорошие книги. Вот, например, я беру книгу старца Паисия, читаю и ясно вижу солнечный день, стоит миром побиваемый человек, а Паисий, сидя на низенькой лавочке у крыльца, говорит, и одной рукой как бы ласкает человека, а другой перебирает чётки…

Как бы помолиться здесь! Канон Паисию прочитать! Прости, святой отче. Ты за весь мир молишься. И сейчас молишься, а мы вот не можем…

Нет, этой молодёжной экскурсии не будет конца. В общем-то, чего я злюсь, радоваться надо — с каким вниманием эти разношёрстные молодые люди слушали и с каким почтением задавали вопросы! О, как бы мне хотелось, чтобы наши русские ребята так же приходили на Валаам, в Оптину пустынь, Дивеево, Санаксары… Да сколько в России намоленных мест! Как бы спасительно для всех нас это было… Господи, это мы не смогли привести их… Мы и сами-то ещё не знаем, куда бредём. Ты не оставь! Ты знаешь — как!

Кутлумуш! Там скоро молебен! Я показал доброму старичку на часы, тот закивал головой, что-то доброе сказал про Русию (молодёжь, между прочим, смотрела на нас в это время с нескрываемым уважением) и благословил. Мы протиснулись по церковке, приложились к иконам на Царских вратах и стенах и вышли.

Ещё некоторое время, пока не перешли мостик, чувство нереальности происшедшего не оставляло меня. Я только что был вне времени. Я только что был у старца Паисия. Не почившего, а живого[9]. Я ощущал это, хотя бы потому, как мне захотелось там, в маленькой церковке, молиться.

Мы шли молча, переживая происшедшее, боясь словами нарушить и спугнуть чувство, наполнившее нас.

Неожиданно перед нами раскрылся совершенно русский деревенский пейзаж: большая поляна, посреди которой стоял стог сена чуть повыше нашего роста, а рядом две копёшки поменьше, посреди поляны тянулась ограда из двух корявых жердин, кое-где подломившаяся и непонятно что

9. «Бог не есть Бог мёртвых, но живых» *(Матф. 22:32)*.

ограждавшая. По поляне то там, то сям сквозь зелень травы проглядывали беленькие и жёлтые цветочки.

После того, как пришло ощущение, что времени нет, показалось, что и пространство перестало существовать — ей-Богу, это была типичная околица русской деревни.

Впрочем, поднимавшаяся слева от нас гора окончательно забыться не давала. Но на неё можно было и не смотреть.

Я привалился к стожку и от удовольствия, даже не от удовольствия, а от окружающего покоя закрыл глаза… благодать…

Алексей Иванович, примостившись к околице, мечтательно вздохнул:

— Хорошо, что вино с собой не взяли. Напились бы сейчас… Испортили всё…

— Хорошо, что Яну послушались.

— Ха, послушались, мы ж её ещё уговаривать начали, может, поменьше посудину-то… Это Господь удержал.

— Эт-то точно, — согласился я и спросил: Лёш, почему мы пить не умеем? Неужели прямо во мне сидит настоящий бес? Ведь вот не пьём же — хорошо.

— Значит, сидит.

— Я уже год не пью… — несколько обиделся я, что во мне сидит бес, а в нём как бы нет.

— Видел я, как ты у Яны не пил-то…

— А всё равно хорошо бы сейчас стаканчик сухонького… Благодать на благодать… — Но тут же одёрнул себя: — И напились бы… Эт-то точно. Я ведь и впрямь считаю, что Господь, лишив меня поджелудочной, спас.

Потянуло дымком Отечества.

Так прошло минут пять.

— Неужели так трудно бросить курить?

— Началось…

— Да нет, просто обидно: столько благодати вокруг и тут ты, как паровоз, ну почему бы не потерпеть?

— А чего бы тебе не потерпеть? Сказано: носите немощи друг друга.[10] Вот ты немощь друга и неси.

— Мне-то что, мне за тебя досадно: табак твой, как пятно на белой одежде.

— Я, между прочим, дома по две пачки в день выкуриваю, а здесь только вторую начал.

— Эка подвиг!

— Для меня подвиг.

— Тоже мне, подвижник.

— Ты чего взъелся?!

— Да кури, кури своим бесам…

Какое-то время молчали.

— Идти надо, — снова первый начал я.

— А куда?

— А кто его знает.

— Нет, серьёзно. Мы ведь, когда шли, эту полянку не проходили.

Я огляделся. И в самом деле: как мы сюда попали?

— Пора начинать молиться.

— Тогда ты иди первый, а то я покурил…

Я покосился на Алексея Ивановича: язвит или серьёзно? Но идти-то в самом деле надо, я поднялся, и вдруг у меня закружилась голова. Я быстро присел обратно и уже почувствовал, как побежали иголочки по телу, вот они добрались до кончиков пальцев и там остановились, холодно пощипывая.

— Слушай, — отчего-то шёпотом произнёс я, — мне, кажись, того…

— Чего — того?

— Плохо мне.

— В каком смысле?

— Сахар. Мы тут пока ходили… я не рассчитал… вернее, забыл… короче, мне надо срочно что-нибудь съесть… У тебя шоколадки были.

— Так они в рюкзаке.

— И мои в рюкзаке.

— Что делать? Слушай, давай ты полежи здесь, а я сбегаю принесу.

Перспектива остаться одному испугала меня ещё больше, чем приступ гипогликемии.[11] Но благородство и решительность я оценил.

— Идти надо, — сказал я. — Давай только вместе «Богородицу» петь будем.

И мы запели, а минут через десять вышли на большую асфальтовую дорогу, а ещё через пять были в своей келье в Кутлумуше.

6.

Я сразу съел кусочек шоколадки, Алексей Иванович хотел было заварить кофе, но не нашли розетку, да и молебен должен был вот-вот начаться.

Послышались звуки деревянного била, и мы спустились к храму. Немного удивила пустота храма — людей было мало — и в то же время полнота его — храм был пронизан светом. Может, так поразил свет, что мы не были на службе днём?

Красный снаружи, изнутри храм отливал пепельным цветом, и этот благородный оттенок подчёркивал его древность, мудрость и вечность. Начался молебен.

Я, наверное, поступил неправильно: вместо того, чтобы воздавать хвалу и честь Богородице, достал записки и, благо было светло, стал поминать заповедавших молиться о них.

И так хорошо ложилось греческое чтение акафиста на мои записки, что я, если и чувствовал вину перед Богородицей, то извинительную — так хотелось, чтобы люди, близкие, дальние, совсем незнакомые, оставшиеся в России, хоть так, через меня, грешного, присутствовали здесь на службе.

Я закончил читать, а служба ещё длилась, мерно и благодарно, и казалось, что этой мерности и благодарности не будет конца, что голоса — это часть пепельных стен, солнечных лучей, тихих ликов — всё вечность. Как хорошо и светло пребывать в этой вечности…

Неожиданно голоса остановились. На середину храма вынесли длинный, похожий на обеденный, стол, покрытый красной материей (представьте: солнечные лучи, пересекающиеся в тихом пространстве, пепельное окружение стен и красная ткань посередине). Из алтаря стали выносить ковчежцы и ставить на стол. Ко всей великолепной

10. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» *(Гал. 6:2)*.

11. Гипогликемия — снижение сахара в крови ниже нормы.

картине добавилось блистающее в солнечных лучах золото ковчежцев.

Появились люди. Вроде никого не видно было, а тут к столу выстроилась небольшая очередь. За монахами стояли несколько мирян. Неужели и нам можно?

Кто-то легонько подтолкнул сзади. Я оглянулся—это был Серафим. Он глазами показывал—туда, туда идите.

И вот такое же неспешное, как служба, движение к святыням. Возле каждой можно было опуститься на колени, никто не торопил, но и самому было неудобно задерживать остальных. Поклон, целование, шаг дальше…

Унесли в алтарь ковчежцы—и в храме сразу потускнело. Убрали материю, стол…

— Пойдём,—сказал Алексей Иванович.

Господи, да неужели всё?!

7.

В келье сразу отыскалась розетка. Кровать слегка отодвинули—и вот, пожалуйста.

Мы это восприняли как добрый знак, я сходил за водой, и Алексей Иванович запустил кипятильник. Скоро по келье потёк аромат кофе. И вот уже первый горячий глоток… с кусочком шоколадки…

За этим делом и застал нас Серафим и опять смутился. Вид у нас всё-таки был, наверное, больше туристический. Без всякого благословения распиваем ещё кофе, который мы, конечно, тут же монаху и предложили, отчего тот смутился ещё больше и отказался.

Впрочем, наш восторженный рассказ о походе к каливе Паисия, видимо, показал, что мы не так уж и безнадёжны, и он повернул к нам лицом то, что держал в руках (мы, занятые кофе и собственными впечатлениями, не обратили внимания, что он что-то принёс). Это были чудесные иконы Божией Матери. Серафим пояснил, что он их только что закончил.

Теперь мы растерялись, не зная, куда пристроить щедрый подарок: на столик с недопитыми чашками кофе—не хотелось, и каждый положил икону у изголовья кровати.

А ещё Серафим дал нам чётки. Небольшие чёрные и, что мне особенно понравилось, не с деревянными или каменными зёрнышками, а матерчатыми, совершенно безшумными узелками.

Конечно, это интеллигенты придумали: жить надо так, чтобы не мешать окружающим (вместо того, чтобы поступать с другими так, как хотелось, чтобы поступали с тобой)[12], и я так хотел бы не раздражать окружающих чётками… именно о таких—тихих—мне и мечталось.

Сам я не мог позволить себе купить чётки (хотя их сейчас можно купить почти в любом храме), для меня это равносильно, если бы я купил на базаре орден Красной Звезды. Чётки надо заслужить… Неужели—аксиос?![13]

12. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» *(Лука 6:31)*.

13. Аксиос—достоин *(греч.)*

А монах уже отступал к двери, объясняя Алексею Ивановичу что-то на установившемся меж ними бумажно-речевом языке.

— Подарок!—вспомнил Алексей Иванович и бросился к рюкзаку. Он так хорошо упаковался, что рюкзак пришлось выпотрошить почти весь. Достав книгу (это был большой альбом по иконописи), он протянул её монаху: «Вот. Это вам отец Геннадий просил передать».

Монах принял альбом и некоторое время любовался им, словно ему дали его только подержать.

— Вам, вам,—подтолкнул альбом Алексей Иванович.

Монах, видимо, не верил. Алексей Иванович схватил бумажку, черканул что-то и положил поверх альбома.

Монах ещё некоторое время держал подарок на вытянутых руках, потом прижал его к себе и поклонился.

Неловко стало за этот поклон, хотя монах, может, и не нам кланялся, а далёкой России, и Алексей Иванович засуетился:

— Пакет под альбом надо, что тут у нас, ах, да—вот же!—и он протянул монаху пакет, где у него лежали пузырьки с настойкой боярышника.

Монах крепче прижал к себе альбом и покачал головой.

— Это лекарство, лекарство,—Алексей Иванович достал пузырёк, настойчиво тряс им перед монахом.—Надо по чуть-чуть, по капелькам…

— Я-то сам не пью,—обрёл вдруг дар речи потрясённый монах, но, поняв по лицу, что тот пытается подарить что-то особо ценное, возможно, даже более ценное, чем альбом, утешил дарителя: «Спасибо, будет что архиерею подарить».

«Мама дорогая»,—обмер я, представив себе архиерея, отвинчивающего крышечку с настойки боярышника.

Монах заторопился, видимо, опасаясь, как бы ещё чем-нибудь не загрузили.

— Давай быстро допивай кофе,—сказал Алексей Иванович, когда дверь за Серафимом закрылась,—он приглашает нас в комнату для свиданий,—и, смутившись неудачной терминологией, поправился,—В смысле, для бесед.

Быстро пить кофе, даже если он подостывший—глумление над продуктом. А это не поправославному. Примерно так я пытался объяснить Алексею Ивановичу, и тут за дверью послышалось:

— Молитвами святых отец наших…

— Войдите!—поспешил ответить Алексей Иванович.

Вошёл Серафим, я допил кофе и стал помогать Алексею Ивановичу укладывать рюкзак. Без книг теперь никак не получалось—всё оставались какие-то пустоты.

— Какая большая книга,—указал на лежащую на кровати книгу «Евлогите» Серафим.

— Это наш путеводитель,—объяснил Алексей Иванович и протянул монаху. Достал он её, кстати, первый раз с тех пор, как в архондарике Андреевского скита пытался выучить греческий.

Серафим полистал книгу.

— Какие интересные гравюры,—задержал ещё в руках и вернул обратно,—пойдёмте.

Он повёл по террасе в другой конец братского корпуса, распахнул одну из дверей и мы оказались в большой зале, как раз, видимо, предназначенной для бесед: стояло несколько беленьких аккуратных овальных столиков, вокруг них такие же беленькие изящные стулья. Нельзя сказать, что комната утопала в коврах, их было немного, но их неожиданная пестрота придавала комнате мягкости и уюта. Всё располагало к тихой и мирной беседе. Единственное, что смущало,—кроме нас, в комнате никого не было. Получалось, что остальные монахи либо молятся по кельям, либо несут послушание, либо отдыхают. И только мы нарушаем ритм, да ещё и Серафима втягиваем.

Я деятельного участия в беседе не принимал. Алексей Иванович сначала писал в блокноте, потом громко и по складам повторял написанное вслух, причём, скорее всего, для себя, потому что тут же что-то зачёркивал, переправлял и протягивал блокнот монаху. Серафим никогда не отвечал сразу. Говорил тихо, словно пробовал каждое слово на вкус, и смотрел на того, кому говорил—понимают ли его? Сначала Алексей Иванович передал поклоны от духовного отца, рассказал об известных городских храмах. Выяснилось, что они с Серафимом ходили в один храм и, более того, жили на соседних улицах. Беседа пошла оживлённее. Хотя показалось, что монах немного испугался. Алексей Иванович вдохновенно переписывал в свой блокнотик последние городские новости и, когда переворачивал очередной листок, монах попросил: а нельзя ли ему написать небольшое письмецо, там остались у него сестра с тёткой, от которых давно уже не было писем, а Алексей Иванович передал бы?

Алексей Иванович аж подпрыгнул от радости—наконец-то нашлось, чем он может послужить Серафиму и хоть как-то отблагодарить. А когда Серафим написал адрес, Алексей Иванович и вовсе зашёлся от счастья:

— Так это ж на соседней улице,—и не зная, какую ещё услугу оказать, воскликнул: А давайте им позвоним,—и на всякий случай посмотрел на меня.

А надо было смотреть на монаха—тот испугался ещё больше.

— Запросто,—тоже из самых лучших побуждений ответил я и достал телефон.

И никому из нас даже в голову не пришла тогда мысль, что такое отказаться от мира, начать жить другой жизнью, оставив связь с прошлым только на уровне пасхальных и рождественских открыток, и вдруг тебе протягивают трубку, а ты слышишь знакомый голос… Ну, как слышал бы Серафим, не знаю, но ведь говорить надо что-то будет.

Но разве мы думаем о других, особенно когда самим кажется, что делаем что-то необозримо доброе и нужное?

Серафим видел, как нам хочется сделать ему приятное, и стал медленно выуживать из глубин памяти, казалось, истлевшие цифры. Алексей Иванович приставил код города, я—код страны—и понеслась.

Для начала сорвалось. Когда не получилось ещё раз, я мельком глянул на напряжённое лицо монаха и подумал, что лучше бы ничего у нас не получилось. Алексей Иванович тоже почуял неладное, но мрачновато попросил:

— Попробуй ещё.

Я уже знал, что не получится, но для очистки совести набрал номер в третий раз. Сорвалось. Не то чтобы не брали трубку или было занято, а именно—сорвалось.

И все с облегчением вздохнули—беседа сама собой свернула с домашней темы.

Конечно, нам хотелось (да и полезно было бы) услышать какое-нибудь духовное наставление. Но мне почему-то кажется, прямым вопросом: мол, как нам жить дальше, только смутили бы скромного Серафима. Ну, может быть, сказал что-то, например: «Любите друг друга»[14] или «Последние времена, дети!»[15]. Я вообще обратил внимание, что когда паломники начинают рассказывать о том, как попали к какому-то старцу и, припав к нему, вопросили: «Батюшка, скажите, что нам делать?», то выясняется, что ответ всегда не противоречит Евангелию. А что в таких случаях мы хотим услышать? Что-нибудь иное?

Да и что я такого могу спросить? Вот в миру—да, там у нас море вопросов: идти ли на выборы, принимать ли ИНН, вступать ли в ипотеку, считать ли майонез постным, если на нём написано «постный»… А тут… Так никчёмны тут наши мирские вопросы…

Алексей Иванович спросил:

— Можно ли причаститься?

— Да, сегодня среда, на трапезе всё постное, только после вечерней надо будет прочитать правило к причащению.

— А исповедь?

И монах Серафим поведал нам интересные вещи.

8.

В Греции, оказывается, приходят на глубокую исповедь к священнику, как это принято у нас, четыре-пять раз в год[16] (не об этом ли говорили Серафим Саровский и Феофан Затворник?), а в остальное время, если человек соблюдает многодневные посты, постится в среду и пятницу и достойно подготовился, то может приступить к причастию, покаявшись на общей исповеди, которая бывает перед литургией (не так ли исповедовал Иоанн Кронштадтский?).

Надо сказать, что мне очень понравился этот порядок. Я далёк от богословских споров на тему причастия, да и прав никаких на это не имею, могу только опытом поделиться.

Когда я только начал воцерковляться, то причащался в конце многодневных постов и на день

14. «Сие заповедаю вам, да любите друг друга» *(Ин. 15:17)*.
15. «Дети! последнее время» *(1 Ин. 2:18)*.
16. Такая практика установилась в Греции в связи с тем, что не каждый священник имеет благословение исповедовать. Таких духовников на большой город может быть три-четыре, и исповедь у них может длиться несколько часов.

ангела. Сейчас мне кажется, что это пожелание Серафима Саровского относилось к всё более уходящему от Бога миру, то есть определяло минимум христианина. А у нас ведь многие вздохнули с облегчением: вот, мол, Серафим Саровский сказал, четыре-пять раз в год, стало быть, и довольно. Но он-то по немощи нашей сказал.

Помню, когда я первый раз держал Великий пост, священник на проповеди в Вербное воскресенье сказал, что все мы, прихожане, должны хорошо подготовиться к причастию в Великий Четверг. Я и готовился. И, слава Богу, причастился. И всё было — изумительно. Для новоначального первые причащения — чудо. (Сейчас-то я понимаю, что каждый раз, когда Господь допускает до причастия — это чудо, потому что, если по справедливости, то по делам нашим не только до причастия, но и в храм-то Божий таким, как я, входить грех). В субботу на Литургии, когда священник объявил распорядок на Пасхальное богослужение и я услышал, что будет исповедь, то после службы подошёл и спросил: а можно ли мне причаститься и на Пасху? «Так ты же только что причащался», — полуспросил, полуответил батюшка. И я так понял, что не стоит. Тут ведь как: может, мне надо было просить, а может, мне как новоначальному не следовало торопиться успеть везде и сразу. Бог весть. Но какое же щемящее чувство подступило после полунощной радости, после дружных и мощных ответов «Воистину Воскресе», когда с десяток человек встали к вынесенной Чаше, а я остался в стороне. Как я им завидовал! Грешным делом, мелькнула мысль: зря в четверг причащался, лучше бы сегодня. Ни в коем случае не могу сказать, что праздник был испорчен, но что-то примешалось к радости, добавилась досада на самого себя: вот, опять сделал что-то не так. А что именно не так, я понять не мог. В общем, бочку мёда это не испортило, но ложка дёгтя была.

В следующий Великий пост я снова причащался на Великий Четверг и снова был в великой радости, и радости было столько, что её никак нельзя было держать в себе. Мне со всеми хотелось делиться. Радость в одиночку — это ущербная радость. Это даже не радость, а самый настоящий эгоизм. Я тогда даже подумал, что Господь-то и создал человека, чтобы было с кем поделиться радостью о красоте Бытия. В общем, я уговорил одних знакомых поговеть хотя бы последние три дня и причаститься на саму Пасху. Я их всячески поддерживал эти дни, а в субботу взялся и каноны с ними читать. Перед службой они исповедовались, а мне что-то опять взгрустнулось. Такая лёгкая грусть о несбыточном. Началась служба и радость Воскресения заслонила всё. Подошла к концу Литургия, я протолкнул знакомых поближе к солее[17], и сам невдалеке стою. Начали читать молитвы ко Святому причащению. И тут выходит к распятию батюшка с крестом и Евангелием, ему аналойчик поставили и, смотрю, несколько человек собираются исповедоваться, и, судя по одёжке, не простой народ, видимо, не успели перед службой. И тут такая дерзость на меня нашла, и, опять же, так захотелось причастия, что я, пробравшись к батюшке, постарался изложить своё состояние, в общем-то, каясь в том, что завидую чужой радости, и упомянув, что в четверг уже причащался.

— А каноны читал?

— Читал, читал.

И батюшка меня разрешил.

Господи, тогда мне казалось, что то, что происходит со мной, это и есть высшее счастье! Может, так оно и было.

А следующим постом я причащался уже каждую неделю.

Не знаю, как правильно, по-богословски, но если цель человека — соединение с Богом, то здесь, на земле, есть ли ещё большее единение, когда мы принимаем в себя Тело и Кровь Христовы?

Может, и есть… Но мне это не дано. И я должен быть готов достойно принять Тело Христово — всегда!

Но возможно ли это?

Я — грешный человек. Подходя к Чаше, я всякий раз осознаю своё недостоинство. И с каждым годом чем сильнее стремишься к Чаше, жаждешь Причастия, тем больше это недостоинство ощущается. Потому что всё яснее начинаю понимать, как благ и долготерпелив Господь и что я и малой доли не оправдываю того, что Он даёт мне. Но Он и хананею помиловал[18], и расслабленному сказал: «Встань, возьми постель твою и иди»[19], и разбойнику рая двери отверз[20] — и не мне уже решать, моё дело идти, а Бог видит, и если уж нельзя допустить, то Он и не попустит.

Бывали случаи, когда, казалось, по всем правилам можно было меня допустить к Причастию, но священник останавливал. Бывало, когда я сам, исповедуясь, признавал: не готов.

Но надо идти, сознание собственного недостоинства не должно смущать, оно должно усиливать стремление ко Христу, ибо только Он способен восстановить всего человека.

И теперь я стараюсь причащаться как можно чаще.

Расскажу ещё один, может быть, спорный с точки зрения церковной практики момент.

Первое время я очень ревностно следил за соблюдением перед причастием трёхдневного поста. Но с какого-то времени стал чувствовать, что это не главное, более того, строго следя за надписями на упаковках, я как раз главное и терял.

И вот как-то в субботу пришлось выступать в одном районном центре. После хозяева со всей русской радушностью и хлебосольством раскатили стол. Я понимал, что всё это изобилие не такой уж и богатой ныне деревни было припасено, может, даже оторвано от себя именно ради приезда гостя. И мне показалось, если сейчас откажусь, то сильно обижу людей.

17. Солея (*греч. σολεα* — престол) — возвышение пола перед алтарной преградой или иконостасом в христианском храме. Кроме того, сам алтарь находится на возвышении и таким образом солея является как бы продолжением алтаря наружу.
18. *Матф. 15*
19. «…встань, возьми постель твою, и иди в дом твой…» *(Матф. 9:6)*
20. *Лука 23.*

Дав себе слово есть умеренно, я приступил к трапезе. Покажите мне человека, которому удалось есть умеренно за деревенским праздничным столом. Ну, если только у него была операция на поджелудочной. А у меня тогда не было.

В воскресенье я всё, как есть, рассказал на исповеди.

— Причащайся,—благословил батюшка.

— А как же вот я накануне-то оскоромился.

— Покажите мне хоть один канон, где сказано, что накануне перед причастием ничего скоромного вкушать нельзя!

Я, разумеется, ничего такого показать не мог. Я вообще рот открыл от таких откровений.

— Священник Дары потребляет без всякого рассуждения о пище накануне, а он такой же человек. Причащайся и нисколько не сомневайся. Благослови тебя Бог!

Вот—есть же у нас батюшки!

А потом подумал: первые христиане—они же каждый день причащались, не может быть, чтобы они мяса не ели. Да, конечно, мир тогда дышал Христом, мы же сейчас настолько ушли за прогрессом, что организм нуждается хотя бы в небольшой очистке, нам нужно хотя бы три дня походить с мыслью, что я не ем ничего животного, отказываюсь от плоти, уничижаю её, чтобы принять Христа.

Конечно, я не за то, чтобы не говеть перед причастием. Это очень нужно, в первую очередь, самому человеку. Я о том только, что еда—не главное. Всё то—средства, помогающие, но не исцеляющие. Исцеляет один Бог. А Ему нужно наше сердце.

С тех пор я перестал ревностно разбирать и рассуждать о том, например, кладут яйца в муку на хлебозаводе или нет, потом я вообще перестал придавать пище значение и почувствовал, насколько вообще стало легче жить—я стал равнодушен к еде.

Интересно также было у меня с вычиткой трёх канонов и последования. Опять же рассказываю не в качестве примера для подражания, а чтобы показать: у каждого свой путь. И благодарю Господа за всех, кто помогал идти.

Поначалу вычитывание канонов было для меня одним из тяжелейших моментов подготовки к причастию. Мало того, что я многое не понимал, было тяжело стоять почти по стойке «смирно» полтора часа. Я, кстати, тогда понял слово «расхлябанность». Тот человек, у которого внутри стержня нет, вот он и болтается, у него каждый член сам по себе пляшет. То у него нога трясётся, то за ухом чешется, то руки непонятно куда лезут. Мне самому было неприятно, когда я увидел себя таким со стороны.

Встал как-то в церкви паренёк передо мной и давай чуть ли не плясать—всю службу я только на него и смотрел, только на него и досадовал.

А потом дошло: Господь его тут не просто так передо мной поставил, а чтобы я сам себя увидел. Между прочим, такое состояние человека и есть предвозвестник дьявольского мироустройства—хаоса. А путь к хаосу—наша расхлябанность. Когда дошло, что стояние на канонах—та же борьба с хаосом во мне самом, стало полегче, но лукавый умишко всё равно выискивал, как бы правило подсократить. Стал читать совмещённые каноны.

Перед каким-то большим праздником пожаловался батюшке, что вот, мол, срочная работа, а сейчас дома каноны с последованием вычитывать, да потом уж и никакой работой заняться не сможешь.

— А чего сегодня читать-то: только покаянный канон Христу и Последование.

— Как так?—изумился я.

— А перед большими праздниками только покаянный читается и праздничный, а его мы за службой прочитали.

Господи, сейчас стыдно вспоминать, чему я радовался—сократил время на богообщение! Для меня же тогда соблюдение правил было важнее, чем молитва.

Когда я первый раз оказался в трёхдневном крестном ходе, меня смутило, что после первого дня почти все причащались. Батюшка, возглавлявший крёстный ход, все сомнения развеял:

— У нас как на войне—один день за три.

«Логично»,—подумал я и тут же задал следующий вопрос:

— Тогда можно ли приравнять сегодняшний день к большому празднику?

— Конечно.

— Тогда, стало быть, можно и покаянным каноном ограничиться?

Батюшка понял, куда я клоню, и вздохнул:

— Тебе можно.

За час до прихода на место ночёвки я взялся читать правило: с одной стороны, молитва в любом случае лучше разговоров, которые обычно случаются в первый день, во-вторых, на сон больше времени останется. Читал я вслух и вокруг меня тут же собрался народ. Прочитал я покаянный канон и перехожу к последованию. Одна старушка попыталась напомнить, что-де ещё Богородице и Ангелу Хранителю читать надо, но я ей популярно растолковал, как и что, праздник, мол, большой у нас, а по большим праздникам радоваться надо. В общем, наставил старушку и продолжил чтение. Рассчитал я точно: как закончил чтение, показалось село. Окружающие поблагодарили и я с чувством выполненного долга убрал молитвослов в рюкзак.

На следующий день подходит ко мне одна женщина и так тихонечко, чтобы никто не слышал, говорит:

— Нас-то батюшка вчера отругал… Это, говорит, я ему, то есть вам, разрешил один канон читать, а вас кто благословлял? Так-то…—и отошла.

Вот где мне стыдно стало. До такой степени, что хоть разворачивайся и обратно возвращайся, чтобы заново крёстный ход начать.

Тот случай показал, какой я немощный и маленький, младенчик, можно сказать, раз мне такие послабления делаются. А позже я понял, насколько мудр был батюшка, не торопивший меня, он видел, что молитва моя больше внешняя, вот и ждал, пока созрею.

Сколько чудесных батюшек даровал нам Господь, какая это радость—общение с ними!

Иногда приходится слышать: вот тот—такой, а этот сякой, эти, мол, творят то, а те—другое. Я всякий раз тушуюсь, мне не хочется говорить с таким человеком. Но именно эти люди всегда начинают требовать ответа. Ну да, начинаю лепетать, может, и бывает там где-то… кое-где… у нас порой… В лучшем случае заканчивается такой разговор признанием, что в семье, мол, не без урода… Супротивник гордо замолкает, я проглатываю пилюлю, лишь бы быстрее закрыть тему, и понимаю, что молчанием предаётся Бог. Конечно, надо отвечать, ибо я перевидал многих батюшек—и всяких, и разных, и таких, и сяких—но ни одного «урода» не встретил.

Алексей Иванович продолжал беседовать с Серафимом. Тот рассказал, что на сам Афон подниматься сейчас не следует, нужно чтобы световой день был подлиннее, да и холодно там сейчас ночью (а ночевать пришлось бы на Горе), но съездить в Великую Лавру, которая находится у подножия Горы и с которой, собственно, и начинался Афон как монашеская республика, советовал. Алексей Иванович достал карту и попросил указать, где находится Ксилургу. Оказалось, что это в другой стороне от Лавры—Серафим обвёл пространство меж трёх дорог: где-то здесь. Ещё он рассказал про недавний пожар в сербском Хиландаре[21] и отсоветовал туда идти ввиду нынешней стеснённости братии.

— А как носить чётки?—спросил я.

Неслышащий Серафим внимательно посмотрел на меня, а Алексей Иванович продублировал вопрос в блокнотике. Серафим улыбнулся.

— Очень просто. Надевай на руку и носи.

— На правую или на левую?

— Всё равно, где удобнее. Они всегда с тобой будут и будут напоминать. Дай руку,—и он надел мне на запястье чётки. Потом так же легко снял.— Можешь снять, перебирать, потом опять наденешь,—и снова надел.

Мы посидели ещё немного, потом Серафим провёл нас по монастырю и оставил у трапезной для мирян и рабочих, располагавшейся на первом этаже братского корпуса.

Трапеза мало чем отличалась от трапезы в Андреевском скиту, разве что посуда побогаче, а стол поскромнее, это и понятно—день-то постный. Но это ничуть не сказалось на ощущении полной меры—мы вышли сытые и благодарные, а вернувшись в келью, довольные, растянулись на кроватях.

— Ты обратил внимание,—произнёс Алексей Иванович,—как вырисовывается маршрут?

— Да. Завтра—в Лавру. А там Господь дальше направит.

Какая благодать быть под водительством Божиим и не лезть со своими поправками! И за что нам столько счастья?!

— А как мы туда доберёмся?—спросил Алексей Иванович.

— Завтра,—ответил я.—Это всё будет завтра…

Говорить не хотелось, мы так и молчали, пока со двора не послышался бодрый стук деревянной колотушки—пора на вечерню.

9.

В сумраке наполнялся притвор древнего Кутлумушского храма тенями мира. От тела—только слабая тень, всё остальное—Богу. Мы встали перед закрытым завесой главным входом. Началась служба—вход в храм ещё надо заслужить.

Но вот открывается завеса и мы проходим внутрь—здесь всё по-другому, словно мы вошли в древние первохристианские катакомбы, высеченные в пещере. Всё низко, близко и холодновато. Холодновато именно физически, будто мы и впрямь спустились в подземелье.

Но пошёл по храму монах с кадильницей и весёлый звон её, словно малая Пасха, приободрил. Монахов немного, я выбрал стасидию за колонной, но так, чтобы видны были Царские врата.

Как описать афонскую службу… Алексей Иванович на следующее утро скажет: «Я влюбился в греческую службу». А я даже не знаю, как описать это. Может, слова, сказанные русскими старейшинами, посланными для испытания веры, князю Владимиру, и есть самые точные: «Не знали мы, где находимся, на земле или на небе».

В общем-то, для человека молящегося нет никакой разницы. Всё идёт своим чередом, всё узнаваемо, ничто не нарушается. Но я-то… любопытствующий. Подумал, что в наших храмах служат более радостно, что ли, у нас больше чисто человеческой детской радости, словно благовествуем всему миру: Христос Воскрес! Мы радуемся и спешим поделиться радостью с окружающим миром. Мы, как дети, всякий раз непосредственно открываем для себя чудо Воскресения на каждой Литургии и спешим рассказать об этом всем. Наша служба по большей части миссионерская, а на Афоне служат Богу. И протяжное одиночное пение только подчёркивает отрешённость от мира. Хор отзывается, как эхо с далёкой земли.

Зазвучали псалмы. Я опёрся на подлокотники стасидии. Скользнули по руке чётки, я взял их в руки и стал вспоминать заповеданные списки, всё получилось так естественно и само собой, что я даже не обратил внимания, как это произошло, словно занимался привычным делом.

А Алексей Иванович стоял. Я попытался поделиться новым опытом, как хорошо в стасидии перебирать чётки, но Алексей Иванович был твёрд: «Я буду стоять». А я, значит, сидеть, что ли? Потом подумал: настоюсь ещё, да и не сидел я, а только облокачивался, и так хорошо перебирались под псалмы чётки, зёрнышки словно сами текли.

И служба текла—снова истончилось время. Происходили движения в храме, с одного клироса на другой метался псаломщик, выносили свечу,

21. Сильный пожар в Хиландаре, серьёзно повредивший древний афонский монастырь, вспыхнул 4 марта 2004 года. Французский писатель Жерар де Вилье считает, что его подожгли британские спецслужбы, пытаясь выманить оттуда Караджича. Через две недели после того, как вспыхнул пожар в Хиландаре, в результате организованной акции шиптарских террористов горели сербские православные святыни в Косово и Метохии.

обходили храм, кадили, выносили Евангелие — но всё происходило вне времени. Единственно, пожалуй, что зацепило внимание, это Серафим, нёсший свечу во время каждения. «Простому монаху не поручили бы такое почётное дело», — мелькнуло в голове и вспомнилось, как заботливо он обращался с нами и как смутился, когда мы предложили позвонить ему домой. Но свечу пронесли и забылось, потому что воспоминание существовало во времени, а сейчас его не было — всё было настоящее: и эти стены, построенные тысячу лет назад, и проплывающая свеча, и запах ладана, и причастие, к которому шёл.

— Ты как? — нагнулся ко мне Алексей Иванович, видимо, обративший внимание, что я частенько пользуюсь стасидией, и подумавший, что у меня опять нелады со здоровьем.

— Нормально.

— А я вот что-то подмёрз, — поёжился Алексей Иванович. — Куртку надо было надевать, — и распрямился.

В самом деле, комнатной температуру в храме вряд ли назовёшь, но я как-то не обращал на это внимания. Я-то, в отличие от Алексея Ивановича, в куртке. К тому же закалённый, каждый день принимаю холодный душ.

Только я подумал об этом, как почувствовал, что начинаю дрожать. Сначала дрожало только внутри, в районе желудка, и я невольно, продолжая перебирать чётки, стал отвлекаться на это дрожание, а оно маленькими червячками поползло по телу. Я встал и попробовал потихонечку сжимать кулаки и крутить ступнями. А как же Алексей Иванович-то без куртки? Покосился в его сторону — стоит!

Сколько же идёт служба? Глянул на часы — ба! — четыре часа! Холод теперь охватил меня всего, всё было ледяным, самые древние стены, казалось, покрылись инеем.

А служба продолжала свой веками устоявшийся ход. Никакой холод не касался её или, может, никто больше вокруг не чувствует холода? Господи, дай мне силы достоять до конца! Никакой, Господи, я не закалённый, и без шапки я зимой хожу ради выпендрёжу, и в проруби я купался на спор, то есть гордыни ради…

И тут рядом оказался Серафим. Он слегка нагнулся и шепнул:

— Сейчас будет исповедь, — и чуть подтолкнул меня вперёд.

Что будет, если толкнуть замёрзшую статую? Правильно — и, скорее всего, вдребезги. Но Серафим лишь чуть коснулся меня, словно и в самом деле боялся за мою целостность. И я шагнул вперёд, почти как в больнице, когда учился заново ходить на одеревенелых ногах. Там меня жена поддерживала. А тут — Серафим. Ещё несколько шажков и вот я почти на середине храма, куда вышли ещё с десяток мирян. Священник стал читать и на слове «Метано»[22] все опустились на колени. И я — тоже. И так несколько раз. На третий раз я уже вместе со всеми повторял: «Метано». Так и согрелся.

И сразу был отпуст. Конечно, выходя из храма, мы старались соблюдать степенность и благочиние, и что у нас никаких мыслей нет о тёплых одеялах в келье, но когда мы поднялись на террасу нашего этажа, то поскакали почти вприпрыжку — и тут дорогу преградил монах с удивлённым лицом. На этот раз лицо удивлялось неодобрительно: как же так можно вести себя в монастыре? Ну, виноваты, простите, сигноми[23]. Но куда он нас зовёт? Монах подвёл нас к неприметной двери и, перегнувшись в комнатку, вынул и всунул нам каждому по два одеяла.

Возможно, многие мне возразят, что никакое это не чудо, но для меня, сорок лет прожившего в миру, такая забота о человеке, о ближнем — и есть настоящее чудо!

Мы влетели в нашу келью и Алексей Иванович безапелляционно произнёс:

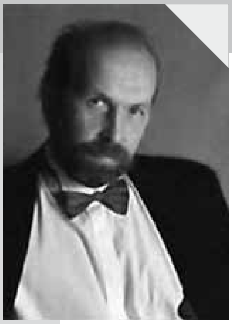
— А каноны мы вчера в Андреевском читали.

Я кивнул.

Не скажу, что мы торопились, но последование прочитали быстро и юркнули под гору одеял. Алексей Иванович предпочёл не разоблачаться вовсе. На сон нам выходило почти четыре часа. И слава Богу.

---

22. Каюсь *(греч.)*
23. Простите *(греч.)*



Олег Пономарёв

Под куполами…

XXI век, русская деревня…

Куда ни посмотришь—повсюду разруха…
Гуляют по воле Серёга с Андрюхой.
Где рожь колосилась—полынь да крапива,
избёнка к избёнке склоняются криво,

в заброшенных фермах репейник лоснится,
не спится Серёге, Андрюхе не спится…
Гуляют ветра деревенским погостом,
вороны да галки здесь частые гости.

Ни прошлых следов, ни протоптанной тропки,
ни хлеба куска, ни оставленной стопки.
Не спится Андрюхе, не спится Серёге,
родительский дом—только пыль на пороге…

Забиты оконца, да крыша худая,
да русская ширь… без конца и без края…

В крещенье

…И промельк дней, и промельк лиц,
и воздух липкий,
и стайка неподвижных птиц
на ветках липы,
и звонкий хруст под башмаком
подснежной крошки,
луна из облака тайком
глядит в окошко;
и россыпь искр холодных звёзд
созвездий дальних,
и тень Вселенной в полный рост
с извечной тайной;
и терпкий чай, и гомон дров
в уютной печке,
и шёпот задушевных слов,
в которых—Вечность…

В Храме

Мне ветер трогает плечо,
и я, седея без причины,
иду разглаживать морщины
перед алтарною свечой.

Я, не умеющий креститься,
теперь ношу нагрудный крест.
Как много их сейчас окрест—
людей, идущих к плащанице!

Под куполами синий дым,
блестит алтарь, и на рассвете
я—за себя и всех на свете—
войду и встану перед Ним!

Сказка

Не бывает поздно или рано,
а бывает по судьбе и в срок.
Наши сказки с дураком Иваном
горьких дум Отечества урок.

Ни в одной стране на всей планете
нет легенд про Джека-дурака,
есть про Кая, Золушку в карете,
есть про скорохода в башмаках,

есть про Дон-Кихота с Санчо-Пансо,
есть про Нильса—вожака гусей,
лишь Ванюха в состоянье транса—
твёрдо впереди планеты всей!

Жаль мне тех сказателей бездарных,
сочинявших сказки навека,
(хоть судьба мучительно горька)
по уму России—нету равных,
нет мудрей Ивана-дурака!

Пол-России в печали томится,
Пол-России—дома набекрень…
Оттого мне ночами не спится,
Оттого беспокоен мой день.

Что за жизнь на некошеном поле,
Где бурьян заслонил синеву,
Где в пространстве, похожем на волю,
Треплет ветер пустоты в хлеву?

Словно чёрный монах в наказанье
За невежество, хамство и блуд
Пустотой покрывает сознанье,
Затянув на запястии жгут.

Есть в прощении звон благовеста,
Только что-то никак не пойму:
Пропивали державу все вместе,
Ищем истину—по одному!

Лишь во мгле у отцов на погосте
Зажигаем разбитый фонарь,
Как нежданно-незваные гости
Вспоминаем забытый тропарь.

Дым Отечества над головою
Память прошлого испепелит,
Но берёзка воркует листвою:
Потерпи, потерпи, потерпи…

Александр Соколов

Заброшенный колодец

…Верхняя часть сруба колодца сгнила и обвалилась. К уцелевшему столбику привязана верёвка — ржавой жестянкой со дна можно зачерпнуть пригоршню воды. От осклизлых, тёмных стенок тянет плесенью. Вокруг необозримое поле клевера, потерянное под бездною сини.

Пряный угар лета, пение птиц — всё пропадает, когда пониже опускаешь голову в черноту колодца… Только заблудший путник останавливается здесь, чтобы смочить остатками влаги иссохшие губы…

Он был занят своей обычной работой. Его руки механически проделывали те движения, которые привыкли повторять бесконечное число раз. Неожиданно его губы зашевелились, и он торопливо, словно боясь не успеть, зашептал, обращаясь неизвестно к кому: «Если Ты меня видишь, если Ты знаешь, что я существую — подай знак, пусть пропадёт моя тень, среди теней, что толпятся вокруг…» Проговорил, будто выдохнул, и испугался: не смотрит ли кто на него? Нет, рядом никого не было.

…Привычный запах металлической стружки и масла, однообразная работа изо дня в день, одни и те же лица. Здесь трудно уединиться. Выход один — быстрее получить наряд у мастера. За работой никто не будет отрывать по пустякам… разве что Толик — этот не пройдёт мимо. А вот и он, словно всё время стоял рядом:

— Витёк, кончай грязное дело! — Молодой парень с перепачканным лицом оглядывал рабочий стол Ткачука, тиски с зажатым в них полотном рессоры. — Ты что, туда же?

— Куда? — поинтересовался Ткачук, не скрывая досады.

— Да тут все помешались. Ножи гонят из полотен, кто за деньги, кто за бутылку.

— Нет, я не туда, — отрезал Ткачук, выкручивая рукоятку тисков.

Он положил полотно в свой ящик с инструментом, набросил на петельки висячий замок. Слесарка заканчивала работу. Возле стола мастера толпился народ. Кажется, этот молодой прилипала отставать не собирался.

— Витёк, ты идёшь?

— Куда? — снова спросил Ткачук.

— На пенёчки, под зелёный шум. У мастера день рождения.

— Нет — коротко бросил Ткачук, и Толик, сложив недовольно губы, отвернулся.

Виктор подумал, открыл ящик, снова вытащил полотно и бросил в свой портфель. Сейчас он пойдёт в умывальник, потом, не возвращаясь в цех, двинет к проходной… Он, Ткачук, устал от этих людей. Они вечно от него что-то хотят, пытаются втащить его в ту жизнь, которая их вполне устраивает. Виктор: знал отупляющий дурман водки — это не для него. Именно сейчас у него стали открываться глаза…

Ткачук вышел из проходной, оглядел зелень деревьев, покрытую жёлтым налётом, заспешил на остановку. Напротив, через дорогу — кирпичная стена тракторного завода. Его труба чадит ядовитыми клубами дыма. Если по складу тухлых яиц пропустить бульдозер — эффект будет тот же… Казалось, сернистые испарения проникали сквозь одежду, этот испорченный воздух — примета здешней местности. Но люди привыкли. Только не он, Ткачук. Ему никогда не привыкнуть. К горлу подкатывает комок, напоминая тот, другой воздух, который ни с чем не спутаешь. Приторный, липкий, тягучий… и мириады жирных, зелёных мух… Кажется сегодня, слава богу, ветер в другую сторону.

Виктор облегчённо вздохнул, присел на лавочку. Мальчуган лет восьми, овладев рукой матери, во все глазёнки уставился на Ткачука. Его заинтересовал пятнистый комбинезон, кепка с козырьком, голубые полоски тельника. Когда-то вот так же и он держался за руку матери… У неё были мягкие ладони, но Виктор совсем не помнит её улыбки. После похорон отца мать не снимала чёрного платья, стала молиться и часто ходить в церковь. Как-то ночью он неожиданно проснулся, позвал маму. Она стояла перед ним босая, в длинной ночной рубашке. Он ощутил её тёплую ладонь на своём лбу, ухватил за руку.

— Мам… я когда-нибудь умру, и меня совсем не будет? — громко спросил он и почувствовал, как ладонь её вздрогнула.

— Что ты, сынок, на всё воля Божья… Надо молиться Господу, он дарует тебе долгую жизнь.

Виктор никогда не видел мать сердитой, вышедшей из себя. Наверное, поэтому Бог забрал её к себе, а он остался один. Отец Виталий, который стоял вместе с ним у могилки матери, сказал:

— Мы с тобой почти одинаково зовёмся… Живи у меня.

Несколько лет Ткачук прожил при церкви, но вскоре не стало и одинокого отца Виталия; словно он, Виктор, был окружён людьми необходимыми, угодными Богу…

Виктор учился в школе-интернате, но и сейчас он помнит церковный полумрак, запах ладана, смешанный с гарью восковых свечей, тихий говор названного отца, размягчающий тело, наполняющий

спокойствием, лёгкой пустотой, и незнакомой радостью, прозрачной, как свет в ризнице:

«Над всем миром, над нами — всеблагой Господь, его глаза наполняют небесную синь, его любовь движет соки в траве, деревьях… По его воле совершаются все благие дела, а все чёрные — по воле сатаны… Царь тьмы часто принимает божье обличье, он приносит все беды на землю, но хочет слыть Богом, поэтому рядиться в святые одежды, в золото риз и сеет среди людей раздор и смуту…»

В то время ему, мальчишке, казалось: эти, полные таинства, слова никакого лично к нему, Ткачуку, отношения не имеют. Это всё: и церковь с её прохладным сумраком, и одежды священников, и проникновенный голос отца Виталия, — часть непонятной игры взрослых, почитающих Бога, иссушенного страданиями древнего человека, безжизненный лик которого навсегда запечатлелся в его сознании и никогда не был связан напрямую с ним, Ткачуком.

Но вот, три года назад, в то жаркое лето под Кабулом, в одну из ночей, в палатку, где спал Виктор, явился образ отца Виталия. Как наяву, он внимал негромкому голосу, кажется, что теперь он всё понял, но, проснулся, и не мог вспомнить, о чём они говорили: он снова остался один, среди затхлого воздуха, десятки потных тел ворочались на пыльных матрасах… Отчего отец Виталий, память о котором отодвинулась в самые дальние уголки, решил напомнить о себе? Может быть, Виктор сам позвал его? Последние события в Бодахшане заставили помянуть забытое имя Бога…

…Ткачук поднял голову: мальчик с мамой садился в автобус, двери за ними закрылись, малыш, устроившись на сиденье, продолжал смотреть на Виктора. Только сейчас Ткачук увидел на автобусе номер, досадливо сплюнул — прозевал свой маршрут. Такое частенько с ним случалось: он пытался собрать своё прожитое по кусочкам, составить те невидимые звенья, которые могли бы дать хоть какой-то законченный смысл, и тогда повседневность отодвигалась от него куда-то в сторону. Он заметил странности своей памяти: первый толчок в нём вызывал знакомый запах, скорее всего, его способность различать самые неуловимые запахи. Виктор жил среди запахов, и особую ненависть он питал к этому сернистому дыму из литейки: от него никуда не скрыться и к нему никогда не привыкнуть… Кажется, ветер повернулся: клубы желтоватого дыма из-за каменной стены потянуло на остановку. Ткачук прикрыл нос руками.

…Бодахшан снова дохнул на него прожаренными камнями, пылью… Нагретое солнечное марево плыло над землёй, искажая единственную постройку из глины среди виноградника. Отсюда их обстреляли, и здесь его взвод пробирался среди окопанной виноградной лозы. Вряд ли тут кто мог уцелеть.

Взрывы вспахали, перевернули землю. На ветках лозы висели корни вместе с комьями бурой земли. Он оторвал зелёную гроздь винограда и, осматриваясь вокруг, сунул её в рот. С таким же успехом можно было жевать эти покрытые пылью листья. Виктор выплюнул вяжущую зелень, прошёл ещё несколько рядов и тут увидел его… Молодой «дух» лежал в междурядье, лицом вверх. Виктор продвинулся к нему и остановился в нескольких шагах. Убитый мог быть заминирован. Видел разорванные тела, зелёные и голубые кишки… Этот — целенький. Лицо — ангельское. Большие глаза открыты, рука сжимает ободранное ложе «Калашникова»…

Этот афганец — почти мальчишка — долго не выходил из головы. Чёрные волнистые волосы, тонкие черты лица, нежная, как у девушки, кожа. В карманах — только пучок сухой пахучей травы. Виктор взял эту траву, сложил в маленький мешочек и повесил на шею. Словно амулет. Когда им выпало на вертолёте перевозить трупы наших солдат, пролежавшие двое суток на жаре, в кабине вертолёта он прижимал этот мешочек к носу, но сладковатый, тягучий запах, казалось, проникал сквозь поры… Три дня Виктор ничего не ел, он отыскивал на груди мешочек, ловил ноздрями тонкий аромат. Такой запах, смешанный с дымом курящихся благовоний, стоял в одном из дуканов Кабула.

И всё же, кто тот молодой афганец, с лицом, как на иконе? Бандит или падший ангел? У них свой бог, и они умирают с его именем на устах. Мы же забыли Христа… Где он? Спокойно наблюдает, как Сатана собирает свою жатву?

У кого спросить, кто ответит? Поднимут на смех… Разрешилось всё само собой. Взрыв мины, контузия, очнулся в госпитале… Судьба или Бог? Война для него окончена, конечности — целы. Он возомнил, что нужен ещё кому-то в этом мире, иначе — почему так легко отделался?

Прошло несколько лет, и Виктор понял — здесь, в мирной жизни, он, как ненужная деталь некогда большой и сложной машины, которая теперь заброшена на свалку. Удивлялся себе: почему раньше не замечал в людях то, что они даже и не пытались скрывать? Все они давно покрылись ороговевшей скорлупой: сидят, жуют, время от времени высовываются, чтобы ухватить то, что подвернулось…

Впрочем, те, кто половчей, делают это с приличным, добропорядочным видом. Его друзья по Афгану тоже устраивались в этой жизни, как могли. Что ж, он нисколько не осуждает их. Они заслужили жизнь лучшую, чем все остальные, не нюхавшие пороха. Только у него — свой путь, своё откровение, быть может, ниспосланное свыше…

…Первый раз Ткачук услышал этого человека месяц назад. Виктор, как-то затащил своего напарника, Лешку, в большую брезентовую палатку на окраине города, с православным крестом перед входом. Проповедник говорил негромко, густым, глуховатым басом, поражающим своей внутренней мощью. На чёрной одежде — массивный крест, редкая растительность на голове, борода, прикрывающая шею. Его голос заполнял всё пространство палатки, жил отдельным инструментом, исторгающим звуки, способные приводить в трепет слабые огоньки зажжённых перед образами свечей…

— Ваши бедствия — ваши блуждающие в потёмках души, — говорил незнакомый проповедник. — Но разве удивительно? Повернитесь назад:

за вами — тысячелетие Лжехриста, меняющего свой лик и естество своё. Мог ли князь тьмы стать первоапостольным князем, крестившим Русь? Мог ли воитель братских княжеств, братоубийца и предатель[1] князь Владимир осенить себя и свой народ Христианством? Первое, что узаконил Владимир на Руси, — верующему простится любой грех. Возможно ли, чтобы Господь в угоду себе сбрасывал символы иной веры в реку? Христос на Великой Руси был представлен божеством в золотых одеждах, народ ослеплён верой в Бога-царя — карающего или милующего, христианин стал распознаваться по количеству даров господу, но не по делам и помыслам. Лицо мирской власти — сатанинское, вот почему храм Божий, храм церковный стал её прибежищем и потом — орудием. Посмотрите друг на друга, и вы убедитесь: Христос до сих пор бродит среди нас каликой, юродивым, нищим, он стучится в наши сердца, но они всё ещё глухи…

Разве не понимаете вы, что конец света давно наступил, что сатанинское жало проникло в сердца чиновников, правящих в государстве? Разве Господь в силах разбудить умершие души? Он в состоянии только забрать к себе живые, чтобы восполнить число небожителей…»

Виктор был потрясён. Он смотрел на Лешку и не видел его… Лешка улыбался: «Я понимаю, поставить свечки за погибших в Афгане ребят — святое дело. Но это — поповский бред!»

Виктор молча сложил лист с отпечатанной проповедью и спрятал его во внутренний карман пиджака.

Ткачук не пошёл домой, а направился сразу в сарай. Он оборудовал себе небольшую мастерскую, собрал всякого инструмента, на деревянном столе пристроил большие тиски. Здесь пахло древесной стружкой, клеем; в прогнившем деревянном полу сновали мыши. Виктор любил забываться за работой, любил смотреть, как под руками появляется задуманное, как из бесформенного куска дерева или железа появляется нужный предмет. Он включил лампу, осмотрел камень на точиле, достал из портфеля металлическое полотно. В конце — концов, шлифовальный круг можно принести сюда…

Ткачук работал и думал о своём хозяине, старике с больными ногами: «Надо зайти в магазин, купить молока, хлеба…»

Дед Фрол уже полгода не вставал с постели. До Виктора у него жил студент, которому надоело смотреть за стариком. Соседи Фрола по коммуналке написали заявление в собес, чтобы деда определили в дом престарелых. В этом случае комната и маленькая каморка доставались им. Дед считал, что лучше умереть, чем уйти из своей комнатушки. Но ведь кому-то надо было выносить горшок, стоящий под стулом с дыркой, и приготовить поесть… Фрол призывал к себе «смертыньку», но безрезультатно. Ревматизм поразил только его колени, старость наделила забывчивостью, в остальном дед был жизнелюбив, с хитрецой и, частенько призывал «косую», чтоб возбудить к себе сострадание. Пенсию ему приносил почтальон, и дед, путаясь в новых деньгах, рассовывал разноцветные бумажки в самые неожиданные места. Один раз Виктор обнаружил ассигнации, торчащие из дыры в его старом матрасе. «Фрол, — сказал он деду, — не рассовывай деньги по щелям, как сорока. Давай буду складывать в шкаф». Так и договорились.

Продукты Виктор покупал на свои деньги, а пенсию деда откладывали на похороны. Квартирант оказался для Фрола находкой. Когда в коридоре появлялся Виктор, обтянутый тельняшкой, замолкали оживлённые разговоры на кухне. Ткачук не сказал за всё время соседям ни слова, но те, завидев его, разбегались по комнатам, словно тараканы.

«При деньгах и связях», — говорил о соседском семействе Фрол, но Виктор, кажется, даже не помнил никого из них в лицо, включая отца, двоих сыновей и горластую, неряшливую женщину. Когда он развешивал в коридоре стираные подштанники деда, соседи не показывали носа. А на кухне он бывал редко, в основном только утром.

Вскоре Фрол стал уговаривать Виктора, чтобы тот прописался у него; боялся, сбежит, как студент.

Виктор пошёл в отдел социального обеспечения забрать документы, каким-то чудесным образом оформленные для дома престарелых без согласия Фрола. Ткачуку не отдали их: не родственник и даже не опекун. В домоуправлении тоже находились тысячи причин, чтобы не прописывать его. Раньше Виктор думал, что эти две организации никак не могут быть связаны между собой. Теперь он понял, что ошибался. Комнату деда давно держали как «перспективную». Дело собеса — пристроить Фрола, дело домоуправления — держать «площадь», кому надо. Кому же надо? Тому, кто при деньгах, за так сейчас ничего не делается… Помыкавшись, Ткачук всё-таки оформил опекунство и явился в собес забирать бумаги на деда.

Очереди, как ни странно, не было, и он прошёл в кабинет, где стояли два стола. Он подошёл к девушке, она указала на мужчину, разговаривающего с посетителем: «К Евгению Петровичу». Виктор, не дожидаясь приглашения, присел на стулья, рядком выстроенные у стены. У мужчины — довольное, симпатичное, улыбчивое лицо. Он продолжал свой разговор:

— А где вы, собственно, работаете? — обращался он к посетителю.

— Отдел снабжения треста «Стройматериалы», — отвечал тот.

— У вас большие возможности… Сейчас трудные времена…

— Нет вопросов! — перебил посетитель. — Что надо — организуем. Если мы сами себе не поможем, кто нам поможет? Пишите телефон.

1. …братоубийца и предатель — так называет князя Владимира свободный проповедник, не имеющий отношения к официальной церкви. Вольно толкуя исторические события, он имеет в виду убийство Владимиром своего брата Рогволда и его сыновей, а так же предательство своих боевых товарищей варягов. В девяностые годы в России можно было встретить такие никому не подотчётные приходы, где службы были организованы во временных палатках.

Совершенно незаметным жестом посетитель извлёк красивую упаковку, и так же ловко оставил её на столе. Евгений Петрович, кажется, ничего не заметил. Он проводил посетителя до двери, вернулся за свой стол, и перед Виктором уже сидел совершенно другой человек.

— Вы ко мне? — спросил Евгений Петрович тусклым голосом и стал рассеянно перекладывать на столе бумаги.

Если бы хоть какая-то тень догадки коснулась его, если бы он посмотрел на Виктора, почувствовал, кто сидит перед ним, — как всполошился бы этот человек! Как всколыхнулась бы эта оболочка, в которой пребывает Сатана, спокойный и уверенный в своей безнаказанности!

— Я к вам, — глухо ответил Виктор и присел к столу. Он втянул носом тонкий запах жасмина, исходивший от гладких щёк Евгения Петровича. — Я пришёл забрать бумаги деда Фрола — он не поедет в дом престарелых.

Виктор выложил на стол свидетельство об опекунстве.

— Да-да-да-да… А, собственно, кем вы ему приходитесь?

— Никем.

— Значит, решили получить комнату старика?

— Нет, не решил.

— Вы, кажется, были в Афганистане и могли бы получить жильё по льготам?

— Я что, пришёл у вас просить?

— Вот вы все такие, афганцы… Разве я…

— Нет, не вы. Вы — нет… Давайте бумаги и оставьте старика в покое. Девушка, вы могли бы выйти?

Девушка не успела встать, как на столе оказалась папка с фамилией Фрола. Лицо Евгения Петровича побледнело… Вот оно внутреннее, скрытное! Может быть, всё-таки почувствовал, кто перед ним?!

Виктора мучила бессонница. Он забывался только к утру, когда уже нужно было идти на работу. Сны были похожи на бред после контузии — всё тело покрывалось липкой испариной и, просыпаясь, он думал о том, что снова приедет к этому мосту и будет дышать невыносимым воздухом… Каждый раз он говорил себе: всё, больше не поеду! Странный сон приснился ему сегодня: бескрайнее поле и он, возле старого, заброшенного колодца… Верхняя часть сруба сгнила и обвалилась. К уцелевшему столбику привязана верёвка с жестянкой для воды…

К этому колодцу, хотя и был он далеко, мальчишки бегали из деревни, чтобы покричать в бездонную черноту сруба, достать со дна холодной воды с привкусом плесени. Он смотрел в тёмную пустоту колодца, ему было страшновато, жутко представлять себя на дне, но безотчётно влекло заглядывать туда снова, снова хотелось испытать эту сосущую пустоту под ложечкой… Сон не выходил из головы: чёрные, покрытые слизью стены сруба, не дают ему выбраться; он цепляется ногтями за гнилое дерево, но оно подаётся, крошится. И он снова проваливается на дно, где темно, сырой холод пронизывает до костей… Вдруг появляется лицо старца, глубокие глаза смотрят проникновенно, ему сразу становится тепло, и он сразу понял: это Христос! Старец протянул к нему руки, и в руках его сверкнул отточенный меч…

— Иди, Виктор! Только ты можешь узреть Сатану. Нет служителей Бога, антихрист правит на земле… — произнёс он то, что, Виктор давно уже ждал, и исчез. Но кто это? Вместо старца — знакомое лицо, в рясе, и с крестом на шее… Знакомая улыбка — это же Евгений Петрович! Что же он рядится в рясу? Он же готов ради пузырька с французским одеколоном отобрать у старого Фрола последнее прибежище в его жизни… Надо сорвать с него рясу! Надо, чтобы все увидели, что скрывается под ней…

В один из дней осени, когда стояла отвратительная погода, Виктор не поехал на завод. Он позвонил мастеру, сказал, что заболел, и что на следующей неделе берёт расчёт. Те деньги, что он зарабатывал на заводе, можно было иметь за неделю в мебельном магазине. Как-то зашёл Лешка, его давний друг, посмотрел на его руки, сказал:

— С такими лапищами тебе у нас цены не будет! — и это решило дело.

Всю зиму он возил мебель, тяжёлая физическая работа отвлекала его от назойливых мыслей. Но спал по-прежнему плохо. Во сне он испытывал странные превращения; это был другой мир, где всё подвластно символам, наполненным значением.

Чаще всего приходил старик с пронзительным взглядом. Этот старик приносил ему успокоение. Но, его взгляд, его жесты, его слова — имели какой-то смысл. Старец призывал Виктора к действию, к осуществлению справедливого возмездия, и Виктор мучился, пытаясь разгадать знаки, которые, как он был уверен, ему посылались свыше.

И почти в каждом сне — Евгений Петрович. Его приятная улыбка. И даже запах жасмина. Но стоило Виктору ухватить его за одежды, как под ними оказывалось одно и то же — труха и гниль…

Виктору не составило труда узнать, где Евгений Петрович живёт. И он стал ездить к нему, в новый микрорайон. Виктор не жалел своего свободного времени. Даже в плохую погоду он сидел на лавочке, накинув капюшон на голову, и смотрел на его окно на третьем этаже… Иногда Евгений Петрович выгуливал свою собаку, маленького шпица. Несколько раз он прошёл мимо Виктора, покуривая дорогую сигарету, но даже не взглянул на него.

Видел Виктор Евгения Петровича вместе с женой; видел, как в его «жигуль» садилась молодая девушка. Кто она ему? Виктор старался всегда быть подальше от женщин.

В тёплый день марта Виктор засиделся на лавочке допоздна.

Уже стемнело, и он собрался домой. За день солнце разогрело землю, и от неё исходил влажный, дурманящий запах. Прохладный воздух наползал от леса, и тёплые испарения превращались в туман. В лесопарке вокруг было безлюдно, лавочки пусты. Виктор встал и вдруг увидел Евгения

Петровича: он отстёгивал поводок у собаки. Шпиц бросился к кустарнику, Евгений Петрович закуривал сигарету.

Клубы пара поднимались, на глазах превращаясь в молочную густую пелену. Сейчас, кроме горящей сигареты — оранжевого светляка в белом — ничего не было видно. У Виктора засосало под ложечкой, внутри появилась пустота, словно он снова, как в детстве, смотрел в пугающую бездну колодца… Виктор сделал эти пять шагов совсем неслышно, он оказался за спиной Евгения Петровича. Правая рука легла на рот и подбородок, левая вцепилась в волосы: резкий рывок, и Виктор услышал слабый хруст шейных позвонков… Тело в его руках обмякло и стало проваливаться вниз, слабый аромат жасмина и дорогих сигарет растворился в клубах пара. Прибежал шпиц, весело помахивая хвостом, он скакал вокруг хозяина, обнюхивал его, скулил: шпиц полагал, что это игра, что хозяин притворился…

Виктор приехал домой поздно. Фрол с отвалившейся челюстью спал, освещённый экраном телевизора, где безголосые люди передвигались, как марионетки. Старик оторвал голову от подушки, и его голос тоненько задребезжал:

— Виктор, за молодухами, поди, ухлёстываешь: Ох… — застонал он. — Голова… налил бы рюмочку… — В его голосе слышалась безнадёжность, дед знал, что ничего не получит.

Виктор появился с рюмкой и куском яблока.

— Выпей, Фрол… За упокой раба… Сатанинского…

Оставив деда, он открыл ящик стола и достал оттуда маленький мешочек с травой; прильнул к нему лицом, потом прошёл к кровати и упал, не раздеваясь.

В эту ночь он спал как убитый.

Свой портфель Виктор собирал в сарае. Но прежде он достал клинок и ещё раз осмотрел его. В тусклом свете блеснуло отполированное лезвие. Ручка широкая, удобная. Делал под свою руку. Рядом с рукояткой выбил керном три шестёрки — знак сатаны. Он положил нож на дно истрёпанного портфеля, тщательно прикрыл куском чёрной кожи. Остальные мелочи и еду положит дома. Ехать недалеко, какой-то час на автобусе.

Виктор повторял два слова, вслушиваясь в своеобразие названия монашеского скита. Недавно Оптину пустынь показывали по телевизору, но недолго. Он не успел рассмотреть всё как следует. Впрочем, Виктор всё увидит на месте, он разберётся и поймёт, кому служат эти святоши — Богу или сатане…

Виктор вышел из сарая, вдохнул весенний воздух. Апрель в этом году выдался необычайно тёплый… Близился Великий праздник верующих — Воскресенье Христово.

В апреле месяце все средства массовой информации России освещали зверское убийство четверых монахов Оптинской пустыни. Они были зарезаны самодельным ножом, с выбитыми на лезвии тремя шестёрками — символами Сатаны. Чуть позже нашёлся и убийца — бывший десантник. Материалы допросов обвиняемого и мотивы убийства — так и не были опубликованы.

Мы и Чехов

150 лет
со дня рождения А. П. Чехова

…вдумчивый и благородный. Тот, кто видел и предвидел. Тот, кто умел в малой форме выразить огромное содержание — целый пласт глубинных механизмов человеческой психики. Чехов возвёл описание деталей до символизма, тем самым упростив — а, может, усложнив, — нам путь к пониманию его героев, а так же дорогу к самим себе.

Екатерина Мялькина,
искусствовед (Москва)

чехов могуч, тут вряд ли поспоришь. Даже не углубляясь в тексты, одних внешних успешных и странных достижений у апч предостаточно. В духе литературной книги Гиннеса. Ну, так, особо не задумываясь: Чехов (редчайший случай) великий, действительно великий писатель-прозаик, не написавший ни одного романа.

Драматург, и это общепризнано, второй после Шекспира, самый популярный в двадцатом веке, причём во всём мире, а создал фактически всего четыре пьесы (сравните с тем же Шекспиром, у него их десятки, а одни исторические хроники чего стоят!). Также Антон Павлович один из двух великих писателей всех времён и народов, собственно, носящих имя Антон…

У меня к нему отношение непростое: Чехов (и это тоже его достижение) один из немногих литераторов, коих я прочёл целиком, практически всё (не полное собрание, но что-то около двадцати томов). И читал не раз. И каждый раз относился по-разному. Не всегда хорошо. Он умный, очень тонкий, он реально умеет смешить, реально может тоску навеять или показать, к примеру, какой сволочью может быть женщина (ну, или мужчина). Но как-то… холодно от него. Какой-то презрительный он, что ли?.. Опять-таки моей любимой любви нет (простите тавтологию). Лишь ирония, ум, насмешка. В общем, отношение своё к 150-летнему тёзке я пересматриваю, перерабатываю. А вы?

Антон Нечаев,
поэт (Красноярск)

…отточенность мыслей и поразительная лаконичность. Первое выступление — мы в детском театре ставили его рассказы, объединив несколько в один спектакль, Чехов — Ялта и солёные брызги, немного дурманящий свежий воздух, разговоры по душам вечерами… что-то уютное и очень близкое.

Василина Степанова,
студентка (Красноярск)

Валентина Поликанина

Как вечный хлеб…

Отъезд

Железной дорогою день оторочен.
Отъезд тем прекраснее, чем он короче.
Предчувствуя встречу душой материнской,
Я вновь уезжаю из милого Минска.
Оставив слезу на притихшем перроне,
Я еду по родине в старом вагоне.
Прощаюсь на время с её голосами,
Лечу под крестившими путь небесами.
А мысли текут в потаённые реки—
Плыву «из варягов» и, стало быть, «в греки»
По родине светлоосенней и ранней,
По родине, где каждый камень изранен,
По родине, город вплетающей в сёла,
То с грустной жалейкой, то с дудкой весёлой,
По родине, вымытой дождичком спелым,
По родине славной, разумной, умелой,
По родине прóклятой, с вечною драмой,
Всё мимо церквей да костёлов и храмов,
По краснорябиновой, горькополынной,
Вдоль брошенных нив и забытого млына,
По родине пущ и тенистых излучин,
По родине слёзной, болючей, горючей,
По родине «бульбы», солёных горбушек,
Морщинистых, подслеповатых избушек,
По родине, где столько бед пережито,
По родине «свята», по родине «жыта»,
По родине, всем открывающей дверцу,
По родине детства, по родине сердца.

Всё тот же мир. Всё та ж первооснова.
Всё тот же запах лавра от венца.
И вечный круг магического слова
Всё так же манит бедные сердца.

Всё та же боль, что нам дала природа.
Всё то же безоглядное «прости».
Всё тот же путь в стремленье к повороту.
Всё те же остановки на пути.

Я—твой остров, Одиссей, горестная пристань.
Под тобой мои пески в золотой гурьбе.
И в любви моей к тебе столько материнства,
Сколько нежности моей—в мыслях о тебе.
Пусть помирятся с тобой долгие дороги,
Будут
кратким—трудный путь,
безмятежной—высь.
Я же ветром прошепчу—бережно, в тревоге:
«Не остынь», «не обожгись», «в боль не оступись».

И будет ночь, и будет высший миг
Желающим взлететь не понарошку,
И будем мы, и будет этот мир—
Как вечный хлеб, раздéленный на крошки.

И будет гром хлестать со всех сторон,
Закаркивая вороном, по-птичьи
Крылом стегая занятый перрон,
По-броуновски злой и хаотичный.

И будет важен мне пустяк любой,
И будет ветер рвать зонты и души,
И боль живую, как твоя любовь,
Тяжёлое сомненье не задушит.

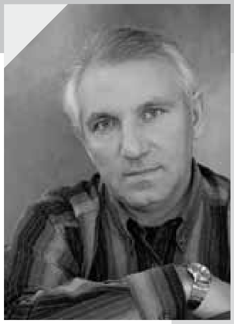
И будет дождь, как небо голубой,
Чтоб после, размывая дни и числа,
Над перепутьем, над моей судьбой
Насмешливая радуга повисла.

И прошлое не порастёт быльём,
Грядущее не станет аномально,
И будет день, как чистое бельё,
Хрустящее от белизны крахмальной.

Да и были ль снега,
Легче самой изысканной ткани?..
Лишь сквозит сединой
Эта дикая снежная прядь.
Испугался мороз:
Заморозил он всех, заарканил…
Отступил, ослабел,—
И свободными стали опять.

В тёплых шубах, как в старых домах,
Запотело и душно.
Ни за что, ни про что
Вёснам зиму свою не отдам!
Мы, как прежде, свободны,
Да только грязны и недужны,
И по лужам бредём,
Как по волчьим голодным следам.

Божье небо, как эта земля,
Мутной грустью наволгло.
И плетутся дырявые сети
И ночью, и днём.
Серой хляби дождливой
Нам хватит всерьёз и надолго.
Горькой скорби дорожной
До самого сердца глотнём.



Анатолий Андреев

Тараканьи бега

У каждого своя война

— Война была не такая, война была другая,— капризно твердила пышная Людмила Дорофеевна, дама представительная, с манерами, целомудренно оправляя оборки платья в цветочек.

— Позвольте с вами не согласиться,— сухо кашляя в кулачок, сопротивлялся субтильный Орфей Иванович. При покашливании на его узкой, но выпуклой груди со сдержанным достоинством позванивали густо посаженные медали, скромно уступившие место в первой — верхней — шеренге двум выразительным орденам.

9 мая 1975 года, в День 30-летия Великой Победы, бравый Орфей Иванович заглянул к Людмиле Дорофеевне с букетом тюльпанов и с не вполне ему самому ясным, однако же достаточно определённым намерением. Праздник придавал уверенности бывшему капитану-артиллеристу, а ныне вдовцу и преподавателю музыкального училища по классу кларнета и флейты.

Дело происходило давно, в Таджикистане, в Ленинабаде, городе Ленина на Сыр-Дарье. Героев рассказа нет уже в живых, но я, любимый ученик Орфея Ивановича, исполнявший самые ответственные партии в оркестре под его руководством, отчётливо помню облик моих невыдуманных персонажей, их искренние интонации, залитый солнцем среднеазиатский сухой май и своё первое тяжёлое недоумение, так усложнившее мою до того беспечную молодую жизнь.

…Цветы Людмила Дорофеевна поставила в вазу, водрузив её в центр овального стола; при этом она, походя, ткнув холёным пальцем большую кнопку, выключила чёрно-белый телевизор «Горизонт», по которому звучали колючие марши, и показывали документальные кадры военного времени. Советские войска непрерывно побеждали врага на всех фронтах и собирались делать это весь день — и вдруг наступила, казалось бы, мирная тишина. В этот момент она и произнесла свою простую фразу про «другую войну», так задевшую Орфея Ивановича. Очевидно, поэтому она повторила её, издевательски не поменяв ни слова.

— Вы ведь водку пьёте? Извините, я не держу в доме водки,— добавила хозяйка.

— Спасибо, я не пью водки, гм-гм, с некоторых пор. Я захватил хорошее вино, если вы не возражаете.

На этикетке креплёного марочного вина «Ганчи» медалей было больше, чем на груди скромного, однако довольно решительно настроенного гостя.

Откупорив бутылку с вином, Орфей Иванович разлил его в бокалы — почти до краёв.

Людмила Дорофеевна воспитанно не подала виду, но как-то удивительно тонко, едва ли не кружевами и манжетами, дала понять, что она не одобряет такие широкие, практически варварские жесты.

— За Победу, за Великую Победу! — неуклюже вставая, сказал Орфей Иванович, игнорируя нюансы её поведения, от которых в любое другое время он получал ни с чем не сравнимое удовольствие, и вытянул вино до конца большими громкими глотками. Людмила Дорофеевна не притронулась к бокалу, даже не пригубила.

— Так какая же была война? — вежливо поинтересовался раненый в ногу и контуженный капитан, дошедший до Берлина, но оказавшийся потом в Средней Азии — за то, что он когда-то высказал своё мнение о войне и о знаменитом генерале (капитан назвал его «людоедом» и «фашистом») в кругу подвыпивших, но весьма бдительных однополчан. Кроме того, ему припомнили, что он обучался игре на кларнете у специалиста, закончившего Венскую консерваторию. Специалиста отправили на Колыму, а его любимого ученика Орфея, коренного минчанина,— туда, где потеплее, в Среднюю Азию.

— Я всю войну провела в городе Белая Церковь, что на Украине,— начала Людмила Дорофеевна явно с намерением выговориться и убедить, неизвестно в чём, неизвестно чему сопротивлявшегося гостя.

— Вы были под оккупацией?

— Не сказала бы.

— Но ведь немцы захватили город?

— Они вошли туда и без наглости расположились в домах мирных жителей, никого особо не стесняя.

— Так-так,— сказал капитан и прошёлся по комнате, слегка приволакивая ногу. При этом медали на его груди зазвенели вызывающе, и даже саркастически.— И что же делали немцы в городе Белая Церковь?

— Они не делали ничего плохого.

— Они никого не убивали?

— Что вы?! — изумилась Людмила Дорофеевна.— Они нам помогали.

Капитан воинственно прошёлся в другой конец комнаты. Бряцающие медали уже не скрывали гнева и раздражения.

— Да не мельтешите вы перед глазами, ей-богу, сядьте, я вам сейчас всё расскажу.

Орфей Иванович присел на краешек стула воспитанным истуканом. Хозяйка налила ему вина в бокал — ровно до половины, как и полагается в приличных домах и компаниях. Он не шелохнулся.

Людмила Дорофеевна отпила маленький глоток вина и продолжала:

— В доме моего отца, репрессированного большевиками за то, что он был священником и сыном священника,— доме большом, с прекрасным земельным участком,— встал на постой немецкий офицер с денщиком.

Орфей Иванович мрачно смотрел на свой бокал.

— Они не тронули иконы в красном углу. И мне любезно предложили лучшую комнату, заметьте.

— Сначала вероломно напали на нашу страну, потом вломились в ваш дом, а потом вам предложили комнату в вашем же доме? Сразу видно: культурные люди.

— Не будьте таким наивным и занудным. Мужчины всегда воюют, а военным надо было где-то жить. Так было всегда, во все времена. Но офицер с денщиком вели себя вежливо, не позволяли себе никакого хамства, всегда «битте» и «данке шен». У обер лейтенанта были до блеска начищенные сапоги, великолепный одеколон, гладко выбритое, ухоженное лицо, голубые глаза. Как у вас. Он вообще чем-то напоминал вас. Вы знаете, он обращал на себя внимание. Однажды, когда я слушала по радио сводку Совинформбюро,— да, да, я легкомысленно нарушила строгий запрет— в комнату ко мне постучался офицер, герр обер лейтенант, звали которого, дай Бог памяти…

— Ганс. Или Фриц. Что, впрочем, одно и то же.

— Не ёрничайте, Орфей Иванович. Вам это не идёт. Его звали Рихард.

— А зачем он постучался в вашу комнату?

— Что за вопрос?! Надеюсь, это не пошлый намёк? Не помню уже. Так вот. Со страху я выключила радиоприёмник, но оставила его на прежней волне. Он вошёл, пристально посмотрел на расположение антенны— и сделал вид, что ничего не заметил. Он, конечно, обо всём догадался. Вообще, он вёл себя очень прилично, хотя, кажется, был ко мне неравнодушен.

— За победу над фашистской Германией, нашим злейшим врагом,— сказал Орфей Иванович и залпом выпил вино. Людмила Дорофеевна вновь проигнорировала его тост.

— А его денщик, представляете, постоянно насвистывал арии из опер. Он знал весь мировой репертуар и обожал Чайковского. Кроме того, он бесподобно ухаживал за цветами. Такого цветника я не видела в своём доме никогда. Боже мой, какие он вырастил розы! Уму непостижимо!

Орфей Иванович налил себе бокал до краёв.

— А когда немцы вынуждены были отступать, то денщик аккуратно собрал вещи и целый день, насвистывая без единой нотки фальши и жмурясь от солнца, сажал морковку в огороде— под линеечку, строго по линии. Забивал колышки, натягивал верёвочку— и только потом сеял семена. «Зачем вы это делаете?»— спросила я, разумеется, по-немецки (в школе мы все учили немецкий). «Ведь вы же отступа…, простите, уходите. Вы не увидите результатов своего труда». Он перестал свистеть, посмотрел на меня и ответил: «Но ведь вы же не уходите, фрау Людмила. Здесь будут жить хорошие люди. Я хочу, чтобы после нас остались лучшие воспоминания». Представляете? Потом пришли солдаты Красной Армии в грязных сапогах и растоптали весь посев морковки. Нет, не весь, кое-что выросло, и морковка оказалась чудесной, просто чудесной. А по телевизору и в кино немцев представляют варварами, дураками и садистами. Это враньё, и больше ничего. Меня это возмущает. Я просто не могу смотреть военных фильмов.

— А я убивал немцев,— задумчиво сказал Орфей Иванович.— У одного были начищенные сапоги, а я взял и убил его.

— За что?!— воскликнула Людмила Дорофеевна, в ужасе закрывая свежее лицо руками.

— За то, что он хотел убить меня. Прострелил мне ногу своим крупнокалиберным, и в мой грязный сапог набежало с литр крови. Едва Богу душу не отдал…

— А за что он хотел убить вас?

— Вы не поверите, Людмила Дорофеевна, но этот фашист положил почти половину нашего батальона. Нельзя было нам атаковать с той гибельной позиции, нельзя. Поляна простреливалась вражеским пулемётом насквозь. Я ведь сказал об этом комбату, царство ему небесное.

— А он, что, не послушал вас?

— Приказы на войне не обсуждаются, Людмила Дорофеевна. Они выполняются. Глупые приказы— тем более. Любой ценой. Мои лучшие друзья лежат под Белой Церковью. Я забыл спросить того гада, зачем он убивал наших солдат. Мне было не до того. Я убил его, всадил в него три пули, всё, что оставалось в обойме, а потом ещё и штык-нож вонзил, со скрежетом. Наверное, задел за рёбра, хотя мне показалось, что у него вместо сердца— камень, и я сталью— по камню. А потом я сел и заплакал. Мне ребят было жалко. Лешку… Матвея… Потом меня подобрала санитарка, славная девушка. Через два дня её убили… Её Лешка любил… Я не долечился в госпитале, сбежал на фронт. Мне хотелось убивать этих нелюдей, с камнями вместо сердца, ещё и ещё. У меня была другая война, Людмила Дорофеевна. Там не сажали морковку и не насвистывали арий. Извините.

— Вы меня не обманываете? Вы на самом деле убили человека?

— Не человека, а фашиста.

— Фашисты тоже люди. Они были культурными людьми, они не могли убивать просто так. Должна же быть причина. Почему никто не говорит о причине?

— Они убивали за идею, просто потому, что считали себя сильнее. И умнее. И талантливее. Иконы не трогали, а людей уничтожали. Они считали меня второсортным «материалом». Поэтому я их и ненавижу.

— Ненависть разрушает человека.

— Ненависть к фашистам укрепляет мой дух. А ещё я ненавижу фашистов за то, что они заставили меня убивать и ненавидеть. Они и меня сделали немного фашистом…

— Большевики тоже хороши, скажу я вам. Они тоже перекраивали мир «за идею», и для них мой отец тоже был второсортным «материалом». Да и вас они не пожалели…

— Не путайте божий дар с яичницей. Одно дело — убивать из любви к людям, и совсем другое — из любви к себе, из презрения к другим. Большевики были вооружены благими намерениями. Их жестокость — это жестокость романтиков, а жестокость фрицев — это жестокость глупых циников.
— Вот именно — вооружены. Всё воюем и воюем. Не люди, а бойцовская порода какая-то. Вот и вы туда же. Какой вы упрямый и …принципиальный. А казались таким мягким человеком. Покажите мне рану на ноге.
— Вы думаете, я притворяюсь хромым?
— Не говорите глупостей. Покажите ногу. Да, да, поднимите штанину. Какой ужас!

Глядя на давний шрам, грубо зарубцевавшийся красновато-сизым зигзагом, напоминавшим зловещий разлёт немецкого Z, легко можно было представить, в какие клочья была разодрана нога молодого тогда ещё человека.
— А за что вам дали орден, вот этот? — она аккуратно прикоснулась пальцем с отполированным ногтем к лакированной эмали ордена Красного Знамени.
— Именно за то, что я убил фашиста, который не сумел убить меня.
— А этот? — пальчик коснулся ордена Славы.
— За то, что спас мирных жителей. Немцев…

Они замолчали. Было слышно, как натруженно тикают настенные часы, уставшие подгонять время, которое пока что оказалось не в силах изменить людей.
— Какую же оперу мы будем ставить в следующий раз? — спросила Людмила Дорофеевна, поймав паузу в осипшем бое домашних курантов.

В музыкальном училище была традиция: силами учащихся и преподавателей раз в сезон ставили новую оперу. Здесь было много талантливейших сосланных музыкантов, которые щедро делились секретами мастерства с учениками. Муж Людмилы Дорофеевны, органист из Риги, умерший лет пять тому назад, тоже оказался в Ленинабаде не по своей воле. Именно он делал искусные аранжировки для оркестра, дирижировал которым Орфей Иванович. Последние годы дирижёр взял на себя ещё и миссию аранжировщика. Оперные постановки давались всё труднее и труднее: кто-то умирал, кто-то уезжал в Москву и Ленинград.
— Что-нибудь из Вагнера, я думаю. Может быть, «Тристана и Изольду». Немецкая опера гораздо глубже и сильнее итальянской, согласитесь. Даже русская ей уступает.
— Несомненно.
— Конечно, мне трудно тягаться в аранжировке с покойным Янисом Теодоровичем…
— Нет, нет, ваши аранжировки тоже хороши. Они очень колоритны и своеобразны. Сохраняют и передают дух оригинала.
— Вы так считаете?
— Так все считают. Спасибо за цветы.
— Если вы намекаете на то, что пора заканчивать мой затянувшийся визит, то извините, я ещё не всё сказал. А я не всегда бываю так смел, отважен и словоохотлив, как сегодня.
— Так говорите же.

Орфей Иванович шевельнулся на стуле, и медали смущённо издали мелодическое шуршание.
— Я хотел бы иметь честь… — тут Орфей Иванович сухо кашлянул в кулачок. — Видите ли… Эх, была не была: соблаговолите стать моей женой, Людмила Дорофеевна.

Часы оторопели и, кажется, забыли отсчитать два-три положенных такта. Нависла пауза.
— Разумеется, я буду вашей женой, — сказала Людмила Дорофеевна, мило теребя оборки платья. Как опытный дирижёр, она выжала из паузы максимум, и оркестр, то бишь её голос с трогательно осевшим тембром, вступил в нужном месте, не раньше и не позже. Партитура диалога ожила. Пауза только подчеркнула значимость её грянувших слов. — Для меня это большая честь. По-моему, за это стоит выпить.

Орфей Иванович растерянно посмотрел на пустую бутылку, стоящую на столе, и сделал движение, чтобы встать со стула. Желание Людмилы Дорофеевны для него давно уже было законом.
— Нет, нет, сиди, Орфей Иванович, тебе нельзя, надо беречь ногу. У меня есть «Рижский бальзам». Он крепче водки. Годится?

Пустая бутылка была убрана со стола (при этом Людмила Дорофеевна ободряющим и плавным движением ладони прикоснулась к свежим тюльпанам, которые, в выправке дворцового караула, вытянули свои пламенеющие бутоны на сочных тугих стеблях), бокалы сменили старинные рюмки из массивного хрусталя.
— Это ещё дореволюционное стекло. Единственное, что осталось от деда, не считая иконы. За что пьём?
— За тебя, моя дорогая.

Медали слабо звякнули, стиснутые внушительной грудью Людмилы Дорофеевны. Орфею Ивановичу был подарен поцелуй, о котором он грезил ещё там, на фронте, — ещё до того, как убил фашиста. И только теперь он обнимал женщину, ради которой, оказывается, воевал: он только сейчас понял это.

В этот момент где-то в городе, затерянном на просторах древней жестокой Азии, прогремел залп салюта в честь победы над варварами из Европы.
— И за то, что ты остался жив, мой воин, — сказала Людмила Дорофеевна и выпила, опередив капитана и кларнетиста.

Вечерние сумерки быстро поглощали дневной свет. По высокому небу, обгоняя друг друга, плавно скользили лёгкие облака.

Тараканьи бега

— И ведь что поражает, Глеб Борисович: «быстрее, выше, сильнее» в исполнении корявых таракашек — это самая чистая и бескорыстная забава. Никакого тебе психологизма с их стороны, никаких чемпионских амбиций. Ползи себе в удовольствие, перебирай хрупкими лапками.

А вот людишки превращают эти забеги в алчное действо. Вообще всё, к чему прикасается человек, становится разрушительным. Заметил? Жили-были насекомые или тлели себе какие-нибудь

безобидные химические соединения: аурум, плюмбум, феррум, аргентум. И вот появляется человек. Таракан превращается в фаворита Григория, аурум — в золото, свинец — в пули, а воздух — в вонючее дерьмо. Тьфу!

Да что там! Всю нашу жизнь превратили в тараканьи бега. Бессмысленно несёшься к какой-то бессмысленной цели, бессмысленно выигрываешь или проигрываешь. Тараканы! Рыжие лакированные тараканы! Вот вам ирония истории: это не тараканы бегут под вашу дудку, это вы стали тараканами. Вдруг из подворотни страшный великан: рыжий и усатый — Таракан. Сказка стала явью.

— Ты прав, Игорь Григорьич, ты прав… Есть ещё чёрные тараканы, тоже лакированные; те из Мадагаскара. Они в бегах самые резвые. Между прочим, тараканы вымирают. Все почему-то думают, что их наплодилось, как грязи. А они благополучно исчезают с лица земли. Устали бегать.

Два чиновника среднего звена, можно сказать, интеллигенты, искушённые в политике, футболе, боксе, искусстве, педагогике, здоровье, алкоголе и женщинах, — словом, в том, в чём до тонкостей, лучше любого профессионала, разбирается всякий уважающий себя человек, — сидели в прокуренном баре и закусывали охлаждённую водку тёпленьким и, надо сказать, противным месивом в горшочках, обозначенным в залапанном меню как «жульен». Драники были вкуснее, однако жульен был французским блюдом, и они повелись на экзотику: жульен явно повышал их социальный статус.

Игорь Григорьевич рассказывал Глебу Борисовичу о тараканьих шоу как о засилье бескультурья.

— Представляешь, мы с тобой, как дураки, паримся в своём Министерстве культуры, а люди зарабатывают на тараканах. На тараканах! Бешеные деньги! Арендуют памятники архитектуры и устраивают в них тараканьи бега. У меня в голове не укладывается.

— Ты прав, Игорь, прав…

Тот, кого назвали Игорем, — одетый в песочно-рыжую пару с иголочки, дерзко освежённую галстуком с изумрудной искрой, — судя по всему, почувствовал прилив уверенности, которую даёт только правота. И он смело сменил тему.

— Бабы, заметь, как с цепи сорвались. Были себе женщинами — так ведь нет, теперь мы феминистки. Таракантши!

— Факт! Сейчас добыть нормальную любовницу — нереально. Все они чего-то хотят. Вынь да положь, понимаешь… Какая-то меркантильность развелась. Раньше такого не было.

Глеб Борисович, обильно, однако элегантно поседевший представительный мужчина, ещё недавно бывший набриолиненным брюнетом с мило выпуклыми алыми губами (о его «чёрном» прошлом можно было судить разве что по густым смоляным усам, придававшим ему такой таинственный вид, что при встрече каждый коллега думал: он точно знает какую-то важную новость), тоже отчего-то энтузиастически заёрзал.

— Точно. А знаешь в чём дело? Только между нами, Глеб. Моя Лора говорит мне: «Я-то буду любить тебя; а вот ты докажи, что любишь меня». Понимаешь? Она будет любить того, кто готов носить её на руках; а вот ты докажи, что готов делать это всю жизнь. Женщина любит не тебя, не меня, а Того, Кто носит её на руках.

— Да, да. Женщина будет любить того, кто даст ей защиту и уверенность. Проблема любви — это проблема мужчины.

— Вот и я об этом. Именно об этом.

Игорю было несколько неприятно, что его визави, которого он после третьей рюмки иногда называл другом, украл у него вывод: он своими размышлениями подвёл к неизбежному резюме, сделал всё, чтобы афористический итог появился, а этот пижон с лоснящимися усами, от которых млеет секретарша шефа Барби, да и фигуристая Юлия Стефановна из отдела охраны памятников архитектуры, сформулировал так, словно всю эту работу проделал он. Типично чиновничья манипуляция. Наловчился за столько лет таскать чужими руками каштаны из огня. И теперь сидит довольный собой. Сократ Тараканович, блин.

«Проблема любви — это проблема мужчины». Это верно. Вот почему его так раздражала Лора. Он чувствовал, что она точно так же любила бы кого угодно, хоть бы и красиво седовласого Глеба (где-то в печень последовал укол ревности). Она любит не его, Игоря, мужа своего, а Того, Кто даёт ей защиту и уверенность. «Давно надо поменять машину. Посмотри, Женя второй год ездит на «Пежо» с картинки. И только мы, как аутсайдеры какие-то, колотимся в этом стареньком жуке, рыдване с «убитыми» подвесками…»

Да, но, во-первых, не Женя, а Евгений Оскарович, с каких это пор дирижёр филармонического оркестра стал тебе Женей; а во-вторых, у Жени нет дачи. Верно, дорогая?

Оказывается, неверно, потому что по даче мы равняемся уже не на Женю, а на мужа её подруги, бизнесменишку и балбеса Борисова (у которого, кстати, вообще нет машины: он её разбил): «Посмотрел бы ты на их дворик с бассейном! Чудо! Песня! Не то, что у нас — рахитичные кустики…»

Развестись, что ли?

Но разве после этого поменяется природа женщины? Все они такие. Чуть лучше, чуть хуже, но в принципе из одного теста. Тоска…

Игорь Григорьевич, будучи в ударе, от души поделился всеми этими соображениями с Глебом Борисычем; тот сказал, что Игорь во всём прав. Во всём.

Они вышли на улицу. После утонувшего в сизом дыму бара, задрапированного в пошлый бархат гранатового цвета, влажный осенний воздух показался пьянящим и трезвящим одновременно. Освещённый город, окутанный пеленой мутного тумана, стал камерным и сказочным. Откуда-то появлялись и неизвестно куда пропадали люди, беззаботно о чём-то болтающие, озабоченно проплывали машины с горящими фарами. Город тускло сверкал и переливался огнями. Казалось, где-то совсем рядом тихо струится настоящая жизнь с подлинными чувствами и переживаниями. Хотелось горьких слёз и счастливого

смеха. Хотелось увидеть небо, расшитое бисером подсинённых капелек-звёзд, но туман скрывал даже верхушки деревьев.
— Спокойной ночи, Глеб Борисович.
— И вам того же, Игорь Григорьевич. Приятных сновидений.

Игорь Григорьевич пришёл домой несколько взбудораженный (причём, он явно торопился, «размахивая клешнями», как сказала бы Лора, чтобы успеть именно к восьми часам; зачем именно к восьми? футбол? вроде, нет), здороваясь с женой, автоматическим движением включил плоский экран телевизора местного производства марки «Angel» (забавно: какое отношение ангелы имеют к пластиковым телевизионным ящикам?). Бородатый астролог, неизвестно чему улыбаясь, изрёк куда-то в голубой эфир: «Жизнь промелькнёт как одно мгновение. Оглянуться не успеешь—а она уже прошла». Игорь Григорьевич раздражённо отметил про себя: «Боже мой! Сколько нездорового, сколько всякой мути выплеснулось на экраны! Мистика, шаманство, эротика, низменные страсти… Надо будет завтра сказать об этом на коллегии. Замминистру, с его провинциальным представлением о столичных нравах, это понравится».

Он быстро и мстительно переключил на другой канал, и бородатый канул в вечность, напоследок ехидно улыбнувшись. Ровно в восемь начинались виртуальные тараканьи бега. Два (или три: как когда) условных таракана «бежали» целый вечер по бесконечной дорожке, поочерёдно вырываясь вперёд. Зрители активно включались в игру, делая ставки то на одного, то на другого «участника» (сообщения посылались с мобильного телефона). Параллельно можно было смотреть футбол. Или бокс. Эта примитивная (или гениальная?) затея каждые полчаса приносила владельцам канала прибыль, измеряемую семизначными цифрами в долларах. Миллионы. Это приятно волновало. Почти как на ипподроме.

Игорь Григорьевич поставил на таракана № 3. Не на Григория, как в прошлый раз, и не на Федю, а на Борьку. «Давай, Бориска, сукин сын, не подведи!»

Жена заглянула в комнату. Молча постояла минуту. Брезгливо повела носом, давая понять, что одежда пропиталась кислым запахом табака. Можно было бы провести вечер в заведении поприличней, и с нужными людьми, но для этого нужны деньги. А для денег нужна должность, а для должности—голова. Всё это читалось в её позе и в молчании. Дежурно пожурить вечером—хлебом не корми. Милый семейный прессинг. Так владельцы резвых тараканов подзадоривают своих лакированных подопечных—барабанят пальцами по прозрачной крыше пластиковых тоннелей,—чтобы усачи пошевеливались на беговой дорожке, обгоняя зазевавшихся конкурентов.

Игорь Григорьевич сидел, словно заворожённый, не поворачивая головы. Сопротивлялся.
— Вывеси костюм на балкон, раскрой рамы. Пусть проветрится.
— Да, дорогая. Конечно, мой сверчок.
— Завтра коллегия?
— Да, дорогая.
— Не засиживайся у телевизора.
— Конечно, мой сверчок.

Это был его вечер. Бориска выиграл, стремительным финишем обойдя, казалось бы, уже победителя, фаворита Григория, на полкорпуса. В груди сначала плеснулась противная желчная грусть, а потом теплом разлилось блаженство внизу живота. Как болельщик он получал буквально телесное удовольствие.

Игорь Григорьевич почувствовал прилив уверенности, словно это он стал чемпионом. Таракан Борис как будто подтвердил, что всё в обычной жизни обычного чиновника шло, как надо. Да и жизнь вовсе не такая уж и обычная, если разобраться. Много всяких приключений бывало, интриги отбивали, осадой брали крепости. Да-с, Юлия Стефановна, напрасно вы так гнушаетесь нашим вниманием. Мы ведь можем и в сторону взор обратить. И есть куда, да, да. Молодёжь в коротких юбочках подпирает.

Развязной походкой он подошёл к жене и небрежно положил руку на талию (если бы Юлия Стефановна увидела эту талию лет двадцать тому назад, она сдохла бы от ревности). Жена почувствовала, что глава семьи излучает уверенность, и покорилась вялой ласке без лишних слов. Сказала только одно (обдав жарким шёпотом): «Тебя переведут на место Тараса? Нет? Да-а??!» Неизвестно почему, он утвердительно и солидно кивнул головой, хотя оснований, собственно говоря, особых не было. Просто он чувствовал себя господином.

На следующее утро коллеги встретились на службе.
— Вы правы,—сказал Глеб Борисович.—Какой Григорий, к лешему, фаворит? На него только сонного сома ловить, если, конечно, тот не побрезгует. Заполонили телевизионный эфир чёрт знает чем, понимаешь. Надо будет сказать об этом заместителю министра, уважаемому Прусаку Тарасу Петровичу. Ну, что, на заседание? Впрягайся, брат, часа на три. До обеда. На старт!
— Тараканьи бега,—шёпотом сказал Игорь Глебу на ухо. Глеб понимающе, но уже отстраненно, улыбнулся. И тот, и другой были похожи на своих коллег тем, что маска бесстрастности на их лицах (знак концентрации внимания) была готова в любой момент смениться деловой озабоченностью. Эта маска не обманывала никого, просто она идеально подходила под строгие костюмы. Но в голове у каждого, похоже, были свои тараканы.

Заседание, как и ожидалось, было долгим, нудным, бессмысленным, ибо решались вопросы, которые так или иначе либо уже были решены самой жизнью, либо ставились раньше времени и вне реального контекста, и в этом случае долгий темпераментный разговор шёл ни о чём. Набирали очки фавориты, определялись аутсайдеры. Несколько человек почти одновременно подняли вопрос о том, сколько нездорового, эстетически и духовно убогого, сколько всякой мути развелось на экранах (причём, Глебу не удалось выскочить первым; его опередил молодой безусый шустрик по имени Фёдор, отчества которого никто

не знал,—кажется, дальний родственник то ли Прусака, то ли самого министра, Ипполита Фёдоровича Черновила, метящего чуть ли не на самый Олимп; словом, серьёзно мыслящего).

—Одних тараканов показывают,—мрачно заметил Прусак, одобрительно шевеля пальцами.

Перед обедом Игорь с Глебом посмотрели друг другу в глаза (в их негласном соперничестве сегодня была боевая ничья, устраивавшая пока обоих: надо было объединять усилия против безусого) и выразительно пожали плечами: дескать, опять впустую потрачен драгоценный день. Золотая осень! А мы так бездарно транжирим короткую жизнь… Неудобно как-то перед природой.

После трудов праведных законы приличия обязывали обнаружить в выражении лица нечто человеческое, не чуждое и чиновникам. Маски менялись: лица оживали.

Готовились к главному в этот рабочий день: после обеда каждому из серьёзных игроков необходимо было проанализировать итоги заседания и сделать правильные, далеко идущие выводы. И горе тому, кто вовремя не отреагирует на новые веяния.

«А что делать?»—задавал риторический вопрос Игорь Григорьевич, словно оправдываясь перед кем-то.

Он торопился домой, привычно глядя под ноги, и мысли прыгали в темпе его движения, выстраиваясь лесенкой, неуклонно ведущей в высь. «Не мы такие; жизнь такая. Не пойдёшь на коллегию или не выступишь с глупой инициативой—обскачет на вираже не только Глеб Борисович, но и Григорий Петрович, мой собственный зам, человек не без харизмы, который давно уже метит в какие-нибудь начальники. На него, кажется, делает ставку добрейший Глеб Борисович. Ну, мы ушки-то Петровичу обрежем, чтобы не высовывался лишний раз. А сами поставим на Федю. Мы ведь сами с усами. Посмотрим, кто кого…»

Темнело рано. Обломок луны, словно жёлтый валун, одолженный смотрителем небесного сада у золотой осени, тяжело утопал в синих волнах высокого океана. Пронзительно острые и безнадёжно одинокие звёзды жаловались своим печальным светом на свою заброшенность и неприкаянность.

Люди, не замечая того, что было выше их, сновали по улицам и куда-то торопились.

Мы и Чехов

150 лет со дня рождения А. П. Чехова

ЧЕХОВ — ХУДОЖНИК. Его рассказы похожи на небольшие акварели, но акварели в движении, с изображением характеров, лиц, поступков, бесконечных разговоров…всё живое, что есть в его рассказах, приводит их в движение, но ненадолго, закончился рассказ—и всё замерло, и, по большому-то счёту, жизнь героев осталось неизменной. Не внешне, конечно, внутренне. Пережито и горе, и любовь, а характеры так и остались слабыми, неяркими… Для меня Чехов—это, прежде всего, человек, любящий задавать вопросы. Нет, его рассказы не полны вопросительных знаков, вопросы всплывают у меня в душе, раскручивается тонкая стрелка мысли на циферблате жизни, всё быстрее и быстрее, вместе с рассказом—и, остановилось маленькое действо, остановилась стрелка, показала неправильное время, замерла ожившая акварель, на душе осело странное чувство грусти. Остаётся у меня всегда один вопрос: «Отчего мы так слабы?». Отчего всё прекрасное, что у нас было, в прошлом? Отчего любим, страдаем, думаем, рисуем пейзажи, лечим людей, но весь мир как будто остаётся в нас, всё, что делаем мы, не нужно никому? Почему остаётся от нас только гамлетовский страх перед смертью, пустой обмен веществ, тело в холодной земле, а мир с нашей и без нашей доброты груб и жесток и требует силы, прежде всего, силы поступка, выхода из безмолвной глухой картинки, ярких красок, красной гуаши, требует запустить снова маленькие часики, чтобы побежала стрелка… Но наши души и жизни замкнуты собственной добротой и любовью. Отчего мы хотим помочь, но не можем? Чехов—это и Гамлет, и Достоевский, и Гоголь… его герои—это маленькие люди с печальными чертами «тварей дрожащих», которые и право-то имеют, но боятся… И автор относится к ним с иронией, жалеет их, жалеет их смешные великие замыслы и маленькие поступки… и из их жизней нам плетётся почти прозрачное кружево простой, искренней и доброй прозы, которая заставляет и думать, и переживать, и действовать.

Юлия Москвина,
студентка (Прага)

НАЧИНАЮ ПРОИЗНОСИТЬ: «Для меня Чехов—это…»—и останавливаюсь из-за нехватки слов, способных передать чувства и мысли, которые вызывает одна только эта фамилия—Чехов. Чехов для меня—это не великий русский писатель и драматург, не выдающаяся и значительная фигура в российской и мировой культуре, не потрясающий и удивительной судьбы человек. Мой Чехов—носитель ироничной, горькой человеческой мудрости. Чехов—учитель, и уроки его ценны своей искренностью, простотой и голой, жёсткой правдой человеческой жизни. Правда—главное оружие Чехова, художника человеческой жизни. Всё написано Чеховым под призмой беспощадной правды.

Правда Чехова—в иронии, прямой и скрытой, в насмешке над человеческими пороками. Но ирония эта—горькая, и насмешка эта не со зла, а, скорее, от безысходности, от боли. Чехов—страдающее и сострадающее, переживающее, горящее за Россию и русских людей сердце. И это главное.

Юлия Кукарских,
студентка (Красноярск)

Диана Гришукевич

Последний день любви

1. Последний день её любви

Быстрее, быстрее! Он уже ждёт меня возле подъезда, а я до сих пор не готова! Что же мне надеть? Я начинаю нервничать. Ничего подходящего, всё некрасивое.

Так я бегала по квартире и не знала, за что хвататься.

Целый год я ждала его приезда, целый год! Он наверняка изменился. Может, похудел? Поменял причёску? Стал выше ростом? В голове столько мыслей! А вдруг он стал настоящим красавцем, и я нынешняя ему не понравлюсь? Я лихорадочно раскидывала вещи по комнате, стараясь найти подходящий наряд.

Прошлое лето было самым счастливым в моей жизни. Целых три месяца я провела с лучшим парнем в мире, с Лёшей. Я очень стеснялась, краснела всякий раз, как наши взгляды встречались. Он был самым красивым парнем в нашей школе, по крайней мере, мне так казалось. И вот на выпускной бал он пригласил меня в качестве своей прекрасной спутницы. Из всех девочек нашей школы Лёша выбрал именно меня! В день выпускного я с шести часов утра делала причёску, макияж, плакала, мыла голову и снова начинала всё сначала, пока не пришла мама. Моя мама мастер на все руки. Она мне накрутила сногсшибательную причёску, сделала лёгкий макияж и накрасила мои неухоженные ногти. Она, как волшебница, прилетела к Золушке и из неопрятной служанки превратила меня в принцессу. На балу я была красивее всех, и мой принц, конечно, это заметил.

С выпускного мы были неразлучны. Каждую свободную минуту проводили вместе, и после того, как я узнала, что зачислена в университет, гуляли целые ночи напролёт.

Это была сказка, которую мы писали вместе. Но, как известно, в полночь волшебство теряет силу, и приходится возвращаться в реальность. Мой принц должен был уехать от меня. В августе Лёша мне сказал, что его родители настояли на том, чтобы он подал документы в университет в Англии. Его приняли, и теперь мы должны разлучиться на целый год. Он приедет следующим летом, а затем уедет снова. И я, как несчастная Деметра ждала Персефону, буду ждать своего Лёшу.

О, как я убивалась, когда он уехал! Сначала время тянулось медленно, но потом пошло всё быстрее и быстрее… И вот, пролетел целый год, и мой ненаглядный сидит в машине под моим окном.

Наконец, я готова. Выхожу из квартиры, еду в лифте, открываю дверь подъезда… Он стоит возле машины. Как же Лёша похорошел! Стильно одет, аккуратно подстрижен и с букетом цветов для меня!

— Привет, тебя не узнать,— смущённо протянула я.

— Привет, ты просто прекрасно выглядишь! Я так скучал. Как ты? Как учишься? Мне так хочется знать всё, что происходило с тобой за это время.

— И я, и я хочу всё о тебе знать. Мы будто заново знакомимся!

— Точно. Поехали, я заказал столик в кафе.

Я села в машину. У Лёши появился едва заметный акцент. Любой другой человек и не заметил бы никогда, но только не я. Я помнила каждую его родинку, каждую мимическую морщинку, помнила всё, как будто он уехал вчера. Однако почувствовала, что в нём есть уже что-то новое, изменившееся. Это не касается внешнего вида и даже этого почти не заметного акцента. Это касается его внутренней сущности, частички его души, пока ещё мне не известной. Надеюсь, что тот фантазёр, который отвозил меня за город к озёрам, устраивал пикники на природе только для нас, с которым я часами могла лежать на траве и наблюдать за облаками, не исчез, в противном случае я напрасно ждала его целый год.

Я почувствовала некое напряжение.

— Ну, расскажи же мне о своей жизни, ты ведь в другой стране живёшь. Как тебе там?

— Всё замечательно, мне очень нравится. Конечно, вначале было очень трудно. Новая страна, все говорят на другом языке, никого знакомого. Но потом я приспособился, познакомился с интересными людьми и…

Он говорил, не давая вставить мне и слова. Но в чувствах Лёша стал заметно сдержанней. Год назад он показывал свои эмоции, а сейчас, он их прятал. Но почему? Неужели на него в Англии так повлиял климат и тамошние нравы?

Лёша не умолкал всю дорогу. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что уже несколько минут вообще не слушаю, о чём он говорит. Внутри всё сжалось. Ещё рано делать выводы. Мы ведь только встретились.

В кафе нас сразу усадили за нужный столик. Лёша сделал заказ за двоих. Мне это не очень понравилось, раньше мы всё решали вместе, даже если покупали жвачку в киоске. Но я не придала этому значения.

— Ну, теперь ты расскажи, как жила, чем занималась?

— Целый год училась, старалась сдать хорошо сессию. У нас, знаешь, очень много людей после первой сессии повыгоняли, так вот я…

Но не успела я договорить, как Лёша меня перебил. Мне больше не хотелось здесь оставаться, не этого я ждала целый год. Но я снова сдержалась.

Лёша опять начал рассказывать о своей жизни в Англии. Конечно, я понимаю, у него за этот год накопилось больше впечатлений чем у меня, но ведь я тоже имею права высказаться.

Пока Лёша говорил, нам принесли заказ. Блюдо, которое предназначалось мне, было похоже на то, что не съели другие клиенты. Я решила не делать скоропалительных выводов и сначала его попробовать. Но, на вкус оно было ещё хуже, чем на вид. В нём присутствовали лук, маслины и баранина, чего я ни в каком виде не ем. Год назад Лёша это знал…

— Почему ты не ешь? Тебе не нравится?

— Нет, всё чудесно, я не голодна.

Лёша так широко открывал рот во время еды, что можно было отчётливо рассмотреть, как он пережёвывает пищу. Я терпеть не могу, когда люди чавкают, это он тоже раньше знал.

— Ну, что мы всё обо мне, да обо мне, ты то как здесь жила?

На слове «здесь» был сделан акцент. Намёк был на то, что я живу в дыре, из которой нельзя выбраться обычным простолюдинам, зато такие парни, как он, могут, потому что он не обычный.

— Для меня этот год тоже был непростой. Много новых людей, приходилось привыкать, но я справилась.

Лёша вытирал рот салфеткой и жадно смотрел на мою, почти не тронутую еду. Ему явно было не интересно то, о чём я говорю. Вероятно, его больше беспокоило, что придётся платить за то, что я не съела.

— Слушай, а поехали к речке, посидим там немного?—предложил он.

— Ладно, поехали.

Лёша расплатился, и мы молча отправились в путь. Вернее, молчала я, а он всё говорил и говорил.

Возле речки мы сели на скамеечку. Лёша обнял меня, но я уже ничего не чувствовала. Ничего, кроме ужасной обиды. И он, и я сейчас понимали, что больше не нуждаемся друг в друге.

Когда Лёша подкатил к моему подъезду, мы оба замолчали. Что сейчас говорить? Всё и так понятно, но хочется поставить точку в нашей сказке вместе и с достоинством.

— Ну что ж, была рада, спасибо за приятный вечер, может, ещё увидимся.

Лёша смотрел на меня и ничего не говорил. Вытягивать из него слова я не хотела, потому просто открыла дверцу и вышла из машины.

2. Последний день его любви

Анечка для меня самое настоящее чудо. Целый год жизни в Англии меня спасала мысль, что я приеду домой к своей самой любимой и красивой. Я так волнуюсь. Уже двадцать минут стою под её подъездом, а её всё нет. Какая она сейчас? Наверно, прекрасна, как всегда. Надеюсь, я тоже хорошо выгляжу, а то она целый год меня не видела. Перед отъездом купил себе новую модную одежду, мне продавщица в магазине советовала, у меня вообще отсутствует вкус. Сегодня утром сходил в парикмахерскую, сделал причёску. Надеюсь, я ей понравлюсь.

Тут распахнулась дверь подъезда. Это она… Как же Анечка красива. Такая грациозная и утончённая!

— Привет, тебя не узнать!—сказала она.

— Привет, ты просто прекрасно выглядишь! Я так скучал. Как ты? Как учишься? Мне так хочется знать всё, что происходило с тобой всё это время.

— И я, и я хочу всё о тебе знать. Мы, будто, заново знакомимся!

— В самом деле. Поехали, я заказал столик в кафе.

Я сел в машину и был бесконечно счастлив. Она сидела рядом! Целый год я ждал этого момента и сейчас, наконец, мои мечты осуществились. Всё было, как во сне.

— Ну, расскажи мне о своей жизни, ты ведь в другой стране живёшь. Как тебе там?—сказала Аня и вывела меня из состояния транса.

Мне хотелось похвастаться перед ней. Нет, я совсем не добивался чувства зависти, просто мне не хотелось, чтобы она знала, как я сходил без неё с ума и как не мог говорить ни о чём, кроме неё. Мне хотелось показать Ане мир, в котором я сейчас живу, поделиться с ней этим миром и сделать её частью этого мира. Так я и не заметил, как мы доехали до кафе.

Это кафе мне порекомендовал папа, он знает толк в хороших заведениях.

Папа мне посоветовал, что надо сразу заказать самые лучшие блюда, сделанные по особому рецепту, названия я даже, как школьник, написал на запястье левой руки, чтобы незаметно от Ани прочитать. Папа сказал, что девушке обязательно должно понравиться.

Так я и сделал. Решил взять инициативу на себя, пусть сегодня она просто расслабится и хорошо отдохнёт.

Мы беседовали. Я хотел её развлечь, поэтому рассказывал всякие дурацкие истории, которые происходили со мной в те недолгие моменты, когда я не думал о ней.

Я говорил и говорил, мне на секунду показалось, что Аня заскучала. Тут принесли блюда. Да, действительно, папа был прав, очень вкусно, моё так просто объедение. Правда немного островато, поэтому приходится есть с открытым ртом. Тут я заметил, что Аня почти не притронулась к еде.

— Почему ты не ешь? Тебе не нравится?

— Нет, всё чудесно, я не голодна.

Странно, мне казалось, что папа был прав. Наступило неловкое молчание. Почему она всё время молчит? Может, что-то не так?

— Ну, что мы всё обо мне, да обо мне, ты-то как здесь жила?

Как бы я хотел вернуться назад, чтобы всё было, как прошлым летом.

Да, тогда было самое счастливое время в моей жизни… Тут я заметил, что в Анином блюде есть

лук. О, тут ещё и маслины! Вот почему она не ела! Надо было узнать сначала состав, ну я и дурак! Теперь надо исправлять положение!

— Слушай, а поехали к речке, посидим там немного?

— Ладно, поехали.

Наверно, она расстроилась из-за этого блюда. Мне действительно жаль, не хочется, чтобы она на меня за это обижалась. Всю дорогу я старался её развлечь своими рассказами. А Аня всё молчала. Возле речки, когда я её обнял, она недовольно отстранилась.

Вскоре Ане стало холодно, и я повёз её домой. Возле подъезда я заглушил мотор и хотел с ней ещё немного посидеть, наконец-то поцеловать, обнять.

— Ну что ж, рада была тебя видеть, спасибо за приятный вечер, может, ещё увидимся.

Что? Что она имеет в виду? Неужели Аня больше не хочет меня видеть? Она вышла из машины и пошла домой. Как же так?

Ещё пару минут я сидел в машине, прокручивая в голове события этого вечера, и с трудом осознавая, что её любовь ко мне ушла, как в сентябре уходит лето…

Мы и Чехов

150 лет со дня рождения А. П. Чехова

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЧЕХОВ НАЧИНАЕТСЯ «СТЕПЬЮ». Той самой, где растёт высокая, крепкая трава, гуляет сухой ветер, неведомо откуда (впрочем, и не знамо куда) тянется пыльная дорога. В жарком воздухе звучит колокольчик, фыркает лошадь, стучат колёса брички и маленький путник восхищённо созерцает картину. Однако, и бескрайняя земля, и дорога, и распластанный блин солнца в вышине, да и сам Егорушка — всё — суть чеховской метафоры. Ибо в совокупности есть воплощение русской жизни, коя, к слову сказать, не шибко-то изменилась с тех пор. Силу своего течения, как прочее на нашей земле, она берёт в детстве (конечно, общем для всех людей на свете), тогда, когда душа ещё не понимает, где сердце, а сердце не в состоянии познать душу. Это потом, много позже (по сути, выверенная хронология важна только литературоведам, читателю же нет особой разницы в том, с какого тома и какой книги читать и перечитывать хорошую прозу, к тому же со временем годы жизни писателя, будто сами по себе, совпадут с датами под его сочинениями), начнутся мучительные беседы постояльцев «Палаты № 6». Прозвучит тоскливый возглас Ирины: «Уехать в Москву. Продать дом, покончить всё здесь и — в Москву…» (но от себя-то, как известно, в Москве не укроешься), заспорят Раневская и Лопахин, а всеми позабытый Фирс замечется в заколоченном доме. Всё будет тихо и чудовищно, спокойно (и даже лениво), одни бесконечные чаепития на дачах, бренчанье на расстроенном рояле и ни к чему не ведущие разговоры о том, зачем мы и что там народ. Правда, не без редких вспышек, когда захочется бежать, топиться и, может быть даже, стреляться… Но это потом… А пока только степь, огромная и суровая, как сама Россия. Колокольчик, бричка и будто в полусне звучащий вопрос: «Какова-то будет эта жизнь?»

Алёна Бондарева,
писатель, публицист (Москва)

ЧИТАЯ ЧТО-ЛИБО, я нередко обращаю внимание на особенности сознания автора — это помогает мне адекватно воспринять идею, «заряд» текста (рассказа). Для меня Чехов, прежде всего писатель-врач. Не в том смысле, что «писатель врачует душу», но в буквальном смысле — врач по профессии. Что это значит? Врачующий тело воспринимает его как данность. И как к данности относится к миру вообще, то есть не пытается его переделать. Всё, что Чехов как писатель-врач, на мой взгляд, себе позволяет, так это назвать «симптомы» / выделить характерные черты / обрисовать картину «болезни» / поставить проблему. Чехов *призывает* к разговору, но этот разговор неизбежно будет идти *за* рамками его произведения, а не внутри: врач слишком чётко понимает, что для исцеления нужно участие самого больного.

Поэтому чтение Чехова не есть «приятное чтение». Поясню: в XX веке активно прорабатывалась идея «другого» как принципиально другого. Здесь я имею в виду Сартра, Лема (именно «Солярис») — эта идея имеет свои положительные цели (уважение, терпимость), но она же способна отвлекать сознание и уводить его от «здесь и сейчас» и даже пугать, когда речь идёт о чём-то действительно непонятном и, например, агрессивном. В свою очередь позиция врача, а её можно определить словами «все мы из одного теста сделаны», и выделение «симптомов» возвращает читателя на землю и заставляет для себя решать то, что порой хотелось бы вытеснить…

Ирина Четвергова,
поэт (Омск)

ЧЕХОВ — ЭТО СОВРЕМЕННО, колоссальная работа над собой, русская интеллигентность, литературная зоркость, ирония, сострадание и пусть слабее слабого — но надежда.

Анатолий Елинский,
писатель (Красноярск)

Светлана Кряжева

Поспеть ко Кресту

Положа руку на сердце, надо признать—на этот раз Пасху отпраздновали наскоро, второпях—так случилось, что все работали. То ли—в связи с кризисом пытались наверстать упущенное методом привычных субботников-воскресников, то ли—вообще голова была занята житейской суетой. Тётушка Таисия, человек обязательный, невзирая на свои больные ноги, прямо с работы прибыла на службу и хлеба успела-таки освятить, но всенощную всё же не выстояла и досматривала её дома по телевизору. И всё это—второпях, «на полусогнутых»… В чём тут дело—трудно поначалу разобраться! Или—в собственной несобранности, разобщённости, или—в смещении ценностей, или—в соглашательской обывательской психологии… Это в том случае, если за точку отсчёта принять отдельного человека, но, когда собираются вместе близкие родственные души, то вступают в действие иные законы, и тогда многое становится достижимым и возможным. Поэтому к Радонице все родственники стали готовиться заранее и основательно, учитывая то обстоятельство, что им предстояло собраться в родительском дому, в родовом своём поселении со столь прекрасным названием—Мир.

Встреча родни должна была состояться у старшей из тёток, Серафимы, по гордости своей не покинувшей родового гнезда, не пожелавшей вслед за многими броситься в столицу на поиски счастья и удачи. Худо-бедно, по-всякому, но прожила она до своих семидесяти с хвостиком лет в полном согласии со своими убеждениями и привязанностями, храня верность наказам родителей и родным местам. Сестра, дети и племянницы не забывали её и навещали при всяком удобном случае.

Серафима, женщина аккуратная и запасливая, задолго до прибытия гостей приготовила убранство в доме и особо уделила внимание праздничному столу. Холодного наставила аж двенадцать тарелок, учитывая то, что нынешние городские хозяйки на своих электроплитах готовить это блюдо в основном прекратили. Всё будет, чем детей-внучат побаловать! Об остальных закусках она не переживала, полагая, что женщины помоложе с должным усердием займутся обычной нарезкой для салатов. Консервированных же разносолов у неё имелось предостаточно, и для угощения, и для передачи родственникам в город.

Вперёд всех, ещё до сумерек в родной дом прибыла дочь Серафимы Валентина с тремя младшими детьми—семнадцатилетним сыном, всеобщим любимцем Николаем, да пятнадцатилетними двойняшками-дочурками. Валентина была матерью многодетной. Так удачно получилось, что до Мира на своей шикарной иномарке её «подбросила» бывшая сослуживица.

Разбирая подарки, Серафима дивилась странноватым для глубинки косметическим да туалетным наборам со множеством дезодорантов. Отдельно в большом пакете внучки, Даша да Наташа, заботливо доставили белую кипень искусственных цветов для могилок. Внучок-то—хорош, тут же воду с колодези начал черпать, делая запас воды в хозяйстве, демонстрируя бабушке свои «железные» юношеские бицепсы!

Поутру, с первым же автобусом подоспела и родная сестра хозяйки, Таиса. А уж на следующем рейсе, когда все поднялись ото сна,—обе племянницы, Таисины дочери, Ирина да Галина с мужем Георгием. Обе сестрицы были учёными дамами, в своё время университет окончили. Галина на учительшу выучилась, а Ирина—аж на социолога! Не сразу понять было в те времена родителям—что за «исследования» дочка пишет—о том, сколько девок да парней из сёл в города перебрались, да чем они в городах-то после работы тешатся! Галина доросла в учительстве своём до директора гимназии, одна из всех родственниц сохранив «полную» семью, зорко присматривая за мужем, который, единственный из мужчин всего рода оставался в наличии. Георгий, имя ему соответствовало, нёс на себе множество всяких вещей, которые ему вверили женщины. Сама Галина, переваливаясь, словно утица, также несла свою ношу. Её длинная и широкая юбка с неровными воланами не скрашивала неидеальную форму нижней части тела, привыкшей к длительному сидению, пятидесятилетней раздавшейся женщины. В Ирине же, подвижной и энергичной, утянутой в короткие брючки, можно было признать не старшую, а, скорее, младшую из сестёр. Худощавый и обветренный, с исчерно-бордовым, специфическим загаром лица, Георгий, наконец, опустил благополучно доставленную ношу и весело перецеловал всех женщин.

— А наши детишки на барбекю отправились, недосуг им по кладбищам хаживать!—признался с откровенностью он,—другая у них жизнь, вольготная, безо всяких обязательств!

Георгий работал технологом в стальцехе на автозаводе и был просмолён «навечно, как мумия», так шутил он. На надушенных и нарядных женщин от него резко пахнуло горькими производственными маслами. Однако в заслугу достойному мужу будь сказано, он был пока поразительно трезв!

— Кутью-то, бабушка, приготовила? Ох, и ушлая ты, Серафима! — громко забасил он.

Поминальная-то каша-кутья в печи томилась, а на столе, возвышаясь над разнообразными праздничными блюдами, радуя глаз неравнодушного к питию гостя, торжественно сияли бутылки с алкогольными и безалкогольными напитками.

После окончания утрешней трапезы планировалось снести записочки с заупокойным поминанием в церковь, да сообща пройтись на кладбище. Грех — не почтить память усопших! Гости дружно рассаживались за праздничным столом. У всех не на шутку разыгрался аппетит.

— Что ж, выпьем за Родину, незабвенную страну нашу, где хозяином был человек труда! — бодро начал свой обычный тост Георгий, являя собой мудрое мужское начало. — За страну героев, не дрогнувших ни на военных, ни на трудовых фронтах! С Богом, родные! — поднял он свой полный «стопарик», его собственный карманный мерный сосуд.

— Да, героическая была у нас Родина! — вздохом отозвалась гостиная.

— Помянем Родину! — чуть не хором дружно согласились женщины. — Без Родины не жизнь, маята одна…

— Родина — род — рождение — родители — предки наши!

— Помню, — опять вбился в гул женских голосов бас Георгия, — на автозаводе у нас в былые-то времена на маёвки в лес выезды организовывали. Особенно в те места, где встреча советских войск с партизанами состоялась, ведь директор наш, Иван Михайлович, партизанским командиром был. Дак на автобусах цехами людей свозили. Широко гуляли, из фронтовых кружек пили. Полевую кухню обустраивали. Дней эдак пять с ночёвками! Директор наш незабвенный самолично всем руку жал. Кремень — мужик! Подлинный герой! Помянем его память вставанием!

Все с готовностью поднялись и дружно выпили.

— По две смены, а также в праздники мы, передовики, на родном заводе «пахали»! За Переходящее Красное Знамя жизни своей не щадили! — продолжал входить в азарт трудового энтузиазма производственник.

— Вот и споили тебя на маёвках-то, все наши мужики поспивались, включая полный состав Комсомольского Прожектора во главе с незабвенным Володей Пыжом! — подсекла расходившегося муженька обычно сдержанная Галина.

— Наотмечались трудовых завоеваний, детей своих сиротами оставили… — подала голос недавняя вдова Ирина.

— Да не трави душу, Ира, ведь святое время было — идёшь по заводу — всё твоё! — распалялся Георгий.

С улыбкой внимательно слушая взрослых, Николай встрял в разговор.

— А я, помню, мне папа маленькому стишки читал: «Папа мне принёс с работы настоящую пилу!»

— Разворовался народ без хозяина! Попробовали бы при Сталине что-нибудь с завода стянуть! — вырвалось у Серафимы. Все заволновались. Ирина-социолог встревоженно подняла голову:

— А нашу фирму турок инвестирует. Теперь он — наш хозяин! Думаю, искоренит он наше общественное расхитительство. В Турции раньше ворам руки за кражу отсекали!

Николай опять вмешался в разговор:

— А помните, как в «Джентльменах удачи», про чан с дерьмом, когда вор повторно попадается! С ятаганом! — раскраснелся отрок.

— Тебе пора автомат брать в руки, эту самую, всего натерпевшуюся нашу Родину оборонять, а ты тут под ногами путаешься! — зыкнула на юнца баба Тася.

— Это я — под ногами, — ваше будущее! — обиделся парнишка-допризывник, — давайте лопату, участок копать пойду! — в сердцах заявил он.

— Да что ты в праздник-то, окстись! Попробуй лучше огурчика, — льстиво-примирительно «погладила по шёрстке» любимого сынка Валентина, — мало ли, что дядя Гоша придумает!

— А что? Мужикам и слово сказать воспрещается?! Матриархат какой-то! И ты, Колька, под бабскую дудку уже пляшешь! — Георгий, задетый за живое, на этот раз отмахнул себе водочки уже не в свой мерный сосуд, а в отысканный где-то, могучий гранёный стакан. Николай понял, что «рубит сук, на котором сидит» и смутился.

Тем временем младшие дочери Валентины, Даша да Наташа, успели нарезать бумаги для записочек по усопшим для поминовения в церкви. Под руководством хозяйки они быстро раздали всем по четверти листика, а также авторучки. Установилась тишина, все стали вписывать умерших родных в поминовение. Таисия назидательно заметила:

— Не забудьте, женщины, мужей своих вписать!

Все сидели задумчиво, склонив головы. Из-за тяжёлых льняных штор вдруг выпросталось-таки солнце и заходило по всему пространству, высвечивая на стенах в непритязательных рамочках портреты давно покинувших сей мир, семейных родительских пар. В раме старинного зеркала чёрно-белой сеткой зарябило глаз от дробных фотографий родственников и их друзей. Мудрая хозяйка старого дома уже несла гостям три истёртых пузатеньких семейных фотоальбома.

— Эх, вспомянем жизнь былую! Ставь, Коля, на патефон «Ландыши!» — скомандовала она бодро.

Коля, а за ним девочки вперегонки бросились к раритетной бабушкиной технике. Хрустальная наивная мелодия песни заполнила дом. Таиса и Серафима, обнявшись, уселись на диванчик, прихватив с собой на колени наиболее старый из альбомов

— Помнишь, Тася, — мы — школьницами… Ты — ещё в начальных классах, косички «корзиночкой»…

— А ты, смотри, на выпускной идёшь, причёска «я у мамы дурочка». Это ж надо такое было придумать!

— Посмотри, платья у нас — «солнцеклёш» да «шестиклинка»! Рукава — крылышками да фонариками — светлые платья нашей юности! А как рады за нас родители!

— А вот и герои наши — мужья благоверные, глянь, обнявшись, сидят!

— Худющие-то, послевоенное детство голодное, а с задором зато!
— Наверное, потому, что молоды были. Молодёжь всегда мечтает, петь любит…

Даша и Наташа, отбирая наиболее пожелтевшие от времени, колоритные фотографии, периодически перебивали мерный диалог старшего поколения, то и дело следовали их вопросы:
— А это кто? А когда это было? А тогда кем он нам приходится?

В дверях, из смежной комнаты, в руках со старинной гитарой, сомнамбулически подняв глаза вверх, появился Николай. На гитаре большим замысловатым атласным бантом была увязана красная лента времён середины прошлого века. Девочки-близняшки моментально отключили захрипевший патефон, сберегая жизнь старинной пластинке и последним патефонным иглам. Николай бережно тронул струны «исторической» гитары:

— Эпитафии, эпитафии…
Чёрно-белые фотографии!
Промусоленные страницы.
Открываю альбом-гробницу!

Он обвёл глазами держащих в руках старые фотографии, внимающих ему родичей:

— Я домысливаю биографию
Неизвестной мне фотографии…

По дому резонансом разносилась незамысловатая мелодия. Мальчик уже серьёзно, нисколько не ёрничая, отдавал дань уважения Прошлому. Он был любителем стихов и бардом, продолжая семейные традиции:

— В светлой памяти, я, шалея,
Затворяю дверь мавзолея,
Но билетом в толпе мгновений
Остаётся стихотворенье!

— Здрав будь, внучек! — прослезившаяся Серафима сухощавой горячей рукой взъерошила волосы мальчика, своего любимца Николеньки. — За что я тебя люблю — почтение у тебя к старшим! В армию пойдёшь — помни о долге перед дедами. На-ко, возьми, себе к выпускному подарочек! — Из-за божницы она ловко извлекла пачку накопленных денежных купюр. — А это — девчонкам. Уже заневестились! — Серафима щедрой рукой наделила и Дашку с Наташкой. — Телефоны себе купите, на шею повесите, щебетать начнёте! — засмеялась она.

Таиса также не устояла перед соблазном одарения малолеток. Началась радостная всеобщая возня с объятиями и трепетом ответной благодарности.

— Здравствуйте Вам! — раздалось неожиданно. В дверях появился Миша, соседский сын, погодок Николая. — Я стучу, стучу — никто не открывает! Музыку слушаете! Я пришёл за записками поминальными — служба-то заканчивается, опоздать можете! Снесу батюшке, а вы поторопитесь, ко Кресту поспеть надо!

Миша был сыном церковного старосты, частенько нёс послужение в церкви, помогая священнику. Чуть заметная бородка мягко курчавила его подбородок.
— Давайте сюда записочки! Пока собираетесь, я мигом их священнику передам. Встретимся в Храме!

Миша принял записочки и исчез, как не бывало. Все дружно поднялись из-за стола.
— Ах ты, батюшки! — встрепенулась Галина, — а Гоша-то где? Уже убаюкался, до рюмки добравшись! — И верно, из соседней спаленки доносился раскатистый храп Георгия. Тут вдруг Галина всплеснула руками:
— А я-то, по инерции, как все, его в поминанье вписала! Это всё Вы, мама, — «мужей не забудьте вписать!» — упрекнула она в сердцах Таису. Неунывающая Валентина, на то она и многодетная мать, тут же успокоила её:
— Ничего! Пьяница — что усопший! Помянула — и ладно! Повадней ему с нашими мужиками будет — дружки они. Вместе Переходящие Красные Знамёна завоёвывали, за что жизнью и поплатились!
— Да что священник-то подумает?! Может, догнать Мишу?
— Тебе ли орла догнать? Летит он — не ходит! Колюшка, подбеги, дружочек, выручи тётю Галю! — нашлась Серафима.

Все в волнении заворочались, задвигали стульями, сгрудились в прихожей, натужно наклоняясь к обуви. Девчонки стремительно унесли со стола всю грязную посуду на кухню и уже набрасывали на свои милые головки ажурные шарфы, готовясь к вхождению в Храм. Наконец, гости и хозяйка всей женской бригадой направились в церковь, не забыв и про кутью с метёлками искусственных цветов, предусмотрительно доставленных из города.

Таиса шла среди своих и думала: «А ведь за упокой ещё и Родину по недоумию помянули! Не рано ли?! То ли она ещё вынесла — и татар, и немцев, и революции, и «сталиных с хрущёвыми», и перестройку с Чернобылем! А жива!»
— Девоньки, а Родину-то мы почто в упокоение помянули?!

Женщины бегом, тяжело топоча своими недужными ногами, сбивая дыхание, изо всех сил пустились догонять Мишу с Колей, орлят своих. Успеют ли?

С крон старых вётел, вспугнутая бегущими, взметнулась немеряная стая чёрных птиц, и тут же, на всю округу чисто и певуче ударил старый церковный колокол, точно соединяя земное с небесным, вселяя в души спешащих людей благословенную надежду.
— Вспоминайте! — крикнула Таиса, — что ещё забыли?!

Задыхаясь, и поминая имя Божье, преодолевая свою немочь и неуверенность, все уже были на подходе к Храму. Ещё одно, последнее усилие, и можно поспеть ко Кресту!

Андрей Канавщиков

Тамга на сердце

Памяти Энвера Жемлиханова

Семья поэта Энвера Жемлиханова, уроженца богатого татарского рода, имевшего два магазина и два парохода на Волге, попавшего затем в жернова революции и Великой Отечественной, в 1949 году переехала из Магнитогорска в Великие Луки. Тогда, если кто позабыл, нашим общим адресом был Советский Союз, и переезды считались в порядке вещей.

Кто-то ехал сюда, кто-то ехал оттуда, а 13-летний Энвер ехал, чтобы полюбить древнюю Великолукскую землю и состояться здесь в качестве яркого русского поэта. Иные русские меньше любили свои края, чем этот татарин, беспредельно открытый миру и людям:

> Вырастал я добрым, не жалел я ласки,
> Всякой сущей твари не желал я зла.
> Прислонился в детстве к раскалённой дверце —
> До сих пор с тамгою левая ладонь.
> А тамга поболе — от любви на сердце,
> Потому что злее у неё огонь.

И с этой тамгою на сердце Энвер Мухамедович всегда и жил. Страдал от «злого огня» и жил, став в Великих Луках формально первым и единственным поэтом — членом Союза писателей СССР, а фактически той фигурой, которая и сейчас, почти через 15 лет после его смерти, способна вселить трепет в любого местного отвязанного ниспровергателя авторитетов.

Ну, невозможно его свергнуть ни с какого пьедестала, потому как и пьедестала никогда не было, разве что шуточный бетонный куб во дворе общежития Литинститута, который великодушно был пожертвован под будущий памятник Николаю Рубцову.

То сооружение размером где-то два на два метра, оставшееся от какого-то гипсового пионера или девушки с веслом, усмотрели Жемлиханов, Рубцов и другие студенты — Валентин Кочетков, Виктор Чугунов, Игорь Пантюхов, Виктор Козько, Владимир Быковский, Владимир Панюшкин. Стали размышлять, кому бы такой пьедестал был впору, и единогласно решили присудить его Николая Рубцову со словами:

— Пользуйся, Коля, нашей добротой…

Так что даже шуточный постамент — и тот миновал поэта. Да и не стремился Энвер Жемлиханов к каким-либо пьедесталам, охотнее склоняясь за токарным станком местного завода, чем перед иными партийными условностями. А вот образчик его «заводской лирики» — ни слова о партсъездах и о перевыполнении плана, просто сверчок ведёт себе свою незатейливую песенку:

> Будто где-то бьётся родничок,
> Наполняя голубую чашу…
> Да ведь это песельник-сверчок
> Одомашнил раздевалку нашу!
> Средь хламья спецовок не гаси,
> Утверждай целебное журчанье.
> Воплощенье избяной Руси,
> Вот и ты подался в заводчане…

Даже за пределами Великих Лук широко известна история, когда после окончания Литинститута Жемлиханова приглашали работать собкором «Комсомольской правды», а он отказался. И стихи на эту тему сочинил, весьма прозвучавшие в определённых кругах:

> Врать, как «Правда», — не хочу!
> Отгорблю и робу скину —
> Поквитаемся сиречь.
> Потому ломаю спину,
> Чтобы душу уберечь…

Ну, не было у человека потребности и умения наступать музам на горло. Как иные творцы прятались от неприятных реалий советского быта в дворницких сторожках и в котельных, так Энвер Мухамедович выбрал себе путь станочника. Помимо стихов, увлекался фотографией, прекрасно пел, по слуху мог подобрать на гитаре или пианино любую мелодию.

Вот что рассказывала мне в интервью его супруга Лилия Румянцева, с которой они были вместе с 1962 года: «Я думаю даже — иногда Энверу было скучно, когда он понимал, что от окружающих он получает гораздо меньше, чем может дать сам. Интересный факт, но до поступления в Литинститут, они с другом за компанию поступали во ВГИК. Толик не прошёл, а Энвер преодолел барьеры и первого тура, и второго. Собрался уезжать друг, беспечно уехал и Энвер, на память оставив документ о выдержанных испытаниях за подписью прославленного Черкасова».

Обаяние этого человека, равно как и обаяние его творчества, — огромны. На него нельзя было долго сердиться даже за дело, до того всё было у него искренне, с особой чистотой и обезоруживающей откровенностью. Он мог подойти к партийному журналисту и сказать тому в глаза: «Когда мы победим, я тебя застрелю». Он мог написать восторженное славословие концу Советской власти

в стране, когда иные жевали сопли и ждали, чем всё закончится:

Свобода нынче заново дана.
Явилась—возвышая и калеча.
Ведь быть рабом в любые времена
И проще, и бесхлопотней, и легче.
Но в чувствах полновластвует весна,
И люди прозревают год от года.
А всё-таки, да здравствует Свобода!
И всё-таки, да здравствует она.

Энвер Жемлиханов был в высшей степени неудобен, ни в карман за словом не лазая, не ожидая, как о нём кто-то подумает и что скажет. Например, получив гонорар за книгу, для него было естественным пойти в известный магазин на Комсомольской и поить там всех присутствующих от пуза. Зачем, почему? А потому, что радоваться жизни нужно, жить нужно!

При этом помеченный тамгой любви Энвер Мухамедович все свои, скажем так, забавы, чётко соизмерял с тем, чтобы никого не уколоть чрезмерно, не потерять гармонического баланса, не изломать чужеродным вмешательством хрупкий мир:

Во мне привычка мамина жива,
Не затерялась в незабытом прошлом:
Произнесу хорошие слова
Кому-нибудь о чём-то о хорошем…
За стёклами дома и дерева,
Осенний мир листвою запоро́шен.
И так нужны хорошие слова—
Хорошие и только о хорошем.

Когда помнить нечего, вспоминающие начинают размазывать манную кашу по тарелке и говорить обо всём понемногу. Вот уже от обилия превосходных эпитетов начинает рябить в глазах, и не знаешь, куда деться от наплыва деталей, увеличенных микроскопом правил хорошего тона.

При этом яркую память о человеке или явлении всегда можно обозначить без напряга и терминологического многословия. Ловлю себя на мысли, что когда доводится говорить о поэте Энвере Жемлиханове—какой он был и кто он был, даже думать не приходится. Выдыхаешь, словно долго и тщательно репетировал ответ: «Это был очень органичный и честный человек».

Энвер Мухамедович, кажется, всегда находился в состоянии лада и гармонии с собой. Категорически не приемля даже намёка вранья или фальши. Вот ещё одна цитата из интервью с Лилией Румянцевой. На мой вопрос «Каким был поэт Жемлиханов?», она ответила:

— Я бы сказала, добрым. Неограниченно. Добрым до наивности. На всю жизнь запомнила такой случай. Он шёл по тропинке, в снегу у спортзала по набережной. Навстречу ему бежали два парня. Энвер подумал: бегут, значит, спешат. Надо дорогу уступить. Отошёл в сторону с тропинки в снежную целину, и тут же получил сильнейший удар кастетом в голову. Залитый кровью, он пришёл домой и всё размышлял, что это они сделали по глупости, по молодости. Даже здесь он не опустился до ненависти. А как боялся он обидеть людей, даже ненароком, в своих рецензиях, какие виртуозные фразы он выдумывал, только бы не оттолкнуть от Литературы начинающих.

Бывало и такое. Приходит к нам домой какой-то парень. Говорит, что он фольклорист, собирает русские песни, ходит для того из города в город. Энвер распоряжается: напоить, накормить. Поим, кормим.

Но мне как филологу профессионально интересно, какие же песни парень уже собрал, чем псковские песни отличаются от других. И так я спрашиваю, и этак, чувствую, что из человека фольклорист явно не получается. Говорю уже Энверу: «Ты его в доме оставляешь, а кто он, откуда?»—«Неужели ты не понимаешь,—отвечает он,—что ему, может быть, больше идти некуда». И в этих словах весь Энвер.

Впервые Жемлиханова я увидел где-то в первые годы так называемой перестройки. В приёмной местной газеты он сидел, закинув ногу на ногу, облокотившись на стол, и виртуозно, с матерком, ругал интеллигенцию, пишущих:

— И хочется кого-то поддержать, помочь, а некого поддерживать!

Увидев меня, заглянувшего в дверь на этих словах, секретарь Галина Николаевна засмеялась:

— Вот хотя бы Андрея поддержи.

Я уже пожалел, что нелёгкая принесла меня в этот час в редакцию. Думаю, услышу сейчас какую-нибудь вариацию на прежнюю тему, приготовился давать отпор. Но Энвер как-то сразу осёкся, задумался, впился в меня своим цепким внимательным взглядом и замолчал. Меня, в от отличие от моих стихов, он тоже видел впервые.

Спасительно распахнулась дверь редактора, меня пригласили туда. Когда пришло время уходить, Жемлиханова в приёмной уже не было. Я спустился по лестнице на улицу, но всё думал о том микроскопическом эпизоде. Воочию видел этот взгляд, чувствовал это нависшее молчание.

С того времени я однозначно знал, что Жемлиханов—поэт не по своей красной книжечке, а по самой корневой сути.

Стало понятно, почему Николай Рубцов выделял Энвера и по литинститутской легенде после одной посиделки признал его равным. В самом деле, не скажи отдельно, что цитирующееся далее стихотворение принадлежит перу Жемлиханова, можно и запутаться. Строки вполне «рубцовские», в одной стилистике и дыхании:

Я к вам пришёл не подбивать итоги—
Послушать песни, что мне пела мать.
Шуми, трава! Да не целуй мне ноги,
Я сам готов тебя расцеловать!

Вообще, Рубцов потому, наверное, и смог сложиться в столь глобальное явление, что сумел сконцентрировать и сформулировать голос того времени, который пробивался и звучал у многих. Рубцову отчасти повезло, отчасти помогли влиятельные друзья. Но, вне всякого сомнения, без широкой творческой волны, звучавшей у десятка

самых разных поэтов, предвосхитившей Рубцова и вознёсшей его к вершинам читательских ожиданий, не было бы и его самого.

Часто у Жемлиханова встречаешь откровенные рубцовские интонации. Взять, например, классического «Федю», где есть даже элемент спора со стихами своего сокурсника, когда у рубцовского Фили, спрашивают: «Филя, что молчаливый?», а тот отвечает: «А о чём говорить?». Энвер Жемлиханов шукшинскому чудаковатому молчанию рубцовского Фили противопоставляет более деятельное, более открытое миру «Здравствуйте»:

Верен семейной традиции—
Чтобы не выстыл дом,
Федя живёт в провинции,
В доме своём родном…
Хлебом с конём поделится
Поровну, без обид.
Встретив красивое деревце,
«Здравствуйте!»—говорит…

Сложно сказать, у кого образ персонифицированной деревенской совести получился более привлекательным. Но, во всяком случае, «Федя» Жемлиханова ничуть не менее упруг, самоценен и глубок, чем «Филя» Рубцова. Два хороших русских поэта создали достойные стихи, которые не оценивать нужно, а читать почаще.

В последний раз с Энвером Мухамедовичем мы встретились 17 ноября 1994 года. Помню эту дату так отчётливо, поскольку в тот день наше литобъединение вместе с Жемлихановым выступало в Кунье, городке, находящемся неподалёку от Великих Лук. Нас отлично принимали, слушали стихи, задавали умные вопросы.

Завершалась программа той поездки в гостиной местного Дома культуры. Мы сидели за столиками и пили чай. Было понятно, что настаёт время для прощания. И тут на очередную просьбу «почитать стихи» Жемлиханов без всякого перехода обращается ко мне:
— Андрей, почитай ты.

Так моими стихами тот вечер и завершился. Потом были дорога домой, долгие разговоры, обмен впечатлениями, бутылка водки, распитая с поэтом. И смерть от рака, день в день, через год—17 ноября 1995 года. И стихи на собственную смерть, написанные ещё в 1991-м, заранее, а тут впервые широко прозвучавшие:

На проходной при входе справа,
Боюсь взглянуть, иду скорей.
Стена—беда, стена—отрава
Меж двух дверей, меж двух дверей.
Могильным голосом тревоги
Она осадит в толкотне:
Вывешивают некрологи
На той стене. На той стене
Меня увидев в чёрной рамке,
Скажи в отделах и цехах:
«Он не ушёл, остался с нами
В своих стихах, в своих стихах».
И в путь последний провожая,
Прощая все мои грехи,
Пускай звучат не угасая,
Мои стихи. Мои стихи.

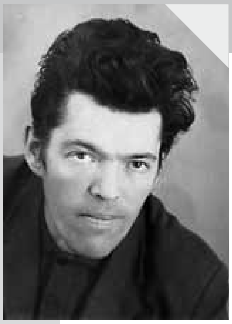
Что интересно—ни тогда, ни тем более, сейчас строки Энвера Мухамедовича не звучали образной натяжкой. Он, действительно, остался жив и его стихами, действительно, можно зачитываться, как когда-то упиваться общением с умным и тонким собеседником, каковым и был Жемлиханов. Его книгу, даже случайно попавшую в руки, не отбросишь с ходу. Как бы ни спешил, а хоть пару стихов прочитаешь.

Честных, беспощадных, пронзительных, как вот это, посвящённое Рубцову:

В студенческой застолице—дымы.
Стихи—по кругу. Страсти—на пределе:
Поэты погибают на дуэли!
Вдруг он сказал:
— Ну, а при чём тут мы?..
Он посадил наш пароход на мель.
Обиженные, долго мы галдели.
Блестяще он нас вызвал на дуэль!
Но мы ещё не знали о дуэли…

Особенно трогательно звучит местоимение «мы», ведь Энвер Жемлиханов свою-то «дуэль» провёл по всем дуэльным правилам. Но его суд к себе всегда предельно строг, это для других он не скупился на добро. Это для других он открывал душу. И в конечном итоге получилось так, что забыть его—значит, забыть частичку себя, частичку своей Родины. Вроде бы внешне—станочник на заводе, жил в провинции…

А состоялась бы русская поэзия рубцовского призыва не будь в провинциальных Великих Луках поэта Жемлиханова? Сомнительно.



Энвер Жемлиханов

Пятый туз

Памяти Николая Рубцова

Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать.

Николай Рубцов

1.

Северная русская округа,
Помоги одуматься, остыть…
Я при жизни не гостил у друга,
После смерти прибыл погостить.

И стою, пришедший запоздало,
С непокрытой тихой головой.
Что же нас с тобой объединяло?
Что соединяло нас с тобой?

Комната ли, данная судьбою
В общежитье отзвеневших лет,
Где до сей поры тают обои
Твой ещё прижизненный портрет?

Или сблизил нас последний «рваный»,
Самый тот, который без цены?
Может, состоянием нирваны
Были две души освещены?..

Вологодский дождик бьёт по плитам
И по барельефу—по челу.
Вот и стал ты нынче знаменитым…
Только Ялта, вроде, ни к чему.

2.

В студенческой застолице—дымы.
Стихи—по кругу,
Страсти—на пределе:
Поэты погибают на дуэли!
Вдруг он сказал:
—Ну а при чём тут мы?

Он всё сломал: в кругу случился сбой,
Любой и каждый мнил себя поэтом,—
Дуэль с врагом,
Дуэль с самим собой,
Дуэль со всем окостенелым светом!

Любой из нас был ненавистник тьмы.
Скажи кому: погибни на дуэли—
Погибнет! Погибать-то мы умели.
Но он сказал:
—Ну а при чём тут мы?

Он посадил наш пароход на мель.
Обиженные, долго мы галдели.
Блестяще он нас вызвал на дуэль!
Но мы ещё не знали о дуэли…

Найденное письмо

…наш мастер сменный:
У него снежинки на висках,
Он—без ног… Такое, мама, вышло:
Мы вчера тащили по пескам
Всей артелью буровую вышку—

Мир ещё такого и не знал!
Только трактористы сплоховали:
Всё случилось быстро, как обвал,—
Вышка покачнулась на отвале.

Видно, отскочить надумал он,
Да не рассчитал—попал под полоз…
Навалилось на него сто тонн,
Придавило накрепко—по пояс!

Что могли мы?! Душно до сих пор:
Утерев лицо своё рябое,
Он, как старший, приказал топор
Принести. И я рубил живое!..

Только бы успели довезти…
Он лежит короткий, как колода.
А погода… Чтоб её… прости:
До того нелётная погода!

Вот пролился на палатку гуд—
Кажется, подмога прилетела.
А скучать здесь, мама, не дают:
Что ни день—то неотложней дело.

И приеду я бородачом.
Потерпи—дотянем до предгорий.
Парни возвращаются…
С врачом!!
Всё. Пиши. Целую, твой Григорий.

Лиле

Чем-то странным оглоушен,
Всё брожу надречным парком.
Что ж ты мне смутила душу
Неожиданным подарком—

«Подорожники» Рубцова
Поздним грянули приветом.
Я-то знал его живого.
Он считал меня поэтом.

Знай одно: подарки старят.
Это—вроде, выпил лишку.
…Всё поймёшь, когда подарят
Жемлихановскую книжку.

Федя

Верен семейной традиции—
Чтобы не выстыл дом,
Федя живёт в провинции,
В доме своём родном.

Дождь ли с шумливым нравом,
Сушь ли в начале дня—
Федя идёт по травам,
Ищет—зовёт коня.

И от утра до вечера
(Без выходных-то дней!)
Водит телят доверчивых
Там, где трава вкусней.

Хлебом с лошадкой делится,
Так, чтобы без обид.
Встретив высокое деревце,
«Здравствуйте!»—говорит…

Перекур

Блатари, вернее—кули,
Сброс тюремных лагерей,
Ухайдокались и курим:
Дым—в четырнадцать ноздрей.

Нынче снова три вагона
Разгружаем—«кирпичим»,
Отдыхаем упоённо,
Обезболенно молчим.

Но во мне зудит, тревожа,
Прилипала-лилипут:
«Ты окончил для чего же
Свой заветный институт?

Говоришь, дивертисменты,
Междучасье, мишура?
Шёл бы хоть в корреспонденты,
Там, глядишь, в редактора.

И сидел бы и писал бы—
По листку рукой водил.
Не вагоны разгружал бы,
А людьми руководил!..»

Чем ты лечишь, лилипутик?
Не подбрасывай блесну.
В закутке на междупутье
Дай бездумно отдохну.

Надоели рисоводы,
Съезды, колики в паху…
Если б знал ты вкус свободы,
Не молол бы чепуху!

Не могу я, лилипуша,
Открываюсь, как врачу,—
И бутылку оглоуша,
Врать, как «Правда»,—
Не хочу!

Отгроблю и робу скину—
Поквитаемся сиречь.
Потому ломаю спину,
Чтобы душу уберечь…

Аввакум

Неба звёздное сито
Сеет свет с высоты.
Бездорожицей скрыты,
Затаились скиты.

Дебри дикого края
С опостылой зимой!
Лишь кометы сгорают
Над печалью земной.

А по наледи звонкой,
Задыхаясь от дум,
Идет с верною жёнкой
Протопоп Аввакум;

Еле двигает ноги—
На ухабах скользит!
Армячишко убогий
Рыбьим мехом подбит.

Словно связку сокровищ,
Ветер тронул крылом:
«Долго ль муки, Петрович?»
«А—покуда живём!»

«И добро, что покуда.
Значит, надо идти».
Эти звуки оттуда,
С векового пути.

Нос крылато-ноздрястый,
Отчеканенный лоб.
Я кричу ему: «Здравствуй,
Огневой протопоп!»

Дерзким оком окинул,
Вроде, что-то сказал,
И, как не было, сгинул,
В белом мраке пропал.

Голос вещего рока,
Наваждение?—Чу:
«Семя лжи и порока,
Знать тебя не хочу!..»

Не лететь бы упрямо,
Повернуть на пути,
До ближайшего яма
С Аввакумом дойти,—

Разместиться соседом
Да послушать рассказ,
Чтоб катилась беседа,
Будто слёзы из глаз,—

Безоглядно, сурово,
Торопясь, не спеша,
И у каждого слова
Наизнанку душа.

Аромат медуницы
Источает гланол…
Мне б назад воротиться,
А—за веком пошёл!..

Следы

Росой усыпаны, седы—
Глухой кустарник и поляна,
Куда я выехал. И странно—
Трава и чёткие следы:

С детьми медведица прошла!
Как будто лодку протащили,
И вдоль бортов её скользили,
Росу сшибая, два весла…

В палате нашей,
В двадцатый век,
Простясь со стражей,
Остался зэк.

Не жал, не сеял,
Он,—блатовал.
Освоил север,
Лесоповал.

Утилитарность
Вселенских грёз:
Венчает старость
Туберкулёз…

Коль Бог не выдаст,
Свинья не съест.
И не на вырост
Нательный крест.

Живём, ребята
Одной страны.
Одна палата,
И все равны.

Как говорится,
И жить бойчей
В стране-больнице,
Где нет врачей…

…И не скажу, что ухожу—
Не потому ли
Пройдёт слушок по этажу:
—Хватило пули…

Попробуй, муки избеги
В любови вящей.
Вспомянут верные враги:
—Был настоящий!..

Сойдутся мнимые друзья,
Напьются дружно,
Да так, что сетовать нельзя.
Да и не нужно!

И разойдутся от стола
Гурьбой, поврозь ли.

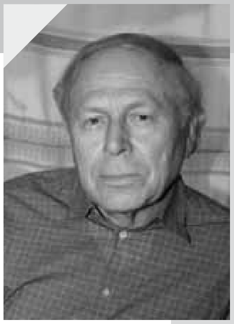
Сперва ослепнут зеркала.
Прозреют—после…

Пятый туз

И не фуфлыжник, вроде,
Не друг пустых турус,
Я—пятый туз в колоде.
Никчёмный пятый туз.

Пускай меня оставят!
Но—душу теребя:
—Да на тебя же ставят
И веруют в тебя!..

Одолевают страсти,
И одного боюсь:
Коль нет какой-то масти—
Какой ты, к чёрту, туз?..



Александр Астраханцев

Бормота

Существуют вещества, называемые катализаторами, небольшие количества которых намного ускоряют течение и улучшают качество химических реакций. И существуют люди-«катализаторы», общение с которыми делает жизнь людей творческих профессий интересней, полнее, а, стало быть, и плодотворнее.

Таким человеком-«катализатором» в Красноярске времён 1960–1980-х годов был Владимир Васильевич Брытков (1939–1995), более известный среди его друзей и знакомых под столбистской кличкой «Бормота» (или слегка видоизменённой от неё — «Бурмота», или даже «Бурмата»). Я много лет был с ним дружен, поэтому, мне кажется, имею право звать его здесь именно так — Бормотой. Да он и сам любил, чтобы его так называли: помню, когда в начале наших с ним товарищеских отношений я начал было звать его Володей — он скромно меня поправил: «Между прочим, меня в народе зовут Бормотой».

Чем же Бормота так привлекал красноярцев творческих профессий: писателей, поэтов, художников, актёров, журналистов? — а что привлекал, это легко доказывается тем, что ему посвящали свои стихи поэты, его избирали прототипом своих героев писатели. Так, например, он говорил мне по секрету, что сюжет рассказа московского писателя, в прошлом красноярца, Евг. Попова, «Зеркало», опубликованного в своё время в журнале «Новый мир» (с предисловием Вас. Шукшина), рассказан писателю именно им, Бормотой, и что он же — прототип героя этого рассказа. Несколько своих стихотворений посвятил ему красноярский поэт Ник. Ерёмин. Наконец, один из героев моей старой повести «В середине лета» тоже списан с Бормоты. А известным красноярским художником А. Поздеевым написано 5 или 6 его портретов, в том числе «Грузчик Бурмота», «Апостол», «Бурмота с сыном», «Бурмота с семьёй» и т. д.; в середине же 90-х годов, когда имя А. Поздеева стало известным не только в обеих столицах России, но и за рубежом, Бормота хвастался своим друзьям: «Меня продали в Лондоне аж за 6 тысяч фунтов стерлингов!», — т. е., по слухам, за эту самую сумму на аукционе Сотбис в Лондоне был продан его портрет, выполненный А. Поздеевым (кажется, именно «Грузчик Бурмота»). А когда в Красноярске бывали гастроли столичных театров и заносчивые столичные актёры начинали скучать в нашей «глубокой провинции», здешние актёры водили их в гости к Бормоте, как к местной достопримечательности, и гости бывали от него в восторге…

Так чем же привлекал он людей творческих профессий? Причём — не только их: в его доме часто бывали спортсмены-скалолазы, альпинисты и вообще люди самых разных занятий и профессий, которых объединяла одна особенность: это всегда были люди, чем-то интересные и уж во всяком случае — неординарные.

А в годовщины его смерти ещё в совсем недавнее время в его квартире собиралось до 40–50 человек, причём приходили они без напоминаний, только по зову собственного сердца, и вспоминали о нём в самых тёплых выражениях.

Однако существует и иное отношение к этому человеку… Один мой знакомый, который тоже был хорошо с ним в своё время знаком, узнав, что я пишу о Бормоте воспоминания, спросил меня: «Зачем ты о нём пишешь? Пустой ведь был человек: ничего хорошего в жизни не сделал, и ушёл бездарно!».

Эта реплика заставила меня задуматься: зачем же я, в самом деле, о нём пишу? Ведь он действительно ничего особенного в жизни не сделал, и ушёл, в самом деле, нелепо! Что в нём меня притягивает?..

Однако, подумав хорошенько, я ответил своему оппоненту — правда, только мысленно — примерно так: вот у М. Горького есть рассказ «Челкаш» — про вора и пьяницу, совершенно не нужного никому человека, абсолютно свободного в своих прихотях и поступках, которым, однако, автор невольно любуется. И едва ли не у каждого писателя отыщется персонаж, с помощью которого автор пытается поразмышлять над проблемой человеческой свободы. Эта категория — личной человеческой свободы и несвободы — очень занимала всегда людей творческих.

Среди множества определений, что такое свобода, у Михаила Пришвина я встретил, на мой взгляд, самое простое и точное: «Свобода — это прежде всего есть освобождение от необходимости быть полезным». Именно этим, наверное, и привлекал нас всех Бормота, пытавшийся жить, постоянно освобождаясь от необходимости быть очень уж полезным, в том сплошь закованном в регламенты окружении, в котором мы все тогда находились.

Так вот, чтобы ответить на вопрос: как он умудрялся жить относительно свободным человеком и чем именно он привлекал нас всех? — стоит, мне кажется, рассказать сначала ещё об одном человеке: о его жене Галине Алифантьевой, актрисе Красноярского тюза, — потому что, хотя она много

времени бывала занята в театре, атмосфера в их доме в немалой степени зависела и от неё тоже.

Оба бессребреники, люди широкой души, до крайности добросердечные, приветливые и гостеприимные, они жили в те годы втроём (с малолетним сыном Митей) в тесной однокомнатной квартирке недалеко от Предмостной площади, однако дом их всегда, чуть ли не круглые сутки (если только кто-то из хозяев был дома), оставался открытым для гостей.

Предмостная площадь в Красноярске — место оживлённое: там сходится и пересекается много автобусных и трамвайных маршрутов. Друзья и просто хорошие знакомые Владимира и Галины (у Владимира — друзья мужского пола, у Галины — соответственно, женского), едучи мимо, чаще всего вечером, после работы, непременно забегали к ним «на чай» или «на огонёк», причём там кто-то из гостей уже был, а то и двое-трое; одни уходили, другие приходили… Это был своего рода маленький клуб, где люди «своего круга» встречались, общались, отдыхали душой от проблем, а заодно и обменивались информацией, весьма ценимой при тогдашнем её дефиците. При этом гость мог рассчитывать ещё и на чашку чая, на кусок пирога, а то и на стаканчик винца, которое приносил кто-нибудь из гостей…

Оба, и Владимир, и Галина, зарабатывали немного и, по-моему, большую часть своих небогатых доходов тратили на гостей, поэтому жизнь их была крайне аскетической; одежду они все носили самую простую и дешёвую; по-моему, единственным занятием Галины тогда, кроме театра, было непрерывное и очень быстрое, доведённое почти до автоматического, ручное вязание (как-то она рассказывала, что вяжет даже в театре на репетициях, пока ожидает своей очереди вступить в роль); поэтому в гардеробе у всех троих членов семьи обязательно были связанные ею вещи…

При этом Галина, при необычайной простоте её одежды, умудрялась быть одетой изящно; в этом проявлялся её артистический вкус. Владимир же часто выглядел весьма экстравагантно: зимой он мог ходить по городу в огромных подшитых валенках, а придя в них в гости — снять их и остаться босиком, отвергая напрочь хозяйские тапочки и уверяя: босиком ходить очень полезно — столько ярких дополнительных ощущений! — а летом мог разгуливать по улицам, даже входить в трамвай или автобус босиком и раздетым по пояс, и это не было позой и оригинальничанием — это было, во-первых, протестом против навязываемых общим мнением стандартов, которые он всюду и всегда старался ломать, а, во-вторых, этим он давал пример своему сыну: не стыдиться того, что ты одет и обут хуже своих товарищей или не так, как все, и любую одежду носить с достоинством, невзирая на чужое хихиканье.

Мебель в их квартире была только самая необходимейшая: обеденный стол, холодильник, несколько табуреток, несколько настенных полок: для посуды, для книг, для бытовых мелочей; вместо кроватей — лёгкие металлические подставки или чурбаки, и поверх них — снятые с петель дверные полотна; всё это днём убиралось, двери вешались на место, и небольшая квартира становилась просторной. Гости, если их больше, чем двое, принимались хозяевами прямо на полу; посуда была самая простая: эмалированные кружки, гранёные стаканы, алюминиевые чайные ложки…

У ребёнка в однокомнатной квартире нет своей комнаты? В таком случае готовку еды вместе с электроплитой хозяева переносят в общую комнату, а кухня становится детской; в детской есть только кровать, тоже сооружённая из двери (ведь спать на твёрдом очень полезно!), и большой крепкий ящик с высокими стенками: в нём можно хранить игрушки; поставленный «на попа», ящик служит столом для занятий; во время игр он может служить домиком, — в общем, ставь его, как хочешь, двигай, куда хочешь — пусть ребёнок учится свободно распоряжаться пространством!

В их квартире никогда не было телевизора: он несёт слишком обильную и слишком облегчённую информацию для ребёнка! В кино, в театр — пожалуйста (но только обязательно с кем-нибудь из взрослых): во-первых, чтобы получить удовольствие, надо пройтись пешочком, купить билет, почувствовать волнение от предстоящей встречи с фильмом или спектаклем, а после — обменяться впечатлениями, да просто пообщаться. В результате удовольствие растягивается на целый день, и день этот становится праздником в череде других дней…

Конечно же, стиль жизни в том доме определял хозяин, но — при полном согласии хозяйки… Помню, однажды летом, в сумерках, я шёл мимо и зашёл к ним (бывая где-то недалеко от их дома, я не мог удержаться, чтобы не забежать к ним — настолько приветливы и сердечны они бывали); и как только я вошёл и поздоровался с ними обоими — Владимир зовёт меня на открытый балкон; а когда вышли с ним на балкон — он показывает мне вниз, на траву газона:

— Видишь, вон там осколки лежат?

С четвёртого этажа, да ещё в сумерках, только видно было, что что-то белеет и поблёскивает в зелёной траве.

— Что за осколки? — спрашиваю.

— Только что, — отвечает он, — сбросил туда чайный сервиз.

— Зачем? — недоумеваю я.

— Не вписывается он в стиль нашей квартиры.

Я — к Галине за объяснениями. И она рассказывает:

— В театре знают, что у нас дома напряжёнка с посудой, и подарили мне по случаю чайный сервиз. Очень красивый! А я знала, что Володя будет недоволен — принесла домой тайком, завернула в старые тряпки и сунула в самый дальний угол кладовки. Вот сейчас только раскопал… Да он и в самом деле не вписывается в наш стиль, — смиренно добавляет она, и при этом выражение лица у неё — одновременно и грустное, и удовлетворённое: наконец-то всё разрешилось!

— Но разбивать-то зачем? — упрекаю его. — Лучше бы отдал кому-нибудь!

— Э-э, нет! — парирует он, качая пальцем. — Отдашь, а потом жалеть будешь. А теперь нет сервиза — и жалеть не о чем!..

Я позволил себе не согласиться с ним… Между прочим, я частенько вступал с ним в споры, считая его неправым; и если только это происходило при Галине — не было случая, чтобы она не встала на его защиту… Вот и в тот вечер — она не преминула тотчас же принять сторону мужа:

— Но этот сервиз и в самом деле не вписывался в стиль нашей квартиры, и слава Богу, что его уже нет!..

Многочисленные друзья, приятели и знакомые считали его философом, хотя, если говорить всерьёз, философом его можно было назвать с большой натяжкой. Просто он был человеком бывалым, общительным, словоохотливым, любящим порассуждать вслух, отчего и получил кличку «Бормота»: для тех, кто был не в состоянии вникнуть в его рассуждения — а таких, как правило, бывает большинство — он просто «бормотал» нечто, совершенно непонятное этому большинству.

Однако на самом деле суждения он имел здравые, логичные и независимые, даже смелые для того времени, что, думаю, и привлекало к нему людей творческих: для того бедного информацией времени его суждения казались чуть ли не откровениями пророка; кроме того, он бывал довольно проницателен относительно людей, часто давая им зоркие и точные характеристики, а потому из-за всего этого числился, видимо, в неблагонадёжных, так что его личностью регулярно интересовалась милиция, а, может, даже и КГБ… Когда вместе с компанией друзей, которые заваливали к нему «на огонёк», в доме появлялся совершенно незнакомый человек, желавший с ним познакомиться, Владимир устраивал ему негласный экзамен: задавал неожиданные вопросы, интересовался кругом его знакомств, — а потом мог жёстко объявить ему: «Уходи — я тебя не приглашал! И больше не приходи», — а друзьям объяснял: «Ребята, осторожней с ним — это явный сексот!»

Одно время среди его окружения муссировался слух, что он сам является «сексотом» и пишет доносы на окружающих: поэтому-де среди его знакомых так много творческих личностей, — так что однажды я прямо спросил его об этом; он скептически улыбнулся и ответил мне: «Этот слух распространяют кэгэбисты, чтобы отпугнуть от меня друзей»… Впрочем, я, к тому времени уже очень близко зная его самого и стиль его жизни, этому слуху никогда не верил.

Безусловно, он был человеком способным, даже талантливым, способностей своих развить, видимо, просто не сумевшим — я думаю, из-за одного серьёзного физического недостатка: он был полуслепым, инвалидом по зрению с близорукостью в 13 диоптрий, — а потому постоянно носил очки и без очков был совершенно беспомощен. Однако из самолюбия — я бы даже сказал, из гордыни — он не желал быть инвалидом, постоянно поддерживая свой статус «настоящего мужчины», из-за чего с ним частенько случались иногда смешные, иногда нелепые, а иногда и драматические события; а свою инвалидность по зрению, смирившись с нею, он оформил лишь незадолго до своей смерти и начал получать инвалидную пенсию, и рассказал мне об этом по секрету, очень смущаясь и посмеиваясь при этом над самим собой.

При такой большой близорукости ему было трудно читать, даже в очках, поэтому читал он немного. Но читал регулярно.

Да, интересовался он предпочтительно философией. Однако достать в те годы книги серьёзных философов, кроме классиков марксизма-ленинизма, рядовому человеку было необычайно трудно. Зато продавались, причём за копейки, тонкие научно-популярные брошюры (разумеется, написанные марксистами и с марксистской точки зрения, с непременной разгромной критикой), рассказывавшие о Платоне, Аристотеле, Спинозе, Канте, Шопенгауэре и т. д., а также брошюры о современных «буржуазных» философских школах и течениях и обо всех мировых религиях. Эти самые брошюры он покупал и прочитывал очень внимательно, выискивая в них крупицы позитивного знания, отчёркивая фразы и абзацы, выписывая на отдельные карточки цитаты и какие-то заинтересовавшие его мысли, так что со временем у него накопилась целая библиотечка таких брошюр и одновременно — картотека его собственных выписок. И общие представления о великих философах, о различных философиях и религиях он имел.

Кроме того, он почитывал весьма популярный тогда среди интеллигенции журнал «Наука и жизнь», интересовался йогой, буддизмом, проблемами мироздания, вопросами жизни и смерти и подобными им, культовыми для тогдашней интеллигенции темами, которые время от времени освещались в том журнале. Причём журнал этот он не выписывал и в библиотеках не брал — журналы с этими темами ходили по рукам до полной истрёпанности их и ему обычно передавались друзьями и доброжелателями.

Я ни разу не видел, чтобы он читал какую-нибудь художественную книгу, однако мог при случае пересказать эпизод или мысль из какого-нибудь романа Достоевского, которого, видимо, прочёл в своё время довольно внимательно.

В результате он мог бегло, в общих чертах рассуждать о разных философских и религиозных системах, ссылаться на авторитетные имена и даже подкреплять свои знания добротными цитатами. Что же касается его собственных философских соображений, то они были довольно путаны, иногда наивны, иногда интересны. Этого было вполне достаточно, чтобы среди друзей, не очень обременённых знаниями, он слыл философом и авторитетом в области истории философии и фундаментальных знаний.

Помню, однажды я похвастался одной знакомой даме, кандидату философских наук, что у меня есть один очень занятный знакомый: колоритная личность и самодеятельный философ (имея в виду Бормоту), — и был за своё хвастовство наказан:

почему-то это её очень заинтересовало, и она упросила меня познакомить её с ним. По взаимному уговору с Владимиром мы с ней к нему приехали, и она по всем правилам академической науки повела с ним полемику, начав, как и полагается по таким правилам, с азов: с уточнения терминов, понятий и категорий,—и через пять минут посадила его в лужу: он запутался в терминах и смущённо замолк; ей же полемизировать дальше стало скучно… Мы с ней ещё с полчаса пошвыркали для приличия чай, поболтали на общие темы, смиренно попрощались с хозяином и ушли. И сколько я потом ни пытался ей объяснить, что быть философом—это ещё не значит знать назубок университетский курс истории философии и козырять философской *феней*, что быть философом—это, в первую очередь, уметь увидеть, обосновать и оригинально объяснить причинно-следственные связи сегодняшнего, живого, ещё никем толком не объяснённого человеческого бытия, и что истинного философа порой бывает легче найти в глухом селе, чем на философской кафедре,—бесполезно: моя знакомая-*философиня* продолжала повторять одно: «Я, конечно, всё понимаю—но как можно говорить о философии, не владея ни философскими понятиями, ни философским *дискурсом* вообще?..»

И при этом удивительно, как легко Владимир находил общий язык с людьми самых разных возрастов и социальных уровней! Помню, однажды в воскресный день мы с ним возвращались со Столбов. Когда, налазавшись по скалам и устав за день, едва тащишься домой, то эти семь километров до города, хоть и под гору, кажутся ужасно долгими… А тут ещё конец марта, яркий, солнечный весенний день—снег на дороге раскис, ноги в нём скользят, вязнут по щиколотку, обувь промокла… Догоняем группу молодёжи человек из десяти, парней и девушек—похоже, студентов; они тоже еле тащатся, устало переставляя ноги, и двое из них лениво спорят о каком-то сложном лазе на какой-то Столб (подробности мной уже забыты), а остальные молча слушают. Владимир, краем уха услышав суть спора, тотчас же вклинился в него, объяснил спорящим, что оба неправы, и стал рассказывать историю покорения лаза, называя даты и столбистские клички тех, кто этот лаз открыл и кто этим лазом проходил. Причём держался он с таким апломбом и уверенностью и говорил настолько убедительно, сразу оказавшись в самом центре этой толпы, что кто-то из молодых людей не преминул спросить не без уважения: «Скажите, вы профессор?»—и он со скромным достоинством ответил: «Да, ты угадал, я профессор!» Видимо, профессорскую стать в нём, по студенческим понятиям, дополняли очки, окладистая борода и солидная загорелая плешь на голове (при любой более-менее тёплой погоде он ходил с непокрытой головой, будучи твёрдо уверенным, что напрямую подпитывает свой мозг солнечной энергией). Молодёжь, окружив его ещё плотнее, тотчас закидала его вполне серьёзными вопросами, сначала относительно Столбов, и он прочёл им внушительную лекцию обо всём, что знал о Столбах—а знал он немало; потом разговор перешёл на иные темы, и о чём бы он ни говорил, его слушали, я бы сказал, с почтением. А когда впереди показались строения конечной автобусной остановки—девушки как существа более эмоциональные с удивлением и не без разочарования воскликнули: «Вон уже и остановка! Как быстро мы пришли!»

При всём при том Владимир был человеком, наделённым, кажется, всеми достоинствами и недостатками, даже пороками, какие могут быть присущи самому обыкновенному человеку: не лишённый ума, юмора, остроумия (так что с ним бывало просто приятно и заразительно-весело общаться), не лишённый чувства товарищества, даже некоего рыцарства по отношению к товарищу,—при этом он не был лишён тщеславия, какой-то наивной хвастливости, а также драчливости, этих черт, явно воспитанных в нём послевоенной улицей, с обязательным влиянием на это самое воспитание городской полууголовной «шпаны». И не был он лишён «мужской доблести», то есть, проще говоря, примитивной похоти самца.

В течение многих лет работая грузчиком (на причинах этого я остановлюсь позже), он был физически тренированным человеком и при случае любил похвастаться своими мышцами, силой и ловкостью; отсюда же—и драчливость его; раза два мне приходилось утихомиривать его, бесстрашно жаждавшего «набить морды» целой компании незнакомых молодых людей, ведущих себя на улице, мягко говоря, не совсем адекватно… А однажды мы с ним засиделись у меня дома на кухне за разговором, распивая по какому-то поводу одну-единственную бутылку водки (выпить он любил, но никогда не пил много, уважая выпивку только как средство общения); затем я вышел проводить его, но проводил недалеко (и каялся потом, что не довёл до остановки и не посадил в автобус) и вернулся домой. А минут через двадцать он возвращается ко мне с окровавленным лицом и—без очков. «Что случилось?»—спрашиваю удивлённо. «Подрался на остановке с какими-то парнями»,—отвечает он. «А ну, пойдём—покажешь, кто это тебя так разукрасил!»—говорю ему, и мы пошли на остановку: многих молодых людей в своей округе я хорошо знал. Но на остановке, конечно, уже никого не было…

В начале моей литературной «карьеры», когда стали появляться в печати мои первые рассказы, он взялся трогательно заботиться обо мне как о литераторе: по собственной инициативе знакомил с интересными, с его точки зрения, людьми (благодаря ему круг моих знакомств намного расширился), таскал по злачным местам и подпольным притонам («Тебе как писателю это полезно будет знать!»), помогал, когда я, перейдя на «вольные писательские хлеба», оказывался вдруг без копейки, найти денежную разовую работу (главным образом, грузчиком или подсобником), и я по сей день благодарен ему несказанно за все эти

его хлопоты… А когда через много лет я подарил ему свою книжку «В середине лета» (изд-во «Советский писатель», Москва, 1988 г.) с тёплой надписью и намёком на то, что он является прототипом одного из героев заглавной повести в этой книжке, он с большим пиететом поставил её на отдельную полочку, где хранились книжки с дарственными надписями и посвящениями авторов, а также те, к содержанию которых он каким-нибудь образом был причастен сам.

Став профессиональным литератором, я начал иногда наведываться в Москву по издательским делам, и, бывая там, чуть не ежевечерне звонил оттуда домой. В одну из таких отлучек звоню жене, и она возмущённо выговаривает мне: «Представь себе, вчера заявляется ко мне твоей лучший друг Бормота! Пришлось выставить!».—«А что случилось?»—«Так приставать начал».—«Ну, к-козёл!»—невольно вырвалось у меня… А ведь я знавал за ним такой грешок—приставать к жёнам товарищей в отсутствие этих самых товарищей; да он и сам иногда хвастался под хмельком о таких похождениях, и мне надо было быть с ним осторожней, а я в тот раз проболтался, что уезжаю и меня с неделю не будет в городе…

Года два после этого я с ним не разговаривал; а потом обида притупилась, и мы снова стали общаться; но уже без той тёплой открытой дружбы, что была прежде. По-видимому, подсознательно отыгрываясь на нём за тот его визит к моей жене, я больше не прощал ему хвастовства, оригинальничания, дилетантского философствования: одёргивал, насмешничал… Помню, будучи у него дома, зло посмеялся над ним: заспорили о чём-то, и он в доказательство своей правоты начал искать у себя в картотеке какую-то подходящую цитату, но поскольку картотека его была в беспорядке, а сам он сильно близорук—я, не дождавшись цитаты, сказал насмешливо: «Ты купи себе попугая, как у предсказателей на базаре—он и будет тебе выдёргивать цитаты». Владимир не обиделся—чувства юмора у него для этого хватало—зато обиделась за него его жена Галя; мне тогда пришлось покинуть их дом и ещё года два там не появляться.

А уже шла Перестройка, а за нею надвигался развал экономики и нашего всеобщего маломальского благополучия; прекратились наши частые сидения за чаем, винцом, водочкой под тощенькую закуску, с бесконечными разговорами о смысле жизни и о прочих туманных понятиях—все вдруг стали озабочены заработками, едой, а при этом ещё и евроремонтом квартир, покупкой вещей, автомашин, поездками «за бугор»; проще говоря, вместо бесконечных разговоров о смысле жизни надо было просто жить… Вот и я, бросив свои литераторские «вольные хлеба», пошёл зарабатывать на эту самую жизнь и с тех пор встречался с Владимиром лишь случайно: здоровались, обменивались несколькими фразами и снова надолго расставались…

В последний раз я видел его, кажется, за год до его гибели (вспомнить эту дату точнее не могу): стоял жаркий летний день, который клонился к вечеру; они с Галей шли—причём оба босиком—по самому центру проспекта Мира в самом его начале, там, где пешеходный участок; Володя, как всегда—с открытой, тёмной от загара лысиной и рыжей бородой, раздетый до пояса, обнажив свой мускулистый загорелый торс, Галя—в сарафане очень крупной вязки, больше похожем на рыболовную сеть, сквозь которую поблёскивало её бронзовое тело,—оба статные, пропитанные насквозь солнцем, они шли навстречу закату, дружно держась за руки и держа в свободных руках туфли и какие-то пакеты, о чём-то говорили и смеялись, высоко подняв головы и ничего вокруг не замечая. Похоже, Галя незадолго до этого вернулась с гастролей—настолько они были упоены друг другом и счастливы. Я не стал их окликать—стоя на тротуаре, не без восхищения проводил их взглядом и, чтобы не мешать им, тихонько пошёл себе дальше—заниматься своими земными делами…

У меня сохранился очерк о нём, написанный мною в конце 70-х гг. XX в.—когда у него случился серьёзный конфликт с властями. Причиной конфликта был его отказ отдать сына в школу, когда у того наступил школьный возраст, и он решил учить его в течение первых трёх лет сам. Власти (в лице одного из руководителей райисполкома) вначале хотели просто пожурить Владимира и сделать ему строгое внушение, решив, что он, испугавшись их строгости, тотчас приведёт сына в школу; однако он внять их увещеваниям не пожелал. Тогда, усмотрев в этом бунт против власти, они решили состряпать на него «дело» и передать его в суд; мера наказания предусматривалась строгая: вплоть до условного срока и лишения его прав отцовства.

Чтобы как-то защитить Владимира, я и написал тот очерк. Показал готовый очерк в газетах, охотнее всего печатавших материалы о воспитании детей: сначала в «Красноярском комсомольце», а когда там печатать отказались—отправил в «Литературную газету». Но и там печатать отказались. Думаю, потому отказались, что нашли в моём материале скрытый призыв к неповиновению властям, хоть я и старался смягчить этот мотив. Но газетчики в те времена отвечали за публикации собственными креслами, а потому материалы на спорные темы там проверялись и перепроверялись на предмет «объективности освещения фактов» или браковались как «мелкотемье»… Словом, очерк так нигде и не был опубликован. А тем временем Владимира всё же принудили к компромиссу: продержав сына всю первую зиму дома, он согласился отдать его в школу в следующем году, но схитрил: всю следующую осень и зиму провёл с сыном вне дома: месяца три—на Чёрном море, потом, приехав домой—в избушке на Столбах, потом ещё где-то,—и только на третий год всё же отвёл его в школу.

Однако мне хочется привести этот мой очерк здесь; он интересен, во-первых, тем, что я описываю Владимира в нём не по памяти, а, так сказать, с натуры; а во-вторых, в очерке сохранилась атмосфера того времени, в которой Владимир—как

и все мы — жил тогда. И, в-третьих, очерк этот был внимательно прочитан самим героем, Бормотой, и — одобрен им. Теперь я лишь чуть-чуть сократил длинноты, зато оставил — для колорита — газетные штампы того времени, вкравшиеся тогда в мой текст, вроде слов: «обыватели», «чудики», «романтика дальних дорог» и т. д.

Итак, вот он, тот мой очерк, посвящённый Бормоте…

Ещё один из племени «чудиков»

Обыватель бывает разным: может пить чай с блюдечка и слушать канарейку, а может ходить в джинсах, слушать диски с модной музыкой и обставлять квартиру современнейшей мебелью. Дело не в том, во что он одет и как обставляет квартиру, а в том, что живёт он по своим законам, и первый из этих законов: обыватель не исчезает и не возникает вновь, — он вечен, лишь слегка видоизменяясь и приспосабливаясь ко времени. Второй же закон звучит так: «как все, так и я».

Но так же, как и обыватели, на Руси испокон века неистребимо другое племя людей: изо всех сил противящихся этим законам и, мало того, всей своей жизнью эпатирующих обывателя и колеблющих его покой. А потому обыватель, в страхе: вдруг они пошатнут его незыблемые законы? — дал им много презрительных кличек: «чудаки», «чудики», «фантазёры», «без царя в голове»… Однако следует отметить, что чудаки и чудики частенько оставляют после себя стихи, романы, открытые ими законы и целые отрасли новых наук…

Но к делу. Точнее, к «делу» одного из таких чудиков, который проживает в одном из районов города Красноярска. Чудик этот, прежде всего, обращает на себя внимание внешним видом, оскорбляющей глаз смесью солидности и несолидности одновременно: солидные очки, солидные лысина и борода, и при этом зимой, вместо нормального пальто и русской шапки — какая-то нелепая брезентовая куртка и нелепая же вязаная шапчонка с длиннющим козырьком; а летом он может разгуливать в одних шортах и босиком — это посреди огромного-то современного города!.. И дома у него — не как у всех: ни тебе телевизора, ни мебели полированной — одни доски и ящики. А стены-то, стены! — все от пола до потолка разрисованы ребёнком: там и олени, и цветы, и рыцари в доспехах, и чего-чего там только нет!

Далее: имея высшее образование, чудик работает почему-то не то сторожем, не то грузчиком; жена его летом постоянно куда-то надолго уезжает; сына же своего чудик не пускает, как остальные родители, играть целый день с пацанами во дворе, а, крепко взяв за руку, куда-то уводит.

И когда все эти чудачества переполнили чашу терпения обывателя, он, устав провожать чудика насмешливыми взглядами и крутить пальцем у виска, сел и стал писать «кому следует» письма: чтобы «разобрались» с чудиком, а то уже и в домино во дворе никто не играет, и старухи на лавочке у крыльца не сидят — стесняются… Письмо написали и отправили. Сигнал есть сигнал. И «дело» закрутилось.

Мы тоже взяли на себя труд разобраться с чудиком и его чудачествами. А поскольку оба мы люди грамотные, то разбираться решили не умозрительно и не оценочно: хорошо это или плохо — быть чудиком, — а, так сказать, диалектически, с точки зрения причинно-следственных связей. И когда разобрались — а разбирались мы не только путём вопросов-ответов, но и с документами в руках, как-то: трудовая книжка, справки с печатями, старые письма, фотографии, — то жизнь чудика приобрела некоторую логическую стройность.

Начать, как и полагается, следует с самого начала. А за начало условно примем первую запись в трудовой книжке, каковую выдали чудику в пятнадцать лет, в начале 50-х годов. Помните это время? Время начала «целины» и начала строительства Братской ГЭС. В газетах того времени прославляется романтика дальних дорог и неустроенного палаточного быта. Юношество со своим максимализмом склонно принимать всё слишком горячо и прямолинейно и при неумеренном восхвалении такого романтизма готово принять антитезой ему всякий устроенный быт, постоянную работу на одном месте и даже учёбу. Заметим в скобках, что наш чудик в школе пробовал баловаться журналистикой — в 15 лет даже опубликовал в одной маленькой ведомственной газете очерк о рабочем, бывшем красном партизане; стало быть, газеты своего времени он, безусловно, читал.

И вот муза странствий позвала в дорогу и юного чудика: в эти же самые 15 лет он сбежал из дома, от папы с мамой, и, естественно, из 8 класса средней школы. Он поехал на «целину» и там (в школе он мечтал ещё и о геологии) поступил рабочим-буровиком в геологоразведочную организацию, ведущую в Казахстане поиски воды для целинных совхозов. В 17 лет его как примерного рабочего с двухлетним стажем послали на курсы буровиков; закончив их, он становится буровым мастером.

Проходят в странствиях ещё 3 года. Затем наш чудик возвращается на родину, в Красноярск, заканчивает вечернюю школу, поступает в институт. Пять лет учёбы. И одновременно все пять лет работает. Меняются места работы, записи в трудовой книжке множатся; уже и книжки не хватает, в ней появляются вкладыши. Но, заметим кстати: какие бы перипетии с ним ни случались и чем бы он ни занимался, в его рабочем стаже нет перерывов более 5 дней, начиная с тех далёких 15 лет и по сей день.

После вуза — снова работа буровым мастером; потом — старшим инженером в тресте, потом начальником отдела. Опять странствия: длительные командировки в Эвенкию, в Заполярье. Чудик женился, появился ребёнок. А странствия продолжались.

Для человека, с юношеских лет вкусившего вольной жизни с неустроенным бытом, похоже, на всю оставшуюся жизнь нормой становятся и эти странствия, и неустроенный быт — всю жизнь ему, словно цыгану, будет тесно в четырёх стенах и на одной и той же работе. Дорожная романтика оборачивается для него вечным скитальчеством.

Но однажды с ним случается несчастье, полностью изменив ритм его жизни: перелом позвоночника, травма, при которой человек по непреложным медицинским законам должен много месяцев неподвижно лежать в постели закованным в гипсовый панцырь, в полном неведении: выздоровеет ли — или останется на всю жизнь неподвижным инвалидом? Во всяком случае, полный цикл лечения такой травмы и реабилитации после неё длится более года… Но наш чудик не пожелал садиться беспомощным инвалидом на шею жене, с её крохотной зарплатой театральной актрисы и с младенцем на руках. Пролежав неделю в гипсе и успев за это время тщательно обдумать свои дальнейшие шаги, он требует выписать его из больницы, дав главврачу письменное заявление, в котором брал на себя дальнейшее лечение и всю ответственность за него. Выписывается, с помощью друзей уезжает на такси домой, а приехав домой, тотчас заказывает себе кожаный корсет… Как только корсет готов, он срезает с себя гипсовый панцырь, затягивает себя в тугой корсет (всё это — опять с помощью друзей) и спустя две недели после травмы, двигаясь на костылях, появляется на работе.

Фантастично? Возможно. Оригинально? Нет. Дело в том, что в Красноярске есть давно сложившаяся школа спортсменов-скалолазов («столбистов») с большими традициями. И есть своя традиция лечения переломов позвоночника, отличная от медицинских методов. Согласно этой традиции, перелом позвоночника лечится непрерывной гимнастикой с постепенным увеличением нагрузок — и не в гипсовом панцыре, а в тугом кожаном корсете.

Итак, наш чудик, к изумлению скорбевших коллег, кажется, уже заказавших для него траурные венки, выходит на работу. Пишет заявление, в котором просит перевести его из начальников отдела в рядовые инженеры, заказывает себе конторку, чтобы работать стоя (работать сидя он не может), и приступает к работе. А дома устанавливает гимнастические снаряды: шведскую стенку, турник, кольца, вешает канат, — и занимается на них, одновременно приучая к ним и маленького сынишку… Через год ему бы всё ещё быть пленником больниц и санаториев, а он уже снова начальник отдела.

Так проходят два года. Сыну его в это время — четыре. Ребёнок растёт слабенький, болезненный. Надо было поправлять его здоровье, а заодно и своё собственное — последствия перелома всё же дают себя знать. И чудик принимает новое кардинальное решение: увольняется с работы и едет с сынишкой на полгода в Крым — купаться в море и есть свежие фрукты. Где он взял столько денег, чтобы — на полгода? А у него и не было столько — было лишь на билеты «туда» и немного на первое время. Сняв в Крыму, на самом берегу моря, комнату, он устраивается грузчиком в магазин «Овощи-фрукты» с условием: работать с восьми утра до четырёх часов дня. Хорошая нагрузка на мышцы и на позвоночник, и в то же время — всегда со свежими фруктами и овощами. А море — бесплатно. В четыре часа дня он уже торопится к сыну, который в это время пристроен у надёжных людей. И теперь до самого позднего вечера они вместе… А в конце лета к ним присоединяется и жена, закончившая гастроли… Надо ли говорить, что и он сам, и его сын за эти полгода заметно окрепли и поправились? Отныне они будут ездить туда на всё лето ещё пять лет подряд…

А зимой? Естественно, такого работника на серьёзную работу сроком всего на полгода никто не возьмёт — и, вернувшись домой, он опять идёт в грузчики: грузчики всегда и везде нужны; грузчиком легко наняться и легко уволиться. Причём он выбирает такую работу, чтобы работать ночами, а днём быть свободным, или — работать сутками, чтобы несколько дней быть свободным.

Всё свободное время он решил посвятить сыну. Почему? Да потому что кто ж будет держать в детсаду ребёнка, которого по полгода не бывает дома? А если и возьмут, то всякий раз — новые анализы, справки, прививки. И, потом, дети в детсаду часто болеют. Так уж пусть он и зиму будет дома. Это — во-первых. А во-вторых, было решено, что у жены работа — серьёзней, так почему бы мужчине не побыть за няньку и домохозяйку? В третьих же, широкую известность в то время получают педагогические системы Спока, Сухомлинского, эксперименты семьи Никитиных… Чудик всё это старательно изучает, конспектирует, пробует сам. Принимает одно, отвергает другое. Регулярно читает журнал «Семья и школа». Следит за педагогическими дискуссиями в печати. Однако, изучая всё это, хочет воспитать ребёнка по-своему.

О гимнастических снарядах мы уже упоминали. Далее, отец водит сына в бассейн — не затем, чтобы сделать из него спортсмена, а только чтобы научить хорошо плавать. Он водит его на Столбы, чтобы тот научился лазать по скалам и преодолевать страх. Он ставит его на слаломные лыжи.

Ребёнок имеет массу игрушек, но среди них нет дорогих, ярких и моторизованных, все — простенькие, однако тщательно подобраны: рассчитаны на развитие сообразительности, воображения, трудолюбия: кубики для строительства, «конструкторы», армада всяческих «войск», с помощью которых ребёнок может устраивать огромные баталии, занимая ими целую комнату. А если хочется поиграть в «войнушку» с мальчишками во дворе — то никаких покупных мечей и автоматов: вырезают только сами, вместе с отцом, из деревяшек; да в руках у ребёнка любая палка может служить одновременно и мечом, и автоматом — иначе где место детскому воображению?

Кроме того, дома у ребёнка всегда под рукой карандаши, краски, бумага, пластилин. И ничего страшного, если он остаётся на два-три часа один, когда папе с мамой надо уйти по делам — пусть учится занимать себя сам: тишина и одиночество только способствуют этому. Поэтому в доме — ни радио, ни телевизора; зато есть проигрыватель с детскими пластинками, есть книги. Подбор книг — направленный: никаких книжек, сюсюкающих на темы о птичках, цветочках, зайчиках, — зато много сказок, книг на исторические темы, есть «Детская

энциклопедия». Ребёнок-дошкольник не поймёт? А родители на что? И они читают ему эти книжки и обсуждают их. Потом вместе с ребёнком начинают сами сочинять сказки и истории и ненавязчиво предлагают ребёнку нарисовать их в картинках. Когда ребёнок научился писать, то сам стал писать и рисовать сказки на листках; затем эти листки сшили вместе — получилась книжечка. Несколько таких книжечек остались на память; но больше делать не стали — чтоб не превратить ребёнка в маленького профессионала.

Известно: если дети видят перед собой пустую плоскость, у них просыпается какой-то первобытный инстинкт — непременно занять её рисунками. Когда им запрещают делать это дома, они рисуют на лестницах, на цоколях домов, на заборах… Здесь ребёнку позволяют рисовать дома, на стенах, что угодно и сколько угодно, и ребёнок с помощью цветных мелков вдохновенно заполняет рисунками все стены от пола до потолка… Но одновременно с этим папа водит сына на «взрослые» художественные выставки, в мастерские к художникам.

И однажды сыну надоело рисовать на стенах — он предпочёл рисовать на бумаге, причём удовольствие от рисования осталось. К семи годам он уже может очень похоже изобразить папу и маму… Однажды знакомая художница обратила серьёзное внимание на его рисунки, предложила взять один на городскую выставку детского рисунка и одновременно предложила отвести ребёнка в художественную школу. Малыш загордился от похвал. Тогда папа взял и порвал отобранный рисунок, а от школы наотрез отказался: «Учёной обезьянкой он у меня не будет! Когда подрастёт и сам захочет пойти — возражать не буду!»

Поскольку мама ребёнка — актриса тюза, ребёнок едва ли не с пелёнок вхож в театр. В пять лет он впервые вышел на сцену в спектакле «Добрый человек из Сычуани» — с крохотной ролью малыша, роющегося в отбросах. К семи годам он уже сыграл пять ролей; последняя — большая роль Мальчика в спектакле «Кошка, которая гуляла сама по себе». Когда этот Мальчик, с белокурыми волосами до плеч, в звериной шкуре, с маленьким луком за плечами, резвился на сцене вместе с мамой в роли Кошки, то срывал аплодисменты у публики и покорял её свободой и непосредственностью игры…

Один из восхищённых режиссёров задумывает спектакль «Маленький принц» с этим ребёнком в заглавной роли. Однако папа-чудик опять сказал: «Нет, хватит!» — и на этом вообще прекратил театральные занятия сына — ведь на свете ещё столько интересных занятий!.. Не занимайся ребёнком отец — интересно, смогла бы мама противостоять таким соблазнам?

Во всех этих «нет» было не одно только нежелание рано профессионализировать сына в одном каком-то занятии, делать из него «дрессированную обезьянку», но было ещё и беспокойство, что у него отнимут ребёнка, уведут из-под его контроля, не дадут довести систему его собственного воспитания до конца. Он и сам это подчёркивает: «Пока ребёнок мал, — говорит он, — я должен постоянно держать руку на его плече!»

Видимо, по этой же причине он не отдал ребёнка и в первый класс, а решил сам (вместе с женой) заниматься с ним, отчего нажил себе много неприятностей со стороны разных инстанций… Спорный, конечно, вопрос: можно ли учить дома? Учили же дома Лермонтова и Льва Толстого, и очень нестандартными выросли. А, с другой стороны, Пушкина учили чужие дяди — и опять тот же результат. Видимо, дело не в том, где учить, а в том — как, и в какой атмосфере?.. Из объяснений самого чудика:

— Привёл я сына первого сентября в школу. Сорок два ученика в классе — за парты не влезают. Такой галдёж, что ничего не слышно. Учительница грубая: взялась отчитывать меня за нестандартный вид сына: на нём был связанный мамой свитер, — причём чувствую: её раздражает и мой собственный внешний вид. Потом говорит приказным тоном: «Волосы ребёнку остричь!» — и прикладывает два пальца ко лбу сына: — Стрижка примерно вот такая — не длиннее!» — дело в том, что сын как раз играл в «Кошке…», и режиссёр попросил отрастить ему волосы до плеч… Я тогда говорю сыну: «Выйди, пожалуйста, из класса», — и когда он вышел, говорю учительнице: «Извините, но, во-первых, стрижка бывает у баранов, а то, что у людей на голове, называют причёской. Во-вторых, — говорю, — разве вам не известно, что внешность человека в присутствии человека обсуждать не принято, даже если человеку всего семь лет?»… А, в-третьих, я достаю из кармана и показываю ей статью замминистра просвещения в «Учительской газете», а в ней — чёрным по белому: причёска ученикам разрешается любая — только чтоб ученик был причёсан и опрятен. А она ни читать, ни слушать ничего не хочет — она уже распекает меня, как ефрейтор новобранца. Я тогда разворачиваюсь и ухожу, и решаю про себя: да за эти четыре часа в день я дам сыну куда больше, чем эта ефрейторша!..

Что ещё можно сказать о чудиковой системе воспитания?

Иногда он берёт сына с собой на работу и предлагает ему там помогать папе, делать что-нибудь нетрудное — чтобы тот видел, как отец работает и как зарабатываются деньги… Они с отцом часто бывают среди природы, ночуют у костра, в лесных избушках — чтобы сын, городской ребёнок, мог приобщиться к природе, не быть чуждым ей. И всё время сын рядом с отцом; он любит отца, полностью доверяет ему, отец для него — главный авторитет. Общение с ним для ребёнка — праздник.

Те, кто близко знаком с его системой воспитания (в их числе и я сам), частенько задают ему вопросы, и любопытствующие, и недоуменные, и среди них первым — вполне резонный вопрос: «А есть ли смысл тратить жизнь на воспитание одного-единственного ребёнка — не слишком ли это расточительно?» На это чудик — тоже вполне резонно — отвечает, загибая один за другим пальцы: «Во-первых, человек — это не кролик и не овца; воспитание его должно быть индивидуальным. Во-вторых, если я его не воспитаю — кто

его воспитает? Ведь я стараюсь нейтрализовать, с одной стороны, феминистское влияние на него, а с другой стороны — влияние улицы. В-третьих, я не собираюсь тратить на его воспитание всю жизнь — а только десять лет, пока ему не исполнится четырнадцать и он не закончит восьмой класс. Я должен дать ему хорошее здоровье, устойчивую психику и разные первичные навыки, а дальше пусть сам выбирает — я постараюсь сделать всё, чтобы к четырнадцати он стал совершенно самостоятельным. И, в-четвёртых, я вовсе не трачу жизнь на воспитание, не отбываю повинность при сыне — я просто общаюсь с ним, точно так же, как общаюсь с женой, с друзьями, получаю от этого удовольствие и стараюсь, чтобы общение было интересно обеим сторонам…»

Мы не знаем: что выйдет из сына нашего чудика, оправданы ли принципы его воспитательной деятельности и какие результаты они дадут в будущем? Мне, например, кажется, что они прекрасны. Во всяком случае, главный результат налицо: «жертва» такого воспитания — физически и эмоционально здоровый мальчик, активный, весёлый и счастливый. При этом успешно решается проблема «отцов и детей»: оказывается, проблема эта — всецело в руках «отцов», а не «детей»!

Но почему воспитательная деятельность нашего чудика вызывает столько возражений у школьных учителей и школьных администраторов, которые, чтобы справиться со строптивым родителем и непременно вернуть ребёнка в лоно школы, зовут на помощь райисполком и даже милицию? Ведь, наверное, вместо грозных предписаний и предупреждений можно разрешить как единичный случай такой эксперимент, какой затеял наш чудик? А потом, по прошествии учебного года, взять и проверить результат: знания, физическое и эмоциональное состояние его сына, — и проверка покажет, оправдан ли эксперимент. Но, по-моему, школа попросту боится такого эксперимента: ведь эксперимент может оказаться не в пользу школы?

Вот такой очерк был мною написан. Но самая драматическая часть этой истории: борьба Владимира со школой за душу своего сына, — как можно судить по приведённому тексту, описана мною в очерке невнятно — отчасти из-за ограниченного объёма жанра газетного очерка, а отчасти и из соображения, что цензура не пропустит неприятных подробностей. А подробности эти интересны и поныне — тем, во-первых, что характеризуют Владимира как упрямца, умевшего мужественно отстаивать свои принципы, и, во-вторых, — как изощрённо пыталась воздействовать «система» на такого упрямца. У меня сохранилась черновая запись устного рассказа Владимира: как это было на самом деле, — и именно драматическую часть того конфликта со школой мне бы хотелось рассказать здесь дополнительно, начиная с того момента, как он поспорил с учительницей:

— Тогда, может, мы пройдём к завучу? — спрашивает учительница, когда я отказался дискутировать с ней дальше.

— К завучу так к завучу, — пожимаю плечами. Пошли мы к завучу.

Женщина-завуч сидит в своём кабинете и что-то пишет.

— Здравствуйте, — приветствую её.

— Что у вас? — спрашивает, не отвечая на приветствие.

Начинаю объяснять.

— Я не вас спрашиваю! — обрывает она меня. — Что у вас? — спрашивает у учительницы.

— Вот, родитель возражает против стрижки своего сына.

— Ничего! — завуч делает жест рукой, будто муху на столе прихлопывает. — Вызовем пару раз на комиссию — остригут, как миленькие!

— Но ведь есть же разъяснение замминистра, — протягиваю ей газету.

— Вам объяснили? — кричит она на меня. — Больше объяснять не будем! Можете идти! Но чтоб ребёнок был подстрижен!..

— Больше я к вам сына не приведу, — говорю ей на прощанье. — Потому что я боюсь за своего сына!..

Стали учить его дома. Галя занималась с ним азбукой, грамматикой, чтением. Я — математикой, физвоспитанием… Прошло два месяца. На третий — прибегает девочка и говорит: «Вас на заседание педсовета вызывают». Я ей отвечаю: «У меня никаких дел со школой нет». Убегает, через час снова прибегает, уже с запиской от директора: в очень вежливой форме приглашает меня на педсовет. Сажусь и пишу ответ: «Я уже объяснил вашему завучу, что в школу я не приду, пока она, по крайней мере, не научится вежливо разговаривать со мной и с сыном». Девочка с запиской ушла. Жду, что будет дальше.

На следующий день приходит участковый милиционер, лейтенант. Здоровается, осведомляется по поводу моей личности и — сразу, строго:

— Почему сына в школу не отправляете? Знаете, чем это вам грозит?

— Я сейчас вам всё объясню, — говорю спокойно. — Раздевайтесь, проходите, — помог ему снять шинель, провёл в комнату, усадил. Как раз был готов чай — налил ему чаю, подвинул сахар, печенье. Милиционер повертел головой, осмотрел комнату. На улице как раз холодно было — так что он с удовольствием взялся за чай. А я рассказываю ему при этом подробно, как я приготовил сыну портфель, учебники, тетради, повёл в школу, и что из этого получилось: как разговаривал с учительницей, с завучем. Дал лейтенанту прочитать вырезку из газеты, упомянул, что сын играет в театре. Оказывается, лейтенант был на спектакле вместе со своим сыном; обоим спектакль понравился, и мой сын им очень понравился. Лейтенанту захотелось лицезреть, так сказать, артиста вблизи, — и сын мой был из другой комнаты вызван пред его очи. Были лейтенанту показаны и рабочие тетради сына, и альбом для рисования.

Причём я начал говорить ему о трудных детях, об уличном детском хулиганстве, о детской преступности, о страшных случаях с детьми в нашем микрорайоне. Гость мой со всем соглашается: он знает об этом куда больше меня, пеняет на школу,

на родителей, на себя: сам, дескать, мало занимаюсь сыном,—и хвалит меня!.. Одним словом, остался доволен, что познакомился с такими интересными людьми, и расстались мы весьма любезно…

Прошла после этого ещё неделя. Приходят ко мне домой директор школы с какими-то дамами из родительского комитета. Послушали мои объяснения, проверили тетрадки сына. Потом директор изъявил желание побеседовать с ним самим. Я разрешил, но только—при мне.

— Хочешь в школу?—спрашивает его.—Ведь все твои друзья ходят.

— А я с папой и с мамой занимаюсь,—говорит сын.

— Но разве тебе не интересно учиться с друзьями? Вместе в столовую ходить, песни петь, звёздочку носить?

— Зато я хожу на плаванье, на слалом, на акробатику…

Ещё о чём-то спросил сына, потом поворачивается ко мне:

— Ну, хорошо. Но на следующий год вы отдадите его в школу?

— Нет,—говорю.—Только через три года. У вас по сорок человек в классе; если бы даже учителя хотели хорошо учить—всё равно не смогут: индивидуальное обучение всегда лучше. В вашей школе, например, я своими глазами видел нецензурщину в уборной на стенах; школьники курят, дерутся, сквернословят. Как вы оградите моего сына от этого?

— Но учатся же у нас и хорошие ученики!—отвечает.—В конце концов, ваш сын всё это может перенять и на улице.

— Не может!—говорю ему.—Потому что он постоянно под моим присмотром и под моим влиянием, и я ему в любой момент смогу объяснить, что хорошо, а что плохо. Где и когда это сделать вашему учителю?

— Но ведь вы же не сможете всю жизнь держать его при себе?

— Сколько смогу, столько и постараюсь держать.

— Вам этого никто не позволит—вас просто затаскают!

— Пусть таскают. Буду сопротивляться, сколько могу…

В общем, ушли они, не солоно хлебавши. Жду, что будет дальше—какой следующий шаг они предпримут?

Следующий шаг—собрание в театре: раз не смогли со мной справиться—решили взяться за жену. Но я ей сказал: «Вали всё на меня: мол, в семье хозяин—муж, и ты не хочешь с ним ссориться»… Собрание состоялось, на нём был человек из райисполкома; в труппе про нашу историю уже знали, жену для видимости там слегка пожурили, но запретили занимать в спектаклях сына…

Однако видят, что всё это плохо помогает: я не сдаюсь,—делают следующий шаг: вызывают меня в райисполком, на комиссию по делам несовершеннолетних. Грозят, что если не приду, приведут с милицией. Прихожу, приношу тетради, альбомы сына, вырезку из газеты, снова рассказываю всю историю с самого начала—и даю им такую отповедь!.. «Чего вы ко мне прицепились?—говорю им.—Вам не состряпать из моего случая «дела», потому что дай Бог, чтоб ваши дети занимались столько, сколько занят мой сын! Чем терять время на меня, выйдите лучше на улицу, посмотрите, сколько там безнадзорных детей: курят, пьют, сквернословят, бездельничают,—займитесь лучше ими!.». Часа четыре они меня там мурыжили: пока это высказались все по кругу,—и по их выходит, что я-то и есть самый главный преступник против детства и что меня надо арестовать, посадить, лишить отцовства, стереть в муку и зажарить в масле…

Но и это ещё не последний шаг был. Наконец, вызывает меня районный прокурор. Я ему тоже всю эту историю рассказал с самого начала: про разговор с учительницей, с завучем, с директором и про то, как меня на «комиссию» вызывали, и газетную вырезку показал. А сам смотрю—у него на столе уже уголовная «ориентировка» на меня лежит. И говорит он мне замогильным голосом: «Ну, что нам ещё с тобой делать, а? Имей в виду: сам напрашиваешься». Тут-то до меня и дошло, что это последнее увещевание, дальше—каталажка. И я не выдержал: говорю ему покаянно, что вот теперь только всё окончательно осознал,—лишь попросил его по-человечески: дать возможность закончить с сыном дома хотя бы учебный год,—и дал слово честного беспартийного человека, что уж в следующем сентябре обязательно отведу его в школу…

Ну, а о том, что Бормота всё-таки сумел обмануть прокурора и ещё весь следующий учебный год, скитаясь, продержал сына при себе,—я уже рассказывал.

Меня не было в городе, когда он ушёл из жизни. Я смог прийти только на его девятины… О его кончине ходили разные слухи; друзья недоумевали: как мог покончить с собой этот необычайно жизнелюбивый, душевно и физически сильный человек?.. Чтобы разобраться в том, как это могло случиться, я разговаривал с несколькими людьми, хорошо его знавшими и видевшими его в последние дни, и мы установили следующее: его сын, уже взрослый молодой человек, в эти дни женился в Москве, Галина—на гастролях, и Владимир метался по городу, обращаясь к старым товарищам, прося взаймы денег на авиабилет до Москвы. Однако денег ему никто не дал. Ни один человек. Время, конечно, было тяжелейшее: кризис, что разразился в стране, в том году дошёл, можно сказать, до пиковой ситуации. И хотя богачей среди его товарищей не было—но не было среди них и нищих. А ведь у него по-прежнему было много товарищей и просто хороших знакомых: на те же девятины их пришло столько, что большая новая квартира была битком набита людьми, и мест за столами не хватало.

Один перед людской чёрствостью, обиженный на всех, отчаявшийся, он, видимо, и решился на свой самый последний в жизни решительный шаг…

И всё же я подозреваю, что то был лишь повод. Горький, мучительно острый—но всё же только повод. Причина, как мне кажется—глубже.

Он часто в своей жизни протестовал, иногда демонстративно, иногда сдержанно, даже осторожно, против многих проявлений той, прошлой советской жизни. И всё-таки, несмотря на свои демонстрации (главным образом, перед друзьями) и на своё оригинальничание и чудачества, он был сыном своего времени, т. е. советским человеком образца 60–70-х годов XX века — может быть, более ярким, чем другие, и всё-таки типичным.

Одним из литературных критиков того времени был даже термин такой пущен: «шестидесятники» — то есть те, чья молодость совпала с 60-ми годами. Но кто они такие, эти «шестидесятники»?

Их идеальный коллективный образ создала та же литература 60-х годов: это люди с широкой душой и открытым сердцем, люди читающие и думающие; это бессребреники и при этом материалисты, ценящие спорт и здоровый образ жизни, хорошо знающие, что «добро должно быть с кулаками», и презирающие всякий «быт» и накопительство; это насмешники и иронисты, по горло сытые навязшей в зубах мякиной идеологии, и в то же самое время — мечтатели и фантазёры, где-то глубоко в душе всё-таки верящие в братство людей, во всеобщее благо, готовые с энтузиазмом служить этим целям и воевать с любыми ветряными мельницами… Вот Бормота примерно и был таким «шестидесятником».

Но в начале 90-х на нас всех свалилась новая эпоха, и стиль жизни полностью сменился: ещё вчера простодушные и доверчивые, люди стали вдруг суетливы, хитры, подозрительны, озабочены заработками и пресловутой «коммерческой тайной»; вместо открытых настежь фанерных дверей в квартирах появились стальные двери с глазками и хитроумными замками, а за дверьми — злые собаки; начали править бал воровство, жульничество, цинизм, ненависть, злоба, примитивное накопительство — «на квартиру», «на машину», «на евроремонт», «на коттедж», на Тайланд с Антальей… Давно знакомые между собой люди перестали пускать друг друга в гости, встречать вместе праздники, делиться радостями и заботами. Все стали озабочены «карьерой» — кто чиновничьей, кто торгашеской, кто бандитской… При этом странный парадокс приключился с людьми: чем больше люди хлопочут о собственном благополучии — тем крепче вера в потусторонние силы и мистические тайны; чем больше воровства, подлости, злобы и торгашеского духа — тем гуще толпы в церкви; как признавался мне один знакомый священник, в церковь нынче идут люди, в большинстве своём духовно чёрствые, и идут, главным образом, не для молитвы, исповедания и очищения собственных душ — а, большей частью, клянчить у Бога новых благ и в то же время откупаться от Бога свечкой и десяткой, брошенной в церковную кассу…

Владимир был знаком с очень широким кругом людей и видел, как быстро на его глазах они меняются. Сам он не умел ни притворяться, ни бежать вслед за толпой, ни меняться вместе со всеми — он слишком ценил свою индивидуальность, свою рассудительность и свою честность; когда он поступал на очередную работу — то сразу предупреждал: «Не пью, не курю и не ворую», — и гордился этим… И вдруг никому не стали нужны ни честность, ни яркая индивидуальность, ни рассудительность: мир, в котором он привык жить и в котором что-то значил, разбился вдребезги — мир стал абсурдным. И он не смог перенести этого.

Французский писатель и философ Альбер Камю, подробно исследовавший в своём эссе «Миф о Сизифе» природу суицида с разных точек зрения, приходит к категорическому выводу: причины суицидов — отнюдь не социальные: бедность, нищета, потери, бытовые или любовные драмы, — всё это человеческая душа способна вынести — она рассчитана на это; он утверждает, что причина суицидов — только мировоззренческая: когда все жизненные скрепы вокруг человека рвутся на куски, мир становится в его глазах абсурдным, и человек, не в состоянии вынести этого абсурда, делает последнее протестное усилие: уходит из жизни.

Я подозреваю, что если бы Владимир владел даром письменного слова, то непременно написал бы нечто, подобное предсмертной записи В. П. Астафьева: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье».

Наталия Слюсарева

Мой отец — генерал

Глава I

Как мама встретилась с отцом на горе Сплошная радость

Весенним дождливым днём 1944 года маму вызвал к себе начальник 435-го батальона полковник Кононенко и приказал срочно отвезти почту и прочий агитационный материал на точку генерала Слюсарева. Вольнонаёмной Куриловой Тамаре, проходившей службу по экспедиторской части, в ту весну шёл двадцать первый год.

Точка генерала Слюсарева или Командный Передовой Пункт — КПП закрепился на Керченском перешейке. Почту обычно переправляли на понтоне через пролив. В тот день на КПП как раз возвращался самолёт из его корпуса. Девушку снабдили стенгазетами, почтой, в придачу, для керченцев, погрузили в самолёт ещё и несколько мешков картошки.

Молодой лётчик, схлопотавший накануне за что-то свежий нагоняй, остро переживал обиду. «Вот! — объявил внезапно он пассажирке. — Я тебе покажу, какой я лётчик!» — и тотчас бросил самолёт в мёртвую петлю. Вчерашней школьнице, только и умевшей, что мечтать о любви на облупленной скамейке тихого городка Старый Крым, восторги полётов оказались неведомы. Её тошнило. Во весь этот «небесный ужас», перекатываясь с мешками картошки, мама убеждала дурака-лётчика, что он — самый лучший. «Ещё бы, конечно», — соглашался тот, заходя на новую «бочку».

Пошатываясь после болтанки, отряхивая с себя капли дождя, девушка направилась к землянке заместителя командующего 4-й Воздушной Армии. Над КПП уже шёл проливной дождь. В дни стремительного наступления наших войск точка яростно обстреливалась как с земли, так и с воздуха. Пули, осколки зенитных снарядов сыпались со всех сторон. «Не гора, а сплошная радость», — обмолвился как-то по поводу этого фейерверка Слюсарев. Так за его высотой и осталось название — гора Сплошная радость.

В землянке её встретил адъютант, окинул взглядом и со словами «сейчас доложу», взялся за телефонную трубку.

— Товарищ генерал, к Вам вольнонаёмная Курилова с передачей от полковника Кононенко. — Отец, а это было именно он, в ответ, вероятно, осведомился: «Ну, как она?» — на что адъютант ещё раз обвёл девушку глазами и громко произнёс: «Мечта»!

Перебирая мамины фотографии военных лет, любуясь её красотой, я ловлю себя на мысли о том, что она легко могла бы стать звездой всех мыслимых экранов, если бы захотела. Ещё неизвестно, думаю я, как сложились бы судьбы признанных кинодив той поры — Любочки Орловой, Валентины Серовой, если бы мама решилась шагнуть на сцены театров и экраны кино. Да что там Орлова! Сама легендарная «девушка моей мечты», Марика Рокк, вместе с «сестрой его дворецкого», Диной Дурбин, настороженно вглядываются в её лицо. А вдруг «такая» выступит под свет юпитеров? Откровенная красавица с распахнутыми синими глазами, вся как бы откинувшись в повороте венского вальса. «Компот-шоколад», — шептал таявший отец, стоило ему только её увидеть.

Пересказывая историю их первой встречи, мама обычно делает паузу и уточняет, что в то утро на ней была кофточка из самого настоящего парашютного шёлка и только что пошитая юбка из ярко-синего не нашего габардина — привет от Вани Магара. Этот добрый Ваня был её первым мужчиной. Объявившись в Старом Крыму вместе с полком и стремительно начавшейся войной, он за две недели успел без памяти влюбиться в маму, сделать ей предложение, а главное — переправить в Грозный к своим родителям, что оказалось очень своевременным, так как немцы уже вступали в Старый Крым. Ваня мечтал подарить Томочке рояль — у его родителей дома была настоящая швейная машинка «Зингер» — но так вышло, что с фронта он отправил только посылку, в которой и обнаружился отрез чудесной ткани — подарок для любимой.

Невесте недолго пришлось дожидаться своего суженого. Однажды ночью за занавеской, куда её определили спать, внезапно выросла длинная тощая фигура в белых кальсонах, точь-в-точь жуткий мертвец со всклоченными волосами из «Страшной мести» Гоголя. «Восставший» свёкор так перепугал молоденькую девушку, что та, в чём была, выскочила в окошко низенькой хатки. Промаявшись ночь на дворе, на рассвете собрала нехитрые пожитки, включая габардин, да так и сбежала из судьбы Вани Магара.

— Мечта! — подтвердил адъютант. И тут, вероятно, отец, который всегда следил за собой и, более того, любил пофрантить и которого однажды сам Жуков чуть было не расстрелял за то, что тот попался ему на глаза, подпоясанный не форменным кожаным ремнём, а особым грузинским ремешком, ответив «пусть подождёт», начал бриться.

— Надо подождать, — ласково повторил адъютант. — Садитесь…

Хорошо, что у меня сохранился несессер отца. Из стольких вещей, «которые нам не нужны», этот

набор для бритья смог вместить и удержать в себе блестящий дух тех бесстрашных парней.

Несессер — фатоватого, play-бойского стиля. Светло-жёлтая тиснёная кожа, мягкая, никогда не заедающая молния. Made in Shanghai. Внутри — вельветовый чехол того же тона с широкими петлями, в которые вставляются гранёные стеклянные колбы с серебряными завинчивающимися крышками, подлиннее и покороче, для кремов, одеколонов с тонким, изысканным запахом особых мужчин, мужчин Стендаля и Висконти, которых у нас никогда и не бывало, каким не был и мой отец.

Мама, пригнувшись, вошла в землянку и увидела поднимающегося из-за стола генерала Слюсарева и одновременно бросившегося на неё из угла огромного дога.

— Тубо! — громко отозвал отец собаку.

— О, Боже! — обомлела красивая мама-мечта.— О, Боже, он даже, кажется, знает иностранный язык…

К тому времени, когда вольнонаёмная Курилова объявилась в жизни отца, тридцатисемилетний генерал Слюсарев был женат. Его семья — жена Ольга и два сына, постарше Боря, лет восьми, и двухлетний Толя оставались в городе Горьком. С радостным приближением конца войны близился и день, когда семья должна была воссоединиться. Отец мрачнел. Другая, синеглазая, оказавшись по жизни рядом, глубоко вошла в него. Она была у него в крови, как выразились бы испанцы. Совершенно неожиданно от Ольги пришла телеграмма, что та выезжает к мужу на фронт — то ли почувствовала что-то неладное, то ли сильно соскучилась.

Мама ходила уже беременная и довольно большим сроком. Отец совсем запаниковал и срочно нашёл врача, чтобы освободиться от ребёнка. «А это был крупный мальчик»,— рыдала мама, и потом во всю последующую жизнь во время скандалов это горько кричалось главным доказательством того, какой он всегда был ужасный негодяй. За несколько часов до встречи с супругой отец погрузил фронтовую подругу в самолёт и отправил в родную часть, откуда год назад оприходовал вместе с почтовой посылкой. Прощаясь, заплаканная красавица читала стихи: «Возьми меня с собой! Я мальчиком переоденусь…» и что-то там… «я на войну пойду служить с тобой…». Всё напрасно. Легионер молчал. Развод для гвардии генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза, заместителя командующего 4-й Воздушной Армией, члена КПСС со стажем, представлялся тогда совершенно немыслимым.

На освобождённой территории притихшего Крыма Курилову Тамару ожидало большое горе. Её мать и отца, остававшихся в оккупации в Старом Крыму, расстреляли немцы за связь с партизанами. Горюя о своих, она всегда мысленно укоряла свою маму, мою бабушку Таню за то, что та со своим не в меру деятельным характером втянула мужа собирать оружие в помощь партизанам. К концу войны это было просто глупо, так как оружия в нашей армии имелось достаточно. Таня — активистка и комсомолка — слыла заводилой, а её муж Петро, или Петечка, тихий и разумный, всегда молча следовал тому, что затевала жена.

Выдал их, как установили впоследствии, некий румын, с этой целью нарочно втёршийся в доверие к наивным крымчанам и сдавший всю группу. Через месяц к соседям постучал немецкий солдат и со словами «красивой фрау больше нет» передал платье, которое было на бабушке в день ареста. Уже после освобождения Симферополя на стене тюремной камеры обнаружили их, гвоздём процарапанные, фамилии. Жили они в Старом Крыму на улице Греческой, 19. В комнате стоял квадратный стол, накрытый белой скатертью, а на нём будильник — самая дорогая вещь в семье.

Мои бабушка и дедушка. Будь они живы, я бы обязательно спросила у них, почему они наградили детей столь разнокалиберными именами. Назвав старшую дочь в честь грузинской царицы Тамары, а следующего за ней сына — Лориком. Понятно, что это — Ленин Организатор Рабочих И Крестьян. Дядя Лорик, войдя в сознательный возраст — пятнадцать лет, тотчас переименовал себя в Юру и даже получил паспорт на Юрия Петровича.

Тамара, уезжая с Ваней Магаром накануне вступления немцев в Старый Крым, уговаривала родителей ехать с ними, но они наотрез отказались. «Ни за что из дома не поедем».

Крым — родные места. На склонах Агармыша, в сосновом лесу,— самый известный лёгочный санаторий. Ещё до войны в Топлах, неподалёку от Старого Крыма, размещалась опытная мичуринская станция по выращиванию фруктов на кремлёвские столы. Дело даже не в том, что дедушка Мичурин оставил особый рецепт. Топловка — место открытой, явленной благодати. Целительный воздух, замешанный на полынном и морском ветре. Вода святая. На одном из целебных источников — женский монастырь в честь Параскевы Пятницы, основанный ещё при Александре III. После революции на этом месте — артель «Безбожник».

Правительственные яблоки и груши вызревали отменные, но, кроме необыкновенной величины и вкусноты, в них присутствовала ещё одна особенность: на их румяных, загоревших боках красовались — здравицы вождю, символы «серп и молот», а то и карта полуострова Крым. Летом 1941 года мирные трафареты сменили на соответствующие историческому моменту. Маминому брату Лорику было лет тринадцать, когда он раскладывал по ящикам яблоки с белеющими от гнева призывами: «Смерть фашистам!», «Долой оккупантов!», «За Родину!», «За Сталина»!

Прошло около двух месяцев, как одним ясным утром на аэродроме Старого Крыма лихо приземлился самолёт, из которого вышел папин главный ординарец — статный, щеголеватый красавец с волнистым чубом, родом из-под Полтавы,— Яша Куцевалов. Бесконечно любимый мною дядя Яша, безропотно подставлявший свой чуб под мои липкие ручки и, вслед за плюшевым медведем, перечёсанный одновременно во все стороны всеми гребёнками и расчёсками.

— Тамара Петровна, собирайтесь, я — за вами. — Он всегда обращался к маме по имени отчеству. — Слюсарев приказал доставить вас к нему.

У мамы страшно забилось сердце. Забыв все свои обиды, она побежала к себе в казарму собирать вещички. Но тут заартачился полковник Кононенко. «Не отдам, ни в какую. Вот такие генералы, как там у вас, тешатся глупенькими молоденькими девушками, а потом бросают их, ломают жизнь. Не отпускаю. Не разрешаю, и всё. Она пока ещё в моём подчинении. Пошли все ваши генералы к такой-то матери!».

В окружении притихших подружек мама забилась на топчан, где с ужасом ждала решения своей судьбы. Из окошка было видно, как дядя Яша упорно ходил за полковником по двору части и что-то ему наговаривал. Потом они скрылись. Прошла, казалось, вечность, прежде чем в казарму вошёл ординарец отца.

— Ну, Тамара Петровна, — сказал он, оттирая пот из-под фуражки. — Мы с полковником семь раз у дуба облегчились, прежде чем он разрешил вас отпустить. Собирайтесь! Летим!

Дядя Яша знал, что приказ отца не может быть не выполнен. Полковник также знал, что ни за что не отдаст вольнонаёмную Курилову какому-то там старому хрену-генералу. Я думаю, что решил всё дуб. Ему просто надоело, что вокруг него кружат двое молодцов, орошая. Он взял сторону ординарца Якова Куцевалова и, как-то друидически воздействовав на товарища Кононенко, рассеял решимость последнего. Полковник сдался.

Подружки переживали мамино счастье, как своё. Одна из девчушек со словами: «Вот, Томочка, возьми», — протянула ей свою единственную пару беленьких носочков. Этот драгоценный подарок мама запомнила на всю жизнь. Отдать последнее сокровище.

Так мама снова вернулась к генералу Слюсареву. Грозы разводных выговоров прошумели как-то сами собой. Больше они друг с другом не расставались до 11 декабря 1981 года, когда отец скоропостижно умер, упав вдруг в коридоре. Было ему семьдесят пять лет.

Глава 11

Выплывший архив

…«Всё выше и выше и выше стремим мы полёт наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». — Я рьяно протираю тарелки. Вечером соберутся друзья, большей частью всё артистический народ. Всё-таки, кто автор славной мелодии? Где-то читала, что авиационный марш военно-воздушных сил РККА, написанный в 20-е годы, использовали немцы для своих люфтваффе. Что ж, молодцы, немцы. Знакомый с детства марш сопровождает мои хлопоты по дому.… «Так, не забыть ещё на рынке прикупить зелень — кинзу, цицмату, тархун».

Незаметно текут вечерние минуты, свиваясь в часы.

— Твой отец, кажется, был военным? — Неожиданный вопрос оглушает меня. С чего это вдруг?

1939

Армия нынче не в чести. О ней не говорят, а если… то только с иронией. Чтобы проскочить тему, я небрежно бросаю: «Да, так… он воевал. А вы смотрели последний фильм Тарантино?»

Разговор скатывается в привычное русло киноновинок.

Проводив гостей, я подхожу к портрету отца. Мне перед ним неловко, как будто я его предала. Боже мой, мой отец. Да, если бы они только знали! Мой отец — лётчик. Генерал. Гвардии генерал-лейтенант авиации. Сталинский сокол, чёрт побери! В 1939 году, когда он входил в холл гостиницы «Москва», швейцар, вытягиваясь в струнку, громко объявлял на весь вестибюль: «Внимание! Герой Советского Союза!»…

На сердце — грусть. Да, отец стал забываться. Уж очень быстро покатилась жизнь. Я училась, влюблялась, расставалась, сбегала из Москвы в тогда ещё глухую деревню Коктебель — и всё сама, и всё одна. Отец все эти годы лежал на антресоли в семейных потемневших фотоальбомах, исписанных тетрадях, пожелтевших отпечатанных листках неоконченных воспоминаний. О чём в них? Я никогда не интересовалась. Вспоминаю, что при жизни, разместившись удобно за письменным столом со своими листочками, — для вдохновения он «заряжался», как и его любимая летательная техника, горючим — мне казалось, Сидор Васильевич не шёл дальше начальной главы. Главы — о том, как «он родился мальчиком» в Грузии, вернее, «его родили мальчиком», почти как «витязя в тигровой шкуре» (отец родился в рубашке) к многоголосой мужской радости всего Тифлиса. Самое важное для себя воспоминание он торжественно переписывал по много раз. Не однажды я заставала его в романтически-приподнятом настроении.

— Ай! Сагол!, — произносил он своё «любимое», довольный, приподнимаясь от стола. — Ай, сагол!…

И вот, этой зимой нас залили соседи с верхнего этажа. «Эй, вы, там, наверху!» И не просто так, а кипятком. Антресоль, наполнившись водой, так основательно просела, что её пришлось срочно вычищать.

Из глубины сырого тоннеля с первой волной тёплой воды выплыл намокший по краям большой парадный портрет отца. Ну, вылитый новгородский гость Садко — с любимой в синих волнах-завитушках коробки шоколадных конфет.

Вслед за портретом выскочила на свет сложенная пополам плотная китайская грамота на парчовой ткани. На бледно-голубом фоне, краплёном золотыми мушками, по краям оторочено вышивкой — чёрные матовые иероглифы. На обороте — перевод с китайского: благодарность генерал-лейтенанту авиации Слюсареву за организацию противовоздушной обороны города Шанхая в 1950 году, подписанная председателем Мао. В конце — размашистая, даже лихая подпись Мао Цзэ Дуна голубой тушью и, разумеется, по вертикали. Чудно.

Фотоархив нашей семьи. Старый, продавленный чемодан доверху набит чёрно-белыми фото. Мамино любимое занятие — надписывать карточки. С одной, уже выцветшей, глядят двое — он и она, наверное, самых влюблённых и самых счастливых. «Серёжа, ты помнишь, как это было? Вена. Австрия. 1945 г.». На крошечной фотографии — у обочины дороги группа военных живописно облепила столько всего повидавший на своём веку газик с брезентовым верхом, который больше никуда не спешит. Снято в те же майские, первые, послевоенные часы и дни. Парни в гимнастёрках, пилотках, сапогах, кудрявый — с аккордеоном. В центре — мама, непостижимо молодая. Подвитые локоны до плеч, вместо чёлки — валик волной назад по моде тех лет. На ней — лёгкое платьице, подчёркивающее всю её женственную фигурку. Понятно, что мужчины затянули её в самую серёдку, чтобы быть к ней ближе, ещё ближе, ещё. На другом снимке мама в шинели и кубанке смотрит в некую невообразимую даль вместе со своим Серёжей — за озеро Байкал, за Порт-Артур, в сторону Великой Китайской стены. А вот, наконец, и сама площадь «Тяньаньмэнь». «Пекин и всё какие-то храмы», — аккуратно выводит мама на оборотной стороне карточки.

На этой фотографии папа обнимает маму.

А здесь он смотрит на неё чуть сверху светлым уверенным взглядом, положив руку ей на то место, куда обычно вешают ордена.

Я обнимаю игрушечного мишку.

Папа обнимает дочку Лену. Лена обнимает папу.

Мы на веранде нашего дома в Аньдуне. Лена держит в руках горшок с цветком. У меня на коленях — клетка с перепёлкой.

Я опять обнимаю любимого мишку, который в самое ближайшее время окончательно размокнет и развалится на части от моих частых уколов ему в попу, чтоб не болел.

Я крепко обнимаю папу. У него на коленях, чуть отпрянув, чтобы удобнее было смотреть, я по-гайдаровски ясно гляжу папе в глаза. Папа, ты помнишь, как это было?

Китай, 1953 г. На террасе и во дворе обитает маленькая живность, собранная для нас тобой на манер зоопарка. В заднем углу двора — кроличий загон, куда после завтрака я тороплюсь, чтобы отшлёпать непослушных кроликов. Странно, но кроликов с каждым днём становится всё меньше. Повадился хорёк. Лаконичное объяснение взрослых меня не устраивает. Так и вижу своё недоумение и чуточное раздумье на тему: заплакать или… а ну их, этих кроликов. Зато в глиняном, глубоком чане ходят восьмёрками две большие змеи. Хлопочет над крошками хлеба и пшеном перепёлка. В тесной клетке со страшным сердцебиением, слышным, кажется, на весь дом, сидит заяц. Зайцу нехорошо. Это ясно. И, несмотря на то, что зайчата — любимые персонажи, у зайца долго не задерживаюсь. Неприятно, что ему плохо, когда всем так хорошо. Филин с поворачивающейся головой, кажется, немного угрожает. Ну, его, тоже, пойду лучше в папин кабинет.

О, какой кабинет! О! Сколько здесь разных удивительных вещей! А как бьют в глаза алые круглые коробочки, расписанные золотыми сверкающими жуками, на резном столике. Если постараться и сильно вцепиться в крышечку, то, отодрав её, в глубине красного картонного стакана обнаружатся белые-пребелые, короткие карандаши. Но я-то знаю, что это совсем не карандаши, а папиросы. Их с сестрой мы уже раскуривали в Чите, значит, когда нам было по четыре года. После чего случился большой чёрный пожар с дымом и гарью, сгоревшими в нём маминой шубой

и платьями. Нет, не буду, пожалуй, сегодня курить, а только понюхаю. Всё-таки, какой необыкновенный у них запах. Как они пахнут, совсем как отец. А это что за густая, тёмная жидкость в узкой бутылке? Фу, какая гадость. Весь рот горит. Может, и это — нельзя? Нет, лучше поскорее выбираться из папиного кабинета. А вдруг он скоро вернётся?..

Хотя отец никогда не возвращался, не приходил домой в обычном понимании, и, конечно, не носил пижаму. Отец в пижаме? Ну, это просто до слёз. Да, он весь в патронах, крест на крест, и кинжал сбоку. Над нашим диваном — косым андреевским крестом дугообразная сабля с гравировкой по стальному клинку с узкой сияющей шашкой. В шкафу — пара тёмных старинных охотничьих ружей, работы каких-то иноземных братьев. Третье ружьё — совсем простое на вид. Но когда я в пятом классе выбралась с ним на наш балкон, навела на противоположные крыши и долго целилась, не припомню в кого и зачем, то, надо признать, очень скоро, в тот же день, к нам в квартиру пришли какие-то дяди и забрали ружьё с собой. Ничего, оставался ещё дамасский кинжал сплошь в арабской курчавой вязи. Наган или нечто пистолетное мама давно уже выбросила в узкий подмосковный ручей, так как папа был достаточно ревнив. Охотничьи ружья с частыми серебряными насечками он раздарил сам, всей широтой русской крови впитав старинный грузинский обычай — снимать со стены первую вещь, глянувшуюся дорогому гостю.

Отец никогда не возвращался с работы, он вообще ниоткуда не приходил. Он настигал нас всех сразу неожиданно и точно, как широкая сизая туча, накрывающая светлый городок, за крепостной стеной которого все вышивают на пяльцах.

Я просыпаюсь ночью оттого, что у щеки возится что-то маленькое, пушистое, лижущее. Это — какой-то замечательный щенок. Теперь он — мой. Его принёс папа. Он будет жить с нами всегда. (На самом деле, недолго: он сдохнет от чумки, потому что никто не смотрит за щенками). «Пушок, ищи Наташу!» — вся его работа. Я прячусь в гардероб. Пушка выпускают из рук, и он, тряся ушами и буксуя на поворотах, мчится по нашей квартире, довольно быстро, надо отдать должное, делая стойку перед гардеробом. Щенок громко лает. Он — молодец! Он нашёл.

Наташа — тоже молодец. Кто поужинает с папой в два часа ночи? Кто разделит с ним компанию? Конечно, любимая доченька Наташенька, такая же толстенькая, как и щенок, из-за поздних ужинов. Но разве мы будем есть котлеты? Смешно. Мы станем вкушать «шары жизни»; дегустировать бефстроганов по-шанхайски, насаживая на вилку скользких рогатых трепангов в окружении бархатных бабочек — чёрных грибов, мешок с которыми уже не первый год честно несёт караульную службу в нашем стенном шкафу, и много-много зелени. На балконе взошла цицмата. Грузинской травке никогда не удаётся подняться в полный рост. Её, едва проклюнувшуюся, отец щедро забрасывает в кипящую сковородку.

Если он прилетит с юга, так же вдруг, нас обовьют гирлянды сушёных персиков, урюка, хурмы, инжира. Липкие колбаски чурчхеллы из виноградной муки с орехами перемусолят нам с сестрой руки.

В последние годы, отбывая срок в военном госпитале Бурденко на обследованиях, он никогда не ел яблоки на третье, собирая их для своей любимой внучки Аннушки. То были гостинцы, которые он разбрасывал вокруг себя, как щедрый клён разбрасывает свои красивые, резные листья. С той разницей, что клён делает это только осенью, а папа — всегда.

При попытке составить его портрет на память приходят две исторические личности — Бенвенуто Челлини и Василий Иванович Чапаев, в исполнении замечательного актёра Бориса Бабочкина, на которого отец был удивительно похож. От гениального скульптора и ювелира — его неистовый темперамент. Так и вижу, как Слюсарев, закутавшись в широкий плащ, «усы плащом закрыв, а брови шляпой» — О, жалкий Дон Жуан! О, мой великолепный отец! — стремительно выскакивает из-за угла на «пьяцца эрба» — «зеленную площадь» уснувшего городка. Спасаясь от преследователей (а может это — Бенвенуто в короткой кожанке отца?), он исчезает в западных воротах с тем, чтобы через пять минут выскочить с восточной стороны для новой потасовки.

От комдива гражданской — весь его молодцеватый облик, бесстрашный взгляд, особая выправка, геройские усы, словом весь киношный, лубочный и всё-таки взаправдашний дух атаки.

В опубликованных китайских воспоминаниях 1938 года один из авторов, полковник медицинской службы Белолипецкий, запомнил его как «требовательного, немногословного командира эскадрильи».

Ну, уж нет! Отец был великий импровизатор. Его яркая, насыщенная образами речь лилась, как водопад. И если он хотел его сравнить, то более всего отец походил на леопарда. У него не было ни одного вялого или лишнего движения. И даже когда он отдыхал и казался расслабленным, всё равно его тело было отлито в безупречную форму золотых фараонов. Долгое время у нас дома висела картина — вышитый шёлком огромный тигр — подарок Чан Кай Ши. Я думаю, то был портрет отца. Когда отец умер, тигр ушёл из дома. Для всех картина запропастилась, была передарена или продана. Но я знаю точно — он ушёл сам.

Существовал ещё один сказочный персонаж, с которым отца роднила обстановка его детства, проведённого на тифлисском базаре, вокзале, в беспризорной компании, — «Багдадский вор». Жизнерадостный «багдадский вор», не теряющийся ни при каких обстоятельствах. Под градом голода, страха, нужды, в освоении ремесла выживания, отрабатывалась та неповторимая реакция, которая позволила отцу пройти живым и невредимым через шесть войн, счастливо и долго летать, высоко поднимая в наше и не наше небо свои родные «чижи», «ласточки» и «катюши».

Глава III

Одиссей

Все её немного побаивались — старую профессорессу, читавшую курс греческой литературы у нас в университете. Всегда в одном и том же чёрном муаровом платье, не считая белой камеи — вечный траур по мужу, столь же великому знатоку всего древнегреческого — она спокойно могла выкинуть в окно зачётку, если ей не нравился ответ студента. Угодить ей было трудно. Её любимцем был Одиссей. Закатывая глаза, она перебирала на греческом понятия: честь, доблесть, идеи… «Эйдос», «эйдос»,— ворковала она, всё отпущенное время на чтение лекции, пребывая на одной палубе с небритым мореходом. Часто, будто ветром одиссеевых странствий её относило к самому краю подиума, и тогда аудитория со страхом взирала, как она балансировала над бездной. В ней совсем не было веса. А по рассказам старшекурсников, однажды она так и полетела с эстрады вниз, снесённая особо сильным порывом.

На «греческих лекциях» мне всегда было по-особому уютно. Пожалуй, я одна разделяла с преподавательницей её личностные чувства. Со скользкого трапа Одиссеем ко мне всегда спускался отец. Им обоим, проваливаясь в прибрежный песок, надо было первыми тащить вёсла на трирему, вручную вкатывать бочки на палубу, торопить других, готовясь к походу. «Ну, наконец-то, отходим!» А потом мотаться между островами, в сущности, маленькими — Самос, Эвбея, Корфу. И, кажется, долгое время он, Одиссей, особо не расстраивался, что не попадал домой.

Сердце — улей, полный сотами,
Золотыми, несравненными.
Я борюсь с водоворотами
И клокочущими пенами.

Я трирему с грудью острою
В буре бешеной измучаю,
Но домчусь к родному острову
С грозовою сизой тучею.

Я войду в дома просторные,
Сердце встречами обрадую
И забуду годы чёрные,
Проведённые с Палладою.

Так. Но кто, подобный коршуну,
Над моей душою носится,
Словно манит к року горшему,
С новой кручи в бездну броситься?

В корабле раскрылись трещины,
Море взрыто ураганами,
Берега, что мне обещаны,
Исчезают за туманами.

И шепчу я, робко слушая
Вой над водною пустынею:
«Нет, союза не нарушу я
С необорною богинею».

Отношения моего отца с богиней победы складывались намного проще. Отец никогда не бегал к другим музам, разве что к Терпсихорам и то — в краткие часы привалов. Но Афина, однажды щедро раскинув над ним свою плащ-палатку, уже не отступалась от своего кавалера, а может, просто забыла, где кинула плащ. Примером её глупого служения можно посчитать историю поступления отца в лётную школу в Ленинграде в 1928 году, о наборе в которую он прочитал с листка на тифлисском заборе. Тотчас загоревшись, он немедленно приступил к осуществлению своей идеи. Как взял путёвку от завода, а может, просто сбежал из цеха и на попутных товарниках добрался до Ленинграда, неизвестно.

Уже шли экзамены. На ниве образования у отца было не густо — два года церковно-приходской школы, правда, с азами «греческого» и богословия, да у своего лучшего дружка из семьи инженера за помощь в саду он перечитал всю приключенческую литературу. Но чтобы стать лётчиком страны Советов, требовались иные знания. При поступлении необходимо было сдавать алгебру, геометрию, писать сочинение. На экзамене по русскому, из предложенных тем, он выбрал свободную, поведав о том, как Владимир Ильич Ленин в страшную грозу, бурю и дождь, кажется в автомобиле, пробирался глухой ночью на очередной съезд партии. Этой работой экзаменационная комиссия была поставлена в непростые условия. О грамотности речь, вообще, не шла — единица в десятой степени. Но тема! Мощь воображения. Подача. Кажется, ему вывели три балла. На математику вместо себя он отправил знакомого гимназиста, с которым сговорился накануне по паре бутылок вина за предмет. Не знаю результатов тех экзаменов, но в списках принятых его фамилии не было. В первый день занятий Слюсарев прошёл в класс, сел за последнюю парту и вслед за остальными начал записывать лекции. Идти ему было некуда. Отодрать его от той парты было никому не по силам. Через месяц его зачислили курсантом.

Нет, дело было не так. Я уточнила у мамы. Просто в лётной школе объявили недобор и его взяли. Но для начала, после провала, он всё равно никуда не поехал.

С везением выпадали случаи и посерьёзнее. 1937–38 годы, очередная чистка рядов Красной Армии. Где Слюсарев? Далеко, за тысячи километров, в Монголии, валяется при смерти в малярии в грязной кибитке. В очередной раз, выходя из бреда, видит, как тёмная старуха, разламывая на куски чёрную вонючую плиту, поит его тяжёлым чаем, замешанным на бараньем жиру. «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря». Фортуна его, что никогда не было его на месте. Не гоняться же за ним, в самом деле, на самолётах? Уже перед самой войной, когда он в должности зам. командующего служил в Киевском округе, подъехали из НКВД. Командующего арестовали. Спрашивают ласково: «А где Слюсарев?» — «На охоте». Подождали день-другой и съехали. Другой кто-нибудь ещё попадётся не такой

везучий. Как отец потом признавался маме, он от страха потом ещё трое суток заикался. Но, тут уж пусть бросит в него камень, кто сам — храбрый.

Под конец войны, буквально в первых числах мая 1945 года, по одной из фронтовых дорог Германии, по направлению к только что захваченному аэродрому, набирают скорость два автомобиля. В переднем — отец, за ним — его лучший друг ещё по Китаю Алексей Благовещенский. Внезапно отец остановился у обочины и вышел. Подал знак, мол, обгоняй, всё нормально. Через сто метров обошедшая его «эмка» подорвалась на мине. Дружка буквально по частям собрали на шинель и самолётом отправили в Москву. Чудом остался жив. День Победы Алексей, контуженный, в бинтах встречал в больничной палате. Но какая сила заставила отца притормозить?

В 1929 году Ленинградская военная теоретическая школа была окончена, и отца перевели инструктором по лётному делу в военную школу лётчиков им. Мясникова, так называемую Качинскую школу. Школа располагалась в восемнадцати километрах от Севастополя в долине реки Качи, близ деревни Мамашай. За год до этого на Каче впервые появился парашют. К парашюту курсанты отнеслись вначале «не очень», скептически. Думаю, что среди них был и отец. Нередко он признавался, что ничего страшнее, чем прыжок с парашютом, он не испытывал. Судьба парашюта поначалу казалась незавидной. Одни не верили, что он раскроется, другие считали, что поскольку летать они умеют, парашют им ни к чему. При таком настроении парашют долго лежал без употребления. В 1930 году попробовали сбросить с самолёта чучело («Ивана Иваныча», как прозвали его лётчики) и то неудачно. «Иван Иваныча» отнесло ветром, и он утонул в море. Парашюты снова отнесли на склад. И только спустя год был, наконец, совершён прыжок с парашютом. Тот год отметился ещё одним событием — прибытием в школу группы девушек. Среди них — знаменитая впоследствии, прославившаяся беспосадочным перелётом на Дальний Восток в 1938 году — Полина Осипенко, которую отец лично учил лётному делу. До этого она работала в столовой. «От плиты в небо», — беззлобно шутили над ней лётчики.

Под Севастополем отец прослужил три года, обучив лётному делу более тридцати курсантов. Осенью 1933 г. он вступил в должность командира корабля тяжёлой бомбардировочной бригады ВВС Балтийского Флота и ВВС Забайкальского Округа. От самих Качинских времён практически не сохранилось воспоминаний. Чудом уцелела старая лётная книжка отца, в которой вёлся учёт часов и вылетов, точнее, самолетовылетов. На последней странице его рукой были выписаны несколько поговорок на тему профессии: «Налетай на врага бураном, пробивай его строй тараном», «Пошёл в соколы, не будь вороной», «Лётчик начеку — и небо ясно», «Москва бьёт с носка». Здесь же был переписан абзац про авиаторов из Куприна, искренне ценившего этот род мужчин:

« Я люблю их общество… Постоянный риск, любимый и опасный труд, вечная напряжённость внимания, недоступные большинству людей, ощущения страшной высоты, глубины и упоительной лёгкости дыхания, собственная невесомость и чудовищная быстрота, всё это как бы выжигает, вытравливает из души настоящего лётчика обычные низменные чувства: зависть, скупость, трусость, мелочность, сварливость, хвастовство, ложь — и в ней остаётся чистое золото.»

Из лётной книжки следует, что с 1929-го по 1949 год отец летал на самолётах: У-1, У-2, УТ-3, «Зибель», Як-6, УТ-4, Р-1, Р-5, Р-6, Кр-6, И-1, И-3, И-4, Лагг-3, Як-1, Як-3, Як-5, Як-6, «Аэрокобра», Ла-5, И-15, И-16, Ил-2, ДБ-1, ДБ-3, СБ, ИЛ-4, ПЕ-2, «Бастон», БЮ-181, МИГ-1, МИГ-3, ПО-2, ПЕ-2, ТУ-2, Уяк-7, Уил-2, Нт-2, СИ-47, Уил-10, ЛИ-2, СУ-2.

За это время он совершил 5980 вылетов, проведя в небе 4480 часов, это 374 дня, то есть больше года он в буквальном смысле не касался земли.

Летать он любил и летал как бог. Он всегда был готов лететь, бежать, плыть, куда угодно и когда угодно, лучше всего сию же минуту — своим родным самолётом — и, как можно быстрее. Ещё быстрее, ещё. От винта! Соединиться, слиться с вихревым потоком жизни. Где он, этот ураган? Торнадо? Скорее — в самый центр его. Аллюр три креста! И никаких размышлений. Боже упаси! Только бы услышать призывный звук военного горна. В последние годы, уже без неба и моря, на пыльной первой Мещанской, в нашей квартире таким сигналом долгое время служил ему телефонный звонок. Стоило ему заслышать его, как он моментально выгибал грудь дугой, и только потом, в гвардейской выправке поднимал трубку. Возможно, то был рефлекс на звонок по гамбургскому счёту — от Сталина, Жукова, Василевского:

— Аллё! — громко объявлял он. — Генерал Слюсарев у телефона!

Очень часто, не расслышав, о чём там шла речь, а главное, не услышав заветных слов: «Слюсарев, твою мать! Поднять самолёты! Чтобы через пять минут 4 эскадрилья была в воздухе, не то, твою мать!…» и, подержав минуту-другую трубку, говорил кому-то на другом конце провода: «Пошёл к чёрту!» — и бросал трубку.

Глава IV

Тифлис

Родился я в голоде и холоде, вдобавок к этому в будущем должен был стать ещё и священником.

Наверное, никогда не приходила моим родителям в голову мысль, что я стану советским генералом, да ещё лётчиком! А по продолжительности своей жизни я уже пережил отца. Думаю, что впереди у меня — большая, светлая дорога и интересная, заполненная богатыми событиями как в будущем, так и в настоящее время жизнь.

А случилось это, вот каким образом.

Отец мой, дай ему Бог светлой памяти, Василий Иванович Слюсарев, казачьего рода, уроженец Воронежской губернии, Богучарского уезда, хутора «Марченко», будучи сыном бедного крестьянина, был призван в царскую армию. Военную службу проходил на Кавказе. В то время

Справка из личного дела

На Героя Советского Союза, гвардии генерал-лейтенанта авиации Слюсарева Сидора Васильевича. Слюсарев Сидор Васильевич — г. рождения 14.05.1906 г. Место рождения — г. Тбилиси. Национальность — русский. Член КПСС с 1929 г. Образование — высшее военное. Специальность — лётчик.

1917	Ученик слесаря ремесленного училища г. Тбилиси.
1918	Батрак у зажиточного крестьянина в деревне Бадьяуры.
1922	Кочегар паровой молотилки в деревне Бадьяуры.
1925	Слесарь мехарт.завода им. Орджоникидзе (бывший Арсенал)
1928	Курсант военной теоретической школы лётчиков. Ленинград
1930	Инструктор 1-й Военной школы лётчиков им. Мясникова.
1933	Командир корабля ВВС Балтморя и ВВС Забайкальского Военного Округа.
1937	Лётчик-инструктор по технике пилотирования, командир авиаэскадрильи ВВС Забайкальского Военного Округа.
1938	Государственная командировка в МНР и Китай.
1939	Зам. командующего 2 АОН и ВВС 8-Армии.
1940	Зам. командующего ВВС Ленинградского Военного Округа.
1941	Зам. командующего ВВС Киевского особого Военного Округа.
1941	Командир 142 истребительной авиадивизии ПВО.
1943	Командир 5 смешанного авиакорпуса Северо Кавказского фронта.
1943	Зам. командующего 4 и 2 Воздушных Армий.
1944	Командир 2 Гвардейского Штурмового авиакорпуса I Украинского фронта
1947	Командир 7 БАК Приморского ВО.
1949	Государственная командировка в Китай.
1950	Слушатель Высшей военной академии Генштаба.
1952	Зам. командующего и командир 64 истребительного авиакорпуса ПВО.
1953	Государственная командировка в Китай.
1955	Командующий Уральской Армией ПВО.
1957	В распоряжении Главнокомандующего войсками ПВО Страны и в распоряжении Главнокомандующего ВВС.
1957	Начальник командного факультета Краснознамённой Военно-воздушной Академии.

Награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза № 125, десятью орденами и медалями.

шло строительство железной дороги Баку-Тифлис. К концу прохождения службы, а дослужился он до старшего унтер-офицера, отец заключил договор с администрацией станции о приёме его на работу в качестве грузчика, при условии, что он завербует ещё определённое количество односельчан. Получив аванс по договору, Василий приехал к себе на родину выгодным женихом и вербовщиком. Выкупив самую красивую девушку в своей деревне, мою будущую мать, за тридцать пять рублей, и завербовав около десяти семейств, он с молодой женой вернулся в г. Тифлис, что по-грузински значит «тёплый».

По характеру это был добрейший человек и хороший семьянин. Его миловидное лицо в некоторых местах покрывали оспинки. В детстве он болел оспой. Мать, я не знаю даже её имени, умерла сразу после моего рождения.

По рассказам моих старших сестёр, у родителей было ещё два сына — Иван и Василий, которые скончались в младенчестве от какой-то эпидемии. С их смертью отец мечтал только о наследнике, но жена рожала ему всё время дочек. Ещё при разделе имущества в Воронежской губернии ему досталось две десятины земли и десять деревьев в небольшой роще. Конечно, каждый глава семьи мечтает, чтобы было продолжено его дело, чтобы сын вернулся на землю, где жили деды и прадеды. И чтобы я унаследовал его наследство, к которому он, в результате сложившихся трудных материальных условий, был не в состоянии вернуться со своей большой семьёй, да ещё без сына. Сын был ему нужен, как воздух, как сама жизнь. Ведь время идёт, наступает старость. Кто продолжит род Слюсаревых?

Будучи весьма религиозным, он всё время уповал на Бога, хотя в какой-то степени, думаю, участвовал в забастовках и нелегальных кружках, так как к нам несколько раз приходили с обыском полицейские.

А один раз я заметил, что отец прячет какую-то вещь в углу под потолком. В его отсутствие я забрался в тайник и, к своему ужасу, вытащил пистолет, заряженный обоймой. Я тут же положил

его назад и впоследствии боялся подходить к тому месту.

Так вот, когда моя мать ходила беременная мною, отец решил непосредственно обратиться к Богу через попа нашей церкви при Кукийском православном кладбище. Призывая всё своё мужество, отец мой Василий Иванович обратился к отцу Иллариону с просьбой отслужить молебен на дому и уговорить Бога, чтобы жена родила ему сына-наследника. Поп согласился. Кроме вознаграждения и выпивки, он поставил условие: во-первых, чтобы отец молился и веровал в Бога, тогда Бог услышит его просьбу, во-вторых, если родится сын, дать ему имя по святцам. И, наконец, при рождении сына, как жертву Богу, отдать его в семинарию с тем, чтобы сделать из него священнослужителя, то есть мне стать попом?!

Вот как была поставлена подготовка кадров поповского сословия — в былые времена ещё в утробе матерей они вербовали себе замену!

Как видно, отец мой дал согласие. Отслужили молебен на дому, где моя мать лежала на кровати накануне предстоящих родов. Сидя за столом и высоко держа в руке чарку водки, отец Илларион исправно повторял: «Веруй и молись сын мой! Господь Бог услышит твои молитвы, и будешь ты благословен им и весь твой род человеческий!» Продолжая разглагольствовать в таком духе, за второй и третьей рюмкой, святой отец требовал уже и многое другое, что приходило ему на ум заурядного попа, и после очередной выпитой рюмки повторял: «Слава Отцу, и Сыну и Святому Духу! Во веки веков! Аминь!» — пока не свалился под стол.

К великому счастью моего родного отца, которого я страшно любил и люблю до настоящего времени, и которого помню до сих пор, и который почти каждую ночь снится мне во сне, и моей матери, и предсказанию отца Иллариона нашего прихода я, в самом деле, родился не девочкой, как обычно было до сих пор, а мальчиком!.. И не просто так, а в рубашке! Да!!!

Должен сказать, что рождение моё принесло великую радость матери в том, что она, наконец, угодила любимому мужу, а отцу в том, что он дождался законного наследника. Но больше всех остался доволен отец Илларион, так как в лице Василия Ивановича он обрёл не только православного христианина, но и застольника по грешным делам, по части выпивки. Я же от этого ничего не выиграл, кроме того, что получил жизнь, что тоже не так плохо. Но зато всё своё маленькое детство, до десяти лет, я страдал, как и мой тёзка-великомученик, святой Исидор. Все мои сёстры, а их было четверо, впоследствии прибавились ещё дети от второй жены — мачехи, зная, что я не переношу своё будущее положение в роли священника, на каждом шагу напоминали мне об этом: «Отец Исидор, благословите! Отец Сидор, простите, что мы испортили вам воздух. Отец Исидор, просим вас принести святой воды из водокачки и поставить самовар… Отец Исидор…»

Одним из ярких событий моего раннего детства был пожар. В тот день мы с малолетками играли в пожарную команду. Собрали бумагу, сухую траву и под сараем развели костёр. Спички я вынес без разрешения из дома. В пожарную команду принимали тех, кто ещё не сходил по малой нужде, так как нужна была вода для тушения пожара. И вот костёр разгорелся. Бряцаньем в пустую жестяную банку, вместо колокола прозвучал сигнал пожарной тревоги. Команда прибыла на место во время, но то ли у некоторых до срока оказался израсходован запас для тушения, то ли «бочки» подтекали от испуга, но пожар ликвидировать не смогли. Из-за порыва ветра огонь разгорелся с новой силой, захватив сарай, в котором было сложено сено нашего соседа.

Когда сарай затрещал, и внутри полыхнуло пламя, пожарную команду как ветром сдуло. С криками: «Это — не я, это — Сидорка!», — пожарники бросились врассыпную. Я же, крайне удивлённый таким предательством, тоже вынужден был дать драпу. Перебежал улицу, вскочил на бугор, где летом размещался солдатский лагерь, и спрятался в окопе. Поначалу ещё слышал голоса моих сестёр и отца, но от этого только глубже зарывался в землю, потрясённый страхом и неизвестностью — что же будет, когда меня обнаружат? В таком напряжённом состоянии я, по всей вероятности, заснул, потому что когда проснулся, стояла уже глубокая ночь, а я лежал дома, на полу, укрытый тёплым одеялом.

Образ моего отца особенно сохранился в моей памяти. Высокого роста, худощавый, внешне он был очень привлекательным. Свои тёмно-каштановые волосы он зачёсывал назад. В его голубых глазах всегда светилась искорка нежности. Отец не пил, за исключением праздников, не курил, никогда не чертыхался. Был очень религиозен. Любил Бога и почитал икону, которой его благословили, когда он женился. По своей честности, искренности и правдивости, ему не было равных. Его всегда выбирали старостой. Все носильщики добровольно сдавали ему заработанные деньги за сутки, которые он к концу смены делил поровну среди членов артели. Отец отличался крепким здоровьем и физической силой. Взвалив на спину до четырёх пятипудовых мешков муки, он легко переносил их к месту разгрузки. Несмотря на то, что отец был простым носильщиком, он заботился о своём внешнем виде и чистоте. В карманах у него всегда лежали сладости или фрукты для любимых детей. А любил он нас крепко, особенно меня.

В ту пору жили мы сравнительно неплохо. Хватало на питание, квартиру и ещё небольшая часть откладывалась как сбережение. Жизнь в Тифлисе — относительно дешёвая, особенно продукты. Мясо ели два-три раза в неделю. Постные дни соблюдали все, в том числе и дети. Молоко покупали только для малышей. На завтрак — варёная картошка в мундире, селёдка, огурцы, помидоры, зелень. Чай вприкуску. Обед: борщ с мясом или постный, заправленный растительным маслом. На второе — жареная картошка, рыба, по воскресеньям — иногда баранина с баклажанами и помидорами — «аджапсандал». На ужин — остатки обеда и чай.

Помню, что отец сам любил кухарничать. Мог приготовить любое блюдо, испечь пироги, запечь окорок или барашка, птицу, гуся, индейку, куличи на Пасху. Можно сказать, он был непревзойдённый кулинар! С осени заготавливал на зиму овощи, искусно солил в большой бочке капусту с яблоками. Протирая помидоры через сито с перцем, делал аджику. Очень любил ходить на базар за продуктами. А как умел принять гостей! Его гостеприимству не было предела, особенно на Новый Год, который совпадал с днём его Ангела. Стол у нас ломился от всевозможных кушаний и напитков. Народ веселился и гулял до самого утра. На людях у отца раскрывался незаурядный талант тамады. Природная весёлость и остроумие хозяина радовали всех. Гости чувствовали себя свободными и от души веселились.

Жили мы тогда на Норийском подъёме, № 6, недалеко от Кукийского кладбища, где похоронены моя мать, братья и сёстры. От нашего дома улица разделялась на две самостоятельные: одна широкой дорогой уходила к православной церкви, другая вела за город, в поле. По улице в основном двигались похоронные процессии. Из-за крутого подъёма на нашем отрезке траурные катафалки зачастую останавливались, лошади не в силах были преодолеть крутизну, особенно в гололёд или после дождя. Тогда сопровождающие снимали гроб и дальше несли его на руках. В престольные праздники со всех концов Тифлиса сюда стекались толпы нищих, прокажённых, калек. Занимая доходные места на паперти, странные люди вереницей стояли вдоль подъёма. В голодные времена я и другая детвора часто кормились на кладбище за счёт поминок. Кладбище долгое время служило и единственным местом наших игр в казаки-разбойники. Здесь, преодолевая страх, мы по-своему закаляли характер.

С улицы наш дом был обнесён высоким двухметровым забором. Забраться на него было непросто, но зато, когда, одолев забор, я оказывался наверху, передо мной открывалось невообразимое пространство. Вселенная. С высоты я обозревал весь наш подъём. Сидя на заборе, вглядываясь в начало улицы, сколько радости, бывало, испытаешь, первым заприметив отца, возвращающегося с работы. С криком: «Папа, папа! Я первый увидел!» — я слетал с верхотуры, как тот неоперённый воробей, и мчался ему навстречу. Сколько счастья тогда светилось в его ласковых глазах. Мне первому он торжественно вручал арбуз, хотя я и шагу не мог сделать с ним из-за его тяжести и объёма. Важно, что он вручён лично мне. Нести его до дома будут мои старшие сёстры.

Отец очень уважал учение. Читать он научился, когда проходил военную службу. Помню, как торжественно он готовился, если нужно было поставить подпись на каком-либо документе. Первым делом он отдавал распоряжение, чтобы все вышли из комнаты. Потом приводил в порядок стол. Мыл руки. Долго чистил перо о волосы на голове, продувая его каким-то особым свистом. Наконец, кряхтя, усаживался за стол. Брал в руки ручку, с торжественным видом обмакивал её в чернильницу и ещё несколько минут, сосредоточившись, внимательно смотрел на то место, где следует расписаться. Наконец собравшись с духом, упирался локтями в стол и начинал раскачивать кисть правой руки влево-вправо. Набрав таким образом определённую угловую скорость, с хода, выбросив вправо загадочный иероглиф, бросал на бумагу завиток, похожий, по его мнению, на заглавную букву «С». Поставив таким манером подпись, с глубоким вздохом отходил от «министерского стола».

Семья у нас была большая, одних детей — девять человек. Я, как старший, рано начал помогать, пристроившись на кухне судомойкой при казармах. Эти казармы до революции принадлежали первому Кавказскому стрелковому полку, имени князя Воронцова-Дашкова, наместника Кавказа. Здесь из унтер-офицеров и отличившихся солдат, георгиевских кавалеров, в трёхмесячный срок готовили младших офицеров — подпрапорщиков. Я чистил котлы, баки и другую посуду, а главное, носил записки молоденьким горничным и кухаркам. Мы, голодная детвора, собирались у выхода, выпрашивая у курсантов еду. Будущие прапорщики предпочтение отдавали девочкам. По вечерам я надевал на голову платок и всегда приносил домой достаточно хлеба.

Здесь же в Тифлисе в 1914 или в 1915 году мне пришлось видеть и самого царя — Николая II с семьёй. Было это осенью. Холодным днём мы, учащиеся, стояли в цепи вдоль Верийского подъёма у моста, где впоследствии погиб смелый революционер, товарищ Камо. В ожидании царского поезда все сильно промёрзли. Ночью ударил мороз, мостовая покрылась коркой льда. Лошади скользили и сразу не могли взять крутой подъём. Мы долго видели царя, который сидел в открытом фаэтоне кавказского типа, запряжённом шестью лошадьми цугом. Он недовольно хмурился, а его жена Александра, казалось, была сильно возмущена задержкой. За ними на таких же фаэтонах следовал кортеж царской свиты.

Очень хорошо запомнился мне и победоносный въезд в 1921 году в Тифлис освободительной Красной Армии, которая принесла счастье и свободу грузинскому народу!

Ещё в самом раннем детстве меня поразило появление в Тифлисе китайского фокусника. С косой, в длиннополом халате, держа на плечах бамбуковое коромысло с покачивающимися коробами, поигрывая рукояткой, к которой на верёвке был подвешен деревянный шарик, гулко стукающий о металлическую тарелку, фокусник оповещал о своём появлении. Затаив дыхание, жадными глазёнками следили мы, как в трёх пиалах попеременно то появлялись, то исчезали три разноцветных шарика — красный, белый и синий, как из его рта вылетал огонь, а за снопом огня — ленты, платки, веера. Забыв обо всём, будто зачарованные волшебной дудочкой, окружив фокусника, переходили мы из одного двора в другой, готовые идти за ним хоть на край света.

Уже постарше в руки мне попалась книжка о путешествии в страну, что лежит за горой Кафу.

Начиналась книга так: «Драконы там изрыгают огонь, великаны ездят на львах с золотыми гривами. Ни железо, ни мрамор, ни дерево не похожи там на всё наше. Мужчины носят длинные волосы, а ноги женщин, что лапки у кошки. Каждый палец на руке у тамошнего жителя знает тысячу ремёсел. На рисовом зерне напишут целую книгу. Из цветной бумаги наделают петухов, из шёлка — розы и бабочек. Из жёлтого бархата — канареек. А когда наступают праздники, их хлопушки и ракеты превращают небо в воздушный сад, где разноцветные огненные цветы создают земной сад наслаждения и тихого спокойствия.

Дома, или, по-ихнему, фанзы очень маленькие, крохотные, зато дворцы большие и сумрачные с рогатыми кровлями. Добраться до этой страны не так легко. Надо иметь коня быстрокрылого, да ещё без уздечки и седла. Надо сидеть не в хвост и гриву, а поперёк, да и то вряд ли доедешь. А если и заберёшься на гору Сам-Каф, то возникнет перед тобой высокая-превысокая, длинная-предлинная стена, сам пять тысяч вёрст. Как всё это одолеешь?…».

Глава V

Плач чертей и рёв богов

Шёл 1938 год. Уже отбушевала зима с метелями и морозами, на календаре отметился март, а весна всё никак не могла пробиться через Яблоновый хребет в Шилкинскую долину.

Сегодня с утра день не заладился. Перед рассветом налетел свирепый буран. Ураганный ветер, заряженный снежными зарядами, перемешанными с песком, как дикий зверь, метался по лётному полю, пытаясь сорвать с прикола наши красавцы «катюши». Такое название скоростной бомбардировщик СБ получил ещё в Испании за боевую мощь, отличные аэродинамические свойства и красивые формы.

Хотя самолёты и были рассчитаны на достаточно сильные порывы ветра, для гарантии пришлось всё же ставить якоря и крепить машины добавочными тросами. Ночь смешалась с пургой. Всё исчезло в снежной мгле и завывании ветра. Люди измучились, многие обморозились. Более четырёх часов продолжался поединок с непогодой. Наступил рассвет. Ветер буйствовал, но уже с меньшей силою, уходя на восток к Маньчжурским степям.

Намеченные планом полёты были отменены. Лётному составу предоставили отдых до двенадцати часов дня. Мне отдохнуть так и не удалось. Я был вызван на беседу к Командующему ВВС Забайкальского Военного Округа комдиву Изотову. Разговор состоялся по поводу моего рапорта с просьбой командировать меня в республиканскую Испанию.

— Ваше желание поехать в Испанию отпадает, а вот насчёт Китая можете подумать!

— А что здесь думать! Я согласен.

— Но всё же у Вас семья, дети.

— Это вопрос уже давно дома решён.

— Ну, хорошо, — улыбнулся он, — тогда добро. Вы назначаетесь заместителем группы к комбригу Г. И. Тхору. Будьте готовы в ближайшее время отбыть к месту сбора.

С 1933 года я служил в Забайкалье во второй бригаде командиром тяжёлого бомбардировщика ТБ-3. Здесь я считался уже «старичком», так как «потел» пятый год. Базировались мы на узком грунтовом аэродроме западнее города Нерчинска, чьё население, в основном бывшие каторжане, промышляли старательством. Зимой нерчинцы гуляли свадьбы, а летом возвращались к своим зарубкам, промывая золотой песок в долинах рек и ручьёв.

С питанием дело обстояло плоховато. Нас, лётчиков, в основном кормили солониной да сушёной треской. Если что и можно было достать из продуктов, то только через Торгсин на бонны. Как правило, по воскресеньям лётчики наезжали в государственные прииски, чтобы обменять у старателей деньги на бонны. Свободное от службы время отдавали охоте, рыбалке. Всю добытую дичь обязаны были сдавать в «Охотсоюз», где в обмен получали боеприпасы, ружья. Одну треть добычи имели право оставить себе. Не забуду вкус забайкальского омуля, хариуса и тайменя.

В окрестностях Нерчинска в то время проживало много китайцев, корейцев и даже японцев советского подданства. Занятными были те китайцы, особенно когда торговали. Все продукты они раскладывали по кучкам: две маленькие редиски или одна морковка составляли «кучу». Молоко замораживали, так ледяшкой и продавали.

Не знаю почему, но всех их называли «ходя». Обращаешься к кому-либо:

— Здравствуй, ходя. Почём торгуешь?

— Рупля куча, капитана!

— Пухо, пухо, ходя, — плохо.

— Нет, капитана, — хо — очення, очення каласо.

— Буе. Буе. — Не надо.

И уходишь, а он бросает свой товар и бежит вслед за тобой, кидая продукты в твою сумку.

Много мы натерпелись от сурового климата Забайкалья. В начале сентября замерзали реки, и только в июне начинался ледоход. Самолёты, на которых мы летали, были открытыми и не отапливались. Из-за тёплого воздуха работающих моторов вокруг машины образовывался местный туман, так что не видно было, куда выруливать. От встречного потока холодного воздуха кожа на лице деревенеет, а пальцы рук не способны двигать секторами газа.

Лётчик одет в толстый комбинезон, на ногах — несколько пар носок, собачьи унты, на лице — меховая маска и чёрт знает сколько ещё в придачу шарфов, перчаток, рукавиц. Бравый вид авиатора — замёрзшие очки, покрытые инеем ресницы и брови, сосульки под носом. Во время рулёжки и на взлёте нужно найти время, чтобы обмахнуть рукой незащищённую часть лица и пройтись ещё кое-где, чтобы не отморозить ноги, да и сектор между ног.

Обмораживались сильно. За зиму у многих появлялись чёрные пятна на лице и на руках, не проходившие даже летом.

Продолжающиеся провокации милитаристической Японии на наших государственных границах держали все вооружённые силы Дальнего Востока в повышенной боевой готовности. Для нас, лётчиков, это выражалось в ежедневных учебных и боевых тревогах. Ночью, без освещения, в пятидесяти градусные морозы, нам приходилось тратить по двенадцать часов на запуск четырёх моторов с подвеской трёх бомб калибра 100–250–500 кг. Заправить, прогреть, запустить и вырулить на старт. Масло разогревалось в железной бочке над костром, вода кипятилась в «гончарках». Таких «гончарок» на каждый самолёт приходилось по три-четыре штуки. В эскадрильи из двенадцати самолётов к вылету были готовы не более двух-трёх.

Часто учебная тревога завершалась тотчас после выруливания. Специальная комиссия проводила проверку готовности корабля и экипажа с замером времени на подготовку. Если самолёты поднимались в воздух, то давался курс, высота и порядок действия над целью. С половины маршрута бомбардировщики возвращали на аэродром. Посадку производили уже под утро.

Только через три месяца усиленной тренировки мы стали укладываться в норму — четыре часа. С получением заправщиков норму стали перекрывать до двух часов, а на следующую зиму, будучи в зимних лагерях, наш экипаж установил рекорд — четырнадцать минут с подвеской бомб и выруливанием на старт. Что значит смекалка и дружная работа коллектива. Да!

Уже через два дня после разговора с комдивом мы, группа лётчиков в составе — сорока экипажей с гарнизонов Бада, Нерчинск и Домна, прибыли на авиационный завод. Здесь нас переодели в партикулярное платье, настолько шикарное, что даже жаль было его надевать.

Вечером в клубе на танцах все заводские девчата находились в полном нашем распоряжении, так что с бывшими ухажёрами, получившими неожиданные отставки, пришлось вести переговоры «на басах».

На следующее утро началась напряжённая работа по приёмке самолётов. Лётчики у нас подобрались опытные. Погода стояла отличная, и через неделю первая партия скоростных бомбардировщиков оказалась подготовлена для переброски в Китай.

Накануне первомайских праздников 1938 года, ранним утром, мы поднялись с заводского аэродрома и взяли курс на Улан-Батор. Через двадцать минут после взлёта под нами лежал во всей своей первозданной красоте священный Байкал. Его зеркальная поверхность переливалась нежными красками восходящего солнца. Как бы защищая свои владения, Байкал окружил себя высокими скалистыми вершинами. Ущелья, кряжи, обрывистые овраги и пикообразные утёсы замыкали эту сложную систему обороны.

Памятуя, что мне ещё не один раз придётся перелетать через Байкал, я, приоткрыв левую шторку колпака, бросил горсть серебряных монет в дар «Владыке Священного моря». Должен признать, что, сколько потом ни приходилось летать над Байкалом на всех высотах, вплоть до бреющего, он всегда был благосклонен ко мне.

Первую посадку мы совершили в пятнадцати километрах южнее столицы Монгольской народной республики. Тотчас множество автомашин с дипломатическими номерами окружило аэродром. У нас не было причин скрывать преимущества нашего СБ. Чтобы произвести ещё больший эффект, мы опробовали наши спаренные пулемёты ШКАС, скорострельность которых в то время считалась непревзойдённой. Длинной очередью из такого пулемёта можно было перерезать любой металлический самолёт.

Выстрелы оглушили всех находившихся поблизости, лишний раз, напомнив западным дипломатам, что Советский Союз обладает современной авиационной техникой. После такого невероятного грохота все военные атташе немедленно ретировались. Мы же, зачехлив свои «летающие крепости», уехали отдыхать.

Как правило, сдав самолёты, в течение первых трёх-пяти дней, мы знакомили китайских лётчиков с новыми для них машинами, после чего вылетали в Союз на завод, чтобы подготовить очередную партию для переброски.

На Родину возвращались на ТБ-3, тяжёлом четырёхмоторном бомбардировщике. В самолёт нас набивалось до сорока человек, и, несмотря на то, что у всех имелись парашюты, воспользоваться ими никто бы так и не смог. Людьми были забиты все щели, проходы, даже плоскости в фюзеляже. А если учесть, что перелёты над пустыней Гоби и Байкалом сопровождались сильной болтанкой, продолжительностью восемь-десять часов, то не трудно представить, как мы выглядели после посадки.

С начала 1938 г. мы приняли на авиационном заводе более 60 самолётов. Первые две партии передали китайским лётчикам, а с третьей сами включились в боевые действия.

По маршруту обычно задерживались на пару дней в Улан-Баторе. Необходимо было тщательно осмотреть материальную часть, так как следующий перелёт проходил над безлюдной пустыней Гоби. Часто попадали в песчаные бури и, хотя шли на большой высоте — порядка 5000 метров, но даже и сюда долетали песчинки, хрустевшие на зубах. Перегревались моторы, видимость сокращалась до предела, приходилось идти в слепом полёте. Солнце в этой зловещей тьме становилось тёмно-красным, расплывчатым, беспрестанно меняя форму, создавало причудливые миражи. Если не было бурь, горизонт просматривался очень далеко. Внизу паслись огромные стада диких коз, шарахавшихся в разные стороны от шума наших моторов. Холмы, обдуваемые ветром с песком, казались загадочными замками.

В городе поражало огромное количество бродячих собак с подвязанными красными лентами на шее. Такая собака считалась священной. В те годы в Монголии ещё существовала «долина смерти», куда свозили покойников. Их сбрасывали с машин, иногда ещё полуживых, и на полной скорости удирали, заметая след, чтобы дух мертвеца

не вернулся обратно в юрту. В «долине смерти» и обитали собаки, пожирая всё, что попадалось на пути. Несмотря на то, что многие были в коросте, ранах, некоторые — бешеные, никто их не трогал, а при встрече, наоборот, уступали дорогу. Убить собаку, или даже обидеть, считалось большим преступлением.

В один из перелётов из-за отказа мотора СБ нашей эскадрильи сделал вынужденную посадку на монгольской территории. Добираясь до аэродрома на попутной машине, лётчик зашёл в местный магазинчик купить папирос. Одет он был в обычное лётное обмундирование, на ногах — унты из собачьего меха. У прилавка он обратил внимание на то, что два монгола, злобно посматривая на него, неожиданно встали на колени и начали гладить его унты. Подошли другие монголы. В помещении стало тихо. Заведующий магазином, к счастью, русский, быстро увёл лётчика за прилавок в свою контору, где предложил тому немедленно снять унты, спрятать их, и уже в ботинках вернуться на аэродром.

Устойчивая лётная погода благоприятствовала прямому перелёту на основную базу Китая — аэродром Ланьчжоу — перевалочный пункт для боевой техники, прибывшей из СССР. Задолго до рассвета мы поднялись в воздух и взяли курс на Далан-Дзадагад, последний населённый пункт на юге МНР. Боевые самолёты производили перелёты также по маршруту Алма-Ата-Урумчи-Хами-Ланьчжоу. Сам город и авиационная база часто подвергались налётам японской авиации, поэтому здесь была организована ПВО в составе зенитной артиллерии и истребительной группы советских лётчиков-добровольцев под руководством Жеребченко Ф. Ф.

Наша эскадрилья в составе двенадцати бомбардировщиков СБ строем ромб в плотном боевом порядке прошла над аэродромом, перестроилась в правый «пеленг звеньев» и, сохраняя дистанцию, благополучно приземлилась на посадочный знак, вызвав восхищение не только у всего лётного состава волонтёров, но и обслуживающего персонала — китайских техников и мотористов. Зачехлив материальную часть самолётов и вооружения, мы отправились в «литише» (название офицерского клуба в гоминдановском Китае от «ли-чжи-ше» — общество подъёма духа). Здесь в нашем распоряжении находились комнаты отдыха, бар, радиола с киноустановкой, а также бильярдные столы, в основном, карамболь без луз с тремя шарами.

В свободное время мы ездили смотреть Великую китайскую стену, знакомились с Ланьчжоу и его окрестностями. Город был большой и очень грязный. Узкие улочки и переулки застроены лавчонками, небольшими магазинчиками и ларьками. Тут же — дешёвые рестораны и харчевни, где за самую низкую плату можно отведать разнообразные местные блюда. У стен города теснились кустари, ремесленники — от гончаров до ювелиров. По городу с грохотом носились старые, разбитые автомашины иностранных марок, причём водители не соблюдали никаких правил уличного движения. Путь на аэродром пролегал через весь город. Гордости нашего шофёра, что он везёт советских лётчиков, да ещё по срочному заданию, не было предела. Стоило замешкаться кому-нибудь из регулировщиков, как он пулей выскакивал из машины и колотил полицейского за нерасторопность.

К востоку от Ланьчжоу местность выгодно отличалась от западной стороны. В долинах зрели поля пшеницы, на склонах гор уступами теснились квадратики рисовых полей. С воздуха ровные полосы и квадраты обработанной земли очень смахивали на большую лётную карту.

В один из перелётов на основную базу в Ханькоу нам предстояло сделать посадку на промежуточном аэродроме в провинции Синцзян. Недавно построенный, он размещался в стороне от основной трассы, где-то в горах. В роли ведущего за нами прилетел Тимофей Хрюкин, из первого отряда добровольцев, хорошо знавший этот район. Из-за тумана вылетели поздно. Шли на высоте около 4000 метров, переваливая через горные хребты Тянь-Шаня. В воздухе, невзирая на высоту, было невыносимо жарко, душно и очень влажно. При подходе к долине я распустил строй и пошёл на «федичан» (аэродром) на посадку. Самолёты стали в круг, но чем ниже мы снижались, тем сильнее парило, как будто мы спускались в преисподнюю. Я открыл колпак, чтобы немного остыть и проветриться. Несмотря на сильный обдув, пот с меня катил градом, как в парной. После заруливания на стоянку все вылезли из кабин мокрые, как «квочки».

Чтобы поскорее выбраться из этого ада, ребята стали торопить местных механиков с зарядкой самолётов горючим, но не тут-то было. Склад с горючим находился в горах, километрах в пяти от аэродрома. Заряжали нас американским бензином из шестнадцатилитровых бидонов, которые подносили китайские кули на бамбуковых коромыслах. Тимофей Хрюкин, передав нам свои «цу», ценные указания, и оставив меня за старшего, улетел в Ханькоу. К вечеру всю долину и аэродром затянул плотный, влажный туман. За туманом зарядили дожди без просвета. Новый грунтовой аэродром раскис, и мы больше недели провели в этой адской дыре.

Определили нас спать в деревянном сарае. Вдоль единственной улицы в колдобинах и лужах пролегали канавы со сточной водой, забитые тиной и отбросами. Население этого «весёлого местечка» сплошь страдало базедовой болезнью. Каждый пожилой ходил с огромным зобом на шее размером чуть ли не с голову. Их вид нас потряс. Люди были забитые, неразговорчивые.

Нас они очень боялись, при встречах падали на колени. Мы, откровенно говоря, тоже сторонились местных жителей и в город не ходили. В воздухе всё время стоял запах аммиака, мочи и удушливый, непереносимый запах хлопкового масла, на котором готовит всё население Китая.

Самое тяжёлое испытание заключалось в том, что мы боялись пить местную воду. Нас сильно мучила жажда.

Впоследствии в Китае я пользовался своим особым рецептом. Перед поездкой старался не есть ничего острого и солёного. Потом сразу выпивал две бутылки шанхайского пива. Сильно потел. Через пятнадцать минут принимал тёплый душ. Надевал хлопчатобумажное бельё. Брал с собой пол-литровую флягу, обшитую сукном, с деревянной пробкой, и выезжал в любую жару на любое расстояние. Если уж очень сильно хотелось пить, я сосал деревянную пробку, и часто, по возвращении из поездок, у меня ещё оставалась вода.

Особенно тяжело приходилось ночью. Никто не спал. Все дышали, как рыбы, выброшенные волной на знойный песчаный берег. На циновке образовывались лужи пота. Заворачивались в мокрые простыни, но и это спасало ненадолго. Кроме страшной духоты, сон перебивался из-за огромного количества москитов, комаров, летучих муравьёв и всякой другой нечисти. Миллиардными тучами они носились над нашими москитными сетками и в итоге добирались до своих жертв. Утром мы вставали распухшие и расчёсанные до крови. В окно лезли усиливающиеся запахи отходов из уборных. Китайцы, разбавляя их водой, по ночам заливают свои огороды. Погода как будто дразнила нас. Только выглядывало солнышко в разрывах облаков, как мы тотчас выезжали на аэродром. Но, как нарочно, долину вновь затягивал плотный туман, а следом обрушивался затяжной дождь.

Одно обстоятельство привлекло наше внимание. Ежедневно, под бой барабанов, в окружении стражников, вооружённых кривыми мечами, водили осуждённого на казнь. На его груди висела толстая доска с надписью, что он — государственный преступник.

Вечером в субботу переводчик по секрету сообщил мне, что завтра за городом в двенадцать часов состоится казнь, но просил никому из советских лётчиков об этом не говорить. В те годы гоминдановская клика часто казнила китайских коммунистов под видом шпионов. Не знаю, как все узнали, только утром в воскресенье ребята пришли просить меня позволить присутствовать на этой церемонии. Чтобы не вмешиваться во внутренние дела, я разрешил троим, и сам отправился вместе с ними.

Приговорённый к смертной казни китаец оказался молодым парнем, не старше двадцати пяти лет, скуластым, худощавым. Лицо гордое и приятное. Руки ему закрутили за спину железной проволокой. В таком виде и привели его после обхода городских улиц на место казни — лужайку за восточными воротами. Когда мы вчетвером подошли к лобному месту, там собрались уже все жители. Взятый в кольцо стражей «преступник», стоя лицом к народу, низко кланялся на все стороны. Внезапно он громко заговорил, и это было столь неожиданно и, по всей вероятности, не предусмотрено ритуалом, что все сначала растерялись. Наступила тишина. Народ опустился на колени. Только мы одни продолжали стоять. Как сейчас помню его гордый взгляд и властные призывы к народу. Мне показалось, что он понял, что мы — посланцы великой страны Ленина, так как, кроме нас, не было европейцев, к тому же до него мог долететь гул моторов наших самолётов.

Оцепенение стражи продолжалось минут пять. Внезапно один из охранников сильным ударом ноги повалил приговорённого на колени. Часто забили барабаны, палач взмахнул топором, и покатилась буйная головушка в бурьян. Все продолжали стоять на коленях, а в момент казни опустили головы до самой земли.

Стражники насадили срубленную голову на пику и понесли под бой барабанов по всему городу. Через пару дней нам всё же удалось поймать кусочек погоды, и мы улетели из этого гнилого болота.

В гарнизоне первые дни все отсыпались. Каждый физически и душевно оказался настолько измотан, нервы — на таком пределе, что единственным желанием было — спать, спать и ещё раз спать. Многие даже пропускали завтраки и обеды, потеряв всякий интерес к пище. Но всему приходит конец. Отдохнув, как следует, мы снова начали улыбаться друг другу.

Первые лётчики-добровольцы, прибывшие в Китай в конце 1937 года, находились в непростых условиях. Кроме того, что приходилось воевать с численно превосходящим противником, местная аэродромная сеть оказалась неподготовленной к боевым действиям. Аэродром Ланьчжоу, расположенный на горном плато на высоте 2200 м, был одним из самых неудобных. В летнее время здесь постоянно возникали сильные восходящие и нисходящие воздушные течения. Плотность воздуха была меньше, чем на уровне моря, и пробег самолёта после приземления резко увеличивался. Требовалось большое мастерство, чтобы не сесть «с промазом».

В те годы японская авиация имела на своём вооружении следующие типы самолётов: СБ-96 — средний бомбардировщик, вооружён 3–5 пулемётами, радиус действия 2000 км, максимальная скорость — 330 км/час. «Савойя» — двухмоторный бомбардировщик, скорость 350–380 км/час, бомбовая нагрузка 800 кг, 3 пулемёта, запас горючего на 10 часов. Истребители: И-95, И-96, И-97, скорость 350–450 км/час.

Что могло противопоставить этим современным машинам китайское командование? Самолётный парк китайской ВВС в первые месяцы войны находился в плачевном состоянии. Своей авиационной промышленности у них не было. Империалистические государства, как правило, сплавляли в Китай устаревшие образцы. Например, английский истребитель «Гладиатор» — скорость 180 км/час, запас горючего на 2 часа полёта. Американский бомбардировщик «Боинг» — 160 км/час, запас горючего на четыре часа полёта. Мало чем отличались от них истребители «Картис-Хаук», «Фиат»-32, бомбардировщики «Капрони»-101, «Фиат» БР-3.

Закупки самолётов за границей долгое время контролировал Кун Син-си, который принимал от итальянских фирм заведомо негодные самолёты. Когда были вскрыты злоупотребления, генеральным секретарём авиационной комиссии

назначили жену Чан Кай-ши — красавицу Сун Мэй-лин, но дело не сдвинулось с места.

Положение коренным образом изменилось с появлением в небе Китая наших самолётов. Советский Союз поставил на вооружение китайских ввс боевые первоклассные машины: скоростной бомбардировщик сб, дальний бомбардировщик дб-3, истребители и-15 (чижи) и и-16 (ласточки).

Военно-воздушные силы Китая непосредственно подчинялись авиационному комитету, действовавшему на правах Главного штаба ввс. Во главе комитета стоял Чан Кай-ши — незаурядный дипломат, большой психолог и стратег. Низкого роста, одевался скромно, без всяких знаков различия. Никогда не пил, не курил. По характеру скрытный, многоликий Чан Кай-ши умел быстро войти в контакт, производя впечатление ровного и даже флегматичного человека, но заметно было, что внешнее спокойствие давалось ему большим волевым напряжением. Все его помыслы были направлены на завоевание власти. Он умел ждать своего часа, и до времени — маскироваться. «Большая птица не кормится зёрнышками».

При штабе ввс работал советский советник со своей оперативной группой в составе десяти человек. В 1938 г. пост советника занял Григорий Илларионович Тхор, участник боёв в республиканской Испании. Герой Советского Союза Г. И. Тхор был великолепный лётчик, обладавший сильной волей и безудержной храбростью. Самолёты, на которых летал Тхор, несколько раз терпели аварии из-за слабой подготовки китайских пилотов, но это не смущало его. Однажды, летя вместе с китайским командующим генералом Мао Пан-чу, он чуть не погиб при посадке на одном из аэродромов.

Трагично сложилась его судьба. Попав в окружение со своим штабом в сентябре 1941 г. в районе г. Пирятина, в неравном бою с фашистами Григорий Илларионович был тяжело ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. Гестаповцы всеми силами склоняли генерала Тхора к измене Родине, но, верный Отчизне, он развернул подпольную работу среди военнопленных. После зверских пыток и издевательств в январе 1943 г. Г. И. Тхор был расстрелян в Нюрнбергской тюрьме.

В феврале 1938 года китайская разведка установила, что в Ханьчжоу на крупной авиационной базе японцы разместили более 50 самолётов. Ранним утром, получив задание отбомбить, наша группа бомбардировщиков взяла курс на восток. Погода в тот день стояла неважная — густая дымка затянула горизонт, только вертикальная видимость оставалась удовлетворительной. Чтобы ввести в заблуждение японскую службу наблюдения, мы, пройдя линию фронта на большой высоте, произвели манёвр в сторону. Над зоной противника самолёты резко развернулись и оказались над целью со стороны солнца. Залаяли японские зенитки. Экипажи снизились. Лётное поле хорошо просматривалось. Бомбы падали одна за другой. В районе ангаров начались пожары. Наша группа легла на обратный курс, когда закончились все боеприпасы. К вечеру из прессы мы узнали, что бомбёжкой уничтожено 30 японских самолётов, сгорели ангары и склады с военным имуществом.

Боевые действия происходили ежедневно. На одном из аэродромов Тайбэя (Тайвань) японцы сосредоточили большое количество контейнеров с разобранными самолётами. Решено было произвести внезапный удар. Операцию назначили на День Красной Армии — 23 февраля 1938 года. В семь часов утра двенадцать самолётов сб взлетели без прикрытия истребителей. Остров находился на большом удалении от материка, и истребительная авиация не сумела бы преодолеть это расстояние. На подходе к цели оказалось, что всё закрыто облачностью. Внезапно в облачности образовалось окно. На цель вышли точно. Бомбы сбросили прицельно. Создавалось впечатление, что японцы приняли наши самолёты за свои. Зенитки молчали. В воздухе не было ни одного истребителя противника.

Было уничтожено около 40 самолётов, потоплено несколько судов. Сгорел трёхгодичный запас горючего. Как передавало японское радио, по результатам нашего налёта начальника военной базы отдали под суд. Комендант аэродрома сделал себе харакири. Тогдашний премьер Китая Го Можо назвал тот бой — «плачем чертей и рёвом богов».

Утренние газеты сообщили сенсационную новость: «Молодая китайская авиация под командованием иностранного лётчика произвела налёт на японскую авиационную базу на острове Тайвань». Фамилия указана не была, и все думали, что герой — американец В. Шмитт. Он командовал эскадрильей, укомплектованной иностранными волонтёрами из стран Западной Европы и Америки. Эти лётчики приезжали в Китай исключительно на заработки и были далеки от мысли подвергать свою жизнь риску во имя китайского народа. Я лично ни разу не видел, чтобы они вылетали на боевые задания. Кто-либо из них сделает один, два круга над аэродромом и садится, делая вид, что самолёт неисправен. Но в тот день Винсент Шмитт с достоинством принимал поздравления коллег, не зная, с чем его поздравляют. По странному стечению обстоятельств именно в этот день председатель авиационного комитета Сун Цзы-вэнь подписал приказ о расформировании эскадрильи, которой Шмит командовал. Эту обиду американский лётчик не смог перенести и укатил в Сянган.

После этого случая японцы какое-то время не появлялись в небе Китая, но потом решили отыграться. Они послали девятку бомбардировщиков под прикрытием восемнадцати истребителей, чтобы уничтожить наш аэродром под Наньчаном. Завязался воздушный бой. Он проходил на глазах жителей Наньчана. Когда бой закончился, население городка принесло для советских лётчиков много корзин с яблоками.

Глава VI

Кислород

В Китае в те годы практически отсутствовала централизованная авиаметеорологическая служба.

Вылетая на боевые задания в тыл врага, мы не знали, какая погода ждёт нас. Никаких метеобюллетений, синоптических карт или карт-кольцовок. Нечего и говорить об оборудовании самолётов навигационными приборами, позволяющими летать в любое время суток.

С июня по сентябрь в центральном Китае стоит жара. Нередко обрушиваются затяжные, до месяца, тропические ливни. Разливаются реки и озёра. Из-за большой влажности и высокой температуры образуется многоярусная облачность. Реки после дождей приобретают тёмно-жёлтую окраску, что затрудняет ориентировку, требуя от лётчиков хороших навыков в «слепых» полётах. Особенно тяжело приходилось, если полёт проходил в грозу или туман. И всё же летали! Выручал опыт пилотирования, интуиция.

В двадцатых числах сентября 1938 г., получив задание на очередной вылет от Г. И. Тхора, я тотчас отправился на стоянку своего СБ. Со мной должен был лететь ещё один бомбардировщик. Только я разместился в кабине, как объявили сигнал воздушной тревоги. Недолго думая, запустив моторы, мы стартовали. Японцы как раз начали сбрасывать бомбы на наш аэродром. Чтобы избежать атаки их истребителей и взрывов бомб, мы, не набирая высоты, на расстоянии 3–5 м от земли отошли от Ханькоу и взяли курс на базу. Выходя из-под удара, к нам пристроился на истребителе И-16 лётчик Орлов. До озера Дунтинху погода была более-менее сносная, но над рекой Сянцзян нависла низкая облачность, переходящая в сплошной туман. По маршруту вдоль реки нас всё ниже и ниже прижимали к земле дождевые облака. Слева — гористые берега, справа — разлившееся озеро.

Мы шли уже в сплошном ливне. Я — ведущим, за мной — один бомбардировщик и один истребитель. Этот страшный полёт продолжался больше часа на предельно малой высоте над водой и ограниченной видимостью. Несколько раз впереди меня проскальзывал и резал курс то СБ, то И-16. Как только мы не столкнулись? Сянцзян — река извилистая, с крутыми поворотами. Я держался всё время русла реки. Видимость «с окошко» просматривалась только под собой. Приходилось иногда перепрыгивать через паруса джонок, подскакивая на пару метров повыше, а потом опять прижиматься к воде. Нервы мои были напряжены до предела. Я решил садиться на ближайший аэродром в Чанша. После меня на посадку пошёл второй бомбардировщик. Его командир Вовна, отличный лётчик, прекрасно владевший техникой пилотирования, на этот раз промахнулся, вероятно, сказалась усталость. Он выкатился за границу аэродрома, попал в канаву и поставил свою «катюшу» на попа. К счастью для него и всех, экипаж не пострадал.

Но это был «скоростной поп». В результате оказалась сильно повреждена кабина штурмана и разрушена система выпуска шасси. Казалось бы «катюша» надолго застряла в канаве. Но в экипаже за стрелка летел техник Виктор Камонин. С помощью китайцев, расклинив брёвнами, он поставил самолёт, закрепил стойки шасси, подправил кабину штурмана и в таком, пусть неприглядном виде, но «катюша» перелетела в Чэнду для восстановительного ремонта.

В одном из боевых вылетов зениткой противника оказался подбит наш бомбардировщик. Командир, лётчик С., отстав от группы и используя высоту полёта, потянул на свою территорию. Ему срочно надо было садиться, так как к этому времени один из моторов уже не работал. В долине между гор просматривалась подходящая полоса, засеянная рисом — поле, отбортованное земляными валами высотой в 40–60 см, и залитое водой. В подобных случаях при вынужденной посадке на рисовое поле есть категорическое указание садиться на фюзеляж, не выпуская шасси. Перед посадкой штурман напомнил об этом командиру, но лётчик С. хотел спасти машину, а возможно, не понял, что сказал ему штурман, и выпустил шасси. Это послужило причиной катастрофы. СБ в конце пробега скапотировал и перевернулся вверх колёсами. Штурман и стрелок-радист сумели выбраться и сразу же кинулись спасать товарища, но тот, попав в небольшой водоём головой вниз и не имея возможности отстегнуться от сидения, захлебнулся. Когда самолёт подняли и поставили на колёса, лётчик оказался мёртв. То была одна из первых наших потерь. Мы тяжело её переживали.

Событие это произошло в провинции Цзянси, у города Янь. По местному обычаю мёртвых ночью выносят за стены города, где за восточными воротами находится специальная погребальная площадка. Здесь до утра под наблюдением городской стражи и оставили тело нашего товарища. У китайских крестьян нет общих кладбищ. Каждого покойника хоронят на своём участке в сооружениях наподобие открытых склепов. В случае переезда в другую провинцию, хозяин обязан забрать с собой всех умерших родственников. Для советских добровольцев места захоронений были определены в городах Наньчан, Ухань, Чунцин. Мы собирались сразу отправить труп в Наньчан, но местные власти попросили нас провести гражданскую панихиду и дать возможность попрощаться с советским героем, погибшим в борьбе за независимость китайского народа.

Когда мы, представители советских добровольцев, подошли к месту прощания, на площади собралась уже огромная толпа. Погибший лётчик лежал на возвышении, накрытый белой простынёй. Рядом стоял высокий дубовый гроб, до самого верха засыпанный растёртой, как пудра, известью. На открывшемся митинге местный мэр произнёс речь, в которой горячо отозвался о Советском Союзе и о добровольцах, не жалеющих своих жизней в борьбе за счастье китайского народа. В определённых местах он выкрикивал лозунги, встречаемые каждый раз традиционным возгласом толпы: «Вань-суй»! (Десять тысяч лет жизни!) с выбросом правой руки вверх.

Начался обряд прощания. Рядом с гробом люди клали пищу: варёный рис, бобы, овощи, лепёшки, листовки с прошением богам о приёме погибшего в рай. Церемония длилась до восхода солнца.

На восходе все встали на колени и опустили головы. Мне предложили сказать последнее слово о нашем боевом друге. Мою речь одновременно переводили в разных концах площади шесть переводчиков. По окончании митинга восемь китайцев, прикрыв лицо одной рукой, опустили лётчика в гроб. Он провалился на дно, и его сразу окутало белым облаком извести. В ту же секунду плакальщики, более пятидесяти человек, зарыдали в голос. Затрещали трещотки, раздались выстрелы из пороховых хлопушек. Китайцы распластались на земле. Тело накрыли дубовой крышкой, все щели замазали специальной смолой и стали грузить на машину. Гроб оказался настолько тяжёл, что его поднимали на специальных рычагах человек тридцать. Плач нарастал, усилились выкрики руководителей церемонии. Под грохот хлопушек, выстрелов, ударов в гонг, гром барабанов машина скрылась в клубах пыли в направлении Наньчана. Мы последовали за ней.

Тяжёлая катастрофа по вине китайской метеослужбы произошла в конце года. 25 декабря 1938 года самолёт, имевший на своём борту двадцать восемь человек, из которых двадцать три, выполнив Правительственное задание, возвращались на Родину, вылетел из Ченду. Прошло расчётное время, а самолёт не прибыл на аэродром назначения.

Нарастала тревога. Запрошенные промежуточные аэродромы по его маршруту не подтверждали пролёта. После полудня погода в этом районе резко испортилась: начался сильный снегопад, видимость нулевая. Только к ночи китайские власти сообщили, что самолёт произвёл вынужденную посадку в горах, всё благополучно, имеются двое раненых. По приказанию Г. И. Тхора была организована поисковая группа. Взяв продукты и тёплую одежду, на рассвете 26 декабря группа выехала на место катастрофы.

В местечке Маньян, у подножия горы, на высоте 1500 м, им пришлось оставить машины и продолжить путь пешком. К вечеру они добрались до небольшой деревушки и остановились на ночлег в домике местного правителя. Переводчик Лоу долго слушал рассказ хозяина дома, потом сказал:
— Вот, что, друзья! Самолёт попал в снежную бурю, обледенел и разбился в горах, в тридцати километрах отсюда на запад. — Тяжело вздохнул и продолжал: — Погибли почти все. В живых осталось только два человека. Эти двое приходили сюда вчера вечером, ночевали и утром ушли к самолёту. Дальше дороги нет. Нужно идти охотничьими тропами. Хозяин даст проводника. Местность здесь глухая, возможны встречи с тиграми и с «хунхузами» (местные бандиты).

Китайцы по своей натуре никогда сразу не сообщают о плохих известиях. Дипломатично смягчая события, они постепенно готовят вас к трагическому финалу.

На следующий день поисковый отряд прибыл к месту падения самолёта. В живых остались только двое — инженер по вооружению Владимир Коротаев и авиатехник Гологан. Оба они размещались в хвостовой части самолёта. Коротаева все друзья прозвали «Пик». Про себя он говорил: «Я — бессмертный. Ни в воде не тону, ни в огне не горю!» Как-то на мотоцикле на большой скорости он попал в аварию. Мотоцикл — всмятку. Володя сломал себе одно ребро. В другой раз перевернулся автобус, в котором ехали наши и китайские специалисты. В результате два китайца погибли, Пик, несмотря на то, что находился под автобусом, отделался лёгкой травмой стопы. И сейчас в этой потрясающей катастрофе откупился у смерти ценой повреждённой ключицы.

Как рассказал нам Коротаев: «Вылетели мы из Ченду примерно в 12:00 дня. Через час полёта погода резко испортилась. Всё небо неожиданно заволокло тёмными тучами. Самолёт вошёл в снегопад, который всё время усиливался. Поднимаясь вверх, машина стала пробивать облака, но тут началось обледенение, появилась тряска. Филинчинский хребет и перевал оказались полностью закрыты облачностью. Видимости никакой. Экипаж то и дело протирал козырьки перед собою. Лётчик Коваль решил разворачиваться на обратный курс. Спустя какое-то время в кабину вошёл штурман и что-то сказал Ковалю, видимо, что можно снижаться, так как по его расчётам горы пройдены. Командир пошёл на снижение, хотя видимость по-прежнему была нулевая, даже крылья самолёта скрывались в снежной каше. Спустя несколько минут после перехода на планирование произошло столкновение. После сильнейшего сотрясения и страшного взрыва в передней части самолёта меня сбило с ног и ударило о внутреннюю часть фюзеляжа. Среди стонов, криков раненых и душераздирающих воплей умирающих пассажиров, просящих о помощи, раздался голос Коваля:
— Кто там живой?!. Помогите!

Я и техник Гологан, преодолевая страшную боль, поспешили к нему на помощь. Он был в полном сознании, попросил вытащить его на плоскость и перевязать ноги. Мы с большим трудом подняли лётчика и вынесли на крыло, кое-как усадили и попытались снять с ног унты, которые были похожи на мешки с костями. Он сразу застонал и сказал:
— Нет, ребята, не надо снимать, а то вы не сумеете их снова одеть, а я тогда замёрзну.
— Что нам делать? — спросили мы командира.
— Идите и найдите ближайший населённый пункт. Сообщите о нас местным властям и возвращайтесь обратно.

Оставив ему немного еды, мы отправились выполнять его приказ. Проплутав десятки километров, набрели, наконец, на китайскую деревеньку, жители которой на все наши попытки объясниться, насторожённо молчали. Случайно я нашёл в своём кармане портрет В. И. Ленина. Моментально ситуация изменилась. Китайцы заулыбались, кто-то пошёл за полицией, нам принесли поесть каши и пампушек. Немного передохнув, с двумя полицейскими мы тронулись в обратный путь. За время нашего отсутствия у разбитого самолёта никого не осталось в живых. Умер и Коваль. Он даже не прикоснулся к еде, которую ему оставили».

После этого случая Володя Коротаев и техник Гологан, объявив себя побратимами, всюду ходили

в обнимку. Пик был высокого роста, худощавый брюнет, глаза карие, всегда смеющиеся, очень добродушный и приветливый. Замечательно играл на губной гармошке. Когда мы уезжали на Родину, он добровольно остался ещё на один год в Китае.

3 августа 1938 года три экипажа СБ: один вёл я, другой — лётчик Котов, третий — Анисимов, получили задание провести бомбометание аэродрома города Аньцин, на котором размещалась японская база по сборке бомбардировщиков. Чтобы лучше поразить цель, мы решили провести бомбометание методом прицельного одиночного сбрасывания с высоты 7200 м.

Длительное пребывание над целью дало возможность японской зенитной артиллерии пристреляться. В момент последнего выхода на цель осколком от разорвавшегося вблизи снаряда был повреждён наддув правого мотора на ведущем самолёте Котова. В это время в воздухе появились истребители японцев — И-96 и И-95. Из-за повреждения мотора мы шли на меньшей скорости, но имели плотный строй. Мой стрелок сообщил, что справа приближаются два самолёта противника. Я заметил их в ста метрах ниже от меня, когда они занимали исходную позицию для атаки. С левой стороны заходили ещё восемнадцать истребителей И-96, а сзади настигала группа из семи И-95.

Японские истребители намеревались атаковать наши самолёты с разных направлений. Мы стали уходить с разворотом вправо, стремясь оторваться от основной группы противника в сторону гор, подальше от линейных ориентиров. Я маневрировал скоростью, то снижая, то увеличивая её, одновременно по сигналу радиста, делая отвороты и довороты в ту или иную сторону. Японский ас на И-96 пристроился ко мне метрах в пяти сзади, так что я видел его лицо. Похоже, то был командир группы, главный самурай, наблюдавший, как его подчинённые ведут себя в бою. Японцы, перейдя на правую сторону, атаковали по одному, стремясь попасть в мёртвый конус и подлезть под стабилизатор одного из наших СБ. Манёвр этот, однако, им не удался. Слаженное наблюдение, быстрый переход стрелков от верхних турельных пулемётов к люковым и обратно, чёткие взаимодействия стрелков-радистов по принципу «защищай хвост соседнего самолёта» не дали противнику достигнуть успеха в бою. Истребители, осмелившиеся подойти на более близкую дистанцию, оказались сбиты. За пятьдесят минут, в течение которых длился бой, было сбито четыре японских истребителя.

Я не терял своего «приятеля» из вида. Он шёл со мной рядом на одной высоте. Сигналом конца воздушного боя послужила его последняя атака. Японец жестом показал, что сделает мне «харакири», на что я в ответ продемонстрировал ему комбинацию из трёх пальцев. Задрав нос своего самолёта, самурай поднялся метров на пятьдесят и, оказавшись за моей «катюшей», приготовился к атаке. Следя за ним, я в момент перехода его в пикирование отвернул самолёт на двадцать градусов влево с сильным заносом хвоста. Правый СБ Котова оказался выше меня, а левый — ниже. Японец тотчас очутился под нашим звеном, в зоне наивыгоднейшего обстрела из люковых пулемётов и в итоге был сбит стрелками. Потеряв пятый самолёт, истребители противника сразу прекратили преследование, развернулись и отошли в сторону. У нас потерь не было, только стрелок-радист получил ранение в ногу, и то продолжал стрелять. Впоследствии на каждом из наших самолётов мы насчитали от двадцати до семидесяти пулемётных пробоин, но все дошли благополучно и сели на свой аэродром.

Бывали и у нас чёрные дни. В одном из боёв японцам удалось сбить группу из пяти наших «катюш». Из пятнадцати членов экипажа на парашютах спаслось только пять человек. Лётчика В. Бондаренко подбили последним. Когда его самолёт загорелся, он продолжал тянуть на свою территорию до последней возможности, и покинул самолёт на низкой высоте, когда на нём уже горел комбинезон. Обожжённый, он приводнился на озеро, кишевшее змеями. Разбивая их клубки, Бондаренко поплыл к берегу. Китайские солдаты, стоявшие в обороне переднего края, не разобравшись, чей лётчик, начали его обстреливать. Каким-то чудом он доплыл до берега. Когда узнали, что он — русский, то несли его на руках трое суток до ближайшего госпиталя. Только через восемь месяцев он выздоровел и снова начал летать, но в последующих боях погиб.

К середине 38 года в Китае наши бомбардировщики летали на высотах от 2000 до 4000 м. Однако с появлением у японцев нового истребителя И-97 нам пришлось поднять высоту бомбометания до 9000 м. Китайские ВВС не имели кислородных станций, поэтому кислород мы вынуждены были закупать в частных мастерских. По качеству кислород был сомнительный, с большим количеством разных примесей, из-за чего члены экипажей, порой, теряли сознание.

8 августа 1938 г. группа в составе пяти СБ получила задание провести бомбометание по кораблям, сосредоточенным на реке Янцзы. При подходе к цели штурман одного из бомбардировщиков почувствовал, что его начало клонить в сон. Несмотря на плохое состояние, штурман успел прицельно сбросить бомбы, закрыть люки и дать пилоту обратный курс на аэродром, после чего потерял сознание. Радист тоже отключился. Командир экипажа, опасаясь нападения истребителей противника, патрулировавших на высоте 6000 м, стал уходить с набором высоты до 9400 м. Пройдя больше часа по заданному курсу и не имея связи со штурманом и стрелком-радистом, лётчик решил снижаться. На высоте 5000 м штурман стал постепенно приходить в сознание. Стрелок-радист очнулся только после посадки самолёта. Уронив перчатку и будучи продолжительное время без сознания на большой высоте, он отморозил руку. При проверке кислородных баллонов выяснилось, что у стрелка-радиста подача кислорода прекратилась из-за замерзания трубопровода.

В другой раз, во время выполнения боевого задания, при переходе на кислород, стрелок-радист сразу же потерял сознание. Полёт продолжался

около трёх часов, и всё это время он находился в бессознательном состоянии. После посадки стрелка-радиста вытащили из кабины. Лицо его посинело, в руках был зажат шланг кислородного прибора. Оказалось, что трубопровод замёрз из-за влажности кислорода. Только при искусственном дыхании он стал приходить в себя. Началась рвота, из-за сильной слабости он не мог стоять на ногах, его отправили в госпиталь.

Несмотря на то, что наши самолёты имели радиостанции, практически мы ими не пользовались. При включении возникали бесконечные шумы, треск, писк, вой и тому подобные помехи, которые только отвлекали лётчиков. По правде говоря, от радиостанций мы сами отказывались, снимая их ещё на заводе, для облегчения самолёта. Радиосвязью не пользовались и потому, что у японцев хорошо была налажена служба подслушивания, а нашим самолётам не хватало надёжного переговорного устройства. Мы использовали переговорные шланги с рупором, на которых на большой высоте при дыхании намерзал лёд, и слышимость резко ухудшалась.

Кислородное голодание не все переносили одинаково. Многое зависело от тренированности организма, способного обойтись меньшей дозой кислорода. Как правило, вопреки нормативам, мы открывали кислородный кран наполовину, тем самым, увеличивая радиус действия самолёта на высотах.

18 августа 1938 года в День авиации, на рассвете, наша группа в составе девяти самолётов СБ — я ведущий — стартовала с аэродрома, расположенного недалеко от линии фронта. После набора высоты — 6500 м экипажи легли на курс и стали пользоваться, как обычно, одной третьей частью кислорода. Многоярусная облачность и густая дымка затрудняли обнаружение цели. У порта Хоукоу в просвете мы увидели группу кораблей. Пока подошли, их закрыла облачность. Впереди по курсу просматривалась ещё одна группа в составе 30 военных и транспортных судов. Бомбардировщики к тому времени находились уже на высоте 8000 м. Долгое пребывание в полосе цели позволило противнику обнаружить нас, и вскоре зенитная береговая, а потом и корабельная артиллерия, открыли интенсивный заградительный огонь. Разрывы ложились в ста метрах позади, левее и ниже самолётов. В момент открытия люков и сбрасывания бомб, мой самолёт резко подбросило вверх. Как позже выяснилось, осколком зенитного снаряда перебило кислородный трубопровод.

На обратном курсе я тотчас начал ощущать нехватку кислорода. Внимание ослабло. Стало трудно следить за ведомыми и показаниями приборов, возникло безразличие к окружающему. В моём сознании зафиксировались две основные задачи: не терять высоты, а идти с набором её и держать ориентир на свой аэродром. Солнце находилось справа по курсу. Периодически мне казалось, что нас атакуют японские истребители, а мой самолёт горит — это при повороте головы в глазах вспыхивали разноцветные искры. Я машинально делал резкие манёвры от воображаемых истребителей, отклоняясь при этом от маршрута и вновь возвращаясь на него, подсознательно ориентируясь на тепло солнца, справа от меня. Мои непонятные манёвры спутали весь строй наших девяти самолётов. Экипажи догадались, что с ведущим что-то неладно, и самостоятельно отошли на свою территорию. Так продолжалось около часа, за мною следовали только два моих ведомых. Когда горючее подошло к концу, мой самолёт стал постепенно снижаться. На высоте 6500 м начала возвращаться ясность сознания. Я услышал в переговорной трубке голос стрелка-радиста: «Товарищ командир, что с вами? Куда мы идём?»

Мне казалось, мы только что вышли из воздушного боя, а моторы не работают из-за поражения их пулемётным огнём истребителей. Стараясь как можно дальше уйти от линии фронта на свою территорию, я держал самую выгодную для планирования скорость. На высоте около 1500 м, открыв крышку фонаря, стал осматривать местность. Она была гористая. Я подыскивал площадку для посадки. Впереди по курсу внезапно возникла гора. Чтобы избежать лобового удара, я резко развернул самолёт на сто восемьдесят градусов. От сильного сопротивления воздуха он потерял скорость и чуть не сорвался в штопор. Отдавая штурвал от себя, я снизил самолёт почти до самой земли, а затем резко рванул штурвал на себя. В результате самолёт снова взмыл вверх и начал парашютировать. Коснувшись земли, он прополз метров пятьдесят и остановился на краю оврага. Я сильно ударился лицом о штурвал и потерял сознание…

Летом 1920 года стояла сильная жара. В воскресный день на Дезертирском базаре я купил большой, жёлтый огурец. Съел его по дороге, а после напился воды в уборной на вокзале. Пройдя половину пути до дому, а идти надо было четыре-пять километров, я почувствовал резкие боли в животе, появились сильные позывы и потянуло меня к нужде: понос лил как из ведра. Дошёл я еле-еле, корчась от схваток в желудке и бегая в кусты. Перед самым домом у меня началась обильная рвота. День был выходным: всё наше семейство и соседи сидели у ворот на скамейке или просто на земле. Когда я появился, мой вид всех перепугал. Уже было известно, что в некоторых районах Тифлиса отмечались случаи заболевания холерой. Я не мог стоять на ногах, а последние метры до нашего подвала полз на четвереньках. Никто мне не помог, все сразу разбежались и стали обливать себя уксусом. Такое поверье осталось у населения ещё от войны с Наполеоном, когда основными лекарствами от всех хворей считались уксус, чеснок и огонь.

Глянув в осколок зеркала, я себя не узнал: всё лицо пожелтело, скулы резко обострились, мутные глаза глубоко ввалились, губы покрыты чёрным налётом. Беспомощный, я свалился на лежанку. Меня мучила сильная жажда, страшные боли до судорог в животе, непрекращающиеся позывы к рвоте и нужде. Наша уборная размещалась в северной части двора метрах в двадцати. Первое время я ещё полз туда, а потом улёгся на земле

рядом, корчась в нечистотах. Собравшись вокруг меня, соседи и зеваки обсуждали это происшествие. На их лицах чередовались различные чувства: сожаление, возбуждение, у кого-то злорадство, что, мол, это не со мной, а с ним. Каждый предлагал свои советы, чем и как лечиться. Кто-то предлагал дать мне огуречного рассола с дёгтем, водку с касторовым маслом, вплоть до сажи с соляной кислотой.

К концу дня прибыла «скорая помощь». Подъехала холщовая фура, запряжённая лошадью, которой правил угрюмый возница в нечистом халате с подозрительными пятнами. Я потерял сознание и не помню, как мы доехали до холерных бараков. Когда я пришёл в себя, то первым, кого увидел, был старик с острой седой бородою. Он склонился надо мною: на меня смотрели добрые блестящие глаза. Я слышал, что он что-то ласковое говорил мне, но понять не мог, очень сильный шум стоял в ушах. В ответ я лишь улыбался этому милому старичку с добродушной улыбкой и светлыми глазами.

В бараке стоял стон. Больные метались, охали, звали кого-то, выкрикивали бессвязные слова. Тяжёлые запахи карболки, хлорной извести, испарения рвоты — всё перемешалось. К горлу поминутно подкатывал комок. Казалось, что пребываешь в нескончаемом хаосе и, задыхаясь, сам начинаешь кричать, что есть силы, зовя медсестру, врача подойти: дать напиться воды или чтобы вынесли во двор подышать свежим воздухом. Но на меня никто не обращал внимания: были дела и поважнее. Доктор, видимо старший, Иван Петрович Ильченко гулким басом покрикивал на студентов и добровольцев, торопя принимать всё новые партии поступающих. Рядом практиковал ещё один медик — высокий, с чёрными усиками, из кавказцев. Он весело и громко отдавал распоряжения — подать сулемы, растереть ноги, положить больного в горячую ванну.

— Эй, вы, как вас там, Петров, а ну-ка потрите ему ноги, только полегче, а не то сдерёте с него кожу.

Это уже про меня. Я сильно мёрз, ноги у меня были как ледышки. Меня тоже клали в горячую ванну. Больные всё прибывали. Некоторые ещё по дороге к бараку умирали, и их сразу отвозили в мертвецкую. Холерных перекладывали на матрасы. Исхудавшие тела, землистый цвет лица, липкая, с едким запахом пота, кожа, зелёные пятна под мутными глазами, кровавая пена на почерневших губах, страшные судороги едва живых тел — всё это сжимало моё сердце невыразимой тоской. Не помню, сколько дней я пролежал в бараке, откуда каждую минуту выносили мертвецов. Но однажды, проснувшись, я снова увидел лицо добродушного старичка доктора. Улыбаясь, он поздравлял меня с выздоровлением.

— Ну, дорогой мой, — торжественно произнёс Абрам Львович, — молись Богу за своё спасение, а более всего твой крепкий организм и молодость победили старуху-холеру. Теперь тебя не возьмёт никакая другая болезнь. Ешь побольше, набирайся сил, а как встанешь на ноги, будешь нам помогать — с этими словами он похлопал меня слегка по щеке и отошёл к другому больному.

Мне сразу стало радостно и светло на душе. Сердце ровно отстукивало в груди чёткий ритм, и я чувствовал, как с каждым приливом крови во мне прибавлялось сил. Через десять дней я был уже совсем здоров и помогал сам, как мог, санитарам и студентам. К тому времени из России прибыло пополнение медотрядов для борьбы с холерой. Всему населению поголовно начали делать прививки, и болезнь резко пошла на убыль.

Когда работы стало меньше, меня, от мысли, что я мог умереть, ещё не познав жизни, не встретив ничего прекрасного, ласкового и доброго, кроме голода, холода и нищеты, сильно стало тянуть в лес, в поле, на свежий воздух. Я любил уходить подальше от бараков. За бараками расстилалось широкое поле скошенной пшеницы, уложенной в копны, поднимались высокие стволы кукурузы. На южных склонах раскинулись виноградники. В садах зрели яблоки, груши, инжир, чернослив. Японская хурма обсыпала своё деревце круглыми упругими мячиками плодов. В дальней стороне темнела полоса смешанного леса, где в дождливые летние дни так много грибов: шампиньонов, лисичек, маслят, которых я так любил собирать, а вечером жарить на костре. За лесом сверкала серебром река Йори. Вдоль реки пролегала полевая грунтовая дорога в Кахетию, обсаженная по краям ветвистыми тутовыми деревьями.

Солнце садилось за гору. Его лучи сверкали на золочёных крестах церквей. Из-за тёмных очертаний садов и леса просматривались крыши города, снующие вверх и вниз вагончики фуникулёра. В окнах домов отражалось розовое зарево заката. Где-то играл духовой оркестр. В воздухе стоял сложный и сочный аромат цветущих деревьев. Со стороны леса веяло тёплым смолистым запахом опавшей хвои, прелыми листьями. Душистые волны тёплого ветра ласкали лицо и всё тело. На сердце было так тихо, радостно и светло, что хотелось петь и кричать во весь голос. Сознание того, что ты перенёс такую страшную болезнь, был на пороге смерти, а сейчас жив, здоров и чувствуешь, как с каждым днём в твоё тело вливается бодрость и сила, о, наверное, не было человека счастливее меня! И я всё шёл и шёл, жадно вдыхая чистый свежий воздух. И мне казалось, что вот за тем холмом я встречу что-то новое, до сего времени мне не известное.

Спустился вечер. Из-за кавказских гор подул свежий ветер. Пыльный столб, точно огромный, надутый парус, пронёсся со свистом и налетел на стену леса и садов. Зашумела листва на верхушках деревьев. Стволы, сильно раскачиваясь, гнулись до самой земли. Чёрный вихрь обрушился на город, над которым встала пыльная завеса. Всё преобразилось. Солнце скрылось за тёмными тучами. Опустилась мгла. Настала пора и мне возвращаться в низкие и мрачные бараки.

С того вечера я потерял интерес ухаживать за больными. Появился страх, что я опять могу заболеть этой жуткой болезнью. Иван Петрович,

видя моё настроение, удовлетворил мою просьбу: выписал, и я ушёл в село «Бадьяуры»…

Экипаж остался невредим, но все ощущали потерю сил и головокружение. Самым слабым был я. Вылезти из кабины смог только с помощью товарищей. Сильно болела голова и всё тело. Мучила жажда. Руки и лицо — обморожены. Стрелок и штурман принялись снимать пулемёты для организации обороны, так как мы точно не знали, на чьей территории находимся. Через полчаса нас заметили жители соседних деревень. Они приблизились и остановились по ту сторону оврага. Мы спросили, как могли на китайском языке: «Джэпан мэйю»? (Японцев нет?) — но понять ответов не могли, так как они говорили на другом диалекте.

Недалеко от нас проходила железная дорога. Через какое-то время появился паровоз, из которого выскочил машинист и подбежал к нам. Он объяснил, что мы находимся в провинции Цзянси. Попросив местных жителей охранять самолёт, мы, забрав пулемёты, парашюты и документы, пошли к паровозу, который и доставил нас до станции. Население городка, узнав, что мы — советские лётчики, приветствовало нас радостными криками. Нас водили по улицам города, несмотря на то, что мы еле-еле держались на ногах. От рикш мы отказались, но они колонной следовали за нами…

Глава VII
Господа русские лётчики

В марте того же года с новой группой добровольцев к нам прибыл Григорий Кравченко. Выпускник качинской школы Григорий был настоящим асом. О нём в частях ВВС ходили легенды. На рассвете следующего дня все собрались на аэродроме. Кравченко принял свою «ласточку» — И-16 с бело-голубыми двенадцатиугольными гоминдановскими звёздами на крыльях.

Получив разрешение на ознакомительный полёт, лётчик надел парашют, застегнул лямки и сел в кабину. Мотор запустился сразу и работал на всех оборотах ритмично. Рукой дал сигнал убрать колодки. Прямо с места истребитель взлетел и пошёл с набором высоты. Сделав несколько плавных виражей, он перешёл на вертикальные фигуры. Внезапно самолёт начал метаться вверх-вниз, переходя в отрицательное пике и крутую горку. Одна фигура высшего пилотажа сменялась другой в головокружительном темпе. Восхищаясь мастерством лётчика, мы смотрели в небо.

Первый раз в своей жизни я увидел настоящий самолёт в начале февраля 1921 года, когда Красная Армия освобождала Грузию от меньшевиков. Рано утром над районом пороховых складов у подножья горы Махатки в небе появился самолёт, самолёт-разведчик. Поднялась суматоха. Войска, занимавшие оборону, оставляя окопы, в панике кинулись врассыпную. Самолёт сбросил две небольшие бомбы, которые упали в открытом поле, далеко от пороховых складов. Одна из них вообще не взорвалась. Но этого оказалось достаточно, чтобы все вооружённые силы меньшевиков вместе с командованием бросились бежать в направлении Батуми.

Это событие растревожило меня. Всё новое всегда имело надо мной большую власть. Если я был в пути в неизвестной местности, меня всегда волновало, что я увижу впереди. Что ждёт меня по ту сторону горы или дремучего леса, на берегу реки, за поворотом дороги?

У каждого человека в детстве или в юности есть свои мечты о будущем. Когда я стану взрослым — кем я буду? Что меня ждёт? Какой-то внутренний голос напоминает тебе о твоём неповторимом призвании. И это чувство с каждым днём нарастает всё сильнее и сильнее и становится постоянной мыслью. И эти думы и мечты делают тебя сильным на всю твою жизнь. Появляется вера в себя, и нет другой силы, чтобы изменить этот настрой. Кажется, что ты и родился с ней, и она была ещё в утробе твоей матери. Да, призвание, оно присуще каждому человеку и, если ты его как можно раньше осмыслил, то ты — счастливый человек. Тебе повезло на твоём жизненном пути. И от этого пути отступать нельзя, какими бы ни были трудности в достижении намеченной цели.

С того самого дня, когда я увидел парящий в воздухе, как птица, самолёт Красной Армии, я загорелся мечтой увидеть этого смелого лётчика — одного лётчика, от появления которого сбежала вся меньшевистская армия в несколько сотен тысяч вооружённых до зубов солдат и офицеров. С тех пор не только наяву, но и во сне всё для меня было связано с полётом. Либо я сам парил в воздухе, управляя телом руками и ногами, либо находился внутри какого-то причудливого аппарата или планера. И когда я просыпался, то всё думал и верил, что придёт время, и я взлечу в небо, но когда это будет, я не знал…

Вдоволь испытав ласточку на перегрузки, Кравченко к концу полёта свалил её в штопор. Завернув десятка полтора витков, вышел из штопора у самой земли. Посадку произвёл чётко на три точки у посадочного знака. На вопрос механика, как работал мотор, ответил: «Всё нормально».

В конце апреля 1938 года завязались ожесточённые воздушные бои в районе Уханя. Нас предупредили, что японцы готовятся нанести мощный бомбардировочный удар. Сведения оказались точными. Около десяти часов утра посты наблюдения донесли, что курсом на Ухань идут несколько групп бомбардировщиков под прикрытием истребителей. На мачте поднят синий флаг. Объявляется готовность номер один. Взлетает зелёная ракета — сигнал авиаторам запускать моторы. Уже выложена стрелка в направлении, откуда идёт противник. Воздушное пространство аэродрома моментально заполняется рёвом моторов и дробной очередью пулемётов.

Первым ведёт эскадрилью истребителей Алексей Благовещенский — редкой храбрости командир наньчанской истребительной группы.

На фоне гор вырисовывается вражеская армада. В плотном строю клина девяток друг за другом

летят бомбардировщики. В стороне от них, отсвечивая на солнце красными кругами на крыльях, «этажеркой», идут японские истребители — И-95 и И-96.

Второе звено уводит за собой в небо «бог и царь» воздушного пилотажа Григорий Кравченко.

Скрестились огненные трассы. Воздушный бой перешёл на вертикальный манёвр. Мелькают друг перед другом атакующие и выходящие из атак самолёты. С первой же атаки сбиты два бомбардировщика, в том числе ведущий группы — японский полковник.

Оставшаяся семёрка японских бомбовозов сомкнулась, чтобы легче было обороняться, но из-за непрерывных атак наших ястребков рассыпалась и, сбрасывая бомбы, куда попало повернула обратно. По одному на разных высотах, дымя и форсируя моторами, обратившись в бегство, они становятся лёгкой добычей. Собрав свою группу, Алексей Благовещенский на максимальной скорости бросился в погоню. Внизу обозначились костры пылающих самолётов, но ни одного облачка парашюта не отделилось от них. Японское командование в целях поддержания стойкости самурайского духа выдавало парашюты только заслуженным асам, жизнь которых считалась особо ценной для империи. В воздушных боях 1938 года, по словам китайского историка Пын Мина, советские лётчики разгромили такие считавшиеся непобедимыми японские авиаэскадрильи, как «Воздушные самураи», «Четыре короля воздуха», «Ваки-кодзу», «Сасэбо».

На всех высотах шли бои между истребителями. Строй нарушился, каждый дрался самостоятельно. Самолёты И-15, более маневренные, вели бои на горизонталях и, особенно, на виражах, а И-16 — на вертикалях и вдогон. Всё небо было исчерчено трассами светящихся пуль. Группа Благовещенского вернулась на свой аэродром, когда горючее было уже на исходе. В результате непродолжительной схватки японцы потеряли 21 самолёт, а китайская авиация — 2. Все ханькоуские газеты подробно описывали подвиг китайской авиации. По понятным причинам не было названо ни одной русской фамилии, хотя бои вели преимущественно советские добровольцы, среди которых: Благовещенский, Губенко, Кравченко, Душин, Беспалов, Грицевец, Пунтус и др.

Поражение в воздушном бою 29 апреля 1938 г., да ещё в день рождения японского императора, буквально потрясло японское командование. В панике оно срочно перебазировало свою бомбардировочную авиацию с прифронтовых аэродромов вглубь.

Самолёт Благовещенского всегда стоял рядом с командным пунктом. Достаточно было поступить сигналу о появлении противника, как командир эскадрильи взлетал первым. Авторитет его был непререкаем. Он был неистощим на выдумку и боевую смекалку. По его предложению в кабину каждого самолёта поставили бронеспинку, что надёжно предохраняло лётчиков от пуль. Носил он вязаный свитер, серую замшевую куртку, которую в одном из боёв японцы основательно продырявили. Механик хотел починить её, но Алексей отказался.

— Что ты, милый! С заплатой я буду ходить, как оборванец. А тут — боевая отметина, чуешь разницу?

У Благовещенского были широкие, как у запорожца, штаны. На вопрос, к чему такой фасон, он неизменно отвечал: «Чтобы подчинённые не видели, как у меня дрожат колени, когда бывает страшно».

Через неделю в эскадрилье Благовещенского виртуоз пилотажа Антон Губенко, израсходовав в воздушном бою боекомплект, применил таран, второй таран после П. Н. Нестерова, причём с благополучным исходом для атакующего. «Встряхнуло, как на столб наткнулся. Японец штопорит, с крыла у него шмотья летят, а моя «ласточка» слушается». Всего в Китае Губенко сбил семь японских самолётов. За свой подвиг он бал награждён китайским Золотым орденом.

Крепыш, с приятным, серьёзным лицом, спокойный, рассудительный, с быстрой реакцией, способный моментально оценивать воздушную обстановку и принимать решение, — таким запомнился мне Антон Губенко

Личный состав — лётчики, штурманы, стрелки-радисты, авиатехники — жили в общежитиях, в трёх километрах от аэродрома. Распорядок дня оставался неизменным. Мы всегда находились рядом с самолётами на случай внезапного налёта японцев. Независимо от погоды, за час до рассвета, лётчики выезжали на аэродром, техники приезжали ещё раньше — часа за два.

Не знаю почему, техники все были с Украины. «Виткиля вы сюды припхалыся? — спрашивал авиатехник Серготюк (Из воспоминаний доктора Белолипецкого). И сам себе отвечал:

— Припхалыся мы с далэкой Украины, щоб добыть китайскому народу щастлывой доли»!

У того же Белолипецкого есть описание отца: «Боевые действия группы наших бомбардировщиков возглавлял Сидор Васильевич Слюсарев — сухощавый, высокого роста, отличной физкультурной выправки, блондин». (Ну уж, только не блондин! Отец был тёмно-русый. Может, выгорел, открывая колпак над пустыней Гоби?).

Томительно ожидать воздушной тревоги. Лётчики — кто лежит под крылом своего истребителя, кто под навесом из бамбука. Где-то тихо напевают задушевную украинскую песню. Кое-кто пытается вздремнуть, но заснуть не может, то и дело поглядывая на сигнальную вышку. Наконец, долгожданная тревога. По сигналу ракеты с командного пункта мы взлетаем и уходим из-под удара в зону ожидания, в 50 км от аэродрома. Примерно через полчаса ведущий эскадрильи на бреющем полёте возвращается провести разведку: цел ли аэродром и нет ли поблизости противника. В случае если на посадочной площадке — полотнище в виде буквы «Т», что значит — всё в порядке, он идёт за остальной группой и приводит её домой. Если же лежит «крест», то, в зависимости от наличия горючего, мы либо «барражируем» в зоне, либо уходим на запасной аэродром.

Обедали тут же, на аэродроме. Кухня водилась как европейская, так и русская. Обед китайских лётчиков насчитывал десять-двенадцать блюд. Есть с помощью «куйадзами» (палочки) не так просто. С первых попыток наши лётчики протыкали ими местные пельмени насквозь. Напротив — улыбающиеся китайцы, зажав куриное яйцо палочками, крутят им, как игрушкой. Я, к слову сказать, довольно быстро обучился, даже ел таким образом суп. Частенько обедал в компании китайских лётчиков, что сильно им импонировало.

После сигнала «отбой» надо зачехлить материальную часть, выставить караул и сторожевые посты. Возвращались на отдых в «литише» поздно, переодевались, принимали душ и шли ужинать. После ужина часто заводили патефон. У нас был широкий выбор пластинок из репертуара Лещенко и Вертинского.

В Хэнъяне в нашем общежитии всё время крутился один китаец по имени Саке. Почему я запомнил это имя? Потому что от него всегда шёл запах рисовой водки «саке». Он был маленького роста, сгорблен, чрезвычайно неприглядной наружности: углы рта всегда опущены вниз, глаза как у хорька — маленькие чёрные точки, непрерывно бегающие с места на место. Китайцы относились к нему с удивительной холодностью. Он чувствовал неприязнь к себе и никогда не сердился. Саке был настолько лишён самолюбия и так робок, что, что бы ему ни говорили, как бы его ни разыгрывали, у него даже не менялось выражение лица.

С рассвета до темноты он возился по хозяйству: мыл посуду, рубил дрова, с особым рвением чистил уборные, так как содержимое переходило в его собственность. Работал чернорабочим на кухне, надраивая до солнечного блеска кухонную посуду, рубил дрова для плиты, зимой и ранней весной разносил в комнаты нашего общежития жаровни с раскалёнными углями. В его обязанности входило также смотреть за зверинцем, где в клетках содержались обезьяны, которых одних он искренне любил. Часто, стоя возле них, он что-то бормотал себе под нос. В эти минуты обезьяны переставали бегать по клеткам и, казалось, внимательно его слушали.

Все советские лётчики были снисходительны к нему. Жалея Саке, отдавали ему еду, поношенную одежду, при встрече всегда угощали папиросами. Брал он их с особым почтением, но никогда не закуривал, а прятал за пазуху. Никто не интересовался, откуда он? Кто определил его на работу? Словом, он был вне поля зрения нашего и китайского командования.

Во время ночных налётов наш лётно-технический состав вместе с обслуживающим персоналом выезжал за город километров за пятнадцать. Как правило, один наш истребитель всегда патрулировал в воздухе с целью провести разведку — не подсвечивается ли наш аэродром? Существовала договорённость, что самолёт должен обстрелять то место, откуда идёт подсветка, а мы по светящимся росчеркам трассирующих пуль должны тотчас выслать группу вооружённых солдат. В одну летнюю ночь среди задержанных на южной окраине аэродрома с поличным был взят и наш Саке. При нём нашли карманный фонарь для подсветки. Он оказался крупным японским шпионом, и его казнили на другой день после задержания.

Алексею Благовещенскому, который возвращался на Родину на подбитом им японском истребителе, подсыпали в бензобак сахар. Его самолёт потерпел аварию в горах, сам он чудом остался жив.

К нашей группе был приставлен переводчик, по имени Ван Мо. В детстве он жил в Харбине, учился в русской школе. Впоследствии, по его словам, бежал из Маньчжурии от преследований японцев. Он довольно хорошо владел русским языком, сносно разбираясь в авиационной терминологии. Старался войти к нам в доверие, но мы, особенно после случая с Саке, не очень ему доверяли. Переводчик Ван был многоречив. Как-то, отозвав меня в сторону, объявил, что он собирается жениться, и пригласил меня и моего штурмана Виктора Терлецкого выступить свидетелями со стороны жениха. Через неделю сыграли свадьбу. Угощение насчитывало около полусотни блюд. Водка подавалась в чайниках, подогретой до восьмидесяти градусов, при этом молодожёнам полагалось сказать что-либо пикантное. Невеста всё время сидела молча, потупив глаза и опустив голову. Иногда она приподнималась и кивком благодарила за добрые пожелания, сигналом к чему служил толчок жениха, который в определённое время наступал ей на ногу.

Чтобы вернуться к себе в общежитие после свадьбы, нам надо было переправиться через реку Сянцзян — достаточно глубокую и быструю. Переправлялись на китайской джонке. Перевозчик вращал веслом, вставленным в уключину на корме, не вынимая его из воды. Когда мы уже подходили к причалу, Виктор стал расплачиваться с лодочником и, будучи в приподнятом настроении после свадьбы, протянул тому десять долларов. «Что ты делаешь?» — я пытался ему помешать. — «У меня есть мелочь». Перевоз стоил два-три цента. Но не успел я докончить фразу, как наш капитан, сунув десятидолларовую банкноту в рот, прыгнул в реку, бросив свою лодку на попечение волнам в прямом смысле слова. Не умея управлять, точнее, вертеть этим проклятым веслом, мы вместе с лодкой неслись вниз по течению. С большим трудом нам удалось пристать к берегу очень далеко от дома, а хозяин так и не вернулся, видимо его джонка стоила много дешевле, чем дал ему Виктор.

Надо сказать, что Ван производил впечатление весьма беспечного человека. Он часто рассказывал о своей бурной молодости. Гордился тем, что был знаком с дочерью русского полковника царской армии, и что в трудные времена та поддерживала его, зарабатывая в публичном доме. В то время проституция была узаконена правительством. В определённых кварталах каждого города существовали дома терпимости, подразделявшиеся на категории. Для высших чинов — три красных фонаря, дальше по рангу — два, и самый низший — один. Кроме того, в таких крупных городах, как Шанхай, Гуанчжоу, Ханькоу в любом баре за

50 американских долларов можно было найти девушку любой национальности.

Для нас Ханькоу оказался очень интересным городом. Созданный из двух городов, расположенный в устье притока Янцзы, он при Чан Кай-ши получил статус столицы и название Ухань. Янцзы в переводе означает голубая река, хотя вода в ней всегда была молочно-кофейного цвета. Движение по Янцзы — оживлённое. Река буквально забита парусниками, сампанами, джонками, лодками, буксирами. Все китайские города — необычайно шумны. На улицах всегда полно велосипедистов, носильщиков паланкинов, рикш. Надо сказать, что рикши толпами преследовали нас, предлагая свои услуги. Мы же никогда ими не пользовались. Нам, не привыкшим видеть езду людей на людях, этот вид транспорта представлялся наглядным примером грубой эксплуатации человека человеком. Рикши обижались, мол, русские не дают заработать. Из жалости ребята просто давали им денег, либо, выкупив на время коляску, прогуливали в ней, например, шляпу. А то, запрягаясь по очереди, катали друг друга. К шуму транспорта прибавляется шум от уличных торговцев. Голосами, трещотками, рожками, гудками, ударами в барабаны и тарелки, звоном в колокольчики сзывают уханьские продавцы к своим товарам.

С крыш и стен домов, через улицу свисают узкие полотнища, исписанные иероглифами. В витринах выставлены муляжи продаваемых товаров. Город залит ярким светом. Магазины, расцвеченные фонариками, торгуют допоздна. Зазывалы буквально затягивают в свой магазин. Как только зайдёшь внутрь, навстречу тебе с улыбкой во весь рот, сложив руки для приветствия, бегут приказчики, мальчик-бой. Несмотря на протесты, мальчик старается щёткой смахнуть пыль с твоей одежды и обуви. Хозяин в тёмно-синем халате, с чётками и веером в руках, предлагает чашечку зелёного горячего чая или прохладительный фруктовый напиток. Старший приказчик, перебирая ключами, распахивает вертикальные и горизонтальные витрины, демонстрируя товар. Мы, в свою очередь важно запрашиваем: «Ту-Шачен?» (Сколько стоит?). На этом знания китайского у нас обрываются, и мы переходим на арифметику. Пишем цифры на бумаге. Процедура затягивается, пока не найдём золотую середину. Торгуются же китайцы похлеще наших цыган.

Тут же на улице и бреют. По-китайски, если побриться, то это означает и выспаться. Бреют в лежачем положении, в специальном кресле, наподобие зубоврачебного, и таким ножом, что им впору резать поросёнка. Перед началом бритья парикмахер нажимает педаль ногой, и вы вместе с креслом резко опрокидываетесь на спину. Как-то мы неудачно пошутили над нашей «бородой номер один» — Виктором Камониным, который, наконец, решил с ней расстаться. Все китайцы приветствовали его не иначе как: «Да хуцза! Хэнь хао»! (Длинная борода! Очень хорошо!) Когда парикмахер нажал на педаль, Виктор страшно перепугался. Подумал, что его хотят зарезать, и чуть не избил добрейшего Мишу-брадобрея. Но зато, когда привык, то часто засыпал в кресле под мерный гул вентилятора.

В Ухане мы часто встречались с нашими соотечественниками, русскими эмигрантами. Часто подходили русские юноши, одетые в заплатанную, но чистую и отутюженную одежду. Они стыдливо просили:

— Братец, дай, пожалуйста, на хлеб.

Как-то в одном из мануфактурных магазинов мы обратили внимание на разговор хозяйки с одним из её служащих:

— Граф, — с достоинством изрекла хозяйка, — разверните товары и покажите господам русским лётчикам, что мы получили недавно из Шанхая.

— Слушаюсь, княгиня, — отвечал тот.

Мы волей-неволей посмотрели на «графа», который с поклоном и заискивающей улыбкой предлагал нам товар. Выйдя на улицу, мы ещё долго смеялись.

(На территории Китая наши волонтёры, следуя инструкции, избегали обращения «товарищ», но и обращение «господа» чрезвычайно их смущало. Каждый обязан был выбрать себе псевдоним. К отцу обращались — господин Сидоров.)

В другой раз мы зашли как-то в одно заведение поужинать. Владелицей ресторана оказалась русская, до революции принадлежавшая к высшей знати. Зал пустовал. Как только мы вошли, оркестр из пяти человек встретил нас маршем из кинокомедии «Весёлые ребята». Вдоль стены сидели молодые девушки разных национальностей, всего человек десять. Заказали ужин на четверых. Я в шутку заметил:

— А есть ли у вас кахетинское вино, марки «Мукузани»? Метрдотель, тоже русский, с достаточно привлекательной наружностью, принимая заказ, заверил:

— Если русские господа подождут минут тридцать, вино будет им доставлено.

В зале прислуживал пожилой слуга-китаец. Пока мы ожидали, к нам подсели девушки и стали расспрашивать про Россию и новые порядки. Коекто из наших пошёл танцевать. Неожиданно в ресторан вошли четыре американских матроса с военного корабля, застрявшего в порту Ханькоу. Они были уже навеселе. Сели рядом за соседний стол и заказали по кружке пива. Внезапно один из них подозвал слугу китайца и, когда тот подбежал, плеснул тому в лицо пиво. Музыка сразу перестала играть. Подвыпивший американец демонстративно вышел на середину зала и, широко расставив ноги, стал смотреть на нас в упор. Штурман Виктор Терлецкий и Ваня Черепанов, радист, хотели вступиться за китайца, но я их остановил, заметив, что это — провокация и нужно иметь больше выдержки. Через пять минут все успокоились и заняли свои места. Заиграла музыка, начались танцы. Разбушевавшегося матроса отвели его товарищи, но он всё время рвался к нашему столу. Прошло какое-то время, я и не заметил, как буян снова возник перед нами. Пошатываясь, нависнув над нашей компанией, он в упор рассматривал содержимое стола. Я предложил ему стоящий рядом стул и пригласил сесть, желая его угостить.

Это был рядовой матрос с тральщика — высокий, белокурый, с простым симпатичным лицом, которое портил напряжённый и злобный взгляд. Взяв предложенный стул, он перемахнул через его спинку ногой и демонстративно уселся спиной к нам. Тут уж нашей выдержке пришёл конец. Я что было силы отпихнул стул ногой. Задира ткнулся носом в пол и пополз, путаясь со стулом, не находя точки опоры, чтобы встать. Мы подхватили его под руки, раскачали и вышвырнули на улицу. Морячок на большой скорости всем своим телом распахнул двери и вылетел на мостовую. По молчаливому договору, ту же участь разделили с ним его товарищи. Как только последний из них вылетел из ресторана, слуга китаец молниеносно захлопнул входную дверь и дополнительно затянул её раздвижной решёткой, радуясь, что так ловко отомстили за него.

С улицы продолжали доноситься шум и крики неудачливых танцоров. К этому времени поспел и наш шашлык по-карски, а хозяйка-княгиня в честь «победы» господ русских лётчиков не поставила стоимость кахетинского в счёт.

Глава VIII

Хо — пухо

Каждый раз после возвращения с боевого задания, неизменно вставал вопрос: как быстро можно устранить повреждения и сколько машин ввести в строй к утру следующего дня. И тут все надежды возлагались на механиков. Иногда диву давались, как можно починить то, что впору оттащить на свалку? Настоящими асами своего дела были техники-стрелки Василий Землянский, Виктор Камонин, Иван Мазуха. Они прямо-таки творили чудеса. На авиакладбище выискивали пригодные детали, узлы, свозили в капониры (земляное прикрытие), всё это собирали, стыковали и, глядишь, ожила «катюша». Нередко техники летали на боевые задания за стрелков. Из-за большого объёма работы часто ночевали под крылом самолёта, на дутике (хвостовое колесо).

Приказ при налётах укрываться в щелях нет-нет да и нарушался. Предусмотрительно сняв чехлы с задних ШКАСов, ребята словно бы ожидали появления японских штурмовиков и незамедлительно пускали в ход оружие. Не раз попадало за это «фарманщику» — Васе Землянскому. У нас в группе его прозвали «фарманщиком» за то, что он долгое время летал на бомбардировщике Фарман-Голиаф. Ко мне в группу он пришёл с трассы, где налетал стрелком более сто часов, перегоняя истребители на фронт.

— Это кто же позволил нарушить порядок?

— Дык… Сидор Васильевич…

— Никаких «дык»! Понятно? Ишь, герой нашёлся!

Ругать-то я их ругал, а в душе сознавал: на то оно и оружие, чтобы стрелять не только в воздухе, но и на земле.

К каждому механику был прикреплён китайский помощник. Местное начальство часто меняло их, считая нежелательным длительный контакт с советскими людьми. Китайские механики, наоборот, стремились к общению. Специалистами они были не ахти какими, но их отличало трудолюбие, исполнительность. Заправка самолёта горючим, маслом, чистка и мытьё — все эти операции они выполняли очень тщательно. Между собой старались учить друг друга и языку. Так вспоминал о своём опыте общения техник Корчагин:

«В китайском языке много шипящих и почти отсутствует звук «р». В произношении иероглифов настолько тонкие нюансы, что нам не удавалось уловить их даже при многократном повторении одного и того же слова. Мы сидим под крылом самолёта, и обучающий меня механик Ли произносит:

— Шен.

Я повторяю за ним:

— Шен.

Он отрицательно качает головой:

— Шен.

Вслед за ним я говорю:

— Шен.

И так может продолжаться без конца. Тогда китайца осеняет мысль, что я вообще косноязычен и не в состоянии произнести требуемое слово. Он даёт это понять следующим образом: высунув свой язык, притрагивается к его кончику пальцем, а потом, показывая рукой в сторону моего языка, заключает:

— Пухо (плохо).

Это означает, что мой язык с дефектом, и ему непосильны да даже самые простые слова и звуки.

Тогда я перехожу в «наступление». Тут уж приходится нажимать на букву «р».

— Держатель, — начинаю я.

— Телезате, — повторяет он.

Я отрицательно качаю головой и продолжаю:

— Краб.

— Кылапе. Хо? (хорошо?) — старается мой ученик и с надеждой смотрит на меня.

Я опять качаю головой. Затем идут слова — «рыба», «рак»…

Ли понимает, что не справляется с задачей, и тогда я, показывая на свой язык и на собеседника, выразительно произношу:

— Пухо!»

Во второй половине сентября 1938 года японцам удалось захватить пункт Лошань — в сорока пяти километрах севернее Ухани. Китайское командование, готовя контрудар, решило привлечь авиацию для организации взаимодействия с наземными войсками. С этой целью на передний край линии фронта выслали авиационную группу, в состав которой, кроме меня, вошли старший штурман Виктор Терлецкий, штурман эскадрильи Сыробаба и переводчик Ван. Мы рассчитали время выезда на «Форде-8» так, чтобы переправу на реке Ханьшуй одолеть ночью, в виду того, что переправа постоянно находилась под прицелом японской артиллерии.

Выехали на рассвете, по глинобитной дороге, ещё скользкой от дождя. Вскоре спустились в долину маленькой речушки. Ниже шёл ряд запруд для рисовых полей, маленькие озёра, заросшие

осокой, над которыми дымился восходящий туман. Высокие стебли бамбука, камыш, а также чайные кусты и цитрусовые деревья стояли, покрытые серебристой росой.

Дорога начала зигзагообразно подниматься в гору. Повеяло прохладой. Долина опускалась. Теперь террасовые квадратные и ромбовидные рисовые поля казались игрушечными полосками и треугольниками, а причудливые узкие дороги и тропы, извиваясь и раздваиваясь по склону хребта, обращались в многоголовых драконов и фантастических змей. В стороне от дороги зеленели мандариновые рощи. Наш переводчик Ван подсказал, что это — дикие мандарины, ими хорошо утолять жажду, их можно рвать. Наверное, он сказал это потому, что мы всегда старались ничего не брать в садах и на полях крестьян, зная, как много труда затрачивают они, чтобы всё это вырастить. Из любопытства мы сорвали несколько штук. На вкус они оказались чересчур сладкими и отдавали каким-то запахом. Через час нас остановила военная патрульная служба, не позволившая ехать дальше до наступления темноты, ввиду риска обнаружения нашей машины с воздуха. Пришлось остановиться.

В стороне от заставы виднелось несколько фанз. Пока наши товарищи раскладывали продукты и готовили еду, мы с Виктором Терлецким подошли к одной из них. Из первой фанзы выскочила собака и, поджав хвост, скрылась в кустах. Мне стало любопытно, отчего собаки здесь не лают и не бросаются на людей, как везде. На что Виктор, недолго думая, ответил:

— А какой смысл ей на тебя бросаться? Она же видит, что у тебя на поясе в кобуре лежит «тт». Хозяина её дома нет. Кто же сможет по-настоящему оценить её преданность и верность? И потом, она всё же рассчитывает, что ей, голодной, что-то может перепасть от нас.

По разбросанным вещам в хижине можно было сделать заключение, что хозяин поспешно ушёл или его «ушли». В углу валялся разбитый глиняный кувшин из тех, в которых крестьяне хранят кукурузу, гаолян, чумизу, бобы. Очаг разрушен. Прислонившись к стене, стоял гроб. Вероятно, хозяин приготовил его для себя, но решил ещё пожить и, спасая жизнь, бросил домину японскому врагу. Весь день мы провели в заброшенной деревне. К вечеру устроили привал в бамбуковой роще и развели костёр…

Отец любил разжигать костёр. В воскресные дни мы часто уходили с ним в лес. Хорошо в предрассветный час шагать босиком по пыльным, извилистым тропинкам среди холмов и оврагов, покрытых кустарником «держи-дерево» или ежевикой, под звон жаворонков, скрип кузнечиков и свист сусликов. Привал. В котелке бурлит кипяток. Начинается процедура засыпки кукурузы и готовка мамалыги. Иногда печём картошку, иногда поджариваем шампиньоны, собранные у подножья гор. Дым свечей идёт вверх. Кругом тишина, всё живое попряталось в тень. Отец давно уже спит, а я, как зачарованный, растянувшись на земле и заложив руки под голову, гляжу в небо. По небу, как по голубому морю, плывут причудливые белые облака. Как интересно строить догадки, кто за кем гонится, кто кого догоняет, куда они плывут? Всё расплывается, и я сплю крепким сном на тёплой земле.

Соседний район от Тифлиса — Кахетия. В этих местах и «промышлял» отец, меняя наши носильные вещи на кукурузную муку, зерно. В Кахетии кроме грузинских, татарских сёл попадались и русские. В одну из таких деревень — «Бадьяуры» отец и определил меня к зажиточному мужику Силиверстову Тихону Ивановичу.

Как он договорился с моим будущим хозяином и сколько я должен был получать за свой труд — я не знал. Напоследок он заверил меня, что дядя Тихон — хороший человек и что я должен его во всём слушаться. Сам хозяин пообещал, что никто не посмеет меня обидеть. На прощание отец поцеловал меня и со словами:

— Если будет трудно, или что-либо случится, сразу напиши мне, — ушёл.

Интересно! Кому я мог писать?!!! До ближайшей почты на станции — десять километров. Что я мог написать, когда не имел ни копейки денег на конверт, бумагу, марку. Моё состояние было ужасным. В первый раз я попал к чужим людям, да ещё в качестве батрака, в одиннадцать лет. Я забрался в конюшню и заплакал горючими слезами навзрыд, как будто мне было три или четыре года. Я был напуган и обижен несправедливостью отца. Хорошо ещё, что в тот тяжёлый для меня день с утра шёл дождь, и не надо было выезжать в поле. Так в слезах я и заснул в яслях вместе с лошадьми.

На меня как на рабочую силу ложился, на первый взгляд, небольшой объём работы — сидеть верхом на одной из лошадей передней пары и править ими, чтобы косилка шла по борозде вплотную к пшенице. Ну и, конечно, уход за лошадьми. А это значит: кормить, поить, пасти, чистить.

Хозяин часто бывал пьян. Даже во время работы он умудрялся доставать на ходу из ящика, где хранились инструменты, бутылку водки и после каждого круга скошенного хлеба заряжаться из горлышка. Тут солнце, мой друг, начинало припекать ему голову, и дядя Тихон валился с копыток долой. Я распрягал коней, путал им ноги и пускал пастись. Когда солнце склонялось к западу, наш Иванович просыпался и, как ни в чём ни бывало, объявлял:

— Ну, Сидорка, хватит нам работать. Пора пообедать и немного отдохнуть.

Я разжигал огонь. В подвешенный котелок с водой засыпал пшено, клал картошку и заправлял салом.

Трещит костёр, а ему в сумерках вторят перепела: «спать-пора», «спать-пора». Это перепел приглашает свою подружку к себе на ночёвку. Посвистывают жаворонки и другая степная птица. Лошади в темноте подходят ближе к костру, продолжая степенно жевать и пофыркивать.

Хозяин раскладывает снедь на полотенце — домашнюю свиную колбасу, овечий сыр, пирожки с различной начинкой, солёные и свежие огурцы,

помидоры, лук, чеснок, сало и соль. К этому времени кулеш уже готов. Дядя Тимоша, так я его называл, наливает в кружку водку и с заискивающей улыбкой протягивает её мне:
— Слушай, работничек, может, глотнёшь маленько?
Я отвечаю:
— Что Вы, дядя Тимоша, это же водка?
— Ну и что же? — продолжает он.
— Да как же, ведь её пьют одни только пьяницы.
— Ну вот, выдумал что!

И не обращая больше на меня внимания, доливает доверху кружку и медленно начинает тянуть из неё, только кадык его ходит вверх-вниз. Опорожнив кружку, он сильно кряхтит, плюётся, чихает, охает, сморкается, утирая выступившие на глазах слёзы. Потом отправляет большой солёный огурец в рот и ещё долгое время всхлипывает, как будто плачет от страшной боли и страдания. Но, в конце концов, приходит в себя, растирает рукой грудь возле сердца и заплетающимся языком произносит:
— Чёрт, какой дьявол её выдумал, проклятую! Слава Кахетии! Слава нашей деревне «Бадьяуры»! Не будь Кахетии, не было бы такой дешёвой водки и вина.

Наевшись, дядя Тимоша отдаёт мне остатки пищи. Я ем и оставляю про запас. Луна уже взошла, так что можно различить стоящие копны хлеба, пасущихся лошадей, косилку на борозде, похожую на «избушку на курьих ножках». Бурьян перекати-поле, если всматриваться в него долго, превращается в причудливые, зловещие фигурки. От этого становится немного жутковато, дрожь пробегает по спине. Хочется придвинуться к огню. Лошади разбредаются на кормёжку, и мне приходится идти за ними, чтобы подогнать ближе к ночлегу. И так до самого утра, пока проснувшийся на рассвете хозяин не заставит меня запрягать, и пойдёт изнурительная езда на коне до самого вечера. На ягодицах нет живого места, и я ёрзаю на лошадиной спине, за что от хозяина мне опять попадает.

В августе погода испортилась, зарядили дожди. Прикинув, что ненастье затянется надолго, дядя Тимоша уехал в деревню. Я остался один в поле сторожить лошадей, косилку и телегу. Перед отъездом он наказал:
— Ты, Сидорка, хорошенько смотри за скотиной и имуществом, а я пришлю к тебе своего сына Ваську для помощи, кстати, он привезёт и харчи.

К тому времени, кроме буханки хлеба, другой еды не осталось. Прошёл день, другой, а посланца всё нет и нет. Погода хуже некуда — хлещет косой дождь с ветром. По утрам и вечерам — холодные туманы. Всё промокло. На мне нет сухого места. Я, как смог, подтянул брезент и смастерил под телегой что-то вроде шалаша. Лошади и те встали мордами по ветру, не пасутся. Наконец, к вечеру третьего дня объявился хозяйский наследник со сворой собак.

Когда Васька приехал, то решил показать, кто здесь хозяин. Осмотрев всё ли налицо, он стал вытаскивать из мешка продукты, но делал это так, что они валились у него из рук на землю. Грызясь между собой, подхватывая на лету куски, свора собак сжирала тут же всё в кустах. Делая вид, что происходит это случайно, Васька кричал мне:
— Что же ты стоишь, как олух? Не видишь, что собаки едят твои харчи? Немедленно отбери у них или останешься голодным.

Но я знал, что значит отобрать у голодной собаки. Я ему ничего не ответил, а молча отошёл в сторону.

Дожди шли ещё несколько дней. Я питался одним только «хлебом насущным». Почему-то мне не везло у Селиверстова. Никому я был не нужен. Мне попадало от всех. Хозяйские собаки нападали на меня, валили на землю, оставляя на память рваные раны. Даже лошади и те не любили меня, видимо потому, что я спал в их кормушке. Под утро они добирались до моего ложа, покрытого дерюжкой и зачастую вместе с сеном захватывали мою нижнюю одежду, фыркали, толкали мордами, ухитряясь схватить зубами за живое место. А одна с характером кобылка всё норовила укусить — запрягал ли я её в телегу, давал ли корм — и однажды так лягнула меня по ноге, что та вся распухла. На месте удара образовалась ранка и стала гноиться. Боль была ужасная, я не мог ступить на ногу. Тихон Иванович заявил, что не станет кормить работника, который болеет, и я на костылях ушёл обратно в Тифлис…

Ещё с раннего детства помню я, как сильно любил меня мой отец Иван Васильевич. Я же в нём до последних дней его жизни души не чаял. Не было большего счастья для меня, как быть рядом с ним, слышать его нравоучительный голос с оттенком любовной нежности к своему единственному наследнику.

Дело было летом, я спал на кушетке во дворе. Подошёл отец и начал гладить меня, приговаривая: «Сынок, мой, Сидорка, расти быстрей, как тяжело мне, мой родной помошничек». Я чувствовал его, но не знал, что мне делать; притвориться спящим или прижаться к нему, ответить, что я всё понимаю, и всё сделаю для того, чтобы ему было легче. Нужно совсем немного подождать, пока я выросту. А сейчас, чем я могу помочь? Думай! Думай! — твердил я сам себе и придумал: стану я торговцем. Слышал я от многих, что можно выйти в люди только через торговлю. Моё страстное желание во что бы то ни стало помочь отцу прокормить нашу семью преследовало меня. К тому же, самолюбие требовало оправдать моё предназначение, как первого помощника отца, его наследника и заместителя.

Итак, решил я зарабатывать коммерцией. Начать с самого простого — продавать воду. Уговорил отца купить мне кувшин. Как я ему обрадовался! И верно, то был не кувшин, а — мечта. Трёхлитровый, расписной, старой выделки, одним словом, «красавчик». Дней десять я бегал с ним по улицам и на Дезертирском базаре, где торговали все, кому не лень. Здесь за небольшую плату можно было утолить голод, выпить чачи, выторговать вещь, продать барахло — своё, украденное, обмануть доверчивого покупателя, обыграть в карты, вытащить все деньги у простофили — крестьянина. Словом, не зря его прозвали Дезертирским. Всё

здесь было фальшиво, подло, и только воры, бандиты, фальшивомонетчики и перекупщики чувствовали себя здесь хозяевами.

Лето выдалось жарким. Торговки едой, дабы клиент не учуял «что из чего» солили, перчили, не жалея специй. Жажда у любителей поесть была двойная—от жары и от перца. Фирма моя процветала. Назвал я её «Горло». Рекламировал просто: «Родниковая вода, чистая вода, холодная вода!»…

Чтобы вода очищалась, я бросал в кувшин кусочки квасцов, и она из мутной превращалась в чистую, а благодаря свойствам моего кувшина, через пять минут становилась холодной. Нет, и не было большей радости в те дни. Я боялся выпить лишний стакан воды, чтобы сберечь «деньгу». Всю выручку с гордостью приносил отцу. Одним особенно жарким днём вода шла нарасхват. Я не успевал наполнять кувшин, как его тотчас опорожняли жаждущие. В очередной раз, когда он опустел, я подумал: зачем лишний раз делать крюк на улицу, если я могу набрать воды прямо на базаре, взобравшись по трубе до бачка общественной уборной. Только я полез, как одно неосторожное движение, и я лечу вместе с кувшином на землю. Я цел, а он—вдребезги. Я отделался испугом, но кувшин—счастье, радость, надежда и источник дополнительного дохода—разлетелся на тысячу осколков. О, горе, горе, горе мне! Сколько было слёз, которыми можно было наполнить с дюжину кувшинов и не такого объёма, каким был мой «красавчик».

Я смотрел на то, что от него осталось и, почему-то думал, что это—сон, а вот я сейчас проснусь, и мой кувшин будет стоять передо мной, наполненный студёной, кристальной водой. Вечером, когда я вернулся, мой вид без слов подсказал отцу, что случилось. Он молчал, а это было ещё хуже для меня.

В другой раз отец где-то достал вяленую рыбу «рыбец ростовский» и поручил мне продать её на вокзале, либо обменять на хлеб у солдат, возвращавшихся с фронта. С корзиной, в которой лежали сочные янтарные рыбцы, я пошёл по перрону станции «Тифлис». Подошёл состав, набитый солдатами. Я иду вдоль вагонов и кричу: «Хорошая рыба, рыбцы. Сам бы ел, да деньги надо. Могу обменять на хлеб или продукты». Вдруг из товарного вагона в окно высовывается молодой солдат. Я и сейчас помню его лицо—простое, весёлое, русское лицо. Сам—рыжий, конопатый, даже глаза смеются. Протягивает руки и говорит: «А ну, браток, дай-ка я гляну, что за товар ты продаёшь?» И так он мне понравился, что я забыл наставление отца—давать товар только после того, как получу за него деньги. Отдал я ему рыбцов, назвал цену, а сам думаю—вот здорово, сейчас получу деньги, и пойдёт торговля на всю «железку». Да только мой солдат больше не показывался. Я стал плакать, кричать, но в этот момент поезд тронулся, и я остался ни с чем. Так был нанесён второй удар по моей коммерции.

Одно время на улицах, на переносных лотках, торговал тянучками «Эйнем», продавал ношеную обувь. Но всё это продолжалось недолго и приносило больше огорчений, нежели прибыли.

При нэпе я ещё поработал в диетической столовой, которую содержал некий проходимец со звонкой фамилией Звонарёв. Оформил он её через детдом, а что касается диетических продуктов, то редко кто из питавшихся в той столовой избежал колик желудка и язвы. Обычно под вечер, когда базар уже закрывался, он брал меня с собой и закупал по дешёвке отбросы, чьё место на свалке. На кухне заставлял нас всё это чистить, обрабатывать и закладывать в котёл. Вот там я и научился кулинарничать.

Глава IX
В гостях у «дубаня»

Проснулись мы, когда между листвой молодого гибкого бамбука заблистали на небе редкие звёзды. Кругом стояла тишина. Вдруг, как по команде, включилось сразу два хора: лягушек и цикад. Налетели тучами комары и москиты. Мы поспешили тронуться в путь. В этот миг из-за перевала выплыла полная кроваво-красная луна. В лунном свете всё преобразилось. Мы подъезжали к реке. На наших глазах она из тёмной и страшной стала светлой и прозрачной. Плывущие по ней джонки, оставляли за собой заметный золотисто-серебристый след. Журчащая, нежно переливающаяся сиреневыми тонами река бежала параллельно нашей дороге. Ехали мы с выключенными фарами, не потому что боялись, что нас может обнаружить воздушный японский разведчик, а потому что китайские патрули стреляют по всем световым точкам без всякого предупреждения. Желая побыстрее добраться к месту назначения, мы увеличили скорость. Только треск разбиваемых о лобовое стекло нашего «Форда» жуков, саранчи и других насекомых служил нам спидометром.

Подъехав к переправе примерно в первом часу ночи, мы остановились у причала, где как раз заканчивалась погрузка китайских войск. Переправу обслуживали два парома. Вдруг на сходнях заупрямился осёл, стал пятиться назад и свалился в воду. Довольно быстро общими усилиями его втащили на паром. Отдали швартовые концы. Между причалом и паромом образовался просвет, в который неожиданно упал, оступившись, китайский солдат. Бедняга барахтался, крича о помощи, но все делали вид, что его не замечают. Пока мы с переводчиком бегали за помощью, солдат утонул.

Переправившись, мы сразу выехали на передовую. На этом участке фронта было удивительно тихо, только в небе безнаказанно кружил японский самолёт-разведчик. Нанеся схему своих и японских войск, к обеду мы вернулись в расположение китайской дивизии. На обед нам подали варёного удава, в общем, какую-то крупную змею. Мои товарищи отказались, я попробовал. Мясо мне понравилось, по вкусу напоминало коровье вымя, только нежнее.

На обратном пути нас нагнало несколько групп раненых китайских солдат. Переводчик Ван сразу крикнул шофёру, чтобы тот увеличил скорость. На мой вопрос: «В чём дело?» он ответил: «Иначе они нас убьют». Одна группа загородила собой дорогу,

в то время как другие сооружали завал из камней. Я приказал остановить «Форд». Тут случилось нечто невероятное. Китайцы скопом кинулись к машине, устраиваясь, кто на крыше, кто — на радиаторе, словом, облепили её бедную, как мухи мёд. Оставшиеся на дороге смотрели на нас злыми глазами, рассчитывая выбросить из авто. Пришлось мне приказать немедленно трогаться на малой скорости. Когда отпала угроза нападения, переводчик стал что-то внушать раненым. С возгласами: «Хао, хао, хань хао» (хорошо, очень хорошо) они отступили. На вопрос, что он им сказал, Ван ответил: «Я им объяснил, что в машине едут русские лётчики. Они направляются на аэродром, где сядут в самолёт, убьют всех японцев, и война закончится».

Ухода за ранеными солдатами в гоминдановской армии вообще не существовало. Никто их не лечил. Часто просто отпускали на все четыре стороны, снабдив соответствующей бумажкой.

По согласованному плану наступление наземных войск в районе Лошаня должно было начаться 27 сентября 1938 года в 6 часов утра, а налёт авиации на японские позиции — в 7 часов утра. К вечеру 26 сентября мы перелетели на аэродром «подскока» Ханькоу, где дозаправились горючим и подвесили бомбы. Впервые нам предстояло действовать вместе с китайскими лётчиками-истребителями. Китайские истребители подошли к цели двумя группами: первая прикрывала бомбардировщики, вторая группа атаковала колонну японских войск, подходившую к Лошаню с востока. Начался беспорядочный отход японцев. Простые китайские лётчики очень радовались, что им довелось взаимодействовать с нами. Действовали они храбро и инициативно.

Наверху согласия не было. Взаимоотношения между руководством Гоминдановского правительства Чан Кай-ши и руководством ЦК КПК были непростыми. Вероломное нападение Японии на Китай вынудило Нанкинское правительство заключить договор о ненападении с СССР. Договор, подписанный 21 августа 1937 года, заставил Чан Кай-ши узаконить решение о соглашении создания единого фронта с коммунистической партией Китая. А когда в Китай начали поступать первые партии советских самолётов, и в воздушных боях рассеялся миф о непобедимости самурайских эскадрилий, то данное обстоятельство отрезало Чан Кай-ши путь к отступлению и заигрыванию с японцами.

К началу военных действий объединённая китайская армия состояла из войск нанкинского правительства, провинциальных армий и 8-й и 4-й народно-революционных армий. Все армии объединялись под командованием Военного Совета, во главе с Верховным Главнокомандующим, Генералиссимусом Чан Кай-ши.

Основу китайской армии составляли войска центрального правительства, численность которых доходила до миллиона человек. Провинциальные армии являлись собственностью губернаторов провинции. При назначении на эту должность губернатор получал чин генерала. Наёмная армия содержалась за счёт налогов со своей провинции. Как правило, эти налоги были содраны с китайского народа за двадцать пять лет вперёд по всему Китаю. В большинстве своём, эти горе-генералы не желали рисковать ничем, исходя из единственного соображения: «потерять армию — значит потерять власть». Ту же игру вёл и Чан Кай-ши. Командующие играли в жмурки с оглядкой друг на друга, готовые всегда пожертвовать войсками соседей.

Численность китайской Красной армии непрерывно росла, что сильно беспокоило гоминдановское руководство, и оно начало открыто принимать меры к ограничению влияния компартии среди населения. К декабрю 1938 года наши отношения с высшим китайским командованием стали ухудшаться. Чан Кай-ши всё больше ориентировался на американцев.

Мы заметили, что китайский обслуживающий персонал изменился, появились новые повара и официантки. Общение стало натянутым. На многие вопросы мы не получали ответа. Нам было приказано меньше выходить из месторасположения нашего общежития, особенно по вечерам. В город выходили только группами.

Чтобы не так сильно скучать по семье, друзьям и любимой Родине, мы решили создать нечто вроде оркестра лёгкой музыки. Сначала это было воспринято, как шутка. Но потом на авиационной базе в Ланьчжоу достали две гитары, одну мандолину и две балалайки. У некоторых имелись губные гармошки. Дополняли оркестр расчёски, пустые бутылки разного калибра, кастрюли. Позже у нас появился аккордеон, на котором играли… втроём: один держал его плашмя на коленях, другой растягивал меха, а третий, нажимая на клавиши правого грифа, играл, как на рояле. На вечерних спевках обнаружился замечательный тенор у инженера авиагруппы Любомудрова и не менее чудесный баритон у авиатехника Землянского. Коллективу присвоили название «Думка». Первое выступление объединённого хора и оркестра состоялось на банкете, который устраивал «дубань» (генерал-губернатор) провинции Цзинхай для русских лётчиков-добровольцев по случаю нового 1939 года.

Наше выступление открылось маршем: «Всё выше и выше!», потом шли сольные номера под аккомпанемент оркестра. Я дирижировал «капеллой». В репертуар входила и шуточная песенка на китайском языке. Гвоздём программы стала грузинская народная песня «Сулико». Начинали мы её медленно и протяжно. Соло вёл Любомудров. После второго куплета мелодия «Сулико» неожиданно переходила в зажигательную лезгинку. Дирижируя, я всё время наращивал темп, как бы незаметно входя в раж, потом бросал дирижёрскую палочку и, позабыв об оркестре, в «экстазе» сам выскакивал в темпераментном танце. Успех этого номера был огромный, нас неоднократно вызывали на «бис». После праздничного концерта всех пригласили в банкетный зал.

Надо заметить, что у китайской высшей знати, да и у тех, кто победнее, еда превращена в культ.

Существует даже специальный праздник «ста кушаний», на котором каждый хозяин стремится удивить качеством и количеством еды. Если гостя пригласили на ужин, состоящий из двадцати-тридцати блюд, то ответить приглашённый обязан обедом, на котором будут выставлены уже сорок-пятьдесят блюд. А чтобы приготовить нечто питательное и вкусное, например, из трепангов, надо иметь в запасе семь-десять дней, раньше не приготовишь. Китайцы вообще охочи до праздников. Во время нашего пребывания, в январе, они широко отмечали день трёх «Л» — в честь К. Либкнехта, Розы Люксембург и Ленина.

На банкете организаторы мечтали, следуя также традиции, напоить «до чёртиков» почётных гостей. Китайские лётчики подходили ко мне и к комиссару Богатырёву, предлагая тост за дружбу, за совместные воздушные бои и так далее. Условие было таковым: представитель с китайской стороны выпьет всё, что вы ему предложите: водку, коньяк, пиво, и если вы выпиваете одну рюмку, то он — в четыре раза больше. Что сказать, к нам выстроилась очередь. После четвёртой рюмки захмелевшего уводили под руки его товарищи, но все их попытки свалить кого-либо из русских, так им и не удались. Да!

Местный «дубань» часто приглашал нас на просмотр театральных премьер. Как-то вечером, в Ланьчжоу мы всем составом отправились посмотреть рекомендованную нам музыкальную комедию. Театр располагался в длинном бараке. В театре было так холодно, что все зрители сидели в верхней одежде — халатах. Стояли длинные скамьи на десять человек, потом разрыв для прохода и опять ряды. Во время действия можно было свободно войти и выйти. Свет в зале не выключался. Между рядами шныряли торговцы арбузами, семечками, каштанами, арахисом, дешёвыми конфетами и фруктами. Подбегали мальчишки с сильно закопчённым чайником, предлагая чёрный чай. Никто не соблюдал тишину. Все так неистово галдели, кричали, что нельзя было разобрать, что собственно происходит на сцене. Сами артисты, время от времени подзывая разносчиков, потягивали из горлышка горячую воду, полоскали горло и тут же сплёвывали на сцену. В углу сцены разместился оркестр. Музыканты колотили по инструментам изо всей силы. Музыка — очень резкая, нашему уху не привычная. Рядом с оркестром стояла жаровня, к ней иногда подходили артисты погреть руки. По обеим сторонам авансцены по вертикали висели бумажные полосы с содержанием следующего акта. По окончании действия ассистенты, проходя через сцену, срывали листы уже сыгранного. Они же подавали актёру надлежащий реквизит. Если кому-либо нужно было встать на колени, ассистент артистически подбрасывал под ноги подушечку.

В феврале месяце «дубань» и его жена пригласили меня и ещё несколько русских волонтёров на празднование лунного китайского года, который приходится как раз на середину февраля. По китайским поверьям, лунный год обязательно должен приносить в дом счастье и благоденствие. Цветами, красными бумажными полосками заранее украшают фанзы, деревья, кусты. На кладбище несут еду, условные деньги. Главным событием считается приветствие «бога очага» Цзяована. Собрав сведения обо всех хороших и плохих делах членов семьи, Цзяован накануне Нового года улетает на небо, докладывать Будде. От его доклада зависит, как пойдут у вас дела в следующем году. Поэтому хозяин дома заранее начинает подлизываться к этому домашнему «управляющему»: ставит сладости перед его фигуркой, замазывает ему рот сахарной помадкой, чтобы он докладывал Богу только хорошее, сладким ртом.

Итак, мы в гостях у губернатора. На столах — огромное количество всевозможных яств: утки жареные, печёные, тушёные и вяленые, поросята во всевозможных подливах, куры, обжаренные в сахаре. Через каждые восемь блюд подавалось что-либо сладкое, в том числе курица или молодой барашек, зажаренный в сахаре или в виноградном сиропе. (Одну только их национальную водку «ханжа», по-нашему, «чача», я не могу переносить из-за отвратного запаха сивушных масел). Для умывания рук и полоскания рта подавались чашечки с тёплой водой.

Встреча лунного Нового года началась ровно в полночь, как и у нас. По местному обычаю, первую рюмку вылили на землю, чтобы домашние боги опять же в хорошем настроении улетели на небо. Над зажжёнными свечами хозяева стали жечь условные деньги — богам на дорогу и на расходы — туда и обратно. Церемония встречи проходила раздельно для мужчин и женщин. Мы сидели в одной комнате, женщины — в другой, хотя через тонкую перегородку всё было слышно, как у нас, так и у них. Сначала делегация женщин, в составе трёх, пришла поздравить нас с пожеланием — побольше риса и детей. Спустя короткое время наша мужская делегация отправилась на женскую половину с ответным приветствием. Мы в свою очередь пожелали, чтобы у них в доме было тепло и много денег. Гуляли до самого утра, периодически поздравляя друг друга через перегородку, а вместе так и не сели за общий стол, несмотря на наше настойчивое, радушное русское приглашение…

На второй день Нового Года нас уговорили поехать в буддийский храм, погадать «на своё счастье». Заводилой выступила очень миловидная жена нашего «дубаня». Со мной за компанию отправился капитан Ваня Черепанов — красивый парень с добрым лицом и улыбкой, которая притягивала к нему женщин, как магнит. Особых дел у нас не было. Мы с ним и согласились на эту поездку. Почему бы и не поехать к господу китайскому богу, ведь я хорошо был знаком с русским, и если бы не советская власть, то по упорному настоянию своего отца, которого я сильно любил, быть бы мне священником! Вот как!

На следующее утро я с Ваней, генерал-губернатор с женой и наш переводчик на машине «Форд» тронулись вверх по течению Хуанхе в горы к буддийскому храму. Дороги в Китае — живописные, вглубь страны — не загружены. Редко, очень редко встретишь автомашину или крестьянина с ослом.

Скорость держи, какую хочешь, лишь бы твоя машина не перевернулась. На вершине горы, за массивными крепостными стенами, сгрудились башни, ажурные пагоды с загнутыми кверху углами крыш. Стены крепости выглядели весьма массивными. Особенно величаво смотрелись ворота, окованные в железо, с вбитыми огромными гвоздями, наподобие копий. При входе стояла стража из монахов.

Через переводчика губернатор нам с Иваном пояснил, что к храму обычно идут пешком, а последние два-три километра следует проделать либо на коленях, либо ползком. Но особам высокого ранга разрешается приблизиться к храму в паланкине или рикше. Учитывая мои прошлые «священнические» заслуги, мы подъехали на «Форде» прямо к входу. Привратник в чёрной сутане встретил нас низким поклоном. Между тем проход к храму не пустовал. Вдоль стен монастыря прошёл бонза с гонгом, следом, быстро перебирая маленькими ножками, поспешили роскошно одетые женщины с детьми, подкатила тележка, запряжённая коровой с плетёным тростниковым верхом, внутри которой за тонким прозрачным занавесом восседала молодая красивая китаянка. Всё это — на фоне большого числа паломников, продолжавших прибывать к храму на поклонение.

Генерал и его жена всё время пытались затянуть нас в храм, но у меня особого желания не было. Наконец, Иван сказал:

— Сходить, что ли, и мне поклониться? А то никак счастья нет, просто беда.

Генерал через переводчика подсказал, что молиться в храме — дело не трудное, было бы за что. Та же торговля, только не с купцами, а с богами. В это время симпатичная жена губернатора договорилась с главным бонзой, что он согласен погадать русскому, но только одному, и ещё, прежде следует очиститься, то есть побыть наедине в одной из комнат называемых чистилищем. Жребий пал на меня. И я решил, была не была, пусть врут, что хотят, моё дело слушать!

Выполнив все их требования, сняв ботинки, в специальных шлёпанцах я проследовал в тёмную комнату, где на возвышении восседал многорукий Будда, освещённый снизу синеватым, бледным пламенем. Ко мне подошёл вещатель — «воплощённый Будда» — и предложил, задав в душе вопрос, на который я хочу получить ответ, бросить к ногам божества рог буйвола, распиленный на восемь частей, с закрытыми глазами, но открытым сердцем. После этой церемонии я присоединился к своим приятелям, которые остались во дворе. Вскоре вышел предсказатель и в присутствии всех объявил, что имел беседу с Всевышним. Вердикт таков: меня в жизни ждут большие и тяжёлые испытания, но я их преодолею и выйду из них чистым, второе, что все мои желания исполнятся, (а я загадал: выберусь ли я из этого Китая «жив-здоров» и скоро ли попаду домой, а ещё, долго ли я проживу на белом свете?)

В ответ я усмехнулся и спросил:

— А что я задумал?

Вещатель покачал головой, помолчал, а потом ответил:

— Для вас я сделаю исключение. Вам хочется быть дома. Вы там будете скоро, а проживёте долго и увидите новый Китай.

Не знаю, или это совпадение, или что другое, но пока эти предсказания сбываются. Мы ещё походили кругом, осматривая величавое здание храма с резными фигурами, росписью и мозаикой. Прослушали службу и, отдохнув на свежем воздухе, вернулись в Ланьчжоу.

В Китае я всегда восхищался его тружениками и умельцами. В 1938 году они в своих жалких мастерских, ручным способом, смастерили самолёты И-16 и СБ, которые с установкой моторов поднимались в воздух не хуже выпущенных на наших государственных заводах. Они даже из бомбардировщика типа СБ сделали двухместный тренировочный самолёт и предложили мне испытать его в воздухе. Я произвёл на нём несколько полётов, и это «учебное пособие» мне понравилось, несмотря на то, что в Советском Союзе к тому времени ничего подобного не существовало.

Все боевые вылеты, а было их общим количеством 250 самолёто-вылетов, я шёл ведущим. И всего один раз мне пришлось вернуться с боевого задания из-за неисправности правого мотора, но и этот боевой вылет прошёл с отличным результатом, так как в строю оставались два моих заместителя.

В мою авиаэскадрилью входили: украинец Кица, П. Вовна, Черепанов Иван, Бондаренко В. В. Терлецкий Виктор, Василий Землянский, Анисимов Иван, Котков, Рубашкин, Сыробаба, Любомудров, Мамонов, В. Коротаев, Григорьев.

Из шестидесяти добровольцев, из нашей группы домой вернулось шестнадцать человек. Закончив выполнение приказа, весной 1939 года мы убыли из Ланьчжоу автотранспортом через Синьцзян-Уйгурский автономный район на Алма-Ату.

22 февраля 1939 года в Кремле мне вручили звезду Героя Советского Союза.

Глава IX

«Дружба навек»

В книге «Первые Герои Советского Союза» издательства Иркутского Университета (1983 г.) приводятся данные о тех, кто получил звание Героя Советского Союза до Великой Отечественной войны.

«Слюсарев Сидор Васильевич — капитан, командир эскадрильи, а затем командир бомбардировочной группы. В Китае находился с 28 мая 1938 года по 5 мая 1939 г. Перегонял самолёты СБ без единого происшествия. Авторитетен и настойчив. Имел большой опыт вождения своей эскадрильи в сложных погодных условиях и в горной местности. За период перегонки самолётов налетал 46 часов, после чего остался со своей эскадрильей на фронте. Совершил 12 боевых вылетов и налетал 33 часа. Под его руководством и при личном участии уничтожено и выведено из строя 70 кораблей противника на реке Янцзы и около 30 самолётов на аэродромах. Все боевые вылеты производились на высоте до 9000 м с применением кислородного прибора.

Указ президиума верховного совета СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза командирам Рабоче-Крестьянской Красной Армии

За образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина:

1. Майору Боровкову Оресту Николаевичу
2. Майору Гайдаренко Степану Степановичу
3. Полковнику Губенко Антону Алексеевичу
4. Старшему лейтенанту Звереву Василию Васильевичу
5. Капитану Коробкову Павлу Терентьевичу
6. Майору Кравченко Григорию Пантелеевичу
7. Младшему командиру Марченкову Марку Николаевичу
8. Полковнику Николаенко Евгению Марковичу
9. Капитану Селиванову Ивану Павловичу
10. Капитану Слюсареву Сидору Васильевичу
11. Полковнику Сухову Ивану Степановичу
12. Полковнику Хрюкину Тимофею Тимофеевичу

Председатель Президиума Верховного Совета СССР — М. Калинин. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР — А. Горкин.

Всего за Китай Героями Советского Союза стали четырнадцать человек. Другими указами за Китай героев дали — Полынину, Благовещенскому и Супруну.

По-разному сложились судьбы добровольцев.

Антон Алексеевич Губенко — гроза «воздушных самураев», дважды осуществивший таран, сбил в Китае семь японских самолётов. За свой подвиг был награждён Золотым китайским орденом. После выполнения правительственного задания получил звание полковника и был назначен заместителем командующего ВВС Белорусского ВО. Через несколько месяцев в 1939 году газета «Красная звезда сообщила о том, что Антон Губенко разбился при разработке новой фигуры высшего пилотажа на аэродроме под Смоленском.

Кравченко Григорий Пантелеевич ещё раз скрестил оружие с японскими агрессорами в небе Халхин-Гола, за что получил вторую золотую Звезду Героя. Он стал первым дважды героем Советского Союза. В 1940 году, тридцатилетним красавцем генерал-лейтенантом, был назначен на должность командующего ВВС Прибалтийского Военного Округа. В Великую Отечественную войну командовал истребительной дивизией. Погиб 23 февраля 1943 года в воздушном бою. Кравченко покинул подбитый неуправляемый самолёт, но парашют не раскрылся, и он упал в расположении наших войск. Когда подбежали бойцы, он был уже мёртв. Рука крепко сжимала кольцо с обрывком тросика. Шальная вражеская пуля перебила тонкий трос, идущий к ранцу парашюта. Похоронен в Кремлёвской стене.

В городе Ваньсянь высится памятник советскому лётчику-добровольцу Г. А. Кулишенко — командиру отряда бомбардировщиков дальнего действия ДБ-3. Его имя ещё при жизни вошло в китайские поэмы, стихи и песни. Во время налёта на крупную вражескую авиабазу его группа уничтожила 136 самолётов противника. 14 октября 1939 года он был вынужден посадить повреждённый самолёт на водную гладь Янцзы. Раненый лётчик утонул в глубоководной реке.

Наибольших вершин достиг Тимофей Тимофеевич Хрюкин, генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза. Во время войны он командовал воздушными армиями. После войны стал заместителем Главнокомандующего ВВС. Но сердце Тимофея Тимофеевича оказалось слабым. Он умер в 1953 году в возрасте 43 лет.

...Забегая вперёд, скажу, что капитану Слюсареву С.В., как и было предсказано во время посещения им буддийского храма в 1939 году, суждено было ещё не один раз увидеть Новый Китай. В последнюю командировку отца в 1953 году наша семья сопровождала его в Китай. В те годы взаимоотношения Советского Союза и Поднебесной характеризовались единым лозунгом «Дружба навек». Ездили по пыльным спиралям китайских дорог. Готовились к большому празднику в Пекине, по случаю которого у меня появился шёлковый китайский, на первый взгляд, мальчиковый наряд — брюки и пижамная кофта на вычурных петлях. На многолюдном параде — отчаянно яркие драконы, извивающиеся во всю бесконечную длину под трескучую музыку. Гривастые львы с выпученными глазами, замершие в неудобной позе с поднятой ногой. Пых и блеск, возможно, случайно запущенной в сторону нашей трибуны петарды и моментальную реакцию нашего адъютанта Якова Куцевалова, в фантастическом прыжке тигра закрывшего своим телом отца вместе с нами — пятилетними, на отцовских руках. К большому празднику под руководством китайского учителя я выучила песенку на китайском языке для исполнения её на каком-нибудь торжественном банкете. Удивительно, что она навсегда поселилась в одном из ящичков моей памяти.

Ту-фуан-хо. Тайяан-цзен.
Цунга цуйляго. Мао Цзе Дун.
Тэвенжеми. Машеньфу.
Хуахея Татюсин минтатюсин.

Я никогда о ней не вспоминала, но спустя много лет, когда на просмотре фильма итальянского режиссёра Бертолуччи «Последний император» проходящие по площади Тяньанмэнь шеренги китайцев неожиданно для меня затянули «ту-фуан-хо», я с удовольствием констатировала, что знаю текст, и вполголоса стала вторить гимну, посвящённому великому кормчему.

Простор площади Тяньаньмэнь. Акустические чудеса старинных стен. Парки. Бамбуковые, лиановые заросли. Изящные тропинки, выводящие к крохотным озёрцам, сплошь закрытые круглыми

блинами листьев, среди которых то тенью, то всей роскошью плавников и хвостов — золотые, коралловые рыбки. И, наконец, в парке Иехуань — чайный домик в виде корабля из белого мрамора, на постройку которого императрица Цы Си в XIX веке потратила весь бюджет Военно-морского Флота Китая. Не слушая чужих объяснений, я тут же придумала свою собственную историю — белый изящный корабль на вечном приколе, конечно, мог быть только для больного наследника, чтобы безумный принц далеко не смог уплыть.

Во время пленения в 1949 г. последний император Китая Пу-И сам ничего не делал и не хотел, чтобы члены его семьи что-нибудь делали. Какое-то время домашние стелили ему постель, подносили еду, стирали одежду. С начала 1950 г. в Китае проводилась политика перековки преступников с помощью трудового воспитания. Мао Цзе Дун лично входил во все тонкости содержания и перевоспитания последнего императора.

Когда бывший император Маньчжоу-Го сидел в тюрьме, то его, как и всех остальных, стали перевоспитывать физическим трудом. Он работал на крохотном предприятии по выработке кокса, дробил молотком уголь. Затем вместе со всей страной в рамках «большого скачка» принимал участие в борьбе против «четырёх зол»: крыс, комаров, мух, воробьёв.

Пу И уничтожил, по его признанию, несколько мышей и «ухлопал мух без счёта!». Хотя другие китайцы в уничтожении «четырёх зол» отличились гораздо больше. За два года борьбы в Китае было уничтожено полтора миллиарда воробьёв, шестьдесят четыре тысячи тонн мух, восемь тысяч тонн комаров.

Через год после кампании урожай действительно стал лучше, но при этом расплодились гусеницы и саранча, поедающие побеги. Ранее эти популяции регулировались воробьями. В результате нашествия саранчи урожаи резко уменьшились. В стране наступил голод, от которого погибло предположительно до 30 миллионов человек.

— А как китайцы уничтожали воробьёв? — поинтересовалась я уже в Москве после приезда из Китая, вспоминая на досуге причитания мамы по поводу гибели дурашливых задиристых воробьёв. Мне объяснили, что китайцы поголовно семьями выходили на улицы, в поля, и начинали гудеть в дудки, стучать палками, греметь в барабаны, устраивали такой невообразимый шум специально, чтобы не дать воробьям сесть на ветки. Обессиленные птицы замертво падали на землю.

Время всё поставило на свои места и каждому отвело своё место. На площади Тяньанмэнь в мавзолее упокоился отец одного из самых многочисленных азиатских народов. Имена героев, помогавших восточному брату, — в камне и мраморе. «Память о советских лётчиках будет вечно жить в сердцах китайского народа» — надпись на обелиске в парке Ухань. В Москве в кружевном мавританском здании Дружбы Народов на стене выбита фамилия добровольца — Слюсарев Сидор Васильевич — Герой Советского Союза. Сама Золотая Звезда Героя лежит в красной коробочке, на её оборотной стороне номер 125. Застывшие, как в хрустальном царстве, навсегда умолкнувшие воробьи 50-х годов замерли на ветках китайских вышивок, вытканные умелыми руками вышивальщиц из провинции Наньлянь.

Глава XI

Белые лыжники

На тему Финской кампании, в которую Слюсарев, конечно же, был вовлечён, также существовали записи отца, но не для официальной печати. Суть их заключалась в том, что наши лётчики под самый Новый 1940-й год отбомбили своих же, кажется, танкистов, и Слюсарев, воевавший тогда на Петрозаводском направлении в должности Зам. Командующего ВВС 8-й Армией, ездил разбираться по этому поводу к начальнику танкового корпуса.

Из того же предвоенного последнего года в маминой памяти отложилась своя история. Обычный день. У обочины одной из тёплых пыльных дорог, на которые в ту пору охотно выходили ничего не боявшиеся крымские школьницы, голосует молоденькая девушка. Рядом неожиданно затормозила подкатившая легковая. Распахнулась дверца. Задорно нырнув в темень салона, она — звонким голосом: «Дяденька, подвезите до поворота». Одновременно отмечает: в машине — трое военных: один — впереди, двое — на заднем сидении. Приняв их молчание за знак согласия, проворно подсаживается к тому, кто за рулём. Скажем так, через час езды, на развилке дороги попутчица оставляет запылённый автомобиль.

— Так вот, милая моя, то были немецкие шпионы, переодетые в нашу форму. Накануне войны они составляли карту наших дорог, — поясняет мне, непонятливой, мама.

— Но почему? Как ты можешь быть в этом уверена, если они, как ты сама говоришь, всю дорогу молчали?

— Вот именно. Когда мы уже отъехали, я просто оцепенела от страха. В машине стояла гробовая тишина. Тот, кто сидел рядом, в форме с погонами майора, ни разу ко мне не обернулся, глядя молча прямо перед собой на дорогу. Двое других сзади также не проронили ни одного слова. Чтобы трое наших молодых русских парней не захотели познакомиться, просто поболтать о чём-то в дороге — не бывает такого!

Страх ещё более усилился, когда передний, отчётливо выговаривая слова, внезапно спросил: «Как проехать на Симферополь»? Основную дорогу до главного города полуострова знали абсолютно все. Это было равносильно тому, как если бы осведомиться: «А где здесь у вас восходит солнце»?

Будучи патриоткой, но, здраво рассудив, что они всё равно узнают, мама с ходу указала направление на столицу Крыма, проверещав что-то вроде: «Вы, дяденьки, поезжайте прямо — вон до того тополя, а потом направо — к той горке, а я уже приехала. Спасибо вам». Дверца открылась, и пассажирка, вся в холодном поту, соскочила с подножки на родную, пыльную землю. Занятым

нанесением на карту «паутины дорог» немцам в тот день было не до «крымской розы».

За своё участие в краткой войне с белофиннами Слюсарев получает орден Красного Знамени, за организацию первых ночных полётов. По поводу этого тёмного куска нашей истории у меня мало ассоциаций: бравый барон Маннергейм, в юности переигравший вождя мирового пролетариата, и его линия; любопытство по поводу того, что выдавали нашим лётчикам на ноги—унты или бурки, из которых, по моим детским воспоминаниям, и те и другие были отменно хороши; и неясность в происхождении слова «белофинны»—то ли по аналогии с белогвардейцами, то ли из-за маскировочных белых халатов на белом снегу.

Много-много белых солдат с винтовками за спиной, на всю длину рук выбрасывая вперёд палки и с силой опираясь на глубоко всаженные посохи, живо скользят на чёрных лыжах по белому снегу. Вообще, Финляндия—загадочная страна, неохотно позволяющая на себя посмотреть. Как будто местным духам никак не хватает духа, в конце концов, сойти с проторённой лыжни, скинуть с себя маскировочные халаты и, вырулив на опушку леса, помахать нам приветливо рукой в меховой варежке. Вжик, вжик—лыжники исчезают за ближними холмами.

Точь-в-точь, как и мы, одной, особо прекрасной зимой, в конце 50-х—очередной перевод отца по службе—бежали на лыжах по соседству с финскими лесами по нашему почтовому адресу: Кольский полуостров, Кандалакша, посёлок Зашеек. В лыжные походы нас водил отец, конечно, он, потому что отец любил и умел ходить на лыжах. Эти воскресные вылазки на троих, в красивых свитерах с оленями, много способствовали тому, что в школе по физкультуре за зимние месяцы у меня всегда стояла самая настоящая пятёрка, так радовавшая меня своей округлостью, наглядно демонстрировавшая, что в моей молодой жизни всё ещё ничего, раз такие птицы залетают на страницы моего дневника. Именно в Кандалакше я познакомилась с матушкой Зимой. Белый пушистый снег, внезапно срывающийся с чёрных веток, алмазные россыпи, стена промёрзшего леса из декораций к «Ивану Сусанину». На четвертушке бумаги отец записал где-то сбоку, то ли про эти, то ли про уральские просеки: «…в лесу синие тени от деревьев и следы, следы: зайца-русака, лисицы, белки, мышей и узорные вышивки куропаток, тетеревов и рябчиков».

Пушистый снег, мягко падающий мячиками с облитых стеклом веток. Слепящая белизна. А как много отметинок по обеим сторонам лыжни—пунктирными цепочками, петельками, спиралями, крестиками, точками и тире. Припомнив однажды с других небес один только этот узор, моя душа, тотчас очнувшись, начнёт расталкивать очередь, протискиваясь вперёд, чтобы ей, наконец, отмахнули флажком по маршруту Земля.

Сколько живых существ в лесу, и никого не видно. Кто ведёт нашу группу, не спешит. Мы стараемся изо всех сил, а ещё… заглядеться на верхушку той ели, и, конечно, не успеваем. И вот отец скрывается за поворотом.

Глава XII

«Ково»

В начале августа 1940 года меня перевели на должность Заместителя командующего в Киевский Особый Военный Округ, к тому времени самый мощный в СССР. В 11 авиадивизиях округа насчитывалось 39 авиаполков: 17 истребительных, 15 бомбардировочных, 5 штурмовых и 2 разведывательных, насчитывающих более 2000 самолётов.

Должность командующего КОВО исполнял назначенный накануне Евгений Саввич Птухин. До него округом командовал генерал армии Г. К. Жуков. Начальником штаба ВВС у Птухина был генерал-майор Ласкин Николай Алексеевич, по возрасту намного старше своего командующего. Ласкин Н. А., родом из дворянской семьи потомственных военных, не скрывал своего происхождения, хотя и не любил вести разговоры о причинах, побудивших его встать на сторону революции. Все знали его, как одного из отважнейших и честнейших военспецов, которыми могла гордиться Красная армия.

Интеллигентская закваска всё же сказывалась. На службе Ласкина так и прозвали «интеллигент» штаба. Все у него были «милейшие» и «уважаемые» даже когда он сердился. Как-то выхожу на крик в коридоре, а там мой начальник штаба распекает командира:

—Как вы могли, почтеннейший, не выполнить приказ?! Это же—преступление! Не вынуждайте меня к крайним мерам. Извольте, уважаемый, сейчас же сделать то-то и то-то…

Биография Е. С. Птухина намного проще. Пятнадцатилетним пареньком Птухин добровольно вступил в один из первых авиационных отрядов молодой Советской Республики. Принимал участие в разгроме барона Врангеля. С мая 1937 года под псевдонимом «генерал Хосе» участвовал в гражданской войне в Испании, командовал истребительной группой ВВС.

Товарищ Сталин, убеждённый, что в случае агрессии, Германия свой главный удар нацелит на Донбасс, основную сырьевую базу России, проявлял особую заботу о Киевском округе. Наш округ постоянно укреплялся отборными войсками, техникой и военными кадрами.

«По прибытии в Киев, Евгений Саввич представился командующему КОВО тов. Жукову.

—Что знаешь о своей авиации, генерал?

—Пока немного. Тридцать пять полков базируются в страшной тесноте. Это с чужих слов, остальное нужно смотреть самому и как можно быстрее.

—Вот именно. Езжай, или, как у вас говорят, летай. В конце месяца доложи состояние частей. И потом, ни одного дня нелётного. Хорошо помни опыт финской, а то у вас как наступление, так нет лётной погоды. Мы не члены Осовиахима, для нас подготовка к войне конкретна и именно с Германией. Осенью на учениях авиация должна показать, на что она способна!

В августе Птухину с великими трудностями удалось добиться перевода полковника Слюсарева

на должность своего заместителя. К его большой радости, на должность командира 36-й истребительной дивизии ПВО прибыл старый друг генерал Александр Борман и новый командир 19 БАД — А. К. Богородецкий. Это был всё молодой, энергичный народ, но малоопытный для таких масштабов командования. На совещании с командирами соединений, Птухин, оценив их оперативную подготовку, резюмировал: «только бы не началась война раньше, чем они окрепнут». (М. Сухачёва. «Небо для смелых»)

С первых дней 1941 года в округ стали поступать новые самолёты: МИГ-1, ЛАГГ-3, ЯК-1, ИЛ-1, ИЛ-2. Лично мне было поручено освоение новых скоростных типов самолётов с упором на ночную подготовку. Работа с радиолокационными средствами типа РУС-1 и РУС-2. Создание командных пунктов и пунктов наведения авиации в передовых сухопутных и танковых соединениях.

Сталин ежедневно интересовался ходом освоения новой авиационной техники. Горячка переучивания усиливалась, а тут ещё начальник Управления ВВС Красной Армии П. В. Рычагов приказал выполнять полёты в зимний период только на колёсах. Но для этого нужно было чистить или укатывать снег на взлётно-посадочной полосе. А чем? Техники и людей не хватало. Снег разгребали лопатами. Обильные снегопады в считанные минуты сводили на «нет» всю работу аэродромного обслуживающего персонала. Планы лётного переучивания срывались. С молчаливого согласия командующего Птухина, командиры авиадивизий начали потихоньку летать на лыжах. Пришлось вызывать их в Киев:

— Ну, как дела с полётами?

— Летаем понемногу, товарищ командующий.

— Понемногу нельзя, есть план.

— Так ведь зима, трудно чистить…

— Что вы мне голову морочите? Думаете, я не знаю, что вы летаете на лыжах? Ну, и летайте себе на здоровье! Только не забывайте и о тренировках на колёсах.

— А мы так и делаем, товарищ командующий, — хором отвечают командиры дивизий. — Как пришлют снегоочистители, снимем лыжи совсем и перейдём на колёса».

В Киевском округе у нас у первых началось строительство новых аэродромов. Намечалось создание более 150 аэродромов в полосе границы с Польшей: Ковель-Львов-Черновицы на 1000 км и вглубь за Днепр: Бахмач-Прилуки-Пирятин — около 1200 км, на которых должны были базироваться 39 авиационных полков: истребители, штурмовики, бомбардировщики, разведчики, связь, транспортная авиация. На старых аэродромах укладывали новые бетонные взлётно-посадочные полосы. На эти работы привлекли всё местное население.

Переучивание и освоение современной техники шло медленно. На новых Миг-3 часто отказывали двигатели в воздухе. Лопатки надува заедали, что вызывало возгорание мотора. Последние бомбардировщики типа П-2 к нам не поступали. Лётчики летали на старых СБ, рассчитанных на одну тонну бомбовой нагрузки. К началу войны весь лётный состав истребителей летал на старых машинах И-25, И-153, И-16, на которых, к слову сказать, лётчики впоследствии умело воевали.

В последних телеграммах от Наркома говорилось, что Германия в ближайшие дни нарушит нашу государственную границу, но чтобы мы на провокацию не поддавались, и не нарушали Договор о ненападении, заключённый между СССР и Германией. Огонь по вражеским самолётам первыми не открывать. Все, кто был связан с обороной нашей территории: жители пограничных зон, сами пограничники, командиры воинских частей, знали, что вот-вот Германия нападёт на Советский Союз. Уже с начала весны 1941 года, да и раньше, со стороны немецкой авиации под видом потери лётчиками ориентировки в приграничной полосе нашего округа отмечалось много нарушений. Только за один месяц май было зафиксировано более 50 нарушений воздушной границы, на земле задержано 113 шпионов и диверсантов с радиостанциями, большинство из которых были жителями Западной Украины.

Всю весну Е. С. Птухин находился в Москве, занимаясь вопросами организации ПВО страны. Я в Киеве подчинялся непосредственно командующему Г. К. Жукову. И вскоре получил от него категорический приказ: во что бы то ни стало посадить немецкий самолёт на наш аэродром. В те дни на аэродроме Броды я как раз разрабатывал с лётчиками варианты имитации ложных атак, не открывая огня.

Надо сказать, что система ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь) в то время была исключительно несовершенна. Никаких радиолокационных станций. Проводя учения, я лично вылетал с аэродрома Броды курсом вдоль нашей госграницы от Черновиц на юге до Ковеля на севере. Так вот, оповещение о моём полёте поступало спустя только двадцать минут после моего приземления. Информация передавалась по телефону через всю систему войск Округа.

В конце апреля поступил сигнал о том, что вражеский самолёт, нарушив государственную границу севернее Ровно, с курсом 90 градусов, удалился на нашу территорию. Как установили впоследствии, самолёт дошёл до аэродрома Борисполь, восточнее Киева, и уже возвращался. С таким опозданием мы получили донесение.

Я немедленно дал команду поднять в воздух все истребительные полковые и дежурные звенья с аэродромов Фастово, Проскурово, Броды и Львова. В воздух стартовали более пятидесяти истребителей И-6 и И-153. Наши лётчики атаковали нарушителя ложными атаками. Немцы шли на Ю-96 — старом бомбардировщике, переделанном под гражданский самолёт. Они всё время отклонялись от наших ястребков, теряя высоту, и подошли к Ровно на высоте 1000–1400 м. Неожиданно у них сдал один мотор, и самолёт стал быстро снижаться. В конце концов, им пришлось приземлиться на фюзеляж на поляне, где по случаю косил траву крестьянин, а его лошадь паслась на опушке леса. Экипаж фашистского разведчика состоял из двух человек, переодетых в гражданское.

После посадки они сразу включили подрывное устройство восьми длиннофокусных фотоаппаратов, из которых взорвались только шесть. Немцы стали совать крестьянину пачки советских денег, одновременно угрожая пистолетом и требуя, чтобы тот довёз их на телеге до границы. Но парень оказался не прост. Зная немного по-немецки, он заверил, что согласен и должен только пойти за лошадью, которая пасётся неподалёку. Оставив немцев с телегой и «в дураках», сам на лошади ускакал в лес.

Вскоре из Ровно подъехали представители НКВД. Забрали немецких лётчиков, отвезли в лучшую гостиницу, накормили и тут же без допроса сопроводили на легковой машине к границе, где и передали экипаж пограничным немецким властям с извинениями. В это время поднятые мною истребители, вернувшись с задания, сообщили, что посажен двухмоторный самолёт. Я тотчас вылетел в Ровно и через двадцать минут приземлился на луг, где произвёл вынужденную посадку немецкий разведчик. Экипажа на месте уже не оказалось. Осмотрев самолёт, я убедился, что два фотоаппарата уцелели. На передней части крыльев обнаружились пробитые отверстия без выходных, по диаметру схожие с пулевыми, видимо то были следы от камешков при посадке на каменистый грунт. Данный осмотр оказался крайне важным, так как фашистские разведчики уверяли, что их якобы обстреляли. К полудню я уже представил в НКВД шпионские фотоснимки наших железнодорожных узлов по маршруту Киев-Львов, мостов через Днепр, аэродромов основных и тех, что находились в стадии строительства.

Через несколько дней поступило новое донесение о том, что наши истребители в очередной раз вынудили пять немецких самолётов произвести вынужденную посадку северо-западнее города Львова у села Куличкув. Мы с командующим тотчас выехали на место происшествия. Там уже находился представитель НКВД, который весьма неохотно разрешил нам осмотреть самолёты. Лётчики с помощью переводчика объяснили, что они — якобы недавно перебазированы из Греции, возвращались на один из немецких аэродромов, но в воздухе потеряли ориентировку и были вынуждены пойти на посадку. И этих нарушителей органы НКВД без задержки сопроводили на их же самолётах в приграничную зону Германии. Немецкие лётчики, отлично зная, что по Договору между Германией и СССР о ненападении им нечего бояться, смело шли на нарушение нашей госграницы.

Однажды к «заблудившемуся» немецкому бомбардировщику вплотную пристроился истребитель из 6-й дивизии и показал рукой, чтобы тот шёл на посадку на наш аэродром. В ответ немец, самодовольно улыбаясь, жестом пригласил его следовать за ним на Запад.

Евгений Саввич неоднократно доносил Наркому обо всех подобных случаях и просил разрешения открывать хотя бы предупредительный огонь. На что в ответ получал следующее:

— А Вы не горячитесь, тов. Птухин. До свидания…

Глава XIII

«Что, началось?..»

21 июня 1941 года, в 22 часа, поздно вечером, я вернулся в Киев из поездки в истребительную дивизию генерала Демидова, размещавшуюся в г. Львове. Заехал в штаб, там никого уже не было. Я отправился к себе домой. Наш дом находился рядом с Софийским собором и памятником Богдану Хмельницкому, в нём проживали самые заслуженные люди Киева. Дома только что принял ванную, сел ужинать. Вдруг звонок. Евгений Саввич. Голос у него был очень взволнованный:

— Немедленно приезжай в штаб.

Я сразу сообразил, что началась война, и в ответ спросил его.

— Что, началось?!

Он сказал:

— Да.

И повесил трубку.

Я быстро оделся. Захватил свой аварийный чемоданчик. Объяснил жене, что это — война, сказал, что делать, что позвоню. Напомнил, чтобы она забрала старшего сына Бориса из пионерского лагеря, и ушёл.

С моим прибытием Евгений Саввич поручил мне немедленно объявить боевую тревогу. Я отдал приказ всем командирам отдельных авиаполков, дивизий на рассвете поднять свои истребители для отражения бомбардировочных ударов фашистской авиации по нашим объектам. ВЧ (телефон высокой частоты) имелся тогда только у командующих округов для связи с Москвой. Чтобы связаться с командирами дивизий, пришлось по «БОДО-35» — (телеграфу) вызывать дежурных в полках и передавать им по аппарату телеграммы. Всё вместе это заняло у меня около семи часов, а точнее: с 23 часов 30 минут 21-го июня до 5 часов 00 22-го июня 1941 г. В эти же часы немецкие самолёты бомбили наш аэродром, где стоял мой бомбардировщик СБ и истребитель И-5 Е. С. Птухина, выкрашенный в красный цвет. От бомбёжек наши самолёты не пострадали. Как раз накануне оперативная группа штаба истребительной дивизии была переведена в г. Тернополь, где в подземной шахте размещался ГКП округа. У авиаторов там была своя крохотная комнатка.

В 24:00 начальник штаба Кирпонос М. П. доложил по ВЧ, что немецкий солдат 222 пехотного полка, переплыв речку, явился к пограничникам и сообщил, что в 4:00 утра немецкие войска перейдут государственную границу.

В 6 часов утра 22 июня мы с командующим Птухиным выехали из Киева и отправились на гражданский аэродром Жуляны, чтобы лететь в Тернополь. Взлетели мы одновременно, каждый на своём самолёте. Шли курсом на запад и специально на низкой высоте, чтобы идущим войсковым частям хорошо были видны красные звёзды на крыльях наших самолётов. Правда, они всё равно вели мощный, но, слава богу, не прицельный оружейный огонь. Я был вынужден уйти в сторону от дороги, а Птухин сел на аэродром в Проскурове, откуда добирался уже на машине.

Я благополучно долетел до Тернопольского аэродрома и начал заходить на посадку. На посадочной полосе у выложенного «Т», прямо в лоб стоял грузовик с четырёхспарочной пулемётной установкой. Планируя на высоте не более двадцати метров, я пошёл на посадку, но с первого захода сесть мне не удалось, так как установка лупила по моему самолёту изо всех четырёх стволов. Я зашёл на второй круг. Меня по-прежнему обстреливали. Огонь был не прицельный, поэтому я благополучно приземлился и вырулил на стоянку. В это время налетели фашистские бомбардировщики ю-88 и «мессершмиты» ю-110, мы еле успели заскочить в щели. Над аэродромом завязался воздушный бой.

В ночь с 21 на 22 июня, на рассвете более 50% авиации противника было брошено на завоевание господства в воздухе. Более 1000 немецких бомбардировщиков неоднократно подвергали налётам 66 аэродромов, на которых базировались основные силы авиации западных приграничных округов. В результате этих ударов в первый же день войны было потеряно 1200 самолётов.

В первые часы войны лётчики Киевского Округа встретили врага в воздухе. Однако полностью сорвать действия врага не удалось. Противник, ударив по нашим действующим авиабазам, вывел из строя около ста самолётов, в основном истребителей и-15, и-116, и-153. К счастью, они стояли на границе поля без горючего, в противном случае возник бы пожар. Через несколько дней многие из них были восстановлены в ремонтных мастерских и принимали участие в боях до начала 1942 года.

На второй день войны, на Главный Командный пункт Юго-Западного фронта, прибыл генерал армии Георгий Константинович Жуков. Я забыл упомянуть, что начштаба ввс округа Ласкин Н. А. перед самой войной был отозван на сборы начальников штабов ввс, откуда в Киев не вернулся, а через три дня после начала войны забрали и моего командующего Евгения Саввича. Он смог только один раз позвонить мне и приказал доложить Жукову разработанный нами план боевых действий фронтовой авиации на ближайшие три дня. Я остался один без товарищей Птухина и Ласкина.

В те напряжённые, тяжёлые дни мне было очень трудно. Больше недели я вообще не ложился спать, хотя бы немного отдохнуть. У меня сопрели ноги, так как я не снимал сапог. Я стал заикаться. Генерал армии Г. К. Жуков сутками непрерывно вызывал меня к себе и ставил непосильные задачи для нашей авиации. Однажды он приказал мне послать бомбардировочную авиацию в Румынию, в Плаешти, чтобы они разгромили нефтяные промыслы. Я доложил, что самолёты сб и П-2 в силу своего ограниченного радиуса действия не смогут вернуться обратно. Он назвал меня трусом и приказал вызвать трёх автоматчиков, чтобы меня расстреляли. И вот я стою перед Жуковым, здесь же вызванные автоматчики и член Военного Совета Н. С. Хрущёв. Я обратился к Хрущёву, он только пожал плечами и вышел. Продолжая разговор с Жуковым, я посоветовал ему поставить ту же задачу перед командованием Дальней авиацией, на что последний и поручил мне довести этот приказ до командующего Дальней авиацией — генерала Голованова, несмотря на то, что они мне никогда не подчинялись. Я тут же отослал шифртелеграмму и указал цели. В итоге «дальняя авиация» была мне даже благодарна, так как никто не ставил им конкретных задач на боевые вылеты, особенно в первые дни войны.

Так я промучился месяца полтора, а может, и больше. гкп фронта всё время отступал, отступали и наши войска. Я оставался один без начальника штаба и командующего и только в конце июля был вызван представиться новому командующему ввс Юго-западного фронта — генералу Астахову Ф. А. Он принял меня очень холодно. О чём бы я ему ни докладывал, всё время молчал. Задач мне никаких не ставил и, получалось, что я остался не у дел. Тогда я решил вместе с лётчиками-бомбардировщиками летать на боевые задания. К тому времени мы уже перебазировались в Киев. Надо отметить, что ночью, кроме одиночных перелётов дальней авиацией, никто не летал. Я стал просить своего командующего, чтобы он разрешил мне организацию ночных полётов. Астахов долго не давал согласия, но под конец уступил и потребовал, чтобы я написал рапорт о выделении трёх бомбардировщиков и расписался в том, что несу всю ответственность за это поручение. Все его требования я выполнил.

К августу месяцу 1941 года штаб гкп перебазировался в Прилуки, затем в Пирятин. Девятнадцатая бомбардировочная авиадивизия, которой я командовал, была укомплектована хорошо подготовленным лётным составом. Лётчики сразу же освоили ночную подготовку. Сначала один полк, а потом — и вся дивизия. Там же, в Прилуках, я и обосновался. Сам летал ночью, практически каждую ночь. Бомбили мы, главным образом, по аэродромам противника от Житомира — до Львова и по скоплению фашистских танковых соединений. За ночь производили почти до сотни ночных вылетов, применяя световые бомбы перед бомбометанием. Вскоре меня вызвал к себе командующий Астахов, объявил, что я представлен к присвоению ордена Красного Знамени, отменил моё участие в ночных полётах и потребовал, чтобы я неотлучно находился при нём. Генерал Астахов был трудный человек. Он никому не доверял и очень боялся, когда над нашим кп появлялся вражеский самолёт. Он тотчас спускался в бомбоубежище и был недоволен, если я не находился рядом с ним.

События тем временем развивались стремительно. Осенью немецкое командование, перегруппировав свои войска и усилив южную группировку, перешло в наступление. К 12 сентября, форсировав Десну и Днепр, немцы вышли своими подвижными танковыми частями в районы Прилуки, Пирятин, окружив город Киев по левому берегу Днепра в три кольца.

Как раз в эти дни из Ставки пришла шифртелеграмма с приказом организовать вывоз раненых офицеров из Киева самолётами в Москву.

В сложившихся условиях вывезти раненых можно было, используя транспортники типа «Дуглас», и только ночью. Астахов поручил мне срочно вылететь в Киев для выполнения приказа Верховного Главнокомандующего.

В тот же день я вылетел на УТ-2 из Пирятина в Киев. Шёл на бреющем полёте очень низко, периодически поднимаясь на высоту 150–200 м, просматривая маршрут впереди себя. Если на дорогах замечал пыль, то этот район обходил стороной. Так добрался до аэродрома Борисполь. По дороге в Киев я встретил на автомобиле «Паккард» одного из руководящих членов ВКПб, застрявшего в этом районе по непредвиденным обстоятельствам. В обмен на свою машину он просил меня отправить его в Москву. Проверив документы, я поручил лётчикам с первой же оказией переправить его в Ставку, а сам на «Паккарде» въехал в город. В Киеве за командующего дивизией оставался генерал Власов. У Власова были очень хорошие условия по линии связи, особенно с Москвой. Пока я организовывал отправку раненых офицеров с аэродрома Борисполь, пришла очередная шифтелеграмма от товарища Сталина с приказом оставить г. Киев и с боями отходить в район Харькова.

В те дни, скорее всего, тайно сговорившись с немецким командованием о сдаче Киева, Власов нечестно информировал Москву о реальных возможностях продолжать защиту столицы Украины. На данном театре военных действий было достаточно войск, способных ещё долго защищаться. Значительное количество наших войска выходило из окружения в районе Белгорода—Харькова—Чугуева. Думаю, Власов остался в Киеве специально, чтобы сдаться немцам, а два месяца спустя инсценировал свой выход из окружения под Киевом. Тоже и мой командующий генерал Астахов, переоделся в простого мужичка, отпустил себе длинную бороду и вышел из окружения только через три месяца. Официально же предатель Власов, в чине генерал-лейтенанта, сдался под Новгородом.

На рассвете того дня, когда немцы должны были войти в Киев, я ещё находился в городе. Своего самолёта, на котором прилетел, на аэродроме я уже не застал. Кто-то уговорил моего авиатехника, и они смылись. Мне пришлось опять на «Паккарде» вернуться на аэродром Борисполь. Здесь я собрал всех «безлошадных», то есть лётчиков без самолётов, выстроил их в колонны, назначил старшего и приказал двигаться и только ночью в направлении Харькова, чтобы выйти из окружения. Сам заскочил в Киев, а оттуда—на аэродром Жуляны, где до войны находились наши авиационные ремонтные мастерские.

На стоянке я обнаружил учебный двухместный истребитель УТ-4, при котором находился и механик. Последний страшно обрадовался моему появлению. Раньше мне не приходилось летать на истребителях. Но авиатехник по-быстрому рассказал мне про него. Я лично порулил по аэродромному полю, и мы взлетели, когда немцы уже входили в город. Нас обстреляли, но я успел уйти в сторону и нормально долетел до Драбаво, где располагался Главный Командный Пункт Юго-западного фронта.

К нашему появлению ГКП был уже разгромлен немцами, а авиаполк, замаскировав свои самолёты копнами убранного хлеба, не знал, что делать. Их постоянно бомбили немцы. В полк входили две авиаэскадрильи истребителей: И-16 и И-153. Я приказал эскадрилье И-153 лететь напрямую в Харьков, так как это расстояние они могли преодолеть без заправки, а сам стартовал с группой на И-16 на Полтаву. К тому времени город находился уже под немцами. Поднялись мы в воздух в обеденное время, приметив, что немцы в обед не летают. Сели на аэродром, что размещался в пятнадцати километрах от Полтавы. Аэродром пустой. Батальон авиационного обслуживания отсутствует, а дело уже к вечеру. Смотрю, мои лётчики сбиваются в кучу и собираются выходить на дорогу, по которой непрерывным потоком шло движение: транспорт, разный народ, военные, гражданские. Ну, я их предупредил… по-русски!!!

Сам вышел на дорогу, остановил авиационный заправщик, привёл его на аэродром, заправил бензином все свои И-16. И вскоре мы уже взяли курс на Харьков.

Всё это очень отчётливо всплыло в моей памяти, когда весной 44 года, направляясь во 2-ю Воздушную Армию к генералу Красовскому, я заехал в Киев.

Глава XIV

Синий платочек

На дорогах войны, по всему пути 4-й Воздушной армии, освобождавшей Австрию, Германию, Чехословакию попадалось очень много брошенных собак отличнейших пород. Отец подбирал их всех. Одно время у него было до семнадцати собак. И, конечно, все эти доги, сеттеры летали с ним в самолёте, так как хозяин передвигался именно таким способом. Мама вспоминает: вот к самолёту по лётному полю идёт отец. Забегая вперёд и возвращаясь, рядом вокруг крутятся штук шесть, семь собак; следом—адъютант Яша Куцевалов, за ним—ординарец. Замыкает шествие мама. К тому времени, когда мама поднималась в самолёт, все собаки сидели уже на своих местах. Знаю, что был, например, очень обидчивый дог Лёва. Как-то, моя полы, мама махнула в его сторону тряпкой со словами «Ну, пошёл отсюда, разлёгся…» Так он после этого неделю не притрагивался к пище. Из самых любимых у отца была Зорка—небольшая, с шёлковой шерстью и узкой изысканной мордочкой, из породы охотничьих ирландских сеттеров. Долгое время она сопровождала его на весёлые охоты, боевые вылеты, местные каботажные перелёты. Отец плакал буквально настоящими слезами, когда его «возлюбленную» увели. Как и все красавицы, она была чрезвычайно доверчива. Заезжий, вернее, залетевший на пару часов полковник N без труда заманил её в свой самолёт. Рыжая дурочка в ожидании отца, как обычно, первой впрыгнула в кабину. Больше её никто не видел. Лет тридцать отец, на определённой рюмке,

оплакивал историю этой любви. Негодовал жутко. Прощая многим куда более серьёзные обиды, эту не смог ни забыть, ни простить.

Сейчас в Европе в моде наши сибирские лайки, особенно их много в Италии. Я встречала там одну красавицу на поводке с совершенно остекленевшими от жары глазами, цвета драгоценного аквамарина. Итальянский эксперт, приезжавший в Москву судить выставку собак, как-то описал забавную сценку. У него дома в Турине есть пара «алясок». По утрам, сопровождая его маленьких детей в школу, лайки то и дело слегка прихватывают за лодыжки его самого и жену, выстраивая их определённым порядком, давай, мол, не отставай, принимая их за собратьев по упряжке. Дети — это другое. Основной, ценный груз.

На всю жизнь я запомнила угольно-чёрного лохматого весёлого Пирата, готового разом — бежать, прыгать, сидеть, служить, лизать — словом, всё, что я от него требовала одновременно. Однажды моя двойняшка Лена напустила его на меня со словами:

— Пират, возьми, Наташу!

Я пулей помчалась на КП отца, за мной летел, высунув язык, запыхавшийся Пират, за ним — Алёна, следом знакомый мальчик Боря, вдали маячила мама. Я испугалась. И сейчас, любуясь собаками, в душе их всё же побаиваюсь. Вот если бы я была мужчиной, охотником, отцом, в конце концов. Да, вот именно, если бы я была отцом.

Как-то уже в сознательном возрасте — классе девятом-десятом, я поинтересовалась про войну у всех по очереди, кто был тогда дома: мамы, отца и бабы Маруси — маминой родни из Старого Крыма, приехавшей к нам погостить.

— Зашли мы в одно уютное кафе, — начал отец, — там были хорошие девчата. Мы пригласили их за свой столик, всё как положено, закуска. Вдруг заходят американские моряки. Здоровые такие парни, шумят, галдят, требуют выпивку, потянулись к нашим девушкам. Ну, мы им к-а-ак дали, конечно, не рассекречивая себя. Они — нам. Всё разнесли.

— Отправили меня с заданием на пункт донесений почту отнести, — подхватила тему мама. Обратно возвращаться было уже поздно, и определили меня на ночь в казарму к солдатам. Вошла после всех, легла с краешка у прохода. Тишина страшная. В казарме — сколько парней, и чувствую — ни один не спит. И пяти минут не смогла там пробыть. Ночевала во дворе. А вот ещё был на войне такой лейтенант, страшно ко мне придирался, всё в караул ставил. Проходу не давал. Однажды затащил силой в теплушку и давай целовать, пистолетом грозит. Слава Богу, товарищ полковник Кононенко отодвигает дверь вагона (мимо проходил) — «Вы что тут делаете? Вольнонаёмная Курилова?!»

— Баба Маруся, а немцы, что? Как? — спрашиваю у бабули, всю войну просидевшей на оккупированной территории Крыма.

— Ну, немцы, — пронося из кухни в комнату борщ. — Что немцы. Пропердели весь Крым…

— Мам, а правда Лена говорит, что папа рассказывал, как однажды на войне, когда его самолёт подбили, и он выбросился с парашютом, (а он всегда, мягко говоря, недолюбливал эти прыжки с парашютом), то вроде он сказал себе: «Ну, если останусь жив, брошу курить».

— Кто сказал, отец? — переспрашивает мама.

— Ну, да, так Лена говорит.

— О, — протянула мама, — Лена… «так вашу…», — сказал он, а не «я брошу курить…»

Мама и немцы. Их было три случая, таких встреч за время войны.

«Захожу я в землянку. Вызвали меня. А в землянке допрос идёт. Допрашивают немецкого офицера. Сбитый лётчик. Я только на него снизу быстренько взглянула. Высокий, подтянутый. Во взгляде — презрение. А — надменный, а красивый какой. Ничего… Ни на один вопрос не ответил. Тут же повели на расстрел…

Ох. Я испугалась. Весной 45-го попали мы в середину колонны немецких пленных в Европе на нашем газике. Колонна — конца и края не видно. Встречный поток, обходят нас молча, в серых шинелях. Все вниз смотрят. Наши конвоиры по бокам где-то, один — на тысячу, и не видно их. Если б немцы захотели, всё, что угодно, могли с нами сделать. Но не такой они народ. Дисциплина у них.

Ехали по Крыму освобождённому, а может, по Кубани летом. По обеим сторонам дороги — поле волнами. Рожь, васильки, а тихо как. Я попросила остановить и пошла вглубь. Иду и вдруг вижу: на меже лежит немецкий солдат навзничь, убитый, совсем молоденький. Ветерок — по волосам цвета той же пшеницы, глаза голубые — в небо. Я подошла, присела, глаза его закрыла рукой и по щеке погладила. И заплакала я над этим немцем молодым»…

— Ой, мам, ну, ты вечно чего-нибудь, — вставляю я, сама отворачиваюсь, смахивая маленькие солёные капли.

«Ах, я могла бы обмануть любого немца», — говорит мама, пристраивая тяжёлую брошку в лёгких складках блузки. В Баден-Бадене, куда она с отцом ездила отдыхать, обычно ранней осенью, чередуя поездки в Германию с поездками летом в санаторий Фабрициус, — в этом году в Сочи, на следующий в Баден-Баден, — в неё всегда влюблялся какой-нибудь немец — из сидящих за столиком в ресторане напротив.

Степь да степь кругом,
Голубая даль…
Под хвостом ИЛ-2
Помирал технарь.

Он на дутик лёг,
Чуя смертный час.
Моторяге он
Отдавал наказ.

Моторяга мой,
Не попомни зла,
Под хвостом ИЛ-2
Схорони меня.

Инструмент, шплитны
Технарю ты сдай,
А ликёр «шасси»
Летунам отдай

А жене скажи,
Пусть не печалится.
С технарём другим
Пусть встречается.

В вечер первой встречи генерала Слюсарева с вольнонаёмной Куриловой на керченской высоте в землянке крутили фильм «Два бойца». И по прошествии многих лет, когда они слышали песню «Тёмная ночь», их лица освещала особая нежная грусть. Из фронтовых маминой любимой песней неизменно оставался всегда один только «Синий платочек». «…Где ж эти ночи?..»

В одну из годовщин Победы, наряду с другими документальными фильмами о войне, по телевизору показали передачу, посвящённую эскадрилье «Нормандия-Неман». То был ряд интервью, встреч, отснятых в Париже с оставшимися к тому времени в живых участниками знаменитой эскадрильи. На набережной Сены у живописного парапета советский корреспондент непринуждённо беседовал с подтянутым, холёным, высокого роста ветераном, представляя того бароном. Безупречно одетый, моложавый барон охотно отвечал на все вопросы, с лёгким юмором вспоминая о тех днях, когда они, молодые волонтёры, стартовали с русских аэродромов против немецких «мессеров». Казалось, сам интервьюер невольно любуется манерами истинного аристократа, преимуществом голубой крови, не позволяющей заподозрить, что на свете могут существовать вещи, способные потревожить невозмутимость истинных nobile.

В конце беседы наш журналист в благодарность и просто делая приятное обаятельному французу, включил карманный магнитофон, и над Парижем зазвучала песня в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко:

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с тобой.
Нет больше ночек! Где ты, платочек,
Милый, желанный родной?

Мелодия лилась на цветущие деревья, речной всплеск волны. Француз по инерции продолжал улыбаться. И вдруг, о Боже, как неприлично барон сглотнул что-то внутри себя. Как неряшливо он полез в карманы штанов за куревом. Как затряслись, заходили ходуном его пальцы, не в состоянии вскрыть пачку сигарет. Как жадно он затянулся дымом. Как некрасиво затряслась его голова. Звуки, слышанные им сорок лет назад, пулемётной очередью навылет пробили броню сэра рыцаря, обнажив перед всеми его трепещущее сердце. Барон ещё силился улыбаться сквозь слёзы, но уже стало неприлично рассматривать этого жалкого, дрожащего старика, и, казалось, устыдившись, камера отъехала от него, устремив свой взор на освещённую солнцем Сену.

Отец по своей охоте никогда не вспоминал и не говорил про войну. Но если, зайдя в комнату, где стоял телевизор, неожиданно был застигнут показом телевизионного фильма про «отечественную», то горло его перехватывал спазм и, как бы отмахнув от себя изображение рукой, со словами: «Нет, не могу…» — тотчас выходил из комнаты.

Глава XV

Хмурая весна

Весна 1921 года стояла холодная и хмурая. С приходом к власти меньшевиков отца быстро уволили с работы без какой-либо пенсии. В первые дни февральской революции события разворачивались очень бурно. Я сам бывал свидетелем охоты за городовыми и офицерами, над которыми творили самосуд. Улицы Тифлиса не освещались, городской транспорт работал из рук вон плохо.

В ночь, ещё задолго до рассвета, около булочных выстраивались огромные очереди за кукурузным хлебом «мчады». Население не имело самого необходимого: хлеба, соли, сахарина, керосина, спичек. Не хватало топлива. Собирали кизяки, вырубали пни и кусты по пустырям. Дул пронизывающий порывистый ветер. Тифлис был запущен, улицы совсем не убирались. Обрывки газет, лозунгов, листовки, подгоняемые ветром, неслись по площадям и дворам. Из окон жилых домов, наподобие дул пушек, торчали железные обрезы буржуек, которые не столько грели, сколько чадили и ели дымом глаза. С наступлением темноты раздавались выстрелы из винтовок и маузеров, любимого оружия меньшевиков.

Кружа по городу в поисках работы, отец возвращался домой поздно ночью, усталый, и молча садился за еду, которую подавала ему мачеха. Все дети давно спали на полу. Я чувствовал приход отца, меня словно током ударяло. Я моментально просыпался и следил глазами за мачехой. Как только она отходила от стола, я высовывал голову из-под одеяла, и смотрел на отца. Мне всегда что-нибудь перепадало — кусок хлеба или кукурузной лепёшки, а иногда и подзатыльник от мачехи.

Отец горел желанием найти любую работу за самую низкую плату, но работы не было. Со второго этажа мы перешли в тёмное, сырое полуподвальное помещение. Пошли болезни. С холодом ещё можно было бороться. Зима в Тифлисе не такая суровая. Железную печку можно натопить щепками и кизяками, в крайнем случае, отодрать доску от забора или сарая, но голод ничем не заглушишь. Я лазил по ночам, собирая съедобные травы, ел цветущую липу, её зелёные молодые листья и соцветия, объедал шиповник, действительно как Сидорова коза, ел какие-то ягоды, сырые грибы. Я как будто замер, не зная, что делать: плакать от горя, голода, холода или злиться. Голодные глаза — разведчики — устремлены только на поиск еды. Они разыскивают её всюду. Найдя, отдают приказ: «Мы видим, что тебе нужно, чтобы жить. Мы нашли. Твоё дело — взять. Возьми и ешь! Ты будешь сыт, и ты будешь жить! Не теряй время.

Действуй или будет поздно». Голод — это грозное испытание, из которого слабые духом выходят, потеряв честь, совесть, способные на измену, воровство, убийства, а сильные и честные люди или погибают, или обретают величие.

В то тяжкое время отец резко сдал. Похудел так, что остались только кожа да кости. При ходьбе горбился, сутулился. Его натруженные руки были покрыты ссадинами и мозолями. Он стал редко улыбаться. Временами лицо его застывало, одни лишь глаза блуждали в пространстве. Когда он шёл, то разговаривал сам с собою, одновременно размахивая руками. Если я обращался к нему с вопросом, или хотел отвлечь его, он часто не замечал меня, продолжая с кем-то вести беседу. Не понимая его состояние, крайне удивлённый, я оглядывался по сторонам, ища его собеседника. Он стал разъезжать по деревням, чтобы обменять оставшееся барахло на муку. Пока он колесил по Кавказу в поисках продуктов, наша семья голодала в полном смысле этого слова. По два-три дня нам приходилось питаться одним кипятком. Иногда нам перепадал жмых от подсолнухов. В шелухе попадались редкие целые семечки. Жмых размачивали в воде в течение двух-трёх дней, после чего процеживали, смешивали с толчёными желудями, сушёной крапивой, и замешивали из этого что-то вроде оладий.

Вскоре в поездках отец сильно простудился, так как, не имея билета, ездил в тамбурах на подножке и на крыше вагонов. Простуда дала осложнение на сердце. Отец страдал ногами. Медикаментов не было. Лечили знахарки молитвами и заговорами. Помню, кто-то посоветовал ему принимать грязи на его больные ноги, покрытые ранами до самых костей. И вот я вместе с ним и мачехой отправились за двадцать километров в долину реки Йори, где было солёное озеро. Вышли на рассвете. К обеду еле добрались. Отец сразу залез в грязь. На его ноги было страшно смотреть, по его лицу я видел, как он страдал. Мне было жаль его. Я знал, что это ему не сможет помочь. Вернулись мы под утро. Он слёг и больше не вставал.

Умирал отец в самое тяжёлое время года — зимой. У нас не было средств, чтобы пригласить доктора. Не было денег даже на хлеб. Умирал кормилец. Помню как сейчас, среди ночи нас детей разбудила мачеха и с плачем и причитаниями, присущими крестьянской среде центральной России, подвела к отцу. Тускло горела лампадка перед иконостасом. Под ним, в углу, на кровати, лежал отец. Перед своей смертью он попрощался со всеми нами и всех благословил. Особенно долго он держал руку на моей голове, всё время её гладил. Задыхаясь, прерывисто дыша, он повторял:

— Сын мой, мой сын, очень рано я вас покидаю, ухожу навсегда. Тебе, мой сын завещаю одну вещь. Береги её и ты будешь счастлив.

— Спросонья, ничего не соображая, я в свою очередь спросил его:

— Когда ты купишь мне новые ботинки?

У меня за всю мою жизнь была лишь одна пара обуви, которую я отчаянно берёг — ботинки, которые сильно жали, потому что я их редко надевал. В ответ на это отец слабой рукой ещё раз погладил меня по голове и сказал, видно, что вторую пару мне придётся купить себе самому, так как он не в силах сейчас этого сделать. Не помню, что я ему ответил, но только заплаканная мать оттолкнула меня в сторону, и я ушёл спать на своё место, на полу. К утру я услышал страшный плач, переходящий в дикий вой и причитания: «Да на что же ты меня покинул? Да, что же я буду делать, горемычная, без тебя, моё солнышко? Да, где же ты, мой сокол сизокрылый? Улетел от своей пташки на небеса…».

Отец умер перед Рождеством. На похороны меня не взяли, оставили дома, чтобы я готовил еду для поминок. За сутки была залита пшеница для кутьи, я замесил галушки с гренками и орехами. Почтить память отца пришло много русских, грузин. Каждый принёс еду, вино. Со смертью отца разбились все мои надежды на учёбу, на всё лучшее. Семья распалась.

В юности в моём сознании надолго сохранился страх голода, мне всё казалось, что завтра не будет еды, хлеба. Во сне я всё собирал съедобные остатки, кусочки хлеба, стараясь запрятать их подальше и создать свой запас. Когда я кушал что-либо, постоянно сверлила мысль оставить часть еды на завтра. Так продолжалось до тех пор, пока, я не стал курсантом Севастопольского Качинского училища. Однажды, проходя практику полётов в лётной школе, меня назначили дежурным по кухне. Увидев то изобилие продуктов, которые шли в пищу будущим лётчикам, я вдруг сразу осознал, что моему голоду пришёл конец, и я, наконец, избавлен от самого страшного врага моего детства.

На площади у церкви с раннего утра собирались все, кто искал работу. Голод, разруха гражданской войны гнали обездоленных по всей Руси на Кавказ. Толпами шли опухшие в поисках куска хлеба, да что там хлеб, была бы кожура от промёрзлой картошки, ботва. Я ходил на площадь каждое утро. Вскоре нас набралось человек двенадцать, позднее прибились ещё трое сестёр. Старшей, Наталии Фёдоровне, было лет за тридцать, младшей Тане — семнадцать. Так как я знал грузинский, немного по-татарски и по-азербайджански, то меня, четырнадцатилетнего паренька, выбрали за старшего. Артель я назвал «Не унывай». В тот же день нас нанял татарин Ахмед из дальнего аула для прополки бахчей арбузов и дынь.

К вечеру мы добрались до мельницы, где и заночевали. Чтобы продемонстрировать свою заботу об артели, я, выпросив у хозяина разрешение на сбор мучной пыли, развёл костёр и начал варить «затируху». На широкой доске рассыпал мучную пыль, собранную на брёвнах и стропилах мельницы, перемешал с солью и, затирая рукой, засыпал всё в кипящую воду. Вышла отменная «затируха», вот только песок сильно хрустел на зубах. Я предложил её не жевать, а просто глотать. Так как все были очень голодны, пришлось ставить второй котёл. На следующий день к обеду мы дошли до места. Хозяин выдал каждому по кукурузной лепёшке и на четверых по большой миске снятого молока. Бригада наша осталась очень

довольной. Ахмед показал, откуда полоть, и раздал тяпки. Свои распоряжения он передавал через меня. Разговор шёл частью на грузинском языке, частью—по-татарски. Все быстро освоились с характером работы и добросовестно относились к ней, за исключением Ивана и Василия—двух дезертиров, сбежавших из Красной Армии. Они рубили всё подряд и, когда дошла очередь их проверки, хозяин так отменно материл их на чисто русском, что надобность в моём переводе отпала. Пришлось мне встать рядом с ними и показывать, где сорная трава, а где молодая рассада арбузов и дынь. По правде говоря, их это мало смутило. Стоило отвернуться, как они пололи всё подряд. Видя, что за ними следят, бывшие солдаты пошли на хитрость—срубленные всходы подбирали и снова сажали в землю, но это только отсрочило разоблачение на день. Когда на следующее утро стало ясно, что все посадки на их полосе увяли, мы первыми принялись их ругать. Хозяин прямо-таки катался по земле, а с них как с гуся вода. Тут же их выгнали.

Дни шли за днями. На все наши просьбы улучшить питание, хозяин твердил, что завтра будет баранина, но мы неизменно получали одну лепёшку и снятое молоко. Подошла суббота. Половина артели «Не унывай», взяв расчёт, на попутной телеге уехала домой. Осталось нас восемь человек. В воскресенье, видя, что хозяин не собирается ничего менять, мы также собрались уходить. Ахмед стал просить меня и женщин остаться. Из меня он обещал сделать своего помощника. Несмотря на выгодные условия, я, верный духу товарищества, отказался от его предложения. Мы отошли от хозяйства на приличное расстояние, как неожиданно нас нагнал на лошади верхом молодой смазливый грузин по имени Шакро. Видно, девчата ему приглянулись, потому что он начал уговаривать их вернуться, обещая, что Ахмед улучшит питание. На мои возражения, что все посулы—очередной обман, женщины меня не послушали, а напротив, стали упрашивать, чтобы я их не бросал. Пришлось вернуться. Надо отдать должное, вечером каждый из нас получил по куску брынзы, и молоко было не снятое. Шакро всё время крутился возле сестёр, особенно вокруг Тани. После ужина она подошла ко мне и попросила, чтобы я лёг спать в её шалаше, так как она боится этого Шакро. Ночь прошла более-менее сносно. Кто-то возился рядом с шалашом и неоднократно наступал мне на ноги. Утром мы на работу не вышли. Стали совещаться. Старшая сестра настаивала на том, чтобы идти в татарские аулы, наниматься в работники. Я объяснял, что женщинам опасно идти к татарам, так как там нет никакой власти, и они останутся без защиты. Наталия Фёдоровна со мной не согласилась. Наконец, взяв окончательный расчёт, мы двинулись по направлению к аулам. К вечеру дошли до мельницы. Хозяин мельницы, мой тёзка—Сидор Иванович, услышав, как я разговариваю с грузинами и татарами, предложил:

—Знаешь, может, пойдёшь ко мне помощником? Я—уже старый, и мне трудно одному, тем более ты можешь с ними балакать, а я их «чертей» не понимаю.

Что и говорить, условия были завидные: харчи, работа, свежий воздух, речка, но чувство товарищества и доверие моих друзей не позволило мне принять это предложение.

Рано утром мы продолжили путь вниз по течению реки Йори. Сочная высокая зелень на берегу так и манила прилечь. Солнце уже выглянуло из-за холмов. На косогорах стояли прошлогодние копны сена, и казалось, что вся долина заселена какими-то пришельцами. Вот-вот затрубят военные трубы, загремят барабаны, и несметное татарское войско, вооружённое кривыми мечами и длинными копьями, лавиной двинется на нас. Но кругом тихо, только солнышко поднимается всё выше и выше. Над дорогой с весёлым криком носятся стрижи, высоко в воздухе висят жаворонки, чьи звонкие песни сливаются со стрекотанием кузнечиков и посвистом сусликов. Воздух—чистый и прозрачный. Идти легко. Перейдя реку вброд, мы уже стали подниматься в гору по лощине, как нам навстречу внезапно выехали трое всадников, среди которых был и наш Шакро. Как сумел он так быстро встретить нас на окраине татарского аула, не понятно. Мы остановились, я только успел напомнить сёстрам, чтобы они были осторожнее.

Когда всадники приблизились, один татарин, средних лет, сказал, что ему в хозяйстве нужны работницы. В переговоры вступила старшая сестра. Не знаю, на каких условиях они договорились, но очень скоро, довольные и весёлые, пошли вслед за новым хозяином, даже не попрощавшись с нами, только махнув на прощанье рукой. Мне стало очень обидно и жалко, особенно жалко за Таню. Я знал, что теперь их жизнь полностью зависит от хозяина, и что им никогда не выбраться из неволи.

Долго ещё потом, работая на мельнице и в Бадьяурах, я интересовался их судьбой, но больше о них никогда и ничего не услышал.

Окончание следует.

Анатолий Вершинский

Чалдонская тетрадь

…уходя в иные дали,
завещал свои медали,
всё добро фронтовика,
чья Победа — на века,
но для чьих стараний ратных
в прейскурантах аппаратных
не нашли цены вожди
с триколором на груди,—
им челом не бил: присягу
дал чалдон иному стягу,
хоть и был его кумач,
как лесной пожар, горяч,
хоть пришлось крестьянским детям
жить не так под флагом этим,
как трубил на целый свет
первый ленинский декрет,
но герой моей поэмы
не касался этой темы
ни в беседе, ни в письме
(даже в пору «перестройки»),
лишь всегда держал в уме,
до чего чалдоны стойки:
род, прореженный на треть,
всё же смог не захиреть
(кто своих не помнит близких —
поищи в расстрельных списках,
только выжившей родни
за молчанье не брани),
и герою было ясно,
что из дому не напрасно
увезли семью и стал
домом ей лесоповал,
обрубив работой адской
связь её с роднёй «кулацкой»;
а покуда рос герой,
рос и креп колхозный строй,
и хорошие отметки
в аттестате семилетки
да ещё терпенье (в мать)
помогли мальчишке стать
педагогом сельской школы,
выпуск вышел невесёлый —
началась война в тот год,
а потом пришёл черёд
и ему примерить китель:
стал механиком учитель
и обрёл свой новый дом —
фронтовой аэродром;
на тяжёлых, но покорных
бомбовозах двухмоторных,
сокрушив тылы врага,
долетел их полк до Польши
(показавшейся не больше,
чем чулымская тайга),
и весною на Рейхстаге
зацвели, зардели стяги
победившей смерть земли,
и, учебники подклеив,
ждали школы грамотеев,
чтоб сирот учить могли;
и ждала его невеста,
и нашла у тёщи место
новобрачная семья,
он учил детей в артели,
а потом свои поспели:
как и чаял, сыновья,
и они служили тоже,
оба с ним усердьем схожи,
долг армейский был тяжёл:
старший так и не пришёл,
та беда их надломила,
и жену взяла могила
раньше мужа, младший сын
звал его к себе, но тщетно:
старый воин сдал заметно,
да не сдался — жил один;
с той поры, как дом фамильный,
вековой крестовый дом
брошен был семьёй, бессильной
избежать гонений в нём,
с той зимы, когда подростком,
увезённый в леспромхоз,
обвыкался в мире жёстком,
полном тягот и угроз,—
где он только не жил: в хатке,
крытой чуть ли не ботвой,
и в брезентовой палатке,
и в землянке фронтовой,
и в избе послевоенной,
маломерке пятистенной,
что сдавал совхоз ему,
а вот собственной усадьбы
заводить не стал (понять бы
вам, читатель, почему),
и не дом, а домовина
да суглинка два аршина

рядом с верною женой—
весь его надел земной;
от судьбы единоличной
к цели общей, утопичной,
но благой, держал он путь
и с него не мог свернуть—
так, до неба возвышая
над деляной за окном,
пролетела жизнь большая
на дыхании одном,
человек с лицом эпохи—
уходя за нею вслед,
он сберёг до малой крохи
всё, что помнил с детских лет,
и в конце доверил сыну,
кроме бронзовых наград,
золотую сердцевину
обретений и утрат—
о своей любви и боли
постарался рассказать,
плод его последней воли—
аккуратная тетрадь,
под её обложкой плотной
сто историй, сто имён,
но особенно охотно
вспоминал тайгу чалдон:
край урочищ диковатых,
мир, где не был он чужим;
там играл на перекатах
пёстрой галькою Чулым,
в омутах жирели щуки,
долгожители реки,
на угоре у излуки
рыли норы барсуки,
лось выпрастывал из чащи
сучковатые рога
и дразнился пень, торчащий
водяным из бочага,
а в Чулым текли, вертлявы,
Агата и Аммала,
Борсук-левый, Борсук-правый—
в тех местах родня жила;
с быстрых рек тайги-дикарки
увела судьба потом
к речке медленной—Уярке,
с тихой рощей за прудом,
у болотистого дола
оседлало холм село,
наверху стояла школа,
в ней полжизни протекло,
но помимо школьных правил
помнил он лесной урок—
и силки на зайца ставил,
и готовил сено впрок:
отбивал он косу ловко—
и послушная литовка
на лугу, что мёдом пах,
пела птицею в руках,
он плетёную корчажку
снаряжал на карасей
и варил на праздник бражку
для соседей и гостей;
он любил заботы эти,
он зимой мечтал о лете,
он устал от школьных пут,
но к нему тянулись дети:
завтра осень, значит—ждут,
и опять в костюме строгом
он входил к ребятам в класс,
был он сельским педагогом—
на земле, забытой Богом,
был он совестью для нас;
командир небесной рати,
позаботься о солдате:
жил он честно до конца—
Отче наш, прими отца…

Николай Алешков

На своём месте

А на лужайке Настенька и Ванечка,
две светло-русых детских головы,
и золотые брызги одуванчиков
рассыпаны по зелени травы.

У сочных майских красок столько гонора!
Я наяву цветные вижу сны.
Но за поспешной кистью не угонишься:
через неделю—нету желтизны.

И над садами дачными рассеялся
вишнёвый и черёмуховый дым,
но не грущу давно я по-есенински,
что я не буду больше молодым.

И подсмотрев, как роща за амбарами
вовсю шумит окрепшею листвой,
пою с друзьями вместе песни старые
о том, что «чёрный ворон—я не твой…»

А на лужайке Настенька и Ванечка
весёлым смехом радуют гостей
и белый пух сдувают с одуванчиков,
и он летит над памятью моей!

Моё место

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был…

Анна Ахматова

—Хочешь в депутаты?
—Непременно!
Непременно отвечаю:
—Нет!
Рядом с властью ныне бизнесмены
или шоумены. Я—поэт.

И когда под майским небосводом
грянет марш Победы в грудь мою,
я не с ними—я с моим народом
за оградой молча постою.

Моё место здесь. Не жду награды.
Пригожусь народу, может быть,
если вновь придётся баррикады
из оград чугунных возводить.

Осенний полёт

Наслажденье: побыть одному,
полистать Гумилёва и Грина…
Тишина в опустевшем дому.
За окошком краснеет рябина.

Вот и стопка бумаги растёт
на столе—и не надо притворства.
Это осень—Жар-птица в полёт
увлекла за собой стихотворца.

Что ж, летим. До свиданья, Земля!
Сердце с детства к полёту готово.
Кто-то в небе поймал журавля.
Я услышу небесное слово.

Впрочем, я не один. За спиной
журавлей и гусей вереницы,
и небесный мой ангел со мной,
и перо улетевшей Жар-птицы…

Майский снегопад

Царь небесный, видно, за́пил,
солнце тучами закрыл.
Зелень майскую внезапно
снегопад посеребрил.

Снег валился на дорожки,
хулиганил на траве,
и жемчужные серёжки
снег раздаривал листве.

Как невесты, встали чинно
с жемчугами да с фатой
и берёзы, и осины
вдоль дороженьки пустой.

Женихи—дубки да клёны—
подбоченились в лесу.
И рубашкам их зелёным
шапки белые—к лицу…

Я несу любимой розы.
Может, это невпопад?
Чувств моих не заморозит
даже майский снегопад.

Романс

Над серебром заснеженных полей,
над белой и безмолвною равниной
звон бубенцов послышится старинный,
когда раскинет звёзды Водолей.

И я рванусь к тебе, былая Русь,
всей памятью, всей болью, всей печалью.
Мне журавли под осень прокричали,
что я по снегу к матушке вернусь.

Гони, ямщик! Я не жалею слёз.
Пусть только тройка скачет, скачет, скачет…
Вон жемчуга на веточках берёз
слезами стынут—небо тоже плачет.

В моей больной, поруганной стране
опять дела разбойные творятся.
И нету сил юлить и притворяться,
что «всё путём», что всё по нраву мне.

Гони, ямщик! Я не найду ответ.
Я перестану плакаться над прошлым.
И санный след серебряной порошей
укрыт надёжно. И возврата нет.

Горите, звёзды! Я услышать смог
всей кровью зов таинственный и древний.
И я скачу—вдруг вспыхнет огонёк
в какой-нибудь заброшенной деревне…

Среди созвездий

Смотри на звёзды чаще.
Их свету нет преград.
В их бездне леденящей
сокрыт небесный град.

Смиренно, словно инок,
ты небесам внемли.
Звёзд больше, чем песчинок
на пляжах всей Земли.

И звёздам там не тесно.
Душа, как астроном,
тоскует о небесном,
а тело—о земном!

В лучах звезды нетленной
почувствуешь полней
величие Вселенной,
своё слиянье с ней!

Пусть ночь подольше длится—
увидишь, как во мгле
Вселенная ветвится
созвездьями к Земле.

К душе, что ждёт известий,
летит благая весть,
что там, среди созвездий,
твоя Отчизна есть.

***

Сергею Бычкову

Крикну—эхо отзовётся…
То ли сказка, то ли быль…
Ветерок над пашней вьётся,
завивая в кольца пыль.

Отзовётся детство гулко:
с лёгкой удочкой в руке
по широкому проулку
босиком бегу к реке.

Камыши в туман одеты.
Между ними—островок.
Золотая рыбка, где ты?
Пусть качнётся поплавок.

Пусть качнётся, пусть утонет.
А утонет—подсекай…
Щука плещется в затоне.
На крючке висит пескарь.

Через речку, над обрывом
вьются, кружатся стрижи.
Как на свете стать счастливым?
Эй, премудрый, подскажи!..

Зарастут травой тропинки…
Через много-много лет
я вернусь к реке Челнинке,
как вполне солидный дед.

Обмелела… Боль не скрою—
детство в сердце берегу.
С сыновьями дом построю
на пологом берегу.

И увижу: по проулку
босиком бежит к реке,
на ходу кусая булку,
внук мой с удочкой в руке.

Треугольник

Остынь, не будет драки.
Ударишь—я стерплю.
Ты состоишь с ней в браке,
а я её люблю.

Не вспыхивай, как школьник.
Я не желаю зла.
В Бермудский треугольник
стихия занесла.

Люблю. Не отрекаюсь.
Зря дёргаешь губой.
В грехах я в церкви каюсь,
но не перед тобой.

Галина Якунина

Голос

Не перебивайте стариков.
Как легко нам в суете и спешке
Отмахнуться, не тая насмешки,
От негромких, выстраданных слов.

Не перебивайте стариков.
А уйдут в себя—не торопите:
Тяжко им, распятым, как Спаситель,
На кресте—распутье двух веков.

Не перебивайте стариков.
Нам, родства не помнящим,
Прозреть бы:
В их глазах,
в свеченье слов последних—
Боль ушедших в землю родников.

Не перебивайте стариков…

Голос

Я—голос,
Я—тихий голос
Земли бездольной моей,
Её материнства горесть,
Недетская грусть детей.
Я—боль стариков забытых,
Печаль деревень—пустынь,
Погостов, водою смытых,
Сожжённых дотла святынь.
Я—горечь надежд недолгих
И свет непогасших глаз—
Всех, преданных ей и долгу,
Всех—преданных… и не раз.
Мне, дальней весны предвестью
Среди беспросветных вьюг,
Быть плачем её и песней,
И верой, что выше мук.
В её ветра штормовые
Мой голос навечно влит:
Не я говорю о России—
Она во мне говорит…

Держава

В. Распутину

Мне говорят, что на краю Россия.
А на краю России на меня
Со стен часовни в слабом свете дня
Глядят Матрёны,
Ксении,
Марии.

Великие праматери мои,
Босые лады русских богомазов…
На всём пути Державы столько Спасов
Взошло на вашей молодой крови!

Наследуя лишь подвиг отреченья,
Вы, молча долг над горем вознеся,
Держались—и держали небеса
Свинцовые над каждым поколеньем.

А новый век держался за подол,
И вслед за мужем шла повестка сыну,
И плакала, припав к плечу осины,
Весна-вдова над пеплом бывших сёл.

Страна-полынь… тебя зовут рабою
Лишь те, кто сам утратил честь и стать,
В войне трудней всего—не воевать,
А для победы отступать—без боя.

И все слова, что Руси дух ослаб
И близится закат её печальный,
Страшат, пока не встретятся с молчаньем
До немоты усталых русских баб.

В таком молчанье кедры вековые
На самой круче, на семи ветрах,
Качают луч рассветный на ветвях
И держат,
держат на краю
Россию…

Неопалимая купина

Посвящается Льву Горину

Во всех воплощеньях земных
И скитаньях,
В отчаянном поиске
Смысла и света
Россия — извечное нам
Испытанье
Мечтой неотступной,
Тоской безответной.

В России душа
Не подвержена тленью,
Хожденья по мукам ея
Не исчислить.
Рождаемся русскими —
Во искупленье
Незрелости духа,
Несмелости мысли.

Среди упоительных
Далей и высей
В неволе незримо
И зримо нас держат.
И страшен наш бунт —
Оттого, что бессмыслен:
Мы вновь возвратимся
На круги на те же.

И вновь нас подвергнут
Обряду крещенья
Огнём, где, казалось,
Дотла мы сгорели.
И небо замрёт,
Побледнев от волненья:
Какими мы выйдем
Из этой купели?

Как трудно вставать…
Не моля о прощенье,
Приемля свой крест
С обречённой отвагой,
Россия сама для небес —
Откровенье:
От рая до ада —
Полслова,
полшага.

Исход наш, предел —
Никому не известен.
Любовь, либо ненависть —
По вдохновенью.
Но в удали плясок,
И в радуге песен —
Наш вызов судьбе,
Наша вера в спасенье.

…А кони летят во всю мочь
Бездорожьем
Сквозь холод и мглу,
Сквозь столетья лихие.
И светится тихо
Лик Матери Божьей
В огне купины,
Что зовётся Россией.

Ночь с ангелом

Лунные блики
Скользят по устам и перстам…
Ангел-хранитель мой,
Как ты, бедняга, устал.
Светишься еле
И брови сдвигаешь, скорбя.
Милый, прости,
Мне ведь нечем утешить тебя.

Сколько ты раз
Свои нежные крылья ломал,
Снежные перья
В зловонные лужи ронял.
Что ты бросаешься
Вечно и всюду за мной
В самое пекло,
В свирепый накат ледяной?

Завтра опять —
новый день,
новый шторм,
новый бой.
Будем стоять
и молчать пред безумной толпой.
Мы-то давно
И доподлинно знаем с тобой:
Зверь в человеке
Страшней любой твари земной.

Ах, как свистит
Над душой сыромятная плеть!
Учат нас, учат:
Нельзя доверять и жалеть,
Аспидов греть
И матёрых волков приручать —
Горстью колодец отравленный
Не исчерпать.

Ангел, не плачь:
Будет солнце и в нашем дому.
Главное, друг мой,
Не лгать и не мстить никому.
Самое трудное —
Сердцем понять и простить,
Птицу-обиду
Сдержать, в белый свет не пустить.

Яд одолеть
И лицом повернуться на свет.
Ты понимаешь —
Другого пути у нас нет.
…А над землёй
Снова зимняя зреет гроза.
Спи, ангел мой.
До рассвета — всего полчаса.

Николай Тарасов

Старая проза

«Птица малая лесная…»
Песня

Зазеленела вновь округа.
Оттаял наконец восход.
И скоро певчая пичуга
В саду нежарком запоёт.

В глуши заброшенного сада
Уютных понавьёт колец,
Чтоб, сбережённый пуще клада,
В гнезде проклюнулся птенец.

Так будет, если не порушит,
Не смоет, не утащит прочь,
Не сломит ветку старой груши
Ненастье в грозовую ночь.

И если в дебрях ненароком,
Пробравшись сквозь шатёр куста,
Злой мальчик—низом или боком—
Не доберётся до гнезда.

И кот тигрового окраса
Из-под соседского крыльца,
Урочного дождавшись часа,
Не закогтит того птенца.

О Боже! Сколько этих «если…»,
Угроз и бед не перечесть…
Ты видишь, как непросто песне
Родиться, выжить и расцвесть!

Лишь волей Вышнею и чудом
Такое можно объяснить,
Что скоро к небу—вон оттуда—
Взовьётся песенная нить…

Костёр

Не горится костру
На сентябрьском ветру.
Не поётся ему и не пляшется.
Дым полизывает дровяную кору,
И от дыма никак не прокашляться.

А охота костру
Полыхать на ветру
И шуметь, и пошаливать искрами.
Знать, красно и костру
Погибать на миру,
Отплясав языками лучистыми.

Куст

Александру Селюнину

Откатился от подлеска,
Зацепился за бугор.
Замахнулся веткой дерзко
На ромашковый узор.

Неуступчивый, ершистый,
Смотрит криво, словно тать…
Разноцветья трав душистых
Замутилась благодать.

Видно, дело тут не просто,
Если ночью, без луны,
Глаз звериных дикий фосфор
Вдруг блеснул из глубины.

И названия не знаю,
И не видел, чтобы цвёл…
Он в свою попал бы стаю—
Точно б шороху навёл…

Что ни ягода—то волчья,
Что ни встреча—то к ножу…
Оттого и днём и ночью
Это место обхожу.

С ним вязаться нету толку,
И на кой он сдался ляд?!
Но затылком, как двустволку,
Долго чувствую тот взгляд.

Вот такой кустяра вырос
У излучины тропы…
Что сорвёте там—на выброс!
И особенно—грибы.

Старая проза

Старая русская проза…
Ставни расшиты резьбой.
Дверь отворят без опроса,
Хлеб свой разделят с тобой.

Путнику в ливень кромешный
Крыша она и ночлег.
Праведный ты или грешный—
Лишь бы живой человек…

Кедровый стланик

Не перелесок, не лесок—
Стоит невзрослый, как подлесок,
Как к лесу маленький довесок,
Что коренаст и невысок.

И тихо наполняет грудь
Одно желанье—не нарушить,
Гнездо лесное не разрушить,
Не потревожить. Не вспугнуть.

Так ниточка доверья вдруг
Протянется, невесть откуда,
И возникает в мире чудо—
Синицы посвист, дятла стук…

Кого мне здесь благодарить
За чувство трепетное это,
За хвойный дух на склоне лета,
За эту тоненькую нить?

На маленьком аэродроме,
Где зелень чиста и свежа,
Есть время подумать о доме,
Отделавшись от багажа.

Об отчем пороге и кровле,
О тёмных и светлых углах,
О тёплом морщинистом поле,
Где полдень полынью пропах.

О струях молочного дыма,
Речную туманящих гладь.
О всём, что с высот обозримо,
О Родине, проще сказать…

Об этом, о чём ещё кроме
Вот так размышлять, не спеша,
На маленьком аэродроме,
Отделавшись от багажа.

Тропка

Перед глазами сопка,
И за спиною сопка.
Над головою туча—
Вот островной мой юг,

Но из распадка робко
Тайная моя тропка
Тянется к перевалу,
Ломит тугой бамбук.

Солнечен, дик и светел
На перевале ветер.
Небо впадает в море,
Страшен в просторе путь!

Только на целом свете
Нет ни другой, ни третьей
И никакой дороги,
В сторону чтоб свернуть.

Лель

Подводя черту под многоснежностью,
Лужами взрывается апрель.
И такой повеяло вдруг свежестью!
Это—Лель.

Стрелы мечет Лель свои лилейные,
Соблазняет вешней новизной.
Лелем были сны твои взлелеяны
За морозной ставенкой резной.

Горлинкой, ручьём, барашком облачным
Он явился, и сквозь вербный пух
Солнечным по небу катит обручем…
Это—Лель, любви бессонный дух!

Нет, не прячься ты за занавесками!
Ветер солон и сладка капель.
И не будут наши вёсны пресными
До тех пор, пока живёт в них
Лель!

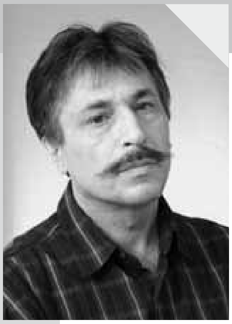
В месяц високос
Народился пёс.
Не от порченой, не от бешеной…
Сам себе подрос—чистый дикорос,
Все породы в нём перемешаны.

Лапой ловит мух.
Есть и нюх, и слух.
А глазищи у пса—умнющие.
Хоть в болото с ним—на перо и пух,
На медведя хоть—красться пущами.

Народился пёс.
Будто вихрь унёс
И отца, и мать, и хозяина.
У дверей глухих, у больших колёс—
Много снегу боками оттаяно.

Народился пёс.
А в глазах—вопрос.
Чушь собачья—его явление.
Он слоняется да вздыхает в нос—
Надоело до околения.

С умным и живым—
Пошутили с ним.
У природы своя ирония.
На большой земле—больше псом одним.
Вот и вся собачья история.



Александр Цыганков

Северное сияние

Прогулки с классиком

Следуй преданью, поэт…
Квинт Гораций Флакк

И цвет на полотне, и солнце за окном,
И на дворе апрель! И вдруг—печаль такая,
Что смотришь битый час, как в небе голубом
Кружится ястребок, крыла не поднимая.
Парит себе и всё. Эпиграфом к весне!
И вновь со мной всё те ж—тревога и волненье!
Как много лет назад—в распахнутом окне
Круженье ястребка и—головокруженье!

И голых лип весной пахучая кора!
И в парке с классиком гуляет Мельпомена.
Неизданных стихов—прекрасная пора!
Бульварные цветы. Поклонницы Верлена.
Не их Автомедонт—на памяти моей,
А Блок и Аннинский—в мистическом тумане!
Да в поле бубенцы Серёгиных коней…
Гляди, как режут снег—есенинские сани!

Всё это ближе мне. Печальнее. Светлей!
Слышней, чем реквием какой-то странной эры.
Цитирую: *горит звезда моих полей!*
И вдруг издалека—ахейские галеры—
И море, и любовь! И—как перед войной—
Прогулки с Пушкиным. Прелюдия распада.
Как будто это всё случилось не со мной!
И ястреб улетел. Закрыта «Илиада»…

Не говори. Диктуй! Что дальше, сын Лаэрта?

Северное сияние

Алексею Буховскому

Ты помнишь, как ярко светили огни с небосклона,
Мы шли с гауптвахты, и ротного матерный крик
Разрезал пространство до рудников Каларгона
И вдруг обернулся песнею про материк.
Ты помнишь, Алёша, как строем ходили и пели
По белым дорогам и грудью вдыхали пургу?
Мы даже об этом слагали стихи, как умели,
Но строчки забыли в глубоком Таймырском снегу.

Мы даже не знали—куда прилетели с гражданки.
Надели шинели! И каждому стало теплей,
Когда, как виденье, под звуки «Прощанья славянки»
Вдруг вспыхнуло в небе сиянье магнитных полей!
Пусть кто-то не помнит метелей нестройное пенье,
Казармы под снегом и ротного крики вдали,
Но высветит память полярное это свеченье
Над белой дорогой—у самого края земли.

Грани

Виктору Липатову

И днесь в тех зеркалах—сапфиры, серафимы…
Архангелы поют, как наяву, не зримы.
Чистилище миров, рождение Вселенных,
И знаки всех времён в тех зеркалах нетленных.

Молчит апостол Марк, но Гёте, словно Вертер,
Покажется на миг и крикнет: Это ветер!
В полотнищах зерцал, которые уносят
Туда, где никого по имени не спросят,
А просто нарекут Платоном или Марком.
В тех зеркалах война не кончится Ремарком,
Как не узнать о том Шекспирам и Гомерам,
О чём шумел камыш обкуренным шумерам.

И днесь в тех зеркалах жрецы вдыхают ладан.
И мир, как лабиринт, доселе не разгадан.
Там сотворён квадрат, но выставлен без рамы,
Как вечное Ничто под слоем амальгамы.

Живопись

Империя—воздушной перспективы!
Теней сцепленье. Красок переливы.
И время, подражая примитиву,
Не разрушает эту перспективу
И только уточняет перемены,
И в зеркальце—не суженый Елены,
А так себе—подобие героя,
Как памятник Эпохи Перепоя.

И что сказать? И где ещё такое
Откроется—сеченье золотое!
На плоскости плакучие берёзы
И в перспективе—их метаморфозы.
Подобия! Но как они красивы
В империи воздушной перспективы—
Разливы бирюзы и аксинита,
И прочие изыски колорита.

Прямая речь

1. Прямая речь отчётливей в лесу,
Где эхо отвечает с полуслова
Охотнику, что целится в лису,
Стреляет и… цитирует Баркова.
И рыжий зверь его прощальный крик
Смахнёт хвостом в подстрочник листопада
И ускользнёт, как новый воротник
С любимых плеч, прикрытых, как засада,
В другом лесу, что сказочней стократ,
Где больше меха ценится двустволка,
И всякий говорит другому: «Брат!»,
Но смотрит осторожно, как на волка.

2. Охотник ищет в чаще новый след,
Верней, бежит от промаха по следу
Мечты—добыть хоть зайца на обед
И рассказать о подвиге соседу!
Но слышит вдруг свой голос. С языка
Слетела речь и стала Невидимкой,
И увлекла простого мужика—
И повела неведомой тропинкой!
Метался меж деревьев яркий свет.
Закат, как Вий, моргал косматым глазом.
И сам герой распутывал сюжет,
Захваченный охотничьим рассказом.

3. Прямая речь слышней всего в лесу.
И всякий звук весомее, чем слово
Охотника, что целится в лису,
И после выстрела кричит: «Готово!»
Бежит и, разгребая листопад,
Находит—только вовсе не лисицу,
И, как Иван-дурак, тому назад,
Стоит и плачет, глядя на девицу:
«Ой, люли-люли, девичья краса!
Была лисой волшебница, наверно!
И диадемой в чёрные леса
Воткнула Месяц Мёртвая Царевна».

4. Прямая Речь кончается в Лесу,
Чья тишина накрыта темнотою.
И Серый Волк Премудрую красу
Везёт, укрыв под звёздною фатою.
За ними наш охотник и сосед
Идёт, как пережиток этой встречи,
С одной мечтой—хоть зайца на обед
Добыть и закусить прямые речи!
Но вешая двустволку на рога,
Вновь кается, и вновь—кипит работа!
И кружатся! И кружатся снега—
Над рукописью полуидиота!

5. Давным-давно дремучие леса,
Как золото, в подстрочник листопада
Укрыли стих, но рыжая лиса
Красивой шубой греет ретроград.
И я таков. Согрей меня, согрей!
Легендами о кознях Чародея
В осколках, где ты бродишь, дуралей,
По образу другого дуралея!
Поскольку это тоже не к добру,
Как не в сезон зайчатина к обеду.
В каком году, в каком таком бору—
Бежит лиса! Скорей беги по следу!

Графика

Причудливый узор. Объятый темнотой,
Неслышно дышит бор. Луна плывёт в просвете
Взволнованной водой, неволя дух тщетой
О канувшем в реке, но незабвенном лете.
В нём срезанный тростник то кистью, то пером
Касался мировых чернильниц небосвода.
И спорил тёмный бор с весёлым ветерком,
Вдали от рубежей двухтысячного года!

Вдали от городов, в тишайшей простоте,
В полночной крепости, при свете звездопада,
Как будто звукоряд в узор на бересте,
И бури кутерьма в кристаллах снегопада
В изысканный портрет красавицы зимы,
Так тонкой грацией из лунного просвета
Явилась графика—на белый свет из тьмы,
Как будто рождена до сотворенья лета.

О чём шумел тростник взволнованной реке,
О том и говорят античные мотивы,
Как линии судьбы на мраморной руке
Той девы, чьи черты и помыслы красивы.
Неслышно дышит бор, но чуткая сова
Летит на лунный свет, чья тайная основа
Из тьмы перевела виденья и слова,
Как муза, что была до графики и слова.

Вариация на тему тростниковой флейты и ветра

Вновь привыкаю к месту, читай, ко всем
Памятникам, гуляющим во дворе,
Где палисад, разбитый незнамо кем,
Благоухает астрами в сентябре.
И листопад, как новый культурный слой,
Приподнимает крыши и дерева,
Перекрывая музыку тишиной,
Чтоб оглядеться и подобрать слова,
Долго не испытуя на прочность то,
Что под луною тленья не избежит.
В этих широтах драповое пальто
Определяет уличный колорит.

И налетевший дождь в глубине двора
Лишнее скроет, статуи растворив:
Что налепили местные скульптора—
Не городской, а временный лейтмотив.

Не привыкай, художник! Читай, к тому,
Что обратимо. С красками выйди в лес!
Всё, что откроет образы одному,
То и у многих вызовет интерес,
И вознесёт к вершинам—как первый стих!
И на другое что-то не нам пенять.
Ветер поднялся и через миг затих.
На мониторе вечер. Иду гулять.

Рынок, часовня, в кружеве тёмный сквер…
Как не искал, не нашёл теремок резной,
Что написал однажды на свой манер,
И ночевал, как помнится, у одной,
И торопился утром к большой реке:
Не созерцал—выстраивал облака!
Память—как флейта времени в тростнике.
Ветер от берега—не оторвёт река!

Владимир Плотников

Таёжный ручей

Мой друг товарищ старший лейтенант

В. Зуйкову, бывшему начальнику погранзаставы, посвящается

Мой друг товарищ старший лейтенант—
На гимнастёрке нет пока медалей,
Как вы однажды здорово сказали:
—Любовь, старик, дороже, чем талант.

Любовь к земле, которая вокруг,
К друзьям, с кем радости и горести на равных,
И к женщине—что в сердце вечной раной
Не даст забыть, чего мы стоим, друг.

Любовь—она сильнее всех преград,
Погоны наши—это честь и слава
Всех, для кого служить своей Державе,—
Дороже денег, званий и наград.

Мой друг товарищ старший лейтенант—
На гимнастёрке нет пока медалей,
Но как красиво вы тогда сказали:
—Любовь—она сильнее, чем талант.

Таёжный ручей

Порой, бредя таёжной чащей,
Где даже птицы не слышны,
Наткнёшься на ручей журчащий,
И словно груз падёт с души.

Средь одиночества глухого
Жизнь сразу станет веселей,
Как будто ласковое слово
Тебе в ответ сказал ручей.

Из глубины какого века
Спешит он в дальние края,
И где, какие полнит реки
Его холодная струя?

Ни наши хлопоты, ни козни
Ему неведомы вовек.
И после нас, и после, после
Он будет продолжать свой бег.

Казалось бы, какая малость—
Ручей таёжный повстречать…
Но чувствуешь—прошла усталость,
И легче стало путь держать.

Приобрёл солидные наклонности,
Растерял наивности запал.
Но за сумасшествие влюблённости
И сегодня дорого бы дал.

За часы прекрасно-быстротечные,
И за сплетни, что плелись вослед,
И за остановку ту, конечную,
У которой и названья нет.

Дни бегут, полны определённости.
Но, однако, вряд ли устоять,
Если сумасшествие влюблённости
На меня накатится опять.

Вдруг начинаешь торопиться
Наведать дальние края,
Где море с небом единится
И где кончается земля.

С какой-то первобытной жаждой
Захочешь снова ощутить,
Что ты живёшь отнюдь не дважды
И нужно торопиться жить.

Чтоб даже в малости небрежной
Не пожалеть на склоне лет,
Что на пустынном побережье
Не проступил твой лёгкий след.

В каких краях ещё найдёшь
Такое озорство природы,
Когда, пьянея от погоды,
По тихим улицам бредёшь!

Когда, как в первозданный день,
Весь мир невероятно светел,
И то, что прежде не заметил,
Ты наконец-то разглядел.

Пусть ненадолго, в тишине
Поверил вдруг в возможность чуда…
А что берётся и откуда,
Известно Богу лишь вполне.

Счастливый человек

Морозец щиплет колко,
Слепит-искрится снег.
Стоит в лесу под ёлкой
Счастливый человек.

Видать, что не воитель.
Задумчив и смирён.
Как в светлую обитель
Ступил нежданно он.

Блаженно взгляд блуждает.
Наверное, сейчас
Он чуда ожидает,
Не замечая вас.

Тихонько дальше двину,
И знаю, что вовек
Мне не ударит в спину
Вот этот человек.

Утреннее

Встану рано поутру,
Тишина—до неба.
Я окошечко протру
И нарежу хлеба.
Чаю щедро заварю,
У окошка сяду,
Слава Богу, говорю,
Жизнь идёт, как надо.
Руки есть и голова,
И в работе сила,
Не хулит пока молва,
И на том спасибо.
Поживаю не спеша,
Вопреки напастям,
Всё в порядке, коль душа
Может петь от счастья.

На норд-осте застыл старый флюгер,
Всё суровее туч череда,
К нашей Богом забытой округе
Подступают вовсю холода.

И не скоро теперь возвратится
В наши веси весны благодать,
Только поздно уже суетиться
И другую судьбу выбирать.

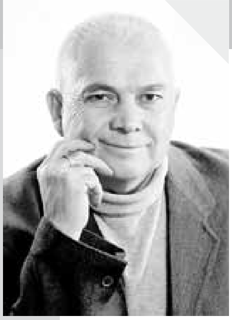
Ведь ознобных ветров дуновенье
Так привычно для нас на земле,
А деревья, как путников тени,
Всё маячат в простуженной мгле.

Но печали, пришедшие всуе,
Все, как прежде, скрадёт тихий снег,
И мороз на окне нарисует
То, что прежде являлось во сне.

В ту деревню не поехать,
Там никто меня не ждёт.
И хотя бы для потехи
Погостить не позовёт.

И никто не встретит в полночь,
Распахнувши настежь дверь,
А скорей всего, не вспомнят
Даже имени теперь.

Все, как видно, сроки вышли—
Я чужой отныне здесь.
Но в душе светлей от мысли,
Что деревня эта есть.



Николай Ерёмин

Жизнь — штука одноразовая…

Я пытался жить,
будущее предсказывая,
Заглядывая в прошлое,
настоящее утверждая…
И понял, что жизнь —
штука одноразовая,
И хороша лишь тогда,
когда молодая…

И попытки познать
её тайные механизмы
Приводят в тупики —
короче или длиннее…
И луч солнца,
разделённый при помощи призмы
На семь частей, —
не сделал меня в семь раз умнее…

Ни луч света в тёмном царстве,
ни в конце тоннеля, как на грех,
Не спасают,
осветив на мгновение лица…
Всё настолько продумано
за меня и за всех,
Что остаётся только смириться —
и молиться, молиться…

Есть ли, нет ли после смерти
Жизнь?
Скорей всего, что нет.
Наши ангелы и черти
Суть религиозный бред.
Вот и я
всё чаще брежу
И во сне, и наяву,
И живу — как будто не жил…
Слава Богу, что живу!

С годами
(Жизнь правдива или ложна)
Я понял, провидением храним:
Быть более здоровым невозможно,
Возможно быть лишь более больным.
Не победить напасти и невзгоды!
Но мне,
Непобеждённому пока,
Всё более милы дары природы:
Цветущий луг, река и облака…

Как ночью хорошо — при лунном свете,
Перед картиной звёздно-неземной,
Под небом, где чуть слышно плачут дети,
Тобою не рождённые и мной…

Где возникают инопланетяне
В летающих тарелках — тут и там…
И нас куда-то вслед за ними манит —
Отправиться, не медля, по пятам,

Пока открыта вечности граница,
Пока мерцают звёзды, и луна…
Как хорошо — обняться и забыться,
И улететь вдвоём на крыльях сна…

Мои стихи — как детский лепет…
И, посвящённый нам двоим,
Что значит мой душевный трепет
В сравненье с трепетом твоим?
Твои стихи — над морем ветер,
Стихия, буря, ураган,
Где мы — одни на целом свете —
Летим к желанным берегам…

Тебе, любимая, и Богу
Теперь стихи я посвящаю —
В душе потёмки понемногу
Черновиками освещаю…
…………………………….
Дымит огонь, переплетаясь
С тобой и мной — и днём, и ночью,
Во сне и наяву пытаясь
Согреть — заочно и воочию…

Наяву, во сне ли жить —
За картиною картина —
С поэтессой ли грешить
Или с музой, — всё едино.
Миг любви — важней всего —
И взаимопониманье.

А в итоге — ничего,
Лишь одни воспоминанья
Да бесплотные мечты,
От которых истомился,
Да поэма, если ты
Записать не поленился…

В Москве, в двухтысячном году,
Я лебедей кормил в пруду…
Они головки поднимали,
Глядели прямо мне в глаза…
И мы друг друга понимали,
Пока общались полчаса,
Почти друг друга полюбили…
Потом расстались, позабыли,
Без сожаленья, без прикрас…
……………………………
О, лебеди! Кто кормит вас?

На кладбище Покровском

Помню, раз, из фляжки плоской
Над могильною плитой
Мы на кладбище Покровском
Пили водку с Бурмотой…

От макушки до подошвы
Ощущал я благодать.
Мы хотели жить подольше,
Не хотели умирать…

Разлетелись, как ни странно,
Мы, он — ворон, я — орёл…

И зачем опять недавно
Я один сюда забрёл?

И на кладбище Покровском
Водку пил без Бурмоты,
И вздыхал над фляжкой плоской:
— Вовка, Вовка, где же ты? —

До тех пор, покуда ворон
Мне с церковного креста
Не воскликнул: «Вот я, вот он, —
Здесь такая красота»!

Памяти Максимилиана Волошина

Он был вчера в Масонской ложе
И прочитал, увы, доклад
О том, что жить, как жил, не может,
Что измениться был бы рад,
Когда б ему вдруг показали,
Куда идти и с кем идти…

Есть путь, но выход есть едва ли —
Сплошные жертвы на пути.
И жизнь в веках по воле ветра
Покрыта мёртвым янтарём…
И он — очередная жертва —
Стоит пред Божьим алтарём.

Отрывки уничтоженных стихов,
Воскресшие на стыке двух веков,

Умом и страстью вдруг объединили
Всех, кто поэта знал в красе и в силе.

И пожалели бывшие друзья,
Что им поэта воскресить нельзя,

И сообща решили, что к чему,
И памятник поставили ему…

Она всё знает. Юность позади,
И счастие испытано, и горе.
Спокойное дыхание в груди.
Глубокое внимание во взоре.
Лицо хранит величественный вид.
И, не скрывая ласковой улыбки,
Она как бы в пространство говорит,
Что не желает повторять ошибки…

Идиллия

Один — на утренней заре,
Весь в поэтическом угаре,
Лечу на мыльном пузыре,
Как будто на воздушном шаре…

До горизонта — славный вид,
Таёжно-деревенский социум.
Пузырь, как радуга, блестит,
Переливается под солнцем…

Сверкают купола церквей,
И на душе моей так мило…
О, только б до скончанья дней
На пузыри хватило мыла!

Памяти дикороссов

Геннадия Жукова
Сергея Нохрина,
Владимира Пламеневского

Поумирали дикороссы,
Поэты воли и вина,
На все житейские вопросы
Ответив мудро и сполна…
…………………………
А получившие ответы
На их могилах там и тут,
Весенним солнышком согреты,
Едва живые, водку пьют…

Сергей Данилов

Валериановый человечек

Лёгкий флёр

На совещании Жанна присутствовала вместо начальника отдела, который находился в отпуске перед выходом на пенсию. Менее, чем через месяц, ей предстояло занять его место.

С собой прихватила главного специалиста Андрея Николаевича Феофанова, сорокалетнего, импозантного мужчину с ранней сединой на висках, которого наметила в замы и уже согласовала кандидатуру с начальством.

Феофанов сидел рядом, входя в новую роль, серьёзный и очень деловитый. Он не позволил себе даже слегка улыбнуться, когда директор департамента говорил лестные слова о деятельности их отдела, понимая, что похвала целиком и полностью относится даже не к нынешнему начальству, дни которого сочтены, а умнице Жанне, у которой, к тому же, наверху, много выше директорской головы, имеется своя руководящая рука.

В кармане пиджака Жанны завибрировал телефон. Отклонившись на спинку стула, она мимолётным движением достала мобильник, открыла и, тотчас закрыв, столь же незаметно вернула на место.

Феофанову ничего не стоило на долю секунды моргнуть глазами вниз, прочесть фамилию автора сообщения «Платонов» и яркий голубоватый текст «Люблю безумно», возвратить взор к раскрытому блокноту. Рука машинально подчеркнула дату выставки, на которой собирался делать экспозицию их департамент. Выражение лица при этом никак не изменилось, но мысли потекли в ином направлении.

«Ни черта себе,—удивился Андрей Николаевич.—В рабочее время этакие вещи вытворяет! Совсем рехнулся!».

Консультант Платонов служил в их департаменте, но другом отделе. Являлся до поры до времени человеком ничем не примечательным, пока не развёлся с женой. Следом за данным третьеразрядным событием по кабинетам прокатился слух, что совершил этот нелогичный поступок наш консультант из-за Жанны. Ответный слух, пронёсшийся девятым валом в ином направлении, сообщал коллегам, что молчальник Платонов в ответ на свою дерзость не получил ни руки, ни сердца, оставшись у разбитого корыта—и без жены, и без Жанны, проживает на съёмной квартире и по всем статьям проходит ныне дурачиной и простофилей.

«Вот рассердится Жанночка, что от работы её отвлекают,—желчно размышлял Феофанов,—капнет на Платонова бывшему мужу, под которым их департамент процветает, и превратят Платонова в пыль под плинтусом. Ишь, любовник мне тут выискался!»

Андрей Николаевич перевёл дыхание, слегка вспотев от неприятной мысли, что, оказывается, не он один такой храбрый из окружения Жаночки. Тишайший консультант Платонов чёрт те что даже днём себе позволяет. А ночью, под действием мужских гормонов, поди-кась и не то сочиняет! Тем более, оставшись без жены. Нет, большей скотины, чем Платонов, свет не видывал—совершенно точно можно сказать!

Все встали. Феофанов тоже двинулся вон из кабинета директора, восхищаясь совершенной походкой Жанны и упиваясь духами.

Какая грация, какое волшебство! Белая Уитни Хьюстон с мечтательными, устремлёнными в прекрасную даль глазами, большим чувственным ртом ветреницы Монмартра, над бледным лицом которой звёздной туманностью носится тот самый призрачный романтический флёр.

О подобном неизъяснимом женском изяществе мечтается в ранней юности, на заре жизни, но понемногу волшебный образ смывается мутными потоками времени, ибо всем без исключения известно, что чудес в нашем, забытом богом мире не бывает.

С годами портрет запихивается от греха подальше, чтобы не мешал жить нормально. Взамен находится попроще, виденное надысь, буквально вчера-позавчера, лишь чуть-чуть соответствующее, более или менее, и слава богу, и всё устраивается, как надо, в полном примирении с окружающим. Живёт человек, довольный ближними своими, любит детей и супругу, производительно работает, культурно отдыхает, как вдруг, нате вам—без предупреждения является она, и уже не из мозговой подкорки, а откуда-то из-за угла. И проходит мимо. Только и останется несчастному вздохнуть, глаза вытаращить, признаться восхищённо: есть всё же! Есть! И пожалеть о невозвратном.

Феофанов горько вздохнул.

Удивительно, что Жанна не певица, не деятельница иного рода искусства—обычная служащая вполне приличного ведомства, женщина-разведёнка, живёт одна, воспитывает дочь. Между прочим, большая любительница посидеть в кафе за чашкой капуччино без сахара. Естественно, при этом ни конфет, ни пирожных. Шоколад—боже

упаси, про мороженое даже вспоминать не стоит. Фрукты, иногда бокал красного вина под хорошую музыку в приятной компании.

Два раза в неделю—аэробика, по субботам—обязательный бассейн.

Многие, узнав про то, думают: «Она не замужем, какое счастье!». Феофанов тоже когда-то подумал. И начал верноподанно служить давней, несбывшейся мечте, возымевшей ныне изящную фигуру, с соответствующими золотому, нет—платиновому, сечению размерами талии и бёдер, а главное, неизъяснимым флёром, витающим в глазах, звучащим музыкой с губ, сверкающим в каштановых волосах.

Молодые и не очень на то попадаются. Холостые, разведённые, женатые,—несть им числа.

«Вот сейчас возьму и тоже напишу: *Я вас люблю*»,—начал зашкаливать Феофанов.

Сделать это просто, мобильник под рукой, набрать буковки и отправить, испытывая необыкновенный сердечный восторг. А вдруг Жанне надоест подобная наглость в рабочее время? Возьмёт да расскажет мужу со смехом о происках мужского персонала. Тогда всё, извините, карьера закрылась навсегда. Феофанов хмыкнул. Нет, не этого он боится, не мужа. Чихать ему по большому счёту на карьеру, трепещет того несчастного дня, когда Жанна одним словом, взглядом даже, вышвырнет из круга доверенных и приближённых лиц. Вот что действительно страшно для сорокалетнего, женатого, семейного человека.

По мнению очень многих людей, она—идеал. Женщинам и то нравится в такой степени, что, презрев условности, вынуждены сообщать своё восхищение, подходя на автобусной остановке, извиняясь, смущаясь, как бы не подумали чего, но чувствуя высшую необходимость в таком шаге.

У кого при встрече сердце гулко бьётся, у кого обмирает, у многих вообще падает и разбивается прилюдно на мелкие осколки, после чего начинают они, как Платонов, умные вроде люди, совершать очевидные глупости.

Всем знакомым и сослуживцам отлично известно, что прежний муж, пребывающий в высоких чинах, полностью курирует оставленную семью материально, особенно дочь хорошо обеспечивается ежемесячно, и на каждый праздник дорогими подарками балует.

Сама Жанна зарплату имеет приличную, в ближайшем будущем станет начальницей отдела, так что на походы в кафе, посиделки с подружками, концерты скрипичной музыки и премьерные спектакли средств достаточно. Ресторанов не любит—в них пахнет коньячно-водочным разгулом, вульгарной продажностью.

Почитателям, в число которых входит Феофанов и даже несчастный Платонов, дозволительно играть роль эскорта при посещениях кафе, если не получится к вечеру чисто женская компания, которая, конечно же, для неё предпочтительней.

В одиночку Жанна не ходит, даже если вдвоём с подружкой собрались, всё равно приглашается сопровождающий мужчина, который в данном случае платит только за себя. Кафе, впрочем, выбираются недорогие, где играет хорошая, негромкая музыка, соответствующая её внутреннему настрою. Когда идёт с почитателем вдвоём, тот обязан поддерживать беседу, рассказывая что-нибудь весёлое не очень громко. Сама Жанна просто сидит—пьёт кофе, слушает музыку, мерцает безумно красивыми глазами и наслаждается жизнью.

Никаких танцев, шур-мур. Любой, кто пытается взять за ручку или, не дай бог, приобнять, тотчас удаляется из свиты вон и очень надолго, хотя и не навсегда. Она же понимает, как трудно человеку справиться с неистребимым желанием любить именно её. Эскорту про то известно, считается условием экс-мужа генерала, ссориться с которым никто не хочет, поэтому держатся все в высшей мере прилично.

Впрочем, и без мужа держались бы. Есть у Жанночки её личные знакомые, не знающие про мужа, которым она не сочла нужным сообщить по неизвестным причинам, но тоже приходится им быть, как никогда, порядочными, от того, что поведение самой Жанны к тому обязывает и принуждает.

Каких бы размеров и стоимости не имел кавалер машину, уезжает она на обычном маршрутном автобусе, эскорту дозволяется лишь проводить даму до остановки, на том его обязанности заканчиваются: «Пока-пока!».

Маленькое исключение для слишком чувствительных, пожилых мужчин: при расставании не запрещено целовать ручку.

Все почему-то становятся нежно-преданными Петрарками, мечтая об очередном походе в кино, и спрашивают её о том молчаливо—посредством смс-сообщений: «Когда позволите сопроводить Вас, о прелестнейшая Жанна?».

Вот некто Сан Саныч, начальник отдела мэрии, поприветствовав с добрым утром и, пожелав хорошего дня, предложил совершить по окончании оного дружеский совместный визит в картинную галерею, где организовывалась новая экспозиция. Молодой человек по имени Герман позвал с двумя ошибками правописания на приехавшего нового дирижёра, а сослуживец Фирсов, сидевший в соседней комнате, потея от страха перед женой, работавшей в их же бухгалтерии, быстро тыкая ногтем по клавиатуре, предлагал после работы посетить кафе, где они недавно праздновали всем коллективом праздник 23 февраля.

Дав общий отбой при помощи смс-ки, что сегодня никак не получится, Жанна отчалила в кафе с подружками, прихватив одного Платонова, который смешил женский коллектив грустными прибаутками. Бедный, его жаль. Зачем развёлся, не спросив её перед тем: желает ли она начать с ним совместную жизнь, если запросто сходила в киношку и на выставку западноевропейского искусства, но когда предложил руку и сердце, отказалась двумя словами: «Извините, не могу». И всё.

Между прочим, Платонов не нашёл в себе сил даже обидеться, и каждый день выспрашивал, смсками, естественно, не желает ли милая, добрая, чудесная Жанночка сходить туда-то и туда-то? Жанночка сочувствовала человеку, иногда соглашалась.

Но не слишком часто, чтобы не создавать видимость прецедента. Платонов и тем счастлив, что раз в месяц-квартал удастся посидеть как бы вдвоём.

В кафе здорово повеселились, Платонов при расставании был печален, как девушка, провожающая друга на фронт, в самое пекло. Жанне от его вида сделалось невыразимо смешно, тем более, что мобильник уже ёрзал в кармане пиджака от желаний других мужчин излить ей свою душу на сон грядущий.

Поздним вечером мужчины, мучаемые определённого рода чувствами, начинали слать сообщения с предложениями культурно-массового характера, насчёт похода вдвоём в места не очень отдалённые, вызывая на личный разговор. Она, как всегда, отвечает кратко: извините, у меня другие планы.

Но количество поступающих сообщений растёт независимо от того, есть её ответы или нет,—всем не ответишь, да им и не нужно, они просто пытаются выразить восхищение. Что можно сказать на это? Ничего. С отключённым звуком мобильник кладётся на прикроватную тумбочку, а Жанна спокойно занимается домашними делами, потом укладывается спать.

Так повелось, что мужчины после двенадцати ночи мечтают о ней много чаще и сильнее, чем днём. В их предложениях потихоньку начинают звучать сексуальные мотивы, темнота вспыхивает голубым светом экрана мобильника, пока голубизна эта не сливается в постоянный свет от многочисленных идущих сообщений любви, радости, что Жанна существует в мире их волнительных желаний.

Приходится подключать телефон к сети, дабы не разрядился, превратившись в ночник. Она отлично знала, о чём пишут поздними вечерами, переходящими в ночь, женщинам приличные мужчины, посему не читала на сон грядущий ничего, оберегая свой покой.

Только укрывшись одеялом, перед тем как заснуть, смотрела на голубоватый луч, поднимавшийся от тумбочки вверх, к потолку, и размышляла с теплотой, что этот свет в её комнате по сути своей есть чувства других к ней… многихмногих людей, которые её любят… это так приятно. Это материализованное чувство любви. Голубая любовь.

Засыпала с улыбкой. И в час ночи свет горел, а в два, кажется, становился просто раскалённым. После трёх начинал моргать, в четыре изредка вспыхивал, что продолжалось до шести часов утра. Кто-то просыпался и спешил засвидетельствовать неизменность своего к ней отношения.

Утром она первым делом, лёжа в постели, прочитывает все подряд сообщения, как увлекательную ночную поэму в её честь, сложенную многочисленными страстными поклонниками—воздыхателями, которые по нынешним временам не толпятся, слава богу, под балконом с гитарами и мандолинами, мешая спать соседям. Но пытаются соединиться с ней мысленно, пребывая в своих квартирах, частенько лёжа рядом с собственными жёнами, но мечтая о ней, единственной, неповторимой.

Ночные мечтания иного рода, нежели дневные.

Сначала, впрочем, это почти незаметно, всё начинается с чужих, а то и собственного сочинения хвалебных стихов. От прекрасных глаз даже самые почтительные старые ловеласы переходят на бледные ланиты, цитируя из книжек Пушкина юношеские строки, спускаются к гордой шее и бесподобной тонкой ключице с сексуальной, ярко выраженной ямочкой, когда она поворачивает голову, глубокой и округлой.

Навосхищавшись достаточно, начинают раздевать, и лишь у небольшого числа повес процесс этот протекает в изысканно-непринуждённых классических выражениях.

Тут самые сдержанные начинают осыпать поцелуями, направляя распалённые взоры к ногам.

Жанна смущалась, однако продолжала чтение. Ноги у неё действительно красивые, что там говорить, ноги не стыдно показать. Если бы одними восхвалениями дело заканчивалось, она была бы вполне довольна, что её так обожают, но нет.

Большинство, а молодёжь-тридцатилетки, так и все поголовно, посвистав три-четыре смс-ки о необыкновенной красоте своей царицы, под действием распалённого желания, не сдерживаются, или экономя средства, начинают короткими фразами рвать на воображаемой Жанне воображаемое нижнее бельё.

Им обожания мало, им обязательно надо ещё и овладеть «прелестной обнажённой Дианой» при этом допускают зачем-то грубости. Некоторые, впрочем, владеют ими мастерски, подробности местами очень интересны, как правило, она не в состоянии оторваться и читает до конца, пока, оказывается, не издаёт вскрик заключительного счастья. «Ну, это едва ли у вас, мальчики, получится, ишь, как разжарило, не унесусь я никуда на крыльях счастья, можете зря не волноваться».

Посмеявшись над неповоротливой мужской фантазией, купированной размерами смс-ок, совершала общее удаление всем посторонним ночным чувствам, скопившимся в мобильнике и, довольная, очень энергичная, шла совершать утренний моцион, пребывая в чудесном настроении. Что ни скажите, женщине необходимо чувствовать себя желанной. А она желанна очень многим, несмотря на сорокадвухлетний возраст.

Хвастунишки! Утром рабочего дня самые отчаянные храбрецы-сослуживцы, три часа тому назад изображавшие из себя великолепных, неустрашимых самцов, теперь трусливо прятались, убегая по коридорам департамента, а внезапно застигнутые на рабочих местах, произносили, испуганно жмурясь, словно боялись, что она начнёт немедленно и прилюдно хлестать их по лицу: «Здравствуйте». Им, утрешним, ужасно стыдно написанного ночью. Они скрывались от неё, ускользая по чёрной лестнице. Некоторые приходили каяться, с белыми лицами просили прощения. Иные отыскивались лишь к обеду, звонили по телефону откуда-то, заикались приглушёнными робостью голосами:

— Извините, Жанна Ивановна, честное слово, не знаю, что вчера нашло, крыша поехала, ей богу, простите идиота. Не помня себя писал, простите… что писал?.. да смс-ки эти дурацкие… Правда, ничего не читали? Благодарю, благодарю вас! А всё же, в честь того, что простили, давайте сходим сегодня в кафе? Некогда? Может, завтра сбегаем в «Клаус»? Но ненадолго же?

— А почему бы и нет?

Ночные разнузданные чувства поклонников Жанна старалась как бы вовсе не замечать, оставляла без последствий, и уж совершенно точно никак не относила их к преступлениям. Главное требование к «проводнику» — во время похода тот должен выглядеть и вести себя истинным безупречным джентльменом.

Посетители кафе тут же начинают косить в их сторону восторженно: «Бог мой! Какая женщина!». Атмосферу немого обожания Жанна любит более всего в жизни, за исключением дочери, разумеется.

При этом, как всегда, безмятежно созерцает абстрактное пространство, никого не замечая, позволяя окружающим упиваться необычной красотой, шармом, который сквозит в любом её движении, слове, взгляде.

Мужчины, с которыми совершаются набеги на кафе и прочие места культурного досуга, нравились ей по-разному, иные были весьма приятны, другие почти совсем не нравились, но изначально она задала себе установку — никаких романов.

Да, оказалось, настолько сильную, что никаких романов после развода не случилось вообще. Даже из принципа — муж-то сразу женился на другой. Но зачем ей это, когда желания нет?

Зато как чудесно парить на крыльях лёгкого флёра на пятом десятке! Возможно, когда-нибудь он исчезнет, ибо ничто не длится вечно, что с того? Кончаются и красота, и счастье, сама жизнь, в конце концов, есть явление отнюдь не бесконечное. Странное дело, но ни в юности, ни в молодости флёра у неё не было, как нет сегодня у дочери.

Жанна была просто достаточно красива и молода, когда вышла замуж, а после рождения ребёнка начала полнеть, быстренько превратившись в здоровую, крепкую женщину. Скоро муж сделался равнодушным, влюбился в другую, они развелись.

Развод оказался для неё тяжелейшим ударом. Она переживала, стиснув зубы, превозмогая его, вроде тяжёлой болезни, почти перестав есть. Её бросили, как ненужную вещь! Жанна страдала больше двух лет, иссыхая на глазах окружающих, истощаясь, сгорая, будто религиозный фанатик, разочарованный в своём боге.

В результате, незаметно для себя сделалась нынешней: тонкой, гибкой, элегантной, с трепещущим над ресницами флёром — ей в то время было уже за тридцать. И вот тут окружающие мужчины словно ошалели, но теперь, слава богу, она знала, как себя надо с ними вести, чтобы жить без трагедий, легко и приятно.

Конечно, встречались на пути, и не могло их не быть, два — три, кои нравились больше прочих, но на одном-единственном остановиться она не смогла. Да и не хотела уже. Это помогало откладывать вопрос с обустройством жизни на неопределённое будущее. Зачем ей замужество? Старушки-француженки до старости ужинают в кафе на бульварах. И у всех есть провожатые, на её век тоже хватит этого добра.

Когда дочка окончила школу, Жанна встретилась на выпускном балу с бывшим мужем, который приехал поздравить, поприсутствовать, увлажниться, так сказать, родительской слезой радости. Жанна до глубины души поразилась произошедшим переменам. У неё возникло неприятное ощущение, что он старше её лет на двадцать, хотя на самом деле был даже чуть младше. Старик, совсем старик! Это нанесло ей душевную травму, она рассердилась на нынешнюю жену по-настоящему за то, что та не препятствует неверному образу жизни генерала, а даже, говорят, потворствует оному.

С дочерью Жанна хлопот не имела никаких.

Девочка росла умницей, ей не надо было ничего объяснять, возможно, из-за плотной, всесторонней опеки бабушек та уже знала сама, что ей необходимо уметь делать в её возрасте и делала без напоминаний, с удовольствием. В школе училась хорошо, уроки готовила самостоятельно, по дому не то что помогала, но иногда, когда маме приходилось всю субботу проводить на работе, генеральные уборки квартиры устраивала. С младых лет начала готовить, как настоящая хозяйка.

Короче, не только сама времени забирала мало, но даже одаривала родительницу свободными вечерними часами.

С дочкой Жанна очень любила ходить в детское кафе-мороженое. Но и здесь, чуть повзрослев, дитя проявило самостоятельность, объявив, что отныне будет ходить со своими подружками. Ба, зазвучала знакомая песня, Жанна внутренне улыбнулась и позволила ребёнку строить личный внутренний мирок, который существовал рядом с её, в приятном содружестве. Она не собиралась ни указывать делать то и не делать этого, ни мешать заниматься строительством собственной жизни, — зачем? Дочка оказалась не в пример другим умная, обладающая врождённым, интуитивным знанием, которое иным прочим частенько не даётся до седых волос.

С мальчиками ребёнок общался в меру, никакой болезненной любви с ней в юные годы не приключилось. Когда заходил свойский разговор на эту тему, соображения школьница выдавала столь прагматические, что Жанне оставалось лишь беспрекословно соглашаться. От них за версту веяло свекровкиной мудростью. Но из девичьих уст они звучали вполне адекватно, может быть, потому, что хотя дочка росла очень умненькой, но не слишком красивой. «И хорошо, и правильно, — думала Жанна, — так и надо пока. Я тоже не блистала по юности, успеет ещё расцвести, вот университет закончим, тогда…». Сама она вышла замуж после университета.

На первом курсе наконец-то пришёл в гости мальчик из одной с дочкой группы, но до сих пор, по прошествии нескольких месяцев, так и не

представился честь-честью. Конечно, как зовут «нашего» мальчика Жанна знает, приветствует по имени, когда случается встретиться, но ребёнок сразу проводит бой-фрэнда в свою комнату и закрывает дверь. В воскресные дни Жанна делала попытки отобедать вместе, однако молодёжь хором опровергала заведённый в доме распорядок, не выходя из комнаты: «Мы не хотим!».

Сидя с подружками в кафе и обсуждая данную ситуацию, Жанна говорила как современная родительница, понимающая запросы юности: «Да пусть себе, пусть даже живут там (имея в виду плотно закрытую изнутри девичью комнату), я молюсь только об одном, чтобы замуж рано не сорвалась, доучилась бы до конца»,—и быстро при этом отворачивалась в сторону, несколько смущённая.

Что они там могут делать? Её это всё-таки тревожит. Смотрят телек-видик—и пусть смотрят. Ну, ладно, пусть поцелуются немного. И достаточно. Дочка у неё умница—на то вся надежда, какая есть, и первая, и последняя. Но уже другой мир построен, не такой, как у Жанны, ведь Жанна никогда дверь в комнату от родителей не закрывала, если к ней приходил в гости мальчик.

Иные времена—иные нравы.

А тут вдруг младшее поколение непонятно с чего приобрело над старшим негласное верховенство. Жанна не знала причину твёрдых ноток в дочкином голосе, когда та начала говорить с ней, как с младшей, по любому поводу, дочка тоже не объясняла. Всё-таки пока неудобно. Но потом как-нибудь скажет обязательно под горячую руку, уж как водится, будьте покойны, когда сойдутся однажды в прямой сабельной атаке.

Ища какую-то мелочь, зашла дочка как-то среди ночи в комнату спящей красавицы-матери, и увидела на столике полыхающий голубым светом ночник-телефон.

Взяла да ненароком прочитала пришедшую от неизвестного мужчины смс-ку, вспыхнула, испугалась почему-то за маму и за себя, потом другую—от другого. Так испуганная и увлечённая, простояла босая то ли час, то ли больше, поглощая бурные, взрослые, местами грубые, неведомые никогда прежде страсти, направленные прямиком на безмятежно спящую мамочку, которую мужчины хором раздевали и целовали и делали с ней всё… что приличным девочкам знать полагается лишь в меру их испорченности.

Некоторых дочка знала, это были сослуживцы мамы и просто её хорошие знакомые, с ними мама иногда ходит в кафе. Теперь они писали чёрт знает что, будто занимались виртуальным сексом по телефону. А мамочка спала королевой, благоухая ночными кремами, и, конечно же, знала об этих воплях, сочащихся, извергающихся синим светом, не зря телефон подключён к сети, чтобы не разрядился.

Она читала-читала-читала, то холодея, то вспыхивая жаром. Это притягивало, так, что говоря себе: «Всё, последняя»,—продолжала читать и новую, и потом ещё и ещё.

Утром Жанна ничего не заметила, ибо смс-ок за ночь прилетало с избытком, она особенно не утруждалась считать—что от кого и сколько. Господи, какая разница? В сущности, это лишь побочный мусор её отношений с провожатыми, со свитой, с вежливыми тридцати-сорокалетними мальчиками дневного или вечернего эскорта.

«Раз ты не говоришь мне ничего, значит, и я не буду!»—решил ребёнок, надув губки, хотя говорить ей, собственно, было пока нечего. Мама со своей стороны делала всё возможное, чтобы не контактировать с молодым человеком даже случайно, видя, что дочка не желает, опасаясь убийственно лёгкого маминого флёра. На работе дел—гора Монблан, и субботы там, и воскресенья проводит. А вечерами—кафе, театры, концертные залы.

А тут вдруг мальчик-френд начал оставаться на ночь. Как-то смотрели, смотрели телевизор за полночь… и засмотрелись.

Жанна не уловила момента, полностью доверяя младшему поколению, и страшно изумилась, однажды утром застав чужого мужчину у себя в ванной, хотела вспылить, высказаться решительно, что думает по данному поводу, но вовремя спохватилась: чего зря кричать? Та уже студентка, учится хорошо, по дому всё делает сама, даже обед с ужином готовит… Молода, конечно, очень, первый курс…

Думала-думала и пришла к обычному решению, на которое внутренне давно согласилась—да пусть живут, раз такое дело… уж случилось… чего лезть с наставлениями? Перед бабушками-дедушками только немного стыдно, будто не дочь, а она, сама, Жанна, позволила себе лишнее. Твёрдо знала одно: по-настоящему замуж, к действительно самостоятельной жизни—рано! Какие-то отношения у нынешней молодёжи… конфетные, тоже вроде флёра, только не летящего, а лежаче-диванного. А если это любовь… такая?

В Женский день 8 Марта был вечер на работе, где женщины—подавляющее большинство коллектива. Жанна веселилась на полную катушку, потом с тремя подружками рванули в кафе, другое, третье. Дома очутилась в четыре часа ночи.

Комната дочери, как всегда, закрыта изнутри, света нет, но гудит телевизор и приглушённо стонет женщина. «Порнушку опять крутят по видику»,—нахмурилась Жанна.

Вытащила из сумочки мобильник, положила на столик у кровати, начала готовиться отойти ко сну. Чёрт бы побрал этих мужиков, только виртуально и умеют раздеть. Интересно, что там они сейчас с ней делают? Самое времечко поспело. Сан Саныч сегодня восхищался жемчужным ожерельем, наверняка уже стаскивает с шеи, разбойник. Герман, конечно, повалил на диван, как всегда, и быстро раздевает, тряся каждой тряпочкой и восхищаясь. А ведь, кажется, недавно женился. Ну-тес, где вы тут, субчики—голубчики?

Стала быстро листать сообщения, все они были—поздравлениями с 8 Марта от тех же эскортных мужчин с пожеланиями, стихами, славословиями.

Вежливые, дневные. Жанна зевнула: «Петрарки, ити их мать». Прокукарекали, благополучно напились на Женский день и удрыхлись. Даже этот… как его… Платонов помалкивает. Неужели нашёл кого? А она-то думала — вот кто будет сопровождать вздохами до смертного часа включительно.

Разделась, но не легла, а села в кресло, дочитала до конца, сексуальных не оказалось — сегодня утром, как всегда, вчерашние уничтожила. Спать почему-то расхотелось.

Из коридора громко застонала женщина. «Звук прибавили, — догадалась Жанна. — Совсем ничего не соображают!»

Вдруг до неё дошло, что стоны не из видика. Ей сделалось жарко: «Устроить им взбучку? Обнаглели вконец!».

Но просто включила музыку у себя в спальне, надела новый пеньюар, подаренный бывшим мужем, возможно, с намёком, и встала перед большой двуспальной кроватью, глядясь в зеркало: «Боже, как хороша!». Взяла телефон, бухнулась в кресло, набрала: «Как пусто выглядит моя постель», на мгновение задумалась: кому послать? Остановилась на строке «Платонов», нажала посыл. Смс-ка улетела в космос. Хмель внезапно исчез, сделалось ужасающе стыдно. Хотела отключить до утра, лечь, укрыться с головой, чтобы никого не видеть, не слышать, но что-то мешало, сидела, ждала ответа пять минут, десять, пятнадцать. Послала ещё одну, робкое: «Ау?».

Ждала, сколько могла, потом прилегла на краешек хладной постели, пытаясь заснуть. Музыка не позволяла, та самая, любимая, которую обожала слушать, сидя в кафе, с кем угодно, главное, приличного вида. Теперь звучит похоронным маршем. Встала, выключила.

Нарочито страстные стоны, нёсшиеся из девичьей комнаты, были ужасающе фальшивы. Платонов не отвечал. И ни одной смс-ки ночного содержания, как назло, не приходило.

Случаются в жизни неприятные минуты, впрочем, бывало и похуже.

Твёрдо-чеканным шагом прошлась по коридору и неожиданно для себя громко застучала в дверь дочкиной комнаты:

— Эй, вы, там! Немедленно прекратите безобразие! Чтобы этого мне тут больше никогда не было!!! Ясно?!

Вот тут-то дверь и открылась.

Валериановый человечек

Немигающие, огромные, жёлто-зелёные глаза прямо перед лицом, от них некуда деться.

Такой сон в детстве снился не раз и не два.

Родители легко объяснили причину: оказалось, когда был Тёма ещё совсем маленьким, повадилась кошка Мурка в детской кроватке отдыхать, на груди спящего младенца: её уберут, она обратно запрыгнет — натурально с ума свихнулась. Устроится на спящем, лапки под себя подожмёт, и сидит, в лицо смотрит, не шелохнётся.

— Это она за дыханием следила, принимая нос за мышиные норки, мышку караулила, — высказывала предположение мама, желающая всё всегда объяснить до конца.

— Не знаю, что думала своей кошачьей головой, а делать ей в детской кроватке нечего, — довольно хмуро комментировал отец.

Мать рассказала и про то, как однажды в раннее воскресное утро отец взял да отвёз не поддававшуюся никаким увещеваниям Мурку на трамвае до конечной остановки, выпустил гулять в пригородной лесопарковой зоне, а сам вернулся обратно на том же трамвае.

Мурки не было два дня, на третий объявилась — нашла кошачьим чутьём дорогу и прямым ходом — в артёмкину кроватку.

Тут за дело пришлось взяться ей самой. Усадила любимицу в корзину и отвезла на автобусе в деревню, где отдала кому-то делом заниматься — мышей ловить. Из деревни Мурка не вернулась: слишком далеко, а скорее всего, понравилось ей жить на новом месте.

Кошку Мурку Артём со временем забыл совершенно, только близкие жёлто-зелёные глаза, выпуклые, словно бы стеклянные в своей глубокой прозрачности, врезались в память отдельно, сами по себе, знаком непонятной угрозы.

Висели, к примеру, в доме над столом часы-ходики с небольшим маятником, гирьками, нарисованной на циферблате кошачьей мордочкой, вполне симпатичной, и вырезанными на месте глаз отверстиями. Когда маятник качался туда-сюда, с такой же скоростью глаза мелькали в этих отверстиях туда-сюда, туда-сюда.

Загляделся на часы четырёхлетний Артём, долго — долго смотрел да вдруг как заревёт! Пришлось родителям убрать и ходики с мордочкой. Данный факт собственной биографии зафиксирован уже без подсказок старших, вызывая лёгкое подобие стыда: как-никак мужчина, реветь которому в любом возрасте не полагается.

Других проблем до школы не возникало. Просто не держали дома ни кошек, ни собак.

Позднее, когда появились школьные друзья, выяснился неожиданный феномен: стоило ему прийти в гости к однокласснику, в квартире которого имелась кошка, та немедленно, прямо с порога начинала ластиться к Артёму, тереться спиной, впрыгивать на колени, в глаза заглядывать, мурлыкая и, сколько ни отпинывай исподтишка, ни отталкивай, ни давай щелчков по носу, ничего не помогает: лезет и лезет, будто валерьянки обнюхалась, или от него запах валериановый чует и потому явно не в своей тарелке.

Если к знакомым или родне на праздник всем семейством идут, та же история: мигом дуреет кот и давай о его праздничные брюки со стрелками бока чесать, шерсть линючую обтирать. Хоть не ходи в кошачьи дома, весь с головы до пят будешь в шерсти да волосах.

Люди, чьи домашние питомцы выказывали Артёму искреннее расположение, видя такое дело, с радостной улыбкой торопились сообщить, что их кошка всегда узнаёт хорошего человека, к плохому ни за что не идёт, мол, кошка такая у них мудрая.

Встречались иногда на жизненном пути Артёма Евгеньевича граждане, к которым тоже коты лезли напролом, как к нему, но те — ничего, даже откровенно радовались этому обстоятельству, играли с ними, оказывали встречную любовь, ничуть не тяготясь привязанностью постороннего домашнего животного. А у Евгеньевича с детства в мозговых извилинах застряли неподвижные глаза Мурки, потом вовсе аллергия разыгралась. Задыхается от одного запаха. Нет, не любит Артём в кошачьем обществе находиться. Дурно ему: в носу чешется, горло першит, будто красного перца подсыпали, глаза слезятся, чихать начинает. Никакие лекарства не помогают.

Жениться со своей кошачьей аллергией Артём Евгеньевич долго не мог.

Впрочем, начало было, как всегда, чудесным. Встречались они с Любашей почти ежедневно недель семь, не меньше. Очень девушка Артёму нравилась. Каждый вечер то в кино идут, то в театр, а потом её домой провожает пешком, разговаривая обо всём на свете, и таким сладким был поцелуй при расставании, что голова кружилась оставшуюся часть ночи, медленно и плавно. Очень-очень приятно. Утром встанет, а пол, ровно палуба в кругосветке, так и плывёт под ногами от непрекращающегося радостного кружения.

И вот пригласила Любаша молодого человека к себе домой, как полагается, с родителями знакомиться. А он про себя решил сразу прийти с цветами, дорогими подарками для всех членов семейства — просить руки и сердца. Пора жениться, чувствует, что пора. «Сделаю предложение», — решил серьёзно.

Донельзя счастливый, наглаженный, надушенный, с новым платочком в кармане нового костюма, направился в гости к любимой девушке, как самый настоящий жених. Нравится ему Любаша настолько сильно, что невозможным казалось более выдержать отдельное существование, смерти подобно самой страшной любое промедление в этом вопросе, словно сжигание на медленном огне заживо.

Летит в гости Артём, себя не помня от радости, от восхищения, от предчувствия невиданного в мире счастья быть вместе всегда.

А там ждут его давно, двери раньше звонка распахнулись, вот и маменька будущая приглашает заходить, чувствовать себя, как дома, потому что «у нас все свои сегодня» (имеется в виду, что и он тоже свой, самый свой среди своих). Папенька в необъятных брюках на широких подтяжках, праздничной белой рубахе расплылся в улыбке, того и гляди нижняя половина головы отвалится, младший братец, конечно, выдал: «Тили-тили-тесто, жених и невеста!», — явно в кармане кнопки прячет, двоечник, на стул жениху подкладывать собрался, да это всё ерунда, сами с усами, знаем ваши фокусы. Хлоп его по карману, ась? Колюче, брат? Ничего, до свадьбы заживёт!

Началась самая настоящая общесемейная радость: от одного только вида дорогого гостя у присутствующих на лицах проступило горячее воодушевление, наперебой торопятся выказать ему расположение. Даже уколотый собственными кнопками братец Любаши, и тот тащит альбом показывать, какой замечательный фрегат он нарисовал: «Хотите, подарю?». Дедушка рассказывает смешную историю про чай во фронтовом блиндаже из трофейного самовара с немецким эрзац-мёдом вприкуску, из-за которого здорово угорели: комбат скончался на месте, их откачали. «Эй, раз праздник сегодня у нас большой, тащите трофейный самовар на стол, я его мигом раскочегарю, мёд подавайте тоже! Не бойся, молодой человек, а Артём… не бойся, Артёмка, мёд свой, натуральный, развёл пасеку на пять ульев. Свой медок, немного, а есть, главное — настоящий. Настоящего много не бывает, это у них много эрзацев всяких навыдумывали, а у нас своё — натуральное».

Папахен свойски хлопнул по плечу: «Люблю интеллигентных людей, какой вуз окончили?»

А меж ног честной компании волчком крутится кот белой масти, шустро обо всех трётся, аж искры летят, электризует, стало быть, семейство дополнительной энергией, заражает флюидами кошачьими, отчего семейство прямо кругами вокруг Евгеньевича ходит, то направо, то налево, хором что-то рассказывают, гладят, обнимают, берегут.

Понял Артём: кот их завёл на радость особенную, он организатор и вдохновитель честной компании, вроде и повадки у членов благородного семейства сделались кошачьими, взгляды вмиг пожелтели, зрачки поперёк, у мальчика с альбомом и кнопками особенно. У дедушки, у мамы-папы и даже Любаши — одна история.

Тошно сделалось Артёму, оборвалось внутри счастье, рухнуло в тартарары: сухо запершило горло, в носу зачесалось, засвербило, чихнул раз — другой, ну, всё, сейчас расчихается, потом глотка распухнет, как бывало не раз и не два, тело обездвижится, и сможет он только лежать тихо-тихо, а больше ничего. Лежать, не шевелясь, пластом, глядеть в потолок, а воздух через малюсенькую дырочку в распухшем горле будет поступать слабой струйкой, еле-еле поддерживая жизнь. Чёртовы кошары! Бежать надо. Драпать, пока не поздно!

— Посмотрите, как Василий гостю-то рад, — воскликнула мамахен, — он только к хорошим людям так ластится, ой, смотрите, даже на руки просится. Вы не стесняйтесь, берите, мы ему в ванной лапки с мылом моем после каждой прогулки.

С каменным выражением Артём взял кота на руки, погладил, кот захрипел от счастья. Будущая родня хором завопила, полезла гладить розовый живот руководителя торжества, раскинувшегося на руках Артёма.

— Фон-барон пятнадцатый! — воскликнул папахен, — посмотрите, какая роскошная шуба, мы его на выставку носили, честное слово!

Меж тем всё окружающее, включая Любашу, сделалось Артёму не в радость, будто не свадьбу он затевает, а скандальный развод через суд с дележкой пяти стульев, шифоньера, дивана и двоих разнополых детей. Улыбка приобрела характер явной фальшивки, с такими улыбочками провинциалы столичных невест на абордаж берут, разительно изменился молодой человек — родители

даже переглянулись между собой, подумали: что-то здесь не чисто.

Прошёл в комнату, куда приглашали наперебой, только зачем? Ни к чему уже всё, ни к чему. Встал, будто кол проглотил, и морщится-то, и принюхивается, и мнётся, кота-старейшину погладить по-настоящему, с любовью да воодушевлением не подумал даже, с рук опустил, точно сбросил, по брюкам колотит изо всех сил, совершенно невпопад на расспросы отвечает, так что Любаше даже неловко сделалось перед родителями. В конце концов, уселся-таки на кнопку младшего братца-двоечника, после чего уже определённо три литра кислоты на физиономию вылилось.

И всё брючки свои отряхивает от воображаемых шерстинок. Ну, фрукт попался! Где Любаша откопала такую картофелину?

— Да вы не беспокойтесь,—хмыкнула мамахен,—у нас блох нет.

— М-да?—сквозь зубы процедил женишок, окончательно отворотив физиономию от невесты и благожелательно настроенного кота (последнего из семьи, несмотря ни на что хранящего к нему самое любовное расположение).

Запрыгнул Василий на колени, хвост задрал прямо в нос Артёма Евгеньевича да принялся от наслаждения лапками перебирать, коготки выпуская, громко-громко мурлыкать.

Гость мигом скинул его небрежно тыльной стороной ладони, будто не заметив, после чего вспомнил, что ему надо срочно куда-то спешить по делам, встал и отправился в прихожую, не отведав чудесного обеда, над которым Любаша с маменькой трудились со вчерашнего вечера, чего только не испекли, не потушили и не нажарили! Впрочем, никто странного ухажёра удерживать даже не думал. Как говорится: была бы честь предложена. Не состоявшаяся невеста проводить не удосужилась: что-то сильно не в порядке оказалось с приглянувшимся, было, человеком. Ну его, пусть бежит, куда хочет по своим срочным делам. Обойдёмся.

«Больше сюда ни ногой!»—думал Артём, закрыв дверь, отрезая от себя крепко настоянный кошачий запах, спасаясь от близкого приступа. И точно, ни ногой. Так вот отношения с Любашей и окончились ничем к всеобщему разочарованию: даже на улице перестали встречаться и совместные походы во все места культурного досуга сами собой прекратились.

И надо сказать, в последующем не раз и не два подобная закавыка случалась, разумеется, с небольшими вариациями, он даже призадумываться начал: что за напасть?

Действительно, годы-то идут. Ну ладно, кошки к нему с детства льнут, это можно, наверное, даже с научной точки зрения как-нибудь объяснить, пахнет, к примеру, от него чем-то сродни валерьянке. Человеку не слышно, а чуткие кошки реагируют и сходят с ума от любви. Бог с ними.

Понятно так же почему ему кошки неприятны—напугала в раннем детстве Мурка, чуть не приспала, зараза, младенца.

Но почему, скажите на милость, при всём при том, ему всякий раз нравятся девушки—любительницы кошек? Совершенно поразительный феномен. Хоть бы раз на собачницу запал! Или просто без животных чтобы девушка жила дома—вот бы здорово! Не случилось таковых в истории его жизни. Не попадались. Не влюблялся. Себя ведь тоже не заставишь. Втюрится в очередную кошатницу, потом начинаются разборки, а за любимую кошку девушка кавалеру глаза в два счёта выцарапает.

Неужели кошары ухитряются настраивать своих домашних девушек влюбить в себя валерианового человечка, привести, заполучить для кошачьего счастья? Неужели кошки правят их человеческой жизнью? Нет, лучше холостым остаться, нежели угодить в кошачью семейку.

С подобными размышлениями и аллергией, действительно, приходилось жить ему безотрадно холостякуя, хотя по природе был Артём человеком общительным и даже влюбчивым, то есть к девушкам весьма предрасположен, чего никоим образом от них не скрывал.

И вот лет этак в тридцать с гаком влюбился настолько умопомрачительно, что презрел наличие у дамы сердца кошки (куда без них, сволочей?) да не одной, а сразу двух сиамских котов, по всем нынешним канонам моды кастрированных во младенчестве.

Представляете силу зрелого чувства? Любимой женщине, ради которой Евгеньевич смог пересилить болезнь и отринуть глупые подозрения о всемирном кошачьем заговоре, было тоже слегка за тридцать, замуж сходила и ребёнок есть, потому, как ни уговаривал к нему переехать, ни в какую не согласилась, дескать, с ребёнком неудобно приличной женщине к мужчине жить идти, что люди скажут? Пусть лучше мужчина к ним в семью вольётся, ему терять всё равно уже нечего. Пришлось Артёму Евгеньевичу пойти к сиамским котам примаком. Охота пуще неволи.

Возлюбленная уговорила на сей шаг: «Сиамцы—они же короткошёрстные, практически не линяют»,—и так загипнотизировала красотой, что точно, находясь у неё в гостях ни разу не испытал приступа, да и коты к нему особенно не лезли, дама их выдрессировала на манер собачек знать своё место.

В один прекрасный день, то была пятница, он запомнил навсегда, после трудового дня перебрался Артём Евгеньевич с вещичками на новое место жительства. Впереди маяком светили два счастливейших в жизни дня. Регистрироваться пока не стали. Рассудили по-взрослому: попробуем жить вместе—получится, тогда видно будет. Даже знакомым ничего не сказали, никакого свадебного мероприятия не организовали, то есть действовали очень осторожно и он, и она: как бы не сглазить.

Близости меж ними до той поры не было. И вот настала первая совместная ночь.

Надо сказать, в знакомстве они состояли достаточно продолжительное время, месяца четыре: танцевали в ресторане несколько раз и просто обнимались во время прогулок страстно, то есть давно и сильно желали один другого. Неприлично? Свела, свела с ума женщина холостого мужчину,

какие могут быть приличия? Не до приличий, собственно, одни неприличия в голове и остались, а больше ничего — шаром покати.

Потому оставшись вечером наедине в комнате, когда ребёнок в другой абсолютно точно уснул, набросились друг на друга со вполне зрелым и выстраданным желанием.

Благо все условия для пиршества плоти были приготовлены заботливой женской рукой: кровать двуспальная огромная застелена чистейшим красивым бельём, распахнута и приглашала: сомни меня! К удовольствиям так же призывала интимная полутьма с ночником, на столике пара бокалов с вином, в которых таились огоньки — отсветы того же ночника. Не притронувшись к вину, молча, но чуть не вопя от восхищения, Артём разоблачил подругу, отнёс в постель, как пушинку, не чувствуя веса, и настала-таки пора бурной страсти, не сдерживаемая более никакими внешними препонами да условностями.

Которая, однако, продолжалась весьма недолго. Случилось тут нечто, от чего Артём Евгеньевич сбежал от подзаконной невесты, френд-вумен, по-нашему, не дотянув до рассвета. Практически в начале ночи. Как ни упрашивала любимая женщина подождать хоть чуть-чуть, побыть с ней, ну, полежать просто так, обнявшись, или пойти на кухню, посидеть, попить вина, да хоть кофе с тортом. Нет, драпанул, согласно печальному правилу своему, и отсюда: не до жиру, быть бы живу.

Произошло неописуемое никакими школьными учебниками зоологии событие, потому оказались они к нему не готовыми. Во время человеческого любовного экстаза пришли сиамские коты-кастраты в жуткое волнение, забыли курс хозяйской дрессировки, ворвались откуда-то в спальню да принялись носиться друг за другом по всевозможным траекториям, включая потолочные, прыгать на кровать к молодожёнам, остервенело разрывая когтями чистейшее, приятно пахнущее бельё, кидаться на стены, полосуя обои на ленты, биться о мебель ракетами, опрокидывать цветочные горшки, словно мстя за отнятую у них навсегда возможность любить и быть любимыми, что возложена на кошачью братию природой даже в большей степени, чем на человеческую.

Сделалась комната ареной сражения одичавших, буйно-помешанных животных.

Женщина не обращала внимания на их происки, ей было не до того.

Новоявленный полумуж-полулюбовник ощутил вперёд злую тоску — предвестницу приступа, задышал тяжело, хрипло, с посвистом, чувствуя как сужается глотка, быстренько собрался и утёк к себе домой по добру по здорову, как ни взывала к нему, вытирая слёзы, несчастная женщина остаться, не уходить, не оставлять её одну в трагический момент.

Драпанул самым подлым образом. Невозможно стать брачным человеком при подобном жизненном раскладе, не-воз-мож-но.

Подруга звонила и приходила к нему ещё пару раз, уговаривала вернуться, предлагала запирать котов на ночь на кухне (а чай где пить?) тогда в ванной, но и ванная местами нужна бывает по ночам, ладно-ладно, тогда вызовет мастера и тот поставит в дверь спальни замок.

Артём Евгеньевич прекрасно понимал, что из этого ровным счётом ничего не выйдет, обязательно кошачья война ночная случится снова: ворвутся сиамцы, устроят погром, где им заблагорассудится, и обязательно погибнут в огне этой войны и ванная, и кухня, и комната ребёнка, как погибла прошлый раз спальня. Перейти жить к нему без котов она не могла — это ясно было по лицу, в связи с чем не стал даже предлагать нарушить жизненную аксиому. В свою очередь бессмысленно рассказывать свою историю, объяснять, что не случайно коты взбесились при его появлении на её ложе, в виду полной бесперспективности дальнейшей совместной жизни.

Если разбирать семейную ситуацию по аналогии с шахматной, то согласно силе фигур, женщине её кошка дороже половинки мужчины, а две кошки значат более, чем муж. Отсюда следует: просить выкинуть котов бесполезно. Ради ребёнка ещё может пойти на преступление, для мужа — нет. Но и муж ради жены, сколько бы пустоты у него в голове ни было, не будет терпеть неистовых ночных кошачьих плясок, коли наградил бог слабым здоровьем. Значит, разошлись пути-дороги, остался Евгеньевич старым холостяком, как говорится, при собственных интересах: своей нелюбви к кошкам за их шерсть, и их любви к нему, неизвестно за что.

Жил себе — поживал в двухкомнатной квартире, добра наживал и попросился к нему однажды на время сослуживец и хороший приятель Вадим Степанович, перебиться месячишко-другой, переждать семейный разлад, так сказать, конфликтную ситуацию избыть в нейтральных условиях.

Артём ситуацию понял, даже не спросил, в чём сыр-бор: живи, раз надо.

Однажды приходит домой и чего-то сразу на пороге повёл носом, про себя думая, что ровно Кощей Бессмертный принюхивается: чей это дух такой противный завёлся в жилище? А оно вот, прямо у порога ползает, возле тарелки с молоком лужу сделало.

— Да ты с ума сошёл, не иначе! — вскричал Артём на приятеля, который с половой тряпкой уже вокруг лужи трётся.

— Или не знаешь, что я их брата на дух не выношу, или не рассказывал тебе сто раз про жизнь свою несчастную?

— Ты, главное, не расстраивайся, — отвечает приятель, — специально его принёс вылечить тебя гомеопатическим методом. Смотри, какой он ещё маленький, ну какой от него запах? Никакого запаха пока нет, ты к нему привыкнешь, потом он будет расти помаленьку, доза увеличиваться, привыкание тоже. Так излечишься от аллергии, клин клином вышибают — старое проверенное средство.

Однако Евгеньевич, не веря в гомеопатию, срочно зажал нос, пока не началось. Загнусил:

— Уноси своё лекарство, откуда принёс, чтобы духу его здесь не было. Квартиру мне провоняешь, где я жить стану?

— Да куда понесу, на ночь глядя?
— Где взял, туда и верни.

Приятель вздохнул, тряпку в ведре прополоскал сокрушённо.

— Честно говоря, на улице подобрал. Иду — пищит, жалко стало, я же не изверг, не могу оставить беспомощное существо валяться в грязи, человек всё-таки, не скотина бессовестная, как некоторые, не будем пальцами указывать. Неужели обратно отнести прикажешь и в грязь положить?
— Да хоть домой к себе отнеси.
— У нас собака живёт, и жена злая.
— Тогда уноси куда хочешь.

Унёс приятель котёнка в свою комнату вместе с молоком. Дверь закрыл, чтобы никого не раздражать. Играя с ним на диване, где котёнок сделал лужу.

Пока на работе были, котёнок тихонько пачкал плинтуса, стараясь делать это в укромных уголках, за мебелью, где никто не увидит и не накажет, в результате запах установился в приятельской комнате известного рода, который тот, почему-то никак унюхать не мог и прекрасно прожил с котёнком ровно месяц, ни сам с Артёмом не разговаривал, ни хозяин с ним.

Ушёл знакомый-квартирант тихо, деньги зачем-то оставил за проживание, хотя никакого разговора о деньгах не было и котёнка забрал, но Артём его здорово материл, когда в поисках причины своего удушья отодвинул мебель и начал отмывать со стиральным порошком многочисленные засохшие разводья на плинтусах за диваном и стенкой. Диван с паласом выкинул.

Самое плохое — отношение в коллективе сильно изменилось в худшую сторону. Смотреть сослуживцы стали искоса, как на изверга и ненавистника братьев наших меньших, а также женщин и детей, потому не женится — живёт бобылём и анахоретом, никого к себе близко не подпускает, только за месячную плату. Действительно, что за человек, если несчастного бесприютного котёнка, на ночь глядя, требует немедленно из дома вон выкинуть? Бессовестная личность, одним словом, дрянь совершеннейшая Артём Евгеньевич оказался, а не коллега.

С Вадимом они ещё в бытность его квартирантом перестали за руку здороваться, а тут и прочая часть мужского коллектива при встречах начала ладони в карманах прятать.

Всем известна прописная истина: сегодня он котёнка вышвырнул, завтра собаку утопит, а послезавтра бабушку за двадцать копеек топором зарубит, история классическая, многократно описанная русскими и иностранными гениями.

Женщины, впрочем, по своей природной мягкости целую неделю пытались исправить его, проводя назидательные беседы, что приличные люди, достойные звания сотрудника их замечательного коллектива, никогда братьев наших меньших не бьют по голове. И напрасно Артём пытался уверять, что по голове он никого бить не собирается, напротив, целый месяц терпел беспредел, потом отмывал квартиру, чуть при этом не сдох — бесполезно.

Сытый голодного не разумеет. Со временем и женщины оставили попытки направить природного изверга на путь истинный, как водится, обратились за помощью к начальству.

Понёс однажды Евгеньевич бумаги на подпись к директрисе, отстоял, как полагается, очередь на приём, вошёл, кипу вручил, ждёт. Даже садиться на стульчик не стал, с ноги на ногу переминается: очень срочные бумаги, в том числе на матпомощь отпускникам, которым лететь отдыхать надо, а касса вот-вот закроется.

— Вы присаживайтесь, присаживайтесь, — говорит директриса, не спеша подписывать и глядя на него задумчиво. — У вас, я слышала, кошки дома нет. А у меня как раз родилось семь штук крестников, пятерых разобрали, парочка осталась. Не возьмёте одного?

Взяла ручку и не подписывает, ждёт ответа.

— У меня аллергия на кошек, — как бы извиняясь, признался в грехе Артём, — про то все знают, хоть у кого спросите.
— Ни за что не поверю, — произнесла начальница твёрдо, — вы только посмотрите на них, аллергию как рукой снимет. Какие милые, да же? Возьмите вот эту кошечку, возьмите, не бойтесь, такая, знаете, хорошенькая, такая забавная, ну, просто прелесть. Аллергию свою лечить надо в больнице.
— Я лечил… неоднократно даже. Не помогает.
— Плохо лечили. Врача смените.
— У разных врачей перебывал, чего только со мной не делали, и уколы, и таблетки — ничего не помогает.
— Если настоящего специалиста найдёте — обязательно поможет. Берёте крестников?

Котята сидели в старой дамской шляпке бордового цвета. Теперь она его два часа будет мурыжить-прессовать, отпускники пролетят с деньгами, разозлятся на него, коллектив вообще перестанет разговаривать. Конфликт перейдёт в неуправляемую фазу, придётся увольняться, всё к тому движется.

— Хорошо, беру, — Евгеньевич отворотил нос в сторону, дабы не чувствовать животного запаха.
— Если обоих возьмёте, прямо со шляпкой отдам.
— Спасибо, возьму обоих, у меня знакомые недавно спрашивали.
— Ну и отлично, я знала, что вы, Артём Евгеньевич, прекрасный человек и хороший товарищ, напрасно про вас гнусные слухи распускают. Любите животных, молодец.

Немедленно расписалась в бумагах, торжественно вручила фетровую линялую шляпку и вон выпроводила с иронической улыбкой.

Коллеги мигом сбежались в их рабочую комнату, принялись заглядывать в шляпку, живо интересоваться: зачем он с аллергией такой страшной набрал себе столько котят? Зато отпускники получили в кассе деньги и улетели отдыхать довольные.

«Я их знакомым подарю, — отвечал Артём несколько затравленно, — у меня знакомые в деревне живут, им кошки нужны. Крысы измучили». И все видели — врёт, нет у него никаких таких добрых знакомых в деревне.

После работы принялся ходить по домам, предлагать всем подряд распрекрасных котят совершенно бесплатно. Никто не брал, даже смотреть не желали. Артёму очень не хотелось нести шляпку домой, где прошлый запашок не выветрился до конца, а куда деваться? Никто не берёт. Ходил до позднего-позднего вечера, стыдно сказать, предлагал забрать даже с его приплатой. Коммерция не удалась.

Затемно, еле живым добрёл к своему подъезду, сел на лавочке. Подниматься к себе не хотелось. Пойти забросить куда-нибудь в овраг, что ли? Уже темно, ни черта не видно. Или предварительно утопить в ведре, чтобы не мучились? Или увезти в лесополосу и оставить там, как отец Мурку, эти-то не прибегут обратно. Да, вот именно, не прибегут. Зато директриса начнёт каждый день интересоваться, как поживают крестники. Ещё вздумает поехать проведать, с неё станется, бензин-то казённый.

Рядом на лавочку опустилась женщина.

Отвергнув идеи про овраг, ведро и даже лесополосу, не глядя в её сторону, Артём автоматически поинтересовался: «Гражданка, вам котёночка не нужно? Может, парочку возьмёте?»

Та даже не сочла нужным ответить.

«Ну и чёрт с тобой, бессердечная ты баба».

Или всё-таки съездить в деревню, всучить кому за деньги, договориться, чтобы не девали никуда, по крайней мере, первое время, а то и в деревню директриса может катануть запросто? Нет, никуда не поеду, устал, сил нет жить, того и гляди приступ сейчас начнётся. Залезу лучше на крышу дома и швырну их оттуда. А следом сам прыгну, предварительно натянув шляпку директрисы по самые уши, чтобы не свалилась при падении, пусть потом с милицией разбираются, объяснительные в прокуратуру пишут, собаки такие.

Да-да! Пусть объяснит директорша, откуда её женская шляпка взялась на голове погибшего подчинённого. Вызовут в милицию, как Евгеньевича прошлый раз в ОБЭП, допросят серьёзно, с пристрастием! Он ни в чём виноват не был, а и то испугался, когда совсем ещё молодой следователь начал допрашивать, почему некто Фонярский прописан в его квартире? Никакого Фонярского Артём Евгеньевич сроду не знал и не видел никогда… Так откуда, всё-таки? Спрашивает зло, не мигая, как в гестапо, аж кровь в жилах стынет. Вы спросите паспортистку нашей жилконторы, она пропиской ведает, а он в квартире один-одинёшенек… Значит, говорите, не знаете? Ох, страшно валериановому человечку в кабинете, будто с жизнью досрочно прощается.

И не зря, надо сказать, переживал, в том самом ОБЭПе вон как золотопромышленника допрашивали, что умер прямо на стуле от множественных переломов, после чего сбросили хитрые милиционеры предпринимателя со второго этажа, дабы камера на выходе не зафиксировала вынос тела, отвезли, в лесу прикопали. А тоже ни в чём виноват не был. Пусть и директрису там допросят, откуда на голове погибшего, дескать, взялась ваша бордовая шляпка? А Степаныча пусть прокурор города в оборот возьмёт, как он целый месяц над ним издевался со своим котёнком, рискуя его, Евгеньевича, жизнью ежесекундно. Прокурор вон самого мэра города арестовал за взятку, не побоялся, храбрый человек, честный, принципиальный. Взяли мэра за белы руки, а у того в кармане триста тысяч. Откуда у вас триста тысяч в кармане? Мэр страшно удивился: «Я же мэр — вскричал, — у меня зарплата в месяц восемьдесят тысяч, как мне в кармане трёхсот тысяч не иметь?». И точно, кинулись смотреть — восемьдесят тысяч зарплата, но с карточки за пять лет ту зарплату ни разу не снимал! Шестьдесят объектов недвижимости в городе мэр имеет, целые собственные рынки и супермаркеты, а прокурор не побоялся… сначала. Потом срочно в другой город его перевели, за себя не боится, но за семью переживает, так прямо в телевизор и сказал. А мэр за четыре миллиона через Европейский суд освободился, ибо камера на двоих с телевизором всё же не соответствует высочайшим евростандартам, ходит нынче по городу: руки — в брюки, как ни в чём не бывало. Нет, лучше пусть Степаныча тоже ОБЭП допросит слегка, не до смерти, но чтобы понял хорошенько, как больно жить простому валериановому человечку на белом свете…

Дурно ему, очень дурно. Сбежать куда-нибудь от всего, найти другое место бытия, где нет ни сослуживцев — защитников животных, ни хитрой директрисы, ни Мурки с глазами, ни прочих Васек, ни дамской фетровой шляпки рядышком на скамейке, ни запаха в собственной квартире, до сих пор никаким стиральным порошком не выводящимся.

Кивнул Евгеньевич головой раз, кивнул другой и… заснул прямо на лавочке, забыв о мучительной действительности, перейдя в другую реальность, пусть и мнимую, но в данный момент спасительную, где ничего вышеперечисленного нет в помине, и можно, наконец, вдохнуть полной грудью свежий чистый воздух.

Оказалась кругом не тьма, но светлый день, встал Артём с лавочки, поднялся к себе в квартиру, там тоже светло, чисто и даже как-то празднично в том смысле, что на работу не надо идти, вроде бы выходной сегодня, и ни забот никаких нет, ни тревог. Пребывая в радостном, приподнятом настроении, взял с полки любимую книгу, сел в кресло, начал читать, быстро погружаясь в ещё более интересную радостную жизнь, которая захватила его в ласковые объятия и унесла прочь от дурного очень далеко. Не столько читает, сколько в памяти сами собой вспыхивают дорогие сердцу картины, разворачивается действие, скользнул от страницы взгляд в сторону, улыбнулся Артём Евгеньевич под стул, неведомо кому.

Стойте, стойте, что значит «улыбнулся под стул», а тем более, «неведомо кому»? Глупо улыбаться под стул, разве будет нормальный ответственный человек улыбаться под стул, даже пребывая во сне? И кому можно улыбаться под стул? И зачем?

Задав себе все эти вопросы, Евгеньевич уже внимательно глянул под стул, с изумлением замечая, что оттуда кошачьи глаза на него уставились.

Кошка чужая в квартире среди бела дня объявилась, что за чудеса в решете?

Отложил книгу, встал, подошёл — сидит, не убегает, взял осторожненько за шиворот, приподнял, решил на площадку из квартиры вынести. Ничего, спокойно висит котёночком, которого мамаша тащит, не царапается. Только смотрит Артём, бог ты мой, в другом-то углу целых две кошки наблюдают за процедурой эвакуации. Сделалось не по себе, как бы в предчувствии беды, коей пока нет, но шестое чувство шепчет, что катастрофы никак не избежать.

Волосы на затылке встали, а по всему, вмиг замёрзшему телу, мурашки завихрились.

Откуда? Дверь заперта, сам закрывал, окна тоже. Застыл на месте с кошкой в руке, обернуться страшно, что на диване делается? Наверняка странные, невесть откуда взявшиеся кошки прохлаждаются, глядя на него муркиными выпученными глазами.

Оборачиваться не стал, удержался, неторопливым шагом дошёл до двери, с насильственной прохладцей рассуждая: «Сейчас эту выкину на площадку, за теми вернусь».

Открыл дверь, а там, представьте себе, — целая кошачья толпа его дожидается на площадке, морды, морды — десятки, а может и сотни пар глаз уставились, будто ждали мгновения, когда дверь раскроется. Не успел ничего сообразить, влился кошачий поток в квартиру весенней игривой рекой, в половодье прорвавшей плотину, затопив комнаты. На столы вскочили, на стулья, со шкафов глазастые, усатые головёнки торчат, мяукают противными голосами, диван сплошь шерстью разномастной шевелится, иные так громко вопят, будто март наступил.

Выгонять бесполезно, самому бы куда скорее убежать — опять горло перехватило, дыхнуть нечем.

Кинулся вниз по лестнице, запруженной потоком идущих наверх кошек. Плотно движутся, черти: спина к спине, нога к ноге. Глядят горящими глазами на распахнутую дверь квартиры, словно в землю обетованную прут, за спасением души.

Но ведь не привечал он их, не подкармливал, как пожилые одинокие пенсионерки, которым не за кем ухаживать. Не выносил блюдечек с молоком вниз в подъезд, на что другие жильцы только ругаются и блюдечки на улицу вышвыривают — «там кормите своих кошар, весь подъезд провонял кошачьим дерьмом». Представить страшно, как на него теперь соседи рассердятся, что он столько кошек в квартире завёл: сотни, сотни, пройти негде, да что пройти, ногу поставить некуда, так и норовят, о колено потеревшись, на плечо прыгнуть. Вот, пожалуйста, запрыгнули. Перехватило горло, качнулся Евгеньевич, теряя силы, захрипел, понимая, что не выбраться на этот раз из кошачьего плена, сейчас рухнет на ступени, и придёт ему скорый конец прямо на лестнице.

Очнулся от дурного сна, когда сидевшая рядом и прежде не пожелавшая ответить на просьбу взять котят женщина, вдруг тронула его руку. Выскочил, вынырнул из потопа, не задохнулся, слава те господи!

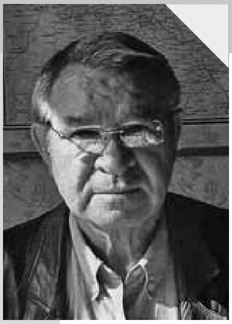
Соседка продолжала сильно сжимать локоть.

— Артём, идём домой. Я сиамцев своих… сегодня… усыпила в ветлечебнице.

Порылась в сумочке, будто собираясь предъявить справку, что сиамские коты действительно уничтожены, и, стало быть, путь к семейному счастью свободен, но достала лишь скомканный платочек, тотчас горько в него всхлипнула, как дочь на похоронах матери от неожиданного воспоминания нанесённой родительнице обиды, за которую не попросила вовремя прощения, а нынче сделалось навсегда и непоправимо поздно.

Узнав любимую, Артём Евгеньевич замялся, не находя слов утешения в горе, причиной которому был он сам. Посидел-посидел, достал фетровую дамскую шляпку, осторожно возложил ей на колени драгоценным подарочным набором:

— Не плачь, ради бога, возьми вот кошечек… тоже, знаешь, очень-очень симпатичные.



Анатолий Старухин

Синдром ржавой крысоловки

Ночами в блуждающем поезде

Локомотив тяжёлой наземной торпедой летел, едва касаясь земли и стремительно неся за собой длиннющий хвост скользящих по зеркальным направляющим вагонов. Жарков глядел в окно и удивлялся: «Почему татары живут лучше русских—вон приволжское селение в долине, дома-крепыши один к одному, машины эмалью слепят, мелькают—полно, аж две осанистые мечети с поднебесными минаретами… А рельсы, наверное, крепко стягивают землю, словно стальные обручи. Они ведь весь шарик опутали. Пусть у воды даже и обрываются»… На первый свой вопрос он ответил сразу: «Больше работают, меньше пьют, наркотики не заглатывают и молятся…»

Он сел в этот тринадцатый вагон поезда № 108, следующего из Киева в Астану, примерно в сотне километров от Воронежа на большой узловой станции Лиски с ангелом на колонне против вокзала. Или апрельская пора—этакое межсезонье, не то просто дело случая, но купейный вагон оказался полупустым. На соседней нижней полке посапывал мужик, смахивающий на попа. Таковым и оказался, когда познакомились,—отец Евлампий: в Казахстан получил назначение, в православный приход. В соседнем купе двое крепких парней в тельняшках с наколками на плечах—небось, вчерашние десантники: тот, что повыше, почернявее—Дима, а приземистый, поквадратнее, чистый блондин, едва ли не альбинос—Кирюша. Приметен ещё старичок из купе с противоположной стороны со странным именем и редким отчеством: Илуп Харитонович. Лет уж 67 ему. Знакомясь, насчёт рода занятий обронил: «По части снабжения…»

Мелькнула ещё по смятой половичковой дорожке некая девица, словно птица: глянула-стрельнула на Жаркова намётанно, кажется, даже успела подмигнуть и невидимкой нырнула в тамбур. Только смазливое личико, выпуклую со всех сторон фигурку, да сигарету в розовоконечных пальчиках успел отметить Жарков. Остальные немногочисленные пассажиры так—на одно лицо… Да, ведь ещё и два проводника: Тлеухан, заковыристый казах средних годов—каждого каким-нибудь вопросом зацепит, и противоположность ему—улыбчивая и услужливая, добросердечная Асия, с красиво прочерченным румяным личиком-блинчиком с нашей весёлой масленицы, а по-русски говоря, Ася, сама так предложила величать.

Поезд летел в сторону столицы Казахстана, и был он необычным во всех смыслах. Его путь пролегал через три страны. Супермеждународный. Он пересекал несколько всемирно известных рек, начиная с Волги. Но самое достопримечательное—он бесконечно шнырял с территории России в степи Казахстана, возвращался обратно, а затем вновь скакал в гости к казахам… Всякий раз, переезжая границу, он обрекал себя на две проверки пограничников, таможенников, как с той, так и с другой стороны—нудные, долговременные, не признающие ни обеденного застолья, ни ночи. Шесть пограничных стоянок задерживали движение поезда на пять с половиной часов! «Какая безжалостная и глупая трата времени и денег,—подумал Жарков, осознавая полнейшую нелепость пути этого железного коня.—Другого такого поезда во всём мире нету—это же издевательство над службами проверки, но особенно над пассажирами…»

Ночью его уха коснулся шорох—так, мышка хвостиком вильнула… Жарков разомкнул до светопроницаемой щёлочки одно веко. Сидя и глядя в окно, Евлампий как-то неопределённо осенял себя крёстным знамением, а в левой руке держал бумажный свёрток. Крадучись встал, чуть приподнял дверь на роликах и откатил так, словно лампадным маслом полил все шарниры—ни один не пискнул. Растаял в темноте вагона.

—Конспиратор в рясе… Но куда ты и что понёс? Прелюбопытно всё же знать,—отметил про себя Жарков и повернулся на левый бок к стенке.

Утро выдалось занятным. Сначала тихо и нудно ругался проводник Тлеухан, нехорошими словами поминая русских таможенников, не закрутивших после себя винты на потолочных панелях, которые они вскрывали, пытаясь обнаружить в пустотах под крышей вагона нечто, ведомое только им одним. Затем он заунывным голосом муэдзина на минарете, собирающего правоверных к молитве, стал звать: «Ас-и-я! А-с-и-и-я!.». Он искал пропавшую напарницу. Но звучало это, как Азия. Словно объявлял Тлеухан пассажирам: мы снова в благословенном Казахстане! Ася нашлась скоренько. И тогда в дверь купе заглянул десантник Кирюша и, не сдерживая распиравшей его душу радости, завопил: «Диман женится! На ком? На Капитолине. На Капе, на ком же ещё? Не на Асе же… Вы приглашены на свадьбу. Вы, вы,—показал на Жаркова,—будете посажёным отцом… А вы…

святой отец, сами понимаете… Вам их венчать… Рабочее совещание в нашем купе—прошу не тянуть время»…
— Не к доброму часу, однако, затеяли этот блуд,— маслянистым голоском проворковал Евлампий.— Говорено же в писании: не вводи во искушение, да воздастся тебе громом небесным… Ох, как бы не накаркать…
— Ну, а чего ж, коль приспичило. Любовь вспыхнула, как спичка—надо успеть, чтобы в чёрный уголёк не скрючилась.—Жарков даже крякнул от весьма пикантной неожиданности, которая может круто изменить весь его скрытый сценарий, на привлекательном смуглом лице распечаталась многозначительная улыбка, не то ухмылка.—Отец, так отец, хоть посажёный, хоть ряженый, хоть генерал свадебный. Батюшка, а того, что по части снабжения, забыл его странное имя, вы знаете?
— Илуп…—вырвалось у Евлампия. И он сразу стушевался, наверное, подумав, что целесообразнее было бы ответить «нет». Поправился тут же:
— Прошествуем к молодым, сын мой, не тянуть же время, звали ведь…

«Так вот она, птичка-невеличка!—отдалённой догадкой отозвалось в мозгу Жаркова: перед ним сидела та самая девица, что вчера мигнула ему, скрываясь в тамбуре.—Стало быть, Капитолина, Капа, если попроще и покороче… Невеста, если уже не супруга… Брови-подковки, личико чистое, меловое, всё из бархатной бело-розовой кожи, правильных форм всё на свете, включая уши с тяжёлыми, правда, ширпотребовскими подвесками. Глазищи настырные, немигающие—сплошная бирюза необычайной глубины. Вылитая Софи, как её там… из Италии».

Чертовка, такую быстро не раскусишь…

Рядышком, в полуобнимку, млел, таял на глазах здоровяк Дима. Илуп Харитонович—как профессиональный снабженец—прикидывал смету необычайной свадьбы на колёсах, каковой он, по его признанию, не встречал даже в Одессе:
— Рыбу купим у казахов в Уральске, в том числе для пива там торгуют прекрасным копчёным жерехом, а водку—на нашей стороне, ведь лучше нас её никто до сих пор не гонит, мы не жалеем извёстки и глины на фильтры… Закуски—у бабушек из корзинки как на этой, так и на той стороне пирожки одинаковые…—с картошкой-капустой-луком и яйцами, а также беляши, чебуреки, манты…

Он был при своём деле, лицо его, плоское, как тарелочка для стендовой стрельбы (портрет составлял Жарков), блестело от мельчайших капелек пота, а глаза, слегка заплывшие жирком, из загадочных непрестанно превращались в мечтательные.
— Насчёт фаты молчу, не та обстановка, по поводу цветов—лучше полевые. Может, кто на казахской стороне сумеет сорвать на ходу степные, живые… Музыкальное оформление—есть старая питерская гитара, принадлежащая жениху, сам и саккомпанирует. Наконец, юридическое обеспечение: а отец Евлампий на что? Это же подарок, скажу я вам, в такой дороге-то… И, ещё раз, наконец,—Илуп вдруг взглядом, как сверло, вонзил в Жаркова,—посажёный отец! Кто вы, кстати?—из щёлочек глаз Харитоныча исторглась энергия мага, не позволяющая увильнуть от честного ответа. Однако у Жаркова присутствовала постоянная рабочая версия «геолог» и был у него против таких взглядов и вопросов свой особый, похлеще черепашьего, панцирь.
— Геолог…
— Мм-да… Все мы геологи и первопроходцы,—лениво подытожил снабженец.

«Первопроходимцы»,—поправил в уме Жарков.
— А звать-то как вас, уважаемый?
— Иван.
— Блестяще! Свадьба будет идеальной и по замыслу, и по необычайному дорожному воплощению. Все мы, в общем-то, Иваны…—поставил в разговоре точку Илуп Харитонович.

«Что он ко мне пристал? Он, бестия, что-то понял? Он хитрее всех самых хитрых, во всяком случае—всех присутствующих. Он—объект особого внимания? Знать бы…»—Жарков мучился в бессилье. Мучился вдвойне, потому что недавно бросил курить, а все гурьбой пошли в дальний тамбур на перекур. Да, было ещё одно маленькое решение: второго десантника Кирюшу в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными этой форсмажорной свадьбой, отселить в купе к Жаркову и святому отцу на верхнюю полку. И, вообще, как выяснилось в предсвадебных признаниях, ребята—десантники бывшие, а ныне—Дима уже не первый год строит Астану, на сей раз забрал с Украины своего дружбана по экстремальной службе и везёт его на трудоустройство всё в ту же Астану, которую сооружают по всем канонам богатейшего созидания Арабских Эмиратов.

Пьянка началась спонтанно, как бы со смотрин жениха и невесты. Дима лениво бренчал на гитаре, напевая что-то давнее, раритетное и вполне задушевное: «За неделю выпили всю водку, и настал голодный рацион, и тогда вливать мы стали в глотку керосин, бензин, одеколон… И в ночь шестёрками хиляли долго мы по тропам тем, где гибнут рысаки… От вин, от курева, житья культурного зачем забрал, начальник, отпусти…» Песня, кстати, не красила жениха, выдавая какое-то ещё иное его прошлое.

Капа сидела красавицей. Губки кривила под ракушку, строила глазки, нечаянно проводила ладонью по бюсту. Пила водку. Всего понемножку. И вовсе не пьянела. Нога на ногу. Верхней болтает влево вправо, норовя задеть Жаркова. Но шептаться вышла со снабженцем… Вот и пойми.

Все потихоньку отупели, кто-то задремал. На Жаркова наплыли воспоминания. В прошлую поездку по этому же пути он сошёл в Горске. Там живёт старшая сестра его друга. Между делом встретился. Измождённая женщина плакала весь вечер в её двухкомнатной панельной квартирке на окраине городка машиностроителей и металлургов. Сына недавно задержала милиция: 60 доз героина в его карманах! Отпустили под подписку. Но те, кто дал эти дозы, не простит их потерю. Плати! Чем? Продай квартиру! А после этого ещё и суд, и срок большой, нескончаемый… Она рыдала

буквально на коленях Жаркова. Утром он поехал на её завод, где несчастная всю жизнь вкалывала мастером и даже на пенсии продолжала тянуть лямку — сынок-то неприспособленный к жизни. У заводоуправления огромные щиты с большими и чёткими фотографиями, на одной из них она, мать этого сына, — гордость завода. Но сегодня ей помочь здесь никто и ничем не может, — так ему пояснили. Поехал в милицию. Его принял бравый с виду майор, с большим сверкающим крестом на верхней части мундира — за Чечню… Кто его знает, может и до суда не дойдёт дело, — выдавил он из себя.

Позже Жарков узнал — до суда не дошло. И понял почему — героин оказался в руках ментов, и они сочли, что этого им вполне достаточно, зачем возбуждать дело? Но платить тем, кто были хозяевами наркоты, парню придётся — от этих не уйдёшь.

Через заводской, рудничный южноуральский регион пролегал нешуточный наркотрафик. Где его концы? Кто закачивает бешеную кровь в сосуды скрытого и страшного организма?..

Ночью Жарков проснулся от порыва ветра. Это в купе-то?.. Он подсознательно понял, что где-то вблизи на какое-то время были открыты либо окно, либо дверь в тамбуре, и сразу взвихрился ударяющий холодом в лицо сквозняк. Машинально взглянул на светящийся циферблат: половина третьего. Хорошее время. Лучшее для всяких дел, не требующих посторонних глаз.

Утром подряд через все купе, приподнимая нижнюю полку и заглядывая внутрь, прошёлся очень встревоженный и озабоченный Тлеухан. «Восемнадцать… двадцать… — считал он вслух, почему-то загибая пальцы на руках. — Одного не хватает… Где ещё один мешок?» И он вновь шёл в начальное купе. Как оказалось, в каждом купе под нижней полкой лежал белый парусиновый мешок с древесным углём, а то и два. Эти мешки вёз проводник из Украины. Уголь он, по его словам, продавал на родине в Казахстане — шашлычникам. Мешки эти никто никогда не проверял: ни таможня, ни погранцы — служивый человек везёт, для своего мелкого заработка, ну и пусть себе везёт…

Тлеухан начинал считать в третий раз. Он уже стонал: «Это же две тысячи сто тридцать шесть тенге… Кто взял?.. Зачем?..»

Кажется, только Жарков что-то заподозрил. Он вышел в тамбур, достал сотовый, который всё это время от Лисок был настрого отключён, чтобы никто не знал, что у «геолога» есть связь. Он сказал коротко: «В два тридцать ночи с внешней стороны первого пути в районе станции Радужная выброшен белый мешок с древесным углём, в нём — наркотики…»

А свадьба продолжалась. Временами пел уже не один Дима-жених, а все хором, отец Евлампий, похоже, пригубил лишнего и постоянно твердил: «Благое деяние, благое… соединяю ваши души, рабы грешные. Соединяю и освящаю, и дарую вам…» Он всё чаще прихватывал рукой крест на груди и целовал его, однако ухитрился припасть губами и к щеке невесты, но жених заприметил это и ткнул кулаком отца святого без разбора в живот.

Чередой шли и проверки. Старообразный, чем-то обозлённый таможенник на станции Озинки заставлял каждого выворачивать тряпьё и всё прочее из чемоданов и сумок до тех пор, пока он не увидит дна! И тут Жарков единственный раз за всё время сорвался: «Что ты хочешь увидеть? Это же тупость! У нас шестой раз всё переворачивают…» — «Мне за это зарплату платят», — последовал ответ. Зато попутчики теперь смотрели на Ивана как-то доверительнее, как на одного из них самих. Дальше следовала станция казахская с чудесным названием Семиглавый Мар — опять проверка, хотя и заметно более щадящая, формальная, нежели на российской забюрокраченной стороне.

«Какие же недоумки — ищут в чемоданах что-то запретное. Все не просветишь. Да и зачем? Кто надумал что-либо провезти, изобретёт и способ похитрее… — размышлял, искал ответы, лёжа на полке, Жарков, сглатывая горькую от водки слюну. — Чёртова свадьба, придумали ведь…»

Этой ночью он решил не спать ни минуты. С вечера притворялся опьяневшим, раскачивался, хватаясь за поручни, падал на полку, говорил всякие глупости и даже лез целовать невесту. Всё это вызывало и обычное понимание, и сочувствие, а иногда и досаду — мол, возись тут с ним, отцом посажёным! После полуночи диван напротив скрипнул: отец Евлампий присел, оглаживая короткую чёрную куртку и ущипнув паклеобразную бородку. Привстал на цыпочки и приоткрыл дверь. Протиснулся… Следом встал и Жарков.

В конце коридора, у туалета, стоял некто, с головой, повязанной чем-то вроде обычной рубахи. «Да это же снабженец, Илуп, мать твою…» — ругнулся Жарков. На полу рядом со снабженцем лежало что-то бесформенное и белесое. «Неужто, мешок?». Иван провёл языком по мгновенно пересохшим губам. Ему было ясно, что они сейчас сделают. Они потащили мешок в тамбур, хлопнула открытая ключом дверь вагона… И когда мешок уже летел под насыпь, Жарков внятно произнёс: «Зачем мешки-то красть?.». Эх, и сам-то он зачем это говорил? Илуп и Евлампий разом обернулись, по лицам энергетическим импульсом скользнул испуг.

— А-а, да это ж свой человечек-то. Не спится ему… Ты, геолог, дрыхнул бы мирно, золото своё ненайденное во сне рассматривал… А здесь — не твоё дело. Лишний ты как бы… — отец Евлампий передохнул. — Мы свидетелев страшно как не любим, хуже легавых они…

Евлампий, как на миг показалось Жаркову, полуподмигнул буквально одним взглядом кому-то…

И… всё. Память человеческой головы оборвалась, словно лента старого кино, последний кадр с мешком и двумя людьми куда-то, энергетично затрепетав, обвалился и тут же стёрся. Его ударили сзади… Удар был по-молодому крепкий.

Что может спасти человека в его самый пропащий момент в жизни? Конечно же, предыдущая жизнь. Кем ты был в прошлом, чем жил, как вёл

себя, чем занят был повседневно… Вот от чего зависит твоя сиюминутная судьба, как ни странно. Жарков был сильным малым. В спортзале института схватиться с ним, пусть и не самым рослым громилой, просто качком, вряд ли кто бы решился. Сам Иван иногда после тренировок ощущал прилив сил такой, что, когда впрыгивал в трамвай, либо автобус и сжимал ладонями трубки поручней, ему казалось—они как резиновые поддаются сжатию и даже выпускают из себя воздух. Эффект силы. Металл слабее тебя, твоя воля сильнее рока судьбы…

Наверное, правая рука генетически вспомнила о собственной необычайной силе именно сейчас, в одну, всего лишь в одну микрочастицу часового времени. От летящего вниз, в бездну мелькающего пространства, тела мгновенно отделилась рука и по некоей компьютерной технологии зацепилась за поручень. Ладонь и пальцы намертво обхватили округлый металл, как газовый ключ до царапин стискивает стальную трубу. Удар сверху ботинком по голове ничего не изменил: тело болталось в воздухе, но не падало вниз. Надо было отрубать руку от поручня. Хозяин ноги в ботинке достал тесак. Но внезапно покачнулся и полетел сам…

Голова Жаркова была в полной отключке и последнее, что она ещё восприняла,—щелчок, похожий на выстрел.

…Этот странный блуждающий поезд на всех парах мчался на восток. Кто же придумал это сплошное несовпадение стальной магистрали с государственной границей? Уж умным-то его не назовёшь. Словно сатана для шкодливости свил верёвку из рельсов и пунктирной черты границы, специально понаделав узлов, петель и «восьмёрок» и теперь ухмыляется довольный: помучьтесь, грешненькие мои… Мелькали то русские избы, потраченные временем, с захламлёнными дворами, неряшливыми курами и исковерканной старой сельхозтехникой, то голые казахстанские степи, временами оживающие от случайного присутствия десятка вольно пасущихся коней, от одинокого зимовья, попыхивающего сизым кизячным дымком из низкой трубы. Вдруг появлялись на холме мазары—пять-шесть отшельнических могил, обнесённых саманными квадратными стенками, с закорючками полумесяцев по углам… Веяло вечностью и исконным притяжением земли, до сей поры незаселённой.

Он очнулся, наконец. Полутёмное купе. Тихо. Только колёса ведут дробный счёт вёрстам. На голове повязка. Подвигал руками, ногами. Слушаются. Только правая рука занемела, затвердела до состояния камня и вся наполнена ноющей болью. «Что же произошло?»—первый вопрос Жаркова себе.

В дверь осторожно постучали.

Вошёл сравнительно молодой, стройный и красивый казах в спортивной куртке и джинсах: «Бекишев, подполковник национальной безопасности… Будем знакомы, майор Жарков». «Всё знает ведь, откуда?..»—отреагировал безмолвно Иван. Молодой человек предстал разговорчивым, и Жаркову оставалось лишь внимать его речи. Оказывается, сам он молодец: три мешка, сброшенные с поезда, попали в руки оперативников, повязаны и те, кто эти мешки поджидал. Героина в них килограммов двадцать! Откуда такие сведения? Так ведь работаем совместно. Прокол ты, Жарков, допустил всего единственный—когда выследил ночью их с четвёртым мешком, но, по сути дела, раскрылся… Понимаю, нервы. Но спешить не надо было?..

Они разговаривали на «ты».

—Сначала мы думали, Иван, что проводник Тлеухан со своим углём для шашлыков—невинная жертва. Но он вместе с ними. Он и предложил перевозить этот уголь в качестве схрона. Пограничники, таможня копаться в грязном угле не станут, к тому же он принадлежит проводнику вагона… Ну, подрабатывает немного, пусть себе, для семьи старается. Ты хочешь знать, кто они? Жених—никакой не десантник, «десантировался» только в таёжные лагеря раза три. Священник—его старый подельник, вместе, как у вас говорят, топтали зону, где он свечки делал для тюремной церквушки. Снабженец—тоже оттуда, хлеборезом на кухне жировал. А вот мадам как бы ни при чём—девка недвусмысленного поведения, искательница приключений. Попросили сыграть роль невесты, приплатили… Второй десантник—пока лишняя фигура, односельчанин Димана, а тот решил его «обкатать», на будущее, пока же заманил как бы на работу в Астану…

Жарков всё больше недоумевал: «Из молодых, да ранний. Ну и дока же ты, степняк…»

—И, наконец, о том, что тебя более всего интересует. Кому ты обязан жизнью?..—он медлил:

—А-си-е! Она вынуждена была пристрелить главаря, после того, как он ударил тебя ботинком по голове и уже не верила, что ты ещё удержишься на весу. Откуда у неё пистолет?.. Она—капитан нацбезопасности.

Жарков с лёгким стоном закрыл глаза: «Какой я дурак! Старый осёл! Когда отмечали эту свадьбу и всякое болтали по пьяни, за дверью купе нам постоянно мешало тарахтение пылесоса. Асия вроде бы чистила половичок, но почему-то только у одного купе. И этого ей показалось мало. Она зашла к ним и достала из-за спины букетик полевых цветов небесного цвета, подала невесте: «Это наши степные незабудки… Не забудете меня никогда…» И посмотрела на Жаркова—взгляд её обычно тёплых глаз в этот момент показался Ивану озабоченным и тревожным. Его пронзила мысль: «Что это… не забудете никогда?» Ох, уж эти восточные словеса со скрытым смыслом. Не ему ли персонально она подала знак? И ведь обратил внимание, но не проанализировал до конца—вот где исток прокола. Следовало устроить с Асей невидимую для остальных встречу. Дальнейшие события могли бы развиваться по другой колее… Думать всегда полезно, даже пост скриптум, извлекая досадный урок. Вслух же Жарков сказал лишь одно:

—Молодец, подполковник, а перед Асей я большой должник. Где же вас так обучали?..

—После распада Союза у нас не было кадров. Но страшнее то, что негде было их готовить. Свои

институты формировались в спешке. А вам было не до нас — вы расстреливали из танков собственный парламент. И наше руководство стало большими партиями отправлять молодёжь на запад. Я — ученик польской системы безопасности…

— Бешпеки… А почему же Тлеухан долго сокрушался, когда обнаружил пропажу мешка?

— Э-э… типичная восточная уловка. Знайте, жители города, все до единого, пожалейте меня несчастного тоже все — меня обокрали!.. Поверьте ему: на остановке кто-то вынес мешок и продал шашлычнику на перроне. После этого, какое подозрение на него может пасть?..

Позже, на допросах уже, Жарков прояснил и некоторые другие подробности. Что за пакет был в руках Евлампия ночью? Не поверите… халва. И понёс он её в подарок… Капе, в которую, едва не испортив дело, втюрился. А на конфеты пожадничал… Да и женитьба Димана не планировалась заранее. Подвернулась девка уж очень смазливая — почему бы не устроить отвлекающий манёвр: гуляки-удальцы, да при своём любимом занятии — какой уж тут криминал? К тому же и «жёнушка», столь изворотливая, да неглупая, в скорости может сгодиться для настоящих дел.

— Итак, дальнейшие действия?

— Сойду в Горске. Туда вылетает группа из Москвы. Там есть хорошая зацепка по наркоте. Там встретят и наших граждан, преступивших закон. Надеюсь, отпустите?

— Отпустим. Но только ваших. Хозяин мешков и сами мешки — наши: поедут до Астаны. Вот моя визитка. Будем контактировать… Честь имею…

«Вышколен… Поляки, они гусары, любят парады, блеск… Но и нюхачи дотошные, школа-то известная — от Лжедмитрия ещё… — посмотрел ему вслед Жарков. — Скороспелые у вас, в Казахстане, ребята, дрожжевые, как на опаре выросли. И это понятно: новое долгожданное государство, люди, опьянённые такой переменой, почувствовали себя его полноправными хозяевами, энтузиазм, эйфория, хмель в голове забурлил — того и гляди, затычку вышибет. Вот и молодые, почти не замеченно, как-то сразу, выросли в должностях и званиях. А не так ли, вообще-то, и должно быть? Не надо, как у нас, пережидать коррумпированных старичков, о которых не раз споткнёшься, как о пеньки на вырубке…»

А поезд уже миновал погранпост Илецк. Пересекал то равнинное, то всхолмлённое уральское подбрюшье. Сколько он ещё будет нырять из одной страны в другую? Зачем эти бесконечные пустые проверки. Ведь доехали бы мешки, хоть удвой, хоть утрой погранпосты. Правильно сказал подполковник-казах: лучше бы посередине железной дороги границу прочертили — северный рельс ваш, южный — наш. И никакой канители, и деньги — и ваши, и наши — целее.

В Горск поезд прибыл ночью. Оперативники профессионально тихо и неприметно выгрузили всю «свадьбу». Жарков подошёл к Асие. Девочка, щупленький воробышек, кажется еле-еле душа в теле… А наскочи-ка на неё в тёмном переулке — пожалеешь, если ещё жив останешься. Как обманчиво всё на свете. Многое, во всяком случае. «Что ей сказать, как к ней обратиться?»

— Ася, милая. Вот мой адрес. Ты понимаешь, насколько мне дорога, как я тебе обязан.

— Ладно, Жарков, не хнычь, тебе это не идёт, — ответила она тихо, пряча адрес в карман путейского жакета. — Поцелуй лучше меня — долго жить будешь. Я верю, что мы ещё свидимся.

Иван ощутил на губах незнакомый, почти не уловимый полынный запах степи, настоя скромненьких степных голубых незабудок и пронзительно алых, броских весенних тюльпанов, что кумачевыми полотнищами покрывают плоские просторы в конце весны. В голове поплыли картинки заоконных дорожных пейзажей с одичавшими от свободы конями…

— Хватит, Ваня… — Асия смахнула с глаз слезинки.

— А наш Жарков-то, во, даёт! перевоплотился окончательно… — обратил внимание кто-то из оперативников.

Вот он степной, холмистый Горск. Его длиннющая улица имени вождя мирового пролетариата через весь город. Вот заплаканные глаза старшей сестры друга. Где-то у ментов припрятаны 60 пакетиков героина, а в другом месте горская наркомафия ждёт должок с сына несчастной женщины. За всё это завтра возьмётся Жарков. И за тех, кого сам привёз, снял с блуждающего поезда. Стоп, не ослышался ли?..

— Але, ку-ку-у, отец посажёный! Тебя ещё не посадили?..

Обернулся. Длинноногой цаплей от остановки к магазину бежит… Капа-Капитолина, невестушка вагонная… Махнула ручкой, кинула воздушный поцелуй Жаркову. «Ну и стерва… Опять же, у всякой стервы есть резервы — излови-ка её…», — только и успел он сообразить. Она исчезла, как и появилась, мимолётным видением…

Синдром ржавой крысоловки

Карьков шёл к своему сарайчику, приткнутому к стене давно распроданной под офисы некогда его родной обувной фабрики. В сарае он, по его выражению, сотворял весьма нехитрые устройства — мышеловки. Степан Карьков ими приторговывал, и это приносило ему копеечную прибыль. «Дома-то чего высидишь, скукота и однообразие, на Степаниду уж нагляделся за сорок-то лет, хоть она, конечно, и красивая баба была… — говорил он обычно приятелям. — А здесь, у рынка, всё ж свои люди, привычные уж, повеселее тут, да и прибыль, какая ни на есть…» Карькову, бывшему моряку, недавно, посреди лета, стукнуло семьдесят пять, был он роста ниже среднего, весь какой-то корявый, будто сложенный из разных, особо прочных, но обязательно короткомерных частей. Выглядел он скорее крепким мужиком, нежели стариком. И вот уж что никак не увязывалось со всей его несуразностью — плясал лучше всякого цыгана, просто зажигался, искрился весь, чуть поймав ухом ритм музыки. В ход шли и подошвы ног, разумеется, и пальцы на ногах, и пятки, и ладони на руках, и колени, и голенища сапог, если в сапогах отплясывал, и даже локти, лоб, уши,

рот свистящий… Всё щёлкало, дробило, улюлюкало, хлопало, а проще говоря, восхищало каждого, заставляло и его сердце биться по-особому восторженно. И ещё надолго унаследовал он от флота одну памятную метку—золотую фиксу на верхнем зубе рядышком с клыком. Обзавелись они с другом этими поделками, находясь как-то в увольнении—модно это было, при случае, для любопытствующих девушек приоткрыть рот, в котором есть кое-что красивое. Когда Степан улыбался всей своей широкой и доброй натурой, зуб вспыхивал и отражал блики, между прочим, более чем удачно, дополняя его портрет.

Народец ближний его ещё часто Якорьком звал. Это необидное прозвище прилепилось к нему чудеснейшим образом. На самом первом построении на палубе линкора, при перекличке, коротенький новобранец из центра России ответил, как и положено, «я», но почему-то, уже как не положено, тут же добавил «Карьков». Получилось слитно, на слух: «Якорьков». Кто-то из моряков сострил прямо из шеренги строя: «Глянь-ко, морская фамилия у нас появилась!». Так он и стал Якорьком. Всегда живым, сообразительным, надёжным в товариществе.

И всё же только благодаря таланту плясуна отхватил он, вернувшись в родные чернозёмные просторы после затяжной, как чересчур серьёзная драма, службы, очень приметную на всю округу розовощёкую Степаниду. Она хоть и была на голову выше его ростом, однако пара оказалась ничего, смотрелась. А началось с того, что однажды на сельских вечерках Степан как ударился подле неё в пляс, будучи ещё в морской фланельке с погонами старшины второй статьи, в бескозырке с ленточками в золотых словах да якорях, так полчаса и не останавливался, неуёмный, вызывая девку в круг, пока, умирая от смущения, не вышла, мелко перебирая каблучками и ускоряя до буквально слитной дроби этот перебор… И тут ещё парни да девчата стали подзуживать: дескать, Степан да Степанида—одна планида, сам Бог их друг к другу приставил. Вот и прожили незаметно, как всякие пенсионеры, словно одним днём, четыре десятка лет. Нажили сына Юрку, токаря, шофёра, парня здорового и симпатичного в мать, однако не шибко путного…

В тени и прохладе сарая Якорёк, отрубив вершок проволоки, стал привычно накручивать из неё пружину для мышеловки. И вдруг заулыбался—что-то его осенило. «А может, посурьезнее что соорудить? Крысоловку, как пить дать?..»—он вспомнил вчерашний, всех укатавший со смеху торг со случайной бабкой. Та подошла: почём, да почём?—Двадцать целковых.—Дорого, милок…—В магазине по тридцать, ну да ладно—бери за пятнадцать.—А ты мне её продемонстрируй!..

Ушлая бабка попалась—словечки-то какие. Делать нечего, зарядил своё творение Карьков. «Гляди»,—говорит. И нажимает на сторожок пальцем. А щелчка-то и не последовало, заело. «Ну, вот видишь…—обиженно протянула покупательница.—Того и гляди, подсунут…»—«Так ведь в ней мыша-то не было!.. Потому и не сработала…»—на удивление даже самому себе выкрутился Степан. Да так вывернулся, что все друзья-напарники в их самостийном торговом ряду от хохота прямо повалились: «Ну, даёт, Якорёк!». Как кличка с флота следом за ним демобилизовалась—Степан лишь удивляется: небось, сам и проболтался, не помня когда. «Мыша-то не было…»,—трясли лицами приятели по рынку, повторяя сквозь слёзы смеха. Заулыбалась и бабушка. И купила, отчаянно махнув рукой.

…Степан накрутил усиленную пружину из проволоки потолще, загнул концы, один прибил парой скобок к дощечке, основанию крысоловки… Чем отличается она от мышеловки, так это тем, что зверя покрупнее должна прихватить надёжно и удержать. Не просто прижать окончанием пружины жалкого мышонка, а—страшно молвить!—как бы пришпилить крысу на гвозди. Их забивают с обратной стороны дощечки, а вышедшие кончики ещё и напильничком затачивают до иголочного острия.

И тут стряслась гремучая беда: то, что не сработало вчера на базаре, сегодня с удесятерённой силой хватануло здесь, на верстачке. Защёлка как-то сама по себе сорвалась и пружинящий конец проволоки пулей ударил Степана по ногтю указательного пальца, а палец как-то влажно влип в гвоздь… Брызнула кровь мелкими кляксами. Карьков едва не закричал от боли—до кости, наверное, пробило… Снял палец с гвоздя и машинально высосал кровь, обернул фалангу и ноготь не самым чистым платочком и наскоро закрутил мягкой изолированной проволочкой. Боль доходила до самого сердца, ущипывала его без жалости, пульсировала вместе с ним.

«Руки косолапые, что ли… угораздило ведь… И крысы не было, а защёлкнулась, не то, что вчера… с пружиной перестарался… да и гвоздь, кажись, ржавый—не успел зачистить». Ему хотелось выть от досады.

К вечеру палец опух, напрягся, покраснел—превратился в морковку с тупым концом. Степанида всполошилась: «К доктору надо идтить!.». Словно доктор за углом их ждёт-не дождётся. «Какой тебе ещё доктор—вон с окна кусочек алоя отщипни, да привяжи,—оборвал Степан.—Пройдёт, никуда не денется, не впервой…»

Утром он не мог и чуточку шевелить пальцем, оконное растение не помогло—палец будто чернилами туго накачали…

Они поехали в травматологическую больницу своего губернского города на маршрутке, дальше переулками месили пыль пешком. В приёмном отделении врач засвидетельствовал всё, как положено, на бумаге, позвал хирурга, совсем молодого мужчину. Тот был кудрявый, в белом халате без пятнышка. Из прореза выглядывал золотой крестик на тяжёлой, словно кованой, жёлтой цепочке. «Верующий, похоже, значит, совестливый, аккуратный,—успел подумать Карьков,—считай, повезло с первого шага. Только прёт от него духами, как от беспутной девки…» Хирург прервал его мимолётные догадки: взглянул на палец, промолвил как-то без выражения: «Ампутация…

гангреной пахнет… может продвинуться вверх по руке… Семь тысяч… Анестезиологу ещё надо… И продольный разрез придётся делать…»

— Чего? Какие семь тысяч? Что ещё за астезиолог? Я на обувной фабрике кузнецом в горячем цеху тридцать восемь лет оттрубил… я семь лет на корабле плавал: четыре океана и восемь морей прошёл!..— впервые за многие годы на крик сорвался Карьков.

— И мы своё оттрубим,— спокойно сказал кудрявый в белом.— И палец отрубим… А то и выше… Если оплатите операцию…

— Пойдём, пойдём отсюда, Степанька!..— тащил по ступенькам крыльца упиравшуюся жену Степан.— Нога моя больше сюда не ступит… Курвачи, а не врачи… Я их достану!.. Всех благ!— выкрикнул привычное для него прощальное слово, на ходу заматывая палец бинтом.

Дома он взялся за телефон, хотя толком говорить по нему не умел, не было нужды, особенно говорить с официальными лицами. В горздраве ему ответили, что медицина у нас, в принципе, бесплатная, но случается, госсредств недостаёт… Впрочем, с обращением его, гражданина Карькова, непременно разберутся и ответят по форме лично ему же и пожурили за то, что он некорректно общается по телефону. Звонил ещё куда-то— примерно то же… К вечерку заглянул Филантий, проще говоря, Филя, тощий и длинный, как кишка, молчаливый, но по пьяни и говорливый сосед по тротуарному рынку, торговавший шурупами, ржавыми гвоздями, такими же патрубками и тремя водопроводными кранами.

— Якорёк, Стёпа, куда пропал-то? Без тебя скучно. К обеду сообразили по капельке. Да опять же без тебя— не то, сам понимаешь, даже анекдот рассказать, утешить, рассудить некому… Бабка твоя, интеллигентша, опять приходила, ещё одну мышеловку хотела купить. Да их больше никто у нас не делает. Ушла ни с чем… Что с пальцем-то?

— На гвоздь напоролся по глупости…

— То-то смотрю, кислый… Сейчас вылечим.— Полез в оттопыренный внутренний карман задубевшего от носки пиджака.— От всех болезней, зараза… Не маши руками, не отказывайся. Есть мыслишка одна. Помнишь парторга на нашей обувной, Сетевого, да-да, Сетевого. Он же на профсоюзе большим сейчас сидит. Не смотри что на митингах он в старом фрицевском колпаке, как в кастрюльке вверх дном, да в тужурке облезлой кожаной— это прикид такой для народа. Смотреться-то своим человеком должен— веры больше. А вообще-то он нынче один из самых богатых людей в городе: стадион, всякие там санатории, профилактории, базы приватизировал. Они ж профсоюзные были…— Филя не спеша разлил по первой, как бы делом подкрепляя свою речь.— К нему и обратимся, он всё может, любого фельшера захомутает и шлангом скрутит…

Не иначе, как вспомнил, что слывёт молчаливым, Филантий, похоже, закусил последним словом. Выпили по второй, по третьей. Палец откликнулся— перестал ныть. Филя молчал и жалостливым собачьим взглядом преданного слуги смотрел на Степана.

Разговор с Сетевым получился солидным и обнадёживающим. Но, во-первых, до него, что называется, едва достучались и это уже можно было считать отнюдь не рядовой победой. Секретарша грудью встала на пути, только взглянув на двух смурных мужиков, увиливала, хитрила, лиса паршивая. Степан даже представил её себе в некоем образе: растопырила руки на весь предбанник, как ветряная мельница крылья, а может и стала бы лягаться при случае, обе ноги, видать, толчковые… Потом, уже в кабинете, воздушном и затемнённом, Сетевой не признал ни Карькова, ни каланчу Филантия, который трудился на обувной всего-то грузчиком, а по совместительству— экспедитором. Знаете, говорит, сколько у меня народу?! И я вам не Македонский, чтобы каждого упомнить. Тогда Степан надоумил его, что до парторговской должности тот был начальником цеха, где и громыхал раскалённым железом бессменный кузнец Карьков. Сто двадцать шесть рационализаторских предложений и даже изобретений внёс он, Степан Карьков, за эти годы и даже оказался у него раз пятнадцать в соавторах сам Сетевой… Прогресс-то на фабрике развивался вверх в основном благодаря Карькову, потому и труд был во многом механизирован. К примеру, передки, стельки, другие заготовки стали кроить одним прикосновением штампа… Не раз об этом на собраниях говорил и сам Сетевой. И в партию хотел принять Карькова, да в последний момент передумал: «Бросил бы ты, душегуб, этот хуторской самогон на рабочее место таскать!.». А ведь и сам пригублял по гранёному стакану, пригнувшись за пыльным горном…

И тут, наконец, вспомнил профсоюзный босс: «Ну как же, как же!..— стукнул себя в медный лоб,— мы с тобой, Карьков, считай, вдвоём и двигали прогресс. Так что там у тебя стряслось?..»

— Поправимо,— выслушав, коротко резюмировал Сетевой.— Мы слов на ветер не бросаем и кого надо к порядку призовём скорёхонько. Завтра иди к тому хирургу… и пусть он только заикнётся о деньгах, продажная шкура, эскулап хренов!.. Ты меня понял, надеюсь?.. Чаю не предлагаю, мужики, время сейчас не то, чтоб чаи распивать— только поспевай…

На другой день Карьков со Степанидой вновь поехали общественным транспортом в травматологичку. Час пробивались к хирургу. Тот самый— голова в завитках, халатик шуршит крахмальный. «Молодой ещё совсем, есть ли опыт-то?»— закралось легковесное сомнение в голову Степана. Врач осмотрел руку, покачал головой: «Тянете время, по проволоке ходите, раскачиваясь. Пятнами рука пошла… Двенадцать тысяч, да анестезиологу, само собой…»

У Степана от этой наглости первое слово в горле застряло: «Сетевой вам звонил?..»— «Мы не позвоночники, мы хирурги. И разговор у нас с вами жизненно важный… А Сетевой лучше бы сумму эту тебе отслюнявил, от него не убудет…»

— А тебе прибудет? Всех благ,—сказал Степан и с жалобным и нетипичным для него колючим лицом, готовым взорваться, заковылял к лестнице…

К концу дня, прослышав о беде, приехал сын Юрка, привёз с собой внучка Валерку. Сын прежде на механическом заводе работал станочником, но начальство завод растащило, обстановка усугубилась до шекспировской. Ушёл работать на автобус к частнице—тоже пусто! Почти всю выручку дневную отдавал владелице маршрута, свояченице опять же какого-то большого начальника. Та ничего не делала, но деньги собирала с каждого водителя. Перешёл в строительную бригаду—в отдалённости ферму возвести задумали. Но тоже давно не платят. С женой ни то, ни сё, можно сказать, по отдельности: она обвиняла его в изменах, он ей пришил какого-то мужичонка.

— Батя, ты не дёргайся—сейчас, единственно, только партия поможет…

— Так её нет уж давно, на риф наскочила. А риф—он и «Титаник» утопит.

— Ошибаешься, батя. Есть такая партия! Помнишь, кто-то вякнул, ну на партийном там балагане? Я сейчас позвоню в их штаб…

Наутро в дверь бодро затрезвонили. Через порог шагнули двое ухмыляющихся парней и девушка в штанах, постыдно обтягивающих её нижнюю половину. В руке одного—коробка. Представились они Карькову не то «нашими», не то «вашими»—не вник. Выслушали хозяина, постоянно требуя говорить короче. Пояснили: вообще-то, мол, это совсем не партийное дело, но и, в то же время, забота о каждом россиянине входит в круг их прямых и косвенных обязанностей и они посодействуют больному уж точно, как по графику. Вручили коробку.

Сверху положили разноцветный лист с портретами: вот здесь, дескать, поименованы наши кандидаты—а выборы через полторы недельки—вы уж, все взрослые и сознательные в трудовой семье, нарисуйте крестик против каждого. Бросили с порога: мол, оперативно разберутся и позвонят дополнительно.

Степан в нетерпении разорвал картонку здоровой правой рукой. На стол вывалились две баночки консервов—«бычки» и «сайра», а также зелёный горошек, лапша в пакетиках и пузырёк шампуня… Тут в дверь тихо и нежданно втиснулся фитиль Филантий, врезавшись головой в бейсболке в верхний косяк. Ухватил взглядом стол:

— Не горюй, Якорёк, Стёпа, открывашка есть? Бычки в томате—это полезно!..

Степанида едва не попёрла базарного гостя прямо от двери, но учла всю накрененность хворой обстановки и, неслышно всхлипнув, скрылась в соседней комнате. Усталая, выжатая болью и страхом предчувствия, бесконечным бдением, прикладыванием компрессов и примочек из глины, овса, тёртого хрена и трав, она становилась безразличной.

— Крысы сухопутные, восьминоги ненасытные…—выругался Степан после второй рюмки. Рука его уже висела на перевязи, как переломленный батон сверхтолстой варёной колбасы. И этот батон, казалось, страшным стволовым обрезом грозил, окружающим его, тем ненасытным тварям.

Сын Юрка пытался утешить отца:

— Они помогут… Вот увидишь… Это люди непростые, батя… Надо только подождать…

Восьмилетний внук Валерка озирался на деда пугливо и печально, как смотрит закоренелый двоечник на свою учительницу, которую за что-то распекает директор школы. Эта учительница не раз его спасала и вот она может уйти насовсем…

Он бы, наверное, мог собрать эту сумму—и семь тысяч, и даже двенадцать, если бы не долги. Ремонт коридорчика сделали, линолеум сменили (как некстати!)—совсем проваливался. Да если бы у Юрки с работой всё было ладно… И занять-то не у кого, и ссуду никакой банк не даст неимущему пенсионеру. Карькову на закате лет как-то сразу не подфартило по нескольким направлениям. Оплата рацпредложений прошла почему-то мимо официального заработка, да и была ничтожной. Как выяснил он после и совершенно по случаю, тот же начальник цеха Сетевой заработал на сметливом кузнеце немалые деньжата. В общем, пенсию назначили—кот наплакал: три с половиной тысчонки. Степаниде того меньше—колхозный стаж—это как лагерный срок, пустота, вакуум, да и только…

На следующее утро, тёплое и светлое, августовское, Степан добрёл до сарая, будто прилипшего подслушивать несуществующие уже шорохи канувшей в Лету обувной фабрики. Присел у верстака и выключился. Видение его посетило: идут босиком по горячей пыли, держась за руки с матерью. Дорога неровная: то вверх, то вниз, то наискосок—просёлок над Доном, вот и всё. Народу кругом много: женщины и дети в основном, как и они сами. Собаки, как волки. Солдаты в чудных пилотках… Это их гонят в лагерь. Мать всё шепчет: «Ты терпи, Степунчик, я сальца кусочек спрятала и хлебушка ломоток, может и спасёт это нас…» Их держали за проволокой в голой степи, под палящим солнцем, под дождём грозовым, без еды, без воды… И тут же он увидел вдруг нечто совсем иное—чиновница спрашивает: есть ли свидетели, которые бы подтвердили, как он был малолетним узником у фашистов, тогда и о пособии можно речь заводить? Этот вопрос настиг его уже после пройденной жизни—да какие очевидцы, коль мама умерла вскорости, коль отец с фронта не вернулся, а сам он, продолжатель рода Карьковых, воспитывался у дяди, затем—в ремеслухе обучали станочному делу… Армия. Флот. Единственное, что удалось—это служба. И чинами не обошла, и уважением, товариществом моряцким обогрела.

Уж много позже повелось это—оформлять пособия узникам ещё той страшной войны. Поехал на те хутора—а там урочище, крапивой наполненное, да одинокий, обгорелый, как труп в исподнем, высохший тополь в свидетелях. А то бы получал хорошо…

Он вздрогнул, видение исчезло. Зато явь обозначилась. К сараю шли Степанида и не покидающий его Филя—ещё не известно, кто кого выше.

— Ты, Стёпа, мужайся и крепись — я ведь с тобой прощаться пришла. Она присела на узенькую скамеечку.
— Все кругом молчат, одна я переживаю да Богу молюсь. Ты меня, Степушка, прости, если что… — И запричитала… — А не запамятовал, Стёпа, как мы этот дом фабричный строили своими руками, квартирку нашу — это ведь мы свою жизнь начинали улаживать?.. И бетон вечерами после работы месили, и кирпичи до надрыва таскали…
— Как же, запамятуешь такое! 427 часов отмантулили. Носилки с кирпичом грохнулись на ногу, едва отхромал… Потому и дом свой, как в родах вымученный… И никакая приватизация не нужна была нам — мы его солёным потом, сердцем выстрадали…
— Успокойся, Степушка, зря я разговор этот затеяла, нам бы о чём другом потолковать…
— Не хорони ты его заживо, Степанида. Судьба ещё весь ресурс не выжгла. Не опережай судьбу-то! А ты что приуныл, Стёпа, Якорёк, бабы они и есть бабы. Мы ещё с тобой посидим на берегу Дона с удочками, грибы пособираем в сосняках… пивка холодненького попьём… А кто нам запретит?.. — он хлопнул себя разлапистым кулаком в худую ребристую грудь, вылитый бочонок с выпуклыми обручами. — У меня и сейчас есть… — уже шёпотом. И добавил грозным рыком, взметнув разом воробьёв с дворовой рябины: — Погоди, мы их всех, кто у нас на препятствии, настигнем. Вот такой я разгневанный!..

Степанида уплелась варить травы. А Карьков вновь как бы в параллельный мир канул, никого не слыша отсюда, с ближней стороны. И вновь волнующая молодая давнишняя иллюстрация. Он на глянцевой мокрой палубе крейсера, ночь, взрывы кругом, штормит где-то по пятому баллу, ухнуло прямо вплотную сбоку и он летит, долго летит, словно альбатрос на планерских крыльях, и падает в бездну пузырей, бурлящей солёной газировки… Какой-то канат, человек, схвативший его за волосы… Так это же из тех дней, когда он на флоте захватил краешком японскую войнушку, семнадцатилетним. Это его с палубы скинуло взрывом.

Он сегодня по закону имеет все фронтовые права. Но нет, ему этих прав не дали… Почему? А получилось вот как…

Перед Степаном возникла, словно в мареве, живая колыхающаяся картинка, причём, довольно радостная — вот уж действительно, жизнь, она как один день, будто вчера это было. Направили их крейсер секретно через Тихий океан в Сан-Франциско. За каким-то грузом. К друзьям, союзникам. Встреча была жаркая, людная, в кинотеатре бурливого портового города. Наши морячки концерт дали большой.

И вот вышел он, старшина второй статьи Стёпа Карьков, на обласканную зрительскими хлопками сцену: с «Яблочка», с русской плясовой, с «Цыганочки» начал, а закончил всякими там заморскими тустепами, да польками. Колесом по сцене на вытянутых руках катался. На животе, на медной пряжке с якорем, выкручивал крендели. Американцы голоса сорвали, ладоши отшибили, приветствуя необычного низкорослого моряка из снежной, воюющей страны Советов, одна американка даже замуж просилась… Словом, сбацал как мог, заокеанскую державу поставил на колени, если хотите, при всём её умилении и неподдельном восхищении…

Когда вернулись, думали — по медали всем выдадут. Лично он преподнёс, как умел, русское искусство! Нет. Ему сказали после возвращения, чтобы забыл о том концерте и дали бумажку расписаться, якобы он, как и остальные его «подельники-артисты», вообще никогда не присутствовал во фронтовой зоне. А так бы пенсия сегодня была фронтовая…

Кажется, он очухался. Он даже задал вопрос Филантию:
— А что бы ты сделал, если б тебе дали миллион?..

Филя растерялся и зачем-то поддёрнул ходульные штаны.
— Дак… Кто ж мне его даст… Уж погулял бы… и тебя не забыл бы, Якорёк. Не веришь?..
— Верю… Но это мечта млекопитающего. Ты и так не просыхаешь… А на что-то высокое не способен. Пень пнём!
— А Сетевой, стало быть, по уму распорядился бы миллионом? А твой хирург тоже шибко умный?..
— Не в этом дело, Филя. Жизнь у всех одна и она, как один день. Не успеешь оглянуться и деньги ни к лешему. Главное всё же в том — что ты сделал, кого родил, кого и насколько поддержал… А всё остальное — пустое, грех безбожника… Ведь живём-то совсем в ином мире, не пасут нас завоеватели со зверским собачьем на поводках… Радоваться бы, светлеть душой… Чего не хватает-то нам?! Простор на тыщи километров, сплошное несметное сокровище! — едва не сорвался на бесполезный крик Карьков. — Справедливости, честности разве что не стало… Ни любви, ни сострадания у нас друг к другу… Почему?.. Потому что мы все вдруг оказались больными? У нас у всех ампутировали совесть, необходимый голос совести внутри каждого сразу и пропал, искалечили нас безвозвратно, всех поголовно сокрушили деньги, бумажки постыдные?.. И ведь получились из нас уже не люди, а крысы!..
— Вот и я об этом, — оживился Филя. — Ты успокойся, Стёпа, Якорёк. Передушим мы этих крыс — не пикнут. Ведь не все ещё пока… А пока… Не послать ли нам гонца?..

Карьков проснулся в половине пятого утра и обнаружил на глазах крупные слёзы — во сне плакал. Руки словно бы и не было, как-то вся онемела, отнялась, словно лишняя. Зато давило под сердцем. Дыхание совсем спирало. И это впервые.
— Что ты, Степушка? Не спится? Рука болит?..

Он не ответил. Вдруг потерял сознание, как провалился в океан.

Днём чуть-чуть отпустило. Сидел на диване. Все, как и он, ждали телефонного звонка. Хоть бы от партии, хоть бы от самого дьявола. Но телефон словно контузило. Опять пришёл худющий, чистое удилище, Филя. Не пустой. Но Степан наотрез отказался. Тогда гость ударился в рассуждения, стал вспоминать вчерашние дворовые

встречи, разговоры и тем самым только подсыпал соли на страшную рану Якорька.
— Вчерась во дворе у нас был праздник. Ну не совсем… На пенсион спровадили мужика. Чиновника. Где-то возле депутатов ошивался. Знаешь, Стёпа, сколько ему заплатили на прощание?
— ???
— То-то же. Сорок окладов! Мать честная… Оказывается, так положено.
— Не бреши, верста коломенская. Этого не может быть… Этак нам и России не хватит, всю раздадим по начальству… Веришь всяким…
— Вот-те крест. Чтоб мне на базаре фарту не видать… А знаешь, какую пенсию назначили? Двадцать восемь тыщ-щ!..
— На весь год, что ли?
— Ты чего, Якорёк, воды морской хлебнул во сне?.. Это ему, как тебе три с полтиной — понял?.. Расслоением это называется, вчера мне так один грамотей раскумекал.
— Стало быть, пора умирать… Мы с тобой никто… Мы с тобой потерпели крушение и мачта наша общая хрупнула, как спичка… И первыми, как всегда, с нашего, построенного нами, корабля, бегут крысы — на этот раз, прихватив всё, что пожирнее… — Карьков сжал губы до мертвенной неодушевлённой полоски. — Плесни что ли, длинный, всех благ тебе… А мы, дураки, всё какого-то звонка ждём. Зачем? Что он нам даст? От чего спасёт? Юра, сынок, ты ведь на гармошке играл смолоду-то — поди, возьми у соседа напротив, да сыграй мне что-нибудь занозистое, привычное, чтоб кровь взбурлило…

Юрка принёс тульскую хромку, скользнул по пуговкам, расслабляя пальцы, легко, на ощупь, взял пару аккордов и пошёл наяривать колено за коленом…

Но уже и ноги, былые чуткие ноги отца, не реагировали на бодрые, мажорные призывы, как бы спали. Внутри у него нарастала тяжесть глухой обиды, к горлу чугунным шаром подкатило чувство кем-то бессовестно обманутого, грубо униженного глупого человечка.

Он больше не мог сопротивляться набирающему силу недугу. Да и к чему теперь это превозмогание?..

Глаза Карькова подёрнула одна сплошная, большая и плоская слеза. Ему ещё хотелось что-то из собственной жизни вытянуть… Он как бы желал нечто важное заявить, но золотая фикса вспыхнула лишь на кратчайшую долю случайного и неуверенного видения…

Мы и Чехов

150 лет
со дня рождения А. П. Чехова

…уже взрослым, сложившимся литератором Чехов писал к Щеглову: «Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание — с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своём детстве, оно представляется мне довольно мрачным. Религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два моих брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям; мы же это время чувствовали себя маленькими каторжниками». Оппозиция довольно любопытная — высокое и низкое. Вывод из этого Чехов сделал своеобразный: высокое — это плохо, а низкое — хорошо. И вот отсюда чеховское отношение к жизни: любовь, интеллигентность и проч. — это отвратительно, скучно, глупо, напыщенно и неправда. А вот простая жизнь с её сифилисом и прочей грязью — это хорошо. В общем, пошляк-с. Кстати, ещё один пример, из которого ясно — со своим первым воспоминанием надо обращаться бережно, надо его понимать, прислушиваться, принимать во внимание.

Айдар Хусаинов,
поэт, публицист (Уфа)

…преподаю историю журналистики в Казанском Госуниверситете. И вот каждый раз жду и боюсь лекции о Чехове, об «Острове Сахалин». Это пример того, что может журналистика, что может писательство. Чехов для меня учитель нравственности, неравнодушия… Каждый раз хочется как-то так рассказать о нём студентам, чтобы и они примеривали на себя, задумывались бы о себе в профессии, а ради чего они туда идут? Бывает ли сейчас достойная журналистика? Для кого готовят вузы журналистов? Для людей, общества или же для работодателей, для рынка? Нам внушают последнее, и тогда журналист может пойти на разные мерзости… а вот ведь Суворин, издатель «Нового времени», работодатель и приятель Чехова, очень сомневался в необходимости его поездки на Сахалин…

Айрат Бик-Булатов,
поэт (Казань)

…это писатель, около не слишком выразительного памятника которому собираются остро нуждающиеся в субкультурном самоопределении юные красноярцы. Собираются и ведут себя неподобающе ◡̈ А если вспомнить о том, что он ещё и доктор, то, безусловно, — диагност, может быть, даже где-то доктор Хаус своего времени.

Артём Кишкурин,
филолог (Красноярск)

Александр Матвеичев

В первый и последний…

Мне пятнадцать с половиной лет. Июль… Недавно я приехал на летние каникулы в райцентр, село Новое Чурилино, из суворовского училища. Валяюсь в сенях на жёсткой железной койке поверх одеяла, по мне ползают мухи, и сквозь сон слышу: моя мама разговаривает с кем-то. И я уже догадываюсь — с кем. Это Соня, Соня Асатова,— девочка, которая иногда берёт у нас молоко. Моя старшая сестра — директриса здешней десятилетки — расхваливала Соню ещё в мой приезд на зимние каникулы, в рождественские морозы, когда корова была стельной и не давала молока. Поэтому, может быть, Соня и не появлялась при мне в нашем доме. А сегодня утром мама известила меня с неким прозрачным лукавством, что вот, мол, придёт за молоком хорошая девочка, хозяйственная, сирота — мать у неё года два назад от чахотки умерла совсем молодая,— и сейчас Соня нянчится с пацаном от мачехи. А мачеха шадривая — всё лицо обезображено оспой — и злая…

И ещё, что я Соне очень понравился по фотографии. Это чем-то походило на сказку о Золушке и прекрасном принце…

Наверно, не моё лицо ей понравилось, думаю я, а моя форма — погоны, лампасы, фуражка. Сорок восьмой год, всего четвёртое лето, как нет войны, и от любой военной формы всё ещё пахнет порохом, дорогой, пылью и туманом. И самая модная песня — о друзьях-однополчанах. А суворовцы — самые популярные пацаны в Казани. Все девчонки из женских школ города мечтают быть приглашёнными на воскресные или праздничные самодеятельные концерты и балы, изредка устраиваемые в актовом зале нашего училища. И мы ходим на школьные вечера на танцы, и ревнивые и завистливые шпаки иногда затевают с суриками — кому-то из шпаков пришло на ум приклеить к суворовцам этот ярлык — драки, не выдерживая честной мужской конкуренции с обмундированными в броскую форму кадетами…

Солнечное пятно падает на бревенчатую стену из маленького окошка над кроватью, мама то и дело шикает на куриц, пытающихся прорваться со двора в сени,— они отлетают в сторону, хлопая крыльями, недовольно бормочут что-то. К недовольному квохтанью куриц примешиваются крики и визг моих племянниц — пятилетней Светки и трёхгодовалой Гельки. Они носятся где-то по двору и постоянно ссорятся по мелочам. Вчера Светка нечаянно наступила на цыплёнка, и он, бедный, с минуту на глазах перепуганной матери-наседки и своих братьев и сестёр с пронзительным предсмертным писком высоко подпрыгивал по двору, а из его головки тоненьким фонтанчиком брызгала и в солнечном свете рассыпалась на мелкие брызги кровь.

Они сидят рядом, мама и Соня, на ступеньке перед открытой сенной дверью спиной ко мне. Но я на всякий случай притворяюсь спящим и смотрю на них через полуопущенные веки и нарочно дышу глубоко и ровно. Две длинных матовых косы лежат спокойно у Сони на спине поверх белой кофточки, и голос у неё тихий и добрый, с едва заметным пришепётыванием. Чувствуется, что она говорит и улыбается. И мама с ней беседует ласково, как с больной,— мама жалливая, она со всеми одинаково добрая, терпеливая, никогда сама не плачется, зато другим сочувствует по любому поводу. Иногда неудобно за неё, хочется, чтобы она была посуровей, что ли… Да что с ней поделаешь? Её и война не изменила. А смерть моего брата Кирилла — от осколка мины в затылок под городом Орлом — сделала только печальней и добрее.

«На всё воля Божья, сынок»,— успокаивает она меня, когда я начинаю вредничать и роптать на жизнь. Суворовское совсем отбило меня от дома, от маминой чуткости и заботы. Её желание приласкать и угодить кажутся посягательством на мою мужскую самостоятельность. И я, бессмысленно отстаивая право на внутреннюю свободу, порой огрызаюсь, как попавший в зоопарк волчонок. А теперь, уже седой, про себя каюсь и прошу у покойной мамы прощения за причинённую ей боль на протяжении всей моей извилисто-порожистой жизни…

Наконец надоедает лежать и слушать неинтересный разговор о том, как надо убаюкивать ребёнка, готовить перемячи из баранины, а из топлёного молока — кислый катык, солить помидоры, огурцы и капусту, и я заявляю о себе притворно громким зевком. И вижу, как ко мне живо поворачивается голова Сони — лицом, круглым и лимонно-смуглым, светящимся, как подсолнух. У неё узкие, совсем узкие глаза и полуоткрытые алые, красиво очерченные губы. В общем-то, ничего хорошего, уверяю я себя. Конечно, её не сравнишь с казанской кудрявой, кареглазой и капризно-озорной Таней Осиповой. Её одну — сомнений быть не может — я страстно и безнадёжно люблю вот уже полтора года. И эта любовь — на всю жизнь.

Я сажусь на постели. Меня не смущает, что я в одних казённых сатиновых трусах. Зато я загорелый, упитанный, хорошо тренирован в суворовском училище — под тонкой кожей переливаются

упругие желваки мышц,—таким, по крайней мере, я себе представляюсь. В деревне тоже стремлюсь не потерять форму: по утрам бегаю по периметру сада вдоль прясел ограды. Делаю армейскую зарядку. Раз десять за день подтягиваюсь на притолоке сенечной двери. И, к маминому ужасу, следуя примеру генералиссимуса Суворова, обливаюсь ледяной водой прямо из колодца. Среди здешних ребят утвердил свой авторитет тем, что показал несколько упражнений на турнике, брусьях и канате в школьном спортгородке. И ещё больше, когда прыгнул вниз головой в воду и вынырнул у противоположного берега пруда и продемонстрировал пару спортивных стилей плавания—брассом и кролем…

К моему удовольствию, Соня ростом оказалась мне до бровей—невысокая такая, крепко сложенная девочка. Мы стоим друг против друга, улыбаемся, и у меня возникает чувство, что я давным-давно знаю её. Точно!—она напоминает мне Риммку Хасанову—я учился с ней в Мамадыше ещё до суворовского в третьем и четвёртом классах. И был несказанно и безответно в неё влюблён. Потом, когда я уплыл по Вятке, Каме и Волге на белом пароходе «Чувашреспублика» и поступил в суворовское училище, Римма первой написала мне, но было поздно: моя страсть к ней угасла под напором новых впечатлений. А неуловимое сходство между Риммой и Соней есть… Только Римма была веснушчатой, а у Сони лицо чистое и свежее, будто и в сенях его освещает солнце.

—Вы, ребятишки, поговорите, мне обед надо готовить, скоро с работы придут,—говорит мама, гладит нас своими синими глазами и лучистой улыбкой и уходит в дом.

С Таней мне всегда трудно, не знаю, о чём говорить, и чувствую себя дураком. А с Соней разговор сразу складывается просто, безо всяких усилий. Мы садимся рядом на тёплую ступеньку на выходе из сеней—ту же самую, где минутой раньше сидели мама и Соня. Оба смотрим в распахнутую дверь, щурясь на солнце, как роются в земле у серого тесового забора куры и командует ими воинственный красный петух. И болтаем о разном. Она—о школе, о моей строгой и справедливой сестре—она преподаёт в Сонином классе историю. А я хвастаюсь своим училищем. Какой у нас распорядок дня. Как нас гоняют в военном лагере. О парадах, культпоходах в театры и цирк. Попутно и о разных случаях из моей четырёхлетней военной биографии. В пределах дозволенного, конечно. Ровно столько, чтобы не сболтнуть лишнего и не разгласить военную тайну: болтун—находка для шпиона!.. А сам не могу сдержать себя и часто взглядываю на девочку—на её внимательное, обращённое ко мне лицо. Вижу полные, без единой морщинки, губы, влажные ровные белые зубы, её узкие серые глаза. И она мне уже кажется красивой.

Пахнет тёплой землёй, картофельной ботвой с огородов. А пуще всего—сеном, потому что всё село сейчас озабочено сенокосом. Сеном забиты сеновалы, сено сушится на лужайках у дворов. Копны сена, похожие на казацкие шапки, ставятся в огородах и даже на местном запущенном кладбище… Но от Сони пахнет не сеном, а приворотной травой, известной по сказкам. Или чем-то другим, нежным и волнующим, чему я не знаю названия.

—Мы первый год здесь живём,—говорит Соня.—До этого жили в Масре, на разъезде, в шести километрах отсюда. Там я в татарской школе училась, а здесь—в русской.

Хотелось спросить у неё, как тогда она так хорошо научилась говорить по-русски—никакого акцента,—но не захотел перебивать.

—Папа в Масре был председателем сельсовета. Его на фронте ранили много раз. На нём живого места нет, у него всё-всё болит. Его сюда в райисполком перевели, ближе к райбольнице, но работы ещё больше стало. Вечером приходит—и сразу падает и стонет: у него нога осколками раздроблена… А мачеха начинает ругаться: «Я тоже на машинке весь день стучу, тоже хочу отдохнуть. А ты развалился, как боров!». Она в райкоме машинисткой… Мне папу жалко, я стараюсь всё сама по дому делать. Даже пилить дрова одна научилась. И колю тоже сама… Я сильная, вот потрогайте.

Она сгибает руку и доверчиво смотрит на меня своими узкими смелыми глазами. Я осторожно, словно боясь обжечься, скольжу ладонью по её предплечью, чтобы смять рукав кофточки к плечу, и двумя пальцами сжимаю то место, где находится двуглавая мышца—бицепс.

Острое тепло доходит от кончиков пальцев, кажется, до самого сердца. Быстро, боясь быть уличённым в чём-то постыдном, охальном, я одёргиваю руку и говорю:

—Да, чувствуется!.. Я тоже каждый день дрова колю, до конца отпуска на всю зиму заготовлю. Только пилим мы вдвоём с мамой—у одного у меня не получается. Наверно, у пилы развод плохой… Давайте, вам помогу с дровами, делать всё равно нечего.

—Нет, что вы!—отмахивается она. Я уже заметил—пальцы у неё короткие и ладонь шершавая.—А когда вы в Казань уезжаете?

—К первому августа. У нас каждый год—один месяц лагерей. В палатках, на нарах—в нашем парке. Каждый день строевая подготовка и спорт: бег, прыжки в высоту, длину, гимнастика, футбол, баскетбол… Плаванье сдаём на ГТО на Казанке или на озере Кабан—там мы с вышки в воду прыгаем. А иногда целый день тактикой мучают—окопы копай, бегай, ура кричи… В увольнение отпускают только в субботу после обеда и в воскресенье после завтрака до восьми вечера. Если, конечно, тебя за что-нибудь не лишат и туалет чистить не заставят. Или в наряд на кухню не пошлют.

—Эх, жалко, я не мальчишка! Почему для девочек нет суворовских?

—До революции в нашем здании был институт благородных девиц. В нём Вера Фигнер училась, народоволка,—по истории помните? Вам бы туда больше подошло… Вы подождите, я оденусь, и мы в сад сходим!—вскакиваю я на ноги.

Мне уже не хочется расставаться с Соней. Моя элегическая грусть о Тане, постоянное ожидание

писем от неё не забылись, но как бы ушли на время в тень, за кулисы.

— Нет, не могу,— почти с испугом отказалась Соня.— Я попросила подругу мою, Нину Величко, посидеть с Ринаткой, пока он спит. Надо скорей молоко нести, кипятить, Ринатку поить. Он из бутылочки через соску сосёт. У матери молока почти сразу не стало — мастит был,— и он ко мне больше, чем к ней, привык. И аный — мамой — меня называет. Мачехе это не нравится — ревнует и на меня кричит.

— А в кино вы не пойдёте?

— Пойду. Вечерами меня отпускают, я за вами зайду, ладно?

Жизнь сразу обретает иной смысл.

Я мечусь по дому, не нахожу себе места и бегу во двор колоть дрова. Не просто колоть, как раньше, а тренироваться: перед Соней нельзя будет опозориться, долбить по одному месту колуном по несколько раз. А надо вот так, вот так!.. Берёзовые поленья трескаются, разлетаются, белые и словно живые на сколе. И запах от них — свежий, здоровый, и от этого просторно, необъятно становится в груди.

Наш белолобый телёнок с полчаса смотрит на меня с изумлением из-под навеса большими влажными глазами и механически жуёт свою жвачку.

На неподатливые сучковатые пни у меня тоже есть управа — клин и деревянная колотушка,— я бью колотушкой по макушке клина, забитого в толстый чурбак, от души, и мне всё время кажется, что за спиной стоит Соня и загадочно улыбается.

Потом я моюсь под звонким умывальником во дворе; вода в нём нагрелась на солнце, но всё равно приятно холодит тело. Я растираю свои руки полотенцем и воображаю, что мышцы на руках и груди сделались толще и плотнее.

Мне хочется быть сильным, очень сильным — какой ты военный без силы и выносливости?.. Но и умным мне хочется стать: сражения выигрываются теми, кто умнее. А я — будущий генерал, полководец, так мне внушают воспитатели. Это в деревне я блистаю, среди же своих ребят второго отделения третьей роты я выгляжу серо. И если бы не хорошая учёба, авторитет мой давно бы испарился… Правда, плаваю хорошо, дальше всех ныряю и дольше всех могу находиться под водой. Уже овладел кролем и брассом и хочу научиться плавать баттерфляем. Капитан Соколов, наш преподаватель по физо, сказал как-то, что у меня фигура пловца, а у пловцов самая красивая фигура. У пловцов нет грубо выпирающих мышечных узлов, их тело эластично и гладко, они выносливы и умеют расслабляться. Давнишняя подруга сестры, увидев меня голым по пояс, закричала: «Глянь, Наташа, а у братца твоего груди, как у девченки!.». Я посчитал глупым поправлять её и выпендриваться, что такая грудь у всех пловцов,— она всё равно ничего бы не поняла. Груди и грудные мышцы — всё же не одно и то же…

Потом я сажусь у открытого окна, за горшками с геранью, вдовушкой, алоэ и пытаюсь читать. Из этого ничего не получается. Я весь уже не здесь, я жду вечера, сквозь страницу проступает Сонино лицо. Вспоминаю её голос, жесты, как она слушает, не смыкая сочные губы. И злюсь на себя: я должен думать о Тане, я люблю только её!.. Но тут же забываю об этом и снова представляю Соню. До клуба идти далеко, будет ещё светло, все бабки в это время сидят на лавочках — они будут смолкать при нашем приближении. А когда мы пройдём, зашамкают нам вслед. И в клубе на нас все уставятся, и завтра будет, о чём поговорить с деревенскими ребятами! Внимание к моей персоне мне нравится. Я люблю удивлять, чем-то выделяться. Не даром в суворовском Жорка Сазонов присвоил мне обидное прозвище — Индюк…

Гонят с пастбища стадо коров, над дорогой поднимается серое облако тёплой пыли, пронизанное лучами заходящего солнца, слышится густое мычание, щёлканье пастушьего кнута, крики женщин и ребят. Я прикрываю окно, натягиваю старые брюки моего зятя и майку и выбегаю на улицу. Нашу корову нельзя прозевать. Бывает, она уходит к железной дороге. Мама рассказывала, как однажды её едва не зарезало поездом.

Потускневшее солнце опустилось совсем низко над крытыми соломой и замшелым тёсом избами, а небо чистое, атласно-жёлтое на западе и голубое над головой. Стучат копыта, слышится усталое мычание и фырканье, где-то по ту сторону стада хлопает кнутом пастух. Наша чёрная корова с обломанным рогом увидела меня, покосилась и медленно, оттолкнув мордой пёстрого подтёлка, направилась к открытым воротам…

Мама подоила корову, и я ем на кухне холодную картошку с чёрным хлебом и запиваю парным молоком. И в это время в дом врывается Петька Милёшин, чёрный, как погалешек, нервный и подвижный. А следом за ним — сын школьной уборщицы, Юрка Иванов. Этот, напротив, абсолютный альбинос с льняными волосами, розовый от солнца, медлительный и добродушный. Все деревенские зовут его просто — Сивый. У обоих ребят отцы погибли на фронте, и они, как и все школьники, начиная с весны, наравне со взрослыми работают в колхозе. И ничего за это не получают, кроме бесплатного семилетнего образования. Начиная с восьмого класса, родители уже должны сколько-то платить. И поэтому, и просто потому, что надо самим зарабатывать на скудную кормёжку, большинство детей после седьмого класса бросают школу. Идут работать в колхозе. Более смелые подростки и девчонки уезжают в город — в ремесленные училища, чтобы в пятнадцать лет взять в руки инструмент или встать у станка. И на всю жизнь стать рабочим — маляром, столяром, токарем, слесарем…

— Ты чой-то сидишь? — требовательно кричит Петька. Он единственный, кому наплевать на то, что я суворовец и брат директорши школы. Он сам в авторитете и самой природой создан командовать.— В ночное, что, забыл?

Чёрт, как я мог забыть?! Я уже дважды съездил в ночное, успел на скаку свалиться с лошади в пшеницу, и лучше ночного трудно что-то придумать. Спутанные лошади бродят по лугу под луной, а мы сидим у костра, жуём печёную картошку.

А конюх, дядя Ваня, курит козью ножку и рассказывает о фронте и о смешных и чудных обычаях в отвоёванных им у фашистов странах.

— Ну, чо ты? — говорит Юрка Сивый. — Жуй да айда на конюшню! Лошадь тебе сёдня смирную дадим — не бойся!

Я уже не могу ни пить, ни есть — мне хочется с ребятами, но и с Соней я не могу не встретиться.

— Сегодня занят, простите, — говорю я. — В другой раз. Завтра или когда?

Петька смотрит на меня яростно синими выпученными глазами, и по его чёрной окрысившейся физиономии видно, как он хочет обругать меня, но рядом мама. И Сивый рассердился, отвернулся и моргает своими короткими и острыми, как из стекловаты, седыми ресницами. Мама наливает им по стакану парного молока, и они молча уходят, оба босые, в заплатанных на локтях рубахах. Я дорожу их дружбой. Я вообще больше всего люблю друзей. И не очень переживаю. Завтра поеду с ними на сенокос. А когда будет дождливый день и нельзя будет выходить в поле, мы, как всегда, соберёмся в полутёмной бане Коськи Серьгина, похожей на избушку бабы-яги, и будем играть в «дурака», изредка поглядывая в окошечко на пруд, вспухающий от дождя, и старые ивы, моющие косы на ветру в серой воде.

А пока я готовлюсь к свиданию с Соней. На шестке русской печки накладываю древесных углей в тяжёлый чугунный утюг, поджигаю угли при помощи клочка из газеты «Правда», выхожу с утюгом на крыльцо и раскачиваю утюг до тех пор, пока из-под крышки и узких щёлок поверх дна не начинают сыпаться белые искры. Ржавый утюг оживает, раскаляется и разносит по двору чистый запах берёзового дымка — как там, в ночном, у костра.

В суворовском мы чаще всего гладим брюки холодным способом: мочим стрелки, кладём брюки под простыню и ложимся на сырое — Рахметов и на гвоздях спал. Брюки преют всю ночь, и к утру всё в порядке… Бывает, конечно, — дежурный сержант будит тебя и заставляет положить брюки на место — на табуретку. Ты бормочешь со сна «слушаюсь» и, сонно покачиваясь у кровати, неохотно выполняешь приказ. А после ухода сержанта снова аккуратненько укладываешь брюки на матрац под своё горячее кадетское тело…

Дома другое дело. Дома под рукой всегда утюг, никакой очереди, как в суворовском, где на всю третью роту, на восемьдесят шесть человек, всего два утюга. Да и то, если один из них чудом достался тебе, то надо бежать с ним на училищную кухню и клянчить у поваров нагрести углей в утюг из печки…

Зато здесь, дома, ты неторопливо раскладываешь брюки на столе, застеленном старым байковым одеялом, прыскаешь изо рта на них водой. Брызги надолго повисают в воздухе, и вода течёт у тебя по подбородку. Потом накрываешь брюки белой тряпкой, и тёплый пар идёт из-под утюга, когда ты, краснея от натуги, начинаешь водить им, заботясь о том, чтобы особый нажим приходился на стрелки.

Таких стрелок на моих брюках, как сегодня, отродясь не было. Я одеваю их осторожно, ещё горячими, пристёгиваю подтяжки, обуваюсь и любуюсь лампасами — они алыми струями стекают к начищенным ботинкам. Затем неторопливо накидываю на себя китель с золотыми галунами на стоячем воротнике, алыми погонами и шестью золотыми пуговицами. Китель положено носить с ремнём, но в отпуске считается особым шиком ходить в нём без ремня, и я им, конечно, не подпоясываюсь. В селе, слава Богу, нет военных патрулей, и ко мне никто не придерётся за нарушение формы одежды. Даже здешний райвоенком, майор, по-видимому, не знает, что к нашему кителю предписывается ремень: я несколько раз встречал его на улице, переходя на строевой шаг и отдавая ему честь. Он вежливо козырял мне в ответ, улыбался и останавливал для светского, не служебного, разговора. Но главное — это чёрная фуражка с малиновым околышем — без неё никак нельзя. Нас до выпускного класса стригут «под ноль», за отпуск волосы отрастают на каких-нибудь полтора сантиметра и смотреть на свою оболваненную голову в зеркало, когда на ней нет фуражки, — многолетняя мука. О чём я мечтаю — так это о волосах, а до них ещё целых два года!.. И ещё бы я хотел быть брюнетом, иметь жгучие чёрные глаза, тонкие решительные губы, впалые щёки, тонкий нос — всё противоположное тому, что есть у меня.

Уже одетым я захожу в спальню и достаю из-под подушки зятя вальтер, тяжёлый воронёный пистолет с выбитым на затворе орлом, держащим в когтях свастику. В наступающих сумерках он выглядит особенно грозным и опасным. Но в суворовском нас учат владеть оружием, и я умею разбирать наган, пистолет ТТ, карабин и автомат ППШ. И вальтер уже разбираю и собираю по косточкам. Поэтому я привычно выдёргиваю из рукоятки обойму, набитую толстыми, из красной меди, девятимиллиметровыми патронами, передёргиваю с сухим лязгом затвор — патрона в стволе нет — и целюсь в окно, в склонённую шапку подсолнуха. Главное, чтобы не дрожала рука и мушка находилась в прорези прицела точно по середине, а её верхушка была на одной линии с верхней кромкой прицела, и воображаемая линия проходила от глаза через прицел к выбранной цели.

Мой зять, дядя Ахмет, — первый секретарь райкома, поэтому ему выдали два трофейных пистолета. С вальтером под подушкой он спит, а пистолет поменьше — польский браунинг — постоянно носит при себе — в кармане галифе или в портфеле. Я в прошлые годы часто ездил с ним на заднем сидении «газика» в качестве, как он сам представлял меня председателям колхозов, его личного адъютанта по деревнями Чурилинского района. И дядя Ахмет мне пояснил, почему он не расстаётся с оружием. В деревнях осталось много родственников раскулаченных ещё до войны и высланных недавно в Сибирь крестьян за неуплату налогов и нежелание работать в колхозе. Некоторые фронтовики вернулись домой с оружием — с парабеллумами, вальтерами, лимонками. А оружие рано или поздно даже само раз в год стреляет.

Высланные в Сибирь иногда тайком возвращаются в родные места и начинают мстить властям. В лесах до сих пор, хотя им и была объявлена амнистия, скрываются дезертиры — поэтому надо быть настороже… А сестра сказала ещё яснее: дяде Ахмету уже не раз угрожали, и прошлой осенью, ночью, пытались поджечь их дом. Хорошо, у моей мамы бессонница, она услыхала за стеной подозрительное шуршание и осторожные шаги, толкнула зятя под бок. Он выскочил в кальсонах на крыльцо с вальтером и стал палить в воздух. Потом позвонил в милицию, но там даже машины нет — всего две лошади и один тарантас. Пока запрягали, злоумышленники ускакали на конях верхами, оставив под стеной дома несколько охапок соломы и четверть с керосином. В тот же день приехали из Казани чекисты, кого-то арестовали, кого-то выслали неизвестно куда, и сейчас пока в районе спокойно…

И здесь я слышу, как меня зовёт мама. Я нажимаю на спусковой крючок, вставляю в рукоятку обойму, ставлю пистолет на предохранитель, аккуратно кладу вальтер на прежнее место и поправляю тюлевую накидку на подушке. Сердце у меня начинает бешено колотиться — не потому, что я испугался. Мама уже несколько раз заставала меня с пистолетом и мягко просила не баловаться с опасной игрушкой. Сердце затрепыхалось потому, что я услыхал стук двери и голос Сони.

Но радость от её прихода как-то гаснет, во мне исчезает прежняя уверенность, я так и не придумал, как вести себя дальше. Мгновение я смотрю в окно на стену соседнего дома, на печальную берёзу у забора, глубоко вздыхаю, как перед прыжком в воду, и быстро иду к выходу. А Сони уже нет в доме — она во дворе. Я вижу её в светлом проёме сенной двери, как в раме, одетую в серенькое платье с поясом и белые туфли с лаковым ремешком. Острые холмики волнующе приподнимают материю на её груди. Мне становится неловко за своё гусарское великолепие. Зато она не скрывает своего восхищения, осматривает меня, как диковинный экспонат или манекена в витрине универмага:

— Вот это да! Я в первый раз вижу суворовца в форме. Вас я видела позавчера издалека, в окно, — вы к Серьгинам заходили, а мы напротив их живём. Но вы не в форме тогда были.

Коська — мой самый первый друг здесь. Когда дядю Ахмета из Казани, из обкома, сюда послали работать два года назад, и этот дом ещё строился, он у них на квартире жил. И я с ним. Был июль, я находился на каникулах, и он привёз меня на машине из Казани с собой. Коська у них ничего, только нервный — раза два чуть с ним не подрались. Он не любит в карты проигрывать.

У тёти Фени был ещё и Санька, восьмилетний краснощёкий пацан, неимоверный шкодник. Мать от него всё съестное прятала. И бабушка, мать убитого на фронте отца мальчишек, зорко следила за ним. Только Санька всё находил, наверное, по запаху. И пожирал в одиночку.

Кормить семью было нечем. Даже молоко, надоенное от коровы, тётя Феня по утрам относила на сепаратор как налог за голову личного рогатого скота. Запомнилось, как к Серьгиным постучался в ворота строгий худой мужик с портфелем и предупредил тётю Феню, что если она не выплатит денежный налог и не сдаст положенное количество масла, её имущество опишут, корову и бычка заберут в пользу государства и, может, даже вышлют.

Тётя Феня вывернулась — купила масло в соседнем районе, в Сабах: там оно было дешевле… А может, чем-то мой зять помог — хозяин района, как он себя именовал, выпив неизменную воскресную бутылку водки. Во всяком случае, прошло два года, и тётя Феня, её сыновья и бабушка продолжали жить в Новом Чурилино.

— Знаете, а Коську в школе Сопливым обзывают. Я с ним в одном классе училась, он еле-еле седьмой в этом году закончил. А дальше учиться всё равно бы не смог — работать будет, матери помогать… Вы заметили, у него под носом никогда не просыхает — и от этого пятно красное не проходит?

Я сам редко мог дышать носом, но засмеялся вместе с ней, и наши взгляды встретились. И я удивился, какие у неё большие зрачки — можно в них утонуть. А влажная полоска зубов, блеснувшая в щёлке между нежными лепестками губ, влекла своей запретной тайной.

— Времени много, — преодолевая в себе неведомо откуда возникшую силу притяжения к её приоткрытым губам, говорю я. — Билетов может не достаться.

— Вы что, не знаете ещё? Кино отменили. Я сейчас у магазина видела Половинкина — пьяный и матерится. Кричит, что у него опять электродвижок сломался, а запчастей ему не дают.

Киномеханик Половинкин — иначе как Половинкиным этого долговязого, басовитого парня в селе не зовут — был развязен, часто напивался и имел некоторые странности. Недавно он, например, сделал себе шестимесячную завивку. Когда он выходит на волейбольную площадку на лужайке возле клуба, все бабы и девушки разбегаются врассыпную. Каждый удар или промах Половинкин комментирует смачным, от души, матом.

В районе Половинкин самый известный и важный человек. В деревнях взрослые и дети встречают не частое появление его кинопередвижки всенародным ликованием. И он хвастается, что в каждой деревне у него есть с кем выпить и с кем переспать. Война наплодила молодых вдов, и у него после вечернего сеанса начинается самая трудная работа… Эту «работу» он называет конкретным похабным именем.

— Пойдёмте в наш сад тогда, — неуверенно говорю я.

Соня молча кивает головой с ровным белым пробором, убегающим от середины невысокого лба к затылку. От неё слегка пахнет духами — сиренью или резедой, волнующе и призывно. И опять мне кажется, что и сейчас, в наступающих сумерках, лицо у неё освещено солнцем.

Через калитку в сплошном досчатом заборе выходим со двора в сад. Это скорее бывший сад, половину которого теперь занимает цветущий белыми и сиреневыми цветочками картофель. А от былого сада остались только густая полоса

зарослей черёмухи, отделяющая наш огород от соседнего. Росло ещё несколько высоких кустов калины и вишни вдоль изгороди из ольховых жердей да по центру—три-четыре клумбы крыжовника и смородины. В сорок первом, в студёную зиму, по словам зятя, добрая половина сада вымерзла. А вторую его прежний хозяин вырубил, чтобы не платить налоги за каждое плодовое дерево. Потом и дом на этой усадьбе сгорел, а куда девались погорельцы—толком никто не знает. На пепелище построили пятистенку для семьи первого секретаря райкома. На месте яблонь в загубленном саду торчат короткие чёрные пни, и от них, от самых корней, брызнули вверх упругие бесплодные ветви с крупными сочными листьями.

Купол неба высок и светел, а в саду—густые тени. Верхушки деревьев и трава, нагретые за день, отдают своё тепло вечеру и кажутся овеянными подвижным белесым туманом.

Мы ходим по мягкой густой траве и говорим, говорим. Нам никто не мешает. Слышно, как иногда у колодцев в соседних огородах гремит стальная цепь; представляется, как помятая жестяная бадья со звоном летит в тёмную глубину, задевая краями замшелый сруб, шлёпается дном по густой воде, и потом долго скрипит не смазанный ворот. И совсем далеко, у больницы, как всегда, кричат перед сном галки, собравшиеся на тополях в гомонливые стаи на вечернее заседание.

Соня рассказывает о себе—она хочет стать школьной учительницей, как моя сестра Наташа, ставшая для неё жизненным примером. О своём классе, самом лучшем по успеваемости и самом плохом по дисциплине. И очень подробно—о своей лучшей подружке, Нине Величко. Они друг с другом всем делятся—всем, всем. И Нина такая смешная, бойкая, полненькая и чёрная, чёрная, а глаза, как вишни,—настоящая украинка. Она и поёт хорошо, и пляшет, и вышивает—это у них в семье так заведено…

В том же году я вдруг начну получать письма от Нины Величко—сначала дружеские, как от знакомой, а потом с признаниями, что она давно и тайно любит меня. И что Соне верить нельзя: она хитрая, умеет притворяться, а сама ещё с двумя мальчиками переписывается. Сначала это известие меня покоробит, и я отвечу на пару Нининых писем очень сдержанно. А на последующие промолчу. У кадет не принято предавать друзей. И как бы ни вела себя Соня по отношению ко мне, я не мог стать соучастником предательства. Это было равнозначно тому, как если бы меня так же подло заложили мои лучшие друзья-кадеты Джим Костян или Боб Динков… Письма от Нины продолжают поступать: я запечатываю все её послания в один или два конверта и посылаю Соне. И Нина замолкает. Зато Соня пишет и пишет, и в каждом письме оправдывается, хотя мне уже не нужны ни её письма, ни её оправдания.

А сейчас Соня больше всего говорит о своей умершей матери. Мать у неё, как и у большинства детей, была необыкновенной—красивой и доброй. Соня внешне на неё немного похожа. Её мама никогда не пила чая с заваркой, и кожа у неё на лице была намного лучше, чем у Сони. Соня тоже пьёт чай без заварки, только с топлёным молоком—не хочет портить природный цвет лица… Туберкулёзом Сонина мама заболела во время войны: работала на разъезде стрелочницей, одежды тёплой не было, простудилась, несколько раз переболела воспаленьем лёгких, потом плевритом. А есть было тоже нечего, начался туберкулёз… Умерла она через полгода после того, как отец приехал из госпиталя; он тогда ещё на костылях ходил…

И мы вспоминаем войну, кто и как жил в те бесконечные четыре года. Нам обоим было по восемь, когда она началась, и по двенадцать—в День Победы. Всё помнилось хорошо, как вчерашний день,—и голод, и холод, и собственные страдания, и муки наших матерей. Я рассказал Соне, как моя мама страшно выла, рвала на себе волосы и билась затылком о стену, когда летом сорок третьего года соседка, бабка Грызуниха, у которой сын погиб в самом начале войны, нарушила просьбу моей сестры не проболтаться. И всё же не удержалась, сказала маме о гибели моего брата Кирилла…

Небо из бледно-голубого окрасилось в синее, и первые звёзды проклюнулись и замигали в его прозрачной глубине. Мы ходим, нечаянно касаясь плечами, и чем темнее становится, тем сильнее я чувствую что-то новое, необычное в сегодняшнем вечере. Что-то обязательно должно произойти. Словно я поднимаюсь на незнакомую вершину, и скоро оттуда откроется для меня неизведанный мир—то, что я знаю только по рассказам своих старших и опытных сверстников. И кое-что из книг.

— Я устала,—говорит Соня и останавливается.

— Тогда сядем. Только здесь негде.

В саду и действительно нет ни одной скамейки, даже бревна, чтобы присесть. И я опасаюсь, что Соня захочет уйти домой. У меня почему-то снова начинает колотиться сердце. Мы стоим у самых черёмуховых зарослей, я не вижу в сгустившейся темноте Сониного лица и слышу только совсем близко её тёплое дыхание. Странно думать, что мы знакомы всего несколько часов. Миг, когда я проснулся и услышал её голос, отодвинулся в бесконечно далёкую вечность.

— Давайте сядем прямо на землю, она ещё сухая, тёплая,—говорит Соня.—Вот здесь.

— Нет, осторожней,—предупреждаю я. И удивляюсь своему голосу: он кажется мне сдавленным и чужим.—Здесь крапива, мелкая такая и злая. Лучше по ту сторону черёмушника.

Мы продираемся сквозь заросли в чужой огород, тихо смеёмся, и я быстро нахожу удобное место под сенью черёмуховых ветвей. Сидеть на земле не очень удобно, и Соня, в поисках опоры, незаметно прислоняется ко мне плечом. Даже сквозь суконный китель я ощущаю её тепло, и мне уже чудится, что я начинаю медленно кружиться, как в вальсе у нас, в суворовском, на новогоднем балу.

— Рядом, почти над нами, соловей живёт,—говорю я всё тем же внезапно севшим, не своим

голосом.—Птенцов сейчас выводит, поэтому не поёт.
—Да?—шепчет Соня, и мы напряжённо молчим, словно хотим убедиться, уснула ли соловьиха и не подслушивает ли нас.

Тёмное пространство постепенно наливается белым, трепетным светом, бледнеют звёзды. Вскоре за огородами, за деревней, показывается плоский диск луны. Мы сидим на земле, и расстояние до горизонта скрадывается высокой картофельной ботвой, всего в метре от нас, и кажется, что луна совсем близко. И только когда красноватый диск, подёрнутый синеватой дымкой, отрывается от земли и начинает, как бы разгораясь, взбираться по пологой кривизне неба, этот обман пропадает. Выступавшие из темноты силуэты домов, и особенно банька под соломенной крышей невдалеке от нас, напоминает мне страшные сказки Гоголя.
—А я вам что-то не сказала,—шепчет Соня и замолкает.
—Что?—тоже шёпотом говорю я, потому что при таком свете да ещё когда рядом спит соловей, иначе говорить невозможно.
—Вы авиационное спецучилище у вас в Казани знаете?
—Спецуху? Конечно. У меня оттуда несколько ребят знакомых есть. Я к ним весной в казарму заходил и удивился—никакого порядка!
—Там Вовка Куренчиков учится, племянник Николая Куренчикова. Он мне всё время письма пишет.
—А вы отвечаете?
—Отвечаю иногда. Но у нас ничего такого нет. Объясняется, пишет, что любит, а мне он не нравится.

Мне неприятно почему-то это слышать. Может, потому, что и на мои письма Таня часто не откликается. Только откуда знать Соне о моих страданиях? И она продолжает рассказывать о Вовке, хотя я знаю только его дядю и мы с ним приятели. Дяде—я обращаюсь к нему на «вы», но зову просто Николай—уже двадцать четыре, он бывший лейтенант, командир взвода, года два успел повоевать на фронте. В прошлом году демобилизовался из-за тяжёлого ранения в грудь перед концом войны. В госпитале к ранению добавился туберкулёз. Николай приехал прямо из Австрии, из Вены, и жил с отцом и матерью на пенсию по инвалидности в крошечной избе и писал маслом по клеточкам копии с репродукций картин Васнецова в «Огоньке»—«Богатыри», «Алёнушка»,—рассчитывая их продать в Казани и подкупить продуктов. На одной картошке, говорил он, туберкулёз не вылечить…

Я люблю приходить к нему смотреть, как он ловко работает кистью перед открытой дверью в чистых сенях, завешенных по потолку и стенам берёзовыми вениками. Бывает, что застаю его и во дворе, под старой липой. Сижу рядом с Николаем на табуретке или пеньке и, развесив уши, слушаю истории из фронтовой жизни. Или о красивом городе Вене, где, как представлялось мне по трофейному фильму, все только и знают, что поют и танцуют вальсы Штрауса. А там, оказывается, даже публичные дома есть, и Николай в них побывал.

Раз занял очередь, и вдруг заскакивает какой-то наш боец в телогрейке без погон и норовит проскочить в освободившуюся кабину первым. Очередь, конечно, возмутилась, а парень распахнул телогрейку, и видавшие виды воины ахнули: вся грудь в орденах и с левой стороны—золотая звезда Героя Советского Союза! Крыть было нечем—и герой беспрепятственно овладел вожделенной огневой точкой…

Три года пройдёт, и я увижу Вовку Куренчикова на танцах в деревянной церкви, лишённой купола и креста и превращённой в тридцатые годы советской властью в районный клуб и библиотеку. Как всегда, под низким потолком зала будут гореть три керосиновых лампы. На огромном перламутровом трофейном аккордеоне будет играть вальсы, фокстроты, танго и польку-бабочку Василий Фёдорович, низенький и угрюмый учитель немецкого, окончивший в войну курсы переводчиков. Девушки и девочки сидят на лавках или жмутся в углах и лузгают семечки. Парни режутся на сцене в домино или карты. Несколько пар танцуют.

Пахнет керосином, табачным дымом, пылью и потом. И Вовка Куренчиков—Соня мне его покажет, как только мы с ней появимся в зале,—и этот Вовка подойдёт ко мне в своей зелёной лётной форме с фольговыми погонами и «капустой»—кокардой—на фуражке, сдвинутой чуть на бок и на затылок. Маленький такой, ладный, с крупным носом и голубыми печальными глазами. Он пожмёт мою руку, назовёт имя и попросит с подозрительной вежливостью:
—Выйдем поговорить?
—Вовка,—сердито скажет Соня,—только попробуй сделать какую-нибудь глупость!

Она попытается удержать меня за рукав, но я на неё посмотрю так, что лицо у неё окаменеет от испуга. Она после случая с письмами Нины Величко стала бояться меня. В спину нам будет глядеть весь клуб. А самые любопытные выбегут на крыльцо. Поэтому мы уйдём подальше к забору, куда не достаёт красноватый свет из окон, встанем лицом друг к другу. И я почувствую, что от Вовки попахивает водкой. Мне кажется, что я спокоен, просто напряжён немного. И только потом, в клубе, в поясницу мне вступит что-то острое, так что на несколько мгновений остановится дыхание.

Я выходил во двор в полной уверенности, что предстоит драка. Тогда при первой же угрозе я ударю первым, как меня учил мой друг по суворовскому, непобедимый в кулачных поединках Раиф Муратов. К тому же я несколько месяцев занимался боксом и отработал с десяток полезных приёмов нападения и защиты. Вовка был на полголовы ниже меня—это тоже давало мне превосходство: в случае драки легче будет удерживать противника на дистанции…
—Слушай, кадет,—жалобно скажет Вовка,—ты отдай мне Соньку. Ты ведь её не любишь.

— Это моё дело. Она же — не перочинный нож или носовой платок, чтобы её отдать. Давай, позовём её, спросим.

Легко говорить, когда чувствуешь своё преимущество и заранее знаешь результат.

— Нет, — остановит его Вовка, — не надо. Не зови… Я уже знаю, что она скажет. А я не хочу этого слышать. Не хочу, пойми ты!..

И вдруг заплачет. Он заплачет по-детски, и привыкшими к темноте глазами я буду видеть, как он утирает своё лицо кулаком. Потом он скрипнет зубами, помолчит, превозмогая себя, и скажет:

— Ни черта не могу поделать с собой. Четвёртый год. эта мука. Ты прости меня, я совсем не пьяный. Мутно на душе, принял сотку. И ничего не помогает.

Мне будет жаль его. Я на себе испытал, что такое неразделённая любовь, — у меня аналогичная история с Таней Осиповой, — и я положу ему руку на фольговый погон и скажу, как больному:

— Не надо, Володя, пойдём. Может, у тебя что-то и выйдет ещё.

Мне искренне хочется, чтобы у него получилось, и я скажу Соне, чтобы она танцевала с Вовкой. Она меня послушалась, и я видел, какое радостное было у Вовки лицо, когда он обнимал её за талию и чирикал, как воробей. Только после танца Соня почти бегом возвращалась ко мне, и из клуба мы уйдём с ней. А я по сей день ношу в себе печальные Вовкины глаза и его благодарное рукопожатие.

Тихо, очень тихо, даже собаки, уставшие от зноя за долгий летний день, и те молчат, и только, когда за селом проносится состав, лунный воздух начинает дрожать от железного грохота, и потом долго не пропадает звон, словно по стальным струнам, натянутым на тысячи километров, всё ещё ведут громадным смычком.

Соня вдруг смолкает на полуслове, трогает меня за руку, я вижу близко её глаза — ночью они кажутся больше и тревожней — и осторожно спрашивает:

— Вам не нравится всё это?

— Что? — притворно удивляюсь я.

Мне не хочется, чтобы она убирала свою руку с моей, и она не убирает. Тёплый нежный ток проходит от её руки по всему моему телу и переходит в острое напряжение внизу живота.

— Ну, насчёт Вовки… Я тогда не буду. Хотите, я покажу вам его письма, а потом порву их?

— Нет, нет, — теперь уже я сжимаю её руку. — Пусть пишет, и вы ему пишите. Он ничего плохого вам не делает.

У человека удивительная способность всё примерять к себе: я уже думаю о Тане Осиповой, о моих письмах к ней. Может, и ей они в тягость, и она показывает их кому-то, и потом они вместе смеются над излияниями наивного сурика, и она демонстративно рвёт письмо на мелкие клочки. Хотя я ещё ни разу ни говорил, ни писал ей о своей любви. Боялся услышать в ответ «нет» — и тогда уже потеряешь последнюю надежду и ничего не поправишь. От одной этой мысли становится жутко и пропадает желание жить…

В пятидесятом году дядю Ахмета обком переведёт первым секретарём Нурлатского района, и вся семья переедет в другое село, в Северные Нурлаты, тоже райцентр. Там будет два старых ветряка на горе — они жутко скрипели по ночам и напоминали мне о Дон Кихоте. В год окончания суворовского, в пятьдесят первом, я приеду в Нурлаты со своим однокашником, Раифом Муратовым, непобедимым драчуном нашей роты, хоккеистом, гимнастом, пианистом и аккордеонистом. Осенью того же года, в конце сентября, мы вместе с другими нашими сверстниками уедем в Рязанское пехотное училище.

А до того, в июле, — к моменту моего приезда в Северные Нурлаты на каникулы — моя сестра пригласит Соню в гости. Она приедет, и мне это будет неприятно. Я начну делать вид, что не замечаю её. Сердобольная мама сделает мне несколько осторожных выговоров, потому что она по-прежнему любила Соню, как дочь. Соня плакала и говорила ей, что не может жить без меня. И сестра возьмётся отчитывать неучтивого братца, словно провинившегося ученика. Но я становился от этого только упрямей и угрюмей, представляя себя кем-то вроде Печорина или Онегина, а Соню — княжной Мэри или Татьяной Лариной.

Раиф тоже заступался за Соню. И вдруг, воодушевлённый моей неуступчивостью, испросил позволения приударить за ней. Я только пожал плечами — пожалуйста!.. А Соня, в ответ на попытку приласкать её, приложилась ладонью или кулаком к бульдожьей физиономии непобедимого драчуна так, что у него образовалось нечто вроде флюса. И уже он на неё обижался и подговаривал меня «уфаловать» её.

Мне было уже восемнадцать. Начитавшись распространявшихся нелегально из рук в руки дореволюционных трудов доктора Фореля и других, менее авторитетных, авторов, теоретически я «по этим делам» был хорошо подготовлен. Но как нас учили классики марксизма-ленинизма, теория без практики мертва. А это был подходящий момент для перехода от словоблудия к реальным действиям…

В начале июля стояли душные ночи, Соня спала в сенях.

Я выйду из избы к ней глубокой ночью с нечистыми намерениями. Она проснётся сразу, словно совсем не спала, и, когда я сяду с края постели и склонюсь над ней, она не испугается и не оттолкнёт меня. Только печально бросит в темноту:

— Зачем ты пришёл? Ты ведь меня ненавидишь.

Помню, как меня пронзили её слова. И как я сразу забыл о замысле, подсказанном мне коварным провокатором. Это было не правдой, я просто не хотел притворяться и давать ей какую-то надежду. Просто хотел быть честным с ней, оттолкнуть от себя, сохранить свободу и себе, и ей. В конце концов, я уезжал в новую жизнь. Она тоже окончила школу, и перед ней распахнулись

свои возможности… Я склонился над ней ещё ниже и стал тихо бормотать об этой мелодраматической ерунде, выбирая нежные и добрые выражения и в то же время чувствуя, что слова мои для неё хуже яда. Непреодолимая жалость заставила меня прикоснуться к ней. Она вся сжалась под байковым одеялом, её бил непреодолимый озноб, как это было со мной, когда весной и осенью откуда-то налетали приступы малярийной лихорадки… В какой-то момент она внезапно прервала меня: обняла за шею горячими руками, прильнула губами к моим губам и долго не отпускала. А потом зашептала о своей любви. А я говорил ей о том, как я люблю Таню, и получилось одинаково, хотя и говорили мы о разном. Странный и жуткий дуэт это был — так мне теперь представляется.

А ещё через три дня мы простимся в Казани, на железнодорожном перроне. В последний момент, прежде чем подняться в тамбур и уехать в Чурилино, она отдаст мне толстый конверт. Я суну его в карман, поезд тронется, она будет махать мне рукой из-за спины толстого проводника и плакать.

Сердце у меня сжалось и горло перехватило — я знал, что теряю преданного друга. Но в трамвае спокойно прочитал её длинное взволнованное письмо. Запомнилась одна банальная фраза — «будет трудно, позови меня, и я сразу приду». И когда вышел из трамвая у театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и стал пересекать широкую пустынную площадь Свободы, мне вдруг подумалось, что с прошлым покончено. Скоро я сменю чёрный кадетский мундир на курсантскую хлопчатобумажную форму. А фуражку с алым околышем — на пилотку, и подковки яловых сапог зазвенят об асфальт. Прощай, прошлое!

И тогда, не сознавая прилива жестокой бессердечности, я разорвал письмо на мелкие клочки, сжал их в горсть и бросил на ветер. Они закружились, замелькали в солнечном, словно пронизанном тончайшей пылью воздухе, вскоре упали на асфальт и смешались с ворохом других бумаг и окурков у края тротуара.

— Что-то холодно стало, — говорит Соня и передёргивает плечами. — Уже поздно.

Наверное, она хочет уйти, и я торопливо начинаю расстёгивать пуговицы на кителе. На мгновение спохватываюсь, что под ним у меня только майка, но заботиться о себе стыдно. Срываю с себя суконный китель с сатиновой подкладкой, накидываю Соне на плечи и оставляю, как бы невзначай, свою руку на её спине. Она тихо и радостно смеётся:

— А вы?

— Мне жарко, — бодро хвастаюсь я. — По утрам каждый день из колодца холодной водой обливаюсь.

И на самом деле, ощущение такое, словно меня омывает прохладная вода.

Роса ещё не выпала, но воздух, трава, листья становятся влажными, по земле тянет ночной прохладой.

— Знаете, лучше не так, — говорит Соня, — лучше укроемся вместе. Садитесь ближе.

И мы долго возимся, пристраивая китель так, чтобы он не сползал с наших плеч. Моя левая рука на её тёплой спине. На своём плече, другой рукой, я придерживаю полу кителя, и мы сидим, заворожённые желанной близостью, долго и тихо, и еле дышим. И чего-то ждём. Я, не мигая, гляжу на звезду — как она тлеет в немыслимой глубине — и боюсь словом нарушить, спугнуть этот сон. А Соня вдруг роняет мне на плечо свою голову, волосы её пахнут полевыми цветами. Меня бросает в жар, мысли путаются, а теоретическая подготовка только мешает естественным инстинктам. Без практики она воистину мертва.

Сколько мы просидели в молчании, блуждая глазами по голубому лунному океану, никто не скажет. Только в какой-то момент я, словно что-то вспомнив и уронив с головы фуражку, повернулся к Соне. Китель соскользнул с плеча, и мои губы сначала коснулись тёплых и добрых её губ. И навстречу будто распустили влажные лепестки неведомого цветка. Ярким светом вспыхнуло во мне что-то неведомое, хотя глаза закрыты, — и навсегда осталась в душе радость и изумление от первого поцелуя, похожего на чудо воскресения.

И восемь лет минует с той ночи в Нурлатах Северных. Мои офицерские погоны как память о моём армейском прошлом будут лежать на дне чемодана рядом с двумя парами других — суворовца и курсанта. А я превращусь в студента, самого пожилого в группе, и буду старостой этой группы. И передо мной возникнет новая цель — через шесть лет стать инженером. Я всегда ставил перед собой цели, без этого жизнь теряла смысл, только не все они достигались.

Запомнится день в начале зимы. Я выскочу после лекции по химии из второго здания института. Оно напротив скверика Льва Толстого, всего в ста метрах от моего суворовского. Буду одетым в офицерскую шинель без погон, в хромовые сапоги и каракулевую шапку. И с тетрадями, засунутыми за борт шинели. Худой, не бритый, сбросивший после армии килограммов десять. И здесь, на остановке трамвая, столкнусь с Соней.

С Волги дул морозный ветер, тротуар был покрыт хрустким льдом, и земля, и воздух тускло отсвечивали на скудном солнце. Голые липы и клёны в скверике Льва Толстого остановки выглядели почерневшими, озябшими сиротами.

— Ты? — я сжал её руки. — Вот это да! Сколько мы не виделись?

— Давно. Больше пяти лет, — сказала она, и я удивился, какими отчуждённым и резким стал её голос. И улыбка другая — только на губах, а серые узкие глаза остаются холодными и как будто беспощадными.

Я забываю о том, что и я тоже другой. Настолько другой, что не люблю вспоминать себя прежнего.

— Ты что — студент?

— Да, учусь в авиационном. И ты, Соня, прости — тороплюсь на лабораторку в первое здание.

Преподаватель — зверь! К тому же я староста группы, веду журнал посещаемости.

— Ладно, поезжай, — холодно говорит она и отворачивается.

И я понимаю, что так нельзя. Второй такой случайности может не быть. Всё же мы здорово рады друг другу — я, во всяком случае, — и пропускаю трамвай.

— У тебя всё такое же лицо, — говорю я, чтобы сгладить свою оплошность. — Чистое, без изъянов. Ты по-прежнему не пьёшь чай с заваркой?

— Нет, не пью. Где ты живёшь?

— В общежитии. На поле Ершова.

— Да? Я близко от тебя — рабочее общежитие рядом с клубом Маяковского знаешь?.. Вот из-за общежития и яслей пришлось пойти на завод, на металлосклад, кладовщицей. Приходи в гости. Я недавно приехала из Архангельской области, из леспромхоза, разбежалась с мужем. Увидишь мою дочь, ей шесть месяцев. А ты не женился?

— Что ты? Надо учиться.

— Ты всю жизнь учишься.

— Ты права. И умру дураком… А ты как? Ты хотела в педагогический.

— Не получилось. И уже не получится… Даже не пыталась поступать. Отец отказался помогать, а на одну стипендию не проживёшь. После десятого класса год проработала в Чурилино учительницей в младших классах — Наталья Никитична, твоя сестра, рекомендовала меня новому директору перед переездом в Нурлаты. Хотела в педагогический поступить на заочное отделение, но с отцом и мачехой жить стало невмоготу. После окончания учебного года завербовалась и уехала на Север. Там вышла замуж за лесоруба, тоже вербованного. Оказался пьяницей, ревновал, бил. Прожили в леспромзозе, в холодном бараке, полтора года, и я сбежала с дочкой от него, в чём была. Он сейчас не знает, где я. И отец с мачехой тоже.

Покачиваясь и высекая пантографом искры из троллей, подходит трамвай. Я умоляюще смотрю на Соню. Преподаватель по оборудованию радиозаводов, пришедший в институт с авиазавода, я не преувеличил, был действительно беспощадным и злопамятным типом по отношению к прогульщикам.

— Поезжай! — разрешает Соня. И более точно называет свой адрес: рабочее общежитие на Красной позиции — всего в квартале от нашей институтской общаги по улице Ершова, напротив городского кладбища.

— Только учти — я не Асатова, а Слонова. Запомнишь? Лучше в среду, часам к семи. Смотри, я жду!..

Ещё бы не запомнить — слоны в архангельских лесах!.. Я смотрю на неё сквозь мутное стекло с задней площадки вагона. На ней лёгкое серое пальто, слишком лёгкое для морозной и ветреной погоды. И она похудела. Лицо у неё уже не такое круглое и похожее на маленькое солнце. Ещё бы: муж, ребёнок, развод! — уму непостижимо. Не совмещается с той нашей первой ночью, с луной, соловьём над головой, первым поцелуем…

В среду я отказываюсь от плана пойти со своим близким другом и одногруппником Фираилом Нуруллиным провести вечер в чертёжном зале — подходил срок сдачи зачёта по начертательной геометрии. Вместо чертежки после лекций возвращаемся на трамвае в общежитие — мы живём в одной комнате. Я бреюсь и вспрыскиваюсь табачным одеколоном. Достаю из чемодана помятую белую рубашку, привезённую из Китая, и затягиваю на худой шее бордовый галстук. В зеркале вижу: галстук прекрасно гармонирует с моим коричневым костюмом из «ударника», сшитом в Китае. Менее двух лет назад я командовал там пулемётным взводом в районе Порт-Артур — Дальний. Фираил одалживает мне свои почти новые армейские полуботинки — он тоже поступил в институт после армии, из авиатехнического училища, — натягиваю на себя шинель, получаю братское благословение и иду на «операцию» — к Соне.

Она живёт в рабочем общежитии, в каком-то зловещем здании из кроваво-красного кирпича впритык к такому же невзрачному кинотеатру. По грязной, пахнущей нечистотами лестнице поднимаюсь на второй этаж. Широкий гулкий коридор с пыльными лампочками на длинных шнурах делает меня сразу чужим здесь: то и дело открываются двери бесчисленных нор, и в них возникают всклоченные женские головы — сверлят глазами лицо и потом целятся в спину. Словно все нетерпеливо ждали моего появления, чтобы пропустить сквозь строй.

И Соня открыла дверь раньше, чем я дошёл до её комнаты.

— Я узнала твои шаги, — сказала она и закрыла дверь на толстый крючок. — Так надёжней. Здесь все друг за другом шпионят. Могут придраться к пустяку и выселить.

— Так же, как и у нас. Студсовет общежития бдит за нравственностью днём и ночью.

Она была в ситцевом застиранном халатике. Я взял её за плечи, и что-то дрогнуло во мне — они были худыми и слабыми, совсем другими, чем восемь лет назад, словно из них выветрилась прежняя молодая сила. И губы у неё стали другими — суше и безответней… А мы ведь не старые, подумалось мне, нам всего по двадцать три. Но дело, как видно, не в количестве лет — темпы, скачки от школьных лет к этим, наполненным заботами о выживании, были сумасшедшими.

— Раздевайся, — сказала она.

В её глазах застыл какой-то вопрос.

Я повесил шинель, вышел из-за занавески, и первое, что бросилось в глаза, был голубой свёрток, положенный поперёк узкой, точь-в-точь как некогда у меня в казарме, койки.

— Моя дочь, — улыбнулась Соня. — Плод любви несчастной. Спит.

Да, голос у неё действительно стал резким, без прежних, тёплых и ласковых, нот. Я подошёл и посмотрел на спящего ребёнка с пустышкой во рту. Он ничем не отличался, на мой взгляд, от тысяч других. Самому мне и в голову не приходило обзавестись потомством.

— Прелестное дитя,— холодно сказал я.

Мы сели за крохотный стол в углу комнатки со стенами, покрытыми влажной штукатуркой, и некоторое время рассматривали друг друга.

Странно, думалось мне, ни одной правильной черты лица. Невысокий, немного сдавленный на висках лоб, слегка приплюснутый, вздёрнутый на конце нос, глаза серые в щёлку, короткие стрелки бровей — и всё же её можно назвать красивой. Татарская, или монгольская, неповторимая красота. А мой портрет она нарисовала вслух:

— Ты стал каким-то косматым и худым. И печальным. Почти не верится, что это ты. Даже губы бледные.

Я перевёл взгляд на ребёнка, потом снова на неё и хотел сказать подобное о ней, но смолчал. Про мои бледные губы она говорила и раньше, ещё в Северных Нурлатах,— просто забыла.

— Время идёт. Бледнеют не только губы — вся жизнь.

— Да,— сказала она.— Ты служил в Китае?.. Мне писала твоя мать, адрес прислала. А ты на мои письма не отвечал.

Жаль, нет вина, с ним было бы проще. Что-то давит на сердце. Я бы, конечно, прихватил бутылку портвейна, только денег нет ни у меня, ни у Фираила, а до «стипы» ещё целая неделя. Унизительная нищета; на неё обречены большинство студентов на шесть лет учёбы в нашем вузе… Правда, с некоторых пор я почти не пью — берегу мозги для высшей математики, аналитической и начертательной геометрии. Пять лет в армии не прошли бесследно: учёба не даётся с прежней лёгкостью, и я порой жалею, что выбрал технический вуз. К тому же назначили старостой группы, и я поневоле должен являть благотворный пример для своих семнадцатилетних одногруппников. Одиннадцать из них — медалисты…

— Я, по-моему, писал тебе.

— Когда был курсантом. А офицером — перестал. Зазнался!

— Брось ты! Я и писал-то одной маме.

— А Тане?

Она помнила имя незнакомой ей соперницы. А я бы хотел забыть о ней всё — и имя, и черты, и образ. Она по-прежнему не покидала душу и крала по частичкам мою свободу, мешала жить.

— С Таней покончено год назад!— сказал я резче, чем бы мне хотелось.— Она замужем.

Мы помолчали. И потом настала моя очередь на экскурс в прошлое.

— А Вовка Куренчиков, как он?.. Сохраняет верность тебе?— спросил я.

— Он всё время слал письма — и из училища, и потом. Когда вышла замуж, попросила не писать… Он офицер, летает. Где-то в Калининградской области.

У каждого своя личная трагедия — большая или маленькая. И каждый в чём-то по-своему повторяет своих собратьев. И как всегда, трудно отыскать причины и следствия… Вот и я последние полгода служил в гвардейском стрелковом полку в Калининградской области, в прусском посёлке Дантау, переименованном в Долгоруково. И значит, Вовка находился где-то рядом, но не стоило об этом говорить Соне…

— Ко мне в общежитие,— сказал я,— перед седьмым ноября завалился Юрка Сивый. В морской чёрной форме — шинель, брюки на выпуск, кокарда. Солидный такой морской волк — смех!

— Знаю. Он в морской авиации.

— Только он технарь — не летает, а самолёты готовит к полётам. Мы крепко выпили, проспали с ним ночь вдвоём на моей кровати, и утром я не пошёл на занятия. Поболтались по городу, сходили в кино, А вечером он повёл меня в ресторан «Татарстан», и мы хорошо провели время. Из ресторана я проводил его на вокзал. В полночь он укатил в Чурилино, к матери. Такой отличный парень!..

— А Петька Милёшин в Ленинграде. Я так же, как тебя, случайно встретила Лизку, его сестрёнку, в универмаге на Баумана. Говорит, после лесной академии Петьку оставили учиться в аспирантуре. У него язва желудка. Зато учёным будет.

— Не мудрено. Он сам был как язва — очень вредным,— сказал я.— Я его тоже видел прошлой зимой в Новом Чурилино. Ездил туда к моей двоюродной сестре Вере — ты должна её помнить. Она там преподаёт, как и ты некогда, в младших классах после педтехникума и живёт на квартире у Милёшиных. А Петька приехал из Ленинграда домой на месяц — диплом писать. Мы с ним наговориться не могли. Не пьёт, не курит — весь в науке. Станет Вавиловым или Мичуриным…

А потом Вера сказала, что Петькина сестра, семнадцатилетняя Лиза, влюбилась в меня. И не мудрено, если учесть, что никого из парней после школы не оставалось в нищем селе,— разбежались кто куда: в армию, в Казань, Ижевск, Киров — в институты, на заводы… Сказать Соне об этом было бы глупо.

— Мне жалко Коську Серьгина,— сказала Соня.— Ты помнишь его?

— Его убили. Мне рассказали об этом в Чурилино.

И я в какой раз представил Коську, работавшего механиком кинопередвижки вместо угодившего в тюрьму Половинкина. Костю нашли около бани Серьгиных над прудом со старыми ивами, где мы детьми резались в карты в «дурака» и «очко». Коська был зверски избит до синевы по всему телу и почему-то босой. Болтали, грохнули из-за карточного долга. Убийц так и не обнаружили, а может, и вообще не искали, хотя и мать, и Санька прямо указывали милиции, кто это мог сделать. Коськины жена и грудной пацан остались жить в доме Серьгиных, и как они там бились в беспросветной нужде — одному Богу известно…

Потом мы с Соней пили чай, вскипячённый здесь же на плитке, установленной на полу, на кирпичи. Без заварки, конечно: Соня, наверное, надеялась вернуть прежний, солнечный, цвет своему лицу. Оно, как и прежде, оставалось без единой морщинки, но, наверное, навсегда лишилось своей лучистой свежести, радовавшей глаза нашего брата… Она говорила о том, что окончательно потеряла связь с отцом и даже не знает, жив он или уже умер. Ни на одно из её писем ни он,

ни мачеха не отвечали. А съездить самой в Чурилино у неё не было времени. И главное—денег. Пусть она уже никому не нужна—ни отцу, ни мачехе, но хотелось бы взглянуть на Ринатку, на знакомых в Чурилино и Масре. Побывать на маминой могиле… И я ничем не мог ей помочь, предложить денег—ничтожную, в общем-то, сумму. Мы оба были нищими пролетариями, и комната, казалось, после каждой сказанной фразы наполнялась безысходностью…

Девочка уже проснулась и сопела, причмокивая соской. Я видел, как колебалось над её носом красное гуттаперчевое колечко.

Комната была давно небелёной, с грязноватыми потёками по углам жалкой конуры,—похоже, они промерзали зимой,—неуютной, как каземат в Петропавловской крепости, только с высоким потолком и узким, наподобье бойницы, окном без решётки. Железная койка с сосущим пустышку ребёнком, квадратный столик, накрытый обшарпанной клеёнкой, и две некрашеных табуретки. И у двери—чёрный обшарпанный чемодан, напоминавший о станциях, длинной дороге и верхней полке в душном вагоне. Словно Соня собиралась прожить здесь день-другой и снова отправиться, куда глаза глядят…

Да, во время войны, когда её пламя обугливало наше детство, будущее представлялась в более радужных красках. О войне постепенно стали забывать, но повсюду царили те же нищета и убожество. И только партийные лозунги оставались прежними—торжественными, оптимистичными и многообещающими: через десять-двенадцать лет каждая семья будет жить в отдельной квартире. А через двадцать—весь советский народ окажется в ласковых лучах незакатного солнца коммунизма…

Я подчёркнуто долго смотрел на свои часы—было около десяти. Потом упёрся взглядом в глаза Сони и медленно поднялся с табуретки. Она тоже встала и крепко прижалась ко мне своим худым, выпитым не мной телом. Запрокинутое лицо было бледным и горячим.

В моём офицерском прошлом остались женщины, случайные и не очень. С ними я спал по одной и по нескольку ночей в Уссурийске, Дальнем, Куйбышевке-Восточной, Калининграде, Москве. И в других, менее известных, населённых пунктах.

Похоже, дошла очередь до Казани.

—Я так и не смогла тебя забыть,—сказала Соня мне в плечо.

Я взял в ладони её лицо. Оно было так близко, что я видел только её большие глубокие зрачки. Кажется, лишь они не изменились с той первой непорочной ночи.

—Я останусь?

Она помолчала. И я наперёд знал ответ. В комнате даже не было места, куда бы она смогла положить ребёнка. Не на холодный же пол.

—Нет. Не сегодня. Сегодня тебя видели. Послезавтра приходи позднее, ближе к полночи, тогда в коридоре горит всего одна лампочка, и все спят.

Я надел свою жёсткую шинель на коричневой атласной подкладке, сшитую весёлым китайским портным в Лядзедане, называвшим всех советских офицеров «капитана» или «тунза». И, не застёгивая её, ещё раз обнял Соню. Мы поцеловались, и от этого долгого и бесстрастного поцелуя мне сделалось вдруг пусто. и томительно стыдно чего-то… Как далеко и безвозвратно ушёл я от того чистого, витавшего в светлых грёзах мальчика в чёрном кадетском мундире! А Соня—от солнечной девочки в ситцевом платье. И оба мы—от неповторимой лунной июльской ночи в саду под черёмухой, по соседству с соловьиным гнёздышком.

Встретились мы случайно месяца через два на какой-то казанской улице. Был, наверное, январь или начало февраля; день выдался серый, деревья вдоль посыпанного песком тротуара дремали в тусклом сухом инее.

—Ты не пришёл,—сказала она не добрым своим голосом.—Испугался?

Не помню, что я ответил, и как мы простились. Навсегда.

Наступила осень—моя осень. И, как желтизна в листву деревьев, в мои поредевшие волосы вплелась тусклая седина. Сентиментальная фраза, подумаете вы, но это так—и тут уж ничего не поделаешь. Много было всякого: событий, женщин, вина, правды и обмана. И ещё больше—разочарований.

А что касается любви, то сейчас мнится, что любили меня по-настоящему только раз—в первый и последний,—и это была Соня.

И я, подобно безымянному чеховскому художнику, иногда в часы одиночества начинаю думать, что меня помнят и надеются на встречу. И мысленно посылаю в пустое и холодное пространство, обращённое в непроглядное прошлое, безответный вопрос: Соня, где ты?.. И простишь ли меня?..

Марина Межиева

Горячее облако

Это смертельное чувство вины

Жили-были хорошие детки—Ванечка да Манечка. Это по-нашему. А если по-немецки—Ханни да Марихен. Учились хорошо. Родителей слушались. Младших не обижали. Старших уважали. Подросли, в университет пошли, на студенческую конференцию поехали, встретились там и полюбили друг друга.

Поженились не сразу, а три года на каникулах друг к другу катались да каждый вечер ровно в девять перезванивались. Да не только почирикать, мол, люблю тебя, мой зайчик, люблю тебя, мой котик, а и поговорить им было о чём. То смысл жизни, бывает, ищут. То права детей обсуждают. То над разницей между интеграцией и ассимиляцией иммигрантов задумаются. То—сколько индивидуальной свободы должно быть в подлинной демократии, а сколько—общественных принципов. То со снобами и гопниками разбираются. А то и вовсе роль церкви в политической жизни страны знать хотят. И не то, чтобы поорать да языки почесать, а серьёзно так обсуждают. В общем, хорошие ребята. А, главное, взаправду друг друга любили. Бывает, идут, взявшись за руки по улице,—залюбуешься. И некрасивые оба, вроде, а поглядишь на них—и вроде кто тебе подарок новогодний сделал! Правда, волосы у Марихен были хороши. Каштановые с золотинкой, густые, чуть недостающие до плеч, так что, когда налетал ветер, упругие пряди поднимались короной.

Вы о новогодних подарках мечтали? Вот у меня был старенький дед Мороз в детстве с мешком из жёлтой гофрированой бумаги. Купили его месяца через два после моего рождения. Мама, как я подрастать стала, того старого грязного деда всё выбросить хотела, да нового, нарядного, купить. А я всё его обратно из помойки вытаскивала и то за ёлку, то на антресоли схороняла. И накануне Нового года непременно ему в мешок записочку пропихивала, на которой моё желание было записано. Я рано писать научилась. Так что, в его мешке мои желания лет с трёх накапливались. Не то, чтобы я когда-то верила, что они исполнятся. А так как-то. Просто хотелось положить ему моё желание в мешок—и всё.

Выну клочушок ваты, чтобы новая записка поместилась, желание моё в комочек сомну—и в мешок. А клок ваты—сожгу и пепел развею. Потому что неудобно дед-морозовскую вату выбросить. Потом мама деда всё-таки изловила и ликвидировала. Так что, теперь никто не знает, какие у меня были новогодние желания. Но вот когда я светленьких да глазастеньких Ханни с Марихен у себя из кухонного окошка во дворе всякий солнечный день видеть стала, то и почувствовала, что один-другой желательный комочек расправился и неожиданным образом исполнился. Не забыл меня, видать, Дедушка. И не вовсе ликвидировался.

Отучились оба. Профессии хорошие получили. Он—детский психиатр, она—детский психотерапевт, который живописью и всяким другим художественным творчеством лечит. Пришло время место искать, где у обоих работа будет и где квартиру снимать недорого.

Выбрали себе красивый и сложный город Берлин, облюбовали квартиру такую, чтобы у Марихен непременно одна своя комната была, у Хании одна своя, а у них обоих общая. Очень они боялись, что от слишком совместного быта их чудесная любовь может разрушиться. Что наступит день, и они перестанут *встречать* друг друга, а будут просто вместе по дому да по гостям шляться. Да и то сказать, ведь со временем и работать вместе собирались. Ни на минуту уже не разлучаться. Так ведь правда—и «я» утратишь, и «ты» замечать перестанешь. Осторожней с этим надо.

В общем, планировали, радовались. Марихен платье белое шила. Они с Ханни были христианами. Ханни чуть менее религиозным и увязывающим свой календарь по церковному. Марихен же не мыслила нормальной жизни без регулярной исповеди и отпущения грехов. Так что к свадебному обряду они готовились тщательно и торжественно.

А незадолго до свадьбы ехала Марихен на машине через перекрёсток. Полыхнул в открытое окно ветер. Бросил ей каштановую упругую прядь в угол глаза, и не разглядела Марихен быстрое движение тёмного силуэта справа. Через секунду раздался человеческий визг, перекрывающий даже дружный визг многих тормозов. Ещё несколько секунд по перекрёстку скользили и разлетались кубарем, карточным веером, покати-горошком, поваленный на бок мотоцикл, осколки зеркал, багажные сумки и два человеческих тела. Марихен вышла из машины, посмотрела на визжащую с закрытыми глазами женщину на обочине, и, кажется, пошла вперёд, к юноше, который лежал ближе к ней. Но дальше она не запомнила. Только женщина на обочине ясно в памяти осталась.

С точки зрения правил дорожного движения, Марихен была стопроцентно виновата. Но в Германии за это не обязательно сажают. Поскольку

мало смысла в этом видят. А видят его в том, чтобы виноватый расплачивался. За всё. За лечение, например. И ещё в специальный фонд платил. Это, поверьте мне, очень большие деньги. Такие большие, что в России иной и на пять лет в тюрьму бы за такие сел. А иной и на десять не пожалел бы. Но я не об этом хочу рассказать.

А упоминаю это только для того, чтобы объяснить, почему Марихен каждый день проводила не в камере предварительного заключения, а под окнами реанимации, где лежал тот из двух парней, что ехал без шлема. Это был очень здоровый, спортивный парень. С размозжённым черепом и повреждённым осколками мозгом этот 18-летний мальчик продолжал жить.

Ханни уже начал работать на новом месте, молодых врачей принято загружать по самое некуда, и поэтому по будням он приезжал в больницу только поздно вечером, чтобы увезти Марихен домой.

Разговаривали они мало. Не было теперь такой темы, от которой бы Марихен не передёргивало и со словами: «Ханни, пойми, я пока не имею больше права об этом говорить!», она превращалась в соляной столп.

Марихен стала считать, что всё, что может доставить ей удовольствие,—книжка ли, шоколадка ли,—это оскорбление Петеру, мальчику, которого она искалечила. В то же время, она не пыталась ни руки на себя наложить, ни как-то изменить течение вещей. В срок, который был указан в её договоре, она вышла на работу и стала бесшумно и аккуратно ассистировать в большой красивой клинике, изготовляя необходимые предметы терапевтического искусства. Задав Ханни вопрос, не лучше ли им отказаться от заключения брака в связи с её новым финансовым положением и диагностированной депрессией, и выслушав его горячий ответ, она не стала спорить. И в срок, который был назначен в ЗАГСе, она тихо вышла за Ханни замуж. Она сосредоточенно составляла списки необходимых для нового хозяйства покупок и смету. Никогда не возражала, если Ханни приглашал гостей, и послушно шла с ним в гости, в театр—на все эти раньше, ещё до того момента, когда она услышала визг женщины на обочине, запланированные мероприятия. В Германии ведь принято планировать задолго. Тем более—медовый месяц и ситцевый год. Когда Ханни предложил ей пройти психотерапию, она тотчас же согласилась: «Конечно, Ханни, прости меня, пожалуйста. Я давно уже обязана была сама об этом подумать». И на следующий же день она нашла себе психотерапевта, хотя дело это непростое.

Один раз Марихен по-настоящему оживилась—когда психотерапевт предложила ей пойти к родителям Петера, просто поговорить с ними и, может быть, найти что-то, что она может для них делать. Это были немолодые люди. Петер был поздним и единственным ребёнком. Мало ли, какая нужна помощь. Марихен пошла, и они поплакали вместе. Но помощи родителям Петера оказалось не надобно. И Марихен снова замкнулась в себе. Она была приветлива и обходительна. О её внутренней аскезе и недопустимости удовольствия для себя догадывались только те, кто близко-близко знал её прежде. Перед ними Марихен чувствовала себя особенно виноватой. Она понимала, что стала обузой для близких. Но оставить её одну не просила. Это было бы пустым сотрясением воздуха в удовольствие своей гордыне. Ведь и Марихен знала этих людей близко, и ничуть не сомневалась, что никто из них не помыслит оставить друга в беде. Невозможно.

Всё, не занятое работой, семейными и семейно-светскими обязанностями время Марихен проводила в больничном саду.

Через три месяца Петер умер, так и не приходя в сознание. Марихен с той же регулярностью стала ходить на его могилу. Родители Петера иногда видели её издалека. И для них было некоторым утешением, что виновная в смерти их сына не забывает Петера. Заметив их, она быстро уходила.

В годовщину свадьбы Ханни стал на неё кричать. Он кричал, что так нельзя. Что Петер мёртв, и его не вернёшь. Что если бы Петер не был идиотом и надел бы шлем, жива бы сейчас была и его, Хана, жена, которая не жена, а живой труп. Что есть несчастные случаи. Что бы по этому поводу ни говорил закон. Потому что тысячу раз на дню мы делаем что-то неправильно. Потому что мы люди. Марихен смотрела на него, подняв лицо от дневника, и не знала, что ответить. Ханни был, конечно, прав. Но она становилась от этого не менее виноватой.

Ханни позвонил мне тогда в каком-то полубезумном состоянии. Он всё повторял в трубку: «Ты понимаешь, как я на неё кричал! Я просто не мог остановиться. Как будто нажимаешь на тормоза, изо всех сил вдавливаешь ноги в педали, но машина всё ещё летит вперёд, и ты знаешь, что она врежется прежде, чем успеет остановиться. И ты только кричишь и смотришь перед собой. Я же муж! Если бы я был настоящим мужем, она бы так не страдала! Я просто плохой муж! Я виноват, что всё это не имеет конца». Это текст он проговаривал снова и снова. Тоже, видимо, «жал на тормоза», как с Марихен, но не мог остановиться.

Звонок Ханни застал меня на трамвайном мосту. Судя по доносящемуся из трубки шуму, мой друг тоже был где-то на проезжей части. Я устало облокотилась на изъеденные лишайником каменные перила, смотрела на ленивую в этом месте воду Майна, отражающую старейшую в городе церковь с башнями, похожими на кошачьи уши, и под монотонное бормотание в трубке думала о смысле покаяния и о том, что же всё-таки такое «облегчение от бремени грехов». Марихен, наверное, теперь святая. Или вот-вот станет ею.

Я почти заснула под голос Ханни и позванивание-постукивание трамваев, грезя лучистыми отражениями ангелов, голубей и чаек, но в тот момент, когда мобильник уже грозил выскользнуть в реку, разговор внезапно оборвался. Видимо у Ханни кончились на карточке деньги.

Дома сидел почти постоянно о ту пору чем-то недовольный и часто пропускавший школу старший сын. С тех пор, как я заболела, многое у нас

пошло наперекосяк. В своей тогдашней манере он протопал за мной на кухню и стал что-то мне выговаривать. Это было продолжением нашего предыдущего, а, вернее сказать, бесконечного разговора, в котором он, в общем-то, был прав, и я, в частности, действительно, была виновата. Хотя бы потому, что из нас двоих родитель—это я, а ребёнок—это он. Подскочил младший, всегда ужасно нервничавший, когда старший заводился, и, как всегда, попытался начать улаживать, хотя и знал, что бесполезно.

Но сегодня между мной и старшим сыном словно стояла высокая вода. Я разглядывала этого хрупкого, удивительно красивого подростка без ставшей привычной смеси раздражения и острой жалости.

— Ты чего так смотришь?—остановил он свою речь на всём скаку.

— Знаешь,—сказала я,—а ведь, действительно, существует прошлое.

— Что?—удивились мальчишки хором.

— Прошлое. И будущее.

— И много ещё у тебя таких открытий?—саркастически поинтересовался старший.

— Ещё не знаю. Но ты сейчас не понял меня. Как я не понимала час назад. Прошлое—это не начало настоящего, не первая его часть. Прошлое—это совсем другое. И оно, правда, есть. Совсем прошлое. Действительно прошлое.

— Соответствует грамматике латинского языка,—важно застолбил старший.

— Ага, только «действительное прошлое» звучит по-дурацки,—хихикнул младший.

— По-дурацки,—согласилась я.

Видимо, в глазах у меня всё ещё рябила ленивая вода под церковью, и старший сын каждый раз, когда я взглядывала на него, казался покрытым крохотными дрожащими тенями и мерцающими искорками.

— Ну, чего ты смотришь-то так?—подозрительно вскинулся он, и, кажется, всё никак не мог найти нить прерванного разговора.

— Да вот думаю, что ровно с этого места нам придётся начать всё сначала.

— С какого ещё начала?—вконец сбился он не столько от моих слов, сколько от моего вида,—Не хочу я с тобой ничего начинать сначала!—на всякий случай напомнил он свою позицию.

— Придётся. У нас нет другого выхода.

— Будешь психолога из себя строить?—вставил он любимую шпильку.—На меня не действует. Я эту твою Торри читал!

— Знакомиться нам придётся друг с другом,—не унималась я.

— С какой стати?

— А с такой. У меня наступило прошлое.

Он весь напружинился, ожидая подвоха…

А я, разглядывая его сквозь чехарду теней и искр, в первый раз удивилась, сколько времени я потратила на сожаления о прошлом, вместо того, чтобы просто дать ему наступить…

Впрочем, это уже совсем другая история. Я всё отвлекаюсь. А хотела досказать про Ханни и Марихен. Они по-прежнему вместе. Как говорит Ханни, так рано открыть свою частную практику им удалось только благодаря невероятной работоспособности, точности и аккуратности Марихен. Она днюет и ночует на работе и выполняет её за троих. Буквально. И на оплате этих гипотетических троих им удаётся достаточно сэкономить, чтобы Марихен могла выплачивать государству свой долг за Петера, и ещё на расширение практики оставалось. Пациенты её очень любят, и, хотя главным, соответственно образованию и занимаемой должности, в их рабочем коллективе является он, на самом деле, как считает Ханни, вся клиентура идёт, во-первых, к Марихен, а уж его рассматривает как дополнительный персонал.

Общие знакомые ценят Марихен безмерно. У неё для всех есть ценный совет.

«Расстаться с Марихен для меня непредставимо»,—сказал мне Ханни,—«Но ты же понимаешь, я мужчина и не могу всё время быть один!» Я понимаю. Чего ж тут не понять.

— И я не чувствую себя виноватым!—добавил он зло.

Горячее Облако

Мне было семь лет. Операция и её последствия одним ударом вышибли меня в мою отдельную жизнь, как в вестернах герой-ковбой одним ударом выбрасывает негероя-ковбоя сквозь столы, стулья и хлопающие двери на пыльную улицу.

Я молчала. Сидела у окна. Прижимала руки к животу. Я вообще-то и раньше знала, что там кишки. Но я не знала, что они там на самом деле. И что, если шов разойдётся, то они вывалятся наружу. И потом я наконец-то умру, но сначала я буду долго-долго кричать от боли.

Я по-новому понимала своё тело. Я больше не понимала его.

А потом у меня появился новый друг—цыплёнок. Жёлтый куриный цыплёнок. И я снова неуверенно стала ходить. Потому что, если я поднималась, держась за спинку стула, дотягивалась до стенки и шла вдоль неё, то он бежал за мной и пищал. И сразу было видно, что он—мой друг.

Он был такой невесомый, как горячее облако. Так я его и назвала, по-индейски длинно: мой Друг Горячее Облако. Я брала его в две руки, в пригоршню, подносила к лицу, иногда даже осторожно клала разомкнутые губы на кончик его клювика и нежно-нежно дышала.

Скошенными так, что мама пугалась, глазами, я видела, как Горячее Облако закрывает глаза, перетряхивает крылышки и блаженно засыпает. Я тоже закрывала глаза и успокаивалась.

В тот же вечер папа и постоянная подружка временного отрезка его жизни—Катя—забрали меня на дачу.

Катя вставала раньше всех людей. И мой друг Горячее Облако—тоже. Он—с рассветом. И пищал в своей коробке. Коробка у него была огромная. Вниз Катя ставила огромную кастрюлю—я такие большие потом только в школьной столовой видела—с тёплой водой, мерила для верности в ней температуру, сверху и кругом клала одеяла. До утра цыплёнок не мёрз.

Я немножко сыпала проснувшемуся цыплёнку зёрен сонной рукой и проваливалась в мой горячечный, всё ещё медикаментозный, сон. А Катя переживала, что он пищит, а мне надо спать и выздоравливать. У неё не могло быть своих детей. И ей казалось, что ребёнок—это самое хрупкое на свете, и что его надо беречь и лелеять, говорить ему только всё самое умное и доброе, объяснять каждую травку, и ни за какие калачи не говорить «я занята».

На рассвете она осторожно вынимала Горячее Облако из коробки и уносила с собой вниз. Где писала докторскую, готовила сложные завтраки, сервировала каждый раз, как в книжке «О вкусной и здоровой пище», стол и красиво-прекрасиво причёсывала свои чёрные блестящие волосы, и, наконец, тихонько подсаживала цыплёнка мне в коробку, и, разбудив, поджидала нас с папой к завтраку, блестя глазами и обдёргивая платье на поясе. Цыплёнок привык подбегать к ней.

Я помню это, как в замедленной съёмке. Катя зацепилась за порожек. Она ведь ещё по утрам бегала за свежим молоком. А там иногда надо было ждать. И она запыхалась. Её глаза смотрели на птенца. Руки дико метелили кругом, ища опоры. Бидон с молоком упал и выплеснул дымящийся белый язык до самых папиных кед. Коротенькая тюлевая занавеска с треском оборвалась. Папина пепельница грохнулась с узенького подоконничка, предварительно оттолкнув Катину руку от него. А Горячее Облако просто стоял и смотрел на Катю одним глазом, наклонив на бок головку.

Потом он лежал и пищал. Его кишки пёстрым перламутром выдавились через задний проход.

Катя смотрела то на меня, то на цыплёнка, не вынимая толстых, как камни в её колье (она так красиво одевалась утром!), осколков большой хрустальной пепельницы из коленок. Наверное, ей тоже казалось, что, если я закричу, то у меня всё-таки разойдётся этот проклятый шов.

Мы и Чехов

150 лет со дня рождения А. П. Чехова

…ЭТО СТАРАЯ, БАБУШКИНА ЕЩЁ, КНИГА рассказов, забавных, острых, грустных, ироничных. И таких совершенных по форме и языку… это театр Пушкина, где «Вишнёвый сад», в котором так легко дышалось, и «Чайка», пребольно клюнувшая в… это памятник на набережной (ведь это же Чехов, да?..), рядом с которым этим летом ходили люди с маленьким крокодилом на руках. Или это был аллигатор? Люди предлагали всем желающим сфотографироваться. Желающих было немало. И теперь у некоторых в фотоальбомах есть снимки себя любимого, рядом с Чеховым, с грустным крокодилом на руках…

Екатерина Сергеева,
поэт, доктор медицинских наук,
доцент Медицинской академии (Красноярск)

Я ПОЧТИ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ЧЕХОВЫМ, пока не понял, что он для меня—это я сам, попавший в 19 век. Я впервые подумал об этом, когда шёл автостопом во Владивосток и всюду встречал мемориальные доски, сообщающие о том, что здесь останавливался Антон Павлович. Потом я стал изучать его биографию, и тут оказалось, что в известной мне истории девятнадцатого столетия нет ни одного человека, про которого я бы сказал: «О! Я бы сделал точно так же, как он!». Чехов для меня настолько Человек-Поступок, что по сравнению с этим, как ни грешно это звучит, мне даже не очень важно, что и как он написал.

Алексей Караковский,
издатель, писатель, музыкант (Москва)

ЧЕХОВА МОЖНО ПОНЯТЬ, но нельзя объяснить. Как один человек мог написать «Лошадиную фамилию», «Чайку» и «Палату № 6»? Объяснить—никак. Понять—запросто.

Для меня Чехов—лакмусовая бумажка. По нему можно проверять себя. Когда-то у меня было полное ощущение, что Чехов не любит людей, не жалеет своих героев.

Позже наступило понимание, что видеть людей такими, какие они есть, изображать их во всей «красе»—тоже любовь. Любовь к тем, кем эти люди хотели-могли-должны были стать… Надеюсь, я ещё что-нибудь пойму о Чехове…

Дмитрий Мурзин,
поэт (Кемерово)

МОЙ ЧЕХОВ—ВОСПОМИНАНИЕ о страхе смерти, остром, детском, отвернуться к стене, «ихь штэрбе»; первое, что услышал о Чехове, лет в семь—рассказ о том, как он умер; позже—одеревеневшие крыла Иван Иваныча из «Каштанки» («К вам в комнату пришла смерть», о да; не с этими ли гусями—за вечной нехваткой устриц—предсмертные поезда?), под мёртвым небом в мёртвых алмазах—мёртвый Иван Иваныч, мёртвый Иванов, мёртвый Треплев, мёртвый Червяков, мёртвый Чехов, чахоточный чих, неизбежная mors, смерть. Да, теперь, конечно, мне не страшно его читать. Не *так* страшно.

Константин Беляев,
писатель, редактор
литературного журнала (Харьков)

Людмила Бондаренко

Озеро Шира

1.

— Доктора, доктора! Людей бы вы так лечили, как вы пляшете!..— помнишь, ворчала уборщица тётя Шура после очередных танцев в общаге? Да, славные были времена, есть, что вспомнить… Всему радовались, всё успевали — молодость!

Что я пришёл? Знаешь, стрессы, нервы… Всё есть, а жить не хочется… С женой проблемы…В смысле, всё раздражает, разговаривать толком разучились… На спорт времени нет, зато старые травмы дают о себе знать, особенно по ночам. Без таблеток не сплю… Не верю — неужели уже того… ну, возраст подходит… Артритик, хондрозик…

— Инсультик, инфарктик… Придурок! Лень и безделье!

— Это у меня-то — безделье?! Да я по 12 часов вкалываю!

— Штаны протираешь на совещаниях! А мог бы вкалывать за операционным столом, тогда и не ныл бы; так нет, в чиновники подался! Тебе же равных на курсе не было!

— Это всё комсомол… Туда назначили, потом выше перевели, и понеслось… Короче, Асклепий, посоветуй, куда поехать — Сочи, Прибалтика, Крым? Везде был, помогает, конечно, неделю — другую, а потом всё то же.

— Тяжёлый случай, но не безнадёжный. Ты помнишь Славку Турчинского из параллельной группы? Ну, вспоминай! История была нашумевшая, когда на здании нашего института появился, откуда ни возьмись, на огромном транспаранте, лозунг: «мы — умы, а вы — увы…»! И это в махровые совковые времена! На правительственной трассе! Помнишь, они мимо нас из аэропорта на свои дачи ездили. На том месте висел обычный плакат, на который и внимания никто не обращал, типа, «Наша цель — коммунизм». И вдруг такое! То, что это Славкина работа, мы могли только догадываться. Через много лет сам признался не без гордости. Так вот, сейчас Славка, вернее, Вячеслав Иванович, главный врач санатория «Озеро Шира». В институте он специализировался на психиатрии, кандидатскую защитил, потом увлёкся психотерапией. Вот к нему и поезжай.

— Здорово! Я же сам из тех мест. С родителями на Шира чуть ли не каждый год отдыхали. Только не поеду я туда. Скукотища! Массовик-затейник «три прихлопа, два притопа» и бег в мешках? Ну, озеро, ну, природа, я и в нашем Подмосковье не хуже найду…

— Ты меня спросил — я ответил. Ничего другого от меня не услышишь.

Одно знаю точно — не пожалеешь. Всё, до свидания, Василий! Привет Турчинскому!

А что, в самом-то деле? Побывать в родных краях, вспомнить молодость, встретить старых друзей — совсем неплохо!

Несколько звонков нужным людям, и к концу рабочей недели 20% путёвка в санаторий «Озеро Шира» с авиабилетами до Красноярска лежали на столе госслужащего Василия Петровича Шилова.

Озеро Шира, забытое в суматохе дней, завладело его мыслями.

Перед глазами предстала картина: он с родителями едет на отцовском служебном уазике по бескрайним хакасским степям, белёсым от ковыля, только устремлённые к небу огромные камни-менгиры изредка разнообразят пейзаж. И вдруг за пригорком открывается вид на озеро. Оно неожиданно грандиозно и величаво. Оно потрясающе прекрасно! Если хорошенько вспомнить, то именно это озеро сформировало многие жизненные представления — любовь к воде, к плаванью, (в молодости занимался серьёзно, даже имел разряд), возможно, выбор профессии. Именно так! Родители отдыхали по путёвке в санатории, а Васю устраивали на квартире у милейшей Марии Николаевны, работавшей в санатории массажисткой. После медучилища Василий, отслужив в армии, работал массажистом, да и во время учёбы в мединституте всегда мог подработать, а уж как девчонкам массаж нравится! Один из самых примитивных методов обольщения, открытый Василием, неоднократно и с успехом практиковался до женитьбы, потом как-то даже и забылся. Иногда вспоминал, во время отпуска на море…

*«То, что гусеница называет концом света,
учитель называет бабочкой»*

Р. Бах

2.

В аэропорту Красноярска Василия встретил водитель Турчинского на служебной машине, извинившись, что сам главврач, предупреждённый о приезде московского гостя, не имел возможности встретить лично. Василий был приятно удивлён таким вниманием. Не ближний свет — добираться, Василию пришлось бы трястись, кажется, ночь на поезде. Да и служебная машина — вовсе не «Волга»-развалюха, а новенький «Ниссан», домчал отпускника до места отдыха за 4 часа.

В кабинете Турчинского, уже после оформления в приёмном отделении, как положено старым друзьям-однокашникам, Василий, потянувшись к своему дипломату, со словами:
— Ну, что, за встречу, по коньячку?
— Вот чай, кофе — пожалуйста, а со спиртным у нас строго!
— Да брось, ты, Иваныч! Я хоть и не особо любитель, но всё же — традиция!
— Ты в приёмном расписывался при оформлении? Договор читал? Нет, конечно? Так вот, объясняю: ты взял на себя обязательства не пить спиртных напитков и не курить в течение 21 дня, т. е. на время отпуска. Я взял на себя ответственность за твоё выздоровление — психическое и физическое. Так что, сам понимаешь… Я — должностное лицо при исполнении, ответственность сторон…
— Да ты что, смеёшься? А в противном случае — что?
— Сначала — предупреждение, повторно — выписка без компенсации.

Всё юридически грамотно оформлено.
— Ну, и крут ты, мужик! Где-то я читал, что подобные методы практикуют монахи в буддийских храмах, там ещё надо всегда улыбаться и спину держать прямо, иначе палками поколачивают недовольных. У тебя хоть без этого, надеюсь?
— Обходимся без палок. Кстати, сигареты на стол выкладывай, и коньячок мне оставь на память.

Первая мысль Василия от такой наглости — напомнить, кто есть кто! Возмутиться, пригрозить штрафными санкциями и замучить проверками! Заорать, дать в морду! Уйти, хлопнув дверью, наконец!..
— Остынь! Если честно, ты ведь сам давно собираешься бросить курить? Более подходящий случай вряд ли найдётся! — отвечал мыслям гостя хозяин кабинета, вставая из-за стола.

Вячеслав Иванович открыл стенной шкаф, оказавшийся баром. Всякое видел Василий в жизни, но такого богатства и разнообразия напитков даже представить не мог…
— Видишь, друг мой, — не ты один страдалец! Это только эксклюзив, обычно сдаём в магазин на железнодорожной станции на реализацию. Кстати, на территории санатория и в посёлке не купишь ничего одурманивающего. А до станции придётся идти пешком 12 км. С транспортом тут туговато, знаешь, без моего распоряжения… При ломках и позывах ныряй в озеро — проверено. На третий день исчезают все симптомы интоксикации, аки младенец станешь!
— А крылышки не вырастут? Что-то очень уж всё просто!..
— Да мы сами привыкли всё усложнять! Ладно, хватит болтать, пойдём, я тебе санаторий покажу. Говоришь, в детстве отдыхал?

Василий, в сопровождении главного врача, несмотря на усталость после дороги, с любопытством осматривал знакомые места. Он узнавал и не узнавал — новые корпуса, лечебно-диагностическая база с новейшим оборудованием. Ну, допустим, узи сейчас никого не удивишь, но компьютерный томограф! Аквапарк, бассейны с минеральной водой, водопадами, фонтанами! А зимний сад с оранжереей, где среди пальм и тропических цветущих деревьев летали разноцветные попугаи и порхали *слишком крупные бабочки?*

Столовая, где обедали отдыхающие, больше походила на роскошный ресторан. Тип питания — шведский стол. Даже не понадобилось отдельного банкетного зала. Пообедали, как все.

Глаза видели, но мозг чиновника, подсчитывающий вложенные во всё это великолепие денежки, отказывался поверить в реальность.

Им овладело какое-то мрачное отупение, он, молча, смотрел, слушал, кивал…

Вячеслав Иванович, видя, что шоковая терапия на первом этапе удалась, проводил гостя в номер — вполне приличный двухкомнатный полулюкс с видом на озеро. Новенький корпус, как корабль, возвышался на самом берегу.

И всё же…
— Интересно, на какие шиши, грубо говоря? Поделись опытом!
— Успеем ещё об этом… Завтра, первым делом, идёшь на приём к своему доктору, а после — к психологу на тестирование.
— Издеваешься! Я что, псих, по-твоему?
— Порядок такой.

Василий уже понял, что спорить бесполезно. Ладно, пусть всё идёт, как есть, а ему только остаётся расслабиться и плыть по течению. От него уже ничего не зависит. Даже хорошо, наверное… Никакой ответственности, думать не надо. Рука по привычке полезла в карман за сигаретой. Тьфу, ты…

Закат над озером завораживал своим очарованием. Схватив полотенце, Василий помчался к воде. Ух, ты! Здорово! Бодрит!..

По телу разлилась благодать, каждая клеточка ликовала! Василий вернулся в номер спокойным и умиротворённым. На него навалился здоровый и крепкий сон до самого утра — впервые за последний год, как минимум…

«Шаг вперёд, чаще всего, это —
хороший пинок сзади».

Народная мудрость

3.

С утра началось обычное хождение по врачам: обследования, сдача анализов, назначение процедур. Поневоле, общаясь с отдыхающими в очередях перед кабинетами, в столовой, прислушиваясь к разговорам, из отдельных фраз, доносившихся до его ушей, что-то настораживало, начинала беспокоить какая-то недосказанность. Постоянно упоминался «тот день…», до «того дня» всё было по-другому, а после «того дня» настали другие времена. Какой «тот день»? Может, пришельцы прилетали, скважину с нефтью пробурили или клад нашли?

Компьютерное тестирование в кабинете психолога Елены Алексеевны, Елены Премудрой, как окрестил Василий с первой минуты знакомства симпатичную молодую блондинку, заняло не более получаса. Василию пришлось отвечать на сотню

глупейших бессмысленных вопросов, вроде «любите ли вы слонов?». Василий всё воспринимал в шутку, ну, в самом деле, нельзя же относиться к этому серьёзно!

В беседе с психологом выяснилось, что новые благословенные времена для санатория наступили примерно 5 лет назад. Приехала как-то в санаторий знаменитая и известная в широких кругах узких специалистов профессор-лингвист Уткина. Отдыхала почтенная дама, как все, лечила суставы чудодейственной грязью, пила целебную воду. Почувствовав прилив сил от благоприятного воздействия курортных факторов, она, в сопровождении молодого то ли ученика, то ли поклонника, стала совершать прогулки по окрестностям вокруг озера. Однажды профессор Уткина с молодым человеком фотографировались на фоне знаменитых на весь мир, огромных камней-менгиров, ими утыкана вся хакасская степь. Местные к ним привыкли и внимания особо не обращают, хотя, если задуматься… Такие громадины! Кто-то же их устанавливал! Многотонные махины 2–3 метра в высоту, есть и покрупнее… Археологи изучают рисунки и надписи, оставленные на камнях руками древних художников, ведут раскопки. Живая история! Так вот, профессор Уткина сфотографировала несколько древних посланий.

Короче, мировая сенсация! Надписи на *санскрите*, языке древнейшей индийской философии, утверждали, что озеро Шира, на самом деле — Шива, в честь одного из трёх главных богов Индии — Шива, Вишну, Брахма. Каменные истуканы — это божественные лингамы бога Шивы. Миллионы верующих во всём мире любят прекраснейшего, могущественного бога, первейшего и главного из великой троицы.

Бог Шива был всегда! Он олицетворяет собой силы природы, в том числе мужскую всепобеждающую энергию, неразрывно связанную с женской энергией, порождающей жизнь во всех проявлениях. Символ бога Шивы — Шивалингам. В Индии ему поклоняются в храмах, в домах, на природе, на священных берегах Ганга во время грандиозных праздничных церемоний, посвящённых богу Шиве, и — ежедневно, ежечасно, наедине с богом и самим собой…

Ом намах Шивайя!

Да не иссякнет никогда твоя великая сила!

Долгое время служители культа и учёные многих стран искали первоистоки, колыбель земного воплощения вечного и бесконечного бога Шивы.

Открытие профессора Уткиной не оставляло сомнений в том, что поиски благословенного места завершены, приравнивало озеро Шира, вернее Шива, к священному Гангу. Всемирно известный институт Брахмакумарис прислал делегацию, в которую входили очень важные учёные, они подтвердили правильность выводов профессора Уткиной. Более того, древние надписи сообщали о *повторном пришествии бога Шивы в новом воплощении.*

Информация обрушилась на Василия, как Тунгусский метеорит на сибирскую тайгу. Да, он чувствовал величие этого озера и свою неразрывную связь с ним. Ощущение, что он знал об этом, но забыл, не покидало его. Модная в последнее время тема близости двух языковых культур — русской и индийской, их взаимовлияния и взаимопроникновения, не просто интересовала, а глубоко волновала Василия. Почему его бабка, родом из глухой сибирской деревни, носила имя Агния? На санскрите — Агни — бог Солнца — огонь

Агни — я. Я — Агни! Почему его дядю назвали Ян?

«Выбирая богов, мы выбираем свою судьбу».

Вергилий

4.

В местной библиотеке Василий нашёл множество литературы по интересующему вопросу, попытался обобщить и систематизировать знания — давняя привычка аналитика. Огромное количество противоречивой информации было необходимо привести к общему знаменателю.

Итак. Индийская философия — древнейшая на Земле, первые упоминания XII — XI в. до Р. Х. — узнал Василий из словаря Эфрона и Брокгауза. Именно из индийской философии возникли все современные религии! В философских трудах Блаватской, Соловьёва, Рерихов и многих других авторов говорится о доарийских временах в Индии. Арии — белокожие и светловолосые воины, пришли в Индию с Севера, принесли свою культуру, породнились с местным населением, затем, возможно, часть из них осталась в Индии, а часть вернулась на север.

Троица великих богов — Шива, Вишну, Брахма — составляют единство Махадэва. Каждый из них имеет верную и преданную жену. Единство женского начала, воплощающего великую женскую энергию Шакти, носит имя Махадэви. Махадэва — Махадэви. Инь — ян.

Одно без другого бессмысленно и невозможно… Великий исполин Шива без энергии Шакти даже не способен пошевелиться.

Жена Шивы имеет несколько ипостасей, проявлений, которые очень точно отражают социальную роль женщины:

Сати — преданность и самопожертвование ради мужа;

Ума — нежность и чистота;

Парвати — олицетворение материнства;

Дурга — «недостижимая», многорукая богиня ведёт непримиримую войну со злобными демонами, защищая Шиву и помогая ему;

Кали — «чёрная», мстительная сущность, необходима для очищения рода человеческого от скверны.

Индийские боги, самые древние из всех известных, имеют множество воплощений в последующих божествах, т. н. аватарах, а именно: Кришна, Рама, Будда, Лао-Цзы, Конфуций, великие правители, знаменитые деятели, прославленные герои и простые смертные… — до бесконечности!

«Источник истинного знания есть откровение, содержание Вед, которые произошли раньше мира из дыхания Верховного существа Брахмы», — цитата из древней Веданты.

Информационное поле. Вначале, как известно, было *слово*.

Брахма—источник информации, наша связь с информационным полем, наша способность к восприятию информации *для того*, чтобы что-то делать. Интеллект, разум, *логос*.

Вишну—творец. Всё, что создаёт человек в своей жизни—дети, дома, книги, музыка, картины, мебель, посуда, одежда; выращенные деревья, цветы, плоды; то, чего не было без него и рождено, сотворено с его участием—приближает к творцу. *Творчество, созидание.*

Шива—огонь, страсть, игра, зажигающий танец, стихия, интерес, начало и конец для нового витка развития или уничтожения. *Энергия* для созидания или разрушения. *Чувства и эмоции.*

«Всё, что строится, создаётся из разрушенного, и в мире нет ничего нового, кроме форм»

Марсель Швобб

Получается, что в любом из ныне живущих обитает дух древнего индийского бога, вернее, каждого из великой троицы. Бог есть Любовь, энергия жизни, живая развивающаяся система!

Василий был потрясён и очарован простотой и гениальностью этой системы знаний. Всё взаимосвязано. Единое информационное пространство даёт возможность выбирать то, что соответствует твоему жизненному опыту, а не слепо подчиняться кем-то раз и навсегда установленным правилам. Безграничная возможность для творчества!

«Слепая вера противна рассудку,
вера по убеждению—слияние разума с волей»

В. Даль

5.

—Что уж ты так разволновался-то?—сам себя спрашивал Василий, зная ответ и испытывая внутреннюю дрожь от сознания собственной значимости. Вселенная расширилась, и он, Василий, не просто пыль и мельчайшая песчинка, а очень даже важная её часть.

Васина фамилия Шилов с раннего детства в любом сообществе—во дворе, садике, пионерском лагере, школе, спортивной секции—гарантировала ему прозвище Шило, что вполне соответствовало настырному характеру маленького Васи. Однако, ближайший друг Борька Чмых не выговаривал букву Л, поэтому вместо Шило, получалось Шива. Так и прилипло—Шива да Шива. Тем более, первые две буквы фамилии и имени Шилов Вася, складывались в то же слово—Шива. Это порождало массу, мягко говоря, неудобств. Например, во время Васиного дежурства в классе, когда Вася с красной повязкой на рукаве следил за порядком, стоя у входной двери, пройти мимо дежурного, называлось—пройти проверку на вшивость. Каждый считал своим долгом блеснуть остроумием:
—Шива—Шива, видишь вшей? Ты гони их всех взашей!
—Иди сюда, мой Шива, мне без тебя паршиво!
—Рот у Шивы до ушей, хоть завязочки пришей!
И т.д.

Так что, своим прозвищем, от которого было пролито немало слёз, получено множество синяков и царапин, Вася отнюдь не гордился. Детские обиды, о которых он никому не рассказывал, сформировали у него жуткий комплекс неполноценности, преодолевать его пришлось всю жизнь.

А тут вдруг такое… Василий бродил в одиночестве по берегу озера, плавал до изнеможения, жарился на солнце, валялся на песке, прислушиваясь к своим новым ощущениям. Чувство, охватившее его, было настолько необычно по своей мощности и новизне, что он боялся—его сочтут сумасшедшим, если он попытается кому-то рассказать и объяснить, что с ним происходит. Он радовался каждой травинке, бабочке, божьей коровке. Разговаривал с цветами и птицами. В плеске озёрных волн слышалась человеческая речь.

Чувство огромной вселенской *любви* наполняло душу и тело Василия и часто неожиданно выливалось от переизбытка слезами счастья. Он ни с кем не хотел и не мог говорить, разве что по необходимости, на процедурах и в столовой. Нужно было принять, усвоить, переварить, сделать своим, чтобы не исчезло вдруг это волшебное состояние необъяснимой радости и душевного покоя.

Отпуск неумолимо приближался к завершению. Перед отъездом Василий зашёл попрощаться с Турчинским и от души поблагодарить за то, что он приобрёл—нового себя, бодрого, здорового, помолодевшего, уверенного, что нашёл какой-то внутренний стержень.

А может, ещё не нашёл, но сделал первый шаг в правильном направлении… Главврач, не дав гостю открыть рта, извинился:
—Прости, друг, что времени мало тебе уделил. Сам понимаешь, дел по горло. Гостей принимал высоких. Наши боги, так сказать…
—Из Индии?
—Да, нет,—рассмеялся Вячеслав Иванович,—из Норильска. Комбинат, как ты знаешь, в десятку богатейших предприятий в стране попадает. Прогрессивное руководство. Это в Куршевелях они только куражатся, а лечиться здесь любят, вот и поддерживают на должном уровне.
—А как же?..
—Индия? Это всё Елена Алексеевна, психолог, известный у нас специалист по мифотворчеству. Набирает материал на кандидатскую по теме «Влияние сферы бессознательного на психосоматику». Ты знаешь, неплохие результаты! Я дал ей полную свободу действий. А уж как к нам народ потянулся! Заполняемость—100% круглый год! Раньше о таком и не мечтали. Так что, говоришь, в этом году в моде Индия? В прошлом сезоне были сплошные Зевсы и Афродиты, а надписи на менгирах были на древнегреческом. И вообще, не менгиры это, а гермы бога Гермеса, ну, сам понимаешь, символика… Надеюсь, не скучал, не жалеешь о проведённом у нас времени?
—Да уж, с вами не соскучишься!.. На будущий год с женой приедем, это я тебе точно обещаю!

«Ты освободитель божественных имён»

М. Волошин

Тамара Гончарова

Воспоминания о будущем

Одно утро Ольги Ивановны

Утром по радио передали прогноз погоды: ночью было за сорок градусов мороза, днём обещали минус тридцать пять. Скоро Крещение, и зима не упустила случая доказать, что она не просто зима, а сибирская и суровая. И стёкла на окнах она покрыла инеем, разрисовав морозными узорами, сквозь которые ничего не было видно. Но стужа стужей, а одинокая пенсионерка Ольга Ивановна собралась в магазин—в доме закончился хлеб. Закутавшись теплее, она вышла из подъезда. На улице стоял густой, плотный—хоть топор вешай—сизый туман. Рядом с крыльцом, в палисаднике под окном, топорщили ветки, тоже покрытые толстым слоем инея, два высоких куста: рябины и сирени. На них неподвижно сидели несколько синичек и стайка нахохленных серых воробьёв. Не было слышно ни цвиньканья, ни чириканья, видно, у пичуг уже не было силёнок. И всё же они цепко держались за ветки своими тоненькими лапками. «Господи, и как они ещё не отморозили ножки?»—с острой жалостью подумала Ольга Ивановна. Прикрыв рукой в тёплой вязаной варежке сразу озябшее лицо, она торопливо шла и переживала: «А к ночи-то снова сорок будет, совсем птицам туго придётся. Нынче синичек после прошлогодних морозов в городе редко увидишь. Как бы и с воробьями та же беда не приключилась». Купив в соседнем киоске хлеба, она вернулась к подъезду. Стянув варежку, еле отломила от уже затвердевшей на морозе буханки краюшку, раскрошила её рядом с крыльцом и отошла в сторонку. Птицы, хотя и казались совсем примёрзшими к веткам, вдруг оживились и мигом слетели на снег к угощению. Крошки моментально исчезли в их клювиках, а изголодавшиеся и промёрзшие пичужки не улетали, суетились на снегу и всем своим видом, казалось, говорили: «Ну, что же ты, что же, бабушка, не жадничай, дай ещё!» Ольга Ивановна, улыбнувшись, снова бросила им крошек и сразу спрятала замёрзшую руку в варежку. Она вспомнила, что в холодильнике у неё лежит шматок несолёного сала, которое очень любят синички. Дома она нарезала сало маленькими кусочками, высыпала их в широкую коробку из-под обуви, вынесла её во двор и поставила под кустами на снег. Птичья мелочь снова набросилась на еду, совсем уже не опасаясь своей благодетельницы. Но не успели птицы склевать и по кусочку, как откуда-то сверху с громким и грозным карканьем на них налетели две вороны. Птахи в испуге шарахнулись от них в разные стороны. От неожиданности даже Ольга Ивановна отступила назад, но, опомнившись, замахала руками: «Кыш, разбойницы, кыш, пиратки, пошли вон!» Вороны нехотя взмахнули крыльями и отлетели, правда, всего на несколько шагов. Вытянув шеи, чёрными блестящими бусинами глаз они жадно смотрели на недоступный корм, явно собираясь снова атаковать коробку. Но Ольга Ивановна была настороже и, подобрав льдинки, бросала их в ворон, отгоняя тех подальше. Напуганные синички с воробьями сидели на соседних кустах, но ведь голод-то не тётка, и они, осмелившись, всё же снова подлетели к коробке со спасительной едой. Склевав сало, о чём-то поцвинькав и почирикав между собой, повеселевшая птичья братия скоренько убралась от греха подальше. Вороны же, несколько раз злобно каркнув, мол, ладно же, припомним мы ещё вам всем, припомним, тоже улетели куда-то. Видно, подались добывать себе пропитание где-нибудь в другом месте, авось, и повезёт.

Промёрзшая, но довольная, пришла Ольга Ивановна домой, растёрла ладонями уже начавшие белеть на морозе щёки и заварила себе чайку со смородиновыми листьями. Обхватив озябшими руками чашку с горячим чаем, она прихлёбывала ароматный напиток и размышляла: «Вовремя я сегодня подкормила бедных пташек! Глядишь, и выдержат эти морозы. Может, и ещё кто-нибудь их пожалеет, а там и до весны не так уж далеко. Вот бы и нас, стариков, кто-нибудь так же от холода да от воронья разного защищал». И тут же сама над собой посмеялась: «Ишь, бабка, размечталась! Ты же не воробей и не синичка, одними-то крошками ведь не обойдёшься! Допивай свой чай да займись делами!» Вымыв чашку, Ольга Ивановна просеяла муку и завела тесто для пирожков с картошкой и капустой, которые очень любил обещавший приехать в гости племянник-студент. Потом она села довязывать шерстяные носки для него, ведь на дворе пока ещё всё-таки хозяйничала такая студёная нынче зима.

Воспоминания о будущем

Мария Сергеевна ехала на дачу. Электричка затормозила и остановилась на очередной станции, а из вагонов высыпали дачники с рюкзаками на плечах. Взгляд Марии Сергеевны, сидевшей у окна, невольно задержался на трёх черноволосых парнях лет по 25, прошедших мимо вагона. Вдруг один из них остановился, наклонившись, что-то

поднял из-под ног и положил на край синей вокзальной скамьи. Это что-то оказалось куском белого хлеба, валявшимся на грязном бетоне платформы. Парни отправились дальше, а пожилая женщина, сидевшая напротив и тоже наблюдавшая эту сценку, сказала: «Это из Узбекистана ребята, работу у дачников ищут. Они у моих соседей колодец выкопали, сработали на совесть. И смотрите, кусок хлеба подняли, чтобы его ногами не топтали, а ведь бросил-то кто-то из наших, местных — взрослых или детей». Мария Сергеевна, соглашаясь, кивнула ей головой, и обе женщины, задумавшись, поехали дальше.

Марии Сергеевне вспомнился другой случай, произошедший у неё на глазах уже в маршрутном автобусе. Вообще сейчас каждый пожилой человек в городе мог бы поведать историй если не на целый роман, то на повесть уж точно о своих впечатлениях от поездок в городском транспорте. Мария Сергеевна была уже на пенсии, но ещё работала. И вот как-то она, уставшая, с поднявшимся давлением, ехала с работы домой и очень обрадовалась, когда увидела свободное место. Со вздохом облегчения она опустилась на сидение, рядом с юношей лет шестнадцати. На следующей остановке по ступенькам тяжело поднялась, опираясь на палку, высокая полная старуха. Свободных мест больше не было, и она встала у двери, вцепившись в стойку, — автобус шёл неровно, то и дело дёргаясь. Рядом сидело много крепких молодых людей и симпатичных девушек, модно и со вкусом одетых, с красивым макияжем на лицах. Одни из них были заняты серьёзным делом — передавали, видимо, очень срочные, просто неотложные эсэмэски; кого-то вдруг одолел внезапный предательский сон. Остальные просто равнодушно наблюдали за пожилой женщиной с забинтованной у щиколотки ногой. Не выдержал лишь один смуглый мужчина лет тридцати пяти. Похоже, это был выходец из Таджикистана. Он поднялся, притронувшись к руке старухи, стоявшей к нему спиной, и с акцентом сказал: «Садитесь, бабушка!» Та, тяжело припадая на больную ногу, прошла к освобождённому месту и села: «Вот спасибо-то, сынок! Вот спасибо! Дай тебе Бог здоровья!» Мария Сергеевна с удивлением невольно произнесла, обращаясь к парню-соседу: «Надо же, а вот из наших ребят-горожан почему-то никто не догадался уступить ей место! Воспитание на востоке другое, что ли? Хотя я всю жизнь в школе работаю, но никогда не учила детей быть такими бесчувственными и жестокими!» Но молодой человек ничего ей не ответил (слава Богу!), только как-то странно на неё посмотрел, как на некое ископаемое, что ли. А Марии Сергеевне припомнилась ещё одна автобусная история, уже с ней самой. В маршрутку она заходила вместе с молодой светловолосой женщиной, державшей за руку сынишку лет шести. Свободных мест, как обычно, не было, оставалось одно. Мальчик уже направился, было, садиться, но его мама, не отпуская руку сына, очень серьёзно сказала ему: «Ты же у меня мужчина и уже большой! Давай уступим место бабушке!» И она кивнула Марии Сергеевне, приглашая сесть. Та всё-таки попыталась возразить: «Пусть ребёнок садится!» Но шестилетний мужчина теперь ответил сам: «Я уже большой, я постою!» Поблагодарив его: «Спасибо, молодой человек!» — Мария Сергеевна заняла место и благодарно улыбнулась его совсем ещё юной, но уже такой мудрой маме. Ведь когда-то ещё её бабушка сказала, что кого растишь, того и вырастишь, с тем и старость встречать придётся. Так, выходит, что те, кто вырастил и воспитал здоровых и красивых внешне, но с абсолютно равнодушной душою людей, сами потом могут наткнуться на остриё этой палки о двух концах? Бруно Ясенский недаром говорил: «Бойтесь равнодушных!» Но маме шестилетнего рыцаря это уж точно никак не грозит, равнодушия своего сына ей бояться нечего.

А память преподнесла Марии Сергеевне воспоминание о давней уже встрече и разговоре с девочкой-осетинкой. Ещё в начале перестройки бригада плотников из Осетии приехала в маленький городок в Иркутской области строить дома из бруса, да так и осталась там жить. Плотники построили дома и для себя, перевезли свои семьи, дети их пошли в местную школу. Одно семейство поселилось по соседству с мамой Марии Сергеевны. А так как старушка жила одна, прибаливала, как все пожилые люди, то новые соседи помогали ей: то за хлебом, то за молоком сходят, а в праздник Святого Георгия и на Пасху, на Новый год угощали её своим, очень вкусным, осетинским пирогом с сыром. Делала это чаще всего их дочь-семиклассница Лаура. Мария Сергеевна часто приезжала навестить мать и познакомилась с её вновь поселившимися соседями.

Как-то она разговорилась с девочкой, которая знала, что Мария Сергеевна работает в школе учителем литературы. Лаура оказалась начитанной не по годам, причём, знала не только книги по школьной программе. И когда Мария Сергеевна поинтересовалась, знаком ли Лауре поэт Коста Хетагуров и его книга «Осетинская лира» («Ирон фандыр»), то девочка с радостью закивала головой. «Ой, Вы тоже её читали? У нас дома есть эта книга! У нас и другие осетинские книги есть, целая библиотека. Хотите, расскажу?» И она начала взахлёб пересказывать события, о которых говорилось в книгах.

Мария Сергеевна с удивлением слушала, и ей было немного обидно за своих учеников-старшеклассников: «Вот бы и все они так же знали и любили наших русских классиков! Вот бы и их не приходилось всяческими методами и ухищрениями заинтересовывать, а то и буквально заставлять читать хотя бы по программе Тургенева, Толстого и Достоевского! Младшие-то дети пока ещё всё-таки читают и для уроков, и что-то для себя, а вот старшие…». Она спросила девочку: «А кто собирал вашу домашнюю библиотеку?» Оказывается, и покупал книги, и читал сам, и хотел, чтобы их читали его дети, глава семейства, работавший плотником. А Лаура ещё больше удивила свою взрослую собеседницу: «Я, когда окончу школу, буду поступать учиться в пединститут, на учителя русского языка!»

Марии Сергеевне сейчас уже было известно: эта девочка, прекрасно знавшая в седьмом классе свою родную осетинскую литературу, выросла и знает так же хорошо русский язык и литературу. Лаура окончила пединститут с отличием, уехала на родину, в Осетию, и работает в школе, учит осетинскому и русскому языку местных ребятишек. И Марии Сергеевне с болью подумалось: «Вот потому и сохранился в веках такой маленький народ—аланы (осетины), что они—и плотники, и их дети, и учителя—знают и любят родной язык, почитают своего Святого Георгия, своих поэтов и писателей; уважают стариков и заботятся о них. Они помнят и соблюдают национальные обычаи и не представляют себе, что можно всё это забыть и жить по-другому! А что же ожидает нашу Русь, столько пережившую: монголо-татарское иго и Смутное время, изгнавшую Наполеона и победившую Гитлера? А сколько миллионов людских жизней унёс с собой один только двадцатый, такой жестокий и кровавый век! И неужели теперь ослабел, оскудел, очерствел душой наш народ, и забываться стал русскими людьми родной чудесный мир вековых, добрых устоев и обычаев? А мечтой и целью жизни и молодых, и пожилых навсегда останутся только деньги, «бабки», только «зелёные» и евро, только нажива? И неужели останемся мы Иванами, не помнящими родства, и навсегда канет в Забыть-реку мир прапамяти народной, а потому и сам великий русский народ? Ведь нас и сейчас-то осталось не так уж много». Кто ответит, кто разуверит старую учительницу в этих горьких мыслях? И разуверит ли уже теперь?

ДиН антология

120 лет
со дня рождения

Борис Пастернак

Анне Ахматовой

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь,—мне это трын-трава,
Я всё равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растёт и отдаётся в каждом слоге.

Кругом весна, но за город нельзя.
Ещё строга заказчица скупая.
Глаза шитьём за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей, и звёзд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остёр,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор—
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушён не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикololи,

Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепли прозы пристальной крупицы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

Брюсову

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы; жалко,
Что прошлое смеётся и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка—улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настежь в город дверь открыли?
Что ветер смёл с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешённых рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снесть
Пережитого слышащихся жалоб.

Марина Золотаревская

Детский адик

Алле Ходос

Кто её зовёт?

— Вон ту девочку зовут Аня…

— Кто её зовёт, папа? — недоумённо спросила дочка.

— Все её зовут!

Отец не понял, что для неё, трёхлетней, «звать» означало «подзывать», «называть по имени, прося подойти». Однако сейчас она не слышала, чтобы кто-нибудь кричал той девочке: «Аня! Аня!»

А человека, которого никто не зовёт, не зовут никак.

Чудо

— У божьих коровок есть свои больницы, — заявила Янка. — Заболеет какая-нибудь, или лапку сломает, так её божья коровка-скорая помощь на спинке в больницу отвезёт.

— Врёшь ты всё, — не поверила Ирка.

Они были сёстрами, но *двоюродными*, и второе отравляло Янке всю радость от первого. Когда общая бабушка, у которой они сейчас гостили, выпускала смуглую Янку и беленькую Ирку поиграть на улице у калитки, и у них спрашивали: «Вы сестрички?», Янка отвечала «Да!» и страшно злилась на Ирку, всегда прибавлявшую: «Двоюродные».

Она была на полгода старше пятилетней Ирки, и обычно та с удовольствием верила всем её выдумкам. А тут вдруг отказалась.

— Божьих коровок — скорых помощев не бывает!

— А вот и бывает! — не сдавалась Янка, сама себя уже убедившая.

— Вруша, вруша, гнилая груша!

— Ирка-дырка!

— Янка-поганка!

Они сцепились и в этот день так и не помирились. А на следующее утро Янка увидела: по песчаной садовой дорожке через пятна света и тени быстро ползёт крупная божья коровка, а на спинке у неё сидит другая.

— Ирка! Ирка-а-а-а!

Та прибежала со всех ног. «Смотри!» — показала Янка и хотела добавить: «Извинись!», но почему-то не стала. Она ведь и сама не знала, каким чудом её выдумка вдруг превратилась в правду.

Ирка посмотрела и уважительным шёпотом спросила:

— А что у неё болит?

В гостях

Сидевшая на диване старуха, к которой подвели Серёжу, напоминала трухлявый кривой сучок. Она подняла голову, похожую на маленькой череп, и мальчик увидел, что оба её зрачка густо замазаны белым.

— Тётя Аня, вот Серёжа! — громко крикнула мать.

Тётя Аня не ответила ничего. Когда же родители вышли в коридор, она вдруг заговорила дребезжащим голоском. То была настоящая импровизация, но в свои неполные шесть лет мальчик не знал такого слова. Он просто понял: тётя что-то выдумывает вслух.

> Мальчик ест только конфеты.
> Только конфеты, торты и пирожные.
> И не хочет смотреть ни на что другое.

«Неправда», — сказал мальчик. «Я конфеты не люблю». Он и в самом деле их не любил. Взрослые думают, будто все дети должны обожать сладкое. Одного этого было достаточно, чтобы Серёжа его возненавидел. Он полюбил лимоны: сначала назло, а потом по-настоящему. Он мог съесть целый лимон, со шкуркой и без сахара.

А тётя Аня, не обращая на него внимания, продолжала говорить, и теперь даже в рифму:

> И сколько ни рыбного, ни мясного
> Мама не даёт,
> Он и ложки в рот не берёт.

«Неправда», — снова сказал Серёжа,
а в ответ прозвучало:

> И в один прекрасный день
> Наш мальчик сделался, как тень.

«Неправда!»
Но дребезжащий голосок добавил:

> Он очень заболел,
> Потому, что только сладкое ел.

Страшнее её белых глаз и костлявой головы было то,что она не обращала на его протесты никакого внимания. Мальчик решил, что она так издевается, и выкрикнул самое скверное слово, какое только мог себе позволить: «*Противная!!!*»

Его услышали, но не тётя Аня, а вошедшая мать. Секунду спустя щека у него горела.

А тётя Аня продолжала дребезжать своё. Она была не только незрячей, но и совершенно глухой, и происходившее в её бедном мозгу давно уже не зависело от окружающего мира. Вот только объяснить это мальчику никто не потрудился.

Игра

В солнечный, сонный зимний день семилетняя девочка играла в тёплой комнате перед окном со своими куклами.

Голые желтоватые куклы лежали вниз лицом на широком белом подоконнике. Девочка развела

в глазурованном кувшинчике немного шампуня, смачивала в нём ватку и протирала ею кукол. Всякий взрослый сказал бы: купает своих дочек. На самом же деле она бальзамировала трупы. По игре, для неё это был единственный способ заработать на жизнь.

Но *их* полагалось ещё и отпеть, и она выбрала слова, лучше всего подходившие к случаю. «В пряже солнечных дней время выткало нить»,—тянула она безголосо.—«Мимо окон тебя понесли хоронить».[1]

Бальзамирование и песня-обряд превращали смерть в солнечный вечный сон.

Через двадцать с лишним лет она наблюдала украдкой, как играет с куклой её собственная дочка. Дочка лечила куклино ухо, прикладывая к нему поверх белой тряпочки кожаный футлярчик для автобусных талонов, изображавший грелку.

Мать смотрела и радовалась, что от того проклятого шампуня не осталось ни капли.

Наказанная

Накануне утренника Катю поставили в угол за то, что она *нагло* не желала спать и болтала с другой девочкой. На самом деле болтала та, другая, а Катя только слушала, но именно её, как самую крупную и старшую в группе (Кате уже исполнилось семь) автоматически посчитали зачинщицей. Оправдываться она не стала: что она, ябеда-доносчица, курица-извозчица, что ли?

С дисциплиной тихого часа в садике было строго. Воспитательница, заметив болтающих, всегда орала: «Вы только подумайте! Сами не спят и другим не дают!», и как будто не замечала, что от её вопля просыпаются все уснувшие дети. Катю это лишний раз убеждало в непроходимой дурости взрослых.

Один раз в спальню вошла заведующая. Катя крепко-крепко зажмурилась и услышала над собой её голос: «Рувинская спит! Небывалое дело!»

И заведующая уселась прямо ей на ногу, да так и сидела, разговаривая с воспитательницами, а Катя лежала молча, терпела и вытерпела. И вот надо же, сегодня попалась.

Стояние в углу в комнате для занятий считалось позорным, а было скучным. Правда, можно было отодрать от стенки вязкую капельку застывшей масляной краски и попытаться из неё что-нибудь слепить. Но сейчас Кате было даже и не скучно, потому что за её спиной воспитательница репетировала с Танечкой Стекловой.

Похожая на куколку, хлопавшая большими глазами Танечка выступала на каждом утреннике и восхищала всех родителей. «Какая красивая девочка!»,—ахали Катины папа и мама. «А я красивая?»—спрашивала Катя и всегда получала: «А ты—обыкновенная».

Мальчик Саша, который немного с ней дружил и которого невозможно было поставить в угол,—он смеялся и выходил из угла,—говорил о Танечке: «Чего они с ней чипалятся?». Вряд ли он мог объяснить, что такое *чипалятся*, но этого и не требовалось. Последний месяц воспитатели особенно *чипалились* с Танечкой: на предстоящем утреннике она должна была читать главный стих и поэтому её, счастливицу, ради репетиций освобождали от дневного сна.

…Катя в углу наставила уши. Услышанное ей понравилось.

> Мишка, мишка, как не стыдно!
> Вылезай из-под комода.
> Ты меня не любишь, видно?
> Это что ещё за мода?
> Как ты смел удрать без спроса?
> На кого ты стал похож?
> На несчастного барбоса,
> За которым гнался ёж…

Дальше было ещё лучше, потому что похоже. Так могла сказать она сама:

> В коридоре полетела,
> Вот царапка на губе…

Словом, когда запинавшаяся Танечка прочла стих про мишку второй, а потом и третий раз, Катя его запомнила. Стихи она любила больше всего на свете, и с год назад, выучившись читать, стала запоминать их целыми страницами, хотя от некоторых становилось грустно, так грустно, что и плакать бесполезно.

> Родила меня мать в гололедицу,
> Умерла от лихого житья…

Но тут пришла золотая медведица. И вынянчила чужое дитя, вырастила из него немножко медведя, волшебного, как она сама. Так зачем же она потом ушла, эта золотая медведица? Как же он—такой—будет теперь один?

Иногда Катя рвалась в стих, чтобы исправить происходящее.

> Сильный шотландский воин
> Мальчика крепко связал
> И бросил в открытое море
> С прибрежных отвесных скал.

Захлёбываясь горьким негодованием, как морской водой, она переделывала:

> Всех—короля и воинов—
> Мальчик крепко связал…

Ей очень хотелось прочесть вслух всё, что запоминалось, но прочесть было некому. Мама с папой просто отмахивались, а бабушка перебивала Катю на середине, ледяным голосом спрашивала: «Ты закончила?» и зловеще сулила: «Надеюсь, в школе тебе будет не до беллетристики». Беллетристикой она, сама читавшая только газеты, именовала все на свете книги, включая детские, и если уж соглашалась почитать Кате хоть про Айболита, то прибавляла к каждому слову: «Какая глупость!»

Бывшая учительница, она ушла на пенсию на полгода раньше положенного и «потеряла в деньгах», чтобы заняться внучкой, о чём той напоминали каждый день. К бабушке и сейчас иногда приходили старшеклассницы, и она рассказывала им, что есть какая-то Кися Зота[2]. Внучка же никогда не слышала от неё ни одной сказки, ни одной истории. Бабушкин рот, вечно сжатый

1. Сергей Есенин, «Подражание песне».
2. Окись азота.

в узелок, обычно приоткрывался только, чтобы выпустить: «Ты должна осознать свою вину», «У тебя всегда беспорядок», «Научись себя вести». Катя, когда была поменьше, не понимала, как это можно вести *себя*—за ручку, что ли?—и со смехом пыталась взять за ручку свою тень на стенке, демонстрируя, что вести себя не получится.

…Катя не стала рассказывать бабушке, что стояла в углу,—разве можно что-то объяснить взрослым?—а на вопрос: «Так чем вы сегодня занимались?» ответила: «Стихи учили. Мишка, мишка, как не стыдно…»

Бабушкиного терпения хватило только на четыре строки.

— Кто это написал?

Катя с ходу выдумала:

— Поэт Комарицкий!

Бабушка собрала рот в узелок и наконец процедила:

— Не знаю такого.

На следующий день Катя, как было велено, взяла с собой в садик куклу: утренник именовался День Любимой Игрушки. Вообще-то она любила играть не с куклами, а с канцелярскими принадлежностями, и не в дочки-матери, а, например, в побег из крепости. Или в Порядок и Беспорядок.

Вокруг Господина Беспорядка,—его изображал расписанный под хохлому деревянный стакан для карандашей,—группировались все, кто не соглашался спать, когда не хочется, и стоять в углу, и вообще вести себя за ручку. Против них были тихонькие и примерные послушки-многокушки, ябеды-доносчицы.

Прекрасный в своих чёрно-ало-золотых доспехах, Беспорядок был вроде как злодей, однако в конце игры почему-то оказывался хорошим. Но не могла же Катя принести его в садик!

…Первое, что услышала она, переступив порог, было:

— Что делать?! Стеклова не пришла, заболела!

Воспитательницы метались как ошпаренные. До Кати донеслось понятное любому детсадовскому ребёнку слово «комиссия». С куклой в руках она, не задумываясь, шагнула вперёд.

— Я могу прочесть про мишку…

— Ты?! А ну пошли! Да положи ты свою дурацкую куклу!

Больно схватив за руку, Катю потащили к заведующей.

— Надежда Михайловна! Надежда Михайловна! Вот, Рувинская может прочесть вместо Танечки!

— Читай!—приказала заведующая.

Катя послушалась. Она добралась до конца, не запнувшись.

— Откуда ты знаешь эти стихи?—спросила заведующая почти с подозрением.

Катя хотела посмотреть ей в глаза, но видела перед собой только широкий живот.

— Вчера выучила. Когда в углу стояла.

Ответа не последовало, и она ещё добавила:

— Только я не знаю, кто это написал.

— Саша Чёрный,—машинально ответила заведующая, и вдруг отчего-то спохватилась.—Этого говорить не надо!

Оказывается, поэта зовут как мальчика. Но почему этого не надо говорить? Однако раздумывать было некогда. Кате наспех подтянули колготки, одёрнули платье, сунули в руки чужого жёлтого медведя, велели улыбаться гостям и повели её в зал.

…Ей хлопали, но не так, как Танечке, с которой увесистая Катя не шла ни в какое сравнение, и за спасение утренника никто не сказал ей спасибо. Но она всё равно была счастлива, уверенная, что *они* теперь поняли: Катя, если надо, может запомнить любые стихи. Может быть, они думают, что для этого её надо поставить в угол? Пускай ставят. Пускай себе Танечка Стеклова выступает первая. А потом она, Катя. А вдруг ей разрешат прочесть то, что она сама захочет? Про золотую медведицу, про вересковый мёд?

Она ждала этого перед Новым Годом.

Потом—перед Женским днём.

Потом—перед Первомаем.

И—последняя надежда—перед прощальным утренником.

Но выступать перед гостями по-прежнему поручали изящной Танечке, а крупную Катю сажали в задний ряд, чтобы не мешала на неё смотреть.

…Пятнадцать лет спустя Катя вышла замуж за Сашу. Иногда он просит её почитать что-нибудь наизусть.

Тайна Игнатьевны

Игнатьевна, тощая маленькая старушка, работала в Олиной школе уборщицей. Ела она в школьной столовой и всегда ходила в платке, чёрном халате под названием спецовка и высоких резиновых сапогах. Учителей полагалось называть по имени и отчеству, другую уборщицу—тётя Ира, а её—почему-то Игнатьевна. Первоклассница Оля находила это очень невежливым. Что-что, а вежливость в Олю вколотили накрепко. В школе она здоровалась со всеми встречавшимися ей взрослыми и однажды, спускаясь по лестнице, поздоровалась со стоявшей в дверях второго этажа Игнатьевной.

В ответ Игнатьевна закричала—то ли на Олю, то ли на кого-то в глубине этажа—закричала, точно залаяла. Оля знала, что думать так очень плохо, но ей всё равно казалось, что Игнатьевна кричит «ав, ав, ав», как маленькая, злющая жалкая собачонка.

Как-то после уроков учительница послала Олю принести веник из кладовки под лестницей, куда прежде та ни разу не входила. Оля сунулась в кладовку и перепугалась. Среди лопат, мётел, швабр и прочего стояла железная кровать, а на ней лежала Игнатьевна. Спала. Девочка схватила ближайший веник и убежала.

Она поделилась увиденным с Викой. Подружка из Вики была так себе. Правда, она рассказывала удивительные истории, которые нельзя было нигде прочитать, но нередко ни с того, ни с сего щипалась или обзывалась. А ущипнёшь её в ответ или скажешь: «Кто первый обзывается, тот так и называется!»,—так она надуется и перестаёт с тобой разговаривать. Но родители всегда шпыняли Олю за то, что она ни с кем не дружит, а значит,

плохая. Приходилось терпеть Вику с её щипками и обзываниями.

Услышав, что Игнатьевна спит в кладовке, Вика спросила:

— А знаешь, почему она так живёт?

— Как живёт?

— Бедно-пребедно. Ест в столовке. И спит в школе. И одежды себе совсем не покупает. Она деньги копит, хочет собрать тысячу рублей, чтобы от своих родителей откупиться.

— Какие у неё родители? Она же старая!

— А родители ещё старее.

— А как это — откупиться?

— Придёт к ним и скажет: «Вот, заберите обратно тысячу рублей, которые потратили на моё воспитание, и прощайте навсегда!» И больше к ним не придёт. И письма не пришлёт. И по телефону не позвонит.

— Они её обижали? — догадалась Оля?

— Ещё как! Вот она и хочет откупиться. Только никому не говори, это тайна, поняла?

Оля и без того знала, что услышанное от Вики лучше не повторять дома. Но она задумалась. У неё были свои деньги — двадцать копеек, найденные на улице и хранившиеся в коробке из-под спичек. В тот же вечер она подошла к укрывшемуся за газетой отцу.

— Папочка, — позвала она, как велено, хотя и через силу. — Папочка, по сколько раз надо двадцать копеек, чтобы получилась тысяча рублей?

Отец ничего не ответил Оле. Он только окликнул из-за газеты жену:

— Зоя, иди сюда! Похоже, эта дура схватила двойку и не хочет сознаваться!

Две истории из одного подъезда

1. Кошка

Дом построили задолго до революции, а перестроили перед самой войной. Вход в него когда-то закрывала снизу доверху узорная решётка с дверцами; часть её ещё держалась под высоким сводчатым потолком. Из гулкого подъезда, глубокого, точно драконово горло, на второй этаж вела старинная лестница с широкими каменными перилами и выпуклыми балясинами, похожими на короткие крепкие ноги, а на входных дверях нижних квартир сохранились ручки в виде львиных голов. Третий этаж и два верхних лестничных марша, пристроенные позднее, выглядели обыкновенно.

Десятилетний Гриша с третьего этажа очень любил подъезд. Здесь хорошо думалось о том, как люди жили раньше. В *дореволюционный период*: сами слова переваливались, будто кареты на тряской мостовой. Интересно, например, где в этом доме помещались когда-то слуги? Должно быть, за узкой, теперь навсегда запертой дверью у лестницы. Какая же там была теснотища — ведь слуг было много! А барин жил один на два этажа. Вот и случилась революция.

Подъезд разрешал не только думать. Ещё можно было улечься животом поперёк широких перил и съехать вниз. Когда мальчик возвращался из школы, он обычно прокатывался подобным образом три-четыре раза, пока однажды не попытался сесть на перила верхом, как в книжках. Но он не был ловким хулиганом из книжки, он был низеньким и толстым Гришей Блюминым по прозвищу Блюмблюмчик и поэтому тут же потерял равновесие, свалился в лестничный пролёт и грохнулся на площадку с немалой высоты, да так сильно, что не сразу смог встать. Наконец всё-таки поднялся, дотащился до лестничного окна и долго отсиживался на просторном подоконнике, прежде чем вскарабкаться на свой третий этаж.

Дома так ничего и не узнали. Мальчика отчаянно раздражала паника, которая начиналась при малейшем подозрении на его нездоровье, все эти ахи-охи, бесконечное разглядывание языка и щупанье лба, — градусникам в семье не доверяли. Он злился: «Что вы меня щупаете, как капусту на базаре?», вырывался и убегал в ванную, где, запершись, ополаскивал лоб ледяной водой и драил язык зубной щёткой. А если сказать, что упал с перил, какое начнётся кудахтанье! И Гриша промолчал; часа два ему было больно дышать, потом это прошло. И всё же что-то в нём сломалось: он больше не решался сесть верхом на перила, а съезжать по ним на пузе, как трус, запретил себе сам. Одной радостью у него стало меньше.

Зато здесь, в подъезде, можно было свистеть, пусть даже не в два пальца, — этому он, увы, так и не научился, — а просто насвистывать. А где же ещё? В школе — себе дороже. Дома не то, что свистеть — разговаривать по-человечески не всегда разрешалось. «Почему ты кричишь?!», — шипели дедушка с бабушкой, если Гриша начинал взахлёб что-нибудь рассказывать. Раньше он насвистывал на улице, пока какой-то прохожий не спросил его весело: «Мальчик, ты притыренный, да?» А в подъезде можно было дать себе волю. Свист разносился по всем трём этажам, и Грише даже мерещилось эхо: вроде как друг подсвистывает.

Как-то после школы он вошёл в подъезд, случайно глянул в нишу под лестничным окном на первом этаже и застыл, забыв о свисте. Там сидела кошка.

Худая, рыжая с белой грудкой, она собралась в комок и смотрела на Гришу перепуганными жёлтыми глазами. По треугольной маленькой головке он сразу понял, что видит не кота, а именно кошку, — не зря он прочёл кучу рассказов о животных, — и тут разглядел, что за левым ухом у неё жуткая свежая рана.

Гриша давно перестал надеяться, что вместо дурацких толстых свитерков и жилетиков ему подарят на день рождения котёнка или щенка. И дедушка с бабушкой, и папа с мамой молились Ги-Гиене, злой богине с головой гиены, и поэтому не любили животных, считали их всех лишайными и блохастыми и даже в гостях не позволяли Грише гладить хозяйских кошек и собак. А к этой, явно бездомной, бродячей, не разрешили бы ему подойти и на километр. Но сегодня, вспомнил он, был особенный, редкостный день: ещё с полчаса никого из них не будет дома.

— Кис-кис-кис! Кис… Рысь! Рысь, Рысь, Рысь! Иди сюда!

Кошка, то и дело замирая и проседая от ужаса, всё-таки прибежала за ним на третий этаж. В коридоре квартиры она забилась под стул с продавленным сиденьем, на который обычно ставили сумки и портфели. Гриша вымыл руки и полез в холодильник. Молока там не оказалось. Зато он нашёл лоток мясного фарша и выгреб целую пригоршню в свою синюю мисочку, в которую по утрам бабушка щедро накладывала ему ненавистный склизкий творог со сметаной. Сверху он вылил сырое яйцо. В одной книжке говорилось, что это лучшая еда для раненых кошек.

— Ешь, Рысь, ешь!

Глотала она торопливо и аккуратно. Гриша принёс пузырёк зелёнки и пакет ваты, но решил не трогать рану, пока кошка не поест. Может быть, подумал он, в неё швырнул камень здоровенный Витька из соседнего двора, который часто пулял металлическими скобками из рогатки в него самого, приговаривая с оттяжечкой: «Ж-жид! Ж-жид!», а потом убегал от честной драки. Гриша просунул руку под стул и несколько раз погладил кошку.

Полечить ей рану он не успел. Дедушка с бабушкой явились в ту самую минуту, когда кошка, дочиста вылизав мисочку, со счастливым мурлыканьем тёрлась о ножки стула. Бедная, она решила, наверно, что её оставят здесь жить!

И началось. Несостоявшуюся Рысь шваброй выгнали за двери, хотя мальчик повторял, что она ранена; синюю мисочку тут же выбросили, за что Грише попало отдельно, а ему сначала мыли руки чуть ли не кипятком, потом протирали водкой, зачем-то обрезали ногти и объяснили, что он негодяй. Папа с мамой вечером добавили своё. Он отмалчивался и думал только о том, что кошка теперь считает его предателем.

После этого он стал брать с собой в школу бутерброды с докторской колбасой, от которой раньше всегда отказывался.

— Наконец-то полюбил колбасоньку! — радовалась мама. Она и не подозревала, что сын надеется найти кошку и покормить её «колбасонькой». Он высматривал Рысь по дороге в школу и из школы; искал и в своём дворе, и в соседнем, хотя мог наткнуться там на Витьку, и всё зря. Колбасу он в конце концов выкладывал на землю где-нибудь между двумя сараями, — пусть хоть другое бродячее животное поест, — а хлеб, давясь, съедал сам в подъезде.

Кошка так и не нашлась. Брать с собой колбасу Гриша потом перестал. Свистеть прекратил. И с тех пор быстро проходил через подъезд, чтобы не видеть пустой ниши под лестничным окном на первом этаже.

2. Гусеница

Тоненькая и длинная чёрная гусеница, похожая на кусок растрёпанного шнурка, прилепилась к стене подъезда — как раз над процарапанным в коричневой краске словом *Фантомас*. Дед обязательно раздавил бы её, сказала себе Лида. Как того навозника.

…Лиде было лет пять, когда её привезли на лето в другой, маленький город к деду с бабушкой. Как-то она увидела у них во дворе интересного жука, но едва присела его рассмотреть, как дед закричал: «Это навозный! На нём микробы!» — и наступил на жука толстым ботинком. Под подошвой скрипнуло, захрустело, — Лиде даже показалось, что вскрикнуло.

— Он пищит, — сказала она нерешительно, готовая пожалеть раздавленного, — Вот так: *и-и-и!*

— Он говорит: *хочу микробы разнос-и-и-ть*, — твёрдо истолковал дед предсмертный вопль жука, злодея до конца.

Лида не поверила и после этого держалась подальше от деда, поближе к бабушке. Уютная, как большая и мягкая перьевая подушка, бабушка носила косички, такие же тонкие и длинные, как у внучки, только не чёрные, а седые, и шпильками закрепляла их на затылке. Шпильки то и дело выпадали, Лида их подбирала и приносила бабушке, каждый раз слыша: «Спасибо, донечка» и поправляя: «Я тебе не донечка, а внунечка». Дед называл внучку только полным именем: «Лидия, ты обязана лечь спать».

Осенью того же года бабушка умерла. Пару лет спустя Лидина семья перебралась в этот дом, дед переехал к ним, и девочка, само собой, оказалась на его попечении. Он стал водить её гулять, и во время прогулок поначалу сердито молчал, пока однажды вдруг не объявил: «Хочу тебе что-то рассказать».

Лида обрадовалась, приготовилась; вступление даже показалось ей знакомым: «Жила когда-то одна женщина, и у неё был…»

…Сын, подхватила она мысленно. Из этого сына наверняка получился великий волшебник. Нет, доктор, доктор! Потому что однажды он помог, — поднёс вязанку хвороста, — какой-то бедначке, а это оказалась сама смер…

«…У неё был солитёр, — закончил дед. — Такой огромный глист. От этого она умерла».

— И всё?!.

— А что тебе ещё? От глистов умирают.

В другой раз он начал так: «Были мальчик и девочка — брат и сестра, и однажды они пошли…» И опять Лида развесила уши, успев немножко позавидовать героине, у которой был брат, и собираясь переселиться в неё для путешествий и приключений.

Вместо этого она услышала: «…пошли в огород, нашли какой-то корешок. Подумали, что это морковка, съели его и умерли».

Дальнейшие рассказы были в том же роде:

«…Оставила открытым газовый кран, и потом зажгла спичку…»

«…Ночью игла дошла до сердца…»

«…а мышь укусила его, и он погиб от водобоязни, не мог пить…»

Последнее звучало совсем уж дико. Выходит, человек умер от жажды, потому что боялся попить воды?! Даже самый распоследний трус, думалось Лиде, сумел бы справиться с таким дурацким страхом! «Зачем ты мне это рассказал?» — всякий раз тоскливо спрашивала она, но ни разу не получила ответа, и в конце концов научилась крепко-крепко сжимать зубы, как только дед заведёт своё.

От этого уши наполнялись ровным, похожим на самолётный, гулом, глушившим его голос.

Иногда они ходили в парк, разделённый надвое большим оврагом, куда Лида любила спускаться за добычей. Весной она приносила первые цветы, летом—кисточки дикой смородины. Дед добычу отнимал и выбрасывал. Гусиный лук он объявлял «куриной слепотой», от которой «теряют зрение»,—раз цветы жёлтые, это куриная слепота,—а дикую смородину называл волчьей ягодой. Как будто Лида в свои восемь лет не смогла бы их различить!

—Да ты на листья посмотри,—безнадёжно уговаривала она.

—Ли-ди-я,—отвечал дед с таким нажимом, точно голосом давил навозников.—Лидия, у тебя нет ума.

Девочка перестала подносить ему ягоды. Теперь она их промывала под струёй питьевого фонтанчика, устроенного у края оврага, и тут же съедала. И ничего. Вот вам и волчья ягода.

А уж насекомые… дед видел в них только ядовитых вредителей.

…При ближайшем рассмотрении гусеница оказалась не совсем чёрной: по бокам у неё, точно ниточки, шли жёлтые полоски. На её спинке росли пучки коротких щетинок. Как же она доползла сюда, не попав никому под подошву,—ведь от ближайшего дерева до подъезда не меньше трёх метров,—да ещё и на стену взобралась? Всё равно, что человеку залезть на Эверест. Может, её убрать куда-нибудь? Вдруг дед и в самом деле её заметит и раздавит?

Не заметит. Он всегда смотрит только под ноги. Однажды даже сочинил для внучки поговорку: «Засмотришься на звёзды и попадёшь в лужу». А гусеницу трогать нельзя: она приклеилась, наверняка собралась превращаться в куколку.

Так у Лиды появился секрет. Она назвала гусеницу Нонна и в тот же день за обедом спросила деда: «А правда, Нонна—красивое имя?»

—Нонна—наверняка кривляка и ломака!—заявил тот, и она фыркнула, едва не расплескав борщ.

Меж тем гусеница действительно окуклилась: из чёрного растрёпанного шнурка превратилась в крошечный коричневато-серый свёрточек, почти невидимый на фоне стенки,—если, конечно, не знать, куда смотреть. Лида, боясь выдать местопребывание Нонны, не поднимала глаз, когда шла мимо с дедом. В школу и обратно она ходила одна, и каждый раз, проходя через подъезд, обмирала: вдруг Нонна исчезла? Завидев свёрточек на прежнем месте, она успокаивалась и подолгу простаивала перед ним, пытаясь угадать, кто складывается там внутри: павлиний глаз, адмирал, махаон?

Прошло две недели. Закончился май, а с ним и школьные занятия. Теперь Лида каждый день вызывалась забрать почту из ящика, чтобы иметь возможность навестить Нонну, ставшую—или это только казалось?—какой-то полупрозрачной.

…Бабочка сидела на своей бывшей оболочке. Крылышки, сложенные треугольником, выглядели серыми с розовым и оранжевым. Но вот она их развела, будто показывая, и они оказались кирпично-красными с чёрными и белыми пятнышками. Крапивница. Самая обыкновенная бабочка, но всё равно красивая.

Лида тихонько опустила газету на пол, вытянула перед собой руки, чуть согнула ладони и, медленно их сближая, двинулась вперёд. Нет, она не собиралась насаживать пойманную Нонну живьём на булавку. Не для того она её берегла, караулила все эти дни! Нет, Лида хотела её поймать, чтобы сразу отпустить. Просто почему-то очень важно было хоть секунду подержать бабочку в руках.

Девочка опоздала. Крылья крапивницы коснулись не успевших сомкнуться ладоней. Бабочка взлетела, сразу поднялась к сводчатому коричневому потолку, и выпорхнула в ярко-голубое небо.

На стенке осталась только пустая, треснувшая сухая оболочка; потом она отвалилась, но не полностью. Верхний сегментик, маленькое прозрачное колечко, ещё держался. Он уцелел даже после ремонта, когда стены подъезда покрыл новый слой коричневой краски, и слово *Фантомас* исчезло.

Лида часто смотрела на проступавший под краской крошечный бугорок, словно он был залогом появления новой Нонны. Однако ни одна гусеница больше на стенку не взбиралась.

Алла Ходос

Интернат

Тётя Тома

Отчего плакала тётя Тома? Она плакала о пропаже открытки с Новым Годом, которую год назад прислал для сына её брат, зек Максим, но не только. Она также плакала о своём племяннике, который говорит на воспитательницу матерные слова и кусает дежурную в столовой.

Бедная тётя Тома, охватившая своими мягким руками плечи грубого племянника Вани, не знала, отчего всё так завязано в её жизни и перемешано в беспомощном сердце, и плакала в вестибюле, чтобы люди не подумали чего плохого и простили её.

Прогулка

Это прогулка, воскресенье. Молодая воспитательница, солнце высоко. Предвкушение сразу всех радостей жизни: валяться в траве, кубарем нестись с песчаного откоса, а потом драться, драться и окончить войну победой!

А девчонки подберут раненых.

Но мгновенно все сбились в кучу. Мы в кольце, в тисках, с молодой воспитательницей в центре, хлопающей, как курица, руками и полами кофты. И все ловят руку, рукав, полу и валят с ног друг друга. Мы в окружении деревенских. Их пять или шесть. И у каждого собака. Выходцы из окрестных деревень, рождённые потомственными пьяницами, каким-то чудом не попавшие ни к нам, в обыкновенный, ни в специальный интернат, они дразнят нас своей звериной свободой, испытывают гибельным счастьем: быть отдельно от нас, быть не нами.

Мы кричим: «Гады, немцы!» и хватаем из-под ног острые камни, одной рукой всё ещё цепляясь за рвущийся подол.

Цыпки

Зимой у всех цыпки, потому что снег надо брать голыми руками. Снег необходим рукам, как горлу сосулька.

Нежные руки-это очень стыдно. Руки красные и шершавые к ночи—это хорошие руки, им не страшна работа, кошка и колючка. Они немного чешутся, но не скажешь, что болят. В первом классе мальчишки даже гордятся своими цыпками. И дружат с девчонками, у которых руки хорошенько обветрились.

Когда боязливая Танечка Сачкова вдруг сказала перед сном: «Помажьте мне руки мазем!»,—все девочки прыснули, прикрывшись одеялами.

Но через две минуты, когда Ирина Петровна вернулась с банкой и стала мазать вдоль синих жилок корявые Танины лапки с обкусанными ноготками, все вдруг замерли, а многие тихо попросили: «И меня!» И остальные, уже уснувшие, и даже мальчишки в своих спальнях что-то небывалое почувствовали сквозь сон и стали садиться в кроватях и озираться, протирая глаза.

Специально для заболевших

Мы организованно шли проведать одноклассника в больницу. Только иногда выбивались из строя. Светлане Валентиновне было трудно нас удерживать; подравнивая и покрикивая, она всё время морщилась. Но ведь можно хоть раз и не по струночке,—ничего, Валентиновна, потерпи! Иногда удавалось разбрызгать лужу или прутиком сбить лопух.

А вот и Миша. Даже не похудел. Так только, поблек немного. Конфеты «Крыжачок» тоже помогут. Всю неделю не ели их, собирали. И Светлана Валентиновна не ела, спасибочки. Миша пусть теперь всех временно заболевших накормит, а то их тошнит уже от горьких пилюль.

Похлопали Мишу по плечу, пошутили: «Мишка, тебе ещё не крышка», даже радостно сделалось. Это хорошее мероприятие.

А то ещё Люда Красикова болела. Кашляла до посинения. Мы говорим: «Светлана Валентиновна, Люда слишком кашляет, она даже ночью всех будит, но она не виновата, вы её не ругайте, пожалуйста! Её надо к доктору». А Светлана Валентиновна отвечает: «Ничего, надо закаляться, бронхит от воздуха проходит».

Ну, мы тогда сами нашего доктора Гвоздёва позвали, вылечил за недельку, никаких проблем.

А ещё есть Жанночка, так с виду симпатичная, в первом классе, но у неё почки отказывают постепенно. Гвоздёв говорит, умрёт. А если б была у неё мама, наверное, отдала бы ей свою почку.

А ещё был Серёжа. Розовый, точно с мороза, он забегал в комнату на минуту; что-то тянуло его обратно, но мы не знали—куда. Он был классный футболист, с ним было здорово играть. Он никому не любил мозолить глаза. И никому ничего про себя не рассказывал.

У него был рак полости рота, редкое заболевание. Если б мы знали, мы б сразу тоже доктора позвали. А он скрывал. Мы тут специально говорим, тем, кто наш рассказ читает, чтоб, если что такое приключится, не скрывали бы. А то, что нам теперь делать? Из городской больницы Серёжу сразу отвезли на кладбище, не знаем даже, где оно находится. После него осталась младшая сестрёнка. Она пришла в наш класс, чтобы выбрать себе нового брата, но все только смотрели в пол.

Линейка

Каждое утро, в воскресенье, надо сорок пять минут стоять ровно. За это можно будет играть во дворе и смотреть кино. Не только за это. Но и за это, конечно. Ро-о-о-вненько стоим. В шестом классе под последней партой нашли мусор. А мы — второклассники, но чисто убрали. Семиклассник Коржов пробовал самогонку, которую пронёс на территорию его дед. Больше не будет ноги деда в нашем интернате! И даже запаха спиртного не будет! Тогда уж и фляжку у Вадима Григорьича заберите! Слабо, да? Девочки красят губы, это нескромно, смотрится ву-ли-гарно! А как Степановна красноrожая накрасится, а потом вся размажется, так это красиво? Ей можно, да? Славка Мостовский из шестого сказал, что ей уже на пенсию пора! Даже пот с лица оттереть ленится. В бытовой запрет пятиклассника и лупцует за то, что тот опоздал или огрызнулся. Конечно, не надо старшим огрызаться, но было бы лучше, если б все сразу собрались, да так огрызнулись, чтоб она сквозь землю провалилась… Или можно ещё по-другому. Она, например, в столовую или в туалет всегда спешит, аж пыхтит, так можно леску натянуть между стульями.

Ух, как Станкевич выгибается. Не может стоять. Счас к нему прицепятся. Васька, дёрни за пиджак, предупреди! Поздно!

— Станкевич-ч!

Это Марья Владимировна шипит.

— …таковы, в общих чертах, наши задачи на сегодняшнее воскресенье. Кино покажут в три часа. А что случилось с второклассниками? Посмотрите, ребята! Может, им нужна помощь? Это ж не линейка, это ж чёрт знает что! Станкевич! Марья Владимировна! Он, видимо, забыл, где находится?!

Ничего не забыл! Просто не хочет он быть вашей линейкой.

Воры

Ученики второго класса Ивановский и Батян украли у Нины Григорьевны кошелёк и сбежали с рисования в магазин. Они не привыкли считать чужие деньги, но зато предчувствовали, как упоительно их тратить. Ивановский и Батян сильно друг от друга отличались. Батян имел совесть, в то время как Ивановский её не имел. Но сейчас они составляли одно: их связывали дружба и преступление.

Они мчались по магазину «Разные товары», как ласточки, как соколы, как истребители. Они покупали одинаковые зелёные шарики, набор иголок, надували, подбрасывали и прокалывали каждый шарик. Набивали карманы пряниками и коробками спичек. Покупали серпантин, сыпали его в пыль и топтали. Потом они купили две открытки с оленями, весенними деревьями и надписью: «Любимой женщине» и приклеили их слюной к двери магазина «Разные товары».

Но в конце они устали. Сели на доски возле недостроенного дома, вытряхнули из кошелька последние десять копеек и заревели. Только Ивановский от страха, а Батян от совести.

От вольготной жизни

Вечерами, когда погасят свет, вспыхивает ревность. Я захожу только в одну комнату. Остальные ревнуют до завтра, до послезавтра. Восемь человек зададут свой вопрос. Недавно они спросили, много ли бомб у американцев, а сегодня — откуда дети. Странно, что в третьем классе они этого не знают. Я рассказываю историю для младшего возраста о том, как семечко падает в землю, растёт под ветром и дождём, пока не вырастет какой-нибудь василёк. У мамы с папой всё, как у солнца и земли. К тому же мама хорошо кушает и спит, очень много радуется и улыбается, и от вольготной жизни рождается мальчик Вася.

И когда, ища подтверждения своим самым смелым догадкам, девочки стали выяснять подробности, Наташа сказала: «Наверное, меня тоже любила мама, когда я была семечкой».

Беатрисса

У нас была мышка в серебристо-сером платьице. Она жила в туалете, на стене, и даже на потолке. Мы культурно просили её: «Беатрисса, посиди немного в углу, вот тебе кусочек сыра», но всё было напрасно. Она была своенравная. Дети ходили смотреть нашу мышь, как если бы это была кошка, или собака, или какая-нибудь домашняя птица. Вывезенные из своих деревянных домов-развалюх ради каменной жизни в городском посёлке, они ещё помнили деревенские дворы, где каждый клочок земли мяукал, кукарекал или хрюкал. И мышка, скромная квартирантка в оштукатуренном туалете, была им домашним зверьком.

Они не могли с ней играть, но, задирая головы, об этом мечтали. «Она что у вас на постоянное жительство прописалась?» — спросила как-то наша гостья, Аделаида Андреевна, жена завуча. И мы поняли, что пришла пора расставаться с нашей свободолюбивой грызуньей.

Мы позвали хорошего ученика, Лёню Мещерякова, и попросили убрать мышь. Лёня взял Беатриссу за хвост и отнёс на помойку. Там он подоткнул под её бока картофельной шелухи, которая могла бы служить Беатриссе постелью или пропитанием.

Мечтатель

Лёня Мещеряков — очень трудолюбивый мальчик. Ещё он всегда помогает товарищам и улыбается, как Гагарин в детстве. Лёня учится на четыре и пять. Вот если б какая бездетная пара узнала, что существует такой мальчик! Его бы усыновили и были б счастливы по гроб жизни. Лёня понимает, что такое вполне может с ним случиться. Он часто представляет, как его облюбовали мужчина и женщина в шубах, усыпанных мерцающими снежинками, посадили в сани: поедем с нами, мальчик, ты нас тоже полюбишь! Как одарили его орехами, мандаринами и обязательно дали ещё немного денег, чтобы он купил себе сам то, что пожелает.

И вот они засыпают под однозвучный колокольчик… Лёня спрыгивает, покупает билет до станции Березино, а там находит тюрьму.

Лёня знает, что подходит срок, когда он должен предупредить отца. Лёне надо ему сказать, чтобы тот из тюрьмы не убегал и не выходил за хорошее поведение. Пусть он лучше умрёт себе спокойно в тюрьме, чем его убьёт сын Леонид. Хватит на их семью, что папа убил маму, когда был пьяный. Просто схватил её за волосы и с размаху ударил о стенку.

Лёня никогда не будет пить. Но если папа выйдет из тюрьмы, он тоже напьётся. Один раз в жизни. Чтобы убить папу. И тогда Лёня сядет в тюрьму на всю жизнь. И будет сидеть там до самой смерти, чтобы от их семьи не осталось никого, никого.

И воспитатели чтоб его забыли, и люди, которые хотели усыновить, и учителя, которых он настолько радовал, что один из них, математик, как-то потрепал его по щеке.

Свет мой, зеракльце…

После индийского фильма, в котором убили слугу, а потом спасли младенца, покаялись и сыграли свадьбу, девочки с неземными улыбками, и, украдкой, слезами, пошли умываться и незаметно красить губы красным фломастером.

В дверях бытовой, горбясь, стояла длинноногая Снежана. У неё была голубоватая кожа и близорукие красноватые глаза.

На подоконнике лежал нерегламентированный осколок зеркала. Мельком взглянув на себя, Снежана пожала плечами и бросила зеркальце в мусорное ведро.

И потекли напевы смуглолицых индийских девушек, пряные и густые, как кровь из разбитых сердец.

— Снежана, это ты здесь поёшь?—спросил Коля Пацук.

— А что, нельзя?

— А ты, это, слова откуда знаешь?

— Слова мои, музыка народная,—ответила Снежана и зарделась.

— Не красней, тебе не идёт!

— Да пошёл ты,—тихо сказала Снежана и, запнувшись, выкрикнула нехорошее слово.

Коля ничего не ответил. Только ухмыльнулся, как будто другого не ждал.

Хотя мгновение назад он надеялся, что Снежана поговорит с ним по-человечески. Поёт же она всё-таки. Но нет, ничего подобного. Все они такие. Шлюхи!

И вильнув бёдрами, словно передразнивая, он побежал от неё.

Снежана снова достала осколок из ведра и, плача навзрыд, стала его топтать, чтобы никакого счастья больше не мерещилось.

Я

Я не помню, что он натворил. Как будто специально не помню, чтобы можно было подставить самую страшную причину. Но её нет.

Вова сидел под партой и почему-то не хотел вылезать, когда все уже построились. «А ты его скакалочкой!—ударило в голову чьё-то умудрённое, и, как поезд перед крушением, задёргалось сердце.—Если б были родители, наказали бы… Раз их нет, значит ты должна! Это твой долг».

«Долг! Долг!—громко стучало в голове.—Нет, при чём тут долг?! Как он смеет отсиживаться?!»

Вова не заплакал, не закричал, не стал таращить на меня глаза и стискивать зубы. Он заверещал. Как жук. Как сверчок. Как поросёнок в мешке.

И я потом никогда не знала, что будет с ним и что со мною.

Конфетка

На улице дул сильный ветер. Нулёвка сидела в тесной игровой перед телевизором.

Воспитательница и учительница немецкого языка Галина Станиславовна закрыла форточку, чтобы дети не простыли. Но в духоте хотелось спать, и малыши толкали друг друга, потому что вялость была им противна.

Галина Станиславовна объясняла балет своему сыну Русланчику, ученику третьего класса общеобразовательной школы, которого не хотела оставить без эстетического воспитания.

С каждой минутой дети всё меньше слушали балет. Толстый Коля лёг на ковёр, прикрыл глаза, а Валечка стала бинтовать ему ногу шёлковой лентой.

Пять человек нашли в игрушечной чашке настоящую конфету и не знали, как её поделить. Умный Толя сказал: «Пусть каждый послюнит пальцы и потрогает конфету, а потом оближет, и постепенно конфета съестся сама».

Когда остался маленький кусочек и пальцы покраснели от сосания, ребята вспомнили про Галину Станиславовну. Они подошли и стали тихонечко трогать её платье, чтобы отвлечь от телевизора, а потом смелая, но красная, как помидор, Наташа, протянула воспитательнице размягчённый остаток. Галина Станиславовна сразу заметила коричневые точки на одном из элегантных своих рукавов, закричала, что это кошмар, и вдруг, позабыв о стопроцентном сохранении здоровья, распахнула форточку настежь.

Сладкий огрызок опустился возле огуречной теплицы,—его отнёс туда сильный ветер,—и время потекло дальше, в соответствии с распорядком дня.

Яблоко от яблоньки

Девчонки Полину недолюбливали. Она же людей дичилась, хоть и была нагловатая. Попросишь по-хорошему: «Дай свою вторую зубную щётку, почистить форму, а то Николашкин заставит в воскресенье чистить, вместо кино», а она в ответ: «Зачем тебе моя вторая! У тебя своя первая есть!»—и тут же слиняет, а щётку в карман, чтобы без спросу не воспользовались.

Мама у Полины неопасная, но сумасшедшая. На ней висят постыдные лохмотья, бывшие когда-то неизвестно чем. Но её пускают к дочке, несмотря на внешний вид. Девчонки между собой говорят, что если б у них была такая родственница, то одно из двух: или бы они её прогнали, или бы пожалели, но сами бы от стыда сквозь землю провалились.

А Полина—хоть бы что. Каждый раз подставляет лицо под её слюнявые умалишённые поцелуи.

Иногда чокнутая мамаша пытается ещё когонибудь обнять, из тех, кто неподалёку находится, но все, в основном, вырываются и крутят пальцем у виска. Мама ещё сравнительно молодая, но седоватая, косматая и почти без зубов. Все, наверное, думают, что она похожа на Бабу Ягу, правда, вслух не высказываются. Обнимая Полину или же протягивая руки, чтобы прикоснуться к ускользающему чужому ребёнку, мама Полины несколько раз спрашивает: «Я тебя лю-лю?»,—при этом вздыхает и будто бы плачет.

Ночью, когда лунный луч достигает полининой кровати, третьей от окна, дочка вынимает принесённые мамой сувениры: ленту с опалёнными концами, бутылочку без горлышка, пахнущую то ли прогорклыми духами, то ли вычихавшимся счастьем или почти новую зубную щётку, и смотрит на них, пока глаза не начнут смыкаться.

Посетительница

Через три года я приехала навестить детей. Они дежурили. Я их вылавливала по двое-трое, по одному: то за ведром с картошкой, то за мокрой тряпкой, то за нелегальным футболом. Подросший Вова ловко перепрыгнул с крыши сарая на крышу другого сарая. Связанные одной скакалочкой, мы подумали об одном. Вова сильно покраснел: ему было стыдно за меня.

И я вспомнила, как раньше он мягко на меня смотрел, как, не отрываясь, слушал, всегда, что бы я ни говорила.

Ещё когда-то он разрешал брать его за руку и нередко улыбался, готовый довериться и полюбить. И я позвала его: «Вова!» Но он смотрел себе под ноги, а его мохнатые ресницы оставляли тени на пунцовых щеках.

Снежана и ещё две девочки репетировали новую самодельную песню к какому-то слёту: «Интернат, интернат, ты отец мой и брат». Песню странную, заунывную, с подвыванием в конце.

А Серёжа тогда ещё был жив. Он пробегал по коридору с мячом, и мальчишечьи бицепсы выпирали из липнущих рукавов. Когда мы поравнялись, он подмигнул, изображая дерзость, но тут же смутился и, легонько подфутболив мяч, спросил: «А. И., а вы помните меня?»

Лев Таран

Мы во власти стихии…

Святителям

Мы оставлены Вами, оставлены.
Вы о нас позабыли.
Мы живём за тяжёлыми ставнями,
как в глубокой могиле.
Мы уже разучились молиться.
Вместо пения—крики.
Превратились в музейные лица
Ваши скорбные лики.
Превратились в пустые развалины
Ваши светлые храмы.
Мы оставлены Вами, оставлены.
Не поймём ни черта мы.
Мы живём, ненавидя друг друга.
Мы во власти стихии.
Разгулялась жестокая вьюга
на просторах России.
Сколько страсти и сколько старания
в каждом праведном хаме.
Неужели всё это заранее
предусмотрено Вами?
Наши будни и праздники серы.
И отравлены водкой.
Ни любви, ни надежды, ни веры,
и ни радости кроткой.
Наши души как будто бы вынуты.
Пьём и воем в бессильи.
Мы покинуты Вами, покинуты.
Вы о нас позабыли.

Единственная

В доме отдыха смена кончается.
Отдыхающие прощаются.
До автобуса провожают.
И друг другу писать обещают.

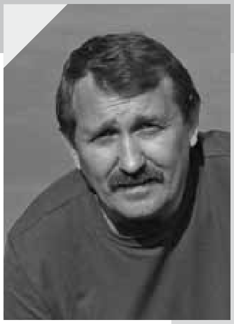
Вот идёт с мужчиною женщина.
Шепчет преданно: «Женечка! Женечка!»
Он в ответ глядит—не мигает.
Он нести чемодан помогает.

Наконец-то села в автобус.
Он поодаль стоит, обособясь.
Он автобусу машет рукою,
Вспоминая о даме с тоскою.

Ничего от неё не скрывал он
Потому и стал *идеалом.*
Он смущённо улыбку прячет,
Понимая, что там она—плачет.

Его скоро уже не будет.
И жена о нём позабудет.
И о нём позабудут дети.
Лишь одно существо на свете
В одиночестве—истомится…

Ей, единственной, будет сниться.



Георгий Листвин

Хроника Сибирского Ледяного похода

белых армий адмирала Колчака в Красноярском
и Канском уездах Енисейской губернии

Красные:

«Смело мы в бой пойдём
За власть Советов!
И как один умрём
В борьбе за это!..»

Белые:

«Мы смело в бой пойдём
За Русь Святую!
И как один умрём
За дорогую!..»

Таковы были песни этой Гражданской войны. Одни с радостью погибали с верой во всемирное светлое будущее, опытным полем для которого стала Россия, другие—за Веру православную и Отечество. И те, и другие считали своим долгом самоотверженную борьбу друг с другом и с внешними врагами. В этой войне с обеих сторон не было героев, были только участники, они же и жертвы, достойные уважения, восхищения, сострадания. В результате кровавого противостояния 1917–1922 годов в России погибло более 10 млн. человек. Проиграли все: победители через семьдесят лет оказались в стане побеждённых, а бывшие побеждённые не испытывают радости от торжества суда Истории. И ни одна из сторон не принесла покаяния. В последнее время гражданское противостояние проявляется в войне памятников. Однако пора уже дорасти и до общего памятника всем участникам, всем жертвам этой войны—и красным, и белым, и зелёным, и никаким. Хотя бы в душах.

Одним из самых ярких, напряжённых и драматичных событий русской Гражданской войны был Великий Сибирский Ледяной поход армий адмирала Колчака от Омска до Читы, а движение основных сил сибирских белых армий по Кану сами участники Сибирского Ледяного похода считают его кульминацией. Исходя из этого, вся хронология Сибирского Ледяного похода в Приенисейском крае может быть условно разделена на три периода: до Кана, Кан и после Кана. Этот очерк—об отступлении Сибирских белых армий в декабре 1919 г.—январе 1920 г. по территории Красноярского и Канского уездов и его центральном событии—проходу войсковой колонны генерала Каппеля по Кану.

В основу его легли воспоминания непосредственных участников гражданской войны на Востоке России—белых генералов и офицеров, участников Великого Сибирского Ледяного похода, прошедших в январе 1920 г. по Кану: помощника главнокомандующего армиями Восточного фронта генерал-лейтенанта В.О. Каппеля, генерал-лейтенанта Д.В. Филатьева, командиров дивизий генерал-майоров П.П. Петрова и Ф.А. Пучкова, адъютанта главнокомандующего армиями Восточного фронта полковника В.О. Вырыпаева, командира полка капитана А.Г. Ефимова. Поскольку воспоминания непосредственных участников событий являются фактически единственным более или менее системным историческим источником по теме, здесь приведены довольно обширные выдержки из них.

Не менее интересна позиция нейтральной и противоположной сторон. Но местные крестьяне были в массе своей неграмотными и письменных воспоминаний не оставили. Большую и важную работу по восполнению этого пробела в источниковедческой базе по истории гражданской войны в Приенисейском крае проделал краевед В.А. Афеpенко, собравший в 1967–1975 годах воспоминания старожилов Красноярского уезда.

Большой интерес здесь представляют воспоминания непосредственных свидетелей и участников событий.

Системных источников со стороны красных тоже не осталось. Красные командиры в силу малограмотности сами воспоминаний не писали, а приказы по войскам 5-й Красной армии за этот период времени посвящены вопросам административно-хозяйственной деятельности и не содержат собственно боевых приказов, по которым можно было бы реконструировать ход событий со стороны красных.

От Иртыша до Енисея

Великий Сибирский Ледяной поход начался в ноябре 1919 г. и продолжался до начала марта 1920 г. Отступающие белые войска проделали путь общей протяжённостью более 3 тыс. км. Историки выделяют в Великом Сибирском Ледяном походе три этапа: 1) от Омска, берегов Иртыша до Енисея, 2) от Красноярска до района г. Канска и 3) до Байкала и Читы. Этот поход был назван Великим Сибирским Ледяным по аналогии с 80-тидневным 1-м Кубанским (Ледяным) походом Добровольческой армии генерала Л.Г. Корнилова 1918 года из Ростова на Дон.

4 ноября 1919 г. главнокомандующим Восточным фронтом был назначен генерал-лейтенант К.В. Сахаров, 9 декабря его сменил генерал-лейтенант В.О. Каппель. В ходе начавшегося великого отступления по Сибири предполагалось последовательное создание двух линий обороны—по р.Тоболу и по линии Обь—Иртыш.

Поручик Варженский (Чердынский полк Пермской стрелковой дивизии 1-ой Сибирской армии): «*Намечалась ещё и третья линия обороны, дальше на восток по реке Енисею, с главным опорным пунктом в городе Красноярске, куда и был направлен Средне-Сибирский корпус генерала Зиневича. Этот*

корпус, хорошо отдохнувший в резерве, должен был пополнить и поддержать остальную часть армии, если она не удержится на первой и второй линиях и отойдёт к Енисею; тогда эта соединённая армия явится труднопреодолимой силой».

Но 1-я Сибирская армия генерал-лейтенанта А. Н. Пепеляева, отведённая в глубокий тыл (Томск, Ачинск, Красноярск) для пополнения и охраны Транссибирской магистрали, разложилась, приняла участие в эсеровских мятежах и перестала существовать. Отдельные её отряды предприняли отступление на восток.

Вместо того, чтобы организовать линию обороны для отступающих 2-й и 3-й сибирских армий, генерал Б. М. Зиневич с частью своих полков в начале января 1920 г. возглавил мятеж красноярского гарнизона.

4–6 января 1920 г.

Кровавый сочельник

4 января, находясь в Нижнеудинске, адмирал Колчак сложил с себя полномочия Верховного правителя, передав их Главнокомандующему Вооружёнными силами на Юге России генералу А. И. Деникину. Вся полнота военной и гражданской власти на территории «Российской Восточной окраины» была передана атаману Забайкальского казачьего войска Г. М. Семёнову.

Дойдя до Ачинска, сибирские армии адмирала Колчака оказались зажатыми между двух огней: с запада наступали части 5-й армии красных, на востоке Транссибирскую железнодорожную магистраль перекрыл красноярский гарнизон, перешедший на сторону эсеров. Возникла реальная угроза окружения и уничтожения сибирских белых армий.

Попытки взять мятежный Красноярск с боя и пробиться на восток не увенчались успехом. В ожесточённых боях 4–6 января 1920 г. с наступающими частями 5-й Красной армии, вошедшими в историю белого движения под названием «кровавый» или «роковой сочельник», 2-я Сибирская армия генерал-майора С. Н. Войцеховского и 3-я армия (ВРИО командующего, начальник штаба армии полковник С. Н. Барышников) потерпели сокрушительное поражение.

Поручик Варженский: «*Здесь, у Красноярска, принимая в расчёт и всех эвакуирующихся, наши потери были не меньше 90 процентов всей движущейся массы. За Красноярск, занятый партизанами, не прошёл ни один эшелон, шедший другими путями*».

4 января потери белых составили порядка 50–60 тысяч человек убитыми, ранеными, но, главным образом, пленными. Судьба этих пленных была трагичной. В условиях гражданской войны категория военнопленных вообще была понятием временным. В братоубийственной войне бои носили особенно ожесточённый, беспощадный характер и не предполагали взятие противника в плен, пленных или убивали, или прогоняли, или принимали в число победителей. Поэтому раненых и больных (в отступающих белых войсках свирепствовала эпидемия тифа) в условиях отхода не оставляли, а везли с собой в обозах. Случаи расправ с пленными с обеих сторон были обычным явлением. Так, в одном из фронтовых донесений белых, составленном в Енисейской губернии 15 сентября 1919 г., описан типичный случай отношения к пленным в гражданской войне: «*В последних боях установлено несколько случаев увечья и издевательства красных над нашими ранеными, оставшимися на поле боя. Так, например, при занятии нашими частями 13 сентября деревни Меньщикова (что в 62 верстах южнее станицы Омутинской) найдены изуродованными и замученными красными наши стрелки, попавшие в плен: у одного — в глаза воткнуты спички, много штыковых ран и следы побоев по всему телу. По показанию жителей деревни Меньщикова, спички были воткнуты в глаза ещё живому стрелку, и в таком виде его вели до леса, где он был добит штыками, прикладами и нагайками*».

Участник похода Северной группы генерала Н. Т. Сукина доброволец С. В. Марков описывает подобный случай зверской казни пленных, происшедший в январе-феврале 1920 г. во время движения отряда по р. Лене: «*…мы потеряли двух [оренбургских] казаков-квартирьеров, команда которых шла с авангардом. Подъехав к очередному селу, они поехали вперёд и в селе были схвачены красными, которые увезли их в следующее село Знаменское, где зверски истязали и затем ещё живых, со связанными спереди проволокой кистями рук и с пропущенными сзади, под локтями, шестами спустили в прорубь, под лёд, где мы и нашли их замёрзшими. Это зверство возмутило всех нас до такой степени, что следующее село Грузновское, где красные решили нас остановить, было нами захвачено таким стремительным ударом, что красные не успели ни убежать, ни увести свой обоз. Те из них, кто выскочил на реку [Лену], пытаясь ускакать или уехать на санях, были порублены нашими казаками, да и все сельские улицы были покрыты зарубленными красными. Таким образом, страдания двух замученных казаков были отомщены. В лес успело уйти всего лишь несколько десятков лыжников, и по льду ускакало на хороших лошадях несколько всадников*».

Смерть солдата в бою всегда списывалась на жестокость войны, но убийство пленных никогда не расценивалось как воинская доблесть. Справедливости ради следует отметить, что белые также не отличались благородством по отношению к пленным. Так, после ожесточённого боя у станции Зима 30 января 1920 г. белые зверски казнили на окраине Зимы до 60 пленных.

Но белых, попавших в плен под Красноярском, было так много (обозы, беженцы и наименее стойкие части), что для их содержания был специально построен концлагерь. По данным С. П. Мельгунова, число погибших зимой-весной 1920 года в Красноярском лагере для военнопленных оценивается в 40 тыс. чел. Для того, чтобы понимать и оценивать масштабы трагедии с позиций человека того времени, необходимо упомянуть о следующем факте: во всей Белой Сибири при Временном

Сибирском правительстве адмирала Колчака (ноябрь 1918—январь 1920 г.) жертвами белого террора, включая тыловые карательные экспедиции против партизан, стали около 25 тыс. чел. Если перед Щегловской тайгой в отступающих частях 2-й и 3-й Сибирских армий Колчака числилось от 100 до 150 тыс. человек и, по приблизительным подсчётам, столько же беженцев, то после Красноярска на восток прошло самое большее 40 тыс. чел.

Поручик Варженский: «*К этому времени вся армия полностью вряд ли превышала численность в 20–25 тысяч человек… Правда, по качеству состав был выше, так как в нём превалировал физически и морально здоровый элемент, сумевший вынести все трудности и лишения похода. Кроме того, теперь армия не была уже обременена массой беженцев, и поэтому части приобрели большую подвижность и боеспособность.*

…Пятьдесят процентов армии составляли крестьяне и рабочие, не бывшие раньше воинскими чинами, но связанные невзгодами трудной походной жизни в одну дружную и крепкую семью, которая стремилась к одной определённой цели: если не победить, то и не покориться.

Вот что представляла из себя Сибирская армия к этому времени. Уклад жизни воинских частей был весьма своеобразный: сознательная дисциплина при исполнении служебных обязанностей и приятельское отношение вне службы. Нижние чины называли своих начальников не по чину, а по должности: господин ротный, или господин командир, или просто господин начальник… Более пожилые иногда обращались по имени и отчеству.

Вестовых или денщиков для личных услуг офицерам не полагалось, но солдаты сами по доброй воле прикомандировывались к офицерам по их личному почину. Так, у меня был до беззаветности преданный мне Ефим Осетров. В строю, на положении простых бойцов, было также немало и офицеров, иногда даже чином выше командира роты, в которой они находились. Питались все из общего котла. По квартирам размещались без офицерских привилегий, за исключением высшего командования и генералитета.

О форме будущего правления в России разговоров никогда не было. У всех была только одна цель—освободиться от большевиков».

У железнодорожной станции Минино остатки 2-й и 3-й армий соединились. Здесь, в 25 верстах западнее Красноярска по данным генерал-лейтенанта Филатьева, силы 2-й армии составляли «*вместе с 3-й армией, шедшей южнее, около двенадцати тысяч человек, получивших впоследствии наименование «каппелевцев»*.

После «кровавого сочельника» основные силы белых временно утратили боеспособность. Главной задачей теперь стало просто выжить, вывести остатки войск из-под удара, сохранить силы для продолжения борьбы. Спасение виделось на востоке, на территориях, не подконтрольных красным—в Канске, Иркутске, Забайкалье. Но проход на восток, как скала, закрывал мятежный Красноярск. Положение белых было отчаянным: они потеряли большую часть личного состава, по-прежнему не имели устойчивой связи между своими подразделениями, потеряли много обозов, но ещё больше стали обременены ранеными и больными, психологически подавлены, лишились не только остатков артиллерии, но и последних железнодорожных эшелонов, а их дальнейшее продвижение было возможно только в походном порядке—пешком, верхом, санными обозами. При этом двигаться можно было или обходными путями, преодолевая огромные расстояния по зимнему сибирскому бездорожью, или совершать отчаянные марш-броски по главным путям, опережая противника. И тем не менее, наиболее боеспособные и стойкие части белых начали обход Красноярска с севера.

Вечером 5 января левая колонна частей 2-й армии генерал-лейтенанта Г. А. Вержбицкого, численностью до 2 тыс. человек вышла на северную окраину Красноярска, незамеченной по льду перешла Енисей, вышла через Берёзовку на ст. Батой (Вознесенку) и быстро двинулась на восток по Сибирскому тракту. В составе группы были части Воткинской дивизии, сохранившей всю свою артиллерию.

Успешным проходом группа Вержбицкого обязана начальнику конной разведки 57-го Воткинского полка поручику Орлу. Бывший красноярец, 4-го января 1920 г. он ушёл на разведку в город, побывал не только в разных местах Красноярска, но и в штабе красных. Поручик Орёл наметил наиболее безопасный маршрут движения и своевременно сообщил его генерал-лейтенанту Г. А. Вержбицкому. Уже за Красноярском разведчик нагнал на марше свой полк.

К группе генерала Вержбицкого присоединилась Енисейская казачья бригада в составе двух полков, вышедшая из станицы Торгашиной. Красноярские казаки прошли путь Великого Сибирского Ледового похода до Читы и затем воевали в составе Русской Дальневосточной армии.

В этот же день вслед за группой Вержбицкого по северной окраине Красноярска Енисей перешли остатки 2-й Уфимской кавалерийской дивизии генерал-майора князя В. Ю. Кантакузена численностью до 350 всадников. От Берёзовки отряд князя Кантакузена двинулся на север вниз по Енисею.

6 января 1920 г.

Северный обход Красноярска остатками Сибирских армий

Рано утром 6 января группа генерал-лейтенанта К. В. Сахарова выдвинулась из деревни Минино, прошла вдоль левого берега Енисея, перешла Енисей и вступила на ночлег в волостное село Есаулово.

Ещё вечером 5 января от станции Минино выступила 2-я армия. Двигаясь в обход Красноярска, её передовые части и штабы только через сутки вышли к Енисею севернее Есауловского и поздно вечером 6 января вступили в село Частоостровское. Здесь в ночь с 6 на 7 января состоялось совещание командиров отдельных частей 2-й армии по вопросу о выборе пути дальнейшего движения.

Генерал-майор Пучков: «*Путь отхода вдоль железной дороги прямо на восток от района Частоостровское—Есаулово казался опасным, так как можно было ожидать сопротивления со стороны местных партизанских отрядов, а главное—преследования из района города Красноярска. Опрос местных жителей установил, что существует ещё один, зимний путь к городу Канску—вдоль рек Енисея и Кана, в обход угрожаемого участка пути. Однако этот путь был опасен в другом отношений: ввиду поздней и необычайно мягкой зимы, дорога по реке Кану, по-видимому, ещё не проложена, и направлением этим ещё никто не пользовался*».

Полковник Вырыпаев: «*По имеющимся сведениям было известно, что железная дорога от города Красноярска и на восток была в руках красных. На станции Клюквенной [совр. Уяр] красные атаковали проходившие обозы и зверски расправились со всеми, кто там находился.*

Решено было сделать обход севернее, пройдя по льду замёрзшего Енисея».

Генерал-майор Петров: «*После прохода севернее Красноярска колонны Вержбицкого красные выслали на север сторожевые отряды и стерегут дорогу от Есаульского, кажется, единственную. Возможно, что ближайшие к Красноярску станции железной дороги заняты красными. Решено двинуть колонну вниз по Енисею с тем, чтобы выйти затем на [по] железной дороге по реке Кан целиной. Если же пройти по Кану окажется нельзя, податься на север вплоть до Ангары и двигаться по ней. Решение продиктовано, безусловно, впечатлениями вчерашних событий на массу. После стало ясно, что мы могли избежать движения по Кану, одного из самых трудных за весь поход. Мы могли пройти через Есаульское, направляясь примерно на станцию Клюквенная. Кажется, там и прошла какая-то небольшая колонна, накануне подошедшая к Есаульской*».

«*…Каппель и Войцеховский решили не переходить Енисея, а идти вниз по нему на север, чтобы затем по его правому притоку Кану или, в крайнем случае по Ангаре повернуть на восток и снова выйти на Транссиб*».

Генерал-майор Пучков: «*Принятое решение впоследствии оказалось совершенно неправильным. Преследования со стороны Красноярска не было в течение нескольких дней; головные части красной армии, сравнительно слабого состава, буквально утонули в том море людей и повозок, которое осталось в районе Красноярска; город сам по себе, с огромными складами имущества, особенно артиллерийского, представлял собой слишком лакомую добычу, чтобы оставить его без надёжного прикрытия. Красноярский гарнизон пёстрого состава со свежесформированными частями мог действовать только накоротке и, безусловно, не был пригоден для операций в поле. Это делало наш отход вдоль железной дороги безопасным на несколько дней и избавляло нас от тяжестей похода по реке Кану; однако, в ночь на 7-е января обстановка представлялась нам совершенно иначе, и всякое иное решение, кроме принятого, казалось невозможным*».

Во всяком случае, боевым столкновениям с противником белые предпочли борьбу с суровой сибирской природой. Дезорганизованных и уставших белых спасала неорганизованность и усталость красных.

7 января 1920 г.—Рождество Христово

Войсковая колонна Каппеля—на север по Енисею

Рано утром 7 января войсковая колонна Каппеля в составе остатков четырёх дивизий 2-й Сибирской армии Войцеховского выступила из Частоостровского на север, «*следуя по левому берегу Енисея или же, временами, по льду реки*». «*Вслед уходившим из [соседнего села] Есаульского летел колокольный звон. Было Рождество Христово*».

Генерал-майор Петров: «*Колонна направилась вниз по Енисею. Ещё не решено окончательно, где свернуть на восток, по Кану или севернее. Собираются сведения о реке Кан—определённого мало: собираются карты, планы. Кто-то достал описание военного округа: в нём есть краткие сведения, что-то вроде «по разведкам офицеров Генерального штаба, р. Кан от устья до Канска 105 вёрст; на протяжении 90 вёрст от дер. Подпорожной нет жилищ, кроме нескольких охотничьих сторожек. Три порога, река замерзает в конце декабря». Не удаётся узнать, что представляют пороги; знают только ближайший к устью, который надо обходить, так как он во всю ширину реки*».

Группа продвигалась по маршруту: Частоостровское → Серебрякова → Барабаново → Шиверская → Атаманово → Большой Балчуг. В деревне Барабаново на ночлеге стоял отряд 2-й кавалерийской дивизии князя Кантакузена, пришедший сюда ранее от Берёзовки. Ему был дан приказ двигаться в арьергарде, прикрывая отход армейской колонны по Енисею. О выходе на этот маршрут остатков 3-й армии ещё ничего не было известно. Обязанности командарма-3 временно исполнял полковник Барышников. По соединению с частями 2-й армии в командование ею должен был вступить генерал-майор П. П. Петров.

Основные части 2-й армии остановились на ночлег в пустом селе Атаманово, спешно оставленном местными жителями под воздействием пропаганды красных. Вечером 7-го января штабы и конвои Каппеля и Войцеховского прибыли в село Большой Балчуг. Здесь предстояло определиться с дальнейшим направлением движения—на Кан или на Ангару. Главнокомандующий армиями Восточного фронта созвал оперативное совещание начальников частей. О месте совещания участники похода вспоминают по-разному, одни утверждают, что оно проходило в с. Большой Балчуг, другие—в д. Подпорожной. Наиболее вероятно, что было проведено два совещания: первое состоялось в Большом Балчуге, где было принято принципиальное решение о походе армий по Кану, второе—в Подпорожной, где с учётом оперативной обстановки данное решение было подтверждено.

Полковник Вырыпаев: «*Дойдя до деревни Подпорожной, Каппель созвал военное совещание*

начальников двигавшихся по этому пути частей. Они раскололись на две группы: одна настаивала двигаться по Енисею дальше на север почти до самого Енисейска, чтобы сделать глубокий обход по Северной Ангаре, что удлиняло наш путь на восток по снежной и почти безлюдной пустыне на 2000 вёрст. Другая группа, во главе с генералом Каппелем, допускала обход только по реке Кан, впадающей в Енисей около деревни Подпорожной.

Генерал Каппель горячо отстаивал этот второй вариант, предоставляя возможность желающим идти северным путём. При этом он сказал: «Если нам суждено погибнуть, то лучше здесь, чем забиваться на север, где климат более суровый…».

Достоверных карт местности не было. Проводниками были взяты местные жители, занимавшиеся охотой и нелегальной поставкой на золотые прииски бассейна Кана самогона и продукции Ильинского винокуренного завода (от устья р. Б. Веснины). Но у этих спиртовозов были сомнения в возможности успешного обхода порогов и прохода по шиверам. Возникло сомнение и у части командиров отрядов. Сам Каппель допускал вариант, при котором подтвердится невозможность обхода Большого и Поливного порогов и перехода по Кану, и тогда придётся вернуться на Енисей и продолжить путь на север, чтобы сделать глубокий обход по Ангаре к Иркутску.

Нередко в литературе встречаются упрёки в адрес главнокомандующего генерал-лейтенанта В. О. Каппеля в том, что он якобы не контролировал ситуацию и попустительствовал «самостийным» действиям командиров частей в выборе путей дальнейшего продвижения. Но следует заметить, что продвижение шло не вдоль тракта, а по малозаселённой тайге, где жители редких и небольших селений в лучшем случае были нейтральны к идеологии белого движения.

Полковник фон Лампе: «*Армия белых не была той снабжённой и организованной армией, которую мы привыкли себе представлять, произнося это слово; немедленно по соприкосновении с населением она вынуждена была брать у него подводы, лошадей, запасы и, наконец, и самих людей!*» «*Война… всегда несёт с собою много лишений и страданий. Война, а в особенности гражданская, сама себя кормит и пополняет! И, конечно, население не могло приветствовать этого*».

Генерал-лейтенант Лукомский: «*Вследствие неналаженности снабжения и несвоевременного получения всего необходимого, командный состав армий и войсковые части прибегали к реквизициям у населения. Платные реквизиции в этих случаях были вполне законными; но так как были часто случаи, что войсковые части не получали своевременно причитающихся им денежных средств, то реквизиции производились и бесплатные. В начале случаи бесплатных реквизиций были редкие и при их производстве выдавались населению квитанции на забранные продукты, но впоследствии… они не только участились, но стали обыденным явлением. Войска называли это «самоснабжением», а фактически эти реквизиции превратились просто в грабёж, возбуждавший население против армии*».

Если в условиях утверждения в Восточной России власти Омского (Всероссийского) Временного правительства население безропотно относилось к реквизициям для нужд сибирских армий, то отступление разбитых белых усиливало оппозиционные настроения, нередко переходящие в вооружённое противодействие местных повстанческих дружин, создаваемых ещё вчера «мирными мужиками».

Стремясь поддерживать законность, белые рассчитывались за произведённые реквизиции действующими на территории Сибири «омскими деньгами», а при их нехватке или отсутствии выдавали квитанции-обязательства. Красные же по ходу установления советской власти отменяли обращение «омских денег», аннулировали квитанции, выданные отступающими на восток белыми. Но при этом они производили собственные реквизиции для снабжения ещё более многочисленной Красной армии и рассчитывались с крестьянами мгновенно обесценивающимися «совзнаками» или выдавали квитанции-обязательства РСФСР. По мере укрепления власти на закреплённой территории, большевики начинали осуществлять реквизиционные мероприятия политики «военного коммунизма».

Полковник фон Лампе: «*…получалось совершенно нелепое, но одинаково типичное для всех белых фронтов положение:*

Когда уходили красные — население с удовлетворением подсчитывало, что у него осталось…

Когда уходили белые — население со злобой высчитывало, что у него взяли…

Красные грозили и грозили весьма недвусмысленно взять все и брали часть — население было обмануто и… удовлетворено. Белые обещали законность, брали немногое — и население было озлоблено».

Официальным («законным») реквизициям на армейские нужды сопутствовали и неизбежные в условиях гражданской войны грабежи, которые ещё больше настраивали население против отступающих белых.

Полковник фон Лампе: «*Всегда и всюду, при самой дисциплинированной армии, при самом налаженном тыле, даже при психике, нравственно непоколебленной неудачами или революцией, — грабежи были, есть и будут… да и что в этом удивительного? Природа войны настолько ужасна, обыденность её настолько жестока, что человеческая натура, в основу которой, как мы, к сожалению, хорошо убедились, заложено столько гнусного, не может не отозваться на соблазн «безнаказанного» преступления… Несомненно, что солдат, вошедший в дом местного жителя с винтовкой в руках, чувствует себя полновластным господином и ведёт себя именно так, как, с его точки зрения, подобает вести себя в этом звании. Если всё это в полной мере применимо ко всякой войне, что лично для меня несомненно, то в какой же мере это подтверждается в войне гражданской, особенно жестокой, хотя бы уже потому, что в ней каждый сам себе выбирает свой фронт борьбы и, естественно, усматривает в каждом, кого он*

видит по ту сторону боевой линии, в том числе и в обывателе, никакого участия в этой борьбе не принимающем,— врага, которого он «имеет право» использовать для своего, хотя бы и минутного благополучия…»

Вполне естественно, что местные крестьяне стремились скрыть от проходящих белых армий запасы продовольствия, скот, тёплую одежду и обувь, надёжно спрятать на дальних таёжных заимках лошадей, фураж и сани. Как свидетельствуют сами старожилы, именно это обстоятельство, а не идейные разногласия по поводу сочувствия-несочувствия красным или советской власти (а в то время это ещё далеко не одно и то же, что большевикам), или белому движению было главной причиной конфликтов, возникавших между отступающими белыми и сибирскими крестьянами.

Особенно негативно на военные реквизиции реагировали крестьяне-переселенцы, имевшие неустойчивые в экономическом отношении хозяйства. Именно территории с преобладанием переселенческого населения стали очагами партизанской борьбы против белых.

При этом политическая окраска крестьян-повстанцев в основном была зелёной, но под воздействием внешней политической среды она приобретала красный и даже белый цвет. Большое влияние на крестьян оказывала умело проводимая пропаганда красных.

Поручик Варженский: «*Местное население, распропагандированное большевиками, относилось к нам враждебно. Питание и фураж достать было почти невозможно. Эпидемия тифа не прекращалась. Деревни, которые попадались нам на пути, порою бывали совершенно пусты и представляли из себя до ужаса неприятную картину.*

Жители, напуганные распространяемыми ложными слухами о наших зверствах скачущими впереди нас большевистскими пропагандистами, в страхе убегали в лесистые горы, где и оставались, пока мы не покидали их насиженных гнёзд. В таких посёлках мы находили только больных стариков, не имеющих сил уйти в горы, и бездомных или забытых собак, которые, поджимая хвосты, боязливо и виновато жались к пустым хатам, даже не тявкая.

Бывали случаи, что жители, покидая деревню, оставляли специально для нас у общественной избы собранные продукты питания и фураж, как бы положенную дань, желая задобрить нашу «алчность» и этим избежать неминуемого, по их мнению, разгрома родного гнезда.

Красные партизаны также не дремали…»

В данных условиях прокормить армии, собранные в единый кулак под единым командованием, обеспечить расквартирование войск на ночлег, лошадей необходимым количеством фуража, да и саму перемену лошадей, было практически невозможно.

С точки зрения тактики, разделение сил для движения отдельными колоннами по разным путям следования было вполне оправдано. А в условиях отсутствия связи командиры подразделений не всегда могли поставить главнокомандующего в известность о том или ином принятом решении.

Группа Сахарова

На восток по Есауловке

Не все подразделения, находившиеся в с. Есаульском, двинулись на север по Енисею вслед за основными силами армий. Поскольку красные были заняты грабежом брошенных белыми эшелонов и обозов, часть белых решила на свой страх и риск прорываться на восток по Сибирскому тракту. Небольшие разрозненные отряды двинулись на Сибирский тракт к станции Батой (современное с. Вознесенка). Часть этих отрядов была задержана отрядом красных, посланным из Красноярска в с. Вознесенку, другая смогла пробиться и устремилась по Сибирскому тракту вслед за колонной генерала Вержбицкого, прошедшей здесь 6 января.

Генерал-лейтенант К. В. Сахаров, командовавший небольшим отрядом численностью немногим более 1 тыс. человек, также принял решение двигаться из Есаульского на восток. План Сахарова состоял в том, чтобы выйти на Сибирский тракт не у ближайшей к Красноярску станции Батой, но скрытно, используя русло реки Есауловки, выйти к месту пересечения реки с трактом, а далее действовать по обстоятельствам.

Генерал-лейтенант Сахаров так описал рождественский марш-бросок своего отряда:

«… *Проводники из местных крестьян обещали провести нас кратчайшим путём, в обход занятых красными деревень, и скоро весь отряд вытянулся по зимней просёлочной дороге. Времени терять было нельзя, поэтому пошли почти без привалов, со скоростью, какую допускали наши не вполне отдохнувшие кони.*

Небольшой отряд, состоявший на одну треть из конницы и на две трети из пехоты и пулемётчиков на санях, бодро продвигался вперёд. Настроение было такое же, вероятно, какое бывает у людей, только что спасшихся от кораблекрушения…

Дорога шла по реке Есауловке, горный поток, бегущий между отвесных скал. Гигантскими стенами возвышаются они, то голые и гладкие, точно отшлифованные, то отходящие уступами вглубь и покрытые столетним лесом. Кедры, пихты, лиственницы и сосны громоздятся в полном беспорядке, окружённые густой девственной зарослью. Стремнина горной речонки до того быстра, что местами не замерзает даже в самые трескучие морозы; сани проваливались и скрипели полозьями по каменному дну. Изредка дорога уходила на берег, на узкую полоску его, под самые скалы. Часа через три попалось небольшое жильё сибирской семьи лесного промышленника, охотника. От двора отходила в лес небольшая, слабо наезженная просёлочная дорога в соседнее село [Вознесенку]. Вышел из избушки лесовик… Лесовик объяснил, что рано утром он вернулся из села, куда с вечера прибыла банда красных, человек в триста. Ждали ещё.

Выслав на село, занятое большевиками, боковой авангард [здесь — боевое походное охранение] от конных егерей, отряд продолжал движение по реке. Горы и лесная чаща ещё более дикие, путь ещё труднее. В одном месте скалы сошлись вплотную:

чтобы выйти на дорогу, пришлось свернуть в лес и пробираться между гигантскими деревьями. Вдруг новое препятствие — обрыв в несколько десятков саженей перед выходом снова в ущелье реки. Остановка, долгий затор и осторожный спуск саней, поодиночке, на руках.

В это время со стороны бокового авангарда послышалась, такая привычная за последние годы, дробь ружейных выстрелов. Несколько пулемётных строчек. Выслали подкрепление и дозор на карьере [здесь — карьером] узнать, в чём дело. Оказалось, что по дороге из села наступала колонна красных, которая после короткого боя с нашим авангардом отступила. Стрельба прекратилась, смолкли выстрелы, будившие эхо векового сибирского леса.

Короткий декабрьский день кончался; быстро катилось по синему небу небольшое красное солнце, а с другой стороны, из-за гор, между кедрами поднималась чистая серебряная луна. Ещё прекраснее и сказочнее стала дикая природа — высокие, громоздящиеся друг на друга, как замки великанов, горы, тёмные глубокие ущелья и зубчатые стены лесов.

Зажглись на небе рождественские звёзды. Отряд наш шёл уже более десяти часов. Без остановок, без отдыха, без пищи. Наконец, только к полночи, горы стали уходить в сторону, дорога делалась легче, мы приближались к тракту».

Отряд вышел на Московский тракт у села Кускун, где и остановился на ночлег. От Кускуна отряд двинулся по тракту и через три дня после начала движения от Есаульского вышел на железную дорогу у станции Клюквенная.

Таким образом, разбитые, но не побеждённые, остатки Сибирских белых армий продолжили Ледяной поход. Они разделились на два расходящихся потока: основные силы двинулись в обход Красноярска на север по Енисею, другая часть — на восток по Сибирскому тракту. Оба потока стремились к Иркутску.

8 января 1920 г.

Отделение Северной группы для прохода по Ангаре

Первым в глубокий обход на север направился отряд генерал-майора А. П. Перхурова, начальника партизанских отрядов 3-й армии. Выйдя в Рождество с Енисейского тракта к селу Атаманово и деревне Хлоптуновой, Перхуров не стал присоединяться к главным силам армии, проходившим через с. Большой Балчуг.

Генерал-майор Перхуров: «*Часть во́йска пошла в обход Красноярска по р. Кан, а я, получив от командующего армиями генерала Войцеховского, в ведении которого я состоял, приказ пробиваться за Байкал по своему усмотрению, пошёл по Енисею до устья Ангары, потом по Ангаре и р. Илиму*».

В селе Большой Балчуг от колонны Каппеля отделился сводный отряд генерал-майора Н. Т. Сукина. В состав отряда вошли 11-й Оренбургский казачий полк полковника А. Т. Сукина (от 500 до 700 сабель), отряд полковника Н. Н. Казагранди (500 чел.) из 2-й Сибирской армии и части, оставшиеся от сдавшейся в Томске 1-й Сибирской армии А. Н. Пепеляева — 3-й Барнаульский стрелковый полк под командованием полковника А. И. Камбалина и капитана Богославского (от 600 до 700 штыков) и отряд Томской конной милиции Е. К. Вишневского. Эти отряды, отправившиеся в глубокий северный обход по Ангаре, Илиму и Лене, составили так называемую «Северную группу» подразделений 2-й и 1-й армий.

По сведениям С. В. Маркова, при выходе из д. Усть-Кан Северная группа генерал-майора Сукина насчитывала 8 января 1920 г. около 1600 человек. На следующий день в д. Нижней Подъёмной к ней присоединились остатки отряда генерал-майора Н. А. Галкина. Сам генерал Галкин погиб накануне в бою с крестьянами-ополченцами, устроившими засаду в д. Шила. Отряд Галкина ранее вышел к Енисею в районе с. Атаманово и д. Хлоптуново и, не переходя Енисея, двинулся на север по левому берегу через д. Кононово и с. Кекур. На Ангару самостоятельно продвигались и другие части белых, в том числе отряд полковника Н. Н. Казагранди, основу которого, вероятно, составлял учебный морской полк подполковника Песоцкого (300 чел. при 60 пулемётах). Вобрав на марше несколько небольших отрядов, Северная группа Сукина насчитывала в своём составе более 3 тыс. чел. (80 офицеров, 1300 солдат, 300 казаков и 1300 больных).

В случае, если войсковая колонна Каппеля из-за непроходимых порогов была бы вынуждена вернуться с Кана на Енисей, отряды Северной группы должны были стать её авангардом при движении на Ангару. Были и другие, более прозаические причины, заставлявшие воинские части отделяться от основных сил и продвигаться самостоятельно.

Зуев А. В. (11-й Оренбургский казачий полк): «*…Эта деревушка [Бол. Балчуг], как и ранее пройденные нами, очень неприветливо встретила нас. К нашему приходу в этот пункт жители бежали из него и настолько поспешно, что в домах мы находили оставленную горячую пищу нетронутой. Оставшиеся старики говорили, что местные партизаны запугивали жителей расправой с ними идущими «колчаковцами». Вот в этом-то пункте и зародилась мысль об отделении от ядра Армии и следовании далее небольшой группой в пределы Забайкалья по р. Ангаре, Лене и Байкалу.*

…Сукин заверил казаков, что в этом районе мы не можем встретить сколько-нибудь серьёзного сопротивления на пути нашего следования и что по собранным им сведениям и статистическим данным край этот достаточно населён и обильно снабжён хлебом, фуражом и др. продуктами питания. Призвал всех к мужественному исполнению долга перед Родиной, а те, кто не чувствует в себе сил на дальнейший подвиг, может открыто заявить об этом и вернуться к ядру Армии».

«Барнаулец» (3-й Барнаульский стрелковый полк): «*Бой под городом Красноярском задержал полк, и при дальнейшем следовании сначала вниз по Енисею, а потом по реке Кан полк оказался в хвосте армии. Постоянные ночлеги под открытым небом, недостаток хлеба и фуража, как следствие прохождения впереди целой армии, — всё это, осложнявшееся сравнительной многочисленностью*

полка, вынудило командование в лице начдива 1-й Сибирской [дивизии] полковника Камбалина и комполка Барнаульского капитана Богославского соединиться с 11-м Оренбургским казачьим полком и, образовав, под общим командованием генерал-майора Сукина, самостоятельную колонну, двинуться от села Бол. Балчуг отдельно от остальной армии на север».

Войсковая колонна Каппеля

Подпорожная и начало движения по реке Кан

Оставив село Атаманово, утром 8-го января передовые части группы Каппеля перешли на правый берег Енисея и вошли в село Большой Балчуг.

В составе войсковой группы Каппеля, прошедшей через Большой Балчуг к Кану, были остатки четырёх дивизий 2-й Сибирской армии генерал-майора Войцеховского (4-й Уфимской дивизии генерала Корнилова, 8-й Камской стрелковой адмирала Колчака дивизии, 12-й Уральской стрелковой дивизии и 2-й Уфимской кавалерийской дивизии) и Ижевской дивизии генерал-майора Молчанова из состава 3-й Сибирской армии, а также несколько отдельных отрядов. Точных сведений о количественном составе группы нет. Приводимые данные колеблются в диапазоне от 12 до 30 тыс. человек.

По воспоминаниям местных жителей, через Большой Балчуг белые «шли ходом трое суток» — 8, 9 и 10 января. Из Балчуга двигались двумя потоками. Основные силы группы Каппеля поворачивали здесь на восток и через деревушку Глубокий Ручей (Козлова) по переселенческой грунтовой дороге (12–13 вёрст) выходили на Кан у деревни Подпорожной. Другая походная колонна группы Каппеля, выйдя из Большого Балчуга, проходила 9 вёрст по старой луговой дороге вдоль берега Енисея до деревни Усть-Кан и, повернув на восток, по льду Кана поднималась к д. Подпорожной.

Впереди — труднопреодолимые природные препятствия в виде порогов, крупных шивер и дикой тайги на десятки вёрст без дорог и населённых мест.

Генерал-майор Пучков: «*Проверка имевшихся раньше сведений о реке Кан установила окончательно, что путь по реке до Канска вообще существует, и им изредка пользуются местные жители, но в текущем году по реке ещё никто не проходил. Причина — мягкая зима. Кан, быстрая горная речка, изобилует порогами и замерзает окончательно только после сильных сибирских морозов. Местные жители выражали сомнение в возможности прохода, так как считали, что мы не сможем одолеть порогов, где под снегом струится вода; безусловно были непроходимы пороги у устья реки, но их можно обойти, пересекая огромную лесистую сопку, занявшую весь угол между Енисеем и Каном; дальше по реке обходы порогов были абсолютно невозможны по характеру берегов. Ближайший населённый пункт вверх по реке — деревня Барга — находился примерно в 80 верстах от Подпорожной по прямой линии, причём единственная имевшаяся у нас старая переселенческая карта указывала деревню Барга на правом берегу реки; впоследствии мы нашли деревню на левом берегу».*

Генерал-майор Петров: «*Колонна направилась вниз по Енисею. Ещё не решено окончательно, где свернуть на восток, по Кану или севернее. Собираются сведения о реке Кан — определённого мало: собираются карты, планы. Кто-то достал описание военного округа: в нём есть краткие сведения, что-то вроде «по разведкам офицеров генерального штаба р. Кан от устья до Канска 105 вёрст; на протяжении 90 вёрст от дер. Подпорожной нет жилищ, кроме нескольких охотничьих сторожек. Три порога, река замерзает в конце декабря». Не удаётся узнать, что представляют пороги; знают только ближайший к устью, который надо обходить, так как он во всю ширину реки.*

С подходом к устью Кана сведения пополняются мало. Давно никто не ездил зимою по реке; раньше, говорят, ездили в какой-то завод, недалеко от Канска. Решено идти по Кану. Впереди должны идти уфимцы, затем камцы. От нашей колонны отделяются оренбургские казаки [полковника Сукина] и небольшие пехотные части — не верят в возможность пройти по Кану».

В д. Подпорожной Каппель сделал остановку в доме крестьянина Дадеко. Здесь он снова провёл оперативное совещание с начальниками воинских частей по вопросу о направлении дальнейшего движения войсковой колонны. Несмотря на настоятельное стремление части командиров двигаться северным обходным путём по Ангаре, главнокомандующий принял решение о проходе основных сил армии по Кану на Канск — к месту пересечения старинного зимнего пути по Кану с Московским (Сибирским) почтовым трактом и Транссибирской железной дорогой. Оценка ситуации показывала, что предстоит тяжёлый трёхдневный марш. Впереди — около 90 вёрст до ближайшего жилья по заснеженному руслу непредсказуемой реки, по безлюдному таёжному коридору. Впереди — полная неизвестность в отношении самой возможности зимнего прохода войсковой колонны по Кану. Неизвестно, каковы силы красных по маршруту следования армии в деревнях Баргинской и Курышенской, в городе Канске. Вопросы без ответов. Степень риска чрезвычайно высока. Принимая решение идти по Кану, главнокомандующий генерал Каппель, несомненно, принимал во внимание то, что шансы вывести по Ангарскому пути огромную массу смертельно уставших людей, подавленных разгромом под Красноярском, бесконечно малы. Остаткам двух армий оставался один выход — двигаться только вперёд, избегая по возможности боевых столкновений с противником и преодолевая естественную преграду в виде дикой безлюдной канской тайги. Медлить нельзя! Решение принято! Alea jacta est!

Как и предупреждали местные крестьяне, Большой и Поливной пороги оказались совершенно непроходимыми: тёплая зима не позволила морозу сковать широкое русло льдом, и вдоль берега бурными потоками шла вода. Было принято решение обходить пороги по старинному объездному пути на левому берегу Кана, которым

в тёплые зимы пользовались местные жители и путешественники в XVIII–XIX веках, ещё в те времена, когда по этим местам проходила зимняя дорога из Красноярска на Иркутск.

После полудня 8 января головные части 2-й армии вышли из Подпорожной и стали медленно подниматься по заснеженной таёжной дороге в сопку Сочивкин хребет, подходившую к деревне. Далее несколько вёрст продвигались на восток по гриве сопки, а затем спускались вдоль русла Проездного ручья на лёд Кана у Каренгского острова выше Поливного порога.

Начался один из самых трудных этапов Сибирского Ледяного похода—движение по Кану.

Генерал-майор Петров: «*Кажется, 9 января, после полудня, [4-я] Уфимская дивизия, после отдыха в Подпорожной, начала движение по Кану; нужно было по лесной дороге, по просекам, обойти первый порог. Поднимаемся по лесной дороге в гору, а затем начинаем движение по целине какими-то просеками, прогалинами, с крутыми спусками. Люди прокладывают дорогу шаг за шагом вместе с проводниками; колонна через каждые несколько шагов останавливается. Уже в сумерках спустились на лёд…*».

Капитан Ефимов: «*Подъём на крутую гору, сначала по лесной дороге, потом по просекам и целине, оказался нелёгким, с частыми задержками, и занял много времени. Так же тяжёл был и спуск на лёд. К реке головная часть добралась в сумерках*».

Полковник Вырыпаев: «*Передовым частям, с которыми следовал сам Каппель, спустившимся по очень крутой и длинной, поросшей большими деревьями дороге, представилась картина ровного, толщиной в аршин, снежного покрова, лежащего на льду реки. Но под этим покровом по льду струилась вода…*»

Генерал-майор Пучков: «*Картина открывалась невесёлая, но выхода у нас не было. Возвращаться назад, чтобы выйти к железной дороге, особенно теперь, после потери двух суток, было поздно; оставалось идти вперёд. Вскоре после полудня 4-я [Уфимская] дивизия выступила из деревни Подпорожное, имея в голове колонны генерала Каппеля с его конвоем. 8-я [Камская] дивизия начала движение через три часа, в предположении, что 4-я дивизия, прокладывавшая дорогу по целине, успела уже выиграть достаточное пространство. Начался медленный, утомительный подъём в гору по плохо укатанной дороге. День на редкость тёплый; падал небольшой снежок. Уже в полной темноте поднялись на вершину горы и здесь надолго остановились: впереди застыл неподвижно хвост 4-й дивизии. Командированный на разведку офицер вернулся и доложил, что в голове колонны движение почти остановилось: люди и повозки тонут; продвижение было успешно, хотя и требовало огромных усилий при дневном свете, ночью же приходится находить сухие места под снегом ощупью; кое-где вода струится во всю ширину реки, и там люди и лошади идут по колено в воде; идущие в голове высказывают сомнение в самой возможности дальнейшего движения…*».

«*…Бесконечная, томительная ночь прошла в ожидании, в попытках согреться и задремать*».

Капитан Ефимов: «*Прошли несколько вёрст вверх по Кану и остановились: на реке—вода. Были посланы конные разведчики выяснить, возможно ли дальше двигаться*».

Под глубокими сугробами по льду Кана течёт вода. Причина образования *наледи* неизвестна: или это река ещё недостаточно замёрзла (ледостав по Кану в те годы завершался в начале ноября), или лёд опустился под тяжестью движения армейской колонны, или же это были полыньи. Обходные пути по сопкам невозможны. В промежутке от Проездого ручья до Каренгского острова на льду Кана скопилось большое количество людей, лошадей, саней. При этом всё новые и новые сани продолжали спускаться по объездной дороге на лёд. Даже небольшой обстрел авангарда войсковой колонны, учинённый выше порога местными крестьянами-ополченцами, не внёс смятения в ряды белых.

Гораздо более сильное впечатление на участников похода оказывала неизвестность. Каппель не решался дать приказ возобновить движение вперёд и не исключал варианта возвращения обозов в Подпорожную и оставления их в деревне на волю судьбы. Предполагаемые трое суток движения по льду до Канска могли стать последними для раненых, больных и гражданских лиц.

Наступила первая ночь на Кане. Состояние людей было подавленное.

Генерал-майор Петров: «*Пешком по такой воде двигаться нельзя, хотя бы лёд и выдерживал. Уже многие промочили обувь… Несколько часов ожидания кажутся вечностью*».

Капитан Ефимов: «*Ударил сильный мороз. Вдоль пути остановившейся колонны зажглись костры. Долго не возвращались разведчики. Начали опасаться, что дальше не пройти. Заговорили о необходимости бросить сани и двигаться верхом. Раненых, больных и семьи следовало отправить назад в Подпорожное*».

2-я Сибирская армия остановилась, но «точка невозврата» уже пройдена. На лёд спускаются всё новые и новые обозы. Подняться обратно в долгий крутой тягун они уже не в состоянии. Оценивая ситуацию как критическую и принимая всю ответственность на себя за выбор дальнейшего решения, генерал В. О. Каппель шёл впереди колонны вместе с разведчиками, со своим штабом и конвоем. Русло Кана было занесено сугробами, а подступавшие обрывистые берега не оставляли выбора в направлении движения: или вперёд, на восток, к возможному спасению, или назад, к неминуемой гибели.

Вскоре вернулись посланные вперёд конные разведчики. Они выяснили, что Кан встал и лёд достаточно крепок, чтобы выдержать движение войсковой колонны при условии её сильного растягивания, а вода на льду Кана имеет поверхностное происхождение. Она стекает на лёд многочисленными незамерзающими ручьями с обоих берегов, надёжно укрытых от мороза глубокими снегами. Эта поверхностная вода образует в устьях

ручьёв скопления, которые выглядят как полыньи, течёт по льду невидимыми потоками под слоем глубокого снега. Движение колонны возможно, но необходимо тщательно выбирать путь.

Колонна 2-й армии снова двинулась в темноту ночи.

Во главе конной разведки генерал Каппель продолжал двигаться впереди, выбирая дорогу в глубоких снегах. Будучи опытным кавалеристом, он берёг коня и, спешившись, вёл его в поводу. Далее в авангарде шёл штаб главнокомандующего. Следом медленно продвигалась 4-я Уфимская стрелковая дивизия генерала Петрова, за ней двигалась 8-я Камская стрелковая дивизия генерала Пучкова. Этим людям довелось сыграть главные роли в кульминации исторической драмы под названием «Великий Сибирский Ледяной поход».

Генерал-майор Петров: «*Река Кан» не говорит ничего тем, кто не шёл по ней или кто шёл позднее по проложенной дороге. Зато она хорошо памятна Уфимцам, Камцам, тем, кто шли во главе колонны…*

…Широкая, замёрзшая река в обрывистых берегах. По берегу могучий лес, какого мы ещё никогда не видали: ель, лиственница невиданной толщины уходят верхушками в небо; тайга непролазная. По такому гористому ущелью течёт река—это коридор, по которому можно идти только на восток, не имея возможности свернуть ни вправо, ни влево».

Капитан Ефимов: «*Движение передового отряда было медленным. Приходилось осторожно выбирать дорогу, так как встречались полыньи, в которые проваливались неосторожные люди. Наступивший мороз укреплял лёд, но, когда сани попадали в места с водой, смешанной со снегом, они быстро обмерзали, и усталые лошади с трудом вытягивали их на сухое место. Если лошади не могли быстро протащить сани, то они примерзали ко льду, и их с трудом могли освободить. Много примёрзших саней было брошено*».

Полковник Вырыпаев: «*Ногами лошадей перемешанный с водою снег при 35-градусном морозе превращался в острые бесформенные комья, быстро становившиеся ледяными. Об эти обледеневшие бесформенные комья лошади портили себе ноги и выходили из строя. Они рвали себе надкопытные венчики, из которых струилась кровь.*

В аршин и более толщины снег был мягким, как пух, и сошедший с коня человек утопал до воды, струившейся по льду реки. Валенки быстро покрывались толстым слоем примёрзшего к ним льда, отчего идти было невозможно. Поэтому продвижение было страшно медленным. А через какую-нибудь версту сзади передовых частей получалась хорошая зимняя дорога, по которой медленно, с долгими остановками, тянулась бесконечная лента бесчисленных повозок и саней, наполненных самыми разнообразными, плохо одетыми людьми».

Много обмороженных. Люди вынуждены останавливаться и жечь костры, чтобы обогреться и немного просушить обувь. Валенки сушили не полностью, поскольку промороженные валенки образовывали непромокаемую ледяную корку. Такие обмёрзшие валенки делали движение очень тяжёлым, медленным, но, что самое важное,—возможным.

Так, без привалов и ночёвок, делая частые вынужденные остановки, Уфимская и Камская дивизии 2-й Сибирской армии в авангарде с главнокомандующим армиями Восточного фронта генерал-лейтенантом В.О. Каппелем двигались по Кану в течение двух суток 8 и 9 января.

Ижевская дивизия

На соединение с Каппелем!

Самым боеспособным подразделением 3-й Сибирской армии оставалась Ижевская дивизия генерал-майора В.М. Молчанова. Отступление дивизии прикрывал Ижевский конный полк под командой капитана А.Г. Ефимова. Ижевский конный полк в конце ноября 1919 г. насчитывал в строю 25 офицеров и 700 солдат. В середине декабря 1919 г. во всей Ижевский дивизии в строю оставалось 400 человек.

Рано утром 8 января конный Ижевский полк, двигавшийся в авангарде 3-й армии, вошёл в Атаманово, но частей группы 2-й армии здесь уже не застал. Жителей в деревне тоже не было, и после ночного перехода полк встал здесь на короткую днёвку. Передохнув, остатки 3-й армии перешли у Атаманово через Енисей и к 20 часам прибыли в д. Подпорожную.

Капитан Ефимов: «*Ночью 8-го пришли к устью реки Кан в деревню Подпорожную. Она была забита ранее прибывшими частями, которые готовились к дальнейшему движению. Река Кан протекала между отвесными скалистыми берегами, пробив себе в горах дорогу. В нескольких местах на ней были «пороги», где вода бурлила и пробивалась на поверхность льда. Эти места окончательно замерзали только после сильных морозов, обычно после Рождества. К нашему приходу некоторые наиболее бурные пороги ещё не замёрзли. Кан не хотел нас пропускать. Но двигаться было надо—отступления назад не было*».

Голопуповка

Отдельные отряды белых, обошедшие Красноярск через Есауловское накануне «кровавого сочельника», двигались по Московскому тракту. В ночь на Рождество передовые отряды достигли села Балайского и встали на ночлег. Железная дорога восточнее Красноярска полностью контролировалась чехами. Чехословацкий корпус, сформированный из бывших военнопленных австро-венгерской армии, подчинялся командованию союзников, а не Верховному правителю адмиралу Колчаку. Отношения белых с «союзниками» были весьма напряжёнными, близкие к враждебным. После разгрома белых под Красноярском чехи заключили соглашение с командованием красных о недопущении войсковых частей белых к линии железной дороги. Приближаться к полотну железной дороги было рискованно. Поэтому от Балая часть отрядов продолжила движение вдоль Транссиба по почтовому Московскому тракту, другая

двинулась по просёлочным дорогам южнее линии железной дороги.

В сумерках 8 января передовые отряды белых, двигавшиеся южным путём, стали входить в село Голопуповку (Верхний Амонаш). Лежащее на пути следования волостное село Амонаш было занято крупным «отрядом революционных войск товарища Пугачёва», высланным из Канска. Одним из первых в Голопуповку вошёл отряд 62-го Чердынского пехотного полка Пермской стрелковой дивизии (командир полка капитан Рейнгардт). После боёв под Красноярском в его составе осталось около 300 бойцов.

Поручик Варженский: «*...наш авангард вошёл в один незначительный посёлок, по названию, кажется, Голопуповка, и выслал от себя разведку в сторону соседней деревни, находящейся верстах в трёх-четырёх впереди. Разведка, вышедшая за околицу, тотчас же была встречена сильным огнём противника и принуждена была вернуться обратно.*

Попытка сбить красных всем авангардом вместе также не имела успеха, и отряд вернулся в исходное положение в ожидании подкрепления. Следующие за головным отрядом части армии одна за другой втягивались в посёлок, и скоро вся армия сосредоточилась в этой небольшой деревне».

Казачий офицер Иванов В. Н. (отряд Оренбургского казачьего войска войскового старшины Енборисова): «*В Голопупове оказались остатки 13-го добровольческого полка (ранее 25-го Екатеринбургского имени адмирала Колчака полка) под командой полковника Герасимова, молодого и очень нервного; штаб и некоторые подразделения Морской стрелковой дивизии под командой адмирала Старка; кавалерийская школа—около двухсот сабель, под командой полковника Толкачёва; остатки Тобольского отряда особого назначения полковника Колесникова и 1-й кавалерийской дивизии генерала Миловича*». «*Выслали в Аманаш разведку, которая вернулась с потерями. Подошли сведения, что деревни правее и левее Аманаша тоже заняты противником. Силы его могли быть значительны, а нам ничего о них не было известно. Не знали мы и точно, сколько же было нас*».

9 января 1920 г.

Войсковая колонна Каппеля—Река Кан

Выступив из Подпорожной после полудня 8-го января, только под утро следующего дня 4-я Уфимская и 8-я Камская стрелковые дивизии завершили обход порогов по сопке Сочивкин хребет и спустились на Кан.

Генерал-майор Пучков: «*...с первыми лучами ясного, морозного дня мы оказались на льду реки... Открывшаяся перед нами величавая, Богом созданная дорога сверх того устрашала...*

...Ровная, белая лента реки Кан, шириною в 200–250 шагов, вьётся между двух обрывистых, поросших вековым лесом стен, подобно бесконечному белому коридору. Высокие холмы по обоим берегам временами отходят от реки, иногда же нависают над самым руслом. На всём протяжении от устья Кана до деревни Барга нигде не удалось заметить ни малейшего прорыва в этих стенах, куда мог бы проскользнуть человек; все двигавшиеся по реке тысячи людей и лошадей оказались запертыми более прочно, чем если бы они попали в самую надёжную тюрьму.

...Здесь, при спуске на Кан, можно было поставить старую, всем известную надпись: «Оставь надежду, входящий сюда». Эти две стены лесистых гор, покрытых снегом, пробить не смог бы никто.

По белому полю реки местами выступали огромные красноватые пятна, подобные ржавчине: здесь пробилась на поверхность незамёрзшая струя воды; дорога шла, извиваясь, обходя эти опасные места. Сейчас они безвредны, так как легко видны, но ночью голова колонны должна была ощупывать их с большой осторожностью».

Капитан Ефимов: «*Первые пороги у самого устья, особенно трудно проходимые, обошли, поднявшись на крутую лесистую гору и спустившись с неё выше порогов. Следующие пороги [здесь—Караульные шиверы и Косой порог] обходить было невозможно. Две каменных стены по бокам не допускали другого движения, как только по льду реки. Нужен был крепкий мороз, который бы окончательно сковал реку. Плохо одетые, мы сильно страдали от морозов в 15–20 градусов, но теперь молили о морозе в 40 градусов. И он «закургузил», когда передовые части двинулись вверх по Кану.*

Тяжело пришлось этим первым частям—Уфимской и Камской дивизиям,—с которыми шёл и генерал Каппель, показывая пример. На порогах вода не успела замёрзнуть и вырывалась на поверхность льда, и в этот жестокий мороз нужно было ходить по ледяной воде и искать проходимые места. Люди промачивали ноги, и валенки обращались в ледяные глыбы.

При проходе Иртыша вода замёрзла под нашими ногами. Кан замерзал вместе с ногами, шедшими впереди».

Поскольку продвижение дивизий 2-й армии шло довольно медленно, части 3-й армии были вынуждены оставаться на месте в деревне Подпорожной в течение всего светового дня 9 января.

Капитан Ефимов: «*Они получили неожиданную днёвку. Правда, эта днёвка не дала настоящего полного отдыха. Небольшая деревня не могла приютить под крышей всех. Люди по очереди сменялись для того, чтобы согреваться в избах. Больше времени приходилось проводить у костров на улице деревни, прыгая на месте и оттирая носы и уши, сильно страдавшие от жестокого мороза...*».

Ижевская дивизия была определена в арьергард движения основных сил армии, чтобы пройти уже проложенным путём. И это не случайно. Дело в том, что в обычных частях белой армии число семей, следовавших за военнослужащими, было сравнительно невелико. Солдатские семьи при отступлении, как правило, оставались на местах, и число семей, следующих за частью, ограничивалось преимущественно семьями офицеров. Но в рядах рабоче-крестьянской Ижевской дивизии число семей военнослужащих было весьма значительным.

Генерал-майор Пучков: «*Были… части, где число семей достигало значительной цифры; так, в Ижевской дивизии ехало около 250 женщин и детей. Объяснялось это тем, что многие ижевцы увезли свои семьи при эвакуации [Ижевского оружейного]завода и позднее разместили их на стоянке своего запасного батальона; вместе с ними большинство семей ушло в Ледяной поход. Большое зло в нормальной боевой обстановке, женщины принесли огромную пользу в походе, взяв на себя тяжёлую задачу питания бойцов и ухода за больными и ранеными. Трудно сказать, какое количество людей обязано своей жизнью их заботливым, неутомимым рукам*».

А тем временем для дивизий 2-й армии наступает вторая ночь на Кане.

Полковник Вырыпаев: «*При гробовой тишине пошёл снег, не перестававший почти двое суток падать крупными хлопьями; от него быстро темнело, и ночь тянулась почти без конца, что удручающе действовало на психику людей, как будто оказавшихся в западне и двигавшихся вперёд полторы-две версты в час.*

Идущие кое-как прямо по снегу, на остановках, как под гипнозом, сидели на снегу, в котором утопали их ноги. Валенки не пропускали воду, потому что были так проморожены, что вода при соприкосновении с ними образовывала непромокаемую ледяную кору. Но зато эта кора так тяжело намерзала, что ноги отказывались двигаться. Поэтому многие продолжали сидеть, когда нужно было идти вперёд, и, не в силах двинуться, оставались сидеть, навсегда засыпаемые хлопьями снега.

Сидя ещё на сильной, скорее упряжной, чем верховой лошади, я подъезжал к сидящим на снегу людям, но на моё обращение к ним встать и идти некоторые ничего не отвечали, а некоторые, с трудом подняв свесившуюся голову, безнадёжно, почти шёпотом отвечали: «Сил нет, видно, придётся оставаться здесь!» И оставались, засыпаемые непрекращающимся снегопадом, превращаясь в небольшие снежные бугорки …».

Генерал-майор Пучков: «*С наступлением темноты пошёл снег, и сразу же потеплело. Окружающие скалы и лес приняли фантастические очертания, бесконечные вереницы людей и повозок двигались теперь в странной тишине, навеянной усталостью и жутким молчанием величавой природной декорации. Медленное, монотонное движение начинало усыплять, усталый взор напрасно искал какого-нибудь просвета впереди, за каждым поворотом реки рисовались огни деревни; и вскоре они действительно замелькали по обоим берегам реки, а слух ловил лай собак и другие знакомые звуки человеческого жилья. Но вскоре огни исчезали, звуки расплывались, а впереди, в бесконечной смене, появлялись новые повороты и извилины капризной горной речки». «Около полуночи… небо прояснилось, стало вновь необычайно холодно…»*

«Особенно тяжело было во вторую ночь, когда усталость людей и лошадей дошла до предела; люди засыпали и в санях, и в сёдлах. Жестокий холод заставлял спешиваться и гнал из саней, и засыпавшие на ходу люди неизбежно попадали в воду и промачивали валенки. Не думаю, чтобы кто-нибудь остался необмороженным в эту ночь; у большинства пострадали ноги. Сильнее всех поплатился генерал Каппель, застудивший лёгкие и обморозивший обе ноги, что вызвало его смерть две недели спустя. В этом же аду двигались наши больные и раненые, женщины и даже дети…»

Генерал-майор Петров: «*Ночь переходит в день почти незаметно, мглистый, морозный день; мороз, к какому мы не привыкли, пронизывает сквозь кучу всяких одежд. Сколько носов уже обмороженных. Целый короткий день двигаемся то по сухому льду, то с водой сверху, с остановками. На остановках кормят лошадей; разводят костры, размораживают краюхи хлеба, чтобы подкрепиться. Снова ночь. Что впереди, неизвестно. Проводники обещают, что скоро какой-то хутор, но его не видно. Подсчитываем, что в движении с остановками больше суток, прошли не менее 50 вёрст, значит, ещё далеко.*

На каждой остановке трагедия: сани во время движения по мокрым местам захватывают, загребают снег и обмерзают, становятся тяжёлыми. Надо обрубать лёд. Если же пришлось остановиться на мокром месте, то сани просто примерзают так, что лошади не могут их взять.

Уже много окончательно выбившихся из сил лошадей; еле стоят, или ложатся, чтобы больше не вставать. В воздухе крики, брань, разговоры…»

Капитан Ефимов: «*В этих гиблых местах сани сразу примерзали ко льду, если усталые лошади не смогли протащить их через порог «одним духом», не останавливаясь. Много примёрзших саней было брошено».*

«…Участники вспоминают о необычайной усталости, жестоком морозе, апатии, галлюцинациях, охвативших многих. За каждым поворотом реки ждут появления давно ожидаемой деревни Барги. Начинают мерещиться огоньки, слышится лай собак и крики петухов… Торопятся к этим признакам жилья. Всё пропадает… Впереди по-прежнему только ледяная поверхность реки, сжатая тёмными берегами. От усталости люди засыпали в санях и в седле. Мороз гнал их согреться. Соскакивали на лёд и пробовали бегом разогреть промёрзшее тело. Часто попадали в воду, промачивали валенки и ноги. Было много обмороженных».

Генерал-майор Петров: «*…У спутников начинается слуховая галлюцинация. Слышат где-то лай собак. Я твёрдо помню, что на переселенческой карте деревня Усть-Барга на левом берегу реки, а до неё должен быть хутор. Двигаемся не 4 версты, а около 10—ничего. Валенки, намоченные около саней, замёрзли, начинают чувствовать мороз ноги. Приходится слезать и бежать за лошадью, чтобы согреть ноги. В одном месте слышим стоны в санях—узнаём, что обморозил ноги и страшно продрог генерал Каппель.*

Наконец, около полуночи добираемся до хутора и после короткой остановки—до желанной деревни. О красных нет никаких сведений, но и без красных много пострадавших, много обмороженных. Тёплая изба, кусок хлеба и возможность лечь

и заснуть в тепле, и мы испытывали незабываемое счастье, забывали об ужасных днях в лесном ущелье на реке».

Капитан Ефимов: «…*Очень тяжело поморозился генерал Каппель, шедший впереди с разведчиками и вместе с ними отыскивавший в воде проходы для двигавшейся сзади колонны. Он обморозил ноги и получил воспаление лёгких».*

Полковник Вырыпаев: «*Генерал Каппель, жалея своего коня, часто шёл пешком, утопая в снегу так же, как другие. Обутый в бурочные сапоги, он, случайно утонув в снегу, зачерпнул воды в сапоги, никому об этом не сказав. При длительных остановках мороз делал своё дело. Генерал Каппель почти не садился в седло, чтобы как-то согреться на ходу.*

Но тренированный организм спортсмена на вторые сутки стал сдавать. Всё же он сел в седло, через некоторое время у него начался сильнейший озноб, и он стал временами терять сознание. Пришлось уложить его в сани. Он требовал везти его вперёд. Сани, попадая в мокрую кашу из снега и воды, при остановке моментально вмерзали, и не было никаких сил стронуть их с места. Генерала Каппеля, бывшего без сознания, посадили на коня, и один доброволец (фамилии его не помню), огромный и сильный детина на богатырском коне, почти на своих руках, то есть поддерживая генерала, не приходившего в себя, на третьи сутки довёз его до первого жилья, таёжной деревни Барги…». *Сколько участников похода не смогли преодолеть расстояние от Подпорожной до Барги, установить практически невозможно.*

Генерал-лейтенант Филатьев: «*Умерших во время перехода тифозных складывали прямо на лёд и ехали дальше. Сколько их было, никто не знает, да этим и не интересовались, к смертям привыкли*».

Капитан Ефимов: «*Пропустил нас и Кан, но взял за это тяжёлый выкуп. Было много замороженных. Особенно тяжела была для всех потеря нашего главнокомандующего — генерала Каппеля, который промочил ноги, сильно простудился*».

Старожилы также подтверждают воспоминания белых о многих жертвах похода: «*Многие замёрзли на Кану, больше всего в Караульных Шиверах*».

Щукин Пантелей Игнатьевич, 1894 г. рожд.: *[Житель д. Большой Балчуг] «Прокопий Холофеевич Цыганков согласился быть проводником за хорошую плату, которую ему обещали. Он вернулся через неделю и сильно заболел. После кое-что рассказал, а вообще вспоминать про тот поход не любил, рассказывал только подвыпивши и всегда смахивал слёзы. «Ужас», — говорил… В Барге у Прокопия жила родня по жене, отогрелся кое-как, отоспался и когда все белые прошли, поехал назад. Мужик смекалистый, прихватил топор.*

Вырубил свои сани и ещё одни привязал, тянул сзади до дому. За санями и сбруей крестьяне ездили не раз в ту зиму. Сколько, — говорили, — там людей помёрзло. Трупы несло весной со льдом и даже летом выносило».

Некоторые солдаты, не вынеся тягот перехода по Кану, возвратились в Подпорожную. О их дальнейшей судьбе можно только догадываться: они могли сдаться в плен, стать таёжными отшельниками или участниками белого партизанского движения. Ещё в 1960-х годах на их полуразвалившиеся землянки время от времени набредали в тайге охотники и искатели «золота Колчака». По их рассказам, в земляках находили старые винтовки, револьверы, патронные гильзы, нехитрую утварь и полуистлевшие личные вещи.

Но основные силы белых армий смогли пройти по Кану! Трудно не согласиться с высказыванием штабс-капитана Решетникова, не участвовавшего в переходе по Кану, но в полной мере испытавшего всю тяжесть участия в Сибирском Ледяном походе:

«Этот переход был беспримерным подвигом русского солдата».

Тяжесть перехода и новые жертвы ещё больше сплотили людей. Если у Подпорожной на канский лёд вступили дивизии камцев, уфимцев, уральцев, ижевцев, то, пройдя через горнило Кана, к деревне Барге они вышли уже «каппелевцами», а своего главнокомандующего справедливо почитали как спасителя.

10 января 1920 г.

Войсковая группа Каппеля — Барга

Генерал-майор Пучков: «*Всякое представление о пройденном пространстве давно уже было утрачено, и мы ожидали появления деревни Барга за каждым поворотом реки. Повторились те же галлюцинации, что и накануне вечером, но на этот раз лай собак и крик петухов слышал не только я, но и все окружающие. Тщетно заглядывали мы в каждую расщелину, в каждую складку высокого правого берега реки, где наша карта указывала деревню Барга, всё напрасно — звуки исчезали, и перед нами оставались только неприступные берега и белое поле реки. Около трёх часов утра рельеф левого берега реки начал смягчаться, русло расширилось, и мы подъехали к деревне Барга. Слишком утомлённый, чтобы ощущать какое-нибудь радостное чувство, зашёл в первую попавшуюся хату и почти без чувств повалился на приготовленную кем-то солому…*». Такого количества людей деревня Барга не видела за всю свою двухвековую историю. По оценкам, из тайги вышло около 10–12 тысяч человек.

Генерал-майор Петров: «*На счастье белых в Усть-Барге [прим. — так в тексте] красных не оказалось, деревня встретила не пулями, а теплом и хлебом*».

Полковник Вырыпаев: *Бесчувственного генерала Каппеля внесли в дом, раздели, положили в кровать. Ноги его, от колен и ниже, затвердели, как камень. Случайно оказавшийся с нами доктор был без аптеки и инструментов. Осмотрев растираемые снегом ноги больного генерала, он нашёл, что у него обморожены пятки и некоторые пальцы на ногах, и их нужно срочно ампутировать. И не найдя ничего нужного в заброшенной деревне, ампутацию доктор произвёл простым ножом.*

Очнувшись ненадолго, генерал Каппель тихо спросил: «Доктор, почему такая адская боль?»

Скоро после операции Каппелю стало легче…».

Врач ампутировал верхние фаланги пальцев правой ноги, от левой ступни оставил только пяточную кость. И после этого генерал Каппель ещё ставил ногу в стремя и верхом приветствовал своих солдат!

Переход ядра белых армий от д. Подпорожное до д. Барга занял от 36 до 48 часов. Тяжелее всех пришлось штабу и конвою главнокомандующего, стрелкам 4-й Уфимской дивизии. Прокладывая дорогу, они прошли этот путь «*в два с половиной дня, делая в среднем не более двух с половиной вёрст в час*». Растянувшиеся по Кану 8-я Камская стрелковая, 12-я Уральская стрелковая и 2-я Уфимская кавалерийская дивизии 2-й армии продолжали подходить к деревне Барге до полудня 10-го января.

Ижевская дивизия 3-й армии прошла этим путём значительно легче: дорога была проторена и утрамбована, а ночной мороз облегчил продвижение.

Генерал-майор Петров: «*Вся тяжесть перехода досталась на долю уфимцев и камцев. Мороз последнего дня сковал проделанную, разъезженную по реке дорогу, и следовавшие в хвосте части 3-й армии проехали по реке уже отлично*».

Капитан Ефимов: «*…вода, во многих местах покрывавшая поверхность льда и сильно затруднявшая продвижение передовых частей, обратилась в крепкий лёд*».

Ижевский конный полк, замыкавший движение 3-й армии, выступил из Подпорожной в 5 часов утра 10 января и по укатанной дороге через 19 часов, остановившись на полпути для короткого получасового привала, вышел к деревне Баргинской. Таким образом, к концу дня 10 января все участники перехода вышли с Кана.

Деревня Барга, по сведениям на 1917 год, насчитывала 92 двора и могла вместить только головные подразделения — штаб главнокомандующего генерала Каппеля и 4-ю Уфимскую дивизию. Части, выходившие с Кана вслед за ними, должны были пройти через деревню Баргу и рассредоточиться на постой и ночлег в ближайших селениях.

Из воспоминаний генерал-майора Пучкова о месте ночлега 8-ой Уфимской стрелковой дивизии достоверно известно: «*…в ночь с 10-го на 11-е января 8-я дивизия имела ночлег в деревне Филипповка [Высотина], откуда предполагалось свернуть на Канск вдоль железной дороги и большого тракта*».

Генерал-лейтенант Филатьев, вероятно, двигался в рядах именно этой дивизии и по выходу с Кана проделал в её рядах дополнительный переход до деревни Высотино по старой просёлочной дороге. Он писал: «*Получился небывалый в военной истории 110-вёрстный переход по льду реки, куда зимою ни ворон не залетает, ни волк не забегает, кругом сплошная непроходимая тайга. Мороз был до 35 градусов. Одно время мы попали в критическое положение, когда наткнулись на горячий источник, бежавший поверх льда и обращавший его в кашу. Вереницы саней сгрудились около этого препятствия, так как лошади по размокшему льду не вытягивали, а обойти его не было возможности из-за отвесных берегов. Боялись, что лёд рухнет, но всё обошлось, перебрались поодиночке, вылезая из саней. Промокшие валенки немедленно покрывались ледяной коркой. Чтобы избежать воспаления лёгких, последние за рекою 10 вёрст пришлось идти пешком в пудовых валенках*».

Где именно «*в ближайших к Барге деревнях*» были расквартированы другие подразделения, вышедшие с Кана, точно установить не представляется возможным.

Генерал-майор Петров: «*…много недоразумений было из-за ночлегов. Когда на «дивизию» в густонаселённой местности сначала давалась большая деревня, дворов 40–50, считалось, что все страшно стеснены; когда же мы в движении сжались к железной дороге и проходили по малонаселённым местам, приходилось в 15–20 дворах располагаться двум «дивизиям».*

Споры о какой-нибудь избе бывали, но скоро как-то перестали считать стеснительным такое расположение».

Если принять во внимание упоминание генерала Петрова о том, что для размещения дивизии неполного состава было достаточно деревни в 40–50 дворов, то населённая местность в окрестностях деревни Барги, вполне подходила для расквартирования значительных армейских сил:

Наиболее вероятным местом для дополнительного расквартирования войск, вышедших с Кана, могла быть д. Новая Печера. На карте Канского уезда, изданной Енисейским губернским земельным отделом в 1920 г., показана старая грунтовая дорога, соединяющая Баргу с Высотино. Именно по ней и направилась на ночлег 8-я Уфимская стрелковая дивизия генерала Пучкова. На эту же дорогу выходил просёлок с Новой Печеры, до которой оставалось меньше версты, и часть каппелевских войск могла остановиться в ней на ночлег. Исторически сложилось так, что все просёлочные дороги вели в д. Высотино, которая ещё в начале XIX века была центром сельского участка, общины государственных крестьян, живущих в нижнем течении р. Барги, здесь же со второй половины 1830-х годов находился «экономический хлебный запасный магазин» общины. Деревня Орловская в 1920 г. не имела прямого дорожного сообщения с д. Баргой и для того, чтобы попасть в неё из Барги, нужно было сделать «крюк» через Высотино.

Группа Сахарова — Клюквенная

На станции Клюквенная сходились Транссибирская железнодорожная магистраль и старый Сибирский тракт. Сюда после трёхдневного перехода от села Есауловского пришёл отряд Сахарова.

Генерал-лейтенант Сахаров: «*На станции Клюквенная мы нашли довольно много своих — воинские части и учреждения, которые прошли восточнее Красноярска раньше; там же стояло несколько чешских эшелонов и была польская миссия. Здесь царила полная растерянность вследствие той же неясности, запутанности в обстановке… Чехи встречали наших очень недружелюбно, так что на вокзал пришлось поставить*

егерей вооружённый караул, чтобы обеспечить нашу безопасность…»

«…*На станции Клюквенная стало известно, что трактом, немного впереди нас, идут части из состава 2-й армии под начальством генерала Вержбицкого… шли также из-под Красноярска два полка енисейских казаков*».

11 января 1920 г.

Северная группа Сукина—на Яковлевку!

После ночлега в Предивной отряды Северной группы дошли до деревни Ивановской, что на правом берегу Енисея (20 вёрст, совр. Большемуртинский район). Здесь в Енисей справа впадает река Посольная. Название реки, как и деревни Троицкой в её верхнем течении, связано с Троицким солеваренным заводом. Вдоль реки и по её руслу шла зимняя дорога, по которой обозами доставляли соль в Красноярск.

Сокращая путь на Ангару, 11 января 1920 г. Северная группа генерала Н. Т. Сукина на устье Посольной повернула на восток и пошла по руслам таёжных рек Посольной и Мурме на д. Яковлевку. Яковлевка находилась на севере Канского уезда и была превращена в опорный пункт Тасеевского партизанского района во главе с В. Г. Яковенко и Ф. Астафьевым. К этому времени тасеевские партизаны имели годовой опыт борьбы с отрядами белых.

Войсковая колонна Каппеля

Разделение на армейские колонны

2-я армия оставалась на отдыхе в Баргинской и окрестных деревнях.Здесь необходимо остановиться на вопросе о взаимоотношениях белых и местного населения. Вызывает большое сомнение достоверность «воспоминаний» жителей Барги о расстрелах красноармейцев, якобы учинённых в Барге по приказу В. О. Каппеля. Эти «воспоминания» являются поздними пересказами «былин», поведанных якобы свидетелями событий своим потомкам. Перепроверить такие «свидетельства» чрезвычайно сложно, хотя историк обязан анализировать любой источник на предмет его достоверности. Отнюдь небеспочвенно в исследовательской среде бытует поговорка: «Врёт, как очевидец». В тоже время историкам Гражданской войны известно, что Каппель никогда не отдавал приказов о расстрелах пленных красноармейцев. Как белые, так и красные проводили мобилизации в свои армии на контролируемой территории. Стремясь доказать, что белые воюют против большевиков как «узурпаторов государственной власти», а не против простого народа, Каппель ограничивался разоружением пленных и роспуском их по домам. Таково было общее состояние дел. К тому же авторы «воспоминаний баргинских жителей» упустили из внимания один факт—в д. Баргинской и окрестных деревнях к моменту прихода белых вообще не было никаких подразделений Красной армии, не было и партизан-повстанцев.

Генерал-майор Петров: «*Общее впечатление от движения по сибирским сёлам таково, что население было равнодушно к провалу белого движения, равнодушно к разным воззваниям красных, но жалело нас как людей и как-то примирялось с теми несчастиями, что приносили приходящие*».

Генерал-майор Пучков: «*Сибиряки имели основания жаловаться только на реквизиции, которых мы, при всём желании, избежать не могли. Ни массовых, ни даже частичных «экзекуций» и «эксцессов» не было, так как никто не имел никаких личных счётов с населением в полосе движения армии, не было и времени и достаточной энергии, чтобы свести эти счёты; все желания истомлённых людей на ночлегах сводились к тому, чтобы добыть всё необходимое, отдохнуть и двигаться дальше; вне этого на их внимание могли претендовать только больные товарищи. Со своей стороны, жители также давали мало поводов к нападкам на них; в худшем случае они были индифферентны к войскам, особенно последних эшелонов, исключая, разумеется, жителей немногих районов, встретивших армию с оружием в руках*».

С детства помнится местная псевдоисторическая легенда, согласно которой озверевшие колчаковцы повели местного учителя для расстрела на скалу, находящуюся на правом берегу Кана недалеко от современной горнолыжной трассы. «С тех пор зовётся она «Скалой учителя». Очень хочется посмотреть авторам легенды в глаза и спросить: зачем каппелевцам, измотанным тяжелейшим многодневным переходом, нужно было вести приговорённого к расстрелу за 4 версты от деревни, идти в 30-градусный мороз по глубокому свежему снегу, затем взбираться по сопке на вершину скалы, чтобы на высоте расстрелять кого-то во имя высокой же цели. Воистину, «важнейшим искусством для нас является кино и цирк» (Ленин). Анонимные «былинники речистые» увлеклись картинными деталями, но при этом из предания куда-то выпало имя учителя, оказались забыты и имена «свидетелей» расстрела.

По ходу движения войсковой колонны Каппеля действительно имели место случаи расстрелов крестьян при обнаружении у них боевого оружия или боеприпасов к нему. Но появление «воспоминаний» баргинцев о расстрелах красноармейцев и малоправдоподобных преданий о расстреле местного учителя, видимо, стало прямым следствием господствующего в советское время восприятия Гражданской войны через призму победителей-красных.

Испытывая идеологическое неудобство от того, что деревня встретила каппелевцев «не пулями, а теплом и хлебом» и тем самым оказалась как бы не причастной к победе большевиков, местные жители отреагировали мифотворчеством по принципу «а мы—как все», «все мы были жертвами колчаковского террора».

Что касается жестокости, проявленной белыми в боях, то в условиях Ледяных походов как Кубанского, так и Сибирского, белые предпочитали в плен не сдаваться и сами пленных не брали.

Итак, по выходу с Кана снова встал вопрос о выборе направления и маршрута дальнейшего движения армейской группы на Канск: по тракту и Транссибу, но не исключался и вариант продолжения похода по Кану. Связи не было. О том, что в Канск вошли отряды тасеевских партизан в Баргинской ещё не знали. Каппель был тяжело болен, и после выхода с Кана общее руководство армиями фактически перешло к его ближайшему соратнику—командующему 2-й армией генерал-майору С. Н. Войцеховскому.

Генерал-майор Пучков вспоминал, что от деревень Баргинской и Высотиной «*…предполагалось свернуть на Канск вдоль железной дороги и большого тракта. Однако, с выходом к железной дороге у станции Заозёрная выяснившаяся обстановка заставила генерала Войцеховского изменить направление*».

Поскольку 3-я армия прошла по Кану последней, «*не испытывая особых неудобств и лишений*» (Пучков), её отдых в Баргинской был коротким. Уже на следующий день, 11 января, она двинулась на село Бражное, расположенное примерно в 20 верстах к югу от Канска. Впереди остатков 3-й армии двигалась Ижевская дивизия генерал-майора Молчанова. В авангард был назначен Ижевский конный полк капитана Ефимова. Выступив из Барги, Ижевская дивизия проследовала через переселенческие деревни Орловку и Ново-Георгиевку (Усовку) Троицко-Заозерновской волости, к вечеру того же дня конный полк ижевцев вступил в д. Ивановку Мало-Камалинской волости, где и расположился на ночлег.

Группа Сахарова—село Рыбное

Утром 11 [или 10?] января группа генерала Сахарова выступила по тракту со станции Клюквенная.

Генерал-лейтенант Сахаров: «*…наш отряд, увеличившийся в численности от присоединившихся новых частей, выступил дальше на восток. Целью движения был Иркутск…*

Движение по тракту стало теперь гораздо труднее: каждой колонне, всякому отрядику хотелось проскочить вперёд, никто не стремился добровольно изобразить арьергард и нести его тяжёлую службу. Населённые пункты во время ночлега были переполнены сверх меры…»

«*На следующий день к вечеру наш отряд подошёл к большому сибирскому селу Рыбному; на несколько вёрст растянулось оно по обе стороны тракта; две церкви, несколько каменных двухэтажных зданий.*

Оказалось, что в этом же селе ночуют и отряды генерала Вержбицкого, который вздумал было приказать егерям нашего отряда перейти в другой район. Те взялись за винтовки и пулемёты, и только путём переговоров с Вержбицким и отмены его требования удалось устранить готовое вспыхнуть столкновение».

«*Село Рыбное поразило всех нас своим богатством. Ведь это был январь месяц 1920 года, то есть пять с половиной лет прошло с начала войны, и почти три года Россия билась в конвульсиях своей смертельной революционной болезни.*

И вот—в каждой избе Рыбного были огромные, неисчерпаемые запасы всякой провизии, именно неисчерпаемые, так как не только всего было вдоволь для самих жителей Рыбного, но сердобольные хозяйки всю ночь пекли нашим офицерам и егерям хлебы, жарили, варили и продавали нам запасы на дорогу.

В каждом дворе было по нескольку десятков гусей, индеек, кур, всюду коровы и телята. Была даже такая роскошь, как варенье.

Отношение сибиряков-староселов к нашим отступающим отрядам было самое дружественное; все эти русские крестьяне настроены очень патриархально, привыкли веками, от поколения к поколению, к своему укладу жизни, к прочно сложившемуся порядку, понятиям и традициям. Они религиозны, умели уважать и слушаться начальство, свято чтили Царя. И теперь ещё во многих избах оставались на стенах портреты покойного Государя Николая Александровича, Императоров Александра III и Александра II, от отцов и дедов. Революция, как зловонный ветер в чистое место, ворвалась в их жизнь со стороны, чужая, непонятная и враждебная им. В нас они видели своих, таких же противников революции, контрреволюционеров. И относились как к своим».

Традиционные монархические настроения жителей с. Рыбного имели исторические корни. 30 июня 1891 г. в селе делал остановку цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, совершавший путешествие по Сибири. На полпути по Московскому тракту из Канска в Красноярск «*…в одном из крестьянских домов был устроен завтрак, где была поднесена хлеб-соль от торговцев и по мирскому приговору жителей подведена тройка серых лошадей, милостиво принятая Его Высочеством, которая впоследствии была направлена по приказанию Государя Наследника, в г. Томск. Здесь, в с. Рыбном, Его Императорское Величество пожертвовал на устройство церковно-приходской школы 500 руб., а волостному старшине [Анисиму Прокопьевичу] Семёнову изволили подарить серебряные часы с цепочкой и для Волостного Правления свою фотографическую карточку с рамкою и футляром*».

Соединения колонн Сахарова и Вержбицкого не произошло. От Рыбного в район Канска отряды двигались разными маршрутами—генерал Вержбицкий пошёл по Московскому тракту через Бородино на Канск, генерал Сахаров свернул с тракта на юг и пошёл параллельным курсом, минуя Усть-Ярульское, на Голопуповку.

Группа Вержбицкого—Бражное

Колонна генерала Вержбицкого, двигавшаяся вдоль Сибирского тракта, подошла к Канску. Усиленный передовой отряд, посланный к городу, был встречен повстанцами, закрепившимися на хорошо подготовленной позиции. Отряд понёс боевые потери и отошёл к своим главным силам. Тогда генерал Вержбицкий принял решение обойти Канск с юга через село Бражное.

11 января Воткинский конный дивизион под командованием ротмистра В. Н. Дробинина, шедший

в авангарде группы Вержбицкого, атаковал отряд красных партизан, загородивших дорогу на Бражное. Партизаны атаки не выдержали и попытались спастись бегством. Несколько десятков партизан в ходе преследования были загнанны воткинцами на канский лёд и все порублены. Остатки отряда красных спешно покинули Бражное и отступили в сторону Канска. 11 января (по другим данным 12-го) группа генерала Вержбицкого заняла Бражное и остановилась там на ночлег.

Группа Сахарова — Голопуповка

К вечеру 11 или 12 января группа генерала Сахарова, двигавшаяся южнее колонны Вержбицкого, подошла к деревне Голопуповке (Верхний Амонаш).

Генерал-лейтенант Сахаров: «*Вся Голопуповка оказалась набитой войсками, улицы были запружены распряжёнными обозами, во многих местах горели костры, облепленные группами солдат. Это грелись те, кому не хватило места в избах. Наш отряд долго бродил в поисках, где бы остановиться, обогреться и поесть. Наконец с большим трудом кое-как разместились на окраине села в курных избёнках*».

Здесь скопились довольно значительные силы белых. Наиболее боеспособными из них были 1-я кавалерийская дивизия, два полка красноярских казаков (Енисейской казачьей бригады), отряд оренбургских казаков. Но все они действовали разрозненно.

Сильный отряд красных повстанцев перекрыл все пути движения на восток. Он основательно укрепился на позициях и располагал артиллерией, в то же время белые имели только стрелковое и холодное оружие, к тому же испытывали «патронный голод» (15–30 патронов на винтовку). Со дня на день ожидался подход частей регулярной Красной армии. Белые части оказались между молотом и наковальней, и генерал Сахаров застал их в растерянности и отчаянии.

Поручик Варженский: «*Все дороги вокруг нас были заняты красными, и мы находились в западне, в которой пробыли целых три дня. Дольше оставаться стало уже невозможно, так как все запасы продовольствия в деревне были израсходованы и наступал неизбежный голод.*

…Попытки пробиться, предпринимаемые не один раз в различных направлениях, как отдельными командами лихих удальцов, так и целыми частями, успеха не имели… Командование растерялось… Дисциплина упала, и только страх держал всех вместе».

Одни начальники отрядов хотели идти сдаваться в Канск, другие предлагали уходить на юг в Монголию.

Сахаров смог убедить командиров частей в необходимости объединения сил для прорыва через линию Степного Кана.

Буквально за одну ночь из разрозненных сил бывший главнокомандующий армиями Восточного фронта сумел собрать под своим командованием довольно значительную группу в 5–6 тысяч человек и начал подготовку к прорыву.

12 января 1920 г.

«Канский прорыв» генерала Сахарова

Генерал-лейтенант Сахаров: «*С раннего утра все улицы Голопуповки пришли в движение; вытягивались запряжённые санные обозы, стояли правильными рядами небольшие конные отряды, пехота шагала около саней, пулемётчики тщательно укутывали свои пулемёты, чтобы не застыли.*

…Из всех частей составлены две боевые колонны, одна для удара с фронта, вторая обходная, а все обозы и мало боеспособные части вошли в третью колонну, которая должна была следовать по дороге за первой, в виде резерва.

Мороз за ночь покрепчал и здорово кусал щёки; пальцы коченели так, что больно было держать повод. День предстоял трудный: на таком морозе, после 15-вёрстного перехода, было тяжело вести наступательный бой… Колонны направились из села Голопуповка к реке Кан. Медленно, со скоростью не более двух вёрст в час, совершалось движение — вследствие трудных ненаезженных дорог, также и из-за того, что передовые части и разъезды шли крайне осторожно, нащупывая противника. Около трёх часов дня первая колонна завязала бой; красные, имея все преимущества — и командующий правый берег реки, и богатство в патронах и артиллерии, и, наконец, возможность держать резервы в избах, отогревать их там, — оказывали нам серьёзное сопротивление; все первые атаки были отбиты; наши потери убитыми и ранеными росли».

Первая боевая колонна развивала наступление с фронта. Наступая по открытой местности левого берега, увязая в глубоких снегах, она понесла большие потери и была остановлена плотным огнём противника. Тем временем, вторая колонна под командой генерал-майора Д. А. Лебедева, имея задачей переправиться через Кан и ударить в тыл красным повстанцам, совершала глубокий обходной манёвр их крайнего левого фланга. Артиллерийский огонь красных и пересечённый характер местности серьёзно затрудняли её продвижение. Только с наступлением темноты колонне генерала Лебедева удалось завершить манёвр и ударить в тыл.

Генерал-лейтенант Сахаров: «*Манёвр удался вполне. Красные, только почувствовав наш нажим в тыл, дрогнули, началась паника, и они, бросая оружие, бежали по направлению к городу Канску. Наши войска, наступавшие в лоб, воспользовались этим, дружно ударили, и уже к 10 часам вечера все наши части были на восточном берегу реки. Захватили много оружия, патронов, взяли несколько пулемётов. Но пленных не было.*».

Таковы известные обстоятельства «канского прорыва» генерала Сахарова, однако среди исследователей истории Гражданской войны нет общепринятого мнения о месте данного боя. Генерал Сахаров в своих воспоминаниях не приводит названия деревни, занятой отрядом красных. Только один из участников событий, оренбургский

казачий офицер Иванов, прямо упоминает название населённого пункта.

Вс. Н. Иванов: «*Надо отдать справедливость генералу Сахарову—это был решительный человек. Расспросив об обстановке, забрав с собой Егерский полк полковника Глудкина, он утром ушёл из Голопупова на село Берешь, прорвался и с тех пор шёл на восток головным и первым пересёк Байкал*».

Однако местонахождение д. Берешь нуждается в уточнении. Берешь—это второе название д. Подъяндинской, расположенной на западном (левом) берегу Кана. Напротив Подъянды на восточном берегу Кана находится устье р. Большой Береж и Бережская казённая лесная дача.

Между тем, как следует из текста воспоминаний, атакуемая белыми деревня находилась в 15 верстах от Голопуповки именно на восточном высоком берегу в непосредственной близости к Кану (в её домах отогревались резервы), а манёвр по её глубокому обходу совершался именно по западному (левому) берегу Кана, при этом обходящая колонна двигалась на север. Учитывая данные обстоятельства, надо полагать, что на острие «канского прорыва» находилась д. Шумиха. К тому же от неё шла просёлочная дорога на восток.

При этом во время «канского прорыва» бой шёл не за одну деревню. Сахаров упоминает о «занятых боем деревнях».

В его воспоминаниях также упоминается вечерний рапорт офицера одной из частей, пришедших в Голопуповку раньше отряда Сахарова: «*Сегодня выслали разведку на Кан. Разъезды наткнулись на красных. Попробовали взять одну деревню с боем, потеряли убитыми несколько драгун и отошли*». Какую «одну» деревню пытались взять боем белые накануне прорыва?

Восточнее Голопуповки в направлении Кана идёт дорога, разветвляющаяся на село Амонаш (Амонашенское) и на деревню Тарай. Для того, чтобы успешно развивать наступление на восточный берег Кана, предварительно надо занять деревню, находящуюся непосредственно напротив д. Шумихи,—это д. Тарай.

А для успешного обхода «крайнего левого фланга большевиков» и во избежание опасности флангового удара в тыл наступающим, необходимо было также занять волостное село Амонаш. Одну из этих деревень и пытались безуспешно взять боем отдельные отряды белых за день до общего наступления.

О занятии одной из этих деревень в ходе «канского прорыва» вспоминал офицер Чердынского полка поручик В. Варженский. Однако он не уточнял названия деревни:

«*На четвёртый день, ранним морозным утром, при каком-то тупом молчании, точно обречённые, мы решительно двинулись. Впереди команда конных разведчиков, за ней на подводах пехота, дальше обоз с повозками больных, раненых, а также женщин и детей. Конные, выйдя за поскотину посёлка, по узкой дороге вначале лёгкой рысью, а затем в карьер понеслись к следующей деревне, стоящей на невысоком пригорке. Задание их было—проскакать деревню, даже под огнём, и с тыла снова повернуть на неё, когда пехота подойдёт с фронта…*

Этого рассказать нельзя… Это надо пережить, чтобы понять всю радость и сумасшедшее изумление, когда деревня, где вчера вечером стоял сильный заслон, о который разбилась не одна наша попытка, оказалась пустой. По неизвестным нам причинам красные ушли, и мы отделались лёгким испугом, если это можно назвать «лёгким».

Каппелевская колонна 2-й армии Войцеховского

Главнокомандующий генерал Каппель и 2-я армия генерала Войцеховского после тяжёлого перехода по Кану продолжали находиться в д. Баргинской и окрестных деревнях. К этому времени была установлена вестовая связь с отрядом генерала Вержбицкого.

Группа Вержбицкого

Утром 12 января (по другим сведениям 13 января) группа Вержбицкого вышла из села Бражного и продолжила поход на восток к Нижнеудинску. Красные, узнав об уходе колонны, выдвинулись из Канска и вновь заняли село.

Каппелевская колонна 3-й армии Молчанова

В это же утро Ижевский конный полк капитана Ефимова вышел из Ивановки и, проследовав через деревню Солянку, пересёк Транссибирскую железную дорогу на переезде у 909-й версты.

Здесь на железнодорожном переезде стоял эшелон чехов, в составе которого было несколько вагонов с лошадьми.

За серебряные монеты, отбитые под Красноярском у красного обоза, ижевцам удалось уговорить чехов продать немного овса, чтобы подкормить своих лошадей.

Капитан Ефимов: «*В другом духе произошла встреча у 1-го Ижевского стрелкового полка. Полк подошёл к железнодорожному разъезду, от которого собирался двинуться чешский эшелон. Заметив, что полк начал переходить через полотно железной дороги, привыкшие к беззастенчивому хозяйничанью в тылу чехи отправили командиру полка требование приостановить движение, пока их эшелон не пройдёт дальше на восток.*

Требование было предъявлено как подлежащее немедленному исполнению. Командир полка тут же отдал приказ командиру пулемётной команды поставить по два пулемёта с каждой стороны дороги и открыть огонь по вагонам, если эшелон двинется».

Решимость командира полка полковника Михайлова возымела действие, и чешский эшелон не посмел двинуться, пока весь стрелковый полк не перешёл через линию железной дороги.

К вечеру 3-я армия вступила в село Большеуринское на большом Сибирском тракте. Генералу Молчанову было известно о том, что красные имеют в Канске большие силы и продолжают усиленно укрепляться на подступах к городу. Офицер штаба 3-й армии подполковник Ловцевич накануне

сходил на разведку в г. Канск. Он переоделся в солдатскую шинель без погон, проник в город, побывал в разных его районах и лично убедился в невозможности штурма Канска. Во время разведки он был задержан красным патрулём, заподозрившем в нём «колчаковского капитана», но Ловцевичу удалось развеять подозрения и успешно выполнить задание.

Колонна 3-й армии предполагала обойти Канск с юга через село Бражное. Но достоверных сведений о том, занято Бражное красными или нет, от крестьян Больше-Уринского получить не удалось. Было известно только то, что оно регулярно переходило из рук в руки.

Северная группа Сукина

«Яковлевская пробка»

11 января у д. Ивановки колонна Северной группы Н. Т. Сукина свернула на зимнюю «соляную» дорогу и двинулась вверх по льду р. Посольной. Достигнув вершины Посольной, дорога шла через водораздел к верховьям р. Мурмы, впадающей в Усолку, и выходила несколько ниже устья Мурмы к деревне Яковлевой Тасеевской волости Канского уезда. Дорога эта была известна с XVIII в. и вела к Яковлевскому соляному магазину, представлявшему собой соляной склад Троицкого солеваренного завода. Здесь у Усолки проходил Тасеевский тракт местного значения. Южнее Яковлевки в 8–10 верстах по тракту находилась «столица» партизанского района с. Тасеево. Двигаясь от Яковлевки на север, можно было выйти на Ангару.

К вечеру 12 января 11-й Оренбургский казачий полк, двигавшийся в авангарде Северной группы, подошёл к окрестностям Яковлевки.

Марков С.В.: *«Район, по которому мы шли, сокращая путь на реку Ангару, был логовом партизан, здесь они после освобождения Сибири прочно обосновались и в продолжение всей нашей борьбы с большевиками удерживали за собой бассейн реки Тасеевки, притока реки Ангары, в которую впадает река Усолка, но теперь можно было предполагать, что все красные партизанские отряды этого района ушли к Красноярску. Дорога, по которой мы шли по тайге через невысокие горы, водораздел между рекой Усолкой и Енисеем, вела к селу Яковлево, запиравшему выход из тайги».*

Зуев А.В.: *«в этом районе оперировал большой партизанский отряд, который, пользуясь местностью и временем года, легко мог преградить нам путь.*

…Дорога шла по просеке, засыпанной снегом толщиною в 1 аршин и более. Переход был чрезвычайно труден: лошади выбивались из сил и повозки с трудом двигались по глубокому снегу. Только к вечеру мы достигли д. Вершины Яковлевой. Но здесь нас ждало подлинное испытание: не доходя версты до указанного пункта, нам преградил путь крупный партизанский отряд, оказавший упорное сопротивление. Кругом этой деревушки сплошная непроходимая тайга, снег почти в рост человека: ни вправо, ни влево свернуть нельзя. Только единственная просека давала возможность войти в эту деревушку. Но посланный авангард для занятия её встретил самое решительное сопротивление. Партизаны сумели построить окопы из снега и потому легко отбивали огнём всякую попытку атаковать их с фронта. Предпринятый затем обход одного из флангов по глубокому, почти непроходимому снегу, закончился неудачей: мы понесли слишком дорогие в нашем положении потери убитыми и ранеными людьми. Эта неудача лишь только воодушевила партизан на упорство сопротивления. Единственное же их орудие «Макленка» производила гнетущее моральное впечатление своими оглушительными разрывами снарядов, гулко раздававшихся в тайге.

Марков С.В.: *«Яковлево было занято красными, и бой начался в невыгодных для нас условиях: развернуться в тайге по глубокому снегу было невозможно, и приходилось драться на узком пространстве. Стоял сильный мороз, не позволявший оставлять долго солдат в цепях. У красных было много пулемётов и одна мелкокалиберная пушка, «маклёнка», безуспешно старавшаяся нащупать наш обоз. Снарядов к ней было, по-видимому, у красных мало, и стреляла пушка редко. Наши атаки на село легко отбивались красными, так как наступление по глубокому снегу было «черепашьим»…*

Зуев А.В.: *«Две ночи [11-й Оренбурский казачий] полк проводит под открытым небом. Люди за это время не получали пищи, не было даже воды: разогревали снег в котелках и пили чай или пекли «оладьи», сделанные из муки и снега, без соли и приправ. Жутко становилось за полк, за людей, обречённых при неудаче на смерть! Нужно было напрячь всю энергию, весь разум и волю, чтобы выбраться из этого «мешка смерти», ибо отступление грозило неминуемой гибелью всему отряду.*

В это время в хвост колонны полка постепенно начали прибывать новые отряды: полковника Казагранди, генерала Перхурова. Даётся ориентировка вновь прибывшим, выдвижение новых частей на позицию, но враг кажется неприступен и непобедим. Слышится лишь частая ружейная перестрелка, гулко раздающаяся по девственной тайге».

13 января 1920 г.

Каппелевская колонна
3-й армии Молчанова

После короткого ночлега в Больше-Уринском 3-я армия начала обход Канска с юга через Бражное. Поскольку достоверных данных о принадлежности села не было, решили исходить из того, что оно может быть занято красными повстанцами. Ижевскому конному полку была поставлена задача занять Бражное и обеспечить проход частей 3-й армии через село. Ещё в темноте, в 3 часа утра, кавалерийский полк выступил из Больше-Уринского.

Капитан Ефимов: *«Подойдя к селу, полк развернул два эскадрона в лаву и двинулся в атаку. С севера, из района села Ачикаул [здесь — Ашкаул], начался обстрел шрапнелью на высоких разрывах. В селе Бражном противника не оказалось. По словам жителей, красные партизаны бежали,*

как только заметили наше появление. Они удовлетворились артиллерийским обстрелом с расстояния 6 вёрст, не причинившим никакого вреда.

Но перед нашим приходом, в промежутке времени после ухода группы генерала Вержбицкого, в засаду попал один егерский батальон. На льду реки лежало до 200 трупов зверски зарубленных егерей и среди них несколько женщин и детей. Навстречу нам выбежала обезумевшая женщина и умоляла спасти её. Из её истерических слов, прерываемых рыданиями, можно было понять, что красные убедили егерей сложить оружие и обещали всем полную пощаду. Когда егеря сдали оружие, их всех порубили вместе с жёнами и детьми».

В этот же день утром 3-я армия выступила из Больше-Уринского, проследовала через Бражное и двинулась дальше на Нижнеудинск.

Каппелевская колонна 2-й армии Войцеховского

Отдохнув после тяжёлого перехода по Кану, войсковая группа 2-ой Сибирской армии генерала Войцеховского в составе 4-й Уфимской и 8-й Камской стрелковой дивизий, 2-й Уфимской кавалерийской дивизии и нескольких мелких войсковых единиц выступила из д. Баргинской и окрестных деревень. Первоначально генерал Войцеховский намеревался выйти на Трассибирскую магистраль и, двигаясь вдоль железной дороги, выйти на Канск. Однако, связавшись по телеграфу на станции Заозёрная с группами Вержбицкого и Сахарова, Войцеховский узнал о том, что солдаты канского гарнизона перешли на сторону большевиков, а сам город занят тасеевскими партизанами, которые также заняли деревни южнее Канска и успели сильно укрепить позиции на подступах к городу.

Чтобы избежать столкновения с противником сильно поредевших частей, было принято решение выдвигаться к Транссибу и Московскому тракту, двигаться на юг в обход Канска на соединение с колоннами Вержбицкого и Сахарова.

Полковник Вырыпаев: «*В деревне Барге у богатого мехопромышленника нашли удобные сани, в которые предполагалось уложить больного генерала [Каппеля] для дальнейшего движения, когда утром доложили ему об этом, он сказал: «Это напрасно, дайте мне коня!» На руках мы вынесли его из избы и посадили в седло. И все двигавшиеся по улице были приятно удивлены, увидев своего начальника на коне, как обычно.*

Вставать на ноги и ходить Каппель не мог, так что, приходя на ночлег, мы осторожно снимали его с седла, вносили в избу, клали на кровать, а доктор делал ему очередную перевязку. Так продолжалось несколько дней…».

Генерал-майор Пучков: «*Не желая без крайней надобности подвергаться потерям, генерал Войцеховский приказал Уфимской группе обойти укреплённый партизанский район, двигаясь на деревни Бородина, Усть-Ярульская, Подъянда и далее на деревню Александровка. По-видимому, генерал Войцеховский считал возможным пойти на некоторую потерю времени, так как армия вышла уже в район, занятый чешскими эшелонами; шедшая в хвосте Польская дивизия к этому времени была сосредоточена главными силами у станции Клюквенная и должна была принять на себя первый удар красных при движении их от Красноярска на восток.*

Двигаясь беспрепятственно, Уфимская группа к вечеру 13-го сосредоточилась в огромной деревне Александровка, в 20–25 верстах северо-восточнее деревни Подъянда, и здесь впервые за два последних месяца имела полную днёвку. Был дан больше, чем полный отдых: большинство людей получило баню, о которой начинали забывать и которая была так необходима ввиду свирепствовавших в рядах армии всех видов тифа».

Генерал-лейтенант Сахаров: «*Тиф, сыпной и возвратный, буквально косил людей; ежедневно заболевали десятки, выздоровление же шло крайне медленно. Иногда выздоровевший от сыпного тифа тотчас заболевал возвратным. Докторов было очень мало, по одному—по два на дивизию, да и те скоро выбыли из строя, также заболели тифом. Трудно представить себе ту массу насекомых, которые набирались в одежде и белье за долгие переходы и на скученных ночлегах. Не было сил остановить на походе заразу: все мы помещались на ночлегах и привалах вместе, об изоляции нечего было и думать. Да и в голову не приходило принимать какие-либо меры предосторожности. Это не была апатия, а покорность судьбе, привычка не бояться опасности, примирение с необходимостью*».

14 января 1920 г.

«Яковлевский прорыв» Северной группы Сукина

На счастье Северной группы основные силы партизан действительно были стянуты туда, где ожидался проход основных сил белых армий—к Канску, Московскому тракту и Транссибирской железнодорожной магистрали.

Зуев А.В.: «*Третий день стоит колонна, вытянувшись длинной лентой по просеке. Люди греются около костров: лютая сибирская зима даёт себя знать. Особенно становилось жутко ночью: справа и слева тайга. Над головой была видна лишь узкая полоска неба, усыпанного яркими звёздами…*

Наконец и нашему злоключению наступил конец. На третий день к вечеру противник внезапно очистил злополучную деревушку, опасаясь, вероятно, обхода, который был предпринят сотнями 11-го Оренбургского казачьего полка совместно с другой конницей. Было темно, когда колонна втянулась в бедную таёжную деревушку, где уже нельзя было достать что-либо съестного. Скопившиеся отряды не могли разместиться в деревушке, и люди грелись в неказистых деревенских избах по очереди или около костров.

Для преследования противника был выделен особый авангард, которому ставилось задание занять следующее село, в котором предполагалось, что противник ночует. Но партизаны бежали безостановочно на Троицкий завод и далее на Тасеевскую волость.

Генерал Каппель во время Великого Сибирского Ледяного похода. Вероятно, последняя фотография Каппеля.

Трёхдневное пробивание «пробки» под д. В. Яковлевой болезненно отозвалось и на моральном состоянии войсковых частей, и на их физическом здоровье».

Марков С. В.: «*…бой был решён глубоким обходом села несколькими сотнями оренбургских казаков. Красные бежали, и мы заняли Яковлевку. Сильно укреплённое село было, по-видимому, опорным пунктом партизан. По его окраинам были построены бревенчатые бункера, засыпанные снаружи для камуфляжа снегом и политые водой.*

Из Яковлевки наша колонна двинулась по льду реки Усолки к реке Ангаре. Пройдя по ней вёрст 200 [?], до села Устьяновского, находившегося при впадении Усолки в реку Тасеевку, мы снова, сокращая путь, пошли таёжной дорогой на село Пашино (вёрст 150), на левом берегу Ангары. Выйдя на Ангару, мы почувствовали простор: широкая, в две-три версты, река и, вместо узкой таёжной дорожки,—впереди хорошо накатанный путь».

От Пашино Северная группа Н. Т. Сукина двигалась вверх по Ангаре двумя отрядами Судьба этих отрядов оказалась различной. Впереди шла строевая колонна 3-го Барнаульского и 11-го Оренбургского казачьего полков. Барнаульцы и оренбуржцы взяли за правило передвигаться быстро и налегке. Ведя бои с превосходящими силами противника, оставляя по пути в деревнях раненых и больных, делая тяжелейшие переходы до 80 и 110 вёрст в день, они смогли к 14 марта 1920 г. дойти до Читы.

Колонна полковника Казагранди двигалась вторым эшелоном. Большую долю в ней имел «нестроевой элемент», колонна была перегружена обозами с семьями и беженцами. Двигаясь вторым эшелоном, отряд Казагранди испытывал недостаток в лошадях, фураже и продовольствии, он с трудом совершал дневные переходы по 30–50 вёрст, постепенно отставал, пока окончательно не отделился в с. Каменка на Ангаре. Отряд медленно двигался полным составом, не бросая раненых, больных, штатских. Здесь же на Ангаре у села Кононово 10–12 февраля 1920 г. отряд полковника Казагранди был настигнут красными и сдался (300 человек при 250 винтовках и 15 пулемётах).

Ранее от колонны Казагранди отделился отряд генерала Перхурова. Во время перехода к реке Лене проводник сбился с пути и, вместо 4 суток, отряд бродил в дикой тайге 8 дней. 11 марта 1920 г. отряд Перхурова вышел к селу Подымахинскому у Лены и согласился разоружиться под гарантию полной неприкосновенности всем членам отряда. Однако всех взяли в плен и пешком отправили в Иркутск, до которого было более 700 вёрст.

Иногда общая численность белых, прошедших северным обходным путём по Ангаре, оценивается в краеведческой литературе примерно в 10 тысяч человек. Следует признать, что по Ангаре шли не только военные отряды. Вслед за строевыми и нестроевыми воинскими чинами, двигавшимися в походных колоннах, в обозах следовали раненые, больные, гражданские лица, члены семей военнослужащих, включая детей. Однако, даже принимая во внимание большое количество гражданских лиц, приведённую цифру следует признать сильно завышенной. Местные жители вспоминали, что по Ангаре прошло от 4 до 6 тысяч человек.

16 января 1920 г.

Соединение войсковых колонн на юге Канского уезда

Каппелевские колонны Войцеховского и Молчанова, обошедшие Красноярск и совершившие движение по таёжному Кану, соединились с колоннами Вержбицкого и Сахарова, прошедшими Красноярск и прорвавшимися через оборонительную линию степного Кана. Местом соединения стала южная часть Канского уезда. Окружение и уничтожение остатков Сибирских белых армий адмирала Колчака не состоялось. Теперь из разрозненных войсковых колонн предстояло создать новую «каппелевскую» армию.

Где именно произошло соединение колонн белых армий—вопрос до сих пор открытый. Никто из участников Сибирского Ледяного похода в своих воспоминаниях не указывает конкретное место соединения. Видимо, соединение четырёх войсковых колонн не было одномоментным. Бесспорно следующее: все колонны обошли Канск с юга; колонна Вержбицкого, а вслед за ней каппелевская колонна 3-й армии Молчанова прошли через Бражное. Не ясно, в каком именно месте переходила Кан группа Сахарова. Наиболее вероятно, что осуществив «канский прорыв», она двинулась на восток через д. Шумиху. От Шумихи дорога шла на Александровку, Новую Покровку, Тарамбу, Верхнюю Тугушу, а далее на волостное село Тинское и железнодорожную станцию Тины. Но не исключено, что после прорыва группа Сахарова могла повернуть на север и пройти через Бражное или Кучердаевку. Каппелевская колонна 2-й армии Войцеховского, выйдя на Подъянду, могла двигаться только на д. Тарай и, перейдя Кан у д. Шумихи, дойти 13 января до д. Александровки

на р. Пойме. Маршруты движения всех колонн могли пересекаться в районе железнодорожных станций Тины, Решоты или восточнее их на марше к Нижнеудинску.

Изголодавшиеся, промёрзшие, без зимнего обмундирования, испытывая острый недостаток в боеприпасах, белые упорно продолжали отходить на Иркутск. Белая армия, которая не могла двигаться по определению, понимала, что может уцелеть только в движении. Сибирский Ледяной поход продолжался. Движение войсковых колонн приобретало всё более организованный вид. Несмотря на сильные морозы, смертельную усталость, недостаток в обозах, наличие большого количества раненых, больных и членов семей, колонны Белой армии ежедневно проходили на марше по 40–50 вёрст.

Тяжело больной генерал Каппель до последнего оставался в седле и продолжал вести войска. Ампутация левой ступни и частично фаланг пальцев правой ноги делали верховую езду для него с каждым днём всё более невыносимой. Но подчинённые видели — главком с ними!

21 января 1920 г. — Нижнеудинск

Дальнейшее отступление белых вплоть до Забайкалья продолжалось без особых препятствий. Нижнеудинск был взят войсками генерала Вержбицкого без боя. Здесь узнали о предательстве союзниками адмирала Колчака и захвате золотого запаса России.

Полковник Вырыпаев: *«20-го или 21-го января 1920 года, чувствуя, что силы его оставляют, Каппель отдал приказ о назначении генерала Войцеховского главнокомандующим армиями Восточного фронта. В последующие 2–3 дня больной генерал сильно ослабел»*.

Начальники чешских эшелонов, узнавая о тяжёлом состоянии генерала Каппеля, предлагали разместить его вместе с частью штаба в своих санитарных вагонах, гарантировали секретность и безопасность. На все эти предложения Каппель ответил категорическим отказом. На доводы своего адъютанта полковника Вырыпаева *«генерал Каппель отвечал, что в такой тяжёлый момент он не оставит армию, а если ему суждено умереть, то он готов умереть среди своих бойцов. Закончил он фразой: «Ведь умер генерал Имшенецкий среди своих… И умирают от ран и тифа сотни наших бойцов!» После этого говорить с ним на эту тему было бесполезно»*.

22 января 1920 г. — На Иркутск!

В Нижнеудинске на общем собрании командиров вышедших из окружения частей было принято решение ускорить движение на Иркутск. Двум войсковым колоннам предстояло соединиться в районе станции Зима, взять с ходу Иркутск, освободить адмирала А. В. Колчака и отбить «золотой эшелон». Затем предстояло объединиться с атаманом Г. М. Семёновым и восстановить Восточный фронт. Это было последнее совещание, проведённое В. О. Каппелем. Во время совещания Каппель всё время лежал на кровати. Силы покидали его и 25 января 1920 г. главнокомандующий отдал последний приказ по армиям Восточного фронта — назначил своим преемником генерал-майора С. Н. Войцеховского и вручил ему один из своих Георгиевских крестов.

Капитан Ефимов: *«Он тяжело страдал от полученной на реке Кан простуды, и здоровье его ухудшилось. Он уже не был в состоянии нести свои обязанности, и генерал Войцеховский часто распоряжался за больного главнокомандующего. Генерал Каппель назначил генерала Войцеховского своим заместителем. В командование 2-й армии предназначался генерал Вержбицкий. На должность командующего 3-й армией, после опроса присутствующих, генерал Каппель назначил генерала Сахарова»*.

Полковник Вырыпаев: *«Через 8–10 дней после выхода из деревни Барги состояние Каппеля стало ухудшаться. У него пропал аппетит, временами был сильный жар, а у трёх-четырёх докторов, следовавших в общем движении, не оказалось термометра. Также термометра не нашлось и в попутных деревнях.*

Доктора всё своё внимание сосредоточили на больных ногах генерала Каппеля и совсем упустили из вида его покашливание и то, что как-то, когда я помогал ему одеваться, он потерял сознание. Его уложили в сани, в которых он ехал несколько дней.

…Всю ночь 25-го января он не приходил в сознание».

26 января 1920 г. — Смерть Каппеля

Уже без сознания генерал Каппель был перенесён в лазарет румынского эшелона. Многие полагали, что у Владимира Оскаровича развивается гангрена ног, вызванная обморожением. Но согласно диагнозу, поставленному румынским доктором К. Данцом, генерал Каппель умирал от двухстороннего крупозного воспаления лёгких.

Полковник Вырыпаев: *«Одного лёгкого уже не было, а от другого оставалась небольшая часть. Больной был перенесён в батарейный лазарет-теплушку, где он через шесть часов, не приходя в сознание, умер.*

Было 11 часов 50 минут 26-го января 1920 года, когда эшелон румынской батареи подходил к разъезду Утай, в 17 верстах от станции Тулуна в районе города Иркутска».

Генерал-лейтенант Сахаров: *«Смерть его среди войск, на посту, при исполнении тяжёлого долга, обязанности вывести офицеров и солдат из бесконечно тяжёлого положения, — эта смерть окружила личность вождя ореолом светлого почитания. И без всякого сговора, как дань высокому подвигу, стали называть все наши войска «каппелевцами»; так окрестили нас местные крестьяне, так пробовали ругать нас социалисты, так с гордостью называли себя наши офицеры и нижние чины»*.

Подчинённые не оставили тело своего генерала. Гроб с телом Каппеля сопровождал отступающую армию.

После того как 7 февраля 1920 г. большевиками в Иркутске быль расстрелян адмирал А. В. Колчак, штурм Иркутска был прекращён, отступление

белых продолжилось в Забайкалье. Тело Каппеля было перевезено в санях через Байкал и похоронено сначала в Чите, а потом, с уходом белых из Забайкалья, было взято в Харбин и погребено в ограде церкви Иверской иконы Божьей матери на Офицерской улице. На собранные каппелевцами средства на могиле был поставлен мраморный крест, снесённый в 1955 г. китайскими властями по просьбе советской стороны. В декабре 2006 г. останки Каппеля были эксгумированы и возвращены на Родину. После того, как власти Читы не дали согласия на захоронение останков легендарного генерала, они были перевезены в Москву и, по благословлению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, упокоены в некрополе Донского монастыря. Русский генерал, считавший для себя «высшей наградой на земле от Бога—смерть за Родину», был погребён рядом с могилами генерала А. И. Деникина и философа И. А. Ильина.

Март 1920 г.

Чита—Переформирование армий

9 марта 1920 г. части сибирских армий вступили в Читу, 14 марта в Читу прибыли остатки Северной группы генерала Сукина. В рядах 3-го Барнаульского полка оставалось 100 офицеров и 400 солдат, в 11-м Оренбургском—25 офицеров и около 300 казаков, более 10 пулемётов. С приходом белых войск в Забайкалье Великий Сибирский Ледяной поход завершился.

Среди участников событий и исследователей истории Гражданской войны до сих пор нет более или менее общей оценки количественного состава армий адмирала Колчака, прошедших путь от Омска до Читы.

Генерал-майор Пучков считает, что под Иркутском остатки белых армий Восточного фронта насчитывали только 22–24 тыс. человек, из которых не более 5–6 тысяч оставались строевыми: «*Сейчас уже не представляется возможным определить, какое именно количество бойцов могла бы выставить вся армия в наиболее критические периоды похода. Когда решался вопрос об атаке Иркутска на совещании старших начальников с генералом Войцеховским, то при подсчёте выяснилось, что вся 3-я армия, правда очень слабого состава, могла бы дать не более 2 тысяч бойцов. 2-я армия, включая и Уфимскую группу, была значительно сильнее, но я не думаю, чтобы в этот день генерал Войцеховский мог рассчитывать более чем на 5–6 тысяч бойцов, и это из общего числа в 22–24 тысячи людей*».

Современные исследователи приводят разные данные по численности белых армий, вышедших вдоль Транссибирской железной дороги к Иркутску. Одни исследователи полагают, что в Иркутскую губернию вступило не более 30 тысяч белых, другие полагают, что до Иркутска добрались 40 тысяч человек.

Так же существенно различаются и сведения о количестве войск, перешедших Байкал и дошедших до Читы. Главнокомандующий Восточным фронтом генерал-майор Войцеховский в начале марта 1920 г. телеграфировал во Владивосток, что вывел в Забайкалье остатки войск в количестве 30 тысяч человек.

Доброволец Марков: «*Из трёх армий Сибири, Поволжья и Урала и других отдельных воинских частей, начавших свой Сибирский поход в количестве около 100 тысяч человек, в Забайкалье пришло не более 25 тысяч, из которых 11 тысяч больных и раненых. Остальные 75 тысяч или попали в плен к красным, или погибли во время похода*».

Генерал-лейтенант Филатьев, скептически оценивающий Великий Сибирский Ледовый поход, писал: «*Численность войск никому известна не была, наугад её принимали в 60 тысяч человек; на самом деле едва ли было и 30 тысяч, по крайней мере, до Забайкалья дошло только 12 тысяч (не считая жён и детей), да столько же осталось добровольно под Красноярском*».

Современные исследователи называют разное количество остатков армий, пришедших в Читу: 18 тысяч человек, 15 тысяч человек.

Остатки трёх сибирских армий адмирала Колчака были переформированы в Чите в корпуса и вместе с забайкальскими казаками атамана Семёнова образовали теперь уже только одну белую армию—Русскую Дальневосточную. Возглавил войска Российской Восточной окраины генерал-майор С. Н. Войцеховский. Восточный фронт был восстановлен.

Можно по-разному относиться к белому движению. Но сегодня это уже История, поэтому современный человек, не лишённый чувства сострадания, считающий себя гражданином и патриотом, не может не отдавать дань уважения белому воинству, до конца прошедшему свой трагический путь, не признавать его верности долгу, лучшим армейским традициям и любви к Отечеству.

Генерал-майор Пучков: «*…эта красивая и яркая страница истории гражданской войны заслуживает по справедливости быть отмеченной и сохранённой в памяти тех, кому дорого всё, что связано с именем Русской армии. Разбитые и гонимые остатки Сибирских, Уральских и Волжских частей проявили исключительную стойкость, величие духа и непримиримость к врагам Родины, достойные лучших представителей великой нации. Те неисчислимые лишения и страдания, кои выпали на долю несчастной и героической армии, едва ли имеют равное во всей мировой военной истории. Зимний поход остатков армии адмирала Колчака по справедливости получил эпитет «Легендарный»; в этой оценке похода сходятся одинаково и друзья, и враги белой армии*».

P. S. Работа над очерком была завершена 10 января 2010 г. в день 90-летия прохода каппелевцев по Кану, в г. Зеленогорске (в 3 верстах от бывшей д. Барги).

Сергей Харцызов

Родимых губ еле слышный шёпот…

Все поэты—ерундовые люди:
Занимаются, чем попало,
и хотят, чтоб им за это на блюде
подносили бы почёт и хлеб-сало.

Гнать их надо, болтунов, дармоедов,
оседлавших наши шеи и плечи!
Наплодили, понимаешь, поэтов!
Потому и жрать, товарищи, неча!

Вот в Китае—там с поэтами строго:
знай—рифмуй Мао Цзедуна заветы!..
А у нас писателей много,
а порядку настоящего—нету.

А у нас всю жизнь пень-колода,
то мы дух обожествляем, то плоть…
Но дрожит над нами Матерь-Природа,
и качает нашу люльку Господь.

Большое небо голубело.
Больные ноги затекли.
Мария сильно поседела
от пыли всех дорог земли.

Её ветра сторожевые
умоют дождичком косым.
— Уже Вы знаете, Мария?
На Пасху, на кресте, Ваш сын…

— Сынок мой жив, его терновым
Не окарябали венком,
он снова маленький, и снова
бежит за мною босиком.

И если кто его увидит,
и если кто пойдёт за ним,
то непременно к людям выйдет,
прославлен, цел и невредим!..

Глаза—как взорванное небо,
в двух тёмных штолинах глазниц.
И люди ей выносят хлеба,
немного денег и яиц.

Она не может жить иначе
и в пыльных травах и репьях
всё ходит по земле и плачет
о всех убитых сыновьях.

Нынче это возможно,
хоть пока и не верится:
без порезов на коже
ампутация сердца.

Что там сердца!—теперь и
можно сделать, по слухам,
имплантацию веры,
трепанацию духа.

Мода нынче навязчива
и довлеет над вкусами—
и сердца настоящие
заменяют искусственными.

И походками бодрыми
ходят люди-обрезы,
у которых под рёбрами
мерно бьются протезы.

Это стихотворенье
никому не известно.
Автор спит, укрываясь
одеялом забвенья.

Это старая песня,
это старая песня,
в ней серебряный аист
прилетает на крышу.

Автор шепчет: я слышу,
как хрустит черепица,
как на гребне адажио
балансируют связки!

Эту вечную сказку
про волшебную птицу
мне поведал однажды
Робертино Лоретти.

Беспокойные дети
не боятся земного,
им страшней привидения
и домовые.

Всё, что в мире не ново,
для детей и для гениев
происходит впервые,
происходит впервые.

Голова моя на улицу растёт,
зреют думы в тесной завязи ума;
пчёлка-муза, сев на чёлку мне, сама
из пыльцы былых страданий сварит мёд.
Осень мамой в букваре, привставши на
цевки-цыпочки, дождём как из ведра
моет чёрный прослезившийся квадрат
одинокого отчаянья окна.
Закурились трубкой вечности костры,
лист не мыслим вне поверхности земли.
Что-то нынче уж особенно быстры
на расправу улетанья журавли!
Голова моя на улицу растёт.
В жизни стоит лишь задуматься, как глядь,—
наступил октябрь на горло, и вот-вот
подойдёт сезон охоты умирать.

Мы в дыму пороховом
варим суп, картошку чистим.
Наша гордая Отчизна
завоёвана врагом.

Завоёвана. Как странно,
семь веков спустя, опять
к этой фразе иностранной
русским ухом привыкать.

Мы Отчизны не сдавали,
но должны мириться с тем,
что в Ипатьевском подвале
исполняем должность стен.

Кошельком голосовали,
и теперь не потому ль
мы в Ипатьевском подвале
исполняем должность пуль.

Мы и пули, мы и стены,
и Царя последний взгляд.
За великую измену
нас Юровские казнят.

И живём в своей Россеи,
как в погибельном плену,
новые иевусеи,
проигравшие войну.

Белым эмигрантам

Когда Невой поплыл ковчег
пилота Лота или Ноя,
в России выпал первый снег,
как что-то тёплое, родное.

И вы, столпившись на корме,
всё вглядывались в даль слепую,
уже не радуясь зиме,
но будто Родину целуя.

И был нелёгок и далёк
ваш путь в несбыточные дали…
А здесь, в России, умер Блок
и Гумилёва расстреляли.

Неклассический сонет

Я живу в Москве на Добролюбова,
в супермаркете на Гончарова
покупаю хлеб помола грубого,
спать ложусь обычно в полвторого

Ужинаю супом с тараканами,
завтракаю чаем с мошкарой,
и, свища дырявыми карманами,
по Москве гуляю, как герой.

В будни я работаю на дядю,
нужные приобретаю навыки.
Но, боюсь, моё здоровье сядет
до того, как сам я встану на ноги.

Из общаги после зимней сессии
вышвырнут меня Архаров с Есиным,
стану я московский сто восьмой.

Буду ночевать в моей милиции,
попаду от этого в больницу и
мама заберёт меня домой.

Ямб—это яма.
Ямб—это высь.
Стихи писать непросто,
не можешь—не берись.

А как же не браться,
когда от обид
горло, как рация,
хрипит и хрипит.

Горло, как рация. Передаём:
Рим, я Гораций, как слышишь, приём.
Друзья ли, враги ли
почти победили,
в могиле Вергилий
и Цезарь в могиле.
Защитники, струсив,
зарылись в постели,
и гордые гуси
на юг улетели.
Я сильно рискую,
являясь поэтом,
меня пеленгуют
и глушат при этом.
Захвачены почта,
вокзал и таможня.
Мы сделаем всё, что
уже не возможно
и сделать, но мы, как всегда, победим!
Как слышишь, Гораций, я Рим!

Два стихотворения

1.

Писатель, отложи перо,
забрось чернильную рутину!
Останься чуркой, Буратино!
Будь счастлив, плачущий Пьеро!..

Но нет: писатель слишком слаб,
он спать не ляжет и пить чай не…
он бы и выдержал, когда б…
зачем ты плакал, мой печальник!..

В любви печалиться грешно.
Ты сам себе накаркал кару.
И вот бездетный плотник Карло
берёт злосчастное бревно…

День-два — и с болью свежих ран
печаль играется без грима,
а деревянный Дон Жуан —
в шестом ряду, с твоей любимой…

«Старо!» — вы скажете? — «Старо» —
отвечу я вам откровенно,
и, посмеясь, взойду на сцену,
седой, простуженный Пьеро…

2.

Я выйду и в который раз
сроню трагическую фразу,
чтоб продолжением рассказа
насытить голод ваших глаз.

В театре нынче бар «Бистро»,
актёры делают такое!..
Там редко, выйдя из запоя,
Пьеро берётся за перо;

а Буратино съели мыши,
с тех пор Мальвина сильно пьёт,
теперь с ней Карлсон живёт,
который раньше жил на крыше;

от рака выплаканных глаз
скончался Карло… как пушинка
был лёгок гроб… а на поминках
буянил старый Карабас…

И всё обычным чередом,
и жизнь проходит понемногу,
былая слава, слава Богу,
исчезла в воздухе пустом…

Мы и Чехов

150 лет
со дня рождения А. П. Чехова

ДЛЯ МЕНЯ ЧЕХОВ — это лошадиная фамилия. Это Дзержинский в пенсне, выносящий суровый приговор обществу.

Михаил Стрельцов,
писатель (Красноярск)

…УМЕЮЩИЙ ЗАМЕЧАТЬ, НЕ ОБЛИЧАЯ.

Татьяна Таранец,
руководитель клуба
авторской песни (Назарово)

…ТОЧНО ВЫБРАННАЯ, ПОТРЯСАЮЩЕ ЯСНАЯ деталь — «…бутылочное горлышко, блестящее под луной…». И цветущий сад вишнёвый и размеренный стук топора — вместе, потому что одно невозможно без другого… и, как бы ни было больно и жалко — только так освобождается место для чего-то иного… каким оно будет — вот вопрос, который задаёшь себе, перечитывая Чехова…

Вероника Шелленберг,
поэт (Омск)

…ЛЁГКИЙ ТОНКИЙ ТУМАН. Входишь в него — и тебя покрывают мелкие капельки иронии, юмора и грусти. Интерьеры, детали, люди, движение души — это такой кинематограф в миниатюре.

Ксения Попова,
социолог (Красноярск)

…ЛЕВИТАН В ЛИТЕРАТУРЕ. Скромная трагедия без выспренних воплей, тихая радость. Его краткость подобна иконе без оклада: ничего лишнего. Более всего люблю у него ранние рассказы, особенно «Жалобную книгу», «Степь» с потрясающим пейзажем и драматургию в целом как явление: так, подтекстом, и проходила жизнь большинства в его время, проходит и теперь.

Алла Зиневич,
поэт, публицист, философ
(Санкт-Петербург)

Алексей Чернец

Старый дом

Питерский рефрен

Маленький домик большого Петра,
Маленький домик.
Пётр выходил на прогулку с утра
В маленький дворик.

Пётр выходил—ему в Летнем саду
Маленький слоник
Звонко трубил, ну, а тот на ходу
Вскрикивал: «Morning!»

Маленький дождик бежал с облаков
На подоконник.
Пётр вынимал из кармана стихов
Маленький томик.

Дул ветерок, подгонял и спешил,
Строгий, как дворник.
Скоро, да, скоро мир станет большим,
Маленький слоник!

Амираму Григорову

По чьему мы пришли велению—
Тут забыть о добре и зле!—
Может, просто за неимением
Одиночества на земле?

Не напрасно древние верили
В негасимый незримый свет.
Расцветая, гибли империи,
Рухнув прахом былых побед.

Вспомни, как достаётся дорого
В вечность брошенный жадный взгляд!
Петропавловский грустный колокол—
Твой придуманный Петроград.

Как глядел на листву осеннюю,
Что посмертной красой странна,
Словно чашу, держал Вселенную,
И готов был испить сполна.

Ты ладоней мостов движения
Наваждение не сморгни—
В бесконечности приближения
Одиноки мы не одни!

Выпив яд безрассудно, дочиста,
Вспоминаем мы каждый раз
Всех, ушедших от одиночества,
И оно настигает нас.

Знай: всё так же время ставит заплаты.
Подлатает—перевалит за сорок.
Пусть единственно желанной наградой
Будет мне неизречённое слово.

Оттого что не взыщу славы пущей—
Знаешь, попросту сочтут за кокетство.
Но молчание твоё стало сущим,
Предок мой из деревенского детства.

Чуждым сделалось название «Сокур».
Зимней ночью девяносто второго—
Жизнь мотала—отмотала все сроки,
Только память мерит всё по-земному.

Помню, вязнул я в досужей трясине,
Всё расспросами тебя донимая.
Я теперь бы не спросил, дед Василий,
Как бежал ты из колымского рая.

Не спросил, лишь мимолётно приметил,
Как лукавые татарские скулы
Иссушает необузданный ветер
И глаза слезит зудящей остудой.

Старый дом

Глядишь сквозь век, отпущенный на шорох
Листвы пожухлой спиленным деревьям,
Осеннего двора заиндевенье—
Прохожими не хоженого шора.

Поверх простынно-наволочных флагов,
Отозванных на полки и на койки
Перед ударом точечным застройки
Грядущей демографии на благо.

Глядишь, и старость перешла урочно
На юностью завещанные тропки.
И некуда спешить—повсюду пробки,
Бессмысленно врастающие в почву.

Скрипя зевнёшь, себя перемогая,
Жильцов сглотнёшь, отбрасывая тени,
И отзовутся гулкие ступени
Хрущёвыми артритными шагами.

Я люблю вечерний мокрый город:
Мелкий дождик, моросящий сонно,
Улицы в искрящемся убранстве,
В лужах—сопредельные пространства.

Беглыми, но ловкими штрихами
Осень распахнула зазеркалье.
Заглянуть в распахнутую душу
Я ещё сумею, я не струшу!

От погоды или от свободы
Словно ошалели пешеходы:
Торопливо лужи огибая,
Прочь спешат, себя оберегая.

Я стою чуть сбоку, огорошен
Тем, что весь очерчен, огорожен,
Хоть и тонко—непреодолимо.
Вот и плачет осень над картиной.

Скажешь возмущённо: «Что за шутки
В этот мерзкий вечер, мокрый, жуткий?!
Эти сопредельные пространства—
Ноги промочил, и сразу насморк».

По-обывательски, в сердцах,
От неустроенности жизни,
Рвёт часовые пояса
И дружно лается отчизна.

Поносят москвичи Москву,
Новосибирск—новосибирцы,
Москву здесь тоже понесут,
Но с толком, с чувством—как столицу.

А вот, к примеру, Петербург.
Своим табу интеллигентским—
Нам не чета, уверен будь,—
Загнут весомо, не по-детски.

Собраться—на плечи пальто:
Где не бывал, туда бы надо!
В Тольятти—ясно, там авто.
Там жёстко кроют—автоматом.

Иркутск, Ангарск—уж тем дано
Могучих творческих амбиций!
А в Сочи круче—там давно—
Возвышенно, по-олимпийски.

Но я не чую много лет
Исконного сердцебиенья—
Чем кроет свет из века в век
Боготворимая деревня.

Блюли поштучно и на вес,
Стирая к матери все грани,
Отшлифовали под конец
Литературными кругами.

Остыл во мне фольклорный пыл—
Куда подальше с плеч закину
Пальто.
Приятель позвонил,
Но он не в счёт, он с Украины.

Солдатики

Есть проблемы поважнее
Сломанного паровоза,
Рельсов, хрустнувших, как спички,
Груды рухнувших вагонов.
И солдаты, что убиты,
Они вовсе и не люди,
Истуканы из пластмассы—
Ни семьи у них, ни дома.

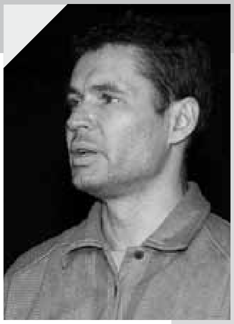
Есть задачи поважнее:
Склеить всё, что сможешь в жизни,
Зубы сжав, не устрашиться
Понесённого урона.
А солдатиков, убитых
И опять готовых к бою,
Всех собрать, сложить в коробку—
Ни семьи у них, ни дома.

Будет всё: глухие будни,
Заплуталые исканья,
Свето-тени интонаций,
Бездны пауз в разговорах
О влиянье полнолунья.
Ведь и вправду наши души,
Окрылённые в скитаньях—
Где он, тот заветный дом их?

С каждой жизнью всё сначала:
От Москвы до Петербурга
Сколько статуй командора—
все за мной под громовое!
Миди-флейта с барабаном.
Я звоню—бросают трубку.
Наплевать: давно в привычке
Жить от боя до отбоя.

Как хирург, решаешь быстро—
Всё | Абдейт | До новой жизни!—
В интонации нейтральной
Креативные изломы.
А соседка у подъезда,
Поздоровавшись, вдогонку
Молвит: «Как же вы живёте—
Ни семьи у вас, ни дома!»

Волны лунного прилива
Обновляют Атлантиду:
Там по рельсам паровозик,
Там, как тени, невесомы
В тихих улочках прохладных
Наши вымытые души,
Как солдатики в коробке—
Ни семьи у них, ни дома.



Дмитрий Иващенко

Стройплощадка

Дома в тумане потонули.
Дожди волынку затянули.
Дохнуло осенью в июле—
сырым, холодным октябрём.
Но отчего-то—на мгновенье—
нисходит умиротворенье,
и возникает ощущенье,
что мы с тобою не умрём.
Дождей аккорд минорный.
Слушай
про небо, пролитое в лужи.
А нам от жизни—много ль нужно!
Растить детей.
И быть вдвоём.
Мои заботы непреложны:
на всю семью бюджет итожить
да по ночам, когда уснёшь ты,
беречь
дыхание
твоё…

Долой покровы.
Наша ночь густа, и
мой крест нательный падает на твой…
А после—перешёптываться станем.
О детях наших.
И о нас с тобой.
О том, что в жизни что-то не сбылось,
но всё же мы по-прежнему вдвоём,
и счастье, в общем,—не игла в стогу…
Медовый
водопад
твоих волос.
Я пью медовый водопад волос
и на плече дыхание твоё,
как водится, ночами берегу.

В жёлтой дымке—
разрез карьера
да массивы породы серой…
Подставляют БелАЗы спины,
в кузова принимая смесь:
эти камни, песок и глину.
Экскаватор, свой ковш подкинув,
черпанул синеву небес.
И от буро-взрывных работ,
как в падучей,
земля трясётся…
В рыжий зев котловины
солнце
раскалённое масло льёт.

Каменщик

При деле ты.
И, стало быть, в порядке.
Ты почестей в почёте не искал…
Растёт стена твоей кирпичной кладки.
Проверена отвесом вертикаль.
В движеньях точен ты и нравом весел.
Кирпич в раствор влипается.
Потом
на швах излишек выдавленной смеси
ты ловко подрезаешь мастерком.
А в перерыв заштопываешь робу,
от дыма сигареты щуря глаз…
Пересказать свою судьбу попробуй—
судьбу расскажешь каждого из нас.
«Фазанка»,
армия
да производство.
Дни праздников—на месяцы труда.
И дочь на выданье,
и сын подрос твой,
и голова твоя уже седа.
Бывает, что прихватит поясницу.
Бывает, бьёт бодун—не без того.
Но чувство правоты
в тебе теснится,
когда лицо солёное лоснится
и торжествует кладки мастерство.

Стройплощадка

Здесь все, молодой и старый,
пашут—за милый мой.
Вручную—кряхтячим паром—
взяли бетон большой.
И харкаемся мокротой.
И отираем пот.
Под краном, где грязь да грохот,
вдатый стропаль орёт.
Гружённый ЗИЛок
стакатто
выдал и вновь застрял…
Работа у нас такая,—
каждый квартал—аврал.
Но как бы ни было трудно,
знаем наверняка,
что хлеб наших чёрных будней—
стимул для мужика.
Бетон и монтаж консолей
переведём в рубли.
Земеля, покурим, что ли?..
Мозоли
ладонь
прожгли.

Мой сентябрь, золото пера!..
Прель булыжника и травостоя.
Хорошо бродить по вечерам
в пойме обмелевшего Китоя.
Вон гоняют мячик пацаны,
на ветвях вороны раскричались,
а на пику медную сосны
туча наплывает величаво.
Здесь, уставшие в походах рьяных
восемьсот далёких лет назад,
выпивали кони Чингисхана.
в водах растворившийся закат.
Хорошо вдыхать прохлады шёлк
и внимать берёзе в белых джинсах.
Родина,
я здесь тебя нашёл
и печали светлой приобщился.
И в дыму оранжевой листвы,
и в хандру дождей с вороньим граем—
ты руками веток шелести,
за собой желая увести,
чётки вечеров перебирая

Уж над лесом закат буравит
терракотовую штробу…
Самосвалы ссыпают гравий,
и бульдозеры грунт гребут.
Здесь прокладываем дорогу.
Торсы голые.
Пыль да пот.
В перекур бывший зек Серёга
байку лагерную загнёт.
За спиной—километры трассы.
Сколько их ещё впереди!
А сосняк, от заката красный,
сердце грубое
бередит.
Мы в асфальт закатаем дали—
будет память о них легка…
Да в стихах моих
оседают
пылью
пепельные облака.

ДиН антология *100 лет со дня рождения*

Павел Васильев

Вифлеемские звёзды российского снега

И имя твоё, словно старая песня,
Приходит ко мне. Кто его запретит?
Кто его перескажет? Мне скучно и тесно
В этом мире уютном, где тщетно горит
В керосиновых лампах огонь Прометея—
Опалёнными перьями фитилей…
Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!
У меня ли на сердце пустая затея,
У меня ли на сердце полынь да песок,
Да охрипшие ветры!
Послушай, подруга,
Полюби хоть на вьюгу, на этот часок,
Я к тебе приближаюсь. Ты, может быть, с юга.
Выпускай же на волю своих лебедей,—
Красно солнышко падает в синее море
И—за пазухой прячется ножик-злодей,
И—голодной собакой шатается горе…
Если всё, как раскрытые карты, я сам
На сегодня поверю—сквозь вихри разбега,
Рассыпаясь, летят по твоим волосам
Вифлеемские звёзды российского снега.

Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала,
Дай мне руку, а я поцелую её.
Ой, да как бы из рук дорогих не упало
Домотканое счастье твоё!
Я тебя забывал столько раз, дорогая,
Забывал на минуту, на лето, на век,—
Задыхаясь, ко мне приходила другая,
И с волос её падали гребни и снег.
В это время в дому, что соседям на зависть,
На лебяжьих, на брачных перинах тепла,
Неподвижно в зелёную темень уставясь,
Ты, наверно, меня понапрасну ждала.
И когда я душил её руки, как шеи
Двух больших лебедей, ты шептала: «А я?»
Может быть, потому я и хмурился злее
С каждым разом, что слышал, как билась твоя
Одинокая кровь под сорочкой нагретой,
Как молчала обида в глазах у тебя.
Ничего, дорогая! Я баловал с этой,
Ни на каплю, нисколько её не любя.

Татьяна Долгополова

От себя

Мы с тобою сегодня
выглядим несерьёзно.
Мы с тобою сегодня
выглядим не комильфо.
Ведь вчера мы с тобой
зажигали коньячные звёзды,
о которых мечтал
сам Даниэль Дефо.
Мы с тобою, как робинзоны,
куда-то плыли…
То ли плот, то ль паром—
каждый думал о нём, как хотел.
Вот и остров.
и мы с тобой без особых усилий
превратили его
в пятизвёздочный гранд-отель.

Пусть покажется кому-то
нереальной эта встреча:
за моим окошком—утро.
за твоим окошком—вечер.

Относитесь проще к чуду,
ведь оно всегда не ново:
для меня—приправа к блюду,
для тебя—венок лавровый.
Опрокинем одним махом
одинаковую дозу:
мой коктейль—вода и сахар.
твой коктейль—вино и слёзы.

Ранним-ранним синим утром
в луже плещется звезда.
Ей покойно, ей уютно,
как за пазухой Христа.

А со мной покой не дружит,
а моя душа пуста.
Оттого ль, что я не в луже?
Оттого ль, что не звезда?..

А сегодня в восемь
дождь разбился оземь,
Бог знает, на сколько
маленьких осколков.
Люди знали: это
умирает лето.
Так сегодня в восемь
появилась осень.

Перед сном больше думать не о чем.
В голове одни только мелочи.
Ни с тобою, ни в одиночестве
править миром мне больше не хочется.
И совсем не хочу украдкою
доставать из памяти сладкое.
Всё обдумано, перемечтано.
Перед сном больше делать нечего.

Не познал он домашний уют.
Он полжизни мотался по свету.
И когда ещё люди найдут
его письма, лежащие где-то.

По карманам полно мелочей:
зажигалка, билет на маршрутку…
Только не было связки ключей
в его старенько кожаной куртке.

Пустеет дом. Всё реже гости.
Качели старые скучают.
Как много яблок в эту осень…
Как много в воздухе печали…

Ещё полно тепла и света,
ещё не улетают птицы,
и паутина между веток
ещё на солнце золотится.
Но что-то небо бледным стало,
а скоро вовсе белым станет.
И старый дом вздохнёт устало
и на зиму закроет ставни.

Вот и всё.
Развязали узел.
И при этом никто не струсил.
От доверья и недоверья
разлетаются пух и перья.
Вот и всё.
Умирает птица.
Только сердце ещё дымится.

Котёнка положив на пузо,
чуть вздрагивая шёлком век,
спит моя боль, моя обуза,
спит мой любимый человек.

Дмитрий Мурзин

Разрыв шаблона

Замысел для рассказа стал эпопеей
В двух частях: «Выпивка» и «Закуска».
Просишь короче? Короче я не умею.
Хочешь о грустном? Что же, давай о грустном.

Сбегал за литром с первого гонорара.
Не приходя в себя, стал «каким-то кем-то».
И под фанфары с запахом перегара
Вносит в культуру свою нетрезвую лепту.

Угрюмо твердит, что мы—впереди Европы,
Что нету такого ни в Старом, ни в Новом Свете,
Что накопили изрядный духовный опыт,
Чтоб передать его этим… как его… детям.

Держит ответ, не помня о чём спросили.
Будет банкет—всё остальное не важно.
Потом твердит, что страшно трезветь в России…
А пропивать Россию уже не страшно?

Выключи свет. Задохнись в полумороке мрака.
Думать о смерти не поздно уже и не рано.
Стыдно быть плевелом, но полновесности злака
Не ощущаешь в себе, до второго стакана.

Стыдно и тошно. Хоть совесть теперь и не модна.
Пули ещё не отлиты, не льются слёзы,
Можно дышать, да только дышать свободно
Не получается. Даже в презренной прозе.

О. М.

В суставах хруст аттических солей,
Век-волкодав и он же век-заноза,
Такие нас трясут метаморфозы,
Что ваш Овидий, что ваш Апулей.

Я—середина списка кораблей.
Египетская марка, четверть прозы,
Шум времени и Тютчева стрекозы,
Московский гной, воронежский елей.

Я—смешан рай, и ад, и Ленинград,—
С военной астрой вышел на парад.
Я—камень, но не камень преткновенья.

И с головой, закинутой до пят,
В пустом восьмом трамвае невпопад
Читаю вам своё стихотворенье.

С. Самойленко

Музыкант мотив начинает вброд,
И становится чуть теплей,
Если вдруг аккорд музыкант берёт—
Много взял на себя, злодей.

Дребезжит чуток барабанов жесть,
Духовых потускнела медь,
Если всё вокруг принимать, как есть,
То останется только петь.

Петь и знать, что—кончено, не простят,
Петь своё до кровавых слёз…
Но верхи фальшивят, низы басят,
И весь мир летит под откос.

У Лукоморья—дуб зелёный,
Из Александровского сада,
И днём и ночью кот учёный,
среди кирпичного надсада
Идёт налево—песнь заводит,
На розу жёлтую похожий…
Там чудеса, там леший бродит
У ног прохожих.

Там на неведомых дорожках
пчелиный рой сомнамбул, пьяниц,
Избушку на куриных ножках
Печальный сделал иностранец.
Там о заре прихлынут волны,
Такси, с больными седоками,
Там лес и дол видений полны,
С особняками.

Там королевич, мимоходом,
Плывёт в тоске замоскворецкой.
Там в облаках, перед народом,
Блуждает выговор еврейский.
И от любви до невеселья,
Там ступа с Бабою-Ягою,
под Новый год, под воскресенье
Идёт, брёдет сама собою.

Там царь Кащей над златом чахнет,
И пахнет сладкою халвою,
Там русский дух… там Русью пахнет!
Над головою.

Возвращается из командировки муж—небрит, колюч,
На день раньше—у жанра свои законы.
В скрипичную скважину вставляет скрипичный ключ.
В квартире накурено, не прибрано, даже воздух лежит неровно.

Время течёт как-то наискосок.
Муж вроде только вошёл, а уже проверяет спальню,
И любой чужой запах, окурок, носок
Воспринимает слишком буквально.

Заглядывает под кровать, в шкаф кидается,
Открывает, а там электрический свет, поезда, вагоны…
И металлический голос: «Осторожно, двери закрываются,
Следующая станция—«Разрыв шаблона».

Герой лирический замаливает нелирические грехи:
—Милый автор! Отпусти и дело с концом!
—Нет!—отвечает Автор и пишет стихи
Про Ложь в обличии женском и Неправду с мужским лицом.

Классический треугольник вписан в порочный круг,
Стало быть—больше сумерек, меньше света,
Герой любит Ложь, Неправда Герою друг…
Что ещё нужно Автору для сюжета?

Символ? Деталь? Лакомство для ума?
Чтобы повествованье буйствовало, кипело,
Ложь называет Лирического «моя Чума»,
Приходит и говорит: «Время твоё приспело».

Герой чувствует себя бабочкой за стеклом,
Бьётся в стены своей прозрачной тюрьмы,
Выхода нет, и, когда они за столом,
Она называет это пиром во время Чумы.

По воле Автора бабочка уходит вразнос,
Стены прозрачной тюрьмы состоят из трещин,
И в одну из них видны Ложь и Неправда, целующиеся взасос,
И в жизни Лирического лжи и неправды становится меньше.

Автор ставит точку. Автора не гнетёт
Вопрос, кто станет товаром, а кто дельцом,
Кто обманет кого, кто кого переврёт:
Ложь в обличии женском? Неправда с мужским лицом?

Нет, уж лучше эти, с модерном и постмодерном…
…Но уж лучше эти, они не убьют хотя б.
Д. Быков

Как бы нам ни стелили, как бы нам ни спалось,
Лучше—чтобы убили, чем вот так, как пришлось.

Лучше чем эти невольно-вольные стили
Выгибоны, впадины, пируэты…
Знаешь, как было б надёжно, если б убили,
А не это, вот так, вот этим, вот через это.

Потому-то пора уходить со сцены, снимать пуанты, стирать белила,
Объявлять об отказе участвовать в этом концерте…

Чем, скажите, смерть вам так сильно не угодила,
Что всё это вдруг кажется лучше смерти?

Ася Сенина

Веснушки

Здравствуй, мальчик в зелёной кепке!
Ты теперь, по данным разведки,
Не один—ну так будь же счастлив,
Мой прекрасный.

Небо свесило тучек месиво.
Посмотри, как глазам весело.
Далеко ускакали годы.
Далеко ли?

Ты себя хоть разок спрашивал,
Для чего моё небо раскрашивал,
И зачем эти цепи горные
Такие задорные?

Ассонанс этих линий судеб.
Декаданс. И плевать на судей.
«Я тебя никогда не забуду».
Если буду.

Зима пришла твоим голосом,
Вписанным в буквы неправильно,
Вкусом клюквы, снегом заправленным,
Другим маршрутом автобуса.

Зима пришла. Южным полюсом
Повернулась к нашему солнышку.
На белом песке—вспомнишь ли?—
Пальцы чертили полосы.

Зима пришла, как обещано,
Коротким письмом—затрещиной—
Нежданным, негаданным, правильным,
Далёким, родным. Неотправленным…

Дожилась до осеннего солнышка,
Домечталась до снежной зимы.
Счастье, правда, осталось на донышке
И успело уже остыть.

Руки снова летают в воздухе,
Ноги снова танцуют навзрыд,
А слова суховатой поступью
Удаляются—путь открыт.

Выход найден. И свет расходится
По тоннелю в конце души.
Только поезд мой не заводится,
И растеряны карандаши.

Зимою не хватает слов,
Чтоб выйти в лес и стать поэтом,
Чтоб сотни тихих голосов
Поймать рукой необогретой.

Замёрзшей ручкой записать
Дупло в столетнем исполине,
И на полях зарисовать,
Что на ветвях рисует иней.

Нет, не удержишь между строк
Еловый запах, запах снега,
Как пахнет высохший листок,
Закат рябинового цвета.

Как пахнут сумерки в лесу,
Как стонут по ночам деревья.
И я с собою унесу
Холодный нос и настроенье.

«…вчера мы хоронили Астафьева…»
(из письма)

Ненастно. Кладбище. Колодец.
День провалился. Пустота.
Позади усердно молятся,
И крестятся, и говорят.

Стоят задумчивые дети,
Понять пытаются—никак.
Тихонько! Маленькая лестница—
одна ступенька. Мрак.

Венок венчает тело с осенью,
С землёй, с воронами. Вчера
Он был. Сегодня проседью
Снег в тёмно-русых волосах

Пишите! Дождиком по стёклам.

Целуешь в ушки—
Мурашки душат.
Спокойной ночи!—
И сон нарушен.
Ничто не нужно,
Никто не нужен.
Лишь только ты
И километры телефонного провода.—
Би-би-биииии…

Раскрошен в детальки, в винтики,
В осколки зеркал банальные,
Мир в раздолбанном видике
Всё крутится — и это главное!

Небо — обои ромбиком,
Солнце — паук за дверцею,
Такой небритый, с горбиком,
Только улыбкой и светится.

Стол, исковерканный мыслями
Или бездарной безделицей,
Словно земля под листьями,
На зелень часов надеется.

Часики тикают-такают,
Фиксируют изменения:
Одно за другим поколения…
А может быть, просто квакают?

А может — кассету с плеером?
А может — стакан с мороженым?
Эх, снова весне поверила,
Из этих осколков сложенной.

Веснушки

Я летала, южный ветер
Обрывал с меня пальто.
Был февраль лучист и весел,
Хоть с метелью — всё равно!

Не писалось — не хотелось
Счастье тратить на слова.
Раскрылатая незрелость —
Разболелась голова:

Южный ветер через уши
Выдул все мои мозги.
С пустотою стало хуже
Без растаявшей тоски.

Без растаявшего снега
Падать больно с облаков.
Что ж, безумною калекой
Приземлюсь среди стихов.

Потерпи, я скоро уйду.
И молекулы воздуха примут привычные позы,
Чтоб тупым безразличием встретить другую беду,
И в часах снова тихо затикают-такают слёзы.

Не одёргивай штор! Осторожно, собьёшь паутину,
Не гляди из окна, когда я на него обернусь,
Никогда не играй, не пиши ни стихи, ни картины,
Не мечтай, не забудь про свою сероглазую грусть.

Потерпи, я уйду от тебя очень скоро.
Унесу за собой запах солнца и шорох волос,
Я всего лишь твой сон, я приснилась, и это бесспорно,
Я всего лишь хочу, чтоб тебе так же мирно спалось.

Всё смешалось. Под ногами
Стало больше света, чем вверху.
Мир укутан тёплыми снегами,
Небо нянчит солнце облаками,
И оно не плачет поутру.

Отдавая дань последним сводкам,
Пробредет по городу метель,
Как всегда, немыслимой походкой,
В рукавицах, в шерстяных колготках…
В белом месиве увязнет белый день.

А когда на небе и на кухне
Лунный блинчик мирно зашкворчит,
Как всегда, в районе свет потухнет.
Кто ругнётся, кто глаза потупит,
Кто зажжёт свечу и промолчит.

И мечтая о грядущем лете,
Приведём в порядок календарь.
Чай с малиной, и под мышкой дети,
И опять кончается февраль.

Ася Анистратенко

Как мучительно всё заверчено…

и внезапно поймёшь, как мучительно всё заверчено,
фотографируя взглядом раннюю синеву
сумерек. серебрящиеся навершия
труб. эти трубы и крыши. мёрзнущую Неву.
дым, застывающий в небе. кильватер праздника—
осыпи ёлок, редкие фонари.
разом охватишь и вдруг понимаешь—разное.
видишь себя внутри.

вдруг понимаешь, что время—твоя материя,
вязкое сопротивление, плоть борьбы.
что золотые низки с бусинами-потерями
ярче других любых,
и что любимый, единственный в своём роде,
милое сердце, родная душа, фантом,
делает всё не то. и на этом вы сходитесь.
ты точно так же делаешь всё не то.

ты из всего, что дано, берёшь—что заказано.
черпаешь слой за слоями внутренней немоты,
пусть заполняют пространство мечты и разума
книги. воображаемые коты.
пироги в воскресенье. часы в абажурном свете.
мирная повторяемость сонных фраз.
всё, что так важно. ты делаешь всё, чтобы этого
не было, не получалось. здесь и сейчас.

ибо твоё откажет в счастливых средах.
ибо твоё—твой голос и твой живот—
малопривычны к простому. ты—сумасшедший шредер,
распускающий мир на нарезку из слов. и вот
естествознатель ещё, полоумный физик,
вычисляющий, сколько раз надобно—так и так—
грохнуть этот хрустальный шар,
этот дар совершенной жизни,
чтобы разбился.

и выбросил белый флаг
твой паразит, окаянный твой—будьте-нате…

а всё равно будешь чуять, едва жива,
как, не мигая, молчит этот внутренний наблюдатель.
ищет слова.

это то что сидит внутри
это внутренний лабиринт
это бездна без минотавра
не смотри в неё не смотри

это то что живёт во мне
не отбрасывая теней
есть и пить молодец не просит
тихо дремлет на самом дне

так-то вроде простая баба
с ранним проблеском седины
зажигаю по жизни слабо
заурядная, как блины

в нужном месте имею узость
в нужном энную ширину
не чураюсь простых союзов
не вступаю ни с кем в войну

но прорвётся всегда не в срок
не заткнёшь ананасом рот
вечно ляпнет чего попало
со значением между строк

это просто как дождь и снег
это можно смотреть в окне
мне же мал золотник да дорог
заховаю и нет как нет

и живи на своём краю
свято веруя в ай лав ю
как в обрывки других материй
из которых фантомы шьют

солнце слепит глаза—иди
правда режет глаза—иди
не оглядывайся заманит
не задерживайся
в груди

забывается всё телесное всё живое
всё что надвое разделено умножалось вдвое
лето сдаёт меня осени без конвоя
только память зрачка цепляется за июнь
где жизнь твоя как ранение ножевое
вспарывает мою

резано колото бережно безутешно
нежно ты помнишь как это было нежно
на том краю земли
где под времени прессом слиплись встречаразлука
если память руки забывает вторую руку
самый воздух вокруг болит

воздух в котором мы заведены кругами
по часовой
грабли свои пересчитывая ногами
черенки головой

будто бы ожидая что кто-то третий
скажет иди сюда здесь нора тепло
здесь я укрою тебя — и тебя — от смерти
здесь за пределом слов

а покуда стеклянный шар от стеклянной стенки
вновь оттолкнувшись катится в никуда
и кармин наших тел победили уже оттенки
холода: асбест иней туман слюда

и непонятно (разглядываю заусеницы
на пальцах забывших наощупь твоё плечо)
почему в этот раз ножевым зацепило сердце
именно а не что-нибудь там ещё

говоришь сам себе, что прошла зима,
пережил то, что смог; что не смог, — оставил
так, как есть; не сошёл до конца с ума,
закалился в процессе не хуже стали,
вышел в мир, осмотрелся, раскрыл ладонь —
подкормить голубей у седой скамейки,
рассказал им, что свил сам с собой гнездо
там, внутри, где прописан до самой смерти,
рассказал им, что видел плохие сны,
что на кухне пригрелся у батареи,
но зимы не растопишь ничем земным,
а земное в тебе, говоришь, стареет…
рассказал бы ещё, но в ушах свистит,
и карман обмелел, и ладонь пустая…
иногда для того, чтобы всех простить,
одного воскресения не хватает.

и когда ты стоял прижавшись
к ограждению на мосту
глядя как грохоча ужасно
поезд сыплется в темноту

и когда на тебя дохнуло
сквозняком из других глубин
пробрало ли подземным гулом
утешался ли что любим

поспешил ли нарезать водки
прослезился ль ночным письмом
что ты понял своим коротким
голубиным своим умом

отдавать целовать не охать
не считать за плечом теней
а потом налетает грохот
и утягивает в тоннель

портятся отношения с тишиной.
все умолчания перестают быть мной.
это ещё не рупор, но шаг к трибуне.
как говорил один милый, «ты говори,
ибо, когда я скажу, что в моём «внутри»,
места уже не будет».

пользуйся этой спиной, этим плечом.
пользуйся тем, что я пока ни о чём.
тем, что сижу за стеной своей тишины и
отгородилась листом, монитором, холстом,
чтобы любое, выплеснувшись, потом
жило с моей стороны,

так скопидомно, по-жмотски — во мне, со мной,
переполняя копилку стихов и снов.
места не хватит — значит, пора расти.
так что, когда я впою ещё пару нот,
бойся любой, кто осмелится подойти
ближе шагов пяти.

Нина Ягодинцева

«Всё душа твоя запомнит…»

(о стихах Татьяны Четвериковой)

Избранное у поэта почти неизбежно складывается в мегастихотворение о его жизни и его веке. Название книги известной сибирской поэтессы Татьяны Четвериковой «Собирая время» напрямую подводит нас к этой мысли. Стихи, написанные в разные годы и с разными чувствами, оставаясь в избранном полновесными и самостоятельными, одновременно становятся и строчками, штрихами, образами, сплетающими пёстротканое полотно жизни.

Избранное Четвериковой охватывает период с 1972 года по настоящее время. Более 35 лет—это, действительно, целый поэтический век, вместивший в себя и ушедшую эпоху социализма, и её роковой слом—и то, что привычно называется мало осознанным нами пока словом «современность». А ещё—те пласты истории, которые таинственно открываются по созвучию, по стремлению человека понять себя и свою страну:

Князь Владимир! Будь проклят за то, что ни разу
Не молилась богам, как и я,—светлоглазым,
Русокосым богиням, что деток славянских
Окунали в Днепре—не в волнах иорданских…

По поводу таких времён, какие выпали нашей стране, на Востоке говорят: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен», а в России Фёдор Тютчев в позапрошлом веке сказал совершенно противоположное:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые—
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир…

По сути, это времена, когда человек волей-неволей вынужден искать опору не во внешнем миропорядке, а в себе самом, в своём характере, в личной внутренней силе. И мир вокруг себя приходится выстраивать по собственным меркам, сообразуясь прежде всего с любовью и совестью.

В конечном итоге оба приведённых высказывания на практике, в реальной жизни оказываются верными. Без проверки «на излом» человек никогда так и не узнает своей истинной силы, но бесчисленная череда разочарований и утрат неизбежно надрывает его сердце… Что уж говорить о поэте, который не оставляет непрожитым ни одно глубокое чувство, который со-чувствует всем и всегда говорит не только от своего имени, но и от имени всех бессловесных и бесследно сгинувших…

Эх, Россия! До крика, до боли, до слёз!
Ты порою бываешь, как мачеха, злая.
Поминальные свечи октябрьских берёз
Всё горят, не сгорая, на землях Кулая…
…Всё быльём поросло… Здесь никто не живёт.
Но как сильно сердца занозило!
Закипает слеза… Нас несёт вертолёт
Над огромною братской могилой…

И всё-таки именно поэт счастливый человек—с Божьей помощью он сам ткёт полотно своей жизни из подручных снегов, дождей и радуг, безутешного отчаянья и безоглядного счастья, и суровая основа этого полотна—любовь. Не красивая романтичная сказка, которую обещают мечты на заре туманной юности, а светлая, но порой и страшная, беспощадно жестокая истина, которая собирается по крупицам как опыт достойного переживания жизненных трудностей и трагедий, разочарований, предательств и разлук. И чем крепче основа-любовь, тем надёжнее ткань бытия… Об этом прямо говорит сама поэтесса:

И даже если тяжела,
Любима жизнь, а не постыла.
Свободу я пережила
И несвободу полюбила.
Любая радость—за труды,
Любая милость—по заслугам.
Не разлюбила свет звезды.
Но научилась бресть за плугом.
Одёрнет жизнь меня—не сметь!
И вновь надежды всё впустую.
Я не привыкла к слову «смерть»,
Но против смерти не бунтую.
Непросто мудрость мне далась,
И всё же, кто из нас в накладе,
Когда ребёнок, наклонясь,
Листает школьные тетради.
Когда друзья нагрянут в дом,
Когда нахлынет дождь в июле…
Горчит полынь, грохочет гром
И сладки леденцы сосулек…

Мегастихотворение Татьяны Четвериковой—полотно, наполненное светом, щедро и ярко расцвеченное чувствами, и прежде всего оно—о любви: о Родине, о Сибири, о её деревьях, зверях и птицах—полноправных спутниках жизни. О близких и далёких людях, о друзьях и о детях, живущих в этом времени, в этой непростой, но безоглядно

любимой стране. Безусловно, в главном Четверикова — счастливый человек и счастливый поэт: у неё практически нет повседневности. Её быт пронизан музыкой насквозь, жизнь её души переплетена с жизнью природы, её любимый город Омск любим верно и преданно, да и он, хранитель самых светлых и горьких мгновений судьбы, отвечает ей сердечной привязанностью, одно из свидетельств которой — сама эта книга…

Стихи событие за событием проживают жизнь поэтессы. Они очень конкретны в своих действиях: в трагические минуты утверждают правоту выбора и укрепляют уверенность, в наблюдениях — размышляют, в переживаниях — рождают музыку. В этом, наверное, и заключается их главный смысл: вносить свою правку в торопливый текст повседневности, делать его из черновика — чистовиком.

Быт у Четвериковой естественно и закономерно превращается в со-бытие, объединяющее всё живое вокруг простыми и таинственными узами. Но он не теряет при этом и своей реальности, материальности, весомости: оставаясь собой, в музыке приобретает глубину, а во многих сюжетах стихотворений — и символическую значимость, серьёзную или мягко ироничную. Это равно относится и к ключевым моментам жизни, и к вполне житейским мелочам.

…Суров и точен ежедневник,
Вот на стихи он не горазд.
И не заполнена страница,
Где записать хотелось мне:
Попасть под дождь, опять влюбиться
И не проспать звезду в окне…

Уж очень по-русски и по-женски — постоянно уметь видеть в обыденном присутствие высокого и вечного. Вот, например, стихотворение «Купаем чёрного кота…»: здесь мелочи бытового (и даже где-то вполне комического, забавного) события переливаются радугой светлых чувств, как пузырьки мыльной пены. И в итоге юмористическая картинка, где ребёнок радуется, мужчина нервничает, а чёрный кот, вопреки всем законам жанра, становится белым в мыльной пене, и, может быть, именно поэтому норовит вырваться и удрать, — всё это оказывается для женщины, лирической героини, символом полноты жизни, устойчивого в вечном движении миропорядка.

Кот вырывается из рук.
Всё норовит к дверям, к дверям…
Но крепко милый держит лапы,
Хотя и зол, и поцарапан,
И надоело всё к чертям.
Я улыбаюсь…
Дело в том,
Что в шумные минуты эти
Я понимаю: есть на свете
Любимый, сын, и кот, и дом.
Что жизнь трудна, но не пуста,
Что многое ещё свершится.
…Кричит ребёнок.
Милый злится.
Купаем чёрного кота.

Но сквозь призму того же бесхитростного на первый взгляд стихотворения вдруг постигаешь: через сколькие же испытания, через какие глубокие трагедии прошла душа лирической героини, раз она так тонко научилась ценить мирную повседневность, радоваться ей и восхищаться, видеть в ней надежду на будущее… И здесь уже явно просвечивают конкретный характер, судьба, и совершенно по-иному звучат многие стихи книги.

Мне всё труднее и тревожней,
Мне всё больнее оттого,
Что я лишь травка-подорожник
Пути и сердца твоего.
Мелькают дни, приходят сроки,
Раздумий сроки — не мечты.
А я всё травка на пороге,
Которой раны лечишь ты.
Я не скажу тебе: доколе?
Я молчалива, как трава.
Но прорасту в широком поле
И разве буду не права?

Пожалуй, именно характер и судьба составляют главный смысловой стержень «Избранного» Татьяны Четвериковой. Это ключевые понятия книги. От одного лирического сюжета к другому они прорисованы чётко и рельефно: в открытых настежь диалогах и исповедях, в привычных размышлениях и дорогих душе поэтессы пейзажах, в полемическом азарте и молчаливой печали.

Так бывает всегда, когда стихи глубоко прорастают в жизнь, становятся в определённом смысле даже её опорой. И оттого духовный опыт выходит за пределы личного, приобретает иную, общую значимость. Буквально с первых стихотворных строк можно понять, какого дорогого собеседника подарила тебе книга…

Мои глаза полны тайгою:
Листвой, иголками, травою,
Цветами, что цветут без счёта
И в небе синим вертолётом.
Мои глаза полны тайгою:
Зелёной, красной, золотою —
Любою краской, но не серой.
Сейчас глаза наполнят сердце.
И станет сердце — не иначе —
Простым, доверчивым и зрячим…

Поэтическое полотно бесхитростно и достойно рисует характер и судьбу русской женщины — нашей современницы. Она открыта миру, она умеет быть и нежной, и сильной — а когда глубоко вчитываешься, понимаешь, что истинная женская сила нисколько не умаляет истинной нежности, наоборот — делает её ещё более глубокой, беззащитной и ранимой. Лирическая героиня Четвериковой живёт любовью, и (в этом — главное) по большому счёту ей куда важнее любить, чем быть любимой: дарить, отдавать, а не брать. Тут и без объяснений понятно, почему такая любовь обожжена беспощадным веком, как крутым сибирским морозом. Но только смутно и трепетно можно догадываться, почему беды делают её только мудрее и могущественней…

Короткое время—берёзы цветенье.
Как в юности, сердце тоска и смятенье.
Тогда—о грядущем, теперь—о минувшем.
Мы в доме вечернем все лампы потушим.
Мы будем глядеть не на улицу—дальше.
В то давнее время без горя и фальши.
А маленький дождик шуршит, словно ёжик…
Хорошее время зелёных серёжек.
Да жаль, не в одно мы окно наблюдаем
За ранней звездою и поздним трамваем.
Ни голос подать, ни коснуться рукою.
Но соединяет нас время такое,
Когда по России—берёзы цветенье:
Смятенье, восторг, сожаленье, прощенье…

Поэтическое избранное Татьяны Четвериковой традиционно во всех добрых смыслах этого ныне не слишком приветствуемого слова. Традиционно лирическая героиня тождественна автору—и это надёжный залог искренности и достоверности.

Такая боль—до позвонков.
Я вся—сплошной болящий вывих.
Не надо мне твоих звонков
И монологов торопливых.
Я путаю, где сон, где явь,—
У боли нет щадящих правил.
Оставь меня! Оставь! Оставь!
Как ты уже меня оставил…

Традиционен круг тем—а ведь каждая жизнь проходит по этому кругу, но ни одна не повторяет другую, и каждый со своими испытаниями встречается один на один. Именно поэтому, сколько ни изобретай формально-содержательных новшеств, главное, жизненно важное всё равно остаётся неизменным, и к нему неизменно приходится возвращаться.

Только б на улицу, через порог,
Трудно учиться на чьих-то примерах!
Сколько сирени на рынках и скверах,
Май на исходе—последний звонок…
Ложь и предательство—выдумки, бред.
Всё это глупые старые басни.
Жизнь—хороша! И ничуть не опасней,
Чем переход на положенный свет.
Шаг—до люби, до мечты, до звезды.
Девочка спит в страшном мареве мая,
Может быть, к лучшему, не понимая:
Только полшага—до взрослой беды…

Из этого переживания столь же традиционно рождается другое: материнское, учительское, а по сути и судьбе—одно из программных, магистральных:

Время—пырх!—и только видели,
Унеслось за облака.
Не соперничай с учителем,
Воспитай ученика.
Береги его, пока ещё
Не обучен, робок, мал.
Все препятствия по камешку
Разбери, чтоб не упал.
Научи, чтоб не примеривал
Пьедесталов и корон.
Пусть растёт высок, как дерево,
И открыт со всех сторон…

Традиционна музыкальная основа книги—она бесхитростна, потому что стихи очень близки к жизни и вышиваются по её суровой канве, и здесь нет ни грана лукавства. Традиционна речь, просты и понятны её образы—ведь это прямая речь, которая несёт надежду на понимание и ответ, ей ни к чему лишние украшения:

Лето как будто бы на волоске.
Словно недавно и не было мая.
Девочка носит котёнка в платке,
Нежно, как куклу, к груди прижимая.
Травы густы и повсюду цветы.
Только у нас и такое возможно:
Завтра листва полетит, как листы
Давней поэмы о грусти дорожной…

В смутные времена традиция всегда становится залогом сохранения и продолжения жизни, культуры переживания её взлётов и падений, испытаний и даров. Проходя через всё это, человек не просто должен сохранить себя, свою душу—он должен собрать, преумножить её многократно, переплавить в её огне свои страхи и обиды в любовь, понимание и бережение.

К старости люди глохнут и слепнут.
Наверное, Бог или тот, кто отвечает за наши души,
запирает человека изнутри,
чтобы он, не отвлекаясь, послушал и увидел самого себя
и понял, наконец, жизнь, которую прожил…

По счастью, тот, кто дышит воздухом поэзии, изначально открыт «отвечающему за наши души», и у него есть прекрасная возможность «понять жизнь, которую прожил»: собрать свои стихи и сложить из них книгу. Пусть эта книга (снова дань традиции) и поделена условно на временные отрезки, практически соответствующие изменениям в окружающем мире людей, но поэт один, един и целен, как и его судьба. И в ней можно увидеть неизменное, ясное, чистое:

Жизнь моя шумная—юность, младенчество!—
Всё в ней непросто и всё в ней не зря.
…Тихое влажное утро Отечества
И молодое лицо сентября…

И, пожалуй, только у поэта есть полновесная возможность, закрыв собранное и избранное, снова с чистым сердцем сказать:

Мне нравится жить в этой осени мокрой,
Где тополь сорит невесомою охрой,
Где в каждом окне то герань, то фиалки…

И многое ещё свершится.

Марина Саввиных

«Читателя найду в потомстве…»[1]

Записки провинциальной учительницы

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…». Вскоре после открытия в Красноярске Литературного лицея, моего выстраданного детища, появление коего до сих пор считаю чудом и результатом Божьего промысла, у меня состоялся разговор с одним из самых блестящих профессоров Красноярского государственного университета. Профессор рассматривал меня через свои иронические очки — удивлённо и недоверчиво. Девяносто восьмой на дворе… Дефолт и общая неразбериха. На что надеется эта ненормальная? Когда он узнал, что у меня за плечами всего лишь Красноярский педагогический институт, законченный к тому же двадцать лет назад, то и вовсе развеселился: «Что же у тебя образование-то такое… никакое?».

Я не обиделась. Да. Ни я, ни очень многие мои ровесники, среди которых немало достойнейших людей, никогда не связывали напрямую *образование* с принадлежностью к какой-либо учёной касте или, тем более, с вузовским дипломом. Я даже думаю, что даровитому человеку, наделённому любым талантом, — в том числе и математическим или естественнонаучным, — в определённом смысле вредно раннее причащение к научной доктрине. Чем вольнее «разбрасывается» в юности талантливый человек, тем плотнее сконцентрируется вокруг собственной задачи в зрелые годы, тем эффективнее будет сопротивляться рутине и пошлости, идеальным конденсатором которых является, по моему глубочайшему убеждению и по свидетельству тридцатилетнего опыта, *любая* образовательная *система*. Талант системе — внеположен. Она с ним в принципе не справляется, а значит — будет гнобить и выталкивать, пока он так не искривит окружающее пространство, что система поневоле прогнётся под него, втянет в себя, переработает и сделает собственным элементом. И всё начнётся заново… Такое в истории науки повторялось множество раз. А если уж о педагогике говорить, тут и вовсе парадоксальная вещь. Педагогика как «наука», по сути дела, есть совокупность текстов, описывающих феномены, созданные гениальными одиночками. Созданные — в результате личного, героического, исключительного, жертвенного, невозможного, с обывательской точки зрения, творческого прорыва. Так было всегда… Начиная, может быть, с Пифагора. Только на отечественной ниве — Ушинский, Сухомлинский, Макаренко, Шаталов, Амонашвили… Можно ещё вспоминать-перечислять, но мысль и без этого, кажется, ясна: педагогические процессы сродни художественным. Они — не технологизируются. Работа каждого учителя с каждой группой детей — сугубо конкретна, индивидуальна. Поэтому образование учителя — не только по существу есть самообразование (как, по большому счёту, образование вообще), это ещё и «со-образование», «вместе-образование». Постоянное, ежедневное, пожизненное совместное образование с учениками. Образование ещё не существующего, но каждую минуту возникающего мира, поддерживать и развивать который рано или поздно твоим ученикам придётся без тебя. Только такое, с учениками переживаемое «жизнестроительство», я и называю образованием. Всё прочее, претендующее на это название, — конвейер для производства социальных винтиков и к образованию не имеет никакого отношения. Скорее, наоборот.

Когда речь идёт об учителе литературы, всё становится ещё более драматично. Увы! Художественная литература и наука о ней уже давно говорят на разных языках. Что же остаётся школе? Что такое — литература в школе? Сборник анекдотов про писателей? Хрестоматия с комментариями? Реконструкция теоретического процесса, «паразитирующего» на художественной словесности?

В одной из статей о Литературном лицее я когда-то с грустью рассуждала: «Даже самое могучее дарование сохраняется и развивается там, где есть для него воздух, где веет и говорит с молодым автором неповторимый *дух времени*, воплощённый в поддерживающих его и спорящих с ним голосах. Может быть, только одарённость — характеристика одного человека, а гениальность — всегда проявление некоего *мы*, которое с наибольшей полнотой выражает себя в творчестве одного из многих? И чем «объемнее» это *мы* — тем гений ярче и сильнее?

Мучительная болевая точка наших дней — редеющие и мельчающие возможности подлинного культурного общения. Распадаются «связи времён». Мы слишком часто говорим «на разных языках». И что из того, что вечны Пушкин и Шекспир, Данте и Гоголь, если некому воскликнуть — «над вымыслом слезами обольюсь!»?! Связующая сила искусства нуждается в постоянной «подпитке», она выдыхается, если книги без движения стоят на библиотечных полках, не служат своей главной цели — способствовать взаимопониманию людей, поколений, наций, делать человечество целым! Не существует музыки без уха, способного её слышать. Не существует живописи без глаза, способного уловить тончайшую игру

1. Строчка из стихотворения Е. А. Баратынского

цвета. Не существует литературы без читателя, способного беседовать с нею. Талантливые слушатели, зрители, читатели—это и есть мир, в котором расцветает талант художника. Как, впрочем, и дар философа, литературоведа, оратора… Этот мир, как показывает опыт, не возникает сам собой. Изначально—это всегда Школа. Афинская Школа… Платоновская Академия во Флоренции… Царскосельский Лицей в России… В начале школа, а позже—кругами по воде—долгое и широкое культурное влияние.

Хранить и развивать культуру—единая задача. Приобщиться к вечному—и не раствориться в нём, сохранить свой единственный голос. Услышать мир прошлого и настоящего как неумолкающую перекличку голосов и—ощутить себя в этой перекличке необходимой нотой. Это и значит—быть и становиться в культуре, быть и становиться самостоятельной личностью, гражданином отечества, человеком человечества».

И кажется, что всё это уже просто какое-то «общее место»; всё это и так понятно; никому не нужно этого доказывать, никто не станет с этим спорить… Но—нет! До сих пор, наблюдая, как обстоит у нас дело с литературой в среднестатистической общеобразовательной, констатирую: сегодня единственная возможность воплощать такой подход к литературному образованию—организация неких полуальтернативных околошкольных резерваций, вроде нашего лицея. Впрочем, ведь и Царскосельский лицей в его пушкинскую пору, по сути дела, тоже был «резервацией». Для особо одарённых детей. По мысли Сперанского—«всех сословий».

Мои записки—попытка придать некую общедоступную форму тем образам прочитанных на лицейских уроках произведений русской классики, которые возникали в наших бесконечных обсуждениях, горячих спорах и феерических «эвриках». Это не литературоведение в расхожем понимании слова. Вернее—так. Это литературоведение, не столько опирающееся на известные научные традиции, сколько обращающееся к ним по мере надобности в моменты собственного—отчасти стихийного—становления. Оно всё—изнутри. Оно, да простят мне высокоучёные коллеги, в каком-то смысле «изобретение велосипеда». Но в этом «изобретении» и заключена его особая цена. Школьники, почувствовавшие себя командой «изобретателей», глубоко и серьёзно сознают и Авторство Понимания. А уж станут ли они потом филологами, захотят ли «поверить» эту гармонию филологической «алгеброй»—их выбор, их дело. Мне же остаётся только—в качестве медиатора—открыть свой учительский конспект…

Творческий облик Пушкина-лицеиста

1.

Саша Пушкин пишет стихи. Обильно. Впрочем, стихами—в той или иной степени—«балуются» почти все. У некоторых «баловство сие» даже весьма далеко зашло. Вот Кюхельбекер Вильгельм, к примеру… Его громоздкие гекзаметры вызывают у лицеистов невольное почтение и… бесконечные насмешки. Однако и Кюхельбекер, и Дельвиг, и Илличевский—признанные поэты; они, как и Пушкин, стали печататься в солидных журналах, ещё не покинув ученической скамьи.

И всё же так, как Пушкин, стихами не работает никто из лицейских. Ага! Вот и «слово найдено». То самое, что отличает «писания» Пушкина от остальных! Пушкин не просто нечто пишет—он *работает*. Это очень заметно, когда читаешь его ранние сочинения,—одно за другим, в хронологическом порядке. Утверждая это, я вступаю в заведомое противоречие с весьма популярным сегодня мнением Абрама Терца о «бездельничанье», «лени», отвращении ко всякой «обработанности», которые будто бы явились единственным источником пушкинских стихов. Пушкин—изначально двойствен… (тройствен?.. многогранен?..) Сочинял, «лёжа на боку»? Да! Но не только… «Был щедр на безделки…». Конечно! Но не только… «Ревниво сохранял за собой репутацию лентяя, ветреника и повесы, не знакомого с муками творчества…»? Разумеется… Но если бы только так! Пушкинская литературная игра началась столь рано, роли и маски, которыми Пушкин пристально занимается едва ли не с пелёнок, столь многочисленны и столь—по мере узнавания—впечатляют, что, задавшись целью проследить развитие собственно пушкинского «голоса», поневоле вдаёшься в древнюю, как мир, проблему—о соотношении «дара» и «ремесла» в судьбе художника…

В Лицее Пушкиным написано сто тридцать два стихотворения. Сорок дружеских посланий, более тридцати эпиграмм, семнадцать элегий… Кажется, он испробовал весь поэтический инструментарий, доступный тогда более или менее сведущему художнику слова. Но инструмент—лишь вещь, чужая и холодная, пока не созрел, не перерос возможности ремесла соответствующий предмет.

Искушение, подстерегающее любого писателя, заключается в кажущейся самодостаточности «инструмента». До сих пор многие искусствоведы придерживаются старинной идеи, что поэзия будто бы не знает иной цели, кроме демонстрации самой себя. Дескать, не важно, *что* говорит художник, важно—*как* он это делает… Пушкину от младых ногтей такой взгляд на природу художества был, по-видимому, глубоко чужд. Правда, он сам на протяжении всей своей творческой жизни неоднократно заявлял, с презрением отметая всякие попытки дилетантов и невежественных критиков превратить литературу в сборник поучительных примеров: «Цель поэзии—сама поэзия!». Но, думается, на самом деле здесь всё гораздо сложнее.

Мне всегда казалось, что Пушкин (как все гении) с детства чувствовал себя носителем какого-то гигантского, не соизмеримого с человеческой жизнью, смысла, исполнителем рокового задания (недаром же *рок*—одна из фундаментальных фигур его поэтического мира) . Ибо вовсе не готовая форма притягивает к себе «содержание», а—наоборот, содержание, преодолевая сопротивление материала, ищет и, разумеется, не находит, чтобы,

в конце концов, из всего и ничего создать, изобрести адекватную себе форму. «Содержание» и есть духовная задача гения, его насущный предмет… Однако этот необъятный предмет, ищущий «сказания», воплощения, оформления, мог развиваться, «созревать», только вместе с самим Пушкиным, вместе с его обыденным (и—необыденным!) существованием, вместе с его судьбой—со всем набором житейских (и—художественных!) коллизий, перипетий и каверз.

Никто не дал Пушкину орудия, необходимого для исполнения его задачи. Задача же в том, собственно, и состояла, чтобы узнать, во-первых, в чём она состоит; во-вторых, найти её следы в окружающем мире и во всём массиве предшествующей культуры, поскольку задачи такого масштаба человечеством исследуются вечно, и не мы первые пытаемся поднять этот груз, а значит, предшественники оставили нам свой *опыт*; в-третьих, выработать язык, в гибкие и адекватные формы которого необходимо было облечь, отлить—то, что найдено, открыто, понято. Титанический труд!

Саша Пушкин трудится неустанно. Наверное, он сошёл бы с ума (и, прямо скажем, всю жизнь—скрыто и явно—опасался этого!), если бы относился к своему труду с фанатичной серьёзностью графомана. Но талант Пушкина—это признают все приятели-лицеисты,—ярче всего обнаруживается в отчётливом *несовпадении* самого Пушкина, сочинителя, автора, творца, ни с предметом, так или иначе возникающим под его пером, ни с инструментом, которым он пользуется раз от разу всё более уверенно. Пушкин всегда остаётся *больше* собственных стихов; он всегда как бы свысока посматривает на них—то с иронической усмешкой, то со вздохом сострадания, то с возвышенной горечью пророка. Между тем, эту авторскую «позицию» надо было самому найти, а никто помочь в этом молодому художнику не мог, потому что происходит эта «постановка слуха и голоса» не столько от знания и умения, сколько от глубочайшего «позвоночного» чувства—инстинктивного, как способность плавать. Ведь невозможно же научить человека плавать до тех пор, пока в нём не пробудился—задавленный во младенчестве—первобытный плавательный инстинкт! Так и стать автором, творцом, невозможно, пока в тебе не проснулся творческий инстинкт, тот самый, без которого мертво даже самое изощрённое «умение». Чтобы ребёнок поплыл, нужны, по крайней мере, три обстоятельства: достаточное количество воды, необходимость плыть и кто-то рядом, кто не даст утонуть сразу. Чтобы одарённый человек стал Творцом, тоже нужны, как минимум, три вещи: достаточно созревшая культурная среда, к совершенствованию которой он призван, огромное внутреннее чувство долга по отношению к ней, чаще всего и особенно поначалу—бессознательное, и кто-то рядом, хотя бы мало-мальски в этом понимающий… Божий дар, отпущенный Пушкину, исключителен. А во всём остальном… Будем считать, что Пушкину просто очень повезло! Хотя… нет в мире ничего случайного. Мы-то, в начале 21-го века, знаем, что произошло с самим поэтом и с его творениями,—позднее и навсегда.

Но Саша Пушкин ничего об этом не знает. Он пишет стихи.

2.

…наверное, Лицей казался ему «землёй обетованной»—после холодного, бестолкового семейного быта, который отравлял его существование. Тынянов в романе «Пушкин», кажется, передал атмосферу этого дома с исчерпывающей достоверностью.

Саша покидает семью без колебаний и сожаления. Сердце его жаждет другой общности.

Книги… учителя… друзья-однокашники… существа противоположного пола, время от времени попадающие в поле зрения… влетающие в него, как птички в окошко… или как мотыльки в луч света, бросаемый лампой в глубину сумеречного сада…

Поэзия—занятие игривое, провождение досуга. А чем на досуге заняты мысли четырнадцатилетнего мальчишки? Мечты, мечты… Крепостная актриса домашнего театра, на представления которого иногда приглашали лицеистов… Молоденькая горничная фрейлины Валуевой… Наталья, Наташа… Ох, уж эти комнатные девушки, прелестные пастушки-простушки… первые объекты волнующегося воображения всякого дворянского недоросля… Пушкин—не исключение.

Мотивы, столь легкомысленные, даже, может быть—в глазах чопорного (в своей почти узаконенной развратности) осьмнадцатого века!—м-м… не совсем приличные, давно уже обрели на небосклоне европейской поэзии своих признанных певцов. Парни зачитан до дыр… «Русский Парни», Батюшков,—адресат восторженных посланий Пушкина, безусловный кумир. Порхающие «хореи» Батюшкова Пушкиным усвоены так, словно с кислородом воздуха вошли в состав крови:

> Так и мне узнать случилось,
> Что за птица Купидон;
> Сердце страстное пленилось,
> Признаюсь—и я влюблён!

Однако путеводные нити, увлекавшие Пушкина в бесконечные лабиринты творческих странствий, образуют такой причудливый и влекущий узор, переплетаются с такой противоречивой последовательностью, что даже мы, читатели 21 века, взявшие на себя труд перелистать его лицейские тетради, уже через несколько страничек начинаем ощущать веяние загадочного мощного духа, ещё хаотического, но строящегося, кристаллизующегося на наших глазах. Так в мифологиях едва ли не всех народов мира возникает из хаоса космос—всегда под влиянием любовного томления, страстного поиска и обретения противоположности как продолжения и божественного достраивания себя до мирового целого…

Товарищи Пушкина уже в первые годы лицейской жизни поражались его начитанности. Маленькая шутливая поэма «Монах» при всей своей откровенной «фривольности» очерчивает,

между прочим, кругозор поэта-подростка: Вольтер, Вийон, Барков («проклятый Аполлоном, испачкавший простенки кабаков»), Рафаэль, Корреджо, Тициан, Верне, Пуссен, Рубенс, Ньютон, Архимед… поэты, художники, мудрецы… не говоря уже о греческом и латинском Пантеоне, который «переработан» Пушкиным, как собственная книжная полка. И рядом, запросто — имена однокашников: Мартынов, Горчаков… Забавно! Пушкин забавляется, шалит, смеётся, а читатель вдруг ловит себя на том, что всё его существо постепенно охватывает смутная запредельная жуть. Монах, оседлавший чёрта… Тут тебе и доктор Фауст поневоле примысливается… и дерзкие греховодники европейского Возрождения, столь живописно представленные в «Декамероне»… и жизнерадостные чрезмерности Рабле… и так отчётливо брезжут в отроческих грёзах Пушкина — далеко грядущие, даже в замыслах пока не существующие «Вечера на хуторе близ Диканьки», автору которых в ту пору не исполнилось и пяти лет! Как тесно, с какой взаимной необходимостью связаны — в пространстве и времени — казалось бы, отдалённые и разрозненные явления культуры!

Старик, старик, не слушай ты Молока,
Оставь его, оставь Ерусалим.
Лишь ищет бес поддеть святого с бока,
Не связывай ты тесной дружбы с ним.
Но ты меня не слушаешь, Панкратий,
Берёшь седло, берёшь чепрак, узду.
Уж под тобой бодрится чёрт проклятый,
Готовится на адскую езду.
Лети, старик, сев на плечи Молока,
Толкай его и в зад, и под бока,
Лети, спеши в священный град Востока,
Но помни то, что не на лошака
Ты возложил свои почтенны ноги.
Держись, держись всегда прямой дороги,
Ведь в мрачный ад дорога широка.

А это уже «на полном серьёзе»… и, кажется, не монаху Панкратию, а самому себе, четырнадцатилетнему. В знаменитых терцинах 1830-го года Пушкин, много испытавший, зрелый поэт в полном расцвете дара, сам производит подробный и точный анализ своего поэтического младенчества. Он видит и необходимость мечтательного «праздномыслия» для того, чтобы «кумиры» с мраморными циркулями и лирами в руках, с «печатью недвижных дум» на ликах могли наводить на сердце мальчика «сладкий некий страх» и вызывать на его глазах «слёзы вдохновенья», и невозможность выбора между двумя «бесами»:

Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой, женоподобный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал.

Безвестных наслаждений тёмный голод
Меня терзал. Уныние и лень
Меня сковали — тщетно был я молод.

Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый — всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.

Всё сказано. Аполлон, жестокий бог гармонии, меры, космического призвания, недоступной слуху профанов музыки сфер — и Эрот (или, может быть, Вакх — Дионис?), бог страстного влечения, кипения и благоухания живых сил человеческой природы, прекрасной и отвратительной, блаженной и убийственной, чистой и тёмной… Оба кумира владеют существом Пушкина в равной в степени. Выбор между ними невозможен. Но они находятся друг с другом в непримиримой и непрерывной вражде. Пушкин с детства жил в клокочущем жерле этой схватки. Между «мерой» и «морем» (как писала Цветаева), между подвигом и преступлением… Ступая по лезвию бритвы, то и дело соскальзывая в пропасть и воспаряя над нею в область раскалённых облаков Апокалипсиса. С самого детства…

3.

«Безвестных наслаждений тёмный голод…»

Лёгкой кистью набрасывает Пушкин таинственные прелести Натальи… А где-то совсем рядом в волшебном мире его творческого воображения расцветает иная любовь, возбуждаемая и подогреваемая образами Парни… Вот Кольна, Эвлега, Мальвина…

«Любовь — кровь» не просто рифма. Это — сюжет. Идеология. Герой — воин, странник, бард, вспоминающий «дела давно минувших дней». Героиня — любовница, изменница, воительница. Пушкинские ямбы озаряются вспышками молний, оглашаются стуком копий, лязгом мечей, кликами мщения… Последний стон умирающего, в котором слышится имя преступной возлюбленной… Шум ветра, качающего ветви «мрачной ивы»… Плеск волн, разбивающихся о седые скалы… У Пушкина «в работе» предромантический антураж.

Между тем не придуманные, не «вымечтанные», а вполне реальные девушки и молодые женщины желанными гостьями приходят под разными именами в его заколдованный замок, под сводами которого разворачивается дивный благоухающий карнавал! Елена, Хлоя, Дорида, Эльвина, Лила, Лида, Делия… Красавицы нюхают табак («Ах, отчего я не табак…»). Играют на театре («Блажен, кто может роль забыть На сцене с миленькой актрисой…»). Являются поэту в нескромных грёзах («Эльвина, почему в часы глубокой ночи Я не могу тебя с восторгом обнимать…»). Музицируют, поют, танцуют, прельщают, разочаровывают… *элегия* — в качестве сосуда душевного излияния — очень скоро становится Пушкину тесна. Он доводит её очертания до филигранной тонкости, и в тот момент, когда жанровая форма начинает по существу отвечать подлинному переживанию молодого поэта, под его пером возникают

элегии непревзойдённой художественной дерзости — не столько меланхолические, сколько желчные; не столько покорно-созерцательные, сколько заряженные духовной бурей, бунтом против всяческих цепей, в том числе и «амурных». «Одолев» элегию, Пушкин потом не раз использует эту форму для воплощения всевозможных замыслов. Но это — впереди…

А пока начинающий автор — конечно, не без влияния лицейских занятий — полагает перед собой и «аполлоновскую» тему. Чтобы детально исследовать её и найти соответствующее ей поэтическое слово. Поначалу самой удобной формой для такого исследования представляется дружеское *послание*. «К другу стихотворцу», «К Батюшкову», «К Дельвигу», «К Жуковскому», «В альбом Илличевскому»…

> Довольно без тебя поэтов есть и будет;
> Их напечатают — и целый свет забудет…
> ………………………………………….
> Страшися участи бессмысленных певцов,
> Нас убивающих громадою стихов!
> ………………………………………….
> Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
> И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет.
> Хорошие стихи не так легко писать,
> Как Витгенштеину французов побеждать…

Кому — предупреждение? Себе? Стоит ли труда избранный путь? Достоин ли сам ты пути, по которому волею Аполлона движутся его избранники?

> Пусть судит обо мне как хочет целый свет,
> Сердись, кричи, бранись, — а я таки поэт.

Пусть так! Но готов ли ты нести это бесценное бремя? «Поэтов хвалят все, питают лишь журналы; Катится мимо их Фортуны колесо… Их жизнь — ряд горестей; гремяща слава — сон…». И нет ничего на свете, что оправдало бы стремление юноши идти по этой ненадёжной и — в житейском смысле — совершенно бесперспективной стезе!

> Счастлив, кто ко стихам не чувствуя охоты,
> Проводит тихий век без горя, без заботы,
> Своими одами журналы не тягчит
> И над экспромтами недели не сидит!
> Не любит он гулять по высотам Парнаса,
> Не ищет чистых муз, ни резвого Пегаса;
> Его с пером в руке Рамаков не страшит;
> Спокоен, весел он. Арист, он — не пиит.

Но Пушкин-то — «пиит». Это уже слишком очевидно. Настолько очевидно, что однокашник Антон Дельвиг даже воскликнул однажды: «Пушкин! Он и в лесах не укроется. Лира выдаст его громким пением…». «Роковая власть» творческого дара не оставляет Пушкину выбора. Дорога, которой он так хочет и страшится, давно уже выбрала его. Сама.

> Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел…

Меж тем, угрозы и преткновения своей «опасной тропы» Пушкин знает заранее. Над его кудрявой головой кружатся зловещие призраки Тредиаковского и Сумарокова. Особенно Тредиаковский пугает — своею ветхой мощью и незыблемостью:

> Железное перо скрыпит в его перстах
> И тянет за собой гекзаметры сухие,
> Спондеи жёсткие и дактилы тугие.

И ладно бы, если бы только призраки! Благополучно здравствующие «столпы» российской словесности вызывают у молодого поэта не только смех и отвращение, но и вполне «злободневную» тревогу.

> Унылых тройка есть певцов —
> Шихматов, Шаховской, Шишков…

«Шаховской никогда не хотел учиться своему искусству и стал посредственный стихотворец. Шаховской не имеет большого вкуса, он худой писатель…» — рассуждает Пушкин в дневнике пятнадцатого года. И этот посредственный стихотворец вместе с другими «варягами», учредителями и участниками «Беседы любителей русского слова», осмеливается публично третировать Карамзина и Жуковского, сочинять отвратительные пародии на Ломоносова… Пушкин влюблялся безоговорочно и страстно, эта особенность распространялась в том числе и на произведения мастеров, когда-либо поразившие его воображение. Никто не смел при нём критиковать Баратынского, задевать достоинство Батюшкова… Однако к любым проявлениям художественной бестактности, серости и расхлябанности он уже в Лицее беспощаден. Невзирая на лица. Чтобы в этом убедиться, достаточно пробежать глазами вереницу смертельно ядовитых эпиграмм, сочинённых им на товарищей и педагогов, друзей и недругов. Пушкин рано узнал цену поэтическому искусству — игре и труду, забаве и «священной жертве», занятию лёгкому, радостному и в то же время непомерному, сверх сил человеческих назначенному, каторжному… Учителя Кошанского он просит не принимать всерьёз «вакхических посланий» и «ветреных стихов». К Жуковскому обращается за благословением в самых возвышенных и патетических тонах.

Может быть, впервые в истории российской словесности воинский подвиг именно у юного Пушкина становится метафорой подвига поэтического — «Летите на врагов: и Феб, и музы с вами; Разите варваров кровавыми стихами…».

> И что ж? всегда смешным останется смешное;
> Невежду пестует невежество слепое.
> Оно сокрыло их во мрачный свой приют;
> Там прозу и стихи отважно все куют,
> Там все враги наук, все глухи — лишь не немы,
> Те слогом Никона печатают поэмы,
> Одни славянских од громады громоздят,
> Другие в бешеных трагедиях хрипят…

И этих-то «варягов строй» намеревается до второго пришествия предписывать публике правила высокого вкуса! Их «ласкает» двор, они — ценители словесности и законодатели литературной моды. Им — награды, венки, восторги… А если — не дай Бог — настигнет кого-то из них меткая эпиграмма:

Все, руку положив на том «Тилемахиды»,
Клянутся отомстить сотрудников обиды,
Волнуясь, восстают неистовой толпой.

«Худой писатель»… В лексиконе Пушкина нет более жёсткого приговора для пишущего человека. Преступления, достойные самой лютой казни: невежество, оскорбление вкуса, безграмотность! Но зато любимые поэты, друзья, учителя, «парнасские жрецы, природой и трудом воспитанны певцы в счастливой ереси и вкуса, и ученья», «отмстители гения», «друзья истины», возведены Пушкиным на недосягаемый пьедестал! Дмитриев, Карамзин, Державин, Ломоносов, Жуковский… Предшественники, у которых, смиренно склонив голову, юный художник просит благословения. Чтобы легко—ни разу не опустившись до прямого подражания—повторить их и… с грациозной небрежностью превзойти.

4.

Куницын—особенно чтим. Общение с ним подвигло Пушкина к размышлениям философского и нравственного порядка. Под влиянием прогрессивного профессора Саша начал было даже философский роман в духе Вольтера и пьесу под названием «Философ». Правда, быстро разочаровался в этом начинании, бросил его и никогда к нему не возвращался. Философия в виде отвлечённого умствования оказалась ему скучна.

Он по природе—не теоретик, а жадный «практик», искатель и исследователь жизни… Поэтому, из всех философских школ лицеисту Пушкину, видимо, ближе всего эпикуреизм с его утверждением свободы, радости и мудрости как основополагающих принципов бытия. Отсюда—пушкинская анакреонтика, детальная разработка метафор воды и вина, дружеского пира и вообще—«вакхического» времяпровождения. Просветительская идея Разума и эпикурейское прославление Радости образуют в лицейских сочинениях Пушкина неожиданный и тонкий сплав. И уже не «заколдованный замок», где среди непрерывного маскарада мелькают таинственные гостьи, а «тёмный уголок» сада с деревянным столом под скромной скатертью или уютный трактир, в котором собираются «пирующие студенты», становятся излюбленной пространственной формой юношеских фантазий нашего поэта. Желанный завсегдатай этих мест—лицейский учитель Галич. «Верный друг бокала и жирных утренних пиров», «мудрец ленивый», «любовник наслажденья», в глазах Пушкина Галич, тем не менее,—образец благородства (в отличие от пресловутой дворянской спеси) и разума (в отличие от тупой «учёной» рассудочности):

Нет, добрый Галич мой,
Поклону ты не сроден.
Друг мудрости прямой
Правдив и благороден;
Он любит тишину;
Судьбе своей послушный,
На барскую казну
Взирает равнодушно,
Рублям откупщика
Смеясь весёлым часом,
Не снимет колпака
Философ пред Мидасом…

Так что, скорее всего, не Вольтера, а Галича надо бы считать «философским отцом» Пушкина.

Однако шестнадцатилетнему поэту знакомы и другие, неизмеримо более масштабные, координаты созерцания и мысли. В сфере, очерченной этими координатами, действуют иные силы, иные герои…

Властелин, гений, представитель Бога на земле… Царь. Ибо «всякая власть—от Бога». Бог—это и есть Естественный Порядок Вещей. Его Закон—это и есть Естественное право. И только художник располагает возможностью (а значит—обязанностью) воссоздать мир в его Божественной перспективе.

На берегу пустынных волн
Стоял Он, дум великих полн,
И вдаль глядел…

Это написано годы и годы спустя. Но образ найден ещё в Лицее. «На берегу пустынных волн» мрачным разрушительным думам предаётся Наполеон:

Вокруг меня всё мёртвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море чёлн,
Ни гладный зверь не взвоет над могилой—
Я здесь один, мятежной думы полн…

(«Наполеон на Эльбе», 1815 г.)

«Окружён волнами Над твёрдой мшистою скалой Вознёсся памятник…»—румянцевский обелиск Царскосельского сада, символ победоносного самодержавия.(«Воспоминания в Царском Селе»).

Держава—знак порядка и защиты, образ мира—«возлюбленной тишины». Художественную разработку идей Власти и Справедливости, Закона и Свободы Пушкин начинает с обращения к опыту Ломоносова, к знаменитым одам. «Воспоминания в Царском Селе» и ода «Александру» насыщены ломоносовским космизмом и всей своей архитектоникой строят апофеоз просвещённой монархии, всеобщего мира под сенью разума и порядка. «Росс… несёт врагу не гибель, но спасенье И благотворный мир земле». Таково божественное предназначение российского оружия. Такова внешнеполитическая задача российского самодержавия.

Ты наш, о русский царь! Оставь же шлем стальной,
И грозный меч войны, и щит—ограду нашу;
Излей пред Янусом священну мира чашу,
И, брани сокрушив могущею рукой,
Вселенну осени желанной тишиной!..
И придут времена спокойствия златые…

Два героя-властелина отчётливо противопоставлены в поэтическом мироздании Пушкина-лицеиста: «самовластительный злодей», «в могущей дерзости венчанный исполин», супостат и трагический изгнанник Наполеон—против освободителя Европы, храброго и доброго русского царя Александра. Один—дерзкий святотатец, покусившийся на священные основы трона;

другой—законный исполнитель Божьей воли. Симпатии Пушкина—целиком на стороне второго.

Хотя… Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не чувствовал под этим шатким равновесием живую бездну неясностей и несоответствий. Наполеон не только ненавистен, но и привлекателен. Александр не только обожаем, но и подозрителен. Проблема Власти и Законности волнует Пушкина так сильно, что он решается подступиться к ней со стороны римской истории («Лицинию»). Это чрезвычайно показательная «рамка». Римская империя рухнула под собственной тяжестью—тогда, когда оказалась развращена и лишена законных оснований государственная власть. Римское право—венец свободы и закона—превратилось в инструмент порабощения, в ярмо, при помощи которого развратный двор держит в узде и слабый сенат, и некогда гордых квиритов. Рим стал гнездом мерзости и позора. К чему же призывает собеседника, свободолюбца и народного трибуна Лициния, начинающий русский поэт? Покинуть Рим, дабы не участвовать во зле; уединиться в деревенской глуши—и дать волю оскорблённому чувству в обличительных сочинениях…

Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
Во мне не дремлет дух великого народа.
Лициний, поспешим далеко от забот,
Безумных мудрецов, обманчивых красот!
Завистливой судьбы в душе презрев удары,
В деревню пренесем отеческие лары!
В прохладе древних рощ, на берегу морском,
Найти нетрудно нам укромный, светлый дом,
Где, больше не страшась народного волненья,
Под старость отдохнём в глуши уединенья,
И там, расположась в уютном уголке,
При дубе пламенном, возженном в камельке,
Воспомнив старину за дедовским фиалом,
Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.

Рим обречён. Уж близок час, когда варвары со всех сторон «хлынут на него кипящею рекой», и великий город «покроет мрак глубокий».

Может быть, только Бог вправе распоряжаться судьбой государств и народов? И цель мудреца, мыслителя, поэта—быть свидетелем, а не судьёй и, тем более, не палачом? Призраки бунтарей, разрушителей, всевозможных «террористов» не дают Пушкину покоя.

Он ищет собственный путь в океане политических страстей, он сам—«на берегу пустынных волн», то тихо плещущих о камень, то бушующих и сметающих империи с лица земли.

Ода «Вольность», написанная вскоре после окончания Лицея, словно линза, собрала лучи нравственно-политических (а заодно и эстетических) идей, до этого занимавших Пушкина как минимум два года. В центре—образ тирана, развращённого, беззаконного, неправедного. Только такая власть (Пушкин пишет Власть, Закон, Слава, Гений, Судьба—с заглавной буквы!) толкает (именно—толкает, провоцирует) неправедное же злодейство на преступления и бесчинства.

Владыки! вам венец и трон
Даёт Закон, а не природа;
Стоит выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где *иль народу, иль царям*
Законом властвовать возможно!

Ни народ, ни царь не являются источником Закона. Только Бог! И если царь отвергает Бога, преступная секира рано или поздно—на самодержца же падёт!

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надёжную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Вот так ода! Да это скорей сатира! Или—поучение… Кто-то из старших приятелей нашёл оду «недурной, но не превосходной». И—правда, просвещённому современнику трудно было назвать стихотворение новаторским. В нём ещё слишком ощутима русская классицистическая тональность, но всё это, как ветром, подхвачено сдержанным, но страстным порывом, как бы создающим для этой музыки новый контрапункт… Впрочем, так и есть: ода проходит в рукописях Пушкина тот же путь развития, пародирования и изживания, что и элегия. Незаметно повторив Ломоносова и Державина, Пушкин преодолевает их влияние и оставляет в своём арсенале оду как особого свойства «магический кристалл», как чистую форму, для того чтобы использовать её исключительные черты—по мере необходимости. Когда придёт время.

5.

…Он затевает опасный эксперимент с судьбой, создавая, испытывая и губя собственные отражения. Ни один опыт не показал для испытуемого благоприятного исхода.

Вот Пушкин «Моего портрета»—«сущий бес в проказах, сущая обезьяна лицом, много, слишком много ветрености…», «я люблю свет и его шум, уединение я ненавижу»…

Но уже в стихотворениях пятнадцатого года читатель находит нечто прямо противоположное. Это новое alter ego—«мечтатель юный», воспевающий тишину и благодатное одиночество. Тайная тоска сжимает его сердце; неясные предчувствия любви (той, которая рифмуется с «кровью»), короткого счастья, воинской славы—не увлекают, а пугают!

Всё чаще странные пророческие сны посещают поэта. Сон и Смерть становятся и персонажами его стихов, и мирами, в которые погружается его лирический двойник.

И, как это всегда бывает у Пушкина, затасканный к этому времени сентиментальный антураж вдруг озаряется каким-то неожиданным светом. «Юноша-мудрец, питомец муз и Аполлона»…

«не делал доброго, однако ж был душою, ей-богу, добрый человек»…

Саша старается играть по правилам. К окончанию Лицея он знает «правила» до мелочей. И умеет играть, как настоящий виртуоз. Но иногда под маской, старательно раскрашенной для игры по правилам, мелькает его, пушкинская, усмешка, печальная и дерзкая в одно и то же время, и его, пушкинский, взгляд—внимательный взгляд философа и живописца…

Мне видится моё селенье,
Моё Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено…
……………………………….
Но вот уж полдень. В светлой зале
Весельем круглый стол накрыт;
Хлеб-соль на чистом покрывале,
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит.
(«Послание к Юдину», 1815 г.)

Ода, элегия, послание, баллада, идиллия, сатира, эпиграмма, даже некие начатки повествования, то ли сказочного, то ли романного,—в четырёхстопных ямбах… всё испробовано, всё исчерпано. Что дальше?

Военное поприще, гражданская служба… Офицер или чиновник? Эх, если бы стать гусаром! Но—отец не в состоянии обеспечить Пушкину экипировку… Другие военные поприща Сашу не влекут. Значит, «гражданка»… Лицей вот-вот останется позади.

А дальше? Что—дальше?

К восемнадцати годам Пушкин—искушён в своём искусстве и… болезненно разочарован в нём. Жизнь видится ему в самом мрачном свете… Не потому, что он, наконец, романтиков начитался, а потому что… беден? не видит себе достойного поприща? не верит в счастливую любовь? Стихи последнего лицейского года полны горьких предчувствий, и это вовсе не привычная лирическая поза, а следствие подлинных переживаний молодого человека, стоящего на перекрёстке жизненных дорог. Накануне выпуска Пушкин пишет Горчакову:

Мой милый друг, мы входим в новый свет;
Но там удел назначен нам не равный,
И розно наш оставим в жизни след.
Тебе рукой Фортуны своенравной
Указан путь и счастливый, и славный,-
Моя стезя печальна и темна;
И нежная краса тебе дана,
И нравиться блестящий дар природы…
……………………………….
А мой удел… но пасмурным туманом
Зачем же мне грядущее скрывать?
Увы! Нельзя мне вечным жить обманом
И счастья тень, забывшись, обнимать.
Вся жизнь моя—печальный мрак ненастья.
Две-три весны, младенцем, может быть,
Я счастлив был, не понимая счастья…
……………………………….
Я слёзы лью, я трачу век напрасно,
Мучительным желанием горя.
Твоя заря—заря весны прекрасной;
Моя ж, мой друг,—осенняя заря.
……………………………….
Душа полна невольной, грустной думой;
Мне кажется: на жизненном пиру
Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый,
Явлюсь на час—и одинок умру.
……………………………….
Ужель моя пройдёт пустынно младость?
Иль мне чужда счастливая любовь?
Ужель умру, не ведая, что радость?
Зачем же жизнь дана мне от богов?
Чего мне ждать?..

Падает занавес первого действия. Северный ветер треплет его светлые кудри… Смуглый отрок готовится в дальний путь. Дорога—открыта. Век земной—отмерен. Слава—бессмертна. Счастия он так и не найдёт…

«Певец неведомый, но милый»,[2]
или поднял ли Лермонтов «знамя» Пушкина?

Его страдальческая тень
Быть может, унесла с собою
Святую тайну…
Пушкин

Сравнение Пушкина и Лермонтова давно вошло в привычку. Два великих русских поэта были современниками, принадлежали к одной и той же культурной среде, придерживались очень похожих социально-философских воззрений… тем не менее в их творчестве исследователи прежде всего обнаруживают контраст. Начало этому взгляду положил ещё Белинский, увидевший в Пушкине—объективность, а в Лермонтове—субъективность. Более поздняя филологическая традиция приписывает Пушкину—созерцательность, Лермонтову—действенность. Мережковский, как известно, называл Пушкина—дневным светилом русской поэзии, а Лермонтова—ночным. Розанов пишет: «Пушкину и в тюрьме было бы хорошо, Лермонтову и в раю было бы скверно»… И так далее, и так далее. Всякий раз исследователи обнаруживают контраст, углубляющий пропасть между великими достижениями «пророка» и «демона» русской поэзии.

Но… действительно ли эта пропасть так безнадёжно глубока? Нет ли таких тем, в которых проявилась бы преемственность младшего гения по отношению к старшему? В которых ощущалось бы «знамя», которое юный Лермонтов принял из рук умирающего Пушкина?

К поиску идейно-художественных «соответствий» меня подвиг удивительный параллелизм двух широко известных стихотворений—оды Пушкина «Вольность» и элегии Лермонтова «Смерть поэта». Оба стихотворения написаны их авторами в самом начале творческого пути, именно они принесли молодым поэтам первую

2. Написано в соавторстве с ученицей 9 класса Красноярской гимназии «Универс» Зоей Боровских.

громкую славу и первую царскую немилость, увенчавшуюся высылкой в «места, не столь отдалённые»… по тем временам, на Юг, в самый эпицентр межнационального и гражданского вулканизма. Создаётся даже впечатление, что Лермонтов *сознательно* повторил дерзкий и рискованный ход своего кумира: подставил голову под топор палача… только, как и в случае с Пушкиным, поначалу этот топор лишь нежно свистнул над его гордой макушкой. Оба поэта именно в этих стихах — по литературоведческому канону, «вольнолюбивых», — «бросили вызов» той силе, которая, в конце концов, и того, и другого сгубила. Но что это за «вызов»? Вернее, можно ли считать, разумеется, отвлекаясь от подробностей, что это *один и тот же* «вызов»? такой, за которым последовало — исторически очевидное — *одно и то же воздаяние?*

О том, как создавалась пушкинская «Вольность», известно, благодаря опубликованным ещё в позапрошлом веке воспоминаниям приятелей Пушкина Н. И. Тургенева и Ф. Ф. Вигеля. В доме будущих декабристов Н. И. и С. И. Тургеневых, начиная с 1817 года, когда Пушкин, только что закончивший Царскосельский лицей, приехал в Петербург к месту службы, молодой поэт бывал частенько. Дом расположен на Фонтанке, как пишет Вигель, «прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный…». К старшему, Николаю, приходили «высокоумные молодые вольнодумцы», и Пушкин нашёл здесь общество, в котором чувствовал себя, как рыба в воде. Именно влиянием завсегдатаев тургеневского кружка объясняются патетические порывы восемнадцатилетнего Пушкина. Кто-то из них и «подстрекнул» его написать стихи на «Михайловский замок». Говорят, они явились молниеносно: Пушкин вскочил на стол, стоявший перед окном, растянулся на нём и стал писать, чему-то своему смеясь.

Однако, что касается «крамолы», якобы, «ковавшейся» в доме Тургеневых, то даже если она и имела место, то отличалась, по признанию позднейших исследователей, умеренностью и сдержанностью в отношении государственной власти вообще и российского самодержавия в частности. Разговоры, в которых участвовал Пушкин, касались, прежде всего, идей, содержавшихся в книге Н.Тургенева «Опыт теории налогов»: необходимости освобождения крестьян и обретения конституционных свобод, — и в письмах младшего Тургенева, Сергея, жившего тогда за границей. Оба Тургенева были категорически чужды революционного максимализма. Путь медленных реформ, ведущих к Конституции, — вот программа-максимум, которую они проектировали. Тем не менее, это была оппозиция существующему порядку, а значит, — дерзость.

Несмотря на юный возраст, Пушкин вполне готов был к участию в таких разговорах. Его отношение к проблемам власти и гражданского порядка сформировалось под влиянием прогрессивного лицейского профессора А. И. Куницына, что, в свою очередь, придерживался теории естественного права Монтескьё, из которой следует, что лишь принцип равенства всех граждан перед законом является гарантией против деспотизма. Знакомство с Николаем Тургеневым стало следующей ступенью в развитии общественно-политических взглядов Пушкина, которые развёрнуто — и, пожалуй, даже на тот момент исчерпывающе, — выразились в оде «Вольность».

Жанровую природу стихотворения определил сам автор. В рукописи оно обозначено, как «ода». «Вольность» и своей жанровой принадлежностью, и образным строем, и стилистикой — с первых же строф заставляла просвещённого читателя обратиться к своду нравственно-политических и философских од только что канувшего в вечность 18-го века. Ломоносов, Радищев… это общеизвестно! Можно вспомнить ещё Пнина, Ленкевича, Родзянко… В восемнадцатом веке оду понимали как философский политический трактат в стихотворной форме; в одических стихах выражалась определённая социальная программа. Пушкин уже в лицейские годы наработал немалый опыт сочинения подобных стихов. «Лицинию», «Воспоминания в Царском Селе», «Александру». Эти стихотворения при всей своей нацеленности на историко-философские рассуждения полны животрепещущих эмоций, патетики, риторической приподнятости, в них постепенно изживается старая «одическая тяжеловесность», возникает не свойственный прежним одам динамизм сюжета и романтическая страстность… Таким образом, нетрудно заметить, что ода «Вольность» выполнена молодым художником в уже привычной стилевой гамме, которую несложно соотнести… ну, хотя бы с одой Рылеева «Гражданское мужество».

Теперь о лермонтовской «Смерти поэта». 29 января 1837 года в Петербурге скончался Пушкин. Ираклий Андроников пишет о всенародной скорби и негодовании, которые были вызваны его гибелью: «…возле дома поэта в общей сложности перебывало в эти дни около пятидесяти тысяч человек. Принимая во внимание численность тогдашнего населения столицы, нетрудно представить себе впечатление, какое произвели на правительство Николая I эти десятки тысяч — чиновников, офицеров, студентов, учеников, купцов, людей в нагольных тулупах и даже в лохмотьях. Такого в Петербурге ещё не бывало. Напротив Зимнего дворца стояли на этот раз не войска, выведенные на площадь восставшими офицерами, а оскорблённый и возбуждённый народ. В толпе слышатся злоба и угрозы по адресу Дантеса и Геккерна. Раздаются голоса, что во время перевоза тела в Исаакиевский собор почитатели Пушкина отпрягут лошадей в колеснице и повезут её на себе… Эти проявления горя и гнева кажутся «странными» не только царским агентам, но и даже иностранным послам…». Шеф жандармов Бенкендорф уверен: это действует тайное общество! Над друзьями Пушкина сгущается грозовая туча. Все они ведут себя в этой ситуации крайне

сдержанно и осторожно. В письмах Вяземского, Жуковского, Тургенева—горечь, отчаяние, боль… но о причинах смерти Пушкина никто из них не говорит, вернее, так: не говорит полной истины!

«Полную истину,—пишет далее И.Андроников,—во всеуслышание объявил человек, не принадлежавший к числу друзей Пушкина и даже лично с ним не знакомый. Это Михаил Лермонтов, 22 летний поэт, в ту пору ещё никому не известный, вдохновенный ученик Пушкина, который относится к нему с благоговением и больше всего на свете любит «Евгения Онегина».

Лермонтов «на ты» с сотрудниками пушкинского «Современника», он встречался с Дантесом в компании молодых кавалергардов… он хорошо знал, каково окружение этого любимца придворной знати. Стихотворение «Смерть поэта», 29 января уже фактически готовое, опиралось на факты, известные Лермонтову.

Стихи «на смерть», так же, как и оды «на свободу», уже тогда не были в России новостью, хотя именно стихотворение Лермонтова вызвало волну подражаний и положило начало всевозможным посмертным «венкам». До 1837 года «стихи на смерть» создавались или в элегически-философском, или в пародийно-ироническом ключе. Мучительные размышления о жизни и смерти, связанные с потерей близкого человека, находим, например, в известной элегии В. И. Майкова «На смерть Ф. Г. Волкова», или в державинском стихотворении «На смерть князя Мещерского» («где стол был яств, там гроб стоит»). Смысл этих произведений развивается в нескольких направлениях: неизбежность смерти и разрушения человеческого тела, вместилища души; обращение к ушедшему другу; подчёркивание равенства перед смертью всех людей—от владыки до последнего раба; обращение поэта к собственной судьбе—то же самое ждёт и меня. Такие «стихи на смерть» если и содержат социальный пафос, то это пафос равенства всех перед неизбежностью, столь свойственный сентименталистской эстетике, в русле которой и движется элегическая линия русской поэзии конца 18 века.

Однако к первой трети века 19-го русская элегия обогатилась новыми веяниями—она окрасилась вольнолюбивыми интонациями, которые идут, видимо, всё от той же радищевской традиции. «Стихи на смерть» стали появляться в связи с мученической, жертвенной смертью. В них стали фигурировать убийца и убитый. Одическое возвеличивание одного соединялось с проклятиями в адрес другого. Элегические мотивы переплелись с одическими и сатирическими. Таковы, например, элегии Кюхельбекера «Тень Рылеева», «На смерть Чернова», «Участь поэтов», «Тени Пушкина». Все эти стихи (за исключением «Тени Пушкина») написаны раньше «Смерти поэта». В них с редкой последовательностью развивается образ поэта-жертвы, поэта-мученика. Кюхельбекер с романтической взволнованностью указует читателю на «кровавый блеск венца, который на чело певца кладёт рука камен…», сравнивает поэта с пророком:

Пророков гонит чёрная судьба;
Их стерегут свирепые печали;
Они влачат по мукам дни свои,
И в их сердца впиваются змии.

(Как отличается этот образ от пушкинского Пророка!)

В «Участи поэтов» противопоставлены бессмертие замученных певцов и вечный позор их гонителей в памяти потомков. Гонители эти—«сонм глупцов бездушных и счастливых», «презренная толпа», повинная в страданиях и гибели поэта. Здесь же—напоминание о суде времён, который всё расставит по местам!

Потомство вспомнит их бессмертную обиду
И призовёт на прах их Немезиду!

Стихотворение написано в 1823 году, за 14 лет до «Смерти поэта». В других стихах Кюхельбекера находим то же противопоставление. О жертве—«брат наших сердец; герой, столь рано охладелый… праведный венец… чести залог… («На смерть Чернова», 1825); «певец, поклонник пламенной свободы, в вольных думах счастия искал, пламенел к отчизне чистою любовью… («Тень Рылеева», 1827); «товарищ вдохновенный… прах священный… шорох благозвучных крыл твоих волшебных песнопений» («Тени Пушкина», май 1837). О толпе—«временщики, царя трепещущие рабы, питомцы пришлецов презренных, семей надменных… говорят не русским языком… святую ненавидят Русь… любимцы счастья («На смерть Чернова»); «визги жёлтой клеветы глупцов, которые марали, как был ты жив, твои черты… стыд и срам их подлая любовь». («Тени Пушкина»).

Под пером Кюхельбекера—задолго до трагедии 1837 года—возникает образ любимца светской черни, не знающего границ вседозволенности, задевающего честь женщины и бестрепетно убивающего её заступника. Были ли эти стихи знакомы Лермонтову? Скорее всего, нет. Но стиль и образы элегической поэзии нового—обличительного—образца, конечно же, особенно в начале пути, не могли на него не воздействовать.

Итожу предварительные рассуждения. К моменту создания «Смерти поэта» русская поэзия уже имела на вооружении и философски-дидактически-сатирически-элегическую оду, и патетически-одически-сатирическую элегию. И та, и другая насквозь проникнуты вольнолюбивым пафосом и апеллируют к идее высшей справедливости.

Именно запах вольнолюбивой дерзости—с её страстным утверждением подлинного божества в лице поэта и столь же страстным обличением и уничижением «стоящих у трона»—вызвали на первых порах сдержанное неудовольствие царствующих особ, когда они—сначала Александр, потом Николай—прочли оду Пушкина и элегию Лермонтова.

Попробуем теперь провести более глубокое сравнение той и другой, опираясь на сопоставимые группы образов.

Жертвы и злодеи. «Сюжетный каркас» оды «Вольность» опирается на образы убийц и убиенных. Открывает траурную процессию жертв поэт, о личности которого пушкиноведы спорят до сих пор, чаще всего настаивая на имени Андре Шенье, погибшего в 1794 году под ножом революционной гильотины. Пушкин называет его «возвышенным галлом», заявляет о своём намерении идти «по его следу». Затем — после темпераментного монолога о «гибельном позоре законов» и предостережения «владыкам» — на сцену выступает «мученик ошибок славных», Людовик XVI, «за предков в шуме бурь недавных сложивший царскую главу»… третий «убиенный» — «увенчанный злодей», русский Калигула — Павел Первый. Казнённый поэт, казнённый король, убитый император… Что побудило Пушкина поставить их в один ряд?

Кто такой Шенье? Почему именно его «след» вдохновляет Пушкина на смелые гимны? Сын богатого французского коммерсанта. Поэт, публицист, журналист… К началу Великой французской революции ему — 27 лет. Сторонник и провозвестник либеральных идей, сначала он поддерживает революционные перемены, но уже в 1790 году становится активным противником захлестнувшего Францию беззакония. Шенье, как впоследствии и Пушкин, не менее, чем самодержавной тирании, опасается тирании толпы и возглавляющих её демагогов. Его разоблачающее перо, его голос, полный иронии и даже сарказма, воспринимаются, как дерзкий вызов установившемуся «порядку». В 1792 году Шенье попадает под подозрение вождей якобинской Республики. Он вынужден скрываться. Тем не менее, когда ему становится известно о суде над королём, который начался в декабре 1792 года, Шенье публикует статьи, в которых доказывает юридическую несостоятельность действий Конвента. Несмотря на то, что возвращение в Париж при сложившихся обстоятельствах для него было смерти подобно, он летом 1794 года появился в столице. Его тут же схватили, арестовали и осудили. Казнь была совершена за два дня до падения диктатуры Робеспьера.

Для Пушкина Шенье — один из самых чтимых героев бурной истории предшествующего века. В 1825 году, за полгода до событий на Сенатской площади, он написал пространную элегию, посвящённую гибели французского поэта. Верность высшему нравственному долгу — как Божественному Закону, открытому сердцу его страстного адепта — Поэта — вот что восхищало Пушкина в Шенье. Итак, список жертв он открывает персоной, с которой поэтически отождествляется. Пушкинский «возвышенный галл» — образ неподкупного певца, над которым не властны «ни цари, ни народы».

Людовик XVI — следующая жертва. Подробности о казни королевской семьи Пушкин мог знать из книги знаменитой французской писательницы Жермен де Сталь. Строки о гибели Людовика, которого поэт призывает в свидетели «неправедности» беспощадной власти народа, прямо соотносятся с мнением де Сталь. Известная исследовательница русско-французских культурных связей, профессор Л. И. Вольперт, излагает это мнение следующим образом: «Одно из самых мрачных проявлений политического деспотизма, на взгляд де Сталь, — судебные процессы над Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой. По мнению де Сталь, Людовик XVI, обладавший многими достоинствами, редкой для Бурбонов нравственностью, созвавший после почти 200-летнего перерыва Генеральные Штаты (он во многом пошёл на уступки Учредительному собранию), ни в коем случае не заслуживал казни. Для де Сталь принципиально сопоставление его с английским королём Карлом I. В конце жизни она посвятит этому сопоставлению главу в Révolution. Английский король, по её мнению, был истинным тираном, мстительным, жестоким, не созывавшим двенадцать лет Парламент (в отличие от Франции, где он созывался регулярно), не признавшим права судившего его Трибунала. Но при этом Карл I, как она считает, был человеком решительным, волевым, сильного характера, сумевшим возглавить армию. Крупной личности, монархическому злодею подобает всенародный суд, публичная казнь на площади. Как видим, де Сталь не отвергает любую революцию, казнящую короля. В *английской* она находит немало правоты, что ей не мешает воспринимать Кромвеля как деспота. Она помещает его в один ряд с Карлом I, Ришелье, Робеспьером и Наполеоном. Людовик XVI же, по её мнению, был слабохарактерным, нерешительным человеком, попавшим в исключительно сложную ситуацию. Поэтому, считает де Сталь, он вполне заслуживал снисхождения (по крайней мере, как предлагал Кондорсе, любого наказания, кроме казни). «Осуждение Людовика, — пишет де Сталь, — до того смутило все сердца, что на долгое время революция казалась проклятой».

Следовательно, по мысли Пушкина, Людовик — жертва не подвижническая, не героическая, но от этого не менее невинная, не заслужившая столь тяжкого наказания.

Зловещей тенью Павла Первого завершается градация образов оды «Вольность». Вот уж кто, по мнению современников и соотечественников поэта, в полной мере заслужил кары Господней. Пушкин не случайно называет его Калигулой. Ещё в лицейском послании «Лицинию» он исследует силы, изнутри разрушающие даже традиционное гражданское общество. Это нравственное разложение власти. Вместо республики — деспотизм императоров, который неизбежно приводит к появлению таких мрачных фигур, как Калигула, развратник, безумец, убийца, в конце концов, погибший от рук своих же приспешников.

Три жертвы беззакония… почему Пушкин уравнивает их? Потому что «преступная секира», раз поднявшись, будет падать, не щадя ни правых, ни виноватых, пока горы трупов, в конце концов, поневоле её не остановят. Вот о чём предупреждает молодой Пушкин «тиранов мира», и прежде всего, конечно, Александра!

Облик «убийцы» в оде не персонифицирован, но достаточно живописен: «кровавая плаха вероломства», «преступная секира», «злодейская

порфира»… а Наполеону, узурпатору и палачу, Пушкин бросает поистине ужасающее проклятие:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу!
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
*(намёк на отмщение в веках,
на суд потомков!)*
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрёк ты Богу на земле.

Убийцы Павла — «в лентах и звёздах, вином и злобой упоенны… на лицах дерзость, в сердце — страх… как звери, вторглись… бесславные удары…».В сущности, и революционная диктатура с её «кровавой плахой», и «самовластительный злодей» Наполеон, и «янычары», убившие Павла,— проявления одной и той же разрушительной силы, удержать которую в узде может только Высший Закон — закон вечный, не зависящий от земной власти, будь то династические установления или демократические права и свободы.

Посмотрим теперь, как оппозиция «жертвы-злодеи» разрешается в образах лермонтовской «Смерти поэта». Жертва здесь одна — Поэт, который с потрясшей моё воображение точностью повторяет черты героя элегий Кюхельбекера. У Кюхельбекера — «чести залог»; у Лермонтова — «невольник чести»; у Кюхельбекера — «брат наших сердец»; у Лермонтова — «наша слава»; у Кюхельбекера — «праведный венец», у Лермонтова — «торжественный венок»; у Кюхельбекера — «шорох благозвучных крыл твоих волшебных песнопений», у Лермонтова — «замолкли звуки чудных песен»; у Кюхельбекера — «никто тебе не равен», у Лермонтова — «светоч, дивный гений»… и так далее.

Если внимательно присмотреться к этим, прямо-таки накладывающимся друг на друга, стилистическим рядам, то становится очевидным, что Лермонтов воссоздаёт в своей элегии уже ставший традиционным к концу тридцатых годов (прежде всего, конечно, в лирике, близкой мироощущению декабристов) образ Поэта, жертвы светских интриг и сплетен. Пример такого использования образа Поэта, как это ни парадоксально, дал сам Пушкин в «Евгении Онегине» (правда, с однозначно истолкованной современниками иронической интонацией). Это — Ленский. Недаром Лермонтов тут же и ссылается на него:

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сражённый, как и он, безжалостной рукой.

Таким образом, мотив жертвы в «Смерти поэта» раскрывается более или менее условно. Здесь не было бы почти ничего от реального Пушкина и даже от его реального творческого наследия (что угодно можно примыслить к образу Ленского, но только не «невольника чести, оклеветанного молвой»), если бы не тонкая нюансировка, приближающая героя «Смерти поэта» к лирическому «я» самого Лермонтова и содержащая намёки на некоторые детали биографии Пушкина, видимо, известные в кругу московской и петербургской молодёжи, к которому принадлежал Лермонтов.

Герой «Смерти поэта» — жертва нереализованной жажды мщения. По сути дела — и Лермонтов подчёркивает это — именно «жажда мщения» стала причиной гибели Пушкина, это причина — внутренняя, не внешняя.

Лермонтовский Пушкин — гордый и одинокий «невольник чести», «добыча ревности глухой», его душа «не вынесла позора мелочных обид»; он одержим жаждой мести, как «затаившимся пожаром», этот тайный огонь причиняет ему поистине смертельные мучения, и умирает он «с напрасной жаждой мщенья, с досадой тайною обманутых надежд». Какое уж тут «солнце поэзии»! Убитый Поэт и в могилу уносит с собой «пожар мстительного сердца». По Лермонтову, вот его знамя, вот его завет! Вместо реального Пушкина, читатель находит в элегии «Смерть Поэта»… романтического Гения (может быть, Арбенина… или даже — Демона?), бесконечно близкого самому Лермонтову. И разве мог Лермонтов не обратиться к *такому* Пушкину с упрёком:

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным?..

Приятель Пушкина Ф. Ф. Вигель с горечью вспоминает в своих мемуарах: «Несмотря на то, что скудость денежных средств ставила его беспрестанно в двусмысленные и неловкие положения, сильно тревожившие и огорчавшие его, он всётаки продолжал тянуться к знати. Пушкин, либеральный по своим воззрениям, часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра, около знати, которая с покровительственной улыбкой выслушивала его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом — ни в одном из них ты не найдёшь сочувствия». Он терпеливо выслушает, начнёт щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется; потом, смотришь, Пушкин опять с тогдашними львами».

Не на эту ли малопривлекательную чёрточку реального Пушкина намекает Лермонтов своим риторическим упрёком? Может быть, и так, но, во всяком случае, «образ убитого» в «Смерти поэта» раскрывается в духе личной трагедии и не содержит ничего, что могло бы вызвать раздражение власти. Примерно так смерть Пушкина и воспринималась тогда на разных её этажах: «невольник чести, задыхаясь от ревности и жажды мести, сам спровоцировал дуэль; по сути дела, убил себя руками Дантеса». «Судьбы свершился приговор!» — значит, бессмысленно искать виновных.

Что же тогда создаёт тот дух «крамолы», который так взбудоражил Николая и ближайшее его окружение? То же самое, что некогда взбудоражило Александра в оде Пушкина! Намёк на совершенно конкретную интригу, конкретное преступление, о котором автор проявляет опасную осведомлённость! Ведь по официальной версии, Павел умер от апоплексического удара. Ответ Наполеона на протест России по поводу расстрела герцога Энгиенского содержал скрытый упрёк Александру в причастности к убийству отца. И это пало тяжким камнем в абсолютно неподъёмный обвал причин органической личной ненависти русского императора к новопровозглашённому французскому! А тут — какой-то Пушкин! Можно было простить дерзкому юнцу конституционную риторику, но почти невозможно — недвусмысленные намёки на позорные обстоятельства, доставившие трон старшему сыну убиенного Павла.

В первой части элегии «убийцы» представлены тоже достаточно условно и традиционно. Это — злобные гонители Поэта, на потеху раздувавшие пожар его ревности и жажды мщения; среди них — тот, с пустым сердцем, у которого в руке не дрогнул пистолет, когда он стрелял в русского национального поэта… Чуть выше я уже приводила примеры изображения «светской черни» как «палача» в элегиях Кюхельбекера. Особенно заметно сходство в подчёркивании «антирусских», «космополитических» настроений высшего света: «говорят нерусским языком», «святую ненавидят Русь», «любимец счастья» (Кюхельбекер) —

На ловлю счастья и пиров
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы,
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!… *(Лермонтов)*

И далее о «светской черни» — «клеветники и лжецы», «коварные невежды»…всё это уже было в русской поэзии: и у Радищева, и у Державина, и у Рылеева, и у Кюхельбекера, да и у самого Пушкина. Противопоставляя Поэта и Толпу, Лермонтов говорит о Герое в третьем лице — он, а его убийцам бросает в лицо страстное и прямое — вы: «Не вы ль сперва так злобно гнали?..». Кто эти «вы», становится ясно из последней строфы элегии, добавленной Лермонтовым после того, как его родственник Столыпин в присутствии поэта обвинил Пушкина в «дурном характере» и стал защищать Дантеса. Именно последняя строфа «Смерти поэта» взбесила Николая (друзья Лермонтова, пытаясь отвести от него подозрения, оспаривали даже его авторство, уверяя, что строфа дописана кем-то другим!).

«Вы…» последней строфы — это уже не просто абстрактный «свет». Ираклий Андроников пишет об этом: «Теперь это обращение уже развёрнутое: потомки подлецов, рабы, жадная толпа, царедворцы, палачи, наперсники разврата, чёрная кровь.

Ни одного имени! Предыстория предполагается известной. Обстоятельства, при которых погибает поэт, тоже. И, тем не менее, всё понятно!». Публике обеих столиц прекрасно были знакомы все эти Геккерны-Нессельроде-Бенкендорфы… вкупе с их омерзительной интригой, в которой к тому же — косвенно — замешан был и сам император! Это на них нападает Лермонтов со всей страстью *личной* ненависти! Ни одного имени, а намёк понят вполне однозначно! И призыв эпиграфа тоже. «Отмщенья, государь, отмщенья!!!»

Жажда мести — вот то «знамя», которое юный Лермонтов водрузил над могилой Пушкина. Но остаётся вопрос — пушкинское ли это знамя, его ли великий русский поэт завещал потомкам?

«Высший суд» и «неподкупный судия». Закон — одна из важнейших идей пушкинской оды и лермонтовской элегии. Эта идея неразрывно связана с представлениями о справедливости и высшем суде. Сравним!

У Пушкина:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простёрт их твёрдый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит…

Владыки! Вам венец и трон
Даёт Закон, а не природа,
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!..

Склонитесь первые главой
Под власть надёжную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

У Лермонтова:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, гения и славы палачи,
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия, он ждёт;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперёд.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей чёрной кровью
Поэта праведную кровь!

Снова — то же. У Пушкина Закон — гарантия безопасности трона и благополучия граждан. Беззаконный деспот провоцирует беззаконное же злодейство. Пушкинский Закон подобен объективному закону природы: злодей наказан не в силу чьей-то личной мстительности, а в силу объективной необходимости, точно так же, как яблоко

падает на голову Ньютона в силу закона всемирного тяготения. Пушкинский Закон — безличен и бесстрастен. Это вполне соответствует просветительскому пафосу, которому в полной мере отдал дань автор оды «Вольность». Лишь раз Пушкин вроде бы изменяет своей объективности — это когда бросает Наполеону: «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу». Но и здесь поэт выступает не как судья или каратель, а лишь как… свидетель. Он не призывает к мщению, он констатирует факт.

Иное у Лермонтова. Для него Высший закон — это «грозный судия», карающий благополучных сытеньких мерзавцев, устроивших развлечение из человеческой драмы Пушкина. Лермонтовский Суд до предела пристрастен, это *личный* суд над подлецами совершенно конкретного образца. Закон земной, государственный (тот, что для Пушкина неразрывно связан с Законом высшим) — для Лермонтова — сень, прикрывающая мерзавцев, перед которыми молчат «суд и правда».

И ещё… для Пушкина торжество «высшего суда» — это вольность и покой; для Лермонтова — Апокалипсис, возмездие, потоки «чёрной крови». Нарочно не придумаешь более жёсткую антитезу!

Что же получается? Выходит, Лермонтов в своём стихотворении «на смерть» не столько продолжил, сколько проблематизировал вольнолюбивые традиции своего кумира. Пушкин пишет «Вольность», чтобы выразить мысль, которая не давала ему покоя всю жизнь и которая воплотилась позднее в образах «Бориса Годунова», «Капитанской дочки», «Истории Пугачёвского бунта», мысль, которую в своё время подхватит и разовьёт Достоевский: топор беззакония, раз поднявшись, будет крушить и правых, и виноватых, и невинных, и злодеев — без разбора! Отсюда глобальный вывод Пушкина — *закон для всех один!* Муза Лермонтова, оплакивая жертву убийства, жаждет новых убийств, она пророчит «дубину народной войны», которая рано или поздно обрушится на злодеев. Пушкин предостерегает, Лермонтов — провоцирует. Суд Лермонтова — Страшный суд народного бунта, о котором Пушкин когда-то сказал: «Не дай мне Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»…

Таким образом, увы, нет никаких данных за то, что Лермонтов в «Смерти поэта» продолжил идейные традиции пушкинского свободомыслия. Скорее, в развитии гражданских мотивов собственной лирики начинающий Лермонтов опирался на другую линию русской поэзии начала 19 века. И, пожалуй, более инстинктивно, нежели сознательно. Как ни странно, лирический герой молодого Лермонтова в своих социально-политических исканиях ближе всего к трагическому «маргиналу» пушкинской плеяды — Вильгельму Кюхельбекеру. Кстати сказать, многие пушкинисты именно в Кюхельбекере видят прототип Ленского. «Певец неведомый, но милый…». Неужели… в начале своего пути Лермонтов — это гениально предвиденный Пушкиным и реально существовавший Ленский?!! И — что если, перекрестясь, предположить?!!! — судьба реального Лермонтова, говоря математическим языком и повторяя пассаж Мариэтты Чудаковой, «конгруэнтна» судьбе Ленского, если бы он существовал на самом деле и не погиб от пули Онегина? Что стало бы с Ленским, если бы он тогда остался жив? Может быть, как раз то, что случилось с Лермонтовым?!!

Но это уже другая история.

«Я гимны прежние пою…»,
или разделял ли Пушкин взгляды декабристов?

1.

В 1812 году Пушкину 13 лет. Он учится в Лицее, привилегированном закрытом учебном заведении, с одной стороны, заменившем ему дом и семью, которых он — нелюбимый сын безалаберного семейства — никогда прежде не знал, с другой, иногда казавшемся ему монастырём, где он заточен, оторван от бурной жизни, отголоски которой, тем не менее, почти мгновенно доносились до лицейских келий.

Первое известное стихотворение юного Пушкина — «К Наталье» — датировано 1813 годом. Ясно, что он много сочинял и до этого, но, судя по дошедшим до нас подборкам 13–14 годов, как поэта его в это время больше всего занимают эротические мотивы и чисто формальные пробы, вроде вольных переводов Парни. Гражданская тема возникает в стихах лицеиста Пушкина, видимо, как отклик на впечатления от лекций лицейских педагогов, прежде всего, А. И. Куницына.

Первое стихотворение, открывающее для читателя «папку» гражданских стихов Пушкина и написанное под влиянием Куницына, — «Лицинию». Оно создано в 1815 году и поначалу было оформлено для журнальной публикации как перевод с латинского. Понятно, что Пушкин это сделал из цензурных соображений, чтобы не вызвать у известных лиц опасных аналогий с русской действительностью. Позднее это добавление Пушкин снял.

Стихотворение написано в форме послания знаменитому римскому народному трибуну Лицинию. Прежде жанр послания Пушкин использовал, обращаясь к друзьям или учителям, правда, присваивая им иногда какие-нибудь греческие или латинские прозвища (называя, например, Кюхельбекера — Аристом, Кошанского — Аристархом, и т. п.). В данном случае никакого прототипа адресату послания примыслить не удаётся. Пушкин избирает в качестве собеседника древнего свободолюбца. На что же он обращает его внимание, к чему призывает?

Первые две строфы рисуют нам позорную картину преклонения некогда гордых римлян перед фаворитом императора. Сначала Пушкин заставляет читателя прочувствовать унижение и рабскую покорность римлян — от несчастного народа до сенаторов и куртизанок, а затем показывает самого Ветулия, развратного юношу, который «воссел в совет мужей» и «сенатом слабым правит». В устах Пушкина это звучит примерно

так же, как сегодня прозвучала бы речь о том, что главой законодательной власти какой-либо страны является всем известная порно-звёздочка! Юный поэт—видимо, сознательно,—подражает здесь риторике Цицерона, автора гениальных обличительных речей: «О стыд!, о времена!» (у Цицерона: «О времена, о нравы!»).

Следующим шагом такой риторики должен бы стать призыв к решительным действиям—уж очень силён посыл! Но—нет. От созерцания позорно раболепствующей толпы Пушкин уводит взор читателя—под портик Капитолия (?). И мы видим бредущего с дорожной клюкой, оборванного и хмурого циника Дамета. Два полюса—развратный юноша-полуцарь и нищий мудрец, который покидает Рим, не желая участвовать во зле. И шестнадцатилетний Пушкин обращается к своему вымышленному адресату с поразительным предложением: последуем примеру мудреца—простимся с развратным городом! Почему? Ведь «кипит в груди свобода!», «не дремлет дух великого народа»! Но не к борьбе, не к восстанию призывает собеседника автор, а к… уходу. Может быть, потому что жизненная цель у него другая: «в сатире праведной порок изобразить и нравы сих веков потомству обнажить»? Так Пушкин впервые противопоставляет цель и участь Поэта и политического деятеля. Цель мудреца, мыслителя, поэта—быть свидетелем, а не судьёй и, тем более, не палачом. Подвиг Поэта—пророческое служение: «Предвижу грозного величия конец». Долг его—быть медиумом вечности…

Рабство и свобода; безудержное потребление и мудрый стоицизм… Пушкин с исключительной сдержанностью и достоинством самоопределяется в отношении этих социальных полюсов. Первое его гражданское стихотворение, как видим, при всём своём обличительном пафосе предельно удалено даже от скрытых намёков на революционность.

Следующее стихотворение, которое всегда приводится исследователями, коль скоро речь заходит о вольнолюбивой лирике Пушкина,—ода «Вольность». Оно написано сразу же после окончания Лицея, в 1817 году. История создания этого стихотворения и анализ его образной системы достаточно подробно представлены выше, поэтому я не стану сейчас на них останавливаться, отмечу только, что в результате анализа первого и практически последнего стихотворений лицейского периода в жизни Пушкина мы с необходимостью приходим к выводу, что Пушкин начинает свою «вольнолюбивую лирику» в духе очень сдержанной либерально-просветительской программы, весьма критической по отношению к существующему порядку вещей, но, ни в коем случае, не революционной.

2.

Оказавшись в 1817 году в Петербурге, Пушкин со всем увлечением молодости бросается в светскую жизнь. Он бывает в разных литературных кружках и обществах, знакомится не только с самыми просвещёнными молодыми людьми северной столицы, но и со светскими львами… Среди его друзей оказываются и братья Тургеневы, особенно Николай, и личность, по-своему знаменитая и загадочная,—Никита Всеволожский, центральное лицо кружка «Зелёная лампа». Здесь Пушкин встречался с П.П. Кавериным, П.Б. Мансуровым, Я.Н. Толстым, которым посвящал стихи, здесь бывал его лицейский друг Антон Дельвиг. Сюда потом какой-то неизбежной волной прибило и брата Пушкина—Левушку. Что это было за общество? С одной стороны, по воспоминаниям современников (Вигель, Анненков, Бартенев), оно очень походило на компанию Анатоля Курагина, где мы впервые в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» наблюдаем Пьера Безухова как участника разнузданного кутежа—сходство несомненно, желающие могут проверить! С другой—многие исследователи подчёркивают, что увеселения праздной молодёжи нередко перемежались в «Зелёной лампе» с весьма рискованными и серьёзными политическими разговорами, не говоря уже о чтении стихов и всевозможных литературных новинок.

Любопытное свидетельство оставил известнейший пушкиновед П.Е. Щеголев, который решительно выступил против «россказней» П.В. Анненкова о, якобы, оргиастическом характере «Зелёной лампы». Вот что он пишет: «Общество при наличности некоторой политической пропаганды усвоило себе и некоторые особенности тайных обществ: соблюдение тайны, обмен кольцами. Но в сплетне, сообщаемой Анненковым о «Зелёной Лампе«, не отразилась ли эта таинственность и обрядность в упоминании о парламентских и масонских формах? И вообще весь рассказ Анненкова не напоминает ли тех баснословных и нелепых обличений масонов, которыми была полна последняя четверть XVIII века? Анненков, которому вообще нельзя отказать в историческом чутье, был введён в обман, прежде всего, присущим ему ханжеством в вопросах морали и религии. Это ханжество—мы знаем—заставляло его вычёркивать да вычёркивать строки Пушкина из подлинных рукописей. И тут из-за этого свойства своей натуры Анненков не заметил, что разгул и разврат и Пушкина, и «Зелёной Лампы« вовсе не были необыкновенны даже до грандиозности, а умещаются в исторических рамках. Время такое было, но Пушкин—не алкоголик и не садист».

Атмосферой «Зелёной лампы» навеяно Пушкину множество стихов, некоторые её члены остались в истории только благодаря комментариям к этим стихам. Щеголев продолжает: «Мы знаем о П.П. Каверине, лейб-гусаре и Гёттингенском студенте, нужно добавить, что он был членом Союза Благоденствия. Наконец, князь С.П. Трубецкой, Я.Н. Толстой, Ф.Н. Глинка и умерший в 1821 году в Орле в должности губернского прокурора Александр Андреевич Токарев были деятельнейшими членами «Союза Благоденствия« в то самое время, когда они появлялись в собраниях «Зелёной Лампы«. Всё то, что мы теперь узнали о «Зелёной Лампе«, невольно наводит на мысль, что этот кружок был для них местом пропаганды

их идей. Отметим, что председателем кружка был Я. Н. Толстой. Он и в стихах Пушкина отличается от других сочленов: к нему Пушкин относится с особым почтением.

Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни,
На игры младости глядишь
С молчаньем хладным укоризны.
Ты милыя забавы света
На грусть и скуку променял
И на лампаду Эпиктета —
Златой Горациев фиал.

Среди стихов этого времени наиболее показательны в свете исследуемого нами вопроса — «Деревня», «Сказки» (Noël) и «К Чаадаеву». На них и остановимся.

Стихотворение «Деревня» со всей очевидностью перекликается и с одой «Вольность», и с посланием «Лицинию». С последним ассоциируется сам образ «пустынного уголка», «приюта спокойствия, трудов и вдохновенья». Именно такой уголок, по мысли автора «Лицинию», становится убежищем для уставшего от социальных потрясений философа и поэта. Пушкин уверенной рукою живописца набрасывает идиллическую картинку. Всё — как на полотнах пейзажистов 18 века, допустим, Венецианова или Щедрина: луг со скирдами, светлые ручьи в кустарниках, озера с парусами рыбачьих лодок, поля, крестьянские избушки, бродящие стада, мельницы… Типичный сентименталистский пейзаж. Именно в таких местах, по мнению поэта, и причащаются Истине, Свободе и Закону (почти оксюморонное сочетание звучит у Пушкина совершенно естественно). Вообще вся первая часть «Деревни» — как бы свёрнутая репродукция «Элегии на сельском кладбище» Грэя. Читатель привычно скользит взглядом по знакомым картинкам и вдруг спотыкается о пушкинское *но!*

Вместо умиления и умиротворения мы находим в «Деревне» — «мысль ужасную». И уже по контрасту перед нами разворачивается поистине радищевская картина бесправия и угнетения. И не Закон, Истина и Свобода возвышаются перед нашим внутренним взором, а прямо противоположные им — Невежество и Позор, дикое Барство и тощее Рабство… Пушкин не жалеет красок, чтобы усилить эту безотрадную картину, но выводы, которые он делает — вполне в духе тургеневской программы — надеяться можно только на благоразумие самодержца: рабство должно пасть «по манию царя». И Свобода, которой жаждет поэт, — Свобода просвещённая (то есть — соответствующая естественном праву и Закону! Хотя, с его точки зрения, другой Свободы и не бывает!).

Известно, что Александр Первый весьма одобрительно отозвался о «Деревне» (чего не скажешь о «Вольности», которая возмутила царя «непристойными» намёками на обстоятельства, приведшие его на трон).

Стихотворение «Noël» — откровенная сатира на императора Александра, очень злая, очень жёсткая. Стихотворение написано в традиционной во Франции форме сатирических рождественских куплетов, называвшихся «ноэль» (от французского *Noël* — рождество). Куплеты эти, высмеивающие чаще всего государственных сановников и их деятельность за истёкший год, непременно облекались в евангельский рассказ о рождении Христа. «Сказки» — единственный ноэль Пушкина, который сохранился до нашего времени (известно, что он создал их несколько). При всей своей дерзости это стихотворение, на мой взгляд, тоже не несёт на себе отпечатка какой-то особенной крамолы. Не зря же Пушкин выбрал для выражения своего отношения к поведению Александра карнавальный жанр. Он словно бы примеряет на себя маску Шута, который — единственный среди придворных — может бесстрашно говорить монарху правду. Поэт в роли Шута — персонифицированная совесть Короля; если бы не Шут — быть бы Королю в вечном заблуждении, ибо рядом с троном нет никого, кто не лгал бы королю в угоду. (В этом же ключе — другое оскорбительное для Александра сочинение Пушкина — «Ты и Я»). Думаю, этот, выявляемый жанровой природой ноэля, подтекст вполне прочитывается сегодня… Но не факт, что он прочитывался современниками Пушкина. Ноэли ходили в списках по рукам как произведения, вполне подстрекательские.

И, наконец, самое решительное и яркое гражданское стихотворение этого времени — «К Чаадаеву». Безупречное по форме, блистательное по своей декламационной инструментовке, это стихотворение всегда рассматривалось как революционное — то есть как апогей вольнолюбивых настроений молодого Пушкина.

Так ли это? Прежде всего — адресат послания, П. Я. Чаадаев. Личность легендарная, заслужившая к себе неоднозначное отношение современников. Пушкин познакомился с ним ещё в Лицее, и довольно долго находился под влиянием своего старшего друга — гусара, красавца, денди и философа. Чаадаев дружил с некоторыми декабристами и даже был членом Союза Благоденствия, но никогда не принимал участия в его деятельности. Для него вообще довольно много значили поведенческие символы дворянской чести — в этом он действительно очень похож на Чацкого! Поэтому он *должен был* встать рядом с друзьями, даже не разделяя их устремлений. Позднее он точно так же отреагировал на репрессии против Семёновского полка — оставил военную карьеру, хотя лично его семёновские дела касались лишь самым косвенным образом. Идеи же самого Чаадаева — последователя философского идеализма Шеллинга — уж никак нельзя назвать революционными. Пушкин пишет:

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман…
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман…

Далее мне хотелось бы обратиться к полемике, которая возникла по поводу этого стихотворения между известными литературоведами И. Г. Скаковским и В. В. Пугачёвым.

Пугачёв, толкуя «К Чаадаеву», видит в нём прямое указание на смену политических ориентиров молодого Пушкина — «от тихой славы» постепенных реформ к ставке на революционное восстание. Скаковский — утверждает, что «…в послании «К Чаадаеву» сопоставлены две системы ценностей, два отношения к жизни, две линии поведения. В нём как бы противостоят друг другу два человеческих единства, два значения слова «мы». В первой строфе — это лицейское содружество, люди, которых объединили в стенах Лицея судьба, случай. Их близость возникла из общих условий жизни, сердечной привязанности, из увлечения «юными забавами». Это «мы» объединяет Пушкина и Дельвига, Пушкина и Малиновского, а не Пушкина и Чаадаева. Постепенно такая общность переходит в стихотворении в единство иного рода, единство идейное и гражданское, основанное на преданности свободе и отчизне. Это новое единство охватывает Пушкина, Чаадаева и всех тех, кто, подобно им, ждёт «с томленьем упованья минуту вольности святой».

К этому остаётся лишь добавить, что структура, на которую указывает И. Г. Скаковский, не была для Пушкина открытием, она вполне соотносима… ну, хотя бы с ломоносовским «Разговором с Анакреоном», где Ломоносов отказывается «петь любовь» и утверждает себя как певца гражданских идей. Или всё с тем же «Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица…». Получается, что идея вольности и в послании «К Чаадаеву» не выходит у Пушкина за рамки просветительского либерализма.

3.

Южная ссылка, на современный взгляд, больше похожая на организованное по желанию царя путешествие известного поэта в курортные места, стала, наверное, самой счастливой эпохой в жизни Пушкина. Море впечатлений, встречи с потрясающими людьми, возможность окунуться в самое жерло южноевропейского политического вулканизма, бесконечные любовные истории разной степени серьёзности, ни с чем не соизмеримый творческий подъём… В 1823 году в Кишинёве Пушкин вступает в масонскую ложу — тоже, скорее, моды ради, нежели всерьёз. Он знакомится с будущими декабристами В. Ф. Раевским, М. Ф. Орловым, И. П. Липранди (его считают прототипом Сильвио в «Выстреле»), с генералом Александром Ипсиланти, возглавившим греческое восстание против турецкого ига и т. д., и т. д. Общение с самыми радикальными «вольнолюбцами» здесь гораздо ближе, чем в Петербурге, Пушкин фактически становится участником тайного общества в Кишинёве — хотя вряд ли с большей ответственностью и серьёзностью, чем в случае с масонской ложей. Но есть ли у нас свидетельства, что его поэзия в результате этого общения становится более политически радикальной?

Выберем для анализа самое откровенное политическое стихотворение Пушкина этого времени — «Кинжал». Толчком к созданию стихотворения послужила казнь немецкого студента Карла Занда, который убил писателя Августа фон Коцебу, находившегося в Германии на службе русского императора. Студенты подозревали Коцебу в «стукачестве» против университетских свобод. «Русский шпион» жил тогда в Мангейме, Занд отправился в Мангейм, вошёл в дом к Коцебу и со словами: «Вот изменник отечества!» заколол его кинжалом; затем выбежал на улицу и нанёс себе тяжёлую рану в грудь. Убийцу схватили и отправили сначала в госпиталь, потом в смирительный дом. Не будучи в состоянии говорить, Занд давал показания письменно, твёрдо стоя на том, что у него не было сообщников, и всё время сохраняя спокойствие духа. Мангеймский суд приговорил его к смертной казни; приговор был утверждён великим герцогом Баденским и приведён в исполнение. Преступление Занда стало поводом к усилению надзора за германскими университетами (чего, в общем-то, и следовало ожидать: любой террористический акт действует, как правило, в направлении, прямо противоположном благим намерениям). Среди либерально настроенной молодёжи имя Занда было окружено настоящим культом. Студенты собирались на сходки на место казни Занда, которое называли местом его вознесения.

С первых же строчек становится понятно, что автор возвращает читателя к уже известным ему «Лицинию» и «Вольности». Тот же пафос, та же образная система; только теперь стихотворение обращено не столько к примерам из древности, сколько к животрепещущему историческому факту, которым только что была потрясена вся Европа. Кинжал — орудие Божьего суда, им управляет Немезида, богиня мщения… он действует тогда, когда «дремлет меч Закона» (тот, который столь картинно описан в «Вольности»). Развращённая власть (которая так картинно описана в «Лицинии») — на всех её этажах — не может быть спокойна («Тираны мира, трепещите!»), ибо её везде подстерегает «свершитель проклятий и надежд». Тиран изображается здесь как «злодей» (обратим внимание — не вообще самодержец, а именно злодей!).

Какая грань отделяет Государя от злодея? Пока великий Цезарь воюет в дальних странах, Рим погружается в пучину разврата — и расплата настигает императора, может быть, одного из самых достойных в истории Европы.

Ещё ужаснее описание Марата и вообще всей французской революции. Пушкин называет его уродливым палачом, возникшим над трупом безглавой Вольности (намёк на «революционную гильотину»). Любопытно, что для Пушкина абсолютно естественно сопоставление римского императора и «друга народа», вождя мятежной толпы. И тот, и другой — злодеи, наказанные Немезидой, «вышним судом»! Это ещё раз доказывает, что Пушкин выступает здесь не против самодержавия, а против *беззаконного злодейства* любой государственной власти. Поэтому убийцы злодеев — вроде японских «камикадзе», они действуют как бы даже и не по своей воле, они сами — орудия в руках Бога. Поэтому Пушкин и называет Занда юным праведником, роковым избранником, святым.

Последняя строфа «Кинжала» — такое же предупреждение «тиранам мира», как и в «Вольности», только предупреждение ещё более жёсткое, потому что событие уж больно близкое. Это может повториться в любой момент, хоть завтра. Кинжал может оказаться в любой руке, действующей под любым лозунгом («без надписи кинжал»). Но Пушкин даже здесь ни слова не говорит о том, что приветствовал бы повторение подобного действия. Поэт оплакивает Занда, как жертву Беззакония, но никого не призывает последовать его примеру. Так что, по-видимому, нет никаких оснований считать, что взгляды Пушкина-художника в период южной ссылки стали более революционными, чем в предшествующие годы.

4.

Известие о восстании на Сенатской площади Пушкин получил в Михайловском, где отбывал остаток ссылки. По сравнению с полными очарования временами «Юга», это была для Пушкина настоящая тюрьма. Он рвался в столицу, мечтал даже о побеге за границу, умолял друзей о ходатайстве перед императором. Но после 14 декабря даже малейшей надежды на возвращение в Петербург у поэта не осталось. Казнь пятерых руководителей восстания (со всеми Пушкин был лично знаком!) потрясла его! Разумеется, он ужаснулся. Вот до чего довели вроде бы «невинные игры»! (Он нарисовал на полях рукописи виселицу с пятью повешенными и подписал «И я бы мог, как ш…»). Если бы Пушкин был в это время в Петербурге, его, конечно же, видели бы на Сенатской площади, он был бы со своими друзьями, грех сомневаться!

«И я бы мог…». Страшную участь Пушкин примеряет на себя! Пятеро «зандов», один из которых убил Милорадовича, человека, сыгравшего важную роль в судьбе Пушкина и пользовавшегося его уважением… да и Николай, только что вступавший на престол, ещё ничем не заслужил «высокого звания» Злодея. Что за бессмыслица? А если бы они добились своего?!! Пушкин не может их понять, но и осуждать несчастных «террористов» не в состоянии… Он только что закончил «Бориса Годунова», и тема самозванства, узурпаторства, замешанного на невинной крови, беспокоит его чрезвычайно. Без сомнения, пятеро казнённых видятся ему в свете жертвенной святости «кинжала в руках Немезиды». Он глубоко сочувствует сосланным в Сибирь. Но незадолго до того, как он узнал о декабрьских событиях, Пушкин пишет элегию «Андре Шенье», в которой содержится тот же посыл, что и в «Вольности»: Шенье был казнён фактически «своими»; человек, приветствовавший революцию и осудивший её за террор, пал жертвой её неправедного суда. Какая уж тут свобода! Какое вольномыслие!

Тем временем, судьба самого поэта круто меняется. В сентябре 1826 года его внезапно вызывают в Москву — император хочет видеть Пушкина. Встреча состоялась. Поэт увидел в ней знак императорского расположения. А Николай в тот же вечер чрезвычайно положительно отозвался о поэте на балу. Итак — Пушкин снова в центре общественной жизни. Но теперь он под постоянным надзором, под неусыпным оком Бенкендорфа; знаменитый поэт ничего не может опубликовать без высочайшего разрешения. «Царская цензура» оказывается ещё более строгой и пристрастной, чем любая другая. Тем не менее, в 1827 году Пушкин пишет два стихотворения, прямо соотнесённых с только что разразившейся декабристской трагедией — «Арион» и «Во глубине сибирских руд». Последнее ему удаётся передать в Сибирь, благодаря уехавшей туда к мужу А. Н. Муравьёвой. Как мы помним, декабрист Одоевский ответил на это послание знаменитым

Струн вещих пламенные звуки
До сердца нашего дошли
К мечам рванулись наши руки
Но лишь оковы обрели…

Общественно-политические настроения Пушкина в первые годы после восстания на Сенатской площади — предмет активных литературоведческих споров. Но, в свете только что проведённых «разысканий», я больше склоняюсь к точке зрения Л. И. Вольперт, исследовательницы русско-французских литературных связей. Вот фрагмент из её статьи, посвящённой проблеме фанатизма в творчестве Жермен де Сталь и Пушкина:

«…сомнительной представляется гипотеза Е. Г. Эткинда относительно известного рисунка Пушкина с изображением виселицы. По мнению исследователя, рисуя пять повешенных, поэт примерял к себе не участь декабристов, а судьбу казнённого на гильотине Шенье (мол, вот, что могло бы быть и со мной, если бы победили люди типа Пестеля). Пушкинские слова под рисунком виселицы: «И я бы мог, — как ш…» обычно читают: «…как шут». Е. Г. Эткинд предлагает другое прочтение: «И я бы мог, как Шенье?..». Предположение Е. Г. Эткинда нам представляется сомнительным: вряд ли для Пушкина было возможным в момент казни декабристов думать о том, какой террор они ввели бы в случае победы и как они расправились бы с поэтом-оппозиционером. Правомерное стремление пересмотреть упрощённо-социологические схемы близости Пушкина к декабристам привело учёного к другой упрощённости, ещё менее вероятной, чем прежняя. Однако нельзя и не учитывать, что параллели в раздумьях Пушкина о декабристах и о судьбе Шенье в связи с якобинцами могли иметь основание: и здесь, и там попытки решить социальные проблемы крайними средствами, и здесь и там расчёт на силовые приёмы.

Слова «И я бы мог, как ш…» отзвук раздумий Пушкина о возможностях собственной судьбы, о своём отношении к декабризму. Известно, как легко *«Его Величество Случай»* мог привести поэта на Сенатскую площадь. После восстания потребовалось более детальное осмысление собственной позиции. Можно предположить, что поэт начинает мысленно примерять к себе ситуацию героев Вальтера Скотта (Уэверли, Мортона и мн. др.), оказавшихся волею судьбы между двумя лагерями и вынужденных обстоятельствами участвовать в борьбе фанатично настроенных людей, чьи идеи

они не разделяют или разделяют не полностью (как позже «без вины виноватый» Петруша Гринёв). Поэт ведь так и ответил Николаю I на прямой вопрос — где бы он был 14 декабря («на Сенатской площади»). Пушкин к этому времени, как можно предположить, в значительной мере осознавал ошибочность и обречённость пути декабристов. Но как найти точный нравственный ориентир в смутной «буре» противостояний антагонистических лагерей? Как выработать адекватную оценку неудавшихся восстаний и научиться признавать некоторую правоту мятежников?»

В связи с возможностью такой трактовки постдекабристских стихотворений Пушкина знакомое нам с детства стихотворение «Арион» тоже становится проблематичным.

В основе стихотворения — греческий миф о поэте Арионе, который, заработав много денег во время путешествия, возвращается к тирану Коринфа Периандру, при дворе которого он служил. Корабельщики, узнав о богатстве Ариона, решают завладеть золотом, а самого певца убить. Однако Ариону разрешается спеть последнюю песню. Услышав прекрасные звуки, из моря показался дельфин и, подхватив бросившегося в волны Ариона, отнёс его на берег. Тиран Периандр в полном восхищении от этого события наградил и прославил Ариона. По его приказу на берегу моря была даже установлена статуя — прекрасный юноша верхом на дельфине. Миф был широко известен. Пушкин существенно исказил его. Возникает вопрос — если понадобилась такая радикальная переделка, зачем вообще было связываться с Арионом, обращаясь к столь болезненной теме, как 14 декабря 1825 года?

И вот тут «Арион» уже выглядит сплошной загадкой! «*Нас* было много на чёлне…». Что это значит? Певец отождествляет себя с корабельщиками? С разбойниками? Или — он отказывается от мифа, где корабельщики прямо называются ворами и разбойниками? Но ведь в том кругу, к которому принадлежали желанные читатели Пушкина, *все* помнили миф об Арионе; значит, несоответствие мифу не заметить не могли! А если заметили, то должны были за этим фактом что-то увидеть, что-то прочесть. Что же?

По бурному морю жизни (старый символ — тоже ещё античный!) плывёт корабль с командой, в любую минуту готовой на разбойничье дело (уж не чёлн ли Стеньки Разина?). Среди плывущих — певец, как он оказался на корабле, неизвестно, но он не отделяет себя от команды — «нас было много…». К тому же он по мере возможности принимает участие в общем деле — «пловцам я пел».

«Умный кормщик» правит челном в молчанье; а певец — полон беспечной веры… «Будь, что будет!». Пушкин не доводит действие в «Арионе» до мифологической кульминации. Вместо агрессии корабельщиков против певца, он вводит возмущение стихии — «грозу», которая губит пловцов и спасает Ариона. Вместо дельфина тут буря! Ведь именно она становится избавительницей Ариона. Он на берег выброшен «грозою»! Так что «вихорь шумный» выступает здесь как убийца пловцов и как спаситель певца! Таинственного! Облачённого в жреческую ризу! Может быть, даже ожидающего царских милостей (как ожидал их Арион от Периандра). Поющего прежние гимны… Какие? А ведь мы уже немало их прочли — оду «Вольность», например! Ода ведь и есть в греческом чтении — гимн. В общем, загадочное стихотворение. И уж никак нельзя с разбегу утверждать, что оно свидетельствует о приверженности Пушкина идеям декабристов. Скорее, наоборот.

Теперь — «Во глубине сибирских руд…». Прежде всего, Пушкин стремится здесь поддержать сибирских каторжников. Он подчёркивает их «дум высокое стремленье» и «скорбный труд», которые рано или поздно принесут добрые плоды. Но и здесь нет ни одного слова, в котором высказывалось бы одобрение декабрьского восстания! Только надежда на освобождение. Кроме разве что последней строчки — «братья меч вам отдадут». Но что это значит? Что за меч, когда «оковы пали», «темницы рухнули», и свобода встречает узников у входа?! Зачем этот меч? Загадка![3]

Конкретный анализ образной системы самых известных «декабристских» стихотворений Пушкина показывает, что они полны противоречий и странностей, до сих пор не прояснённых. Исследователи отмечают, что в 30-е годы Пушкин отходит от тем, традиционно «вольнолюбивых»; он переносит центр тяжести в своей творческой работе на серьёзные философско-исторические изыскания, пишет прозу, большие эпические полотна. Так что можно, наверное, считать, что трагедия декабристов становится поворотным пунктом в отношении Пушкина к социально-политическим проблемам вообще. Поэт обретает ту меру мудрости, за которой «вольномыслие» перерастает в свободное «миросозерцание».

Подводя итог своим штудиям, отмечу, что я не заметила категорических расхождений в трактовке «вольнолюбивой» темы в стихах раннего и зрелого Пушкина. Наоборот, пока эта тема его волновала, он только углублял и расцвечивал новыми красками своё исконное убеждение. В этом я согласна с уже цитированной Л. И. Вольперт, которая прямо указывает на то, что «учитывая сложность и известную противоречивость пушкинских взглядов, неприятие фанатизма, социального утопизма, всех форм насилия (над судьбой, ходом времени, человеком и природой), можно сделать вывод о его концепции истории и историософской позиции: признавая естественный ход времени, не видя Золотого Века ни позади,

3. В. Г. Маранцман даёт такую трактовку этого образа: декабристы были лишены дворянства; над их головами в знак лишения дворянской чести были сломаны шпаги. Пушкин намекает на то, что символ чести будет возвращён декабристам, коль скоро перемена власти сделает возможной их реабилитацию. То есть «меч» здесь — то же самое, что «шпага». Подобное толкование кажется мне весьма сомнительным.

ни впереди, отвергая исторический фатализм, расчёт на искусственные скачки и повороты, придавая важное значение Случаю в истории, Пушкин, однако, не терял надежды на *постепенное улучшение нравов и разумное переустройство общества.* Политический фанатизм в этом варианте развития самим ходом истории был бы обречён на медленное, но неуклонное угасание».

И далее: «Изучение материалов пугачёвского бунта, раздумья о восстании декабристов (возможно, и о различных вариантах развития событий в России в случае их победы), замысел создания *Истории Французской революции* (во время его реализации неминуемо возникла бы тема террора)—всё это группировалось вокруг проблемы народа *(народ и власть, народ и образованное дворянство)*… В результате возникала принципиально важная для Пушкина мысль о неприемлемости и для России политического фанатизма и насильственных путей развития истории. Как итог долгих раздумий, конечная формула отлилась в афористические слова повествователя в *Капитанской дочке*: «…лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, *без всяких насильственных потрясений*». По-моему, это и есть некий рубежный вывод о вольнолюбивой лирике Пушкина.

«На берегу пустынных волн…»[3]

или пространство и время «Медного всадника»

1.

Любой художественный текст содержит такие элементы структуры, которые как бы обрамляют его, служат границей между реальным «хронотопом»[4] читателя и тем миром, что создан автором произведения. Название, эпиграф, всевозможные ремарки и примечания служат установлению определённой дистанции между читателем и текстом—минимальной или максимальной, в соответствии с замыслом автора.

«Медный всадник» в этом плане—уникальный образец пушкинской диалектики. Само название «Медный всадник» несёт в себе противоречие «живого—неживого». «Всадник»—это движение, перемещение в пространстве, а слово «медный» ассоциируется с неподвижностью металла, который тут же останавливает всадника.

Интригующее, «оксюморонное» название сразу же отсылает читателя к старинным мотивам оживших статуй, мстителей преисподней; а с другой стороны—это совершенно конкретная «вещь»: памятник Петру Великому, находящийся по точному адресу, где может обнаружить его всякий желающий—осмотреть, потрогать, убедиться в его существовании.

Исследователями более или менее подробно реконструирован ход работы Пушкина над поэмой. «Медный Всадник» написан в Болдине, где Пушкин после поездки на Урал провёл около полутора месяцев, с 1 октября 1833 года по середину ноября. Под одним из первых набросков повести есть помета: «6 октября»; под первым списком всей повести: «30 октября». Таким образом, всё создание повести заняло меньше месяца. Можно, однако, не без вероятности допустить, что мысль написать «Медного Всадника» возникла у Пушкина раньше его приезда в Болдино. Вероятно, и некоторые наброски уже были сделаны в Петербурге,—например те, которые написаны не в тетрадях, а на отдельных листах (таков отрывок «Над Петербургом омрачённым…»). Есть свидетельство, что по пути на Урал Пушкин думал о наводнении 1824 года. По поводу сильного западного ветра, застигшего его в дороге, он писал жене (21 августа): «Что было с вами, петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения? что, если и это я прогулял? досадно было бы».

Фабула «Медного Всадника» принадлежит Пушкину, но отдельные эпизоды и картины повести созданы не без постороннего влияния.

Мысль первых стихов «Вступления» заимствована из статьи Батюшкова «Прогулка в Академию художеств» (1814). «Воображение моё,—пишет Батюшков,—представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные… Великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал—и Петербург возник из дикого болота». Стихи «Вступления» повторяют некоторые выражения этого места почти буквально.

Образ ожившей статуи мог быть внушён Пушкину рассказом М. Ю. Виельгорского о некоем чудесном сне. В 1812 году государь, опасаясь неприятельского нашествия, предполагал увезти из Петербурга памятник Петра, но его остановил кн. А. И. Голицын, сообщив, что недавно один майор видел дивный сон: будто Медный Всадник скачет по улицам Петербурга, подъезжает ко дворцу и говорит государю: «Молодой человек! До чего ты довёл мою Россию! Но, покамест я на месте, моему городу нечего опасаться». Впрочем, тот же образ мог быть подсказан и эпизодом со статуей командора в «Дон Жуане».

Подзаголовок «Петербургская повесть» и Примечания призваны создать у читателя ощущение абсолютной достоверности представленных событий. «Это—хроника,—как бы говорит Пушкин,—не верите—справьтесь у Берха». Получается, что «Медный всадник», помимо всего прочего, результат интригующей «жанровой игры» (такие игры Пушкин очень любил и оставил немало «артефактов»! начиная ещё с «Руслана и Людмилы»).

Повесть или поэма? Заглянем в «Литературную энциклопедию»! «Повесть—прозаический жанр неустойчивого объёма (преимущественно

---

3. Написано в соавторстве с ученицей 9 класса гимназии «Универс» Кристиной Задружной.
4. Мы пользуемся термином «хронотоп» (время-место), введенным М. М. Бахтиным для обозначения пространственно-временной структуры, присущей художественному произведению.

среднего между романом и рассказом), тяготеющий к хроникальному сюжету, воспроизводящему естественное течение жизни. Лишённый интриги сюжет сосредоточен вокруг главного героя, личность и судьба которого раскрываются в пределах немногих событий—эпизодов».

«Поэма—поэтический жанр большого объёма, преимущественно лироэпический. Большое стихотворное произведение на историческую, героическую или возвышенную лирическую тему».

Так что же перед нами? И то, и другое! Или—не то и не другое. Во всяком случае, и здесь—соединение несоединимого, чудо!—оксюморон. Диалектический синтез «великого и малого», «всеобщего и единичного», «неподвижного и текучего», «разума и стихии» и так далее, и так далее…

Сталкивая «повесть» и «поэму», заставляя их напряжённо противостоять друг другу, Пушкин вводит читателя в своё произведение и вынуждает его к «бытию» на границе, как минимум, сразу двух хронотопов «хроникально-бытового» и «мифического».

2.

Первые стихи Вступления задают *«мифический» хронотоп.*

> На берегу пустынных волн
> Стоял Он, дум великих полн…

Образ твердыни над пустынными волнами найден Пушкиным ещё в Лицейские годы:

> *…окружён волнами*
> *Над твёрдой, мшистою скалой*
> *Вознёсся памятник…*

Это—«Воспоминания в Царском селе» (1814 год).

> Один во тьме над дикою скалою
> Сидел Наполеон…
>
> Вокруг меня всё хладным сном почило,
> *Легла в туман пучина бурных волн,*
> Не выплывет ни утлый в море *чёлн*,
> Ни гладный зверь не взвоет над могилой—
> *Я здесь один, мятежной думы полн…*

А это—«Наполеон на Эльбе» (1815 год).

Позднее в стихотворении «Поэт» о герое будет сказано так:

> Бежит он, дикий и суровый,
> И звуков, и смятенья полн,
> *На берега пустынных волн,*
> В широкошумные дубровы… (1827 год)

Всё это очень напоминает Лукоморье—границу между морем и сушей, реальностью и сказкой, миром природным и миром рукотворным. Пушкинский «демиург»—Екатерина Великая («Воспоминание в Царском селе»), Наполеон («Наполеон на Эльбе»), Поэт—наделён чертами как созидания, так и разрушения, Бога и демона, высшего разума и божественного безумия.

Итак, уже в первых строфах Вступления Пушкин конструирует *два «мифических» хронотопа,* принципиально противопоставленных друг другу. Это

— мифическое время и бесконечное пространство Бога—Судьбы—Стихии—Природы (волны—«неведомые»,—туман, солнце, лес, бессознательная жизнь полудиких людей);

— мифическое время и пространственный символ Демиурга—твердыня, противостоящая волнующейся стихии, и одинокая фигура героя над ней, неподвижно устремлённая к живой материи, копошащейся вокруг…

Великий *Он* (новый бог, царь, поэт)—властитель пространства и времени. Миг творения останавливает природную текучесть, и, вместо «топких мшистых берегов», убогих изб, тусклых лучей «в тумане спрятанного солнца» и шумящего леса, возникает рукотворное чудо—Петербург. Город, в котором как будто остановлено время, а пространство навеки «схвачено» камнем и чугуном.

Заметим, что во Вступлении Он (Пётр) стоит не на камне, не на скале, а на топком берегу; скала появится вместе с каменным Петербургом (как бы «дважды камнем», потому что Пётр по латыни означает «камень»), но, как мы уже видели, в художественном мире Пушкина «берег пустынных волн» уже связан с определённым символическим единством. Тем ярче контраст—в «начале времён» под ногою Петра—болото, но рано или поздно здесь будет Скала и Вечный Всадник, простирающий руку над своим творением.

Любопытно, что природный мир («Божья тварь») и мир, создаваемый Петром, уже во Вступлении контрастно противопоставлены по линии «бедность—пышность». Вот эпитеты, характеризующие «материал», на преобразование которого направлены «великие думы» Петра: *бедный* чёлн, *убогого* чухонца, *ветхий* невод, *печальный* пасынок природы… А вот характеристики, связанные с замыслом Петра и с его воплощением: ногою *твёрдой*, *запируем* на просторе, вознёсся *пышно, горделиво, громады стройные*, к *богатым* пристаням и т. д.

Ещё наблюдение. В описании мира, предшествовавшего возникновению Петербурга, Пушкин два раза повторяет слово «неведомый»—«лес, неведомый лучам…» и «бросал в неведомые воды». Творец выводит из «неведения», как бы лишает невинности младенческую жизнь—бедную, скромную, немноголюдную («чёлн стремился одиноко»), чёрную, туманную, и на её месте воздвигает другую, где волны «новые», где гости и пиры, где берега—оживлённые, где вместо «одинокого челна»—«корабли со всех концов земли толпой стремятся», вместо тёмного леса—тёмно-зелёные сады.

Мир Петра—державный Петербург, через сто лет после замысла воплотившийся в чугуне и камне. В описании «юного града» поражает контраст между их неподвижностью и непрерывным движением кипящей в городе жизни.

Петербург—«вечный сон Петра». Усмирённая, но не побеждённая стихия, продолжает грозить ему: «взломав свой синий лёд, Нева к морям его несёт и, чуя вешни дни, ликует», «волны финские» по-прежнему дышат «враждой», «тщетной злобой».

В отличие от других поэм Пушкина, в «Медном всаднике» *«авторский хронотоп»* очерчивается лишь самыми общими чертами:

Люблю тебя, Петра творенье…
…когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады…
……………………………
Начну своё повествованье.
Печален будет мой рассказ.

Авторская точка зрения—позиция объективного повествователя, который не может удержаться от эмоций (любовь к Петербургу и печаль по поводу постигшего его несчастья) только в начале своего предприятия. «Автор-герой»… Его время: субъективное настоящее, время воспоминания, общения с читателями («об ней, друзья мои, сейчас»); его пространство: кабинет писателя, конторка или письменный стол с рукописями и книгами.

И, наконец, отправной точкой четвёртого, *хроникально-бытового*, хронотопа во Вступлении служит лишь упоминание о наводнении 1824 года:

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье…

3.

«Была ужасная пора…»,—так Пушкин заканчивает Вступление. В Первой части он сразу же подхватывает этот посыл и переносит читателя в ноябрьский Петроград 1824 года, город, в котором живёт бедный чиновник Евгений:

…Наш герой
Живёт в Коломне, где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне
Ни о забытой старине.

Хроникально-бытовой хронотоп, намеченный во Вступлении, здесь развёртывается в конкретных деталях. Во-первых, вместе с именем герой поэмы получает и «биографию»: он один из последних отпрысков некогда славного (его «прозванье» «в минувши времена…, быть может, и блистало и под пером Карамзина в родных преданьях прозвучало»), но обедневшего рода. Во-вторых, мы узнаём, что Евгений служит два года, но не выслужил ещё ни больших чинов, ни денег, что он не слишком высокого мнения о собственной персоне, и даже мечты его (хотя Пушкин и иронизирует—«размечтался, как поэт») не отличаются особым полётом—это мечты маленького человека о скромном благополучии:

Он кое-как себе устроит
Приют смиренный и простой
И в нём Парашу успокоит.
Пройдёт, быть может, год-другой—
Местечко получу, Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят…
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдём мы оба,
И внуки нас похоронят…

Несмотря на то, что комнату Евгения Пушкин для нас «не разрисовывает», она почти буквально встаёт перед нашими глазами, когда мы следим за действиями героя: вот он входит в своей вымокшей под дождём шинели, стряхивает её, оставляет на гвозде у дверей, устраивается на кровати или, может быть, на старом продавленном диванчике, заложив руки за голову—и предаётся размышлениям. Пушкин сам жил в Коломне, когда после окончания Лицея приехал в Петербург на службу, ему тоже была знакома нужда и горечь жизни бедного чиновника. Может быть, поэтому при всей скупости изобразительных средств, которыми Пушкин рисует картинку быта Евгения, у читателя создаётся впечатление предельной точности и конкретности изображения.

После Вступления и первых строф Первой части в нашем сознании отчётливо сопоставляются два героя и два хронотопа: стоящий на берегу Пётр с простёртой над волнами рукой и грандиозными замыслами и лежащий на койке Евгений с мечтами скромного обывателя. Один творит Петербург, другой тихо живёт в Петрограде. И тому, и другому противопоставлен мир вечных стихий, ополчившихся на Петербург-Петроград потопом. В первой части мифический хронотоп «стихий» связан с персонифицированным образом Невы:

Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной…
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури…
И спорить стало ей невмочь…

Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь, остервенясь
На город кинулась…

Буйство разъярённых вод как бы взрывает границы, перемешивает миры Петербурга и Петрограда. Город превращается в Петрополь—царство смерти и призраков:

И всплыл *Петрополь*, как тритон,
По пояс в воду погружён.

Начиная с пятой строфы Первой части в самой поэме словно разверзается *воронка, в которую втягиваются все хронотопы с уже знакомыми нам приметами:* челны… лотки… хижины… брёвна, кровли, товар, пожитки… мосты… гроба, кладбища, Божий гнев, Божия стихия… стогны, дворец… печальный остров, бурные воды.

Интересно, что император Александр Первый в своей беспомощности («Со стихией царям не совладеть») оказывается, скорее, в одном ряду с терпящими бедствие горожанами, чем со своим державным предком. Его дворец кажется «островом печальным» «средь бурных вод», мир петербургских дворцов и петроградских хижин разбивается вдребезги и превращается в хаос, словно внутри огромного водоворота:

Словно горы
Из возмущённой глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки…

И, словно «глаз бури», неподвижная точка среди вихрей циклона,—каменный лев и сидящий на нём Евгений; в той же точке, почти совпадая с ними графически,—«кумир на бронзовом коне».

На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел *недвижный*, страшно бледный
Евгений…

Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижны были…

И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован
Сойти не может…

И, обращён к нему спиною,
В *неколебимой* вышине
Стоит с простёртою рукою
Кумир на бронзовом коне.

Город и человек здесь впервые как бы поставлены в одной плоскости; человек остановлен, прикован к камню, только эта неподвижность позволяет ему осознать собственное место в мире, сотворённом волей того, кто бронзовой статуей высится сейчас перед ним—«к нему спиною». Это место—чудовищно мало, оно ничтожно, тем не менее, оно *сопоставимо* с местом Петра: город в эти страшные часы терпит от стихии так же, как бедный чиновник, чья жизнь разрушена «нападением» Невы.

Таким образом хроникально-бытовой и «державный» хронотопы пересекаются в этой точке и впервые совпадают. И ещё наблюдение: в начале Первой части Пушкин позволил читателю заглянуть во внутренний мир Евгения; мы слышим его мысли, прикасаемся к его мечтам и в полной мере можем ощутить их скромную малость. Тем более потрясает возникающее в результате совпадения хронотопов *совпадение* перспектив, «точек зрения», Петра и Евгения: один покоится в «неколебимой вышине», другой убеждается в «насмешке неба над землёй»—он впервые поднялся до таких мыслей, прежде они не приходили ему в голову, он мыслил идиллическими штампами—«до гроба рука с рукой дойдём мы оба, и внуки нас похоронят». А теперь гробы с размытого кладбища плывут по улицам, мечта рухнула под молниеносным ударом судьбы—и Евгений тоже впервые *замечает* и даже пытается *понять* обращённого к нему спиной кумира. Хронотопы «царя» и «мира» соединяются *в голове Евгения*. Пушкин подчёркивает это с помощью композиционного параллелизма, сопоставляя соответствующие строфы Первой и Второй частей.

Во Второй части Пушкин создаёт картину, напоминающую путешествие греческих героев в загробный мир. Нева предстаёт перед читателями поэмы и как персонифицированный образ (подобный тому, что мы видели в Первой части)—«Нева обратно повлеклась, своим любуясь возмущеньем…», «… тяжело Нева дышала, как с битвы прибежавший конь»), и как поток, отделяющий живых от царства мёртвых. «Беззаботный» перевозчик, за гривенник везущий Евгения «чрез волны страшные», похож на Харона.

И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться вглубь меж их рядами
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был чёлн—и наконец
Достиг он берега…

Этот берег—долина смерти. Здесь всё разрушено, «кругом, как будто в поле боевом, тела валяются». Теперь Евгений навсегда изъят из прежнего «пространства-времени». Как кот учёный по цепи, «всё ходит, ходит он кругом»—и наконец, «ударя в лоб рукой», обретает себя в том «смешанном» мире, в той «воронке», которая образовалась на месте его привычной жизни в роковую ночь потопа:

Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. *Ужасных дум*
Безмолвно *полон*, он скитался.
Его терзал какой-то *сон*.

(Вспомним: На берегу пустынных волн Стоял Он, дум великих полн…)

Хроникально-бытовой хронотоп «Медного всадника» теперь лишён своего героя:

Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шёл. Торгаш отважный,
Не унывая открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки. Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье Невских берегов…

Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту…

Пушкин находит для «смешанного» мира, в котором теперь пребывает Евгений, точное название—*сон*. Это слово приходит на ум герою ещё в Первой части:

Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой?

Во Второй части Пушкин конкретизирует этот «сон». Евгений

…оглушён
Был шумом внутренней тревоги.

И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь, ни человек,
Ни то, ни сё, ни житель света,
Ни призрак мёртвый…

Евгений теперь существует в мире вечных стихий, которые не позволяют ему остановиться, вовлекают в непрерывное движение. Герой останавливается только тогда, когда «прояснились в нём страшно мысли». Он снова оказывается в том хронотопе, где его «точка зрения» совпала с «точкой зрения» Петра.

Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С подъятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в тёмной вышине
Над ограждённою скалою
Кумир с простёртою рукою
Сидел на бронзовом коне…

И на этот раз Евгений *понял* Петра. Больше того, на этот раз Пётр *увидел* и *понял* Евгения. Они стали *равновеликими* героями *одной и той же трагедии*. Их лица обращены друг к другу, глаза их встретились. Сравним:

о Петре: Какая дума на челе!
Какая сила в нём сокрыта!

о Евгении: …чело
К решётке хладно прилегло
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал…

О Петре: Лик державца полумира…

О Евгении: Взоры дикие навёл…

О Петре: Лицо тихонько обращалось…

О Евгении: В его лице изображалось
Смятенье…

Как видим, даже лексически Пётр и Евгений теперь сведены Пушкиным в общий стилевой план. Зачем «Всадник Медный» скачет за Евгением? Наказать? А может быть, объясниться? Ведь это Евгений «злобно дрожит» и угрожает, а поведению ожившей статуи автор не даёт никакой оценки, никак его не комментирует. Медный Всадник зачем-то настойчиво преследует безумного героя… Зачем? остаётся тайной.

А что же Автор? Его хронотоп обозначен в основных частях поэмы лишь несколькими штрихами: так, говоря об императоре Александре, Пушкин замечает:

В тот грозный год
Покойный царь ещё Россией
Со славой правил…

То есть для Пушкина и его читателя Александр, персонаж поэмы, уже «покойный царь», точка зрения Автора определяется по отношению к описываемым событиям: «в тот грозный год». Личные чувства Автора (симпатия, сострадание, ирония — как, например, в короткой ремарке о графе Хвостове) проявляются в разбросанных по всему тексту поэмы эпитетах: вид ужасный! бедный мой Евгений… нашли безумца моего… Получается, что авторский хронотоп, заданный во Вступлении, как бы всё время «свёрнут», читатель чувствует присутствие Автора, но его внимание целиком сосредоточено на описываемых событиях… можно даже сказать, что «Медный всадник» — единственная поэма Пушкина, где авторский хронотоп сведён к минимуму. И в этом смысле «Медный всадник» (повесть!) действительно оказывается гораздо ближе к пушкинской прозе или драматургии, чем к любой из остальных его поэм.

4.

Хочу напомнить самой себе и читателю одно из известнейших стихотворений Пушкина — «Поэт». Приведу его целиком:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружён.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон.
И меж детей ничтожный мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха вещего коснётся,
Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орёл.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы.
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…

Стихотворение 1827 года. Пушкин только что вырвался из Михайловского заточения. Уже написан «Борис Годунов». Мысли о власти, государстве, самозванстве, величии и ничтожестве человека в полной мере владеют душой 28-летнего поэта. Читаю, перечитываю и вдруг вижу в стихотворении «Поэт» — *план «Медного всадника»!!!* Ничтожный из ничтожнейших, мелкий чиновник Евгений (в первой части о своём ничтожестве *он размечтался, как поэт…),* выброшен на сцену мирового катаклизма… как он поведёт себя? Пушкин видит (и читателя заставляет увидеть!), что вот как раз тут-то Евгений и *ведёт себя, как поэт, соравный демиургу Петру.* Пушкинский Евгений (!!!) не «склонил головы к ногам народного кумира» — сравнявшись со стихией в своём безумии, он *грозит статуе: «Ужо тебе!»*. Божественный глагол, коснувшийся до слуха Евгения, — это наводнение, стихия, катаклизм. Евгений-поэт — «сошёл с ума» — *пробудился*, пересёк границу Царства Мёртвых и встал «на одну ногу» с «державцем полумира». То-то забеспокоился Пётр! Евгений — угроза его могуществу. Он — *поэт*. Вихрь «судьбы» и «стихий» уравнял героев этой трагедии.

*«Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами».*
Ахматова

Синяя тетрадь

**Мастерская публицистики
Красноярского литературного лицея**
(Педагог Е. В. Тимченко)

Другому как понять тебя?

На стихи Рустама Карапетьяна:

*Смотришь сквозь лохмы бурана —
Что там тебе вдалеке?
Маленький шарик стеклянный
Держишь, как сердце в руке.*

Действительно, что там тебе? Я этого не знаю и не узнаю, не умею читать души… Да и вряд ли мне кто-нибудь позволит. Путано, сложно, трудно сказать то, что ты хочешь, вдруг не примут, не поймут, отвернутся… Страх. Какая стена, затвор между людьми. Понять слова, простую речь легко, но приоткрыть, заглянуть за занавес обыденности… По глазам, мельчайшим движениям… Можно, нужно… Невозможно, трудно…

Маленький шарик стеклянный
Держишь, как сердце в руке.

А какой он, этот шарик? Расписанный яркими красками или тускло-серый, прозрачный, словно кристалл, или заполнен туманом? Только ты сам себя по-настоящему понимаешь. Оберегаешь, хранишь шарик, а потом, доверившись другому, позволяешь ему взглянуть одним глазком… Одно неверное движение — и вот — осколки! И ты, роняя слёзы, склеиваешь стекляшку…

Соня Енгуразова, 7 класс

*Словно бы шарик стеклянный
Сердце встряхну, чуть дыша,
Ветер поднимется пьяный —
Снежным закружит душа.*

Маленький внутренний мир в стеклянном шаре. Как уже и сказал автор, там всё, как и в мире большом. Только этот мир не существует без «больших» людей. Когда человек встряхивает шар, он вдыхает в него душу. Снег начинает валить на сказочные домики, жизнь плавно распространяется по шару. Люди начинают бегать, общаться, начинает своё движение поезд. Шар оживает.

В этом сказочном мире всё хорошо, и это, пожалуй, главное его отличие от мира «больших» людей. Там нет проблем, все счастливы, но вот, человек ставит шар на полку, снег перестаёт падать, люди заходят в свои домики, и жизнь останавливается. Так шар и стоит на шкафу и ждёт, пока придёт человек, встряхнёт шар и вдохнёт в него жизнь.

Лёша Дорохин, 7 класс

*Словно бы шарик стеклянный
Сердце встряхну, чуть дыша.*

Стеклянный шарик-это такая кропотливая работа: там маленькие снежинки, крошечные люди. Всё, как в жизни, но уменьшенный вариант. Но только там всё белое, чистое, светлое… Вроде бы всё так же, но всё же и не так.

А сердце, душа, это не кропотливая работа? Да это тот же шарик, в котором нет фальши и грязи. Тот же уменьшенный вариант…

Яна Старикова, 7 класс

Психолог и я

Психологи — очень сложные люди, которые помогают другим не слишком простым людям. Психолог — популярная профессия, но есть одна тонкость в этой популярности. Люди идут к психологу и думают, что он им поможет или решит их проблему, а это — *неправда.* У психолога ответ на проблему всегда один на всех. А у людей проблемы одинаковыми не бывают. Если вы хотите услышать как борются с какой-то проблемой *все* и *в общем,* то можно обратиться к психологу. А уж после — решайте сами, что вам делать!

Рита Иванова, 8 класс

Мне не очень нравятся психологи, может, потому, что я в них не нуждаюсь. Ну, зачем он сидит и задаёт дурацкие вопросы? Зачем «копается» в твоих мозгах и чувствах? Ведь ты всё равно понимаешь, что он это не принимает близко к сердцу. Мне было бы понятно, если бы человек, нуждающийся в помощи, пошёл к родным, ведь именно им будет важна его проблема! А что психолог? Да у него таких, как этот человек, сотни и тысячи. Единственное, из-за чего он может обратить особое внимание, это если у тебя какая-то интересная проблема, т. е. просто живой интерес проявить…

Но всё же я знаю человека, который нуждается в помощи психолога. Я, конечно, понимаю, что сама себе противоречу, но могу обосновать. На самом деле я не знаю, любит ли этого человека семья или нет, но оба родителя постоянно «колошматят» своего ребёнка. Смогли бы вы подойти к своим родителям и сказать: «Мама, папа, ну почему вы меня бьёте?». Они сразу надают ему тумаков.

Видимо, из-за того, что родители его бьют, у него расстроилась психика, и этот мальчик, стоит его только затронуть, сразу начинает беситься. У нас в медкабинете даже список висит, кому навредил этот человек. Были даже серьёзные случаи. Поэтому ему нужно обратиться к психологу, этому ребёнку просто некому больше довериться…

Лида Ка Ю Тин, 6 класс

Мой друг Ветер

У меня есть друг. Он совсем ещё мальчишка, весёлый и нежный. Иногда злится, кидая мне снег в лицо… треплет мне волосы, сталкивает с тонкого заборчика, по которому я люблю ходить, обнимает вдруг. У него переменчивый характер, как и у меня. То подталкивает меня в спину, то бросается навстречу, но я всегда рада ему. Он—Ветер. Он не один, конечно же, их много, ветров. Но он самый задорный и ласковый, и мы с ним, бывает, разговариваем у моего окна, а иногда он разгоняет для меня тучи…

Ася Пузанова, 6 класс

Лаборатория «Гоголеведение»

(Педагог Н. А. Сидоров)

Ноздрёв…

Ноздрёв у Гоголя символизирует «активную» Россию. Ноздрёв чрезмерно живой. Притом, что является мёртвым по сути своей. У него есть несколько «вещей», которые почти завершены. Но из-за того, что у Ноздрёва тяга к «бартеру» (причём в убыток себе), им так и суждено оставаться незавершёнными. Ежели брать во внимание ещё и Манилова, то сразу становится ясно, что Россия полна талантов, но не консолидирует их усилия. Ведь фантазии Манилова в совокупности с энергией Ноздрёва можно было бы использовать. Манилов мечтает о всяких «прожектах», Ноздрёв исполняет. Ноздрёв слишком… деятелен? Так Манилов его осадит. Оставив за бортом Манилова, «вернёмся к нашим баранам».

Каковы интересы Ноздрёва? А ведь интересы чисто гусарские. Женщины, карты, выпивка, дебоширство, собаки…Собаки, к слову, очень интересуют Ноздрёва. Не в гастрономическом плане, как можно подумать, а в эстетическом. Одна из них, «брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость рёбер, уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет», видимо, самая ценная, должна была уйти почти даром Г. Г., да только тот отказался (зря, хорошая собака…бочковатая). Из этого можно сделать вывод о безумной тяге к бездумному обмену… или вранью. Ведь Ноздрёв, по его самоописанию (слово-то какое), просто копия Алёши из «Такси-Блюз». Семнадцать (!) бутылок игристого вина за раз. Герой нашего времени просто! А турецкие кинжалы работы мастера Савелия Сибирякова?! Вот и в нынешней России так же. Мол, заграничный товар, плати соответствующе. А на деле, товар-то сделан на тульском макаронном заводе… Оставим враньё, перейдём к женщинам.

Интересуется Ноздрёв всем, что движется. Не женат, имеет двух детей, на которых ему наплевать, которые являются обузой. При этом имеется так же смазливая(!) нянька, которая, видимо, используется не по назначению, а «насчёт клубнички», как говорит сам Ноздрёв. Заглядывается и на певичку, которая, каналья, поёт, как канарейка. Калигула в натуральную величину. Кстати, особенно любит сжульничать. Буквально везде, за что и «бывает наказан отрыванием бакенбард. Но здоровые и полные щёки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, ещё даже лучше прежних. И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он через несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался, как ни в чём не бывало, и он, как говорится, ничего, и они ничего». Точный образ России. Часто она бывает выдрана за бакенбарды, но вскоре оправляется и опять совершает ту же ошибку.

Сергей Ошаров, 9 класс

Ермаковский литературный лицей

Корова ела виноград

Корова ела виноград. Вы, скорее всего, представите себе мультяшную палевую Бурёнку в ажурном чепчике и светло-жёлтеньком с розовыми крупными цветами сарафанчике, по краям украшенном белым пышным кружевом. Она сидит в уютной горнице за самоваром и манерно попивает из широкой чашки ароматный чай. Закончив сие действие, корова устремляет свои огромные карие глаза на стоящую рядом с самоваром вазочку с заморскими ягодами. Элегантно подцепив гроздь на самый кончик копыта, она тянет её к круглой розовой морде…

На самом деле всё было совершенно не так. Это была самая обыкновенная пёстрая корова, которая стояла в стойле и жевала сено. Но на этот раз ей в корыто насыпали испорченный виноград, килограммов, этак, восемь. Не пропадать же добру. Она спокойно и задумчиво смотрела куда-то мимо всего, по привычке пережёвывая предоставленный корм. Мягкие ягоды, словно тая, быстро пропадали где-то в глубине коровы. Она первый и, скорее всего, последний раз в жизни ела виноград. Он её никак не удивлял и не интересовал, а только лишь иногда заставлял кряхтеть, если попадались жёсткие веточки.

Это парадоксально звучит, но всё-таки *ко-ро-ва е-ла ви-но-град!!!*

Проступок

Детство… Как это здорово! Ему порой совсем неведомы слова «ответственность», «обязанность», «долг». Но скоро настаёт время, когда ты уже не ребёнок. Но ещё и не взрослый. Кажется, всё те же ответственность, обязанность и долг есть, а ты пока не до конца ощущаешь их присутствие…

Я и четверо моих одноклассников слонялись по школьному коридору. Перемена! Её с нетерпением ждёт каждый ученик.

А кто-то даже сказал, что ходит на учёбу ради неё одной, этой счастливой перемены. Но, как и всё в этом мире, перемена имеет свойство заканчиваться. И как ученики ненавидят оповещающий об этом звонок!

Но на этот раз звонка мы просто не услышали: так шумели. Впятером, конечно, нам было не справиться, поэтому нам помог одиннадцатый класс. Они всегда готовы выручить товарищей…

Когда стало ясно, что урок давно начался, мы побежали к кабинету физики. Но учительница в этот день было необычайно строга и попросту не пустила нас, даже объяснения не стала слушать. Мы с какой-то дикой радостью выскочили из класса и захватили подоконник. Странно было осознавать, что все мы так провинились. Но вину пока никто не чувствовал.

Из учительской вышел директор и заметил нас, оставшихся без дела. А не заметить нас было просто невозможно: истерический смех в пять голосов — великая сила! За директором показался и завуч. Они решительно шли нам навстречу. Потом строго выслушали, пошли разбираться к учительнице физики… Всё это было так нелепо и смешно! Такими серьёзными лицами только первоклассников пугать! Мы постоянно переглядывались, хихикали и не могли остановиться.

Нас впустили в кабинет, а за парты сесть не разрешили. Мы должны были стоять весь урок. И мы стояли. Но как! Сначала, конечно, мы пытались успокоиться, заглушить смех. Но перед глазами всё время проносились серьёзные лица учителей, которые смотрели на нас, высоченных старшеклассников, снизу вверх и грозили пальчиком. Забавной была сама ситуация: две отличницы и три хулигана попали в одну упряжку. Минут через десять мы начали переглядываться и снова хихикали в голос. Потом и вовсе пытались вставлять реплики в монолог учителя. Это был своеобразный вызов, дерзкий, но безответный. Никому из нас ни на секунду не стало стыдно или досадно. Почему — не знаю. Если бы попался кто-то один, то, возможно были бы и покрасневшие щёки, и потупленный взгляд, и тихое «извините». А так — никакого сожаления! Мы были силой, единым «нет» на все упрёки.

Когда я пришла домой, мне захотелось рассказать всё родителям. Но было почему-то страшно. Вообще-то они очень спокойно реагируют на мои мелкие проказы. Привыкли за 15 лет. А когда услышали эту историю, и вовсе расхохотались! Сказали, что кроме умиления и искреннего смеха, больше эта история у них ничего не вызывает. При этих словах я почувствовала, как огромный валун сорвался, покатился и, наконец, свалился с моей души. Значит, совесть у меня всё-таки проснулась.

Оксана Толстоноженко, 10 класс

Размышления о культуре

Когда я думаю о культуре, то начинаю представлять себе, что в какой-то миг окружающий мир изменится к лучшему. И постепенно исчезает мусор, остающийся везде, где «ступала нога человека». Люди не плюются окурками, не дымят мне в лицо на остановках, не матерятся… Но я быстро возвращаюсь в реальность и с грустью вижу молодых мамочек, которые одной рукой держат дитя, а другой — сигарету. Вижу мальчишек и девчонок, размахивающих бутылкой пива.
Непонятно! Что происходит с нами? Может, это очень плохо, что я вижу чужие недостатки? Но разве плохо, что мама не позволяла мне бросить на улице даже крошечный автобусный билетик? Мне кажется, в нашей стране наблюдается упадок культуры. Не видно масштабной работы со стороны правительства, и во многом, на мой взгляд, с экранов телевизоров нам прививают псевдокультуру. Там сейчас позволено всё. Это общеизвестно. Повторяться не буду. Мечтаю, чтобы проблемы воспитания детей и приобщения их к культуре волновали сегодняшнее общество. И чтобы эти вопросы стояли не формально, а по-настоящему остро.

Недавно в Красноярске я шла мимо педагогического университета. Вероятно, был перерыв между лекциями. Крыльцо университета напоминало гигантскую курилку, где, утопая в вонючем дыму, хохотали девушки и парни, слышалась нецензурная брань, жаргон. И эти «педагоги» придут к нам завтра учить нас доброму и вечному? А может, пора просто не пускать на работу таких «учительниц»? Когда-то даже в простой крестьянской среде было стыдно «материться». И было в том обществе понятие греха.

Когда я смотрю, что кто-то с больной фантазией оделся в чёрное или гордится обилием пирсинга, а за ним, как обезьянки, потянулись целой армией подражатели, как-то странно делается на душе. Для себя я решила, что буду стараться сохранять свою естественную индивидуальность, развивать свои способности и быть человеком разумным. Надеюсь, так же думают многие мои ровесники. Мне стыдно, что о россиянах плохо говорят во многих странах. А страна наша необыкновенная в своей силе и красоте! Для меня культура начинается с воспитания себя.

Вера Глазырина, 8 класс

Что вреднее вредных привычек?

Во-первых, жизнь! Она и так вредна, а если взять во внимание алкоголь, сигареты и прочие «вредности», то просто ужасна! Жизнь отравляют выхлопные газы, мусор…

Вот и получается, что жизнь очень вредна! Надышишься так всяких отбросов и попадёшь в больницу с каким-нибудь «интересным» заболеванием.

Во-вторых, человек! Наивреднейшее создание в мире! Делает плохо не только себе, но и всему, что его окружает. И говорят ведь: не делай то-то и то-то — плохо будет! Но человечество шагает вперёд, оставляя сзади горы мусора, смог, грязные реки…

Так что получается, у человека есть вредные привычки, от которых он не может отказаться. Вот и у Земли есть вредная привычка — Человек. От этой привычки она и хотела бы отказаться, да не может.

Алёна Ленкова, 9 класс

Я задаю вопрос: что хуже—вредные привычки или человеческая алчность и пороки? Когда человек курит, он вредит и себе, и окружающим. А если выпьет и не контролирует себя, то может много накуролесить и потом жалеть о содеянном всю жизнь.

Жадность, ненависть, ревность, зависть и равнодушие—это худшие качества человека, из-за них страдают тысячи людей… Мы разводим помойки, убиваем окружающую среду, и термин «человек» становится синонимом «термита». Мы давно стали хуже зверей, которые не могут мечтать, воображать, говорить, писать, читать. Зато они не умеют лгать. Они не убивают тысячи себе подобных, чтобы быть лучшими среди сородичей.

Семён Тимошенко, 9 класс

Быть можно дельным человеком и—?..

(восьмиклассники о моде)

…каждый хоть в чём-то пытается достичь идеала. Но не у каждого это получается. Мода—это вечная борьба. Борьба за имидж, за совершенство, за индивидуальность. И мы, молодёжь, чаще всего как раз и не понимаем, что в этой вечной погоне за красотой, мы теряем себя, забываем, что главное в человеке—не его одежда…

Ира Гущина

…каждый из нас старается выделиться среди других, показать своё отличие от всех (индивидуальность). Но ведь практически никто ничего не делает для того, чтобы быть не как все. Люди просто гонятся за модой и, надевая новую кофточку или брюки, считают, что они стали лучше. На самом же деле, оказавшись в обществе себе подобных, они видят, что все—одинаковые! Все одеты по моде и ничем друг от друга не отличаются. И это, так сказать, закон подлости. Так было и будет всегда.

Анжелика Пронина

…одежда играет важную роль в жизни человека. По внешнему виду можно определить его внутреннее состояние, положение в обществе. «Надо ли следовать моде?»—вопрос, на который может ответить только сам человек.

Аля Грецких

…многим нравится придерживаться именно своего стиля; надевать вещи, в которых удобнее и в которых они чувствуют себя уверенно. Зачастую такие люди обретают индивидуальность. Они одни такие из всей толпы и иногда даже бросаются в глаза, в отличие от тех, кто гонится за модой. Те времена, когда одеваться по моде было почти что обязательно, давно прошли. У каждого—свой выбор.

Диана Георгиева

Мастерская образов

(Красноярский литературный лицей, педагог И. А. Москвина)

Уральские горы!
Где плыли недавно
Мелкие тучи,
Там снег и зимою, и летом…
Я видела это!

Там небо бескрайнее,
Там много свободы,
Облака облегают уральские горы,
Там много простора,
Там прячется эхо…
Я слышала это!

Настя Севостьянихина, 4 класс

За окошком плачет пёс,
Мальчик колбасу принёс.
Пёсик сразу же всё съел
И тотчас повеселел.
Прибежали две девчонки,
Насыпали птицам пшёнки.
Подошёл тут старый дед:
—Всем читателям привет!
Посчитайте поскорей,
Сколько добрых здесь людей!

Арина Бриндина, 5 класс

Колыбельная Саше

В поле синем
Белый иней,
Сыплет белый пух.
Котик серый,
Златоглазый
В колыбельку—плюх!
Сон да Дрёма ходят кругом,
За окном—метель.
Спи, мой Саша бестроногий,
Бегал ты весь день.
Криксы, Фоксы и Бабаи
Не найдут тебя.
Я давно тебя качаю,
Спать хочу сама.

Считалка

На полке стояло варенье—
Малиновое угощенье.
Увидели дети его—
На полке теперь ни-че-го!
Водить теперь будет тот,
Кому сладость не лезет в рот!

Юля Макринова, 5 класс

Колядка

Ляду-коляду!
Я ищу Коляду!
Научи колядовать,
А то буду обижать.
А научишь—ой, спасибо!
Дам хлеба корку,
шоколада горку.
Тили-тили бом!
Тебе счастья в дом!

Никита Улько, 5 класс

Раз, два, три, четыре, пять,
Кто тут хочет танцевать?
Или петь, или читать?
Лучше все пойдём гулять,
В игры разные играть!
А кому водить в игре?—
Эне-бене-чебуре!

Эмили Уитман, 5 класс

Алешков Николай Петрович (1945 г. р.) Родился в селе Орловка Челнинского района ТАССР. Работал монтёром связи, электриком, кровельщиком, диспетчером домостроительного комбината. Но основная трудовая деятельность связана с журналистикой. Был редактором городской газеты «Время» в Набережных Челнах, а также редактором межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». В настоящее время — редактор литературного альманаха «Аргамак». В 1982 году закончил заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького (семинар Н. Н. Сидоренко). В 1984 году принят в Союз писателей СССР. Автор девяти книг стихов, изданных в Москве, в Казани и Набережных Челнах. Живёт в Набережных Челнах.

Андреев Анатолий Николаевич (1958 г. р.) Родился в г. Североуральске Свердловской области. В 1961 г. семья переехала в Таджикистан, где в 1973 г. окончил восемь классов, поступил в музыкальное училище г. Ленинабада (сейчас Ходжент) и окончил его в 1977 г. по классу баяна. В 1977–1979 гг. учился в г. Душанбе в Таджикском государственном институте искусств им. М. Турсун-заде (отделение актёр театра драмы и кино). С 1979 по 1984 — студент филологического факультета Белгосуниверситета им. В. И. Ленина. После окончания университета в течение четырёх лет работал учителем русского языка и литературы. Постоянно работает на филологическом факультете БГУ с октября 1990 г. В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1998 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова докторскую. С сентября 1999 г. — профессор кафедры теории литературы БГУ. Доктор филологических наук, профессор. Основная сфера научных интересов: теория и история литературы, а также культурология (личность и культура, диалектика художественного сознания etc.). Среди его монографий — «Целостный анализ литературного произведения», «Культурология», «Психика и сознание: два языка культуры», «Теория литературы» и др. Автор восьми изданных романов («Лёгкий мужской роман», «Маргинал», «Для кого восходит Солнце?», «Игра в игру», «Халатов и Лилька» и др.), повестей, рассказов, пьес. Член Союза писателей Беларуси. Живёт в Минске.

Анистратенко Ася (1975 г. р.) Родилась в Иркутске. Выросла в Новосибирском Академгородке. Жила в Москве. В 2001–2002 годах была редактором, затем главным редактором сайта «Стихи.ру». В 2005 году вышла поэтическая книга «Приближение к теме» в издательстве «Геликон Плюс». Публиковалась в сборнике «Тринадцать» (Скифия, 2002). Живёт в Санкт-Петербурге.

Бондаренко Людмила Марковна (1954 г. р.) Родилась в Красноярске. Отец — Маслов Марк Нестерович, 1922–1990, участник ВОВ, журналист, почти 30 лет, с 1960 г. руководил Хакасским областным телерадиокомитетом; среднюю школу закончила в Абакане. В 1976 г. закончила биолого-химический факультет Красноярского Государственного университета. В том же году вышла замуж и переехала в Сочи. По второму высшему образованию — психолог. Работала в Сочинском санатории им.Фрунзе, в реабилитационном центре детей-инвалидов «Виктория». С 2003 года — психолог-консультант врачебно-косметической клиники. Автор книги стихов «Иллюзия любви» (2002). Повесть «Слишком крупные бабочки» опубликована в журнале «День и ночь». Живёт в Сочи.

Гончарова Тамара Михайловна. Родилась в Иркутской области. Работала библиотекарем. Первые опубликованные произведения — стихи в коллективном сборнике «Я пишу стихи» (Москва, 2001). Печаталась в альманахах «Московский Парнас», «Новый Енисейский литератор», в коллективных сборниках. Живёт в Красноярске.

Гришукевич Диана (1981 г. р.) Студентка факультета международных отношений Белорусского государственного университета. Рассказы публиковались в журнале «Немига литературная». Живёт в Минске.

Громов Александр Витальевич (1967 г. р.) Родился в Самаре. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор нескольких книг прозы. Лауреат литературной премии «Русская повесть». Член СП России с 1994 года. Живёт в Самаре, является руководителем Самарского областного отделения СП России. С 1997 года издаёт литературный журнал «Русское эхо».

Данилов Сергей Константинович (1956 г. р.) Родился в Барнауле. Окончив мехмат Томского госуниверситета в 1978 году, работал программистом на различных предприятиях Барнаула и Томска. С 1986 года публикуется в альманахах, сборниках, журналах Барнаула, Томска, Москвы. Книга прозы «Конспекты поздних времён» издана в 2003 году. В 2004 году роман «Домик в центре с девушкой и собакой» стал финалистом Открытого конкурса литературных произведений и сценариев «Российский сюжет — 2004». Сказка для детей «Принцесса Агашка в Стране Неведомых Зверушек» вышла в свет в 2004 году, повесть «Доктор Трупичкина» в 2007. В том же 2007 году опубликован роман «Сезон нежных чувств». Пьеса «Иван да Майя» попала в шорт-лист Международного Конкурса молодых драматургов «Премьера — 2005», «Театр on-line». Сборник рассказов «Невыносимая радость бытия» стал лауреатом конкурса

«Томская книга — 2008». Член Союза российских писателей. Живёт в Томске.

Долгополова Татьяна Геннадьевна (1970 г. р.) Родилась в Красноярске. Окончила Красноярский педагогический университет. Автор книг стихов «Зодиакальная болезнь», «Московское время», «Лепта», «От себя». Лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева. Живёт в Красноярске.

Ерёмин Николай Николаевич (1943 г. р.) Родился в г. Свободном Амурской области. Окончил медицинский институт, работал врачом-психиатром. Заочно окончил Литературный институт имени Горького. С 1981 года — член Союза писателей. Автор более сорока стихотворных сборников, нескольких книг прозы. Лауреат премии «Хинган». Живёт в Красноярске.

Золотаревская Марина (1960 г. р.) Родилась в Харькове. Окончила Политехнический институт. Первая, харьковская, специальность — инженер-электрик; вторая, освоенная в США, — бухгалтер. В 25 лет, впервые читая «Лару» Байрона в оригинале, неожиданно для себя и почти неосознанно начала переводить. Других авторов переводила уже сознательно. Привычка подмечать значимые мелочи привела её к сочинительству миниатюр, — большей частью прозаических. Живёт в Сан-Франциско.

Иващенко Дмитрий (1967 г. р.) Родился в Железногорске Илимском. После окончания десятилетки поступил в Иркутский политехнический институт, но был призван в ряды СА. Службу проходил в Чехословакии, в пехотном полку. Учился в Иркутском госуниверситете на отделении журналистики. С 1990 года живёт в Ангарске. Работает каменщиком и заочно учится в Литературном институте им. Горького.

Канавщиков Андрей Борисович (1968 г. р.) По образованию — журналист. Член Союза писателей России. Автор книг поэзии и прозы «Иней», «Призвание Рюрика», «Русло», «Красный рассвет» и других. Публиковался в коллективных сборниках и альманахах Москвы, Твери, Перми, Нижнего Новгорода, Тулы, в журналах, среди которых — «Север», «Смена», «Пульс», «Даугава», «Аврора», «День и ночь», «Дон», «Работница», «Наука и жизнь». Один из авторов книги «Приют неизвестных поэтов (дикороссы)». Победитель и дипломант различных литературных конкурсов и фестивалей, лауреат Всероссийской литературной премии им. М. Н. Алексеева. Директор — главный редактор МУП «Издательство «Великолукская правда». Председатель литературно-художественной творческой группы «Рубеж». Живёт в г. Великие Луки.

Кряжева Светлана Павловна (1950 г. р.) Родилась в посёлке Нова-Белица Гомельской области в семье военнослужащего, участника Великой Отечественной войны. Окончила психологический факультет Ярославского Государственного университета им. Демидова, работала на Минском автозаводе. В последующее время работала в науке, транспорте, системе жилищного хозяйства, государственной службе занятости психологом, главным специалистом. Член Союза Писателей Беларуси и Союзного государства. Живёт в Минске.

Листвин Георгий Валентинович (1961 г. р.) Родился в г. Красноярске-45. Выпускник исторического факультета Томского государственного университета. Служил офицером в армии. Много лет работал учителем истории и обществознания, «Почётный работник общего среднего образования РФ». Занимается историческим краеведением Приенисейского края, историей древнерусской культуры. Автор научных статей по методике преподавания истории в средней школе, по истории древнерусского храмового зодчества XIV–XVII веков. В настоящее время работает заместителем Главы администрации города по вопросам социальной сферы. Живёт в Зеленогорске.

Матвеичев Александр Васильевич (1933 г. р.) Родился в Татарстане, в деревне Букени Мамадышского района. Окончил суворовское (1944–1951) и пехотное училища (1951–1953). Лейтенантом командовал пулемётным и стрелковым взводами в Китае и в Прибалтике. После демобилизации из армии в декабре 1955 года шесть лет учился в Казанском авиационном и Красноярском политехническом институтах (1956–1962). Получил диплом инженера-электромеханика. В студенческие годы работал токарем-револьверщиком, разнорабочим, электриком, инженером-конструктором. Пройдя все ступени инженерных должностей, карьеру завершил первым замом генерального директора — главным инженером НПО — и директором предприятия. В 70-х годах прошлого века более двух лет проектировал электроснабжение и автоматизацию цехов никелевого комбинате на Кубе; этот период жизни стал основой его крупного романа «El Infierno Rojo — Красный Ад». С 1993 года работал журналистом в редакциях газет, переводчиком с английского и испанского языков с иностранными специалистами, помощником депутата Госдумы, а затем — Законодательного собрания Красноярского края. В 90-х годах избирался сопредседателем и председателем демократических общественных организаций: Красноярского народного фронта, Демократической России, Союза возрождения Сибири и Союза объединения Сибири. Входил в состав политсовета и исполкома Красноярского отделения партии «Демократический выбор России». В настоящее время является президентом Английского клуба при Красноярской научной библиотеке и Почётным председателем «Кадетского собрания Красноярья». Первые рассказы опубликовал в районной газете г. Вятские Поляны в 1959 году. Издал книги: «Сердце суворовца-кадета» (стихи и проза), «Вода из Большого ключа» (сборник рассказов), «ФЗА-ЕЗА. Прошлое. Настоящее. Будущее» (публицистика), «El Infierno Rojo — Красный Ад» (роман), «Нет прекрасней любимой моей» (стихи), «Кадетский крест — награда и судьба» (стихи и проза). Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.

Межиева Марина (1962 г. р.) Родилась в Москве в семье кандидата математических наук и студентки математического факультета. Ранее детство провела в Африке, в университетском посёлке под Алжиром. В школу поступила и закончила её в Москве. Закончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. После университета работала преподавателем в школе и вела литературно-критический отдел при Московском союзе литераторов. В 1994 году с мужем и тремя детьми переехала в Германию. В Вюрцбургском университете изучала теологию и религиоведение. Работала преподавательницей немецкого языка и коммуникативного тренинга. Опубликовала книги «Будда» (Москва, 2004), «Праздники на Руси» (Москва, 2007), в соавторстве с Н. Конрадовой «Окно в мир: современная русская литература» (Москва, 2006), в соавторстве с Н. Соломко «Василий Верещагин» (Москва, 2007). Живёт в Вюрцбурге (Германия)

Мурзин Дмитрий Владимирович (1971 г. р.) Родился в Кемерово. Окончил Кемеровский Госуниверситет математический факультет. Долгие годы был сотрудником молодёжного литературного журнала «После 12». Закончил Литературный институт им. Горького (семинар И. Л. Волгина). Участвовал в сборниках стихов «Площадь Пушкина», «Поэты Кемеровского университета», «Дороже серебра и злата». Публиковался в журналах «Москва», «Огни Кузбасса», «День и ночь», «Наш современник», автор книг «Белое тело стиха» (1997), «Ангелопад» (1999), «Полноценный валет» (2001) «Носитель языка» (2006). Живёт в Кемерово.

Перегудов Виктор Степанович (1949 г. р.) Родился в с. Песковатка Лискинского района московской области. Закончил Воронежский Государственный Университет (факультет журналистики, 1975 г.) После окончания университета работал в воронежской газете «Молодой коммунар», журнале «Политическая работа». Далее—сотрудник журнала «Сельская молодёжь», издательства «Молодая Гвардия». Как публицист широко печатался в центральной прессе («Литературная газета», «Литературная Россия», журналы «Сельская Молодёжь», «Москва» и другие издания). В разные годы вышло пять книг художественной и документальной прозы («Московские записки», «Сверстница времени», «Великие сосны», «Ночь светла», «Семь тетрадей», «Сад золотой»). Кроме писательства и журналистики, Виктор Степанович в разные годы работал в ЦК Комсомола, в политических структурах, в Совете Федерации. Последние шесть лет—его, по собственному определению: «до краёв заполнила ответственностью работа» в Правительстве Москвы. Заместитель начальника управления Мэра Москвы.

Плотников Владимир (1952 г. р.) Родился в п. Широкая Падь Александровского района Сахалинской области. Закончил Южно-Сахалинский государственный педагогический институт в 1974 г. по специальности «учитель русского языка и литературы». Работал корреспондентом, заведующим отделом областной газеты «Молодая гвардия». В настоящее время работает заместителем ответственного секретаря газеты «Советский Сахалин». Член Союза писателей России. Автор поэтических сборников «Перекрёстки разлук», «На круги своя», «Люблю навсегда», «Пока есть время», «Тропинка к роднику». Член Союза писателей России. Живёт в Южно-Сахалинске.

Поликанина Валентина. Член Союза писателей Беларуси и Союза российских писателей, автор книг: «Найдите время для Любви», «Две музы», «Свет неизбывный», «От первого яблока», «Живое зерно», «За плотью слов» и других, лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Минске.

Пономарёв Олег (1963 г. р.) Поэт, прозаик, издатель. Окончил Тульский политехнический институт, параллельно—факультет общественных профессий при нём же, получив вторую специальность—журналист. Автор книги поэзии и прозы «Свет и мрак» (1993), сборника публицистики «Очерки о Никольском-Вяземском» (1993), сборника стихотворений «Это я» (2000), книги прозы и поэзии «Тайна откровения» (2004), которая переведена на болгарский язык, и «Русский рассказ», удостоенной в 2005 году Международной литературной премии им. Андрея Платонова «Умное сердце». Основатель, главный редактор и издатель литературно-художественного журнала «Прикосновение» и выходящей при нём серии книг под общим названием «Коллекция альманаха «Прикосновение-XXI век», оформленных в едином дизайнерском стиле. В 2002–2003 годах вышли в свет два компакт-диска песен О. Пономарёва—«Ожидание» и «Эссе для тебя». Член Союза писателей России. Лауреат Демидовской премии за достижения в области культуры. Награждён медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств (г. С.-Петербург). Живёт в г. Тула.

Роднов Лев Ильич (1951 г. р.) Родился в посёлке Яр (Удмуртия).Образование незаконченное высшее (учился в ИМИ). Журналист, профессиональный газетчик. Также поэт, прозаик, философ, автор нескольких изданных книг, руководитель небольшой ТВ-студии гуманитарного направления, организатор бардовских мероприятий, член редколлегии журнала «День и ночь». Живёт в Ижевске.

Рыскулов Рамис (1934 г. р.) Народный поэт Киргизстана. Родился в селе Кызыл-Туу Шуйской долины. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор поэтических книг «Весна», «Песенная чаша», «Праздник солнца» и других. Новатор киргизской поэтики. Живёт в Бишкеке.

Саввиных Марина (Наумова Марина Олеговна, 1956 г. р.) Родилась в Красноярске. После окончания Красноярского педагогического института работала в школе учительницей русского языка и литературы, преподавала гуманитарные

дисциплины в Красноярском техникуме железнодорожного транспорта и в педагогическом колледже, в котором с 1993 до 1998 года возглавляла Кафедру культуры. В 1998 году вместе с группой педагогов и писателей организовала Красноярский литературный лицей и стала его первым директором. Первая публикация — в газете «Красноярский комсомолец» в 1973 году. С тех пор стихи, проза, эссе, критические заметки и статьи неоднократно публиковались в местных и центральных газетах и журналах, коллективных сборниках. Автор шести книг стихов, прозы, публицистики. Член Союза российских писателей с 1994 года. Первый лауреат Фонда им. В. П. Астафьева. Лауреат премии Союза журналистов, посвящённой 70-летию Красноярского края (2004 г.). С 2002 по 2006 гг. — Председатель Правления КРОО «Писатели Сибири». С 2007 года — главный редактор литературного журнала для семейного чтения «День и ночь»

Сенина Ася (1983 г. р.) Родилась в г. Невельске. Окончила германо-романское отделение Института филологии САХГУ по специальности «лингвист, переводчик». Работает специалистом по снабжению. Активная участница областного литературного объединения «Лира». Лауреат литературного конкурса Всероссийского фестиваля «Я вхожу в мир искусств» (2003). Стипендиат Сахалинского фонда культуры. Участница I Слёта молодых литераторов юга Сахалина и V Форума молодых писателей России (Москва, 2005 г.). Автор книги «На языке солнца». Живёт в Южно-Сахалинске.

Слюсарева Наталия Сидоровна (1947 г. р.) Родилась в Китае. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в редакциях различных журналов. Переводчица с итальянского (устный). При советской власти не публиковалась. Автор трёх изданных книг прозы, а также — нескольких неизданных книг прозы и пьес. Живёт в Москве.

Соколов Александр Иванович (1946 г. р.). Родился в селе Александровка Воронежской области. Окончил Воронежский радиотехникум (1964г.) Работал техником радио — конструктором в Воронежском НИИ связи, учился в аэроклубе, затем Вяземском и Грозненском авиационных центрах. Окончил Армавирское высшее авиационное училище лётчиков ПВО (1972г). Служил в военно-воздушных силах на Камчатке, в Белорусском военном округе, в Афганистане. Уволился в звании подполковника. Награждён орденом «Красной Звезды» и медалью «От благодарного афганского народа». С 1984 года начал печататься в периодических изданиях. В 1996 году в Минске вышла книга «Похитители времени» (роман, повесть, рассказы). В журналах «Немига литературная», «Нёман» издавались романы, повести и рассказы. В 2008 году московское издательство «Эксмо» издаёт роман «Экипаж чёрного тюльпана». В декабре 2009 года в Минске выходят две книги: «Полёт над землёй» (изд. «Четыре четверти») и «Тайна прикосновения» (изд. «Харвест»). С 1997 г. по 2004 г. (с перерывами) работал командиром корабля в частных авиакомпаниях в Анголе, Конго, ЮАР, Объединённых Арабских Эміратах, Шри-Ланке. Член президиума Союза писателей Беларуси. Живёт в Минске.

Старухин Анатолий Васильевич (1940 г. р.) Родился в селе Красноярка Алтайского края неподалёку от известных ныне шукшинских Сростков. Окончил Томский топографический техникум и прошёл с теодолитом и нивелиром Урал, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край, захватил и Камчатку. Позже стал собкором республиканской «молодёжки» в городке Талгаре под Алма-Атой. Далее — «Строительная газета», «Комсомольская правда» (шесть лет), «Правда» (шестнадцать лет, из них шесть — в Польше), ТАСС и, наконец, — собкор газеты «Трибуна» в Воронеже, где живёт и работает по настоящее время. Дебютировал как прозаик в журнале «День и ночь».

Тарасов Николай (1947 г. р.) Родился в Одессе. Закончил филологический факультет Южно-Сахалинского государственного педагогического института. Работал учителем труда, русского языка и литературы в восьмилетней школе, директором Станции юных техников. В 1979 году переехал в Южно-Сахалинск, работал редактором. С 1988 года по настоящее время избирается ответственным секретарём Сахалинской писательской организации (Сахалинского регионального отделения Союза писателей России). В 1974 году был участником Иркутского зонального семинара молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, в 1975 — VI Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве. За книгу стихов «Обновление», вышедшую в издательстве «Современник» в 1980 году, присуждена премия Сахалинского комсомола. Публиковался в различных журналах, в коллективных сборниках «Сахалин», «Бухта Лазурная», «Каменный пояс», в альманахах «Поэзия» и других изданиях. Автор стихов к песням в нескольких художественных фильмах, снятых на киностудии им. М. Горького и «Мосфильме». Автор девяти поэтических книг. Лауреат премии Сахалинского фонда культуры. Был делегатом последнего съезда Союза писателей СССР, учредительного съезда Международного сообщества писательских союзов, пяти съездов Союза писателей России. Член правления Союза писателей России. Руководитель областного литературного объединения «Лира». Член Союза писателей России. Живёт в Южно-Сахалинске.

Харцызов Сергей Александрович (1979 г. р.) Потомок русских горняков, поднимавших добывающую промышленность среднеазиатских республик. Родился в Самаркандской области УзССР, в закрытом тогда посёлке Советабад. После распада СССР, окончив школу, в 1997 году вернулся на историческую Родину — в город Кемерово. Поступил в Кемеровский государственный университет культуры и искусств (тогда ещё

институт). Занимался в литературной студии «Аз» при Кемеровском государственном университете. Сотрудничал и публиковался в молодёжном журнале «После 12». В 2001 году поступил в Литературный институт им. Горького, переехал в Москву. Ныне PR-менеджер одного из московских издательств («Книжный мир»).

Ходос Алла (1958 г. р.) Родилась в Минске. Закончила филфак БГУ. Работала в школе-интернате воспитателем, в райсобесе соцработником, на заводе социологом, в Союзе арендаторов и предпринимателей референтом, в школе учительницей. Пишет стихи и прозу. С 1994 года живёт в США.

Цыганков Александр Константинович (1959 г. р.) Родился в Комсомольске-на-Амуре. В 1961 году семья переехала в город Кемерово. За год до призыва в армию успел поработать на одном секретном военном предприятии по специальности, не имеющей никакого отношения к производству: художник-оформитель. В 1978–80 годах служил в Заполярье, на полуострове Таймыр. К началу Московской Олимпиады демобилизовался и вернулся в Кемерово. Закончил Кемеровское художественное училище. В декабре 1995 года первая книга стихов вышла в Томске. В 1994 году картина Цыганкова «Оранжевый закат» побывала на международной выставке в Болгарии. В 1997 году в Томске прошла выставка акварелей «Горная тропа». В 1998 году стихи вошли в антологию «Сибирская поэзия», а в 2002 году в большой коллективный сборник духовной лирики «Собор стихов». Участвовал в городских выставках, последняя из них «Автопортрет в творчестве художника». Стихи и репродукции опубликованы в томских журналах «Сибирские Афины», «Томск magazine», «Каменный мост». Одновременно с книгами был издан цветной буклет «Живопись». Живёт в г.Томске.

Чернец Алексей (1970 г. р.) Родился в Новосибирске. Закончил среднюю школу, учился в техническом вузе, работал в НИИ. В 1993 году потерял зрение. Первая публикация — в 2000-м году. Печатался в журнале «Встречи» (Барнаул), газете «Вечерние Новосибирск», журнале «Сибирские огни». Учится в Литературном институте им. Горького. Живёт в Новосибирске.

Ягодинцева Нина Александровна. Выпускница Литературного института имени Горького, член Союза писателей России с 1994 года, кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинской государственной академии культуры и искусств. Автор 7 поэтических книг, курсов лекций «Поэтика: модели образного мышления», «Поэтика: принципы безопасности творческого развития» и учебника точной речи «Поэтика: двенадцать тайн», монографии «Русская поэтическая культура: сохранение целостности личности», книги поэтических переводов с азербайджанского языка, многочисленных поэтических, литературно-критических и научных публикаций в литературных и научных изданиях Челябинска, Москвы, Петербурга, Красноярска, Петрозаводска, Екатеринбурга, Ставрополя, Воронежа, Чебоксар, Омска, Оренбурга. Лауреат литературных премий им. П. Бажова (2001), им. К. Нефедьева (2002), им. Д. Мамина-Сибиряка (2008), лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга-2007». Автор переводов с азербайджанского и башкирского языков. Живёт в Челябинске.

Якунина Галина Павловна. Родилась во Владивостоке, окончила филологический факультет Дальневосточного государственного университета. Работала преподавателем литературы во Владивостокском морском колледже, затем — главным специалистом управления социальной защиты администрации города Владивостока. В настоящее время — шеф-редактор управления информации Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. Автор поэтических сборников «Грешна и счастлива», «Городская сумасшедшая», «Космический возраст», «Не отрекусь». Печаталась в региональных, центральных и зарубежных изданиях. Член Союза российских писателей, председатель Приморского отделения СРП. Живёт во Владивостоке.

Редакционная подписка

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2010 год стоит 1080 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 180 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки.

Подписка производится по России, странам Ближнего и Дальнего Зарубежья. Издания доставляются по почте. В Красноярске и ряде городов, где есть региональные представители, предоставляются услуги по курьерской доставке для юридических лиц и по получению издания в офисе. Стоимость курьерской доставки в регионах оговаривается непосредственно с представителем редакции.

Информация для бухгалтеров! С каждым номером выставляется счёт-фактура и товарная накладная. В случае утери/порчи документов обращайтесь в отдел маркетинга и распространения (т. 8 (391) 2 43 06 38).

Чтобы оформить подписку, необходимо:

1. Написать Заявку, в которой указать, какие номера и в каком количестве экземпляров Вы хотите получить.
2. Заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».
3. Выслать (можно электронной почтой: копию квитанции в этом случае сканировать и выслать как изображение) в адрес ООО Редакция литературного журнала для семейного чтения «День и ночь» Заявку и Копию квитанции об оплате с отметкой банка (66 00 28, Красноярск, а/я 11 937; dinmarket@mail.ru, kras_spr@mail.ru)
4. Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала; в этом случае документы оформляются на месте.

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________

Адрес для доставки: ______________________

____

Назначение платежа	Сумма

Кассир

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика)   ______________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________

Адрес для доставки: ______________________

____

Назначение платежа	Сумма

Кассир

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика)   ______________________ (дата платежа)

Рукописи принимаются по адресу:
66 00 28, Красноярск, а/я 11 937,
редакция журнала «День и ночь».

Желателен диск с набором, фотография,
краткие биографические сведения.
e-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Для приобретения номера
и размещения рекламы социальной направленности обращайтесь в отдел маркетинга и распространения журнала «День и ночь»: т. 8 906 916 56 55
e-mail: kras_spr@mail.ru

Интернет-версия журнала
www.krasdin.ru поддерживается
ООО «КИТ»

Издатель
ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49
Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале
«Банка Москвы»
в г. Красноярске.
БИК
040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75[а],
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Подписано к печати: 1.03.2010
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала
в типографии ООО ИПЦ «КАСС»
Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23